

Григорий Померанц Зинаида
Миркина

**Спор цивилизаций
и диалог культур**
(Лекции и статьи нулевых годов)

Центр гуманитарных инициатив
Москва - Санкт-Петербург
Университетская книга 2014

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6-4
П55

Главный редактор и автор проекта «Нитапказ» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осинковская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденок,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов,
Г.И. Зверева, А.Н. Кожановский, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Редактор Г.Э. Великовская

Серийное оформление П.П. Ефремов

П55 Померанц Г., Миркина З. Спор цивилизаций и диалог культур (Лекции и статьи нулевых годов). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. — 504 с. — (Серия «Нитапказ»).

В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной в нулевые годы, а также эссе на родственные темы.

Здесь продолжена традиция вести разговор со слушателями и читателями о главных проблемах, которые ставит жизнь перед человеком и обществом. Противостояние цивилизаций в современном мире, роль религии и культуры в становлении личности, диалог культур разных народов; прошлое и будущее России, русская ментальность, внутренняя свобода и поиски веры и другие важные темы — таков круг вопросов, затронутых авторами.

В книгу включены последняя запись на магнитофон Г.С. Померанца «О духе цивилизации» (декабрь-январь 2013 г.) и статья З.А. Миркиной «Памяти Г.С. Померанца».

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6-
4

© Левит С.Я. составление серии, 2014 ©
Миркина З.А., составитель тома, правообладатель, 2014 © Великовская Г.Э., составитель
тома, 2014 © Центр гуманитарных инициатив, 2014 ISBN 978-5-98712-120-7 ©
Университетская книга, 2014

Предисловие

В этой книге собраны наши лекции, прочитанные на семинаре в Музее меценатов в начале века (в нулевые и первые десятилетия). Сюда входят статьи, написанные в это же время, и Записные книжки Григория Соломоновича.

Основное направление нашего семинара — движение от буквы к духу, от оболочки всех понятий к их живой сердцевине. Мы всегда хотели отделить творческую мысль от инерционной, творящее начало жизни от мертвящего — от того, что приводит мысль к окаменению. В истории мысли есть как бы два направления — творящий дух и каменная гора, стоящая у него на пути. Мы в разных темах, в разных поворотах пытались истолковать евангельскую метафору о том, что вера может сдвинуть гору.

Может быть, в лекциях и статьях наших читателей найдут повторы, их немало, но они не механические, а, я бы сказала, ритмические. К каждой новой теме надобились порой те же примеры, что были приведены в предыдущих. Но в другом контексте они имели новое значение, были так или иначе необходимы.

У Григория Соломоновича был в юности потрясший его опыт преодоления бездуховной материальной бездны, — может быть, иными словами — опыт преодоления горы духом. Об этом он говорил много раз, но всегда с чувством насущной необходимости. Передать другим этот опыт едва ли не труднее, чем самому пройти через него. Иногда повторы объяснялись тем, что он обращался к другой аудитории, но вот чувство необходимости сказать это именно здесь и сейчас всегда делало речь его живой и сущностной. Так, в Приложении мы даем его выступление в клубе «Билингва», почти повторяющее одну из лекций, прочитанную на нашем семинаре. Но самое интересное в этой встрече была не лекция, а ее обсуждение. Так считал и сам Григорий Соломонович. Поэтому мы включаем в книгу этот текст. Немало повторов можно найти и у меня, но обойтись без них я не могла.

Так как книга эта выходит после кончины Григория Соломоновича, хочу сказать несколько слов о нем. Есть довольно распространенное

мнение, что писателей хорошо бы знать только в обложках и не заглядывать в их жизнь — разочарует. Так вот, заверяю всем опытом жизни, прожитым с ним (52 года), — все написанное им было меньше, а не больше его самого. Каждое слово оплачено чистым золотом всей его сущности. И это отмечали многие знавшие его и писавшие о нем. Чистота и подлинность его души не могла не заражать людей, вызывая полное доверие.

В одной из моих сказок есть такое изречение: «Только тот, кто полюбит мудреца, сможет понять и усвоить его мудрость». Я пишу это, чтобы выразить свою благодарность тем, кто полюбил Григория Соломоновича и кто сможет продолжать то, что он делал. Может быть, сегодня это особенно необходимо — очистить духовную атмосферу.

Хочу еще выразить особую признательность тем, кто помогли издать эту книгу — и прежде всего Светлане Яковлевне Левит. Именно благодаря ей издано более 20 книг Григория Соломоновича и наших общих. Светлана Яковлевна — чистейший энтузиаст, вдохновенный редактор и совершенная бесребреница. Такой тип людей, к великому сожалению, почти исчез в наше время. Благодаря ее энтузиазму и ее любви к книге изданы фундаментальные труды крупнейших российских и западных мыслителей, посвященные проблемам философии и культуры. Говорю это не только от себя, но и от имени Григория Соломоновича. Я хорошо знаю, что он чтит и любил ее как творческого человека. Не могу не поблагодарить от всего сердца замечательного редактора Великовскую Галину Эдуардовну и издателя Петра Валентиновича Сонова, очень много души вложивших в создание наших книг. И особенно хочу отметить огромную работу Г.Э. Великовской в подготовке этой книги, которая составлялась уже без Григория Соломоновича.

Зинаида Миркина

Григорий
Померанц

Современный спор цивилизаций

Григорий Померанц

Закаты и зори цивилизаций

Когда Петр прорубил окно в Европу, это изменило не только Московскую Русь; Русь вышла из тупика истории, в котором оказалась после краха Византии, и стала Российской империей, великой европейской державой. Но изменилась и Европа. Европа (как культура, а не континент) складывалась из обломков Западной Римской империи, ассимилированных вторгшимися племенами, и постепенно формировалась как система *наций*, опекаемых римской курией. Сперва она жила в старых границах, созданных античностью, и вторжение Руси в это западнокристианское пространство было принято неохотно и недоверчиво. Тем не менее, оно прижилось. И начиная с России, это продолжалось в Америке и на других континентах; и Европа расплылась в Запад, противостоящий миру ислама, индуистско-буддийскому миру и миру конфуцианско-буддийскому.

Первенство ее казалось очевидным в XIX в., но оно не состоялось, и сегодня она только партнер в глобальном диалоге. Более того, начиная с терпимости, победившей на рубеже XVIII в., Европа теряла свою христианскую окраску, и недавно госпожа Меркель поздравила голубую пару с ее официальным бракосочетанием.

Освальд Шпенглер был прав, назвав свою книгу «Шп1ег\$ап\$ дез АЪепд1апдез», и русские переводчики напрасно подправили его, ограничив упадок словами «Закат Европы» (то есть, исключая из упадка Соединенные Штаты). Дальнейшие события, начиная с биржевого краха 1929 г., кончая физическим вымиранием белой расы, показали, что упадок поставил под вопрос всю западную цивилизацию.

Дух терпимости, победивший после горького опыта религиозных войн, сперва означал только забвение проклятий, брошенных друг в друга римским папой и вселенским патриархом. Но процесс секуляризации приобрел в XX в. новые измерения; он заставляет вспомнить римских ветеранов, распевавших на триумфе Юлия Цезаря свои частушки: «Вот едет лысый развратник./ Берегитесь, римские матроны./ Вот едет муж всех римских матрон / И жена всех своих друзей». Нравы

начинавшегося римского упадка кажутся сегодня пророчеством о современном западном понимании свободы.

В годы моей юности считалось, что великие азиатские цивилизации просто отстали от передовой Европы. Сегодня они становятся лидерами глобального прогресса, каждая по-своему. Китай заваливает мировой рынок дешёвкой, а Индия развивается в своем стиле: одни кастовые и квазикастовые группы развивают современную экономику, а другие внедряют упанишады в духовную жизнь Запада.

Индия и Китай не знали запустения и варваризации. Варвары иногда прорывались сквозь границы, но масса носителей местных традиций ассимилировала их. Я подчеркиваю, что в Средиземноморье *варвары ассимилировали* обломки римской цивилизации, а в Азии процесс шел в обратном направлении: через два-три поколения князья вторгшегося народа заказывали родословные, изготовленные брахманами, и становились еще одной кастой в варне кшатриев; или, в Китае, они сдавали экзамен и становились китайскими мандаринами.

Это можно проследить даже в судьбе еврейских купцов, осевших в средневековом Китае. Они сохраняли свои священные свитки, но не могли их прочесть; а фигурки предков в кумирнях ничем не отличались от фигурок у китайских соседей.

Здесь не было опустевших земель, не было и вымиравших рабов, которым не хотелось думать о потомстве при судьбе «говорящих орудий», наряду с орудиями немymi и мычащими. Понятие «раб» бытовало у многих народов, но оно обычно не имело римского смысла. Например, в еврейском праве раб, отбив семь лет, выходил на волю — и освобождался еще раньше, если хозяин наносил рабу увечье, хотя бы зуб выбил. В других восточных системах такой строгой регламентации не было, но в Индии слово «даса» просто не различало раба и слугу; в Китае опыты рабовладения были испытаны в древности и отброшены как нецелесообразные, и при смене династий крестьяне освобождались от долгов, закабальвавших их.

Средиземноморское право рабства началось, как мне кажется, в торговых городах, возникших на окраинах ближневосточных царств. Ни одно из этих царств не было долговечным. В хаосе, созданном войнами, исчезали архаические племенные традиции, и их надо было чем-то заменить. Заменой были городские конституции, созданные логическим мышлением. А всякий логический принцип можно довести до абсурда; и римляне сделали только последний шаг. Другой губительной чертой была неспособность городов-держав ужиться друг с другом, как впоследствии уживались европейские нации. Два хищника не могли ужиться в одной берлоге. «Карфаген должен быть разрушен», — повторялось в римском сенате. И вслед за победой Рима начался его медленный упадок. Цельность античности покрывалась трещинами, цветущие провинции

пустели, — и на обломках мировой державы начали складываться *нации*, при участии варваров; а через тысячу лет начался новый цикл.

Почему обломки античности, вошедшие в средневековый синтез, стали вырываться из него, всплывать наверх, и в вольных городах ожили тени древних? Почему готические соборы, с их взлетом в небо, остались недостроенными и уступили место дворцам, развернутым по горизонтали, с открытыми окнами на земную, преходящую жизнь? Можно сказать, что строители храмов устали, как устали некогда египтяне от строительства пирамид. Но египтяне и без новых пирамид сохранили устойчивость своей культуры на пару тысяч лет — без свободы и без рабства, со всеобщей барщиной, окормляемой жрецами; и неповторимость просвечивает в каждом камне. А на землях, вошедших в Запад, цивилизации быстро дряхлеют, и дай Бог нынешней цивилизации выйти из кризиса.

В Индии и Китае не было этой стремительности развития, с резкими поворотами и быстрой старостью. Они сохранили свои древние корни и единство истории, подобно древнему Египту, их верность себе защищена была природными границами, полуизоляцией друг от друга и от западных соседей стенами гор и бурным океаном. До прихода ислама здесь невозможна была война цивилизаций, и ислам завоевал только окраины Индостана. До этого цивилизации Востока только слегка связывали караваны международной торговли, а потом буддийские проповедники; и контакты были ненасильственными. Лишь одно влияние прижилось и расцвело: распространение буддизма на Дальнем Востоке в те самые годы, когда в Индии он отступал в долгом диалоге с индуизмом. И состоялось влияние потому, что нашло общий язык с Лаоцзы и Чжуанцзы и как бы дополнило и развило их учения, когда это понадобилось культуре Китая, по мере самоуглубления духовной элиты, привлекая образом истины, скрытой в глубине духа.

С тех пор Дальний Восток объединяет с Индией чувство истины, постигаемой вне слов, по ту сторону логики. Так, как ее еще до буддизма понимал Яджньявалкья, мудрец в «Брихадараньяке-упанишаде», отвечавший на все попытки однозначной истины: «не это, не это!». А Уддалакла Арунья в «Чхадогье-упанишаде» повторял: «Ты это То», очень близко к словам Христа: «Царство Божие внутри нас». Мысль, до сих пор недоступная большинству христиан, не говоря уже о низах народной массы, и великие религии сходятся в кружении вокруг тайны, не поддающейся точному слову.

Дальний Восток и Индия донесли до наших дней плюрализм подступов к целостной истине. Миссионеры смешивали это с язычеством, но они ошибались. Взаимному пониманию мешало высокомерие европейцев, гордившихся превосходством западной науки и техники. Но чувство превосходства Европы рухнуло в войнах XX в. и освободило духовные

пути.

Я запомнил на всю жизнь потрясение Роже Мартена дю Гара, выраженное в романе «Лето 1914 года». Как будто ясное летнее небо обвалилось и откуда-то полились потоки национальной ненависти. Герцен, став свидетелем разрушенных баррикад 1848 г., предвидел последствия политики, разжигавшей национальную ненависть, оберегая себя от ненависти социальной. Когда всё уже случилось, его слова звучали как пророчество: «будет вам война семилетняя, тридцатилетняя!».

Однако случилось всё позже, через шестьдесят с лишним лет. А пока, читая Золя, читая Чехова, попадаешь в устоявшийся, прочный быт, в котором угасли страсти Бальзака, страсти Достоевского, и казалось, что век, начавшийся в 1815 г., еще долго не кончится. Разве через 100—200 лет (мечтали герои Чехова) наступит более светлое время.

Всё шло по порядку. Одна волна прогресса, уступив на время романтическому откату, сменялась другой, и Николай Гумилев уезжал в Африку за бурями и грозами. Символизм, с его смутными ожиданиями, уступал место прозрачной ясности акмеизма. «Я на правую руку надела перчатку с левой руки...», — писала Ахматова. Вот и все, что прорывалось из внутренней жизни в жизнь внешнюю, зримую. Пышно цвела экономика. Концерт великих держав улаживал мелкие конфликты. Тройственное согласие уравнивало Тройственный союз. И все это сразу рухнуло в бездну.

Вмешательство Америки позволило в 1918 г. как-то свести концы с концами, но мировой экономический кризис снова всё развязал, и после Второй мировой войны Европа стала предметом дележа в Ялте и Потсдаме. Восстанавливая свой престиж, европейские нации объединились в подобие коалиционной сверхдержавы. И начала складываться перекличка цивилизаций, структура, подсказанная структурой наций Европы. И Запад входит в эту систему на равных правах с другими.

Но это только образ, зримое будущее, еще не ставшее полной реальностью. Я его ощущаю яснее всего в области духа, в книгах Экхарта Толле, Кена Уилбера, которые сегодня можно прочесть и на русском языке. О них подробнее поговорит Зинаида Александровна.

Повседневной реальностью стал интернет. Он создал сеть связей, пересекающую все границы. Он опрокидывает «вертикаль», навязанную властными центрами. Он прорывается в программу «Родительское собрание» на Эхе Москвы со стихами таксиста Дмитрия Люляева, и Е.А. Ямбург цитирует их как свидетельство настроений молодежи, не поддающейся управлению. Приведу из этих стихов четыре строки. Они дают представление о всем остальном в «русском пейзаже», как Люляев их назвал:

...Страна, где некуда идти,
Где перекрыты все пути,
Где ворон слаще соловья —

Всё это родина моя...

Тот же интернет приносит со всех концов отклики на тихий голос Зинаиды Александровны и наши общие попытки передать свой опыт. На этом я кончаю тему «Закат Европы как лидера, восход Европы — участника глобального диалога». Передаю свой микрофон Зинаиде Александровне.

Зинаида Миркина Великий вызов

Григорий Соломонович подвел историческую базу, некий итог истории, приведший вплотную к духовным задачам современности. Если говорить о духовном климате современного мира, то он приводит в ужас так же, как жара со смогом этого лета в Москве и оледенение зимой. Но есть всякие не такие явные, явления не такие массовые, которые однако имеют совершенно противоположный характер.

Я смотрю на историю с ужасом, и она кажется мне историей сумасшедшего дома. Но, может быть, это все-таки история духовного роста человечества, неизбежного роста, который не может не привести к изменениям. И вся дикая агрессия, все войны, звериная жестокость, фанатизм — подростковый период человечества, который неминуемо ведет нас к краху или к преображению.

Современный духовный учитель, живущий в Америке, Экхарт Толле, считает, что мы сейчас ближе к преображению, чем когда-либо. Но все то страшное, циничное, что бурлит на поверхности, гораздо шумнее и ярче и потому заметнее тех глубинных процессов, которые происходят и внушают ему надежду.

Кто такой Экхарт Толле? У нас его мало знают, но в Штатах книги его стали бестселлерами и издаются пяти миллионными тиражами. И это отнюдь не за счет снижения уровня и угождения массам. Как раз напротив. Духовный уровень его книг бескомпромиссно высокий. Я бы сказала высочайший. И они нужны. Они очень востребованы.

Это духовный учитель, хоть ни к какой определенной религии он себя не привязывает. Он не называет себя христианином, но говорит о Христе так, что знакомые мне христианские священники принимают его слова с трепетом и любовью.

Все, что он говорит, основано на личном опыте, на глубинном переживании, преобразившем его, давшем ему живое неопровержимое чувство бессмертия. Таинственные слова Христа «Я есмь воскресение и жизнь вечная» заново родились в нем. Но вечным он почувствовал не черты своего лица (кстати, довольно обыкновенные), не клетки своего тела, не то свое «я», которое отделено от всецелого мироздания и именуется «эго».

Нет. Он почувствовал, что кроме всего этого, глубже всего этого, в нем есть что-то еще и оно — нетленно. Именно с этим внутреннейшим, глубинным, нетленным он и отождествил себя — и ни с чем другим.

И вот тогда вдруг встали на место, сложились сами собой, как кубики из льдин Кая в слово «Вечность», вот так же встали слова Христа: «Царствие Божие внутри нас».

Положа руку на сердце, — многие ли христиане понимают, что это такое? Царствие Божие, т. е. Сам Бог внутри нас? В нас с вами? Кто же мы такие?

Митрополит Антоний Блум (Сурожский) в 2000 г. говорил, что мы теряем, может быть, последний шанс превратиться из церковной организации в Церковь. Церковью он называл собрание людей, имевших живую *встречу* с Христом. Может быть, не такую потрясающую, как встреча апостола Павла, полностью преобразившую его, производшую переворот внутри, позволивший ему сказать: «Я умер, жив во мне Христос». Да, может быть, не такую, но все-таки чувство, что я *знаю* Его, прикасался к Нему. То есть живой опыт богообщения, присутствия Божьего, то есть присутствия Жизни Вечной, ее живое ощущение.

Истинная Церковь может основываться только на людях, имевших личный опыт. На внутреннем опыте, а не на внешнем авторитете. Понимание этого и есть зрелость человечества. И вот, процесс такого взросления сейчас происходит интенсивнее, чем когда-нибудь.

Экхарт Толле не называл себя христианином. Но вот цитата из книги христианского монаха Энтони де Мелло:

«Мастер говорил, что абсурдно называть себя индейцем, китайцем, африканцем, американцем, индуистом, христианином или мусульманином. Это всего лишь ярлыки. Ученику, который заявлял, что он прежде всего иудей, а потом все остальное, он мягко сказал:

— Это не твоя сущность. Это обусловленность у тебя иудейская.

— А что же есть моя сущность?

— Пустота.

— Ты хочешь сказать, что я вакуум, пустое место? — недоверчиво переспросил ученик.

— Ты то, на что нельзя поставить ярлык».

А вот другое место из Энтони де Мелло:

«Одного европейского философа раздражали парадоксальные высказывания Мастера.

— Я слышал, — сказал философ, — что к востоку от Суэцкого канала два противоречащих друг другу утверждения могут оказаться одновременно истинными.

Мастер оценил высказывание.

— К востоку от Суэцкого канала и на сантиметр вглубь реальности, — сказал он. — Вот почему реальность остается необъяснимой загадкой».

Вот понимание того, что реальность остается необъяснимой загадкой; понимание того, что нас окружает, пронизывает великая житнетворная Тайна и наш ум не может втиснуть её в свои одномерные рамки; понимание этого и есть основа для сближения умов. Для совмещения в одном духовном пространстве множества форм, обличий.

«Я знаю только то, что я ничего не знаю», — сказал Сократ.

«Господь непостижим и непредставим умом» — вот основа истинной богословской мудрости. Спор между собою о первенстве, об истинности форм и идей — подростковая игра, тинейджерство человечества. К сожалению, отнюдь не детская, не безобидная — кровавая игра.

Все формы и имена могут быть истинными, если сознают, что они лишь формы и имена, а Суть безымянна и вне формы.

Вот слова мусульманского мистика суфия Ибн Ал Фариды:

О, создатель всех форм, что как ветер сквозной
Сквозь все формы течет, не застыв ни в одной,

—

Ты, с кем мой от любви обезумевший дух
Жаждет слиться! Да будет один вместо двух!

(Перевод Зинаиды Миркиной)

Когда на одной конференции в Швейцарии у Далай-ламы спросили, в чем особенность ламаизма, он сказал: главное — это любовь в сердце, а метафизические теории могут быть самыми разными.

Метафизические теории — вещь сложная. А кроме них есть что-то очень простое.

В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с
будущим в быту,
Нельзя к концу не впасть, как в ересь,
В неслышанную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда её не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Неслышанная простота, о которой говорит Пастернак, это прямой разговор души с Богом — напрямик. Без посредников. Это разговор с целостным мирозданием — со всем сразу. Если хотите, это разговор с самим собой, со своей последней бессмертной глубиной. Это пробуждение великой глубины и ощущение своего родства, своего единства со всем мирозданием. Ты вдруг оказываешься не оторванным листком, а единым со всем и всеми. И душа твоя становится бескрайней, как небо.

Это так просто! «В родстве со всем, что есть, уверясь». Да, просто целостному существу и совершенно непонятно осколкам, которые окружены осколками и готовы складывать, вычитать, делить и умножать

осколки на осколки. Все эти сложные действия им понятны и доступны. Но сразу охватить все одним взглядом и вместить в свое сердце... Нет, этого понять нельзя.

Есть одна замечательная сказочная повесть у нашего современного писателя и мыслителя Андрея Суздальцева «Май, драконы и волшебное зеркало». В седьмой главе этой повести герой попадает в подземный город, где всё — и люди и вещи — из льда. Из льда дома, из льда — автомобили, деньги — всё. Между тем, люди живые. И в воздухе витает неслышимый плач. Герой разобрал некоторые слова этого плача: «О, солнце блаженных, зачем ты обходишь наш край стороной?». Да, они чувствовали себя глубоко несчастными, но если приглядеться, можно было увидеть в груди у каждого просвечивавшую сквозь лёд тусклую золотую точку на месте сердца. Это была их бессмертная бабочка (бессмертная душа), которая была сделана из живого солнца, но сейчас она спала. И если только они выйдут к солнцу, она тотчас проснется и оживет. И они перестанут быть ледяными. Они жалуются и плачут о солнце, но о том, чтобы выйти к солнцу, не может быть и речи. «Мы же растаем, — говорят они. — Дать растаять? Всему? Дать растаять нашим домам, деньгам, роскошным ледяным автомобилям?»

«— Но разве вы не хотите быть счастливыми? — спросила фея.

— Счастье — это слишком неопределенно, — ответил ледяной господин. — И ведь если хорошенько вдуматься, лёд крепче каких-то воды и ветра. Он держит форму. В нем есть мужественная определенность».

Вот эта «мужественная определенность» льда пока что определяет поведение нашего мира. Да, «он крепче каких-то воды и ветра». Но творят жизнь эти лишенные крепости и формы вода и ветер. Творит жизнь Дух, и «сила Духа — больше силы ветра, силы камня».

Вот об этой силе Духа, о Встрече с живым, творящим все заново Духом, говорит Суздальцев в своей прекрасной книге «Свет Святыни».

Эта книга — одно из убедительных свидетельств того, что живой Дух набирает силу в нашем мире, что процесс взросления мира продолжается, крепнет. Вся книга — неустанная борьба с оледенением, взламыванье льда. Мертвая, давящая своим каменным авторитетом цитата противопоставляется живому, только что заново рождающемуся слову. Вся книга — призыв повернуться извне вовнутрь — туда, где находится живая творческая сила. Повернуться вовнутрь к истинной святыне. «Настоящая святыня, — говорит Суздальцев, — это то, что важнее жизни и смерти. Больше, чем жизнь, и больше, чем смерть. Потому что настоящая святыня не только бессмертна, но она сама и является источником жизни. Ее называют по-разному: Дао, Истина, Бог, Дух. Но суть одна: она начало и невидимая основа, которая способна дать жизни смысл и бесконечную глубину».

О Боге в книге говорится очень целомудренно — никогда не с чужих

слов, не путем «ледяных» авторитетных цитат. Только как о пережитом, встреченным сердцем: «Христос предупреждает нас — будьте осторожней с цитатой, с копией — потому что Меня невозможно скопировать точно, растиражировать адекватно. Меня можно лишь встретить и пережить. И не когда-то, а прямо сейчас — вне времени, пространства и объекта».

Один святой (кажется, Афанасий Великий) сказал: Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Процесс обоженья человека и есть процесс взросления до полной зрелости, процесс осуществления того образа, по которому мы созданы. Процесс взросления человечества есть процесс обращения внутрь, к живым созидательным силам.

Наше время близко к апокалиптическому. Время жатвы. Время собирания плодов. Время, когда труднее всего уклониться от Божьих требований. Мы либо будем выполнять их, либо погибнем. И эта близость гибели может быть не только угрозой, но и надеждой на преображение.

Богословие после Освенцима требует предельного спроса с себя. «...Это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полный гибели всерьез» (Пастернак).

Великая суровость нашего времени ставит нас перед бездной — великой Пустотой, которая одних будет страшить, а для других окажется пространством, расчищенным Творцом для живого творчества. Это великий вызов, на который могут и должны откликнуться все живые души.

Парадокс Бухмана и диалог культур

В обширном наследии Бухмана¹ меня больше всего захватила мысль: «Один человек и Бог — это уже большинство». Парадоксальная структура мысли удивляет, поражает, заставляет задуматься. Для самого Бухмана, по-видимому, толчком было озарение, вызвавшее нравственный поворот и волю приблизиться к Христу.

Из всей жизни Бухмана ясно, что один человек, вступивший в союз с Богом, это человек, готовый к преображению. Без такой готовности нельзя услышать волю Бога, дать свободу Богу в себе и пойти по Божьему следу.

Парадокс Бухмана — не уравнение, где $1 + \wedge =$ чему-то большому. Второй член этого уравнения, \wedge , не *прилагается* к первому, как y к x . Бог раскрывается изнутри, как «Царствие Божье внутри нас», и управляет *изнутри*, дает силу изнутри, дает мудрость почувствовать, что назрел поворот, после которого один человек ведет за собой многих.

Тут возникает внешняя аналогия с решимостью Цезаря перейти Рубикон или с решимостью Ленина захватить власть. Однако аналогия эта — ложная. Дух, ведущий к власти, очень далек от порыва преобразиться, стать Новым Адамом. Герои истории остаются в рамках мыслей и чувств Ветхого Адама. «Один человек» Бухмана не похож на них. Он стремится преодолеть в себе Ветхого Адама. Он должен оборвать все связи с миром суеты, стать одиноким, как раскрывает это Мертон в «Философии одиночества». Он должен стать чистым листом, на котором пишет Бог. Он должен открыть ворота царствия внутри нас, впустить в себя Бога, освободить в себе Бога.

Однажды к хасидскому цадику пришла группа верующих со своими вопросами. Но мудрец опередил их встречным вопросом: «Где Бог?». Пришедшие стали повторять то, что прочли в книге: «Бог вездесущ...» и т. п. «Нет, — сказал цадик. — Бог там, куда его впускают». Он думал о свободе воли человека — избрать ад или рай, впустить в себя суету мира или голос из великой тишины.

¹ Фрэнк Бухман (1878—1961) — американский религиозный проповедник, основатель международного «Общества морального перевооружения» (1938 г.). — *Прим. ред.*
Русский перевод Е. Майданович в «Континенте», № 89, 1996.

Об этом хорошо сказано в стихотворении Миркиной:

Ежеминутно возле Бога,
Не отрываясь ни на миг!
Сознанием всем, душою всею
Быть вечно здесь, не где-то там...
Нет, предпочел пахать и сеять И
с Божьих глаз ушел Адам.

Инерция забот и страстей уводит человека прочь от созерцания, от тишины, в которой слышен глубинный шепот. Ему скучно в раю. Но жизнь, потерявшая контакт с глубиной, пускает внутрь скуку и уныние. Мы убегаем от них, но они нас догоняют, и в нашем отрыве от самого себя мы постоянно пробегаем мимо святого одиночества, о котором слагал стихи Рильке, одиночество человека, обращенного к глубине. Оно свободно от обиды и ненависти, от партийных и национальных страстей. Это одиночество Нового Адама, открытое одиночеству Бога. Это одиночество узнает миг, когда следовать закону, а когда — нарушить субботу.

Антоний Сурожский, выступая на конференции в Париже, в 1974 г., говорил: «Сколько бы ни были истинны, прекрасны, справедливы наши принципы, они не соответствуют Божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы должны уйти глубже принципов, и сама эта глубина позволит нам взглянуться долго, спокойно, пламенно чисто в канву истории, канву жизни — и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог»¹.

Некоторые мои друзья называли прозрение Антония мистическим анархизмом. Но не только он говорил о превосходстве живого духа над мертвой буквой. Есть какой-то момент, когда любой принцип становится ложным, любая добродетель — пороком. Преувеличенная бережливость становится скупостью, осторожность — трусостью. Об этом писал еще Фома Аквинский. Как выйти из этой ловушки?

Представим себе венок культуры, сплетенный из многих образов, идей, принципов, законов. Они истинны, пока ограничивают друг друга. Но если одна ветвь начинает расти без всякой меры, развитие становится злокачественным, подобием раковой опухоли.

Или представим себе просто круг целостной истины, превосходящей все слова, а слова, принципы — касательными к кругу. Они истинны, пока не очень удалились от круга. Уходя по прямой линии в дурную

бесконечность, они доходят до абсурда.

Антоний Сурожский умел это показывать на простых примерах. Однажды к нему подошел молодой человек и сказал: «Владыка, Вы плохой христианин». — «...Да, — ответил Антоний, — я плохой христианин. Но почему?» — «Потому что вы не признаете абсолютной верности слов: «не противься злему»».

«Хорошо, — сказал Антоний, — Допустим, вы пошли гулять с невестой. Вас встретил хулиган, оттолкнул вас и стал валить невесту». — «Я встал бы на колени и молился бы, чтобы он отказался от дурного намерения». — «А он продолжил бы свое намерение». — «Тогда бы я стал молиться, чтобы его дурное намерение не имело бы дурных последствий». — «На месте вашей невесты, — сказал Антоний, — я поискал бы другого жениха».

Так обстоит дело с заповедью «не противься злему»; но так же — и с призывом к абсолютной правдивости. В драме А.К. Толстого «Смерть Ивана Грозного» Борис Годунов несколькими резкими словами убивает царя. То, что он сказал, было правдой. Царская армия потерпела поражение. Но старое сердце не выдержало правды, разорвалось, престол перешел к Федору Ивановичу, а фактическая власть — в руки Бориса.

Другой пример — из жизни в сталинское время. Даниил Андреев, великий религиозный мыслитель и поэт, читал вслух друзьям роман «Странники ночи». Один из друзей оказался предателем и донес. Арестовали всех, кого запомнил доносчик. На следствии жена Андреева, Алла Александровна, вспомнила и назвала следователю еще несколько фамилий. Всех посадили на десять лет. Когда Сталин умер, осужденных выпустили, и Аллу Александровну попросили объяснить свое поведение. Она отвечала: «Я христианка и лгать не могу».

Бог, которому мы дали свободу действия в нашей душе, знает, когда нарушать правила, записанные в книгах пророков, и когда следовать книге. Мы можем годами идти по торной дороге. Но в иных случаях необходимо нарушать заповеди, как их нарушал Иисус Христос; необходимо нарушить субботу.

Нравственная правда иногда дается скорее поэту, художнику, чем моралисту. У Марии Петровых есть об этом прекрасные строки:

Ты думаешь, правда проста?
Попробуй, скажи.
И сразу немеют уста,
Тоскуя по лжи.

Глубочайшие человеческие чувства не вмещаются в точные слова. Глубочайшие религиозные истины не вмещаются в точные слова. Когда Пилат спросил, что есть истина, Христос молчал. Когда к Христу привели грешницу, Он всем своим поведением показал фарисеям, что Бог — это не слово, записанное в книгу, не слово, действующее извне, силой

авторитета, а Святой Дух, веющий всюду и действующий изнутри сердца; и если это нужно, вопреки всем словам, записанным во всех книгах.

Теперь подумаем, что же это за «большинство», которое Бог дает. Добился ли Будда большинства? Добился ли Христос? На первый взгляд — да. Целые страны стали буддийскими, христианскими. Но Антоний верно сказал: христианских народов нет. Есть только отдельные христиане. Распространяясь вширь, святое учение сохраняет видимость святости, но теряет глубину, оно теряет жизненность и становится мертвой буквой, мертвым обрядом. За возрождение духа святого учения надо бороться. И беда не столько в преследованиях, сколько в милостях властителей. Широкое распространение христианства не становится торжеством Христа в грубых и лживых сердцах.

Христос не создавал новую религию. Он создавал свободу отступить от книги, когда книга, отрываясь от жизни, начинает лгать. Но эта свобода оказалась не по плечу народам. Народы колебались от буквального выполнения правил, вопреки сердцу, до пренебрежения правилами.

Распространяясь, срастаясь с народными нравами, дух христианства обрастает языческой плотью. То же было и в буддизме. Подробнее см. в моей статье «О причинах упадка буддизма в средневековой Индии»².

Из сочетания духовных озарений и языческой плоти сложилась нынешняя система культурных миров. Культурные круги в иные эпохи были связаны друг с другом, в другие — отделены пространством, как Индия и Китай, или враждой, как христианство и ислам. Внутри культурных кругов периоды единства также сменялись периодами «воюющих царств» (как это называлось в китайских хрониках). Но в Индии и Китае преобладало единство (в Индии — как господство религии «от мира сего», определявшее ход мирских дел кастовым разделением труда, вникавшее во все кастовые проблемы; в Китае — как политическое единство, поддержанное единой культурой иероглифической письменности). В средиземноморском мире преобладало разделение.

С древнейших времен царства здесь сталкивались, разрушались, возрождались, и в ходе истории Средиземноморье оторвалось от архаического мышления с его простой цельностью. Здесь философия отделилась от религии; здесь первенство в философии, в пластических искусствах и в литературе досталось грекам, римлянам — первенство в администрации и праве, евреям — в религиозном обновлении. Здесь возник резкий выбор между многобожием и единобожием. Подавляющее большинство перешло от племенной размытости духовных границ к четкому многобожию. И вопреки всем, развивалось еврейское единобожие. Возможно, этот процесс подталкивал египетский плен, вавилонский плен, отсутствие собственной земли, жизнь среди народов с

² Статья печаталась в «Ученых записках Тартуского университета» и в моей книге «Выход из транса» (1995, 2010).

чужими богами. В противовес им выросал культ незримого Бога, этически чистого и сурово требовательного.

Прошла тысяча лет, пока христианство, выросшее среди евреев, понадобилось правителям царств и империй. Римский пантеон не создал духовного единства, и в конце концов христианство было поневоле принято и приспособлено к имперским нуждам. Из Ветхого и Нового Завета сложилась новая Книга. А в VII в. историческая обстановка позволила выдвинуться еще одному пророку, и появилась третья святая книга — Коран, созвучная средиземноморскому Востоку. С тех пор средиземноморский мир стал единым по вере в единого Бога и разорванным — на три святые книги. Каждая из них требовала безусловного подчинения, и во имя святых книг начались далеко не святые войны.

Монотеизм, по словам Макса Вебера, расколдовал мир, освободил сознание от многих суеверий, проложил дорогу к трезвому использованию природы как человеческой собственности; но все это имело и губительные последствия, постепенно выплывавшие наружу. Одним из первых была религиозная нетерпимость.

Терпимость установилась в Европе только очень поздно, после Тридцатилетней войны, опустошившей Германию. Это было уже в Новое время, когда философия восстановила свою независимость, и она осудила религиозный фанатизм. Терпимость родилась вне религии и отодвинула религию на второе место. Этот процесс постепенно ослаблял веру, и современная Европа стала постхристианской. Ничего подобного не было в Индии и в Китае. Терпимость вытекала здесь из самого характера духовных вершин. В учениях, получивших решающее влияние, мистический опыт признается невыразимым в словах. Безымянное Дао объемлет Дао, имеющее имя. Лаоцзы восхваляет Дао, говоря: «О неясное, о туманное!». И раз оно не тождественно никакому слову, то возможны разные слова, проникнутые единым духом.

В Индии, еще до рубежа II и I тысячелетия до Р.Х., в гимнах вед появилась строка: «одну и ту же птицу мудрецы называют разными именами». Различия богов сводилось здесь к различию имен единой божественной силы. Образ единой птицы тоже постепенно расплывался. В утонченных формах религиозного сознания, у брахманов (не делившихся своими идеями с народом), образы богов не столько очищались, как на Ближнем Востоке, сколько просто отодвигались в сторону. В некоторых религиозно-философских системах эти духовно примитивные боги переносились в мир иллюзии, вместе со всем чувственно воспринимаемым миром. Человек, постигший истину, ставший дживан-муктой, освобожденным при жизни, ставился выше богов.

В средневековом монотеистическом мире, христианском или мусульманском, за это бы казнили. В Индии достаточно было сослаться на веды, а в толковании вед царил полная свобода. Однако Рама, герой

индийского эпоса, убил шудру, человека низшей касты, читавшего веды. Широта веры была только для брахманов.

Некоторые брахманы почитали ишвару, творца, создавшего мир. Но существовало также течение, отбрасывавшее ишвару, ниришвара. Оно признавало только две реальности, сливавшиеся в одну: Атман и Брахман.

Что такое Брахман? Это лучше всего сказано в словах индийского святого XIX в., Рамакришны: «Океан Брахмана, под воздействием порыва веры, принимает облик того бога, который родился в душе верующего». Сходный образ нашел Андрей Тарковский в фильме «Солярис». Океан, покрывающий всю поверхность планеты, мыслит и чувствует и может принимать любой образ, чтобы действовать на совесть космонавтов. Развивая образ мистического океана, можно представить себе Атман как залив океана, личные ворота в сверхличное, в бесконечное и вечное. В древнейшей упанишаде (прозаического комментария к гимнам вед) высшая точка мистического опыта не вмещается ни в какие слова. Мудрец Яджнявалкья отвечает на все попытки определить Атман словами: «Не это! Не это!». На санскрите — «На ити! На ити». Впоследствии это стало мантрой, текстом для медитации.

В другой древней упанишаде отец поучает сына, что такое выход в вечность, в бессмертие, и каждое поучение кончает словами: «Ты — это То!». «Тат твам Аси» тоже стало мантрой. Из местоимения «Тат» возникло существительное «Татхата» и в буддизме породило синоним слова «Будда» (просветленный). Татхагата — человек, тождественный Тому, непостижимо цельному. Какой-то аналог еврейского «Сын Божий».

Буддизм возник в духовном поле упанишад и легко выводится из них. Но веды и упанишады читались только брахманами, а Будда — воин, а не жрец — открыл путь в вечность и бессмертие всем. Это вызвало спор, длившийся полторы тысячи лет. Буддизм равнодушен к кастовым различиям, он обращается к личности (как и раннее христианство). А сохранится ли еврейский народ или растворится в «Новом Израиле», в церкви, — этот вопрос христиан не беспокоил. Поэтому буддизм был изгнан из индийской культуры и христианство — из еврейских общин. Два случая, когда этническое победило вселенское.

Однако спор шел мирно. Некоторые буддисты сжигали себя сами, как индуистские вдовы, подражая супруге Рамы, взошедшей на его погребальный костер. Но они не сжигали и не вешали других. А это изуверство продолжается. В Судане, в конце XX в., повесили Махмуда Таху за необычное толкование Корана.

Религиозная терпимость сближает культуры двух субглобальных регионов, двух ядер культур, распространившихся по обширной равнине. Бросающиеся в глаза различия восходят к глубокой древности. Они отмечались исследователями у нилотских дописьменных племен, динка (преобладание жрецов) и шиллуков (отсутствие жречества; необходимые

обряды раз в год совершает вождь; в Китае император, «сын неба»). К этой же древности относится сочетание общеплеменного культа туманного неба с множеством богов и духов частного и даже личного характера. При вторжении логики в мифологию, как в Средиземноморье, эта структура либо теряет свое небо и преобразуется в языческий Олимп, либо сводит богов к херувимам, серафимам и ангелам единого Бога. В Индии и Китае подобного сдвига не произошло. Они сохранили свою архаику, бесконечно обогатив ее, и создали человеческое море носителей высокой культуры, поглощавшее варварские вторжения. И если в Средиземноморье господствуют перемены, то в Индии и Китае — устойчивость, связывающая сегодняшний день с днями Ашоки и Конфуция. Сегодня, когда динамизм Запада развязал силы, с которыми не может справиться, мы начинаем это ценить.

В Индии до сих пор нет кризиса веры. Китай пережил глубокий кризис при Цинь Шихуанди, и второй кризис — в XX в. Но в течение двух тысяч лет царил конфуцианская и буддийская терпимость. Конфуцианцы две тысячи лет заботливо переписывали и хранили книгу Шан Яна, где идеи Конфуция назывались червями, пожирающими государство. Китайские буддисты, переплывшие в Японию, сочли нужным преподавать там конфуцианскую этику, полезную для молодого японского государства; хотя спор конфуцианства с буддизмом никогда не прекращался. В сверхнациональном единстве диалог учений заменяет диалог национальных культур, характерный в Европе.

Какой же смысл имеет слово «большинство», о котором говорил Бухман, в мире, где группы культур отличаются друг от друга как разные планеты? Мы привыкли к тому, что европейская планета развивалась как диалог наций, из которых то одна, то другая лидировала. Но сейчас сдвинулись целые культурные миры, и они пошли иначе, чем мы ждали. И глобальная цивилизация не становится большой

Европой или большой Америкой. Приходится думать, как выстроится диалог культурных кругов без объединяющего начала в общем наследии Средиземноморья. Лидерство явно ускользает от Европы, ускользает от Америки и видимо уступило место диалогу, в котором на равных участвуют культурные миры Азии, тысячелетиями развивавшиеся по своей собственной логике.

Я выношу за скобки проблемы России, выношу за скобки своеобразную культуру Тибета. Я хочу прежде понять как целое систему культур, в которую входит и монотеистический мир, и миры, сложившиеся вокруг ядра в Индии и Китае. Мне кажется, что эта глобальная система возникла не без высшей воли. Ибо человечество как целое еще не сотворено. Оно творится. И сегодня «большинство» не принадлежит ни христианству, ни исламу, ни Индии, ни Дальнему Востоку. Большинство принадлежит духу диалога, витающему над различием реплик.

Замечательным событием в этом диалоге была конференция семинара христианской медитации имени Джона Мейна в Лондоне, в 1994 г. Руководство конференцией было предложено Далай-ламе. Он выбрал для анализа восемь фрагментов Евангелия и разбирал их, сравнивая с традициями ламаизма. Иногда он сам задавал вопросы, и его сопредседатель, бенедиктинец, ему отвечал. Не было случая, чтобы они не нашли общий язык.

Каждый день конференции начинался с медитации. Далай-лама зажигал свечу, остальные зажигали от нее свои свечи, и полчаса проходило в безмолвии. Участники говорили, что именно в эти полчаса они глубже чувствовали дух единства, не помраченный различием слов.

Материалы конференции были изданы в 1997 г. со словарями буддийских терминов для христиан и христианских — для буддистов. Мне особенно запомнилось определение вечности: «не утомительная длительность, а выход за рамки всякой двойственности, в том числе двойственности начала и конца». Если вдуматься в эти слова, возникает чувство глубокой гармонии. Мне запомнилось также выступление Далай-ламы в Осло. Он говорил там о своем паломничестве в Святую землю христиан, после которого последовало паломничество христиан в Индию, к священному для буддистов дереву Бодхи.

Это один из важнейших путей диалога, но, конечно, не единственный. Широкие круги захватывает скорее диалог искусств — живописи, поэзии, музыки. Хочется вспомнить, что в 1946 г., когда немецкая делегация, приглашенная Бухманом, чуть не была изгнана из Ко³, Иегуди Менухин приехал в Германию с циклом концертов. Он всю жизнь думал о роли искусства в сближении народов и незадолго до своей смерти приезжал в Москву, обсудить эту возможность на встрече, длившейся несколько часов. Я хорошо ее помню.

Господин Менухин уже говорил здесь, что трудности диалога с исламом не вечны. Фанатизм — временное состояние культуры, а не ее постоянное свойство. Мавританская Испания в правление Омейядов, до вторжений с юга и севера, была самым терпимым государством в Европе. Мусульмане, иудеи, христиане мирно сотрудничали в создании цветущей культуры. И я думаю, что это возможно и в будущем. Дух диалога — дух Божий, и если человечество не погибнет, он завоюет большинство. Вспоминая слова, сказанные ливанским поэтом Халилом Джебраном о Христе, я хочу сказать: один человек вместе с Богом, даже побежденный, знает, что он победитель.

³ Здесь, в Швейцарии, проводились конференции «Общества морального перевооружения». — *Прим. ред.*

Вдохновение пророков и молчание мистиков

Когда-то религия была частью жизни племени и не выходила за рамки племени. Только в первом тысячелетии до Р.Х. началось становление единых культурных кругов — с высшим центром святости, единым для многих народов. С этого начались субглобальные цивилизации, предшественницы нынешнего нестроенного глобального единства.

Мне уже пришлось говорить, что на изрезанном побережье Средиземного моря — и около него — отдельные задачи единого духовного процесса решались в разных углах, разными народами. Религию единого Бога создали евреи, философию — греки, административноправовую систему мирового государства — римляне. Эти различия были сняты в раннехристианском сплаве. И вся история древних евреев, вся борьба пророков с язычеством вошли в христианский канон как Ветхий Завет. Но на этом каноническая история пророчества кончилась. Последним ярким всплеском его было Откровение св. Иоанна. Дальнейшие попытки пророческих движений осуждались как ересь. В истории ислама все повторилось: Мохаммед был признан «печатью пророков», то есть последним пророком. Таким образом, в мировых монотеистических религиях пророки играют роль предшественников. Сделав свое дело, они должны уйти. Начинается новая эпоха: война между христианством и исламом — и между отдельными течениями христианства и ислама.

Почему в Индии и Китае религиозных войн не было? Как назвать религии Индии и Дальнего Востока? Мусульмане сперва сочли индуизм (и буддизм, сохранившийся в Бенгалии) язычеством. С буддизмом они покончили, вырезав монахов. Но индуистов было слишком много, и с ними как-то надо было поладить. В конце концов, религиозные мыслители индуизма были признаны подобием доисламских пророков и веру их включили в «религии книги». Христианские миссионеры до сих пор считают индуизм утонченным язычеством. Язычеством им кажется то, что единого Бога-Отца в индуизме нет; роль вершины духовной иерархии играет, говоря языком христианского богословия, Святой Дух, выраженный негативно, отрицанием всех определений, которые можно дать Брахману.

Я уже приводил соответствующие тексты из вед, из упанишад, из разъяснений, данных Рамакришной. Неоднократно цитировал я и Лаоцзы. Глубины мировых религий Средиземноморья и Ближнего Востока выражены словом Бог, очищенным от всех ассоциаций с племенными богами, богами стихий, но сохранившим человеческий характер, подобный характеру пророков. Глубины религий Индии и Дальнего Востока выражены иначе. Обе эти традиции имеют свои достоинства и свои недостатки.

Религии единого Бога (но с разными Писаниями) привели в мир религиозные войны и веками воевали друг с другом. У религий с вершиной, исчезающей в тумане (или с размытыми границами), религиозных войн не было. Спор индуизма с буддизмом длился более полутора тысяч лет, но фанатики убивали только самих себя. Индуисты доказывали твердость своей веры обрядом *сати* (когда вдовы входили на погребальный костер мужа). Буддийские монахи, не имея семьи, устраивали подобие сати себе самим. Были изуверские спектакли, но не было изуверских побоищ. Религиозные войны — изнанка пророческой убежденности в истинности только одного, своего, Божьего слова, следствие верности букве в ущерб духу, веющему всюду.

Отождествление истины со словом имеет свои педагогические достоинства на первых ступенях религиозного воспитания, но дальше — оно мешает, и Павел верен Христу, когда говорит, что буква мертва, буква убивает. Христос иногда ведет себя как пророк (или понят на этот лад своими учениками), но то *новое*, что Он внес в Библию, — это право *нарушать* букву, сохраняя дух, превосходящий слова. Он не только субботу учил нарушать, Он внес правило, как нарушать *любые* запреты Моисея. Когда Христа спросили, какие две наибольшие заповеди, он ответил: «Любить Бога больше всего на свете и любить ближнего, как самого себя»; этим была утверждена истина, превосходящая все запреты, и они сразу потеряли свою безусловность. Во имя любви можно солгать, украсть, пустить в ход оружие (Антоний Сурожский настойчиво показывал это на простых жизненных примерах). Верующий теряет твердую программу. Ему открывается бездна свободного духа (и тяжесть ответственности за злоупотребление свободой). Божий след — о котором говорил Антоний — не определяется никаким принципом, он логически абсурден и подчиняется только неисповедимой внутренней воле.

Разумеется, в евангельском противопоставлении наибольших заповедей запретам Моисея — и в учении о Божьем следе у Антония есть своя опасность. И протестанты, вернувшиеся к строгости пророческого слова, честнее других христиан. Но мистик, чувствующий Божью правду сердцем, ставит сердце выше закона. Мистика снимает и различие между монотеизмом и религиями, стоящими по ту сторону монотеизма и политеизма. Для мистика всякое слово — только метафора, поэтический

образ, символ, — и при подступе к тайне Бога вплотную всякое слово стораает в огне озарения⁴... С этим связана мистическая терпимость к выбору того или иного имени невыразимой тайны.

Совершенно иной характер имеет терпимость рационализма, сложившаяся в Западной Европе. На этой терпимости лежит печать отворачивания к изуверству, которое переходит в отвращение ко всякой ревностной вере. Терпимость, неуклонно нарастающая после Тридцатилетней войны, превратила христианскую Европу в постхристианскую. Эта Европа потеряла традицию пророков и не приобрела традицию пловцов, научившихся передавать чувство человека на гребне волны твердыми словами. Хотя существуют целые течения, ищущие традицию перевода в трудах Майстера Экхарта, Иоганнеса Таулера, Рейсбрука, в диалоге с Далай-ламой и с другими восточными мистиками.

Может ли древняя традиция пророческих озарений быть возрождена буквально, простым вживанием в язык пророков Израиля? Я думаю, что в отдельных случаях артистически одаренный мистик может вжиться в древнюю роль. Но это не решает проблемы контакта с современным мышлением. Мне кажется плодотворнее продолжение традиции поэтической мистики — или дзэнского парадокса, как это делает Энтони де Мелло.

Древнееврейская пророческая традиция тесно связана с историей древних евреев и не может быть повторена. Она выросла в египетском плену, в вавилонском плену, в рассеянии. Народ, оторванный от родных полей и холмов, или привыкает к своей новой родине и растворяется в ее верованиях и нравах, или прислушивается к пророкам, которые бичуют отступников и создают образ незримого Бога, царящего над вселенной и ведущего своих избранных к всемирной славе. В своем озарении древний пророк чувствует то, что рождалось в его сердце как голос самого Бога. И вот здесь возникает проблема: как отличить непостижимо Божье от постигнутого человеком? Грубо говоря, как отличить пророческое от лжепророческого? Я прочел когда-то статью протоиерея Князева, долго изучавшего этот вопрос. В конце концов

Князев признал, что четких границ здесь нет. Многих пророков преследовали как лжепророков, побивали камнями, а потом их ученики добивались канонизации учителя и его текстов. Новая великая традиция, еретичная для старой, может стать всемирной силой... Нужно ли

⁴ Антоний сравнивает переживание мистика с чувством лодочника в суденышке, взлетающем вверх и падающем вниз в волнах. Но вот лодка выброшена на берег, лодочник ступил на твердую землю, — и тогда он может рассказать, что он испытал. Силуан выразился короче: «Сейчас я пишу, потому что со мной благодать; но если бы благодать была больше, я бы писать не мог». Все откровения — это рассказ человека, ноги которого уже стоят на твердой земле и приходят в голову твердые человеческие слова. Это первый перевод — с магии озарения на речь, распадающуюся на подлежащее, сказуемое, другие члены предложения.

приводить примеры?

Слова, родившиеся в озаренном сознании, проходят сквозь человеческий ум, со всей его культурой, языком, неповторимо личным стилем, а через несколько веков, а то и тысячелетий, бросаются в глаза черты времени и места, принадлежащие истории, а не вечности. Самый характер Бога древних евреев развивается в разговорах с чередой пророков. Сперва, при сотворении мира, Сущий подобен духу, носящемуся над водами, а потом этот дух, рух, приобретает человеческие черты, слишком *человеческие!* Охваченный гневом, он посылает на землю всемирный потоп, египетские казни. Потом его образ смягчается, становится близким Исае, полным милосердия, и наконец, голосом Отца, которому подобен Его Сын, и Сын призывает учеников быть подобным Ему, как Он подобен Отцу своему, и ставить заповеди любви выше всех запретов.

Черная харизма

Мысль о черной харизме подсказал мне Проханов. Это было 3 декабря 2008 г. — в 43-й юбилей моего выступления с речью против решения «признать заслуги Сталина»⁵. На конференции, организованной фондом Наумана, собраны были «каждой твари по паре». Куняев, как всегда, передергивал, фальшивил. Но Проханов не фальшивил. Его вдохновенное шаманство вызвало в памяти интонации, которые я слышал по радио в 1940 г. (заклятого друга не глушили). Правда мифа творилась на ходу. Она не всегда совпадала с правдой факта. Но Проханов поразил меня именно шепотью правды: ему все равно, 1/7 или 1/3 русского народа сидела при Сталине в лагерях. Иван Грозный и Петр Великий тоже были деспотами. Но это были, — переводя мысль Проханова на язык Шварца, — *свои* драконы. И Сталин завершил линию *своих* драконов, *любимых* драконов.

Теперь перейдем на язык фактов. История России разворачивалась на равнине, открытой нападением с Востока, Юга и Запада. И свои драконы охраняли Древнюю Русь, как Гималаи — Тибет. Это одна из причин размытости границ между добром и злом в фольклоре восточных славян (факт, о котором писал Г.П. Федотов и недавно — еще раз — подчеркнул игумен Вениамин Новик). Грозные владыки, хранители России, загнали духовную культуру в угол, где Малюта Скуратов всегда мог задушить Федора Колычева.

На память о драконах—спасителях легла и память ветеранов о победах 43—45 гг., оставив в тени разгром, которого хватило бы на всю Западную Европу, дважды повторенный разгром: летом 1941 г. и летом 1942 г. Армия, созданная Сталиным и подчиненная его раболепным слугам (Буденному, Ворошилову, Тимошенко) была почти уничтожена. Но Россия велика, и сами победы Гитлера создали неслыханно растянувшийся фронт, с ахиллесовыми пятками, ждавшими удара меча. На этом материале мы, ополченцы, научились побеждать, а потом Сталин присвоил себе наши победы.

⁵ «Нравственный облик исторической личности» — выступление в Институте философии в декабре 1965 г. — *Прим. ред.*

Была еще одна забытая страница, но ее твердо помнили только бабушки. В книги она попадала скупно, на телевидение — почти не попадала. Между тем, потери в деревнях и селах, при надругательстве над крестьянством, названном коллективизацией, сравнимы с военными потерями; это десятки миллионов жертв. Но их не помнят или приписывают геноцид евреям.

В 1956 г., сразу после речи Хрущева на XX съезде, раскрылись уста моих учеников и учениц в станице Шкуринской, где я работал учителем; и каждая девочка, с которой я неловко кружился на выпускном балу, рассказывала мне, сколько теней носятся над крышами их домов. Но в той же станице, перебивая тему урока, Гриша Ерешко, волнуясь, спросил меня: присвоят ли Жукову звание генералиссимуса? Память о войне требовала имени победителя. И на пустое место потихоньку вползала старая тень.

43 года спустя после моей речи в Институте философии вопрос о драконе-спасителе снова вызвал бурные прения. Для гостей из Германии ответ был ясен. Но не для русских. Великий народ нуждается в великом прошлом. Но почему не вспомнить Пушкина?

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Александрийский столп был воздвигнут в память победы над Наполеоном. Пушкин был прав: память о стихах долговечнее памяти о победах. Расцвет русской литературы XIX в. многие на Западе ставят в один ряд с искусством Древней Греции и Ренессансом. Петр был деспотом, но он вывел Россию из духовного прозябания и заставил выйти на одну из больших дорог мировой истории. И после довольно скучного ученического XVIII века Россия заблистала именами: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов. А вслед за литературой, вслед за музыкой сложилась и русская философия. И сквозь все потери, принесенные большевиками, эта линия не прервалась. Она стала пунктиром, не всегда заметным, но длится.

Петр — спорная фигура. Бывая в Питере, я почти всегда приходил поздороваться с Медным Всадником. «Утро стрелецкой казни» тоже держится в памяти. И у Ахматовой есть строки:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими стенами вить.

А наперекор этим строкам — другие:
В Кремле не надо жить. Преображенец прав.
Там древней ярости еще кишат микробы:

Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы И
самозванца спесь взамен народных прав.

В Петровских реформах страшнее оказалась не отталкивающая их жестокость, а разрыв между верхним слоем и народом. Бердяев описал Октябрьскую революцию как выход на подмости фигур из подворотни великой литературы: Хлестаковых, Ноздревых, Смердяковых. Эта волна смывала подлинную образованность. И окончательная оценка Петра зависит от того, найдут ли русские люди опору в славе русской литературы, а о войнах будут говорить правду. Как мы платили кровью за сталинские расстрелы испытанных полководцев и за безграмотные решения в 41-м и 42-м году. И только Гитлер, разбивая сталинских холоуев, помог выдвинуться будущим маршалам.

Впрочем, нельзя объяснить все наши несчастья подлостью местного начальства. Есть еще глобальные причины. Мир становится все сложнее и меняется все быстрее. Прогресс — не совсем точное слово. Развитие несет неизвестно куда и разрушает не меньше, чем созидает. Даже в самых благополучных западных странах никто еще не нашел пути в обход экологического кризиса, духовного кризиса, разрыва между поколениями и т.п. Завтрашний день всюду в тумане. А в России народ вырвали из неподвижного быта и бросили в историю, как в кипяток. Сегодня нужно очень глубоко жить, чтобы не чувствовать себя щепкой в порогах.

Взгляд сквозь бренное в вечность даже во времена Конфуция нелегко давался. А сегодняшняя образованность — призрак, знание нескольких поверхностных схем. И глобальная цивилизация — это глобальная пошлость. Это парик, надетый на лысую голову, а под ним — темная пустота, и в темноте — бесы подсознания. Пока дорога не тряская, парик держится. А начнет покрепче трясти — того гляди свалится. Благодушная пошлость очень легко переходит в агрессивное хамство, и хам Смердяков, хам Калибан предлагают свою программу: запихнуть всю сложность в прокрустово ложе и лишнее отрубить. Обещав потом светлое будущее коммунизма или тысячелетнее царство белой расы. Эту программу пытались выполнить Сталин, Гитлер, Мао Цзедун, Пол Пот. Ни у кого в XX в. не вышло. Но мы не гарантированы от новых попыток. Если не хватит нефти, а потом воды для питья, а потом и воздуха для дыхания.

Обернемся назад на сотню лет, до 1914 года. В один миг приличный, цивилизованный национализм стал зверским. Обе коалиции трещали от напряжения. Россия, управляемая ничтожествами, выходит из игры, но ее заменяет Америка, и Германия побеждена. Пять лет, с 1918-го по 1923-й, она мечется от кризиса к кризису, от коммунистического к фашистскому путчу. Но кризис не затронул Америку, и на американские деньги марка встала на ноги и парик снова утвердился на голове; но ненадолго. Начался мировой кризис. Некому было помогать Германии, все оказались в беде. И

Гитлер, впавший в ничтожество после пивного путча 23-го года, стал набирать очки, стал расти на дрожжах безработицы и голода. Отчаявшиеся люди массами сбрасывали парики и давали волю хамству, и агрессивный хам нашел виноватых: это наследственный враг на Западе и евреи, воткнувшие нож в спину победоносной германской армии.

По улицам, еще помнившим шаги Гёте, зашагали штурмовики, распевая людоедские песни. Число немцев, голосовавших за Гитлера, перевалило за 40%. Это было больше, чем у большевиков в Учредительном собрании, даже вместе с левыми эсерами. Поджог рейхстага, запрет оппозиции... Вырвалось наружу черное подполье. Два дракона приготовились к схватке. Заклятые друзья, косясь друг на друга, делят Польшу — и через два года сцепились друг с другом. Каждый хотел всего, всей Европы, власти над всем миром. Германия, объявив войну Соединенным Штатам, сама себя изолировала и рухнула. Сталин дал приказ готовить войска к «освобождению Европы». Психологической подготовкой была волна ненависти к американцам, засылавшим каких-то особых ядовитых жуков, и к «убийцам в белых халатах».

В этот миг Сталин в одночасье умер, убийц реабилитировали, про жуков забыли — и началось коллективное руководство (на языке Черчилля — собачья грызня под ковром, откуда время от времени выбрасывали мертвую собаку). Первая попытка вышвырнуть Хрущева провалилась, выбросили «антипартийную группировку». Но попытка Хрущева опубликовать дело в 64 томах⁶, подготовленное Комиссией Шверника, была приговором, который он сам себе подписал. Морально подгнившая партия не могла решиться сказать правду о сталинских репрессиях: 19 870 000 арестованных и 7 000 000 расстрелянных только за период с 1 января 1935 г. по 1 июля 1941 г. Прошлое надо было утопить во мгле. Система, отказавшаяся от хирургии крутых реформ, продолжала по инерции двигаться в направлении, потерявшем смысл, к войне, ставшей невозможной, мастерила бомбы, которые никто не решился бы сбросить, и оставалась искренней только в словах Брежнева: «не надо раскачивать лодку». Избегая раскачки, лодка медленно гнила и вдруг — рассыпалась. Так вдруг падает старый гриб, насквозь проеденный червями.

Между тем, западным немцам стали промывать мозги. Сперва, в 1946 г., подавляющее большинство опрошенных называли Гитлера величайшим политиком в истории Германии. Но каждую неделю журнал «Шпигель» выходил со статьей о гитлеровских зверствах. И конечно — не только «Шпигель». Я называю иллюстрированный еженедельник, который просматривал, когда меня допускали к спецхрану. Таких

⁶ Документы, свидетельствующие о преступлениях сталинского режима. Важнейшую роль в этом расследовании сыграла Ольга Григорьевна Шатуновская. Подробно об этом в книге Г.С. Померанца «Следствие ведет каторжанка» (М., 2004). — *Прим. ред.*

журналов, газет, телевизионных и радиопередач было много. И в 1990 г. — через 45 лет — я увидел другую страну, разговаривал с другими школьниками. Два года спустя я был гостем Академии информации и коммуникации бундесвера и как-то сразу нашел общий язык с молодыми офицерами. Только одно я не мог им объяснить — почему у нас сохранилась такая заваль, как общество «Память», из какой почвы выросли допотопные уроды. Задним числом приходит образ Авгиевых конюшен, которые мы так и не вычистили. И образ старого одеяла, которое невозможно залатать. Зашиваешь одну дыру — расплзаются две другие. Все гниет... Власть не могла перейти к новым силам — они еще не сложились. Наверх вышли циники, поменявшие свои привилегии на частную собственность. Тогда, в 1992 году, еще не видно было (мне, по крайней мере) общее гниение, захватившее и остатки крестьянства, и то, что называется привычным словом «интеллигенция». Помнится только, что я дважды высказывал мысль, казавшуюся странной, что школа для нас важнее экономики; что состояние полуобразованности неустойчиво, взрывоопасно и грозит новым культом новых вождей...

Но даже в Германии — прочно ли «социальное рыночное хозяйство»? Или снова зашевелится Смердяков со своими планами упростить неустойчивую сложность? И с очередным кризисом, захватившим Запад, снова не удастся справиться, и мировой порядок наведут китайцы? Во всяком случае, торжество Запада не кажется мне окончательным и бесповоротным. Бухаринский вариант коммунизма с китайским акцентом вполне возможен. Хайдеггер говорил Гадамеру, что в конце XXI в. мы будем изучать китайский язык. Во всяком случае нам, в России, Китай становится все ближе, Запад — все дальше. И лжепророки нас убеждают: ты сам — дерьмо, но ты часть славной традиции от Александра Невского и Иосифа Сталина. И придет день, когда православная церковь причислит Сталина к лику святых. Так Проханов кончил свое выступление на международной конференции в Москве 3 декабря 2008 г., и я своими ушами это слышал.

Мне хочется думать, что призрак дракона-спасителя — только призрак и вчерашняя трагедия не повторится. Однако невозможно предсказать, какие судороги даст растерянность масс, выбитых из деревенского быта и не нашедших себя в пятиэтажках. Массы не подготовлены к поискам внутреннего противовеса хаосу. Массы не понимают, в какую почву можно пустить свои корни. Массы не понимают, что победы Ассаргадонов стали прахом истории, что корни христианской цивилизации уходят в Иерусалим и Афины, а не в Вавилон, в жизнь малых народов, знавших только редкие победы в борьбе за независимость, но и побежденные, оставшиеся победителями в царстве Духа; и мы живем наследством распятого Иисуса и отравленного Сократа.

Что же делать горстке людей, дошедших до глубокого сердца, где

нашел убежище Бог, изгнанный с неба? В XIX в. пастор Гундтвиг учредил в Дании Народные университеты и поднял уровень крестьян до некоторого минимума внутренней формы, без которого немислима цивилизация. В Англии это шло иначе, ее собственным долгим путем.

В каждом месте это совершается по-разному, но направление развития одно: понять, что *стиль полемики важнее предметов полемики*; что предметы споров неизбежно меняются, но стиль разговоров — основа национальной традиции; что чем сложнее развитие, тем больше дискуссионных вопросов и избежать этого нельзя; но можно избежать отчуждения, вражды, ненависти и перейти от дискуссии к диалогу, где дух целого витает над различием реплик; и тогда противостояние идей становится созидательной, а не разрушительной силой. И нам надо каплей за каплей выдавливать из себя раба ленинской традиции, где оружие критики переходит в «критику оружием».

В необозримо сложном обществе единство достигается глубиной молчания, в котором рождается новое слово и рождается право менять старые слова, когда глубина этого требует. Невозможно надолго удержать прокрустово ложе. Поток событий его всегда ломает и возродит хаос. Выход из тупиков, в которые заводит развитие, — диалог, в котором никто не ищет личной победы.

Девиз рыцарей культуры

Может быть, стоит вынести на
наших щитах закон: культура

есть Сущность,

Дух,

Смысл,

Пружина,

Свет,

Путь воспитания и образования.

*Шалва Амонашвили*⁷.

Год или два тому назад к нам в Москву приезжал лорд Менухин. Со-
стоялся круглый стол. Меня тоже пригласили. Лорд Менухин развивал
свою идею: сблизить человечество поверх политических споров, через
людей искусства. Предполагалась какая-то новая встреча. Но вскоре
Менухин умер, и его начинание заглохло. А между тем, оно было не
случайно. Сразу после войны, когда Германия была извергнута из
международного общения, когда еще не изгладилось потрясение от
холокоста, Менухин поехал в эту страну с серией концертов. Двадцать лет
спустя, когда Израиль был упоен своей победой, Менухин выступил в
Кнессете с призывом превратить Иерусалим в общий центр трех великих
религий. Его воля все время была направлена к тому, что он говорил нам в
Москве.

Я бы вовсе об этом забыл, но недавно, читая книгу Амонашвили,
натолкнулся на девиз другого благородного движения, где мне хотелось
переменить только последнюю длинную строку, про путь. Я выписал в
эпиграфе то, что написал Амонашвили, но кончил бы примерно так: путь
постоянного прояснения и восстановления духовного образа, заложенного
в ребенке и разрушаемого во взрослом. Путь постоянного творческого
усилия, восстанавливающего единство духа. Этот девиз зовет нас, всех,
кто услышал его, не дожидаясь конца национальных и конфессиональных
споров, всем вместе противостоять вихрям, вырывающим человека из
самого себя.

То, что культура — общее место всех ценностей, — немудрено ска-
зать. Но Амонашвили удалось, в порыве вдохновения, создать *образ*, в
котором соединилось все то, что религии и нации разобрали по своим
углам. Это образ глобального противовеса делам, оставляющим все
меньше и меньше места для целостной жизни.

⁷ Амонашвили Шалва. В чаше ребенка спит зародыш зерна культуры. Рига, 2006. С. 52—53.

Дело *всегда* направлено на отдельные предметы, *всегда* превращает Дерево в древесину, и человек всегда имел дело с какой-то техникой, хотя бы это был топор или мотыга. Но всё шло с песней или, по крайней мере, чередовалось с песней и танцем, в которых каждый снова чувствовал себя свободным и свободно входил в ритм космоса. А сегодня человек вырван из этого ритма. Он подчиняется темпам и тактам машин, вытаскивается из себя и теряет связь со своей глубиной.

Чем быстрее темп развития, тем труднее оставаться человеком. Создается множество удобств, но исчезает чувство целого и смысл жизни. Надо как-то вырываться из скучной истории человеческого профессора, как-то бороться за жизнь, в которую вернулся смысл. И определение Амонашвили собирает в фокус несколько важнейших смыслообразующих слов. Это не определение, а гимн культуре. Каждая строка — гипербола. Но в поэзии гипербола на своем месте, а в разговоре о педагогике гимн, вырвавшийся из сердца, — как раз то, чего ей недостает, что отодвинуто и отодвигается все дальше подготовкой функционеров.

На первых страницах своей книги Амонашвили рассуждает о теории цивилизаций и других предметах, требующих долгого разбора. Но потом он погружается в свою стихию, и здесь он — не боюсь употребить это слово — здесь он гениален.

Дальше я буду исходить из разделения, которое Мартин Бубер провел между двумя мирами: мир Я — Ты и Я — Оно. Грубо говоря: я в мире людей и я в мире вещей. История много раз пересекала здесь границы. В бесписьменном обществе медведь — тоже Ты, да и сегодня животное, вызвавшее особое к себе отношение, становится Ты. И природа, когда мы ее созерцаем, а не рубим лес, — Ты. А человек становится Оно, когда его за человека не считают, или когда он сам становится биологической машиной и целиком погружен в свои функции. Чем сложнее аппарат управления, чем больше разрастается техногенный мир, тем сильнее функции втягивают в себя человека и вытягивают из сердца, из глубины. И повсюду, где складываются творческие натуры, они борются с этим, восстанавливают, насколько можно, свою область отношений Я — Ты, человека с человеком, учителя с учеником, дирижера с залом.

Борьба за восстановление человека в человеке идет, начиная с сохранения детства в ребенке и дальше, дальше — до сохранения образа и подобия Божьего в любви мужчины и женщины, в отношениях родителей с детьми и т. п. Это начало большой педагогики, длящейся до седых волос, до сближения средне образованного человека с духовными сокровищами всех великих культур, до вручения ему ключа ко всем искусствам, древним и новым, ко всем путям вглубь самого себя, в меру способностей каждого угадывать Божий след в природе и в искусстве. Это очень долгий путь, но только так можно будет возвести сперва шатер для немногих, а потом и прочные стены и крышу глобального диалога или,

может быть, глобального симбиоза великих культур над нынешним техническим и финансовым фундаментом, остающимся открытым всем разрушительным силам.

В сфере Я—Ты, которую мы восстанавливаем, строгая наука, умеющая все сосчитать, только анатомирует трупы. Здесь теория Раскольникова логически приводит к выводу, что бесполезную старушку надо убить, а сердце откликается ужасом. Здесь мнимонаучное понимание социализма привело к убийству не то сорока, не то шестидесяти миллионов человек и обескровило Россию. Здесь ум и сердце находятся в постоянном разговоре, и англичане правы, исключая «гуманитарное» из сферы математически истинного и не пытаюсь превратить историю в область строгих расчетов. Мы морочим сами себе голову, называя одним и тем же словом «наука» понимание физических процессов — и понимание человека. Ибо человек не делится на части и так же непостижим, как Бог. Во всяком случае, такова сильно развитая личность. Четыреста лет люди пишут о Гамлете, о Дон Кихоте, — и Гамлет остается для нас тайной, и Дон Кихот — тайна, постижимая только интуицией.

Разумеется, человека можно *довести* до атомарного факта. Для этого есть старый способ: одеть в униформу или в мундир чиновника. И есть новый способ: увлечь щекоткой нервов по телеку и переплести эротику и агрессию с рекламой. В обоих случаях человек исчезает в солдате, в чиновнике, в покупателе и т.п. живых единицах, и из них можно потом строить разные социальные структуры, социальные щелочи и кислоты. Но вот беда! В какой-то миг исковерканный и согнутый в бараний рог человек бунтует и дает пинок хрустальному зданию. Это предвидел Достоевский в «Записках из подполья». Иррациональное мстит — и взрывает башни в центре Нью-Йорка. Иррациональное мстит — и отбивает охоту заботиться о потомках; постмодернистская культура умирает вместе с Богом, которого она отвергла.

Приходится вспомнить некоторые ненаучные высказывания. Первое принадлежит архиепископу Кентерберрийскому Рамзаю: «человеческая душа — бездна, которую может заполнить только Бог». Второе принадлежит Антонию Блуму, митрополиту Сурожскому: «грех — это потеря контакта с собственной глубиной». В этот ряд встанет и то, что пишет Шалва Амонашвили: «В чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры». Зародыш зерна культуры теряет сияние, если его не подкармливать, если его не выращивать, а когда он заглох — восстанавливать. И эта работа — суть культуры как творческого процесса, суть работы всех людей, целиком отдавших себя культуре, рыцарей культуры, — начиная с воспитательницы детского сада, кончая прославленными виртуозами.

Сегодня они действуют поодиночке или в оторванных друг от друга областях. Моя попытка связать начинание Менухина с начинанием

Амонашвили, может быть, не удастся. Но как-то надо собирать силы против глобального разрушения человека, как-то надо бороться за не-двойственность национального и вселенского, религиозной и светской культуры, созерцания и дела. Без стремления к этому, без вечного противовеса центробежным силам — развитие грозит распадом.

В школьной педагогике равновесие воспитания, готовящего цельного человека, и образования (как подготовки к делу) — проблема, которая постоянно решается и постоянно всплывает вновь. Об этом много и хорошо писал Евгений Ямбург. Однако этого мало. Человек, окончивший школу, не готов к жизни, надо довоспитывать взрослых, помогать тем, кто сам стремится к цельности, и понемногу подталкивать на этот путь. То, что Горький назвал своими университетами, длилось у меня до 44—45 лет, когда сложился мой стиль, а кое в чем я и сейчас, в середине девятого десятка, продолжаю доучиваться. К этому мне хочется звать всех, кто не потерял стыда и стыдится своих потерянных лет.

Если эта статья вызовет отклики, можно будет поговорить, что сделать сегодня: в программах высших учебных заведений, народных университетов, в расширении программ культуры по ТВ и т. п. Начать можно с немногого. Дорога в тысячу ли начинается с первого шага.

Несколько касательных к кругу правды

Последнее время элита, имеющая допуск к эфиру, стала обсуждать проблему греха и святости. Выступали многие достойные люди. Но никто не вспомнил ключевого определения, данного Антонием Су-рожским. Неужели его глубокий опыт и размышления до сих пор не коснулись верхов образованного общества? А между тем формулировка Антония дает простой и ясный подход к целому ряду проблем: «Грех — это потеря контакта с собственной глубиной». Здесь нет ни одного непонятного слова. Каждый человек, подумав, сумеет отделить глубину, в которой действует совесть, от поверхностных страстей и увлечений, толкающих к поступкам, от которых потом щемит. Проблема, о которой писались богословские диссертации, изложены языком, доступным электромонтеру. Это общая тенденция бесед Антония, его поисков контакта с современниками, одна из причин, по которой беседы его вызвали широкий отклик. И находка Антония должна была бы оказаться в центре нашего внимания. Не нужно начинать с богословских предпосылок. Нужен только личный опыт восстания глубин против поверхностных бурь и болтовни ума. То есть минимума Самосознания, который может сложиться у любого человека, в любом культурном кругу: у атеиста, христианина, мусульманина, буддиста...

Немного подумайте, и вы поймете, что этот ключ легко повернется и к противоположности греха, к святости. Грех — отсутствие контакта, а святость — полнота контакта с собственной глубиной, в пределе — до последней глубины, где исчезает всякая двойственность и стирается граница между человеком и Богом. Когда путник из притчи Джелаледина Руми, постучав в дверь хижины, отвечает на вопрос Хозяина: «Ты пришел к Тебе». Когда св. Силуан пишет: «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Когда опыт глубины дает блаженство встречи — или невыносимую тоску при нарушении контакта (оба состояния описаны в книге «Старец Силуан» и в «Большой касыде» Ибн ал Фариды).

Там, где между Богом и человеком мыслится пропасть, святость принадлежит только Богу. Так это в древнем иудаизме и в ортодоксальном исламе. Но чувство Божественной целостности предощущается в

книге Иова, во встрече мученика с Богом, когда Бог передает ему свое ликование Творца и в этом ликовании вся мука твари тонет.

Осознание святости как вершины человеческих путей нашло свое полное выражение в словах Христа: «Будьте подобны Мне, как Я подобен Отцу Моему небесному». Сходные мысли были впоследствии выражены в суфизме и очень близкие — в раннем хасидизме. Это общая логика развития всех великих религий, начавшаяся в Индии в I тысячелетии до Р.Х. и постепенно доходящая до всех культурных кругов. У Антония она выражена в требовании непосредственной «встречи» каждого члена церкви с Богом (см. ниже).

Чтобы понять до конца Антония, Силуана и суфийских мистиков, вспомним притчу Энтони де Мелло, современного наследника нескольких средневековых традиций. В этой притче Бог спрашивает ангелов, где ему укрыться от людей, и ангелы ему отвечают: «В человеческом сердце. Вот куда люди никогда не заглядывают».

Я думаю, речь идет о последней глубине «глубокого сердца», о котором говорят мистики, когда сознание вещей в пространстве и времени почти тонет во внутреннем огне и в то же время остается, сохраняет свою трезвость, преображенную и уравновешенную присутствием сознания целостно-вечного (как это сумел изобразить Рублев в Звенигородском Спасе. Читатель может убедиться в этом, если упорно будет ходить в Отдел древнего искусства Третьяковской галереи и всматриваться в творение Рублева). Однако в разговоре с мальчиком, сказавшим, что он видел Бога, Антоний ограничился жестами: «Где ты Его видел? Здесь (и поднял руку вверх), здесь (протянув руку в пространство) или здесь (приложив ее к груди). Мальчик показал на сердце». Антоний признал подлинность встречи. Я думаю, он был прав. Именно в глубине сердца (а не на мифическом небе, разрушенном астрономами) достовернее всего чувствуется присутствие абсолютной полноты святости.

Таким образом, можно четко обозначить полное отсутствие контакта с собственной глубиной (грех) и полноту контакта (единство Отца и Сына). Но человеческая святость обычно несовершенна, и мы признаем святыми людей, которые только иногда приближаются к ее полноте. Одна из моих слушательниц внезапно почувствовала, что зародыш святости есть в каждом человеке. Это напомнило мне буддийскую сутру о татхагатагарбхе, то есть зародыше просветленного, зародыше Будды, с которым рождается каждый человек. И если говорить о детях, что-то подобное в них действительно мелькает. Однако ребенок, вырастая, проходит через полосу соблазнов и по большей части в ней застревает. Следы искушений остаются даже в святых, вырвавшихся в глубину, пробивших прочную дорогу к ней, и святые обычно сомневаются в своей святости. Или, по крайней мере, предпочитают сравнивать себя с теми, кто выше и светлее, чем с теми, кто темнее и ниже. Дух человека растет и

крепнет, когда он тянется вверх, за светом, как дерево за солнцем. В этом смысл икон, созданных великими иконописцами. И в этом же смысл ответа Рабии, когда ее спросили, что она думает о дьяволе. Бывшая рабыня, ставшая святой раннего суфизма, ответила: «Я не думаю о дьяволе, я думаю о Боге».

Однако для того, чтобы уходить от греха, чтобы увидеть грех, какой он есть, без камуфляжа, достаточно прикоснуться к самому порогу глубины, почувствовать хоть изредка слабую искорку контакта, укол совести. Я думаю, из этого исходила Улицкая, участница одной из дискуссий, предложив переменить тему разговора в эфире и поговорить о праведности, которая не такая уж редкость и известна нам по опыту. При этом Людмила Евгеньевна сделала ошибку, несколько поспешив и определив праведность как жизнь по правилам. На самом деле, отношения праведности с правильностью довольно сложные. В крайних случаях это просто разные вещи. У Акима, во «Власти тьмы» Толстого, неразвитая речь, он не умеет формулировать правила, вряд ли даже он помнит десять заповедей, — но просто чувствует сердцем, что «тае» и что «не тае». Напротив, Кайафа и Анна жили по заповедям, но праведниками они не были. Правда была у Христа, нарушавшего заповеди и за это отданного римлянам на распятие под предлогом оскорбления величия кесаря Тиберия.

Апостол Павел противопоставлял «букву» правил, которая мертвит, праведности и святости Духа. Однако единственным критерием, который он дал, было тождество с Христом («Я умер, жив во мне Христос»). Это чисто личный критерий, большинство не в силах им воспользоваться. Христос указал более доступный критерий. Когда Ему был задан вопрос, каковы две наибольшие заповеди (а это значит: какова иерархия заповедей?), — Он ответил: Возлюбить Бога всем сердцем и всей душой и возлюбить ближнего как самого себя. Установив превосходство заповедей любви над запретами, Христос тем самым снизил ранг запретов. Если заповедь блюсти день субботний сталкивается с заповедью любви к ближнему, то действие запрета приостанавливается; и так же во всех других случаях.

Однако грех греху не ровня. Нравственное чутье подсказало св. Василию Великому канон: воин, вернувшийся с поля, три года не допускается к причастию. Три года он должен молиться, чтобы отмыть душу от следа, оставленного убийством. Убивать, защищая родных, родную страну, — неизбежный грех, его нельзя не совершить, и все же это грех.

Христос учил соблюдать заповеди Моисея, и он же показывал, когда и как их можно нарушать. Правда идет по земле «Божьим следом», как это назвал Антоний, — иногда по прямой линии соблюдения заповедей, правил, принципов, а иногда резко от них отступая. Всякий принцип можно сравнить с касательной к кругу правды. Пока он касается

незримого круга, истинность его бесспорна. Но прямая где-то неизбежно отрывается от круга и уходит в дурную бесконечность. Недаром в народе говорят: принципы — глупая вещь, недаром в языке возникло выражение «довести до абсурда». До абсурда доводятся именно правила, законы, заповеди, принципы. И в таких случаях сердце, или интуиция, или дух целого (всё равно, как это назвать) должны подсказать, когда поступить юридически и логически нелепо, шагнуть по бездорожью. Это не создание нового прецедента, вдобавок к старым, — как в английском праве. Нарушение остается нарушением. Антоний с уважением говорит о принципах, о законах, опирающихся на опыт человечества, более полный, чем личный опыт. Но в какой-то точке, не отмеченной никаким крестиком, Божий след уходит с твердо очерченной прямой, возвращается к кругу правды, заметному только глубиной сердца.

Здесь возможны ошибки. Нравственное решение, рвущее с законом, невозможно без риска. Но отказаться от решения, чтобы избежать риска, — тоже риск, риск подлого бездействия. Я думаю, что в разговоре о Божьем следе Антоний имел в виду глубочайший уровень сердца, где огонь благодати уравновешен трезвением, где любовь к Богу и любовь к ближнему сливаются в единую Любовь, движущую звездами — и не помраченную страстями. Суд присяжных может сказать убийце «не виновен», но не потому, что обвиняемый сродни присяжным, что они не любят черных, чеченцев и т. п.

Даже высшая святость не всегда очевидна. У буддистов есть длинный список примет Будды — и есть понятие пратьека-Будды, то есть Будды без всяких примет. Христос на Голгофе не засветился, как на Фаворе. О праведниках и говорить нечего. Они почти всегда незаметны, как лейтенант Сидоров, о котором я писал в «Записках гадкого утенка». Случай обнаруживает праведника — и следующий день снова погружает его в темноту обыденного. Но я думаю, что расчет Гитлера — дойти до Москвы за два месяца — был сорван незаметными праведниками, последними уходившими с рубежа, попавшими в окружение, в плен и потом осужденными за измену родине. Пусть они не были святыми — но они прикоснулись к святости в своем оплеванном мученичестве.

Вернемся теперь к иерархии любви и запретов. Сегодня христиане охотнее всего вспоминают соблюдение и несоблюдение субботы. Это окаменевший пример, потому что субботу перенесли на воскресенье и культ воскресенья, равного культу субботы, у христиан нет. Но превосходство любви относится к другим запретам. Я не могу назвать любовь Паоло и Франчески прелюбодеянием. Данте отправил их в ад (хотя мог бы ограничиться чистилищем) и тут же, выслушав рассказ Франчески да Римини, упал в обморок. Этот обморок остался в святцах культуры, и мы не чувствуем себя грешниками, слушая музыку Чайковского, посвященную Франческе, вспоминая ее слова, как книга стихов упала на

пол, «и больше мы в тот день не читали». Я разделяю страдания Томаса Мертона, наступившего на горло своей любви к Марджи; глубина чувства сама по себе создает святой и неразрывный обряд, когда раскрытые глаза переливают души друг в друга и рождают общую душу.

Но история редко останавливается на золотой середине. Победила не любовь, а культура наплыва, который легко уступает место другому наплыву и в конце концов — случке. От того, что ее припудрил обряд, она не становится чем-то достойным человека. У Рильке она вызвала тошноту и стыд. Я помню последние строки стихотворения, которое много раз переводилось на русский язык:

И когда тела, не получив ожидаемого,
С отвращением отрываются друг от друга,
Одиночество хлещет реками.

Выход из этого одиночества Рильке нашел в уединении, открытом космосу. Примерно так поступил и Михаил Пришвин, но на седьмом десятке к нему пришло чувство двух людей, в уединении достигших восполненности. Редкость такой встречи создается разрывом между родом, заявляющим свои права очень рано, и медленным становлением личности. Личность в современном сложном обществе складывается не так быстро, как индивидуальность человека племени. По большей части, идеал личности, который мы гордо противопоставляем племенам, так и отцветает, не успев расцвести. А род толкает зачать новых недорослей лет с пятнадцати, иногда даже раньше. И когда личность, переходя от эксперимента к эксперименту, находит себя во внезапной встрече с другой ищущей личностью, на пути к их союзу часто стоят народившиеся дети. Для них папа и мама — незыблемые столпы жизни. Эта жизнь либо сразу надывается разводом, либо рвется повседневно, в ссорах, причина которых ребенку непонятна.

Гармония инь и ян в Дао — редкая удача. Жизнь взрослых — путаница, из которой трудно выбраться без греха. Одно хорошо, что эта путаница обходится без массовых убийств. Но расшатанность семьи и падение рождаемости — издержки, которые цивилизация вынуждена платить.

Пахнет кровью другая заповедь: «Не сотвори себе кумира». Первые христиане безусловно ее соблюдали, и никаких изображений Христа в древнейших катакомбах нет. Но затем влияние культуры Средиземноморья пересилило иудейскую традицию. Выход был найден в изменении стиля. Помог фаумский портрет. Помогло влияние буддийской иконографии, дошедшей в иллюстрациях к манихейским книгам. Как бы то ни было, христианская иконопись сложилась. Эллинизированные и литинизированные народы получили возможность молиться, созерцая

зримый образ святости.

Однако в VIII в. на престол Константинополя взошла династия выходцев из глубин Малой Азии, куда икона не успела внедриться. Почитание икон было запрещено. Разъяснения Максима Исповедника, что икона — не кумир, не тело Бога, а только символ святости, не убедили иконоборцев. Их победила женская хитрость. Афинянка Ирина, избранная в супруги императора за красоту, воспользовалась ранней смертью своего мужа, ослепила сына и совершила государственный переворот, короновав себя в мужском роде василевсом. По ее приказу, иконоборцев, отказывавшихся почитать святые иконы, стали казнить. По подсчетам историков, на которые опирался Шарль Диль в своих «Византийских портретах», было перебито до ста тысяч человек. Константин Леонтьев считал Ирину образцом христианского монарха. Церковь причислила ее к лику святых.

Меня эта канонизация не убеждает. Однако в итоге победы иконопочитателей был собран VII Вселенский собор и установлены строгие правила иконописи, продержавшиеся примерно до XVI в. Возможность чувственного соблазна была устранена. Икона давала только одну степень свободы: вглубь, к святости и только к святости. По канонам VII Вселенского собора работал и Феофан Грек, и Андрей Рублев. Византийская и древнерусская икона остается одной из вершин мирового религиозного искусства.

А дальше начался новый круг развития. Живопись Ренессанса, сохраняя библейские сюжеты, отказалась от ограничений VII Вселенского собора ради богатства красок и форм трехмерного мира; а на севере, где не было прочной традиции зримой Божественности, искусство Ренессанса вызвало реакцию: протестантизм изгнал живопись из церкви и шведские солдаты в Польше рубили иконы мечами.

Не менее долгую историческую распрю вызвало противоречие между ветхозаветным призывом почитать отца и мать свою — и словами Христа: «Я принес не мир, но меч, разлучу отца с сыном». Почитание отца и матери ассоциативно связано с почитанием традиций, почитанием рода, народа, нации, верностью своей стране. «Моя страна, права она или нет», — говорят англичане. А между тем, меч Христа эту верность рассекает, ведет к вселенской вере, и если нужно — против своей страны, ввапшей в грех (так, как поступил Бонхёффер¹).⁸

Прообраз этих споров — судьба буддизма в Индии и раннего христианства — в древнееврейской среде, в НУ вв. Культура, породившая вселенскую веру, культура, где несть ни эллина, ни иудея, в какой-то миг сознает противоречие между этой верой и самосохранением. Для евреев

⁸ Дитрих Бонхёффер — лютеранский пастор, казненный за участие в заговоре против Гитлера. Отрывок из его письма, написанного перед казнью, — в лекции «Какая элита нужна России?» (с. 121—122). — *Прим. ред.*

это была невозможность сохранить тождество с собой в диаспоре, в рассеянии между народами, без замкнутой веры. Замкнутость веры заменяет народу диаспоры государственные границы. Для Индии замкнутость религии обеспечивала ее особую роль в великой цивилизации, где кастовый социальный строй и религия были нераздельны. Индийский «новый завет», буддизм, был равнодушен к кастовым обязанностям и поставил под вопрос само существование брахманов, хранителей духовно-нравственного порядка. Брахманы боролись и за свое положение, и за сохранение индийской цивилизации как сложившегося исторического единства. Спор шел мирно полторы тысячи лет и был выигран брахманами. Буддизм из Индии был изгнан. Подробнее см. в моей статье «О причинах упадка буддизма в средневековой Индии». Она перепечатана в моей книге «Выход из транса».

Христианизация Восточной Римской империи вызвала здесь сходные формы борьбы этнического со вселенским. Все древние народы, приняв Завет Иисуса Христа, хотели какого-то своего, особого христианства, хотели сохранения своей идентичности в новой оболочке. Константинопольские власти, стремясь к единству, преследовали ереси, и когда пришли арабы, то армяне, копты, сирийцы, ассирийцы, марониты (потомки финикийцев) были уравнены в правах с православными греками и приняли мусульман как освободителей. На первых порах мусульмане были толерантны и охотно принимали местных христиан на службу.

Это не только дело давно минувших дней. Есть сильная тенденция превратить русское православие в нечно вроде иранского шиизма, в национальную церковь и основу национальной идеологии. Этому твердо противостоял митрополит Антоний Сурожский, не обращая внимания на менявшиеся курсы московской политики. В своем выступлении на конференции Сурожской епархии 8 июня 2000 г. Антоний (знавший, что дни его сочтены) говорил:

«Здесь меня сейчас очень упрекает целая группа людей (не очень многочисленная): Вы, де, изменили русскому православию, потому что строите не Русскую Церковь... А я с самого начала говорил: мы строим Церковь, как можно больше похожую на первоначальную древнюю Церковь, когда людей, абсолютно ничего общего между собой не имеющих, одно только соединяло: Христос, их вера. Стояли рядом раб и господин, люди всех возможных языков. К этому я стремился здесь: чтобы люди какие угодно могли прийти и сказать: да, у нас общее одно: Бог. И мне кажется, что в этом разрешение проблемы. Потому что если мы начинаем говорить о русском, греческом или ином православии, мы теряем людей... и, как сказал один греческий епископ, «Мы предпочитаем, чтобы они пропали, чем их передать в “чужую” церковь. Вот против чего я боролся и буду бороться. Потому что нам нужны верующие — люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может

быть апостолом Павлом, — но которые хоть в малой мере могут сказать: Я Его знаю! И он, и она, они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи иные. А обычаи тоже вещь такая, которая перерабатывается не сразу»¹.

С точки зрения Антония, национальные обычаи достойны сохранения только как форма вселенского христианства, в меру своей пронизанности духом Христа. Мучеником этой идеи пал Александр Мень. Во всяком случае, так считал Антоний Сурожский. Он откликнулся на гибель о. Александра словами, переданными Би-Би-Си: «Это убийство не уголовное и не политическое, а изуверское и наш общий позор». Противоположная оценка выражена в поговорке, которую открыто повторяют православные «руситы»: «топор зря не падает».

Книги Александра Меня сжигались на костре вместе с книгами Александра Шмемана, одного из ведущих православных богословов XX в. Однако уральский костер не помешал выходу из печати «Дневников» Шмемана, замечательного памятника живой христианской мысли. К этому направлению принадлежал и недавно скончавшийся Георгий Чистяков, автор книг, еще ждущих широкого читателя.

Наибольшие заповеди Христа ассоциативно связаны с тем, что Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью» русской культуры. Борьба за сохранение этой всемирной отзывчивости создает и будет создавать новых праведников. Их вдохновляет огонь духовной жизни, которую не может победить никакая масса материи.

Новая жизнь старого жанра

І. Дневник как спасательный круг искренности

«Дневники» Александра Шмемана⁹ вызвали много откликов, в том числе резко отрицательных. Да оно и не могло быть иначе. Представьте себе Ферапонта, персонажа романа «Братья Карамазовы», который прочитал на одной из первых страниц первой же тетради «Дневников»:

«Думал сегодня о мучительно тяжелом уровне церковной жизни,... о фанатизме, нетерпимости, действительном “рабстве” стольких людей. На нас надвигается новое средневековье, но не в том смысле, в котором употреблял это понятие Бердяев, а в смысле нового варварства.

Православные “церковники”, в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили Ферапонта (темного монаха, злословящего Зосиму в “Братьях Карамазовых”. — *Г.П.*). Он им по душе, с ним все ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, — все это соблазн, все это нужно сокрушить. В культуре начинается торжество “русинов” — неонеославянофилов. Расцвет упрощенчества, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих падшим человеческим “нутром”, как оправдание этих идолов. Тут глубочайший соблазн. Ферапонт — действительно аскет, молитвенник, подвижник, традиционалист и т. д. И расхождение меду Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским — чистая историческая случайность. Большевики уже и сейчас (в 1973 г. — *Г.П.*) — национальная русская власть, как суть эмигрантского национализма и антикоммунизма — большевистская (враждебная духу свободы. — *Г.П.*). И у того и у другого большевизма только один враг — свободный человек, особенно же свободный во Христе, то есть единственно подлинно свободный (вместивший в себя истину Целого, единый с Богом, который один свободен от цепи причин и следствий. — *Г.П.*). Подспудная ненависть ко Христу, судящему вечно “церковь” и “великого

⁹ *Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973—1983. М.: Русский путь, 2005. — При ссылках на это издание страницы указываются в тексте.*

инквизитора” в ней (“церковь” — в кавычках, то есть церковную организацию, заменившую соборность, и в кавычках же “великий инквизитор”, это опять фигура из романа Достоевского. — Г.П.).

Отсюда вечный вопрос — что делать? Оставаясь, как теперь говорят, в “системе”, волей-неволей принимаешь ее и ее методы. “Уходя” — вставая в позу “пророка” и “обличителя”, — скользишь в гордыню. Мучение от этой вечной разорванности» (С. 18—19).

На ферапонтах шапка горит — и в ответ Шмемана называют «Смердяковым от православия». Б. Любимов, в статье «Православный протестант?» («Новый мир», 2006, № 7) избегает резких выражений, но и ему кажется, что Шмеман «был богословом радости жизни», а «в дневниках он предстает чаще всего раздраженным, и это раздражение возникает не только и не столько от необходимости заседать во всевозможных советах, ... но прежде всего от исповедующихся ему людей». Любимов находит это «странным» для священника. Ф. Парфенов (в «Континенте», 2007, № 132) отвечает очень глубоким, продуманным разбором «Дневников» и хорошо объясняет все «странности», все черты нестандартной личности, не укладывающейся в шаблон, в типикон. Во всем, что касается религии и церкви, Парфенов комментирует Шмемана превосходно, и не хочется ничего повторять. Хочется поговорить о другом, об атмосфере культуры, в которой развивалось богословие Шмемана. Иногда он сам себе удивляется:

«Если кто-нибудь когда-нибудь будет “изучать” «источники» моего богословия (!), он вряд ли догадается, что на меня всегда невероятную тоску нагоняли, например, Кавасила, Дионисий Ареопагит и т. п., а что в извилистых путях моего мироощущения и, следовательно, мысли и убеждений сыграло странную, но несомненную роль: прислуживание в церкви (корпус, гие ^аи¹⁰), русская и французская поэзия, Андре Жид, дневник Жюльена Грина и дневник же Поля Леото (прочел все восемнадцать томов! — как они оба этому удивились бы!) и бесконечное число самых разнообразных биографий (например, Талейран и де Голль). Как объяснить самому себе, прежде всего, что я люблю Православие и все больше и больше убежден в его истине и все больше и больше не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего того, что для всех — синоним Православия. Я бы умер со скуки на “конгрессе византинистов”. Только самому себе я могу признаться в том, что мой интерес к Православию обратно пропорционален тому, что интересует — и так страстно — православных» (С. 236—237).

Тут каждая строка — парадокс. И одна из первых загадок — 18 томов Леото. Шмеман много читал, очень много. Я так читал только в юности, студентом-филологом, наверстывая упущенное — перед экзаменом, — по

¹⁰ Т. е. в кадетском корпусе и в соборе на ул. Дарю в Париже.

тысяче страниц в день. Но 18 томов — дневника! Что там захватывало? Жюльен Грин хоть католик, а Леото и вовсе атеист. Кажется, привлекал сам жанр дневника. Чтение дневников было школой, подготовившей «Дневники» самого Шмемана, школой искренности. Есть жанры, располагающие к фальши: реклама, протокол допроса. Говоришь то, что тебе выгодно, и молчишь о том, что невыгодно. А дневник — полная этому противоположность. Шмеман, искренний по натуре, уставал от канонов (а грубо говоря — от штампов), неизбежных в любом церковном разговоре, в любой церковной службе.

Священник — не винтик в механизме, не солдат, берущий по команде «на плечо» и «к ноге». Это человек, одаренный в одном, а в другом чувствующий себя неловко, беспомощно. Я знаю два достоверных случая, когда Антоний Сурожский, выслушав исповедь, не погружался в тину мелочей, а молча смотрел человеку в глаза — 5, 10, 15 минут — и потом говорил несколько разрешающих слов или просто переводил разговор на другую тему; и этого было достаточно, исповедующийся уходил с чувством, что его подняли на другой уровень и его проблема снята. У Шмемана этого дара не было. У него были другие дары. Есть замечательная запись в одной из последних тетрадей:

«“Дома”, “самим собой” я осознаю себя только когда читаю лекции. Каким бы он ни был, но это, в сущности, мой единственный дар. Все остальное — руководство, “духовная помощь” — все с чужого голоса и потому такое тягостное. Лекции — я всегда с удивлением ощущаю это — я читаю столько же для себя, сколько студентам. В них я не кривлю совестью, и не кривлю потому, что их читает во мне кто-то другой, и часто они просто удивляют меня: вот, оказывается, в чем вера или учение Церкви... Мне иногда хочется встать и громко заявить: “Братья, сестры! Все, что я имею сказать, о чем я могу свидетельствовать, — все это в моих лекциях. И больше ничего у меня нет, и потому, пожалуйста, не ищите у меня другого”. Ибо во всем другом я не то что лгу, но не чувствую того помазания..., которое необходимо, чтобы быть подлинным» (С. 576).

Это проблема не только церковная. Никогда прежде подлинность не была такой острой темой, как в современном обществе.

Время предписанных ролей кончилось. Открыты тысячи путей. С чужого голоса приходится выбрать одну из бесчисленных судеб, путей. И никто не помогает сказать, как ответил Гамлет Розенкранцу и Гильденстерну: «Вы можете расстроить меня, но не играть на мне». Сознание самого себя еще не сложилось. Шмеман — счастливое исключение. Он открыл в душе свой собственный источник, из которого льются слова (об этом мы прочитаем у него немного ниже). В аудитории, на лекции — его «помазание». А писать труднее, со всех сторон набегают готовые обороты, штампы. Он искал свободы от них — и нашел в дневнике: «Читая Леото, я вдруг понял, что — помимо всего прочего —

правдивость его укоренена, выражается в языке. Он — последний французский писатель, болезненно чувствующий фальшь и ложь того языка, что постепенно внутри разлагал французский язык, соотношение в нем слова, предложения со смыслом, торжество в нем исподволь отвлеченности, “идеологизма”... Так теперь пишут все, и не только по-французски. (Увы! И по-русски. — *Г.П.*) Наша эпоха создала постепенно новый язык, но и новое “чувство языка”. Причина этого двойная: “идеологизм”... и, более банально, отрыв культуры от жизни, творчество из ничего — и потому из “ничего” и состоящее, безответственная игра форм и структур» (С. 245). Почему безбожник может быть так «свободен и правдив, честен и по- своему милостив и почему именно этих качеств так трагически не хватает “религиозным” людям?» (С. 180). «И вот мне кажется, что этого “воинствующего” (на словах) атеиста Бог, так сказать, не может не любить. Именно за правдивость, за беспощадность в изображении, пересказе самого себя, без смирения, без какого бы то ни было знания о нем... Не знаю, не знаю: слова все эти как-то не подходят, однако я читаю Леото всегда именно с духовной пользой, с какой, увы, почти никогда не читаю так называемой “духовной литературы”. Он обличает во мне всякую духовную дешевку, ненужное возбуждение, страсти к красивым словам, как-то внутренне освобождает...» (С. 244).

II. Забор вокруг дома

У каждой эпохи — свой поворот к вечности. Шмеман не находит этого поворота в православии, ничего не менявшего с I—III вв., никогда не знавшего самокритики, обновления форм (он об этом несколько раз пишет), — и ищет этого поворота во французской культуре, которая ему так же сродни, как русская. И отворачивается от эпох, упорствующих в гордыне замкнутости, неподвижности достигнутого совершенства — иногда мнимого.

Для меня Византия была неведомой землей. Я успел полюбить византийскую и древнерусскую икону и проводил час за часом в Отделе древностей Третьяковской галереи. Сравнительно с византийцами и с Андреем Рублевым почти все новое казалось мне мелким. Сожалею, что Шмеман был лишен этого опыта. И я охотно принял осторожное приглашение Аверинцева посетить его лекции о средневековой культуре. Осторожным он был из вежливости (ему было 30, а мне 50), но я с готовностью стал ходить на эти лекции как студент. Сережа, еще молодой, не умевший ограничить себя определенной темой, плавал в море воскресенной им средневековой жизни, как в живой современности. Все прочитанное (а читал он безумно много) стало его собственным, и он ощущал себя в этом мире гораздо свободнее, чем в современности. Это был его дом, его наследственный удел.

Я развивался иначе. Я не мог повернуться спиной к хаосу XX века. И только *дополнял* современность: музыкой барокко, «проповедями и рассуждениями» Экхарта, беседами Судзуки и Уоттса о буддизме дзэн, беседами Кришнамурти, упанишадами, созерцанием древних икон. И мне хотелось включить в эту семью средневековое богословие, и прежде всего — самое мистическое в нем: Григория Нисского, Псевдодионисия Ареопагита, которого Шмеман зря отверг. Попытки Псевдодионисия подходить к несловесному слову, выкручивая и выворачивая обыкновенные слова, казались ему пустой игрой. Это перекликается с сопротивлением, которое в нем вызывали Достоевский и Марина Цветаева. Он, впрочем, понимал, как и Флоренский, что есть истины, которые могут быть высказаны только в истерике, в обстановке скандала, чрезмерного нажима на слова. Шмеман это, в конце концов, понял в Цветаевой, а в Псевдодионисии не стал стараться; так же как не давал себе труда разобраться в «ориенталь- щине». Будем благодарны ему за то, что он сумел разглядеть и понять. Тем более, что многое он и у Достоевского усвоил. Некоторые страницы «Дневников» — не меньший скандал, чем скандальные сцены у Достоевского.

По мере того как я читал «Дневники», мне становилось ясно, что Шмеман — человек тройной национальной укорененности. Родившись в Ревеле, переименованном в Таллин, в русской православной семье, он уже ребенком лет четырех, в 1925 г., оказался в Париже. Здесь он учился в русском кадетском корпусе, втягивал в себя русскую культуру, духовную и светскую, со всей силой эмигрантской ностальгии... Но в Париже, окруженный французской культурой, входившей во все щели, он незаметно вращался и в нее. И я совершенно понимаю, что Франция стала для Шмемана не только второй родиной, а может быть и первой по своему значению.

Вдумываясь в попытки Шмемана понять самого себя, видишь, как детская и отроческая любовь к православию проходила через французский фильтр, проходила как вселенская вера, как вера, не подчинявшаяся никаким принципам (он цитирует анонимную английскую фразу, по духу близкую Антонию Сурожскому: «принципы — это то, чем люди заменяют Бога»...). А Византия сквозь фильтр не проходила, Московия, задыхавшаяся в своей косной изоляции, не проходила, и его Россия — петербургская, европейско-русская культура.

В «Дневниках» — постоянные цитаты из русских поэтов, размышления о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом, Чехове, Цветаевой, Набокове, Мандельштаме, Пастернаке, Бродском. Набокова он жестко критикует, а книгу Синявского о Гоголе, которую не приняла почти вся русская эмиграция, прочел с восхищением и еще раз перечитал, чтобы убедиться в своей правоте.

Когда духовный мир многих старых эмигрантов сужался, у Шме- мана

он расширяется. После переезда в Америку — на переломе между юностью и зрелостью, в 1951 г., — он быстро в ней укореняется. Человеку, вышедшему из однозначной укорененности, сравнительно легко перейти от двойственной и к тройственной. Можно сравнить это с неосуществленным преобразованием Австро-Венгрии в Австро-Венгро-Польшу. До этого был проект Австро-Венгро-Славии, но помешал выстрел Гавриила Принципа. В 1918 г. появился другой проект, Австро-Венгро-Польша; помешала катастрофа в сентябре на западном фронте. Однако в личном плане Шмеман ту же идею, никем не обсуждавшуюся, превосходно осуществил: он создал тройственную державу и мирно жил в ней.

Никакой расколотости, никаких внутренних конфликтов это не вызвало. Расколотость вызывало другое: участие в реформах церкви, при понимании, что глубокие реформы невозможны. А тройная национальная идентичность была вполне гармоничной. Это *зрячая*, любовь к России, Франции, Америке с ясным сознанием их недостатков. Опираясь на одну свою ипостась, Шмеман видит и критикует другие: французскую склонность к левой фразе, русские бессмысленные споры, где каждый кричит свое и никто не слушает другого; короткую американскую память, непонимание окружающего мира и навязывание всем вокруг своей односторонности. Следя за политической борьбой во Франции, Шмеман чувствует себя правым в среде левых и левым среди правых. В спорах, вызванных публицистикой Солженицына, он пытается остаться в центре:

«Я не могу до конца принять ни одной из сторон и в их стопроцентном отвержении одна другой вижу ужасающую ошибку. Вот опять — поляризация русского сознания, это несчастное “или — или”. Солженицын и вслед за ним Гинзбург (Александр Гинзбург, известный диссидент. — *Г.П.*) хотят, чтобы было так, как они “переживают”. Хотят существования, несмотря на всё, на всю тьму, — неразложимой, *невинной* России, к которой *можно*, а потому и *нужно* вернуться... Поэтому они (но главное, конечно, Солженицын) должны отвергать таких людей, как Синявский или Амальрик и т. д., отвергать их право на любовь к России. А они ее *любят*, и их оскорбляет, да и бесит, это отрицание у них любви: любви, направленной не на какую-то нетленную, почти трансцендентную “сущность” России, а на Россию “эмпирическую”, на родину (“да, и такой, моя Россия!”). В замысле я мог бы принять обе установки. Но на практике Солженицын во имя “своей” России выкидывает из нее половину ее исторической плоти (Петербург, XIX век, Пастернака и т. д.), предпочитает ей, в качестве идеала, — Аввакума и раскольников, а “синявские” все-таки как-никак презирают всякую ее “плоть”), остаются безнадежными, “культурными элитистами”. Разговор между нами невозможен не из-за аргументов или идей, а из-за *тональности*, присущей каждой установке. Солженицыну невыносим утонченный, культурный

“говорок” Синявского, его “культурность”, ибо не “культуру” любит он в России, а что-то совсем другое. Какую-то присущую ей “правду” определить которую он, в сущности, не способен, во всяком случае, в категориях отвлеченных, в мысли, но по отношению к которой всякая “культура”, особенно русская, кажется ему мелкотравчатой. Синявскому же ненавистна всякая “утробность” и из нее рождающийся утопизм, максимализм, преувеличение. В истории на земле возможно только культурное “возделывание”, но не “преображение” земли в небо. Условие культуры — свобода, терпимость, принципиальный “плюрализм”, моральная чистоплотность, “уважение к личности”» (С. 473—474; подчеркнуто мною. — Г.П.).

Здесь я готов подо всем подписаться. Однако «вселенскость» Шмемана имеет свои границы. За забором — не только Византия, но и вся «ориентальщина». «Вчера вечером, — записывает Шмеман, — от усталости, несколько глав Уоттса, “Своим путем”... Меня несколько не интересуют восточные религии. У Уоттса меня интересует только один факт: что он был священником и ушел ради этого, всегда мне казавшегося неглубоким, ориентализма. Поэтому прочел только те главы, что относятся к его пятилетнему англиканскому священству...» (С. 12).

С самоограничением привычного культурного круга я столкнулся несколько десятков лет тому назад у Аверинцева. Как-то он неожиданно подарил мне две книги по искусству Востока. «Мне это не нужно, — сказал он, — а Вам может пригодиться». Я тогда же или несколько позже назвал его «средиземноморским почвенником». Видимо, он повторял понравившуюся ему шутку как самоопределение, и в этом качестве оно попало в воспоминания О. Седаковой. Я думаю, что Шмемана тоже можно назвать почвенником или домоседом своего «королевского домена»¹¹.

Любопытно однако сравнить «домен» Шмемана с «доменом» Аверинцева. Границы «почвы» Аверинцева уходят далеко вглубь истории, до Книги Иова и трагедий Софокла. Это лично пережитая традиция древней и средневековой книги (которую Шмеман отодвигает от себя). Но в пространстве границы двух духовных империй сходятся: до Суэцкого канала — Дар уль Ислам, царство правды, а после — Дар уль Харб (перевозу сознательно неточно: царство лжи. Буддизм, например, вспоминается только для того, чтобы унижить его).

Такое самоограничение не имеет ничего общего с распространенной у нас диаспорофобией, начиная с отвержения классической диаспоры, восходящей к вавилонскому пленению евреев, до возникающей прямо на глазах диаспоры чеченцев, азербайджанцев и др. Ничего общего нет и с тем, что Страхов назвал «борьбой с Западом». Запад и для Аверинцева, и

¹¹ В Средние века Париж и еще несколько городов были личным владением короля, в отличие от земель полувисимых герцогов и графов.

для Шмемана — дом родной. Но остается страх потерять больше, чем приобретешь, в выходе за известные границы. Потерять уникальность Христа? Оставить христианству только место лепестка в «розе мира», как у Даниила Андреева?

Но почему не было этого страха у Александра Меня? Этот деятельный проповедник христианства среди неверующей советской интеллигенции с глубоким вниманием относился к индийскому духовному опыту и написал о нем талантливую книгу «У врат молчания». Религии Индии толкуются Менем как открытые вопросы, на которые ответом стал Христос. Можно не соглашаться с этим, но книга интересная, яркая.

Тут какая-то тайна личности. У каждой сложившейся личности свое «помазание», делающее ее государем в своем «доме». Общим остается то, что жизнь в XX в. (и в нынешнем XXI веке) ломает старые границы, национальные, цивилизационные, не создавая взамен никакого сердечного и духовного родства. Через это прошла когда-то и Римская империя, выравниваемая рубанком жесткого римского нрава, а потом ее духовно объединило христианство. Можно ли надеяться, что диалог цивилизаций когда-нибудь объединит нынешний мир? Пока что только в очень узком слое складывается вселенское духовное сознание, опираясь на общие черты «отрицательного» богословия, отбрасывая все попытки *определить* символы глубины. Нельзя определить, поставить предел Богу. Нельзя определить, поставить пределы атману или Брахману, Будде. В целостности духа, тонут все слова, доступные уму. В православии отрицательное направление называется апофатическим, и его пытаются возродить Христос Янарис. В западном мире сходные идеи и сходные ссылки на св. Дионисия можно найти у Майстра Экхарта, и сегодня идеи Экхарта переживают свое возрождение. В Индии движение к тайне через отрицание всех ее определений было впервые испытано в УШ—У1 вв. до Р.Х. и с тех пор не умирало. В исламе к отрицательному богословию склонялся Джелалледин Руми и другие суфии. Но я не знаю, сможет ли меньшинство, к которому я близок, серьезно повлиять на остальные шесть миллиардов людей.

Я думаю, что в отношениях этих шести миллиардов друг с другом необходимо только одно, о чем уже писал Шмеман: «свобода, терпимость, принципиальный “плюрализм”, моральная чистоплотность и “уважение к личности”».

Ш. Национальная открытость и племенная замкнутость

Святой Дух, веющий всюду, един, но образы, которые он принимает в человеческом сердце, а затем в словах пророков, бодисатв и святых, в каждом культурном кругу свои. Зинаида Миркина, переводя Рильке, Ибн ал-Фарида и других поэтов-мистиков, натолкнулась на это в своей работе.

Она старалась всегда почувствовать некий целостный, не разделенный на слова и обороты, язык Святого духа и передать его по-русски, временами отступая от немецкого текста и подстрочника с арабского. Именно так получались хорошие переводы. Опираясь на этот опыт, мы, в нашей общей книге «Великие религии мира», определяем святыя писания как «переводы» с целостного языка Святого Духа, «услышанного» (внутренним слухом), а затем разложенного на отдельные слова и обороты своей культуры, используя лексику и грамматику иврита, санскрита, пали, китайского, арабского языка. Святыя Писания — попытки передать словами несловесный поток истины, несловесный поток Духа. Их достоинства — достоинства классического перевода. Их недостатки — недостатки всякого перевода. И когда Павел говорит, что буква мертва и только дух животворит, и когда Шмеман восстает против омертвления религии — они оба имеют в виду устаревший, омертвевший перевод. У Шмемана иногда так можно понять и само слово «религия», как общепринятую, но омертвевшую оболочку живой любви и веры: «По Евангелию, так ясно: Бога любят святыя и грешники. Его не любят и, когда могут, распинают “религиозные” люди» (С. 302).

Несловесное слово (возможно близкое к тому, что Сведенборг писал о языке ангелов) может быть лучше всего передано из глаз в глаза, от сердца к сердцу, как в разговоре св. Серафима Саровского с Мотовиловым и в общении других великих старцев со своими учениками (в православии, в индуизме, буддизме, суфизме). Широкому кругу верующих так ничего не передашь. Вчитывание в книги (как у иудаистов и протестантов) часто дает укоренение в букве. Это не лучше, чем культ.

Пастор Рубенис назвал культ религиозным театром, с либретто из Писания, с использованием музыки, икон, свечей. Культ создает настроение, направленность, которая иногда помогает пережить подлинное единство с Богом или хоть тень единства. Александр Шмеман посвятил много усилий, чтобы евхаристия именно так и переживалась. Но сам он пережил озарение на балконе, при блеске солнца на автомобильном стекле. И у многих других людей переживание реальности светлой духовной бездны, объемлющей бездну пространства и времени, приходило неожиданно, нечаянно. Хотя подробный разбор пути человека к благодати обнаруживает почти всегда долгие мучительные поиски ответа на «проклятые вопросы». И Бог всегда ближе к Иову, чем к его благочестивым друзьям.

Однако буква, которую Шмеман беспощадно обличает, не перестает быть для него святой, как сосуд, в котором древность и Средние века донесли до нас дух, едва слышный в современном шуме машин и заседательской суеты. Религиозные общины, объединенные вокруг разных писаний, не перестают быть несовершенными, но незаменимыми сосудами Святого Духа. Слово «религия» в «Дневниках» Шмемана не

имеет однозначного смысла. Мы каждый раз должны заново учитывать, что он созерцает своим умственным взором: помощь в вере или искажение веры.

IV. Анализ исторического величия

Этот вопрос очень остро встал перед Шмеманом, когда он встретился и несколько раз беседовал с А.И. Солженицыным. Сперва Шмеман был захвачен — как все мы, после «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» и еще раз после «Архипелага». Некоторые до сих пор захвачены публицистикой Солженицына 70-х годов. В личности и стиле Солженицына — большая сила. Но Шмеман примерно за год разобрался в противоречиях этой силы (или, лучше сказать, — этих сил). Уже в мае 1975 г. он пишет:

«Его сокровище Россия и *только* Россия. Мое — Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя, во всяком случае, — нет. И все же остается эта “отчужденность ценностей...”».

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности — несомненно, из него действительно исходит сила (“мана”) — (магическая сила. — Г.П.). Но... (вот начинаются “но”)...» (С. 183).

Через несколько дней — более обдуманная запись:

«Для меня несомненно, что если в целом мое первое “чтение” остается верным (признание великой силы. — Г.П.) по отношению к последней глубине солженицынского творчества, то внутри этого целого лежат непереваженными “опухолями” довольно-таки страшные соблазны, так что вопрос может быть поставлен так: что возобладает в Солженицыне?.. Сейчас творчество Солженицына на перепутье, и именно потому, что в нем все более проступает “человек” со своими соблазнами... Поэтому так важно, я убежден, разобраться в «соблазнах», определить *опухоли*.

Первая и, наверное, самая важная из них — это его отношение к России, качество его “национализма”... И у Достоевского, и у Толстого “национализм” имеет какое-то религиозное и, следовательно, “универсальное” значение, они его так или иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или правдой... У Солженицына все “ценности” заменяются одной: *русскостью*. Эта русскость не есть синтез, сочетание, сложение, сплав всех аспектов и всех “ценностей”, созданных, выношенных в России и даже при всем своем противоречии составляющих “Россию”. Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к “русскости”. Так, отвергаются во имя ее — Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря уже о всей современности: Платонов, например, и т. д. Цель, задача Солженицына, по его словам, — восстановить историческую память

русского народа. Но, парадоксальным образом, эта историческая задача исходит из какого-то радикального антиисторизма и также упирается в него. Символ здесь — влюбленность, иначе не скажешь, — в *старообрядчество*. При этом теоретическая суть спора между старообрядцами и Никоном его не занимает. Старообрядчество есть одновременно и символ и воплощение “русскости” в ее как раз *неизменности*. Пафос старообрядчества в отрицании перемены, то есть “истории”, и именно этот пафос и пленяет Солженицына. Нравственное содержание, ценность, критерий этой “русскости” Солженицына не интересует. Для него важным и решающим оказывается то, что, начиная с Петра, нарастает в России *измена русскости*, достигшая своего апогея в большевизме. Спасение России — в возврате к русскости, ради чего нужно и отгородиться от Запада, и отречься от “имперскости” русской истории и русской культуры, от “Нам внятно все...” (Блок. — Г.П.). В чем же соблазн? В том, что Солженицын совсем не ощущает старообрядчества как тупика и кризиса русского сознания, как национального соблазна, а Петра, скажем, как — при всех его трагических недостатках — спасителя России из этого тупика. “Русскость” как самозамыкание в жизни только собою и своим — то есть, в итоге, самоудушение... В примате национального над личным. В “ипостазировании” России в одном из ее “воплощений” (т. е. к сведению России к одному из ее аспектов, отбрасывая все остальное. — Г.П.). В антиисторизме, отрицающем возможность развития самого “национального”, оказывающегося какой-то сверхвременной данностью.

Вторая “опухоль” — всё возрастающий, как мне кажется, “идеологизм” Солженицына. Для меня — потрясающей и глубочайшей правдой “Архипелага” было (и остается) обличение и изобличение *идеологизма* как основного, дьявольского зла современного мира. Марксизм есть, в этом смысле, завершение всех идеологий, *идеологии* как таковой, ибо всякая идеология отрицает свободу, личность, всякая приносит человека в жертву утопии, истине, оторвавшейся от жизни. Идеология — это христианство, оторвавшееся от Христа, и потому она возникла и царствует именно в “христианском мире”. “Пророк” в Солженицыне (то есть автор Архипелага. — Г.П.) показал, явил это с окончательной силой. “Человек” в нем все больше и больше “идеологизируется”. Идеология — это отрицание настоящего во имя будущего, это “инструментализация” человека (какова польза его для *моего* или нашего дела). Это переход с “соборования” (т. е. объединения неповторимых личностей в одном соборе. — Г.П.) на полемику. Это — определение от обратного, от отталкивания. Это решетка отвлеченных истин, наброшенная на мир и на жизнь и делающая невозможным *общение*, ибо все становится тактикой и стратегией. “Идеологизм” Солженицына — это торжество в нем “Борца”. Каковым он является как “человек” (в отличие от творца). Это ленинское

начало в нем: разрыв, окрик, использование людей. Это — “средство”), отделенное от “цели” (в отличие от Христа, снимающего как страшную сущность демонизма различие “средства” и “цели”, ибо во Христе — цель, то есть Царство Божие, раскрывается в “средстве”: Он Сам, Его жизнь...).

Солженицыну, как Ленину, нужна, в сущности, *партия*, то есть коллектив, безоговорочно подчиненный его руководству и лично ему лояльный... Ленин всю жизнь “рвет связи”, лишь бы не быть отождествленным с чем-либо чуждым его цели и его средствам. Лояльность достигается устрашением, опасностью быть отлученным от “дела” и его вождя. И это не “личное”, не для себя, только для дела, только для абсолютной истины цели...

Третья “опухоль” — в области религиозного сознания. Творец приемлет «триединую интуицию» (творение — падение — спасение). Человек сопротивляется ей, сопротивляется, в сущности, Христу. Ему легче с Богом, чем с Христом. К Богу можно так или иначе возвести наши “ценности”. Христос требует их “переоценки”. Всякая иерархия ценностей может быть “санкционирована” упоминанием Бога, только одна — абсолютно отличная от всех — возможна со Христом. Религия Бога, религия вообще может даже питать *гордость* и, *гордыню* («мы Русские, с нами Бог»). Религия Христа и Бога, в нем открытого, несовместима с гордыней. С Богом можно все “оправдать”, во Христе — то, что не умрет, не оживет. Все христианство: “Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете...” и дальше: “Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге»» (С. 191—193).

Здесь очень много близкого мне. Это образец спора без «пены на губах», без захлеба и вспышек ненависти. Это образец трезвой любви, с пониманием возможности вырождения своего великого собеседника, возможности полной победы «борца» над «творцом» — но с надеждой (к сожалению, не осуществившейся), что не будет скатывания к полемике ленинского стиля, к спору на уничтожение, на растаптывание.

То, что Шмеман клеймил как «идеологизм», я называл «логикой Раскольникова». Начиная с живого опыта, с живой боли, она уходит по касательной во тьму внешнюю, по рельсам одной неподвижной идеи; напротив, культура — это венок символов, принципов, идеи, стремления, ограничивающих друг друга и не дающих никакой идее умчаться в дурную бесконечность. Наконец, в терминах культуры можно поставить вопрос, бесконечно более важный, чем все творчество Солженицына, — об отношении Христа к христианству. Здесь надо цитировать фрагменты, ибо иногда они противоречат друг другу.

«Идеология — это христианство, оторвавшееся от Христа, и потому она возникла и царствует именно в христианском мире». Да, такая последовательность может быть прослежена. Но что ее вызвало? Не

предшествовал ли отрыву христианства от Христа фанатизм, истребление иконоборцев святой Ириной в Византии, истребление альбигойцев святым Домеником и т. д. и т. п. Правда, инквизиция опиралась на отдельные фразы, вырванные из целостности Евангелия, но ведь подобные подлоги случались и в истории индуизма, буддизма... Почему в Индии не было ни травли еретиков, ни религиозных войн? Почему только великие монотеистические религии, наследницы Авраама, запятнали себя кровью? Не связано ли это с ослеплением пророков, приписывавших свой перевод неизреченного Духа Божьего непосредственно Богу, словно Бог, не обладая устами, все же говорил на иврите или арамите, а не на своем Божьем языке? Не связана ли терпимость религий Индии и Дальнего Востока с господством апофатического, отрицательного богопознания над катафатическим, наивно образным? Там, где вершиной духовной иерархии был знак тайны, доступной только внесловесному сознанию, с древнейших времен царил терпимость, органически связанная с верой. Три вещи нужны для спасения — учит книга, которую Шмеман не дочитал, — «великая вера, великое рвение и великое сомнение в словах будд и бодисатв». Это — из арсенала буддизма дзэн. Он существует примерно 1400 лет, но никакой идеологии не породил.

Нельзя ли считать гонения, обрушившиеся, в конце концов, на саму церковь, завершением политики обеих ветвей вселенской церкви — и православной, и католической, и их кузена — ислама (потомка того же Авраама через Измаила)? Там, где не было катафатического монотеизма, не было религиозных войн, перешедших, вслед за упадком веры, в идеологические войны. И религиозная нетерпимость не породила своего наследника — идеологическую нетерпимость, окрасившую XX век.

Посмотрим теперь дальше. «Всякая иерархия ценностей может быть “санкционирована” упоминанием Бога, только одна — абсолютно отличная от всех — возможна со Христом. Религия вообще может даже питать гордость и гордыню («мы Русские, с нами Бог»). Религия Христа и Бога, в нем открытого, несовместима с гордыней». Как это согласовать с историей? Разве не было гордыни христианской? Разве не христианский священник освятил нож, которым есаул Гонта зарезал свою жену, польку-католичку и своих детей, рожденных полькой-католичкой? Разве программой восстания гайдамаков не был геноцид всего неправославного населения Украины? Разве не во имя Христа действовала инквизиция? Вырвать строку из Нового Завета, оправдывая любую мерзость, так же просто, как из Ветхого Завета. Разве не из Евангелия, не из слов Христа, выросла ересь скопцов? Разве не ссылками на Христа оправдывали свои действия все армии (кроме турецкой), столкнувшиеся в 1914—1918 гг.? И не с благословения ли церкви православной погибли в окопах Первой мировой войны восемь миллионов русских солдат?

Всякая религия способна к деградации, всякое общество к этому

способно. Миф о золотом веке, уступающем, шаг за шагом, веку серебряному, медному и наконец железному, — этот миф есть у многих народов. Но почему-то только в христианстве еще в I в. возник страх подмены Христа Антихристом. Этот страх подмены толкал староверов к самосожжению. Этот страх чувствуется в «великом инквизиторе» Достоевского, Даниил Андреев прямо связывает «великого инквизитора» Достоевского с Антихристом, и в конце концов — Шмеман сам связывает «великого инквизитора» с ферапонтовщиной... Любопытно, что страха Антихриста почти не было на Западе.

В чем *уникальность* Христа? В целостности его духа, которую мы теряем, как только цепляемся за отдельные его слова. Но ведь такова же и целостность Будды, целостность Кришны и в «Бхагаватгите». Если пробиться сквозь уровень слов в глубину, то в глубине, в достигнутом уровне, на котором, по словам св. Августина, «зла нет», свет не отбрасывает тени.

Зло появляется, когда мы теряем дух целого и начинаем рвать великие тексты на куски, на отдельные фразы. Это правило надо применить и к чтению «Дневников» Шмемана. Его книга истинна в целом, особенно тогда, когда она опирается на культуру в целом. Привожу пример, который говорит сам за себя: «Пушкин России нужен гораздо больше, чем Типикон (справочник по богослужению. — Г.П.). Во имя Пушкина нельзя ненавидеть, резать и сажать в тюрьму. А во имя Типикона очень даже можно» (С. 81).

V. Образ «Дневника» как целого

Попробуем теперь пойти по следу Шмемана и подтвердить все сказанное отрывками, сохраняя свойственные «Дневникам» единство сквозь бессистемность: «Реальность: еще вчера ее ощутил — идя в церковь к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви, до обедни. Всегда то же ощущение времени, наполненного вечностью, полноты, тайной радости. Мысль, что Церковь только для того и нужна во всей своей “эмпирии”, чтобы этот опыт был, жил. Там, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура» (С. 9).

Подумайте: почему в пустой церкви Шмеман больше чувствует Бога, чем служа обедню? Потому что созерцание — простор для Святого Духа, а богослужение — дело, хотя и святое, и священник отчасти отдает себя *делу*, а не Богу как Духу. «Меня отделяют от Тебя твои иконы», — писал Рильке в «Часослове». Так мог бы написать и Шмеман, если бы он был поэтом.

На С. 14 находим «разговор с В., который, как всегда, обезоруживает меня своей логикой, хотя логика эта способна доказать всегда лишь часть настоящей правды, и даже и ее извратить. Ужас логики, ужасавшей Шестова. Ее жизненное бесплодие. Разумный и логичный человек вряд ли

способен к раскаянию. Он способен лишь к анализу». Это не отрицание логики на ее законном месте. Но логика оперирует с атомарными фактами, соединяет их или разъединяет, она никогда не может ухватить Целое; и не только Целое космоса, духа и т. п., но и Целое человека. Пока Раскольников рассуждает, он не может понять Соню, думающую сердцем.

Шмеман отгораживается от «ориентальщины, но вот пришло «трагическое известие о нервном срыве в Лос-Анжелесе с Значит, признаки, поразившие меня три недели тому назад, были реальными. Боюсь, что причина всё та же: “с головой ушел в свою деятельность”. А вот этого-то и не нужно. Полная невозможность в какой-то момент увидеть все в перспективе, отрешиться, не дать суете и мелочности съесть душу... Страшная ошибка современного человека — отождествление жизни с действием, мыслью и т. д. И уже почти полная неспособность жить, ощущать, осознать передвижение солнечного луча по стене — это не только “тоже” событие, это и есть сама реальность жизни. Не усилие *для* действия и *для* мысли, не их безразличный фон, а то, в сущности, ради того (чтобы оно было, ощущалось, “жилось”) и стоит действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает нам Себя ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. И потому прав Жюльен Грин: “Все там, все иное”, нет ничего истинного кроме качания веток на фоне неба”» (С. 15).

Качание веток на фоне неба — дзэнский ответ на дзэнский вопрос: что такое Дао? Или: что такое дзэн? Возможно несколько вариантов, но они все такого же рода. Шмеман дважды цитирует дзэнскую мысль, заимствуя ее из книги французского католика. Засилье абстракций в современной культуре толкает к интуиции, опирающейся на непосредственное созерцание. Тяга к созерцанию пронизывает сегодня все культуры.

А вот еще один пример поиска истины в созерцании, схватывающем бытие как целое, не разорванное на осколки. «Смирненное начало весны. Дождливое воскресенье. Тишина, пустота этих маленьких городов. Радость подспудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам субстрат жизни. И поздно вечером снова тьма, дождь, огни, освещенные окна... Если не чувствовать этого, то что могут значить слова: “Тебя поем, Тебя благословим, Тебя благодарим”. А это суть религии, и если ее нет, то начинается страшная подмена. Кто выдумал (а мы теперь в этом живем), что религия — это разрешение проблем, это ответы... Это всегда — переход в другое измерение, и, следовательно, не разрешение, а снятие проблем» (С. 20).

Это понимание религиозной жизни как неразрывной связи со всей окружающей жизнью, но в целом, в единстве, в недвойственности природы. А через страницу — в целостности жизни у семейного очага: «Что такое счастье? Это жить вот так, как мы живем сейчас с Ляной вдвоем, наслаждаясь каждым часом (утром — кофе, вечером — два-три

часа тишины и т. д.). Никаких особенных “обсуждений”. Все ясно и потому — так хорошо! А, наверное, если бы начали “формулировать” сущность этого самоочевидного счастья, сделали бы это по-разному и, того гляди, поссорились бы о словах. Мои казались бы ей не теми и $V^{\wedge}se-ve^{\wedge}8a$ ¹². “Непонимание”! И замутилось бы счастье. Поэтому по мере приближения к “реальности” все меньше нужно слов. В вечности же уже только “свят, свят, свят...”. Только слова хвалы и благодарения, моление, белизна полноты и радости. Поэтому и слова только те подлинны и нужны, которые не о реальности (“обсуждение”), а сами реальность: ее символ, присутствие, явление, таинство. Слово Божие. Молитва. Искусство. Когда-то таким словом было и богословие: не только слова о Боге, но божественные слова — “явление”. Но прельстились чечевичной похлебкой обсуждений и доказательств, захотело стать словом научным — и стало пустотой и болтовней. И возомнило о себе, и стало нужным только такому же другому болтуну, но не человеку, не глубине человеческой культуры».

С этим отрывком перекликается отрывок о доме (на С. 55—56):

«Я обожаю дом, и для меня уехать из него с ночевкой всегда подобно смерти, возвращение кажется бесконечно далеким! Наличие в мире дома — всех этих освещенных окон, за каждым из которых чей-то “дом” меня всегда наполняет светлой радостью. Я, как Мегре (сыщик во французских фильмах. — Г.П.), почти хотел бы в каждый из них проникнуть, ощутить его единственность, качество его жизненного тепла. Всякий раз, что я вижу мужчину или женщину, идущих с покупками — значит, домой, я думаю — вот он или она идет домой, в свою настоящую жизнь. И мне делается хорошо, и они делаются мне какими-то близкими. Больше всего меня занимает — что делают люди, когда они “ничего не делают”, то есть именно живут. И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. “Мещанское счастье”: это выдумали, в это вложили презрение и осуждение активисты всех оттенков, то есть все те, кто, в сущности, лишен глубины самой жизни, думающие, что она всецело распадается на дела... Бог дал нам свою жизнь, а не идеи, доктрины и правила. И общение только в жизни, а не в делах... Христос был бездомен не потому, что презирал “мещанское счастье”, — у него было детство, семья, дом, а потому, что Он был “дома” всюду в мире, Его Отцом сотворенном как дом человека. Только “дому”... можно, по Евангелию, сказать: “мир дому сему”. Мы не имеем “зде пребывающего града”... но мы имеем дом — человеческий и дом Божий — Церковь. И, конечно, самое глубокое переживание Церкви — это именно переживание ее как дома».

Не за каждым окном такая безмятежная любовь, такой колодец

¹² Мсе уегза — наоборот (лат.).

тишины и мира. И вместе с тем, это правда, правда, лежащая в глубине бытия, правда, заложенная в библейских словах: да оставит Адам отца и мать и прилепится к жене своей. Статистика этой правды не подтверждает. Но тем хуже для общества, у которого такая статистика. И тем лучше для мужчин и женщин, опровергающих статистику. За их личную правду надо бороться, и тогда, в какой-то миг, откроется царство, которое внутри нас. Этим рассказом о миге Фаворского света, запечатавшемся на всю жизнь, мы закончим. Но каждый читатель может продолжить начатый нами ряд.

«Я убежден, что это, на глубине, те откровения (“эпифании”), те прикосновения, явления иного, которые затем и определяют изнутри “мироощущение”. Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, “никто не отнимет от нас”, потому что она стала самой глубиной души) потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т. д. Например, та Великая Суббота, когда, перед тем как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великий Субботе, а через нее — в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, — в сущности всегда внутренняя потребность передать и себе и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность — не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь — это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. “Анамнезис” (неза- бываемость. — /./.) все христианство — это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь¹. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. “Будьте как дети” — это и означает “будьте открыты вечности”. Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть “взрослым”, от необходимости попирать “детство” в себе. Взрослая религия — не религия, и точка; а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому всё время извращаем. “Вы уже не дети — будьте серьезны!” Но только детство — серьезно. Первое убийство детства — это его превращение в молодежь. Взрослый способен вернуться к детству. Молодежь — это отречение от детства во имя еще не наступившей взрослости. Христос нам явлен как ребенок и как взрослый. Но он не явлен нам как молодежь... человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает» (С. 24—25).

Определение вечности подчеркнуто мною — Г.П.

Сквозь облако мифов

Один из парадоксов русской истории — разрыв между *бедностью* фольклора восточных славян и *богатством взлетов* русской культуры. Об этом писали мыслители Серебряного века и снова пишет игумен о. Вениамин Новик, автор замечательной книги «Православие, христианство, демократия», в своей недавней статье. После ряда цитат из статьи Г.П. Федотова он заключает:

«Славянская языческая религиозность связана с мистикой земных стихий, особенно с землей и водой... Эта *женственная* по своей природе мистика не уравновешена небесной (мужской) мистикой света и разума. В этической сфере это приводит к недостаточному различению добра и зла. В эстетической это находит выражение в пластичности, как “перетекания” одного в другое. Это порождает такую опасную черту в национальном характере, как привычку к абсурду». Древнерусское сознание «богословствует в красках», как писал князь Трубецкой, — а не в мысли. По наблюдениям о.Вениамина, «убожество интеллектуальной культуры Древней Руси поразительно. В течение семи столетий (до XVII в.) мы не находим ни следа научной мысли».

Я думаю, последнее обстоятельство можно объяснить ленью византийцев, не потрудившихся внедрить в сознание крещеных ими народов свой язык, создать мост к уровню мысли древних. На Западе латынь стала мостом от Аристотеля к Аквинату. Между тем, Кирилл и Мефодий переводили только Библию. Святоотеческие писания, так называемое «Добротолюбие», стало доступным русским лишь в XIII в., так что Древняя Русь и богословия православного не знала. Русской мысли не за что было зацепиться, с чего начать. Впоследствии славянофилы пришли к истокам православия через Шеллинга, либералы учились у Гегеля, радикалы — у Фейербаха. Что же было *почвой* великой русской литературы XIX века?

Я думаю, *вызов хаоса*. Восточные славяне были переимчивы. Там, где влияние было однозначным, они просто усваивали местные одежды и нравы, как терские казаки. Но Россия в целом складывалась в столкновениях византийского чина и степной воли, деспотизма соседних восточных держав и европейских *прав человека*. И владыка

Антоний Сурожский недаром процитировал Ницше: тот, кто не носит в себе хаос, никогда не родит звезды. У Достоевского эта звезда родилась. Мы находим у него сплетенные в единство *отголоски* французской, немецкой, английской литературы; замысел «Идиота» сложился после чтения Кальдерона. А на всю структуру романов, начиная с «Преступления и наказания», наложил отпечаток замысел Гоголя: создать русскую «Божественную комедию».

Достоевский этот замысел воплотил сквозь быт: Соня Мармеладо-ва стоит у незримых ворот рая, Свидригайлов — у ворот ада, а между ними мечется герой чистилища, Раскольников. Эта расстановка повторяется в «Братьях Карамазовых», и Зосима говорит, что вопрос Ивана, может, не решится в положительную сторону, но в отрицательную он никогда не решится. И Иван, быть может, никогда не выйдет из чистилища.

Глубинные просветы в мистику есть и в «Идиоте», и в «Бесах». Только в «Подростке» планка снижается и противопоставления, вдохновленные Данте, уступают место спору культур: Версиров расколот между созидательными и разрушительными силами Запада, а образ старца Макара — одна из попыток продолжить византийский след. В разговоре со своим сыном Версиров переносит особенности гения Достоевского на все русское творческое меньшинство, на избранную тысячу:

«У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный *высший* культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу.. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо раньше, чем будет подведен общий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец (то есть общеевропейец. — Г.П.)... Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех.»

Целостность взлетов европейско-русской культуры подымается над распрями наций Европы, замкнутых в своих рамках. А в наше время к нам (как, впрочем, и к другим) обращен вызов мирового хаоса. Этот вызов однако не по плечу среднему интеллигенту. Он прячется от хаоса в какую-то одну идею (западничества или славянофильства, народничества или марксизма); или дает противоречиям разорвать себя на части.

«Я, пожалуй, и достойный человек, — говорит рассказчик в романе «Игрок», — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть! Да все русские таковы, а знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены (я бы уточнил: одарены противоположными идеями. — Г.П.), чтоб скоро приискать себе пристойную форму. Тут все дело в *форме*. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной *формы* нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и *вообще* редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других

европейцев так хорошо определилась *форма*, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. От этого так много *форма* у них и значит».

Слово «форма» повторяется здесь пять раз. На перекрестке между нациями и цивилизациями брезжит возможность создать новую форму, *оформить* ядро новой цивилизации. Но это удалось один раз, в Тибете, благодаря горам, избавившим (до самого XX в.) от защиты границ. В России была противоположная ситуация: перекресток, открытый нападением со всех сторон, требовал воинов, и воины были глухи к задачам культуры; только указ о вольности дворянства открыл дорогу версильской «тысяче», тысяче одиноких гениев.

Господствует, как пишет об этом Синявский, в «Голосе из хора», «текущая, аморфность, готовность войти в любую форму. Мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись от духовского плена, бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобной вражде ко всему иноземному.. Мы — консерваторы, потому что мы *нигилисты*, и одно оборачивается *другим* и замещает *другое* в истории. Мы держимся за форму, потому что нам *не хватает* формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры.». Я думаю, что Синявский имеет в виду внутреннюю структуру личности, ценностей незыблемую скалу, вошедшую в плоть и кровь.

В течение почти всего XX века ломались какие бы то ни было структуры. Разрушена была полностью сельская жизнь, весь образ жизни подавляющего большинства народа. Масса людей была вырвана из расшатанной, но еще живой дописьменной культуры и колеблется на уровне полуобразованности. А Монтень был прав: хорошие люди философы и хорошие люди простые крестьяне, но все зло от полуобразованности. Аморфная полуобразованность не знает, чего она хочет, не умеет делать разумный выбор, ей нужен вождь, Гитлер, Сталин, аятолла Хомейни. К парламентскому правлению она не способна.

Сегодня важнее всех экономических реформ — хорошая школа (я это повторяю с 1987 г.), школа, способная повысить уровень интеллектуальной и нравственной образованности до того минимума, которого еще в XIX в. достигла Дания благодаря народным университетам пастора Грундтвига. Важнее всех реформ — достичь такого уровня диалога, при котором цивилизованный стиль полемики становится опорой общественного порядка, о каких бы предметах ни шел спор. Итогом всех дискуссий, в которых я принимал участие, всех попыток прорваться сквозь облако мифов и туман абстракций, был вывод: стиль полемики важнее предметов полемики. Предметы споров в английском парламенте

постоянно менялись, но стиль полемики оставался незыблемым с XVIII века, и он предохранил Англию от кризисов, пережитых Россией и (к счастью, недолго) Германией. В России складывались, накануне революции, образцы вдумчивого спора, но приход к власти Ленина отбросил страну к страстной захваченности Белинского: «Нет, что бы вы ни сказали, я ни в чем с вами не соглашусь!». И Солженцын признавался Шмеману, что Ленин — одно из его воплощений в «Красном колесе»; ибо (так думал Александр Исаевич) с ленинским наследием можно бороться только ленинскими приемами спора.

Всему этому противостоит стиль «Дневников» Александра Шмемана. Никто в России и, может быть, в русском зарубежье не нашел такого равновесия между захваченностью тревогами современности и глубоким внутренним покоем, не умел так взлетать над крайностями и сохранять сочувствие к тому, что этого заслуживает, при беспощадной критике заносов мысли. И я вижу в стиле «Дневников» выход из нынешнего кризиса.

Бдительный страж Целого

Совесьть — это действие Бога в человеческой душе, — написал Достоевский в одном из своих черновиков. Божественное находит к нам дорогу, и его присутствие действует, как страж целостной истины, того Целого, которое пережил Смешной человек в своем сне. Это не отвлеченное понятие. Страж Целого живет посредине груди, в Индии его называли чакрой сердца, в патристике — «глубоким сердцем». Я впервые почувствовал эту точку благодатной помощи без всякого знания о чакрах и другой метафизике.

Об этом случае я много раз говорил. Но есть воспоминания, которые приходится поворачивать с разных сторон. Мне тогда было 18 лет. Мама спросила меня: «Гришенька, неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу?».

Дело было в 1936 г. До этого нам говорили, что мы строим экономический фундамент социализма, а потом вдруг стали говорить, что социализм построен. Мама ничего не могла понять. С высокомерием студента, только что сдавшего экзамен, я сказал: «Конечно. У нас ведь общественная собственность на средства производства». И сейчас же точка посредине груди заболела от фальши. Я ни о чем не подумал, ничего не подверг анализу. Я не вспомнил замечания Энгельса в «Антидюринге», что государственная собственность и общественная собственность — разные вещи. Я просто вдруг почувствовал, что лгу. Вопрос мамы вынул слово из системы понятий, в которых она не разбиралась, и перенес его в простую, как тогда говорили, обывательскую жизнь, — и сразу оказалось, что в аудитории нам ввали и я сейчас вру. Все, чему меня научили, рухнуло. Доказательства я стал искать потом, после крушения. Так математик интуитивно видит новую формулу, а потом уже доказывает очевидность. Страж Целого одним своим вздохом опрокинул систему, созданную умом.

Потом он опровергал и другое, заставляя ум отделиться от страстей, не дошедших до сердца. Он говорил мне: это не мое. Не моим могла быть эротическая захваченность или полемическая захваченность. Страж Целого не давал мне увлечься красавицей, душа которой была мне чужой, или не позволял отвечать на злостные полеми

ческие приемы с той же злостью, или в семейном споре вдруг вспомнить: то, о чем мы спорим, меньше, чем наша любовь. И надо замолчать.

Сердечное чувство останавливало и логику, уходившую по касательной к сердцу жизни, и утробные силы, рвавшиеся подчинить себе мою волю. Бердяев считал, что они всеильны и человек в иные минуты неизбежно опускается до уровня животного. Он ошибался. Неизбежности нет. Так же ошибаются люди, считавшие непобедимой этническую, расовую и религиозную ненависть. С годами глубокое сердце становилось у меня все сильнее. Страж Целого быстро вмешивался и добивался, чтобы страсти подчинялись ему.

В наши дни царская воля сердца часто теряется и первое место в иерархии занимают то ум, то чресла. По теории Фрейда, они мстят за непослушание неврозами. И целостность человека подменяется хрупкой коалицией ума-компьютера со страстями кота Мурра. Человек становится рабом грубых импульсов плоти и холодных расчетов ума. И только в тишине, очень редкой в нашем шумном мире, слабый внутренний голос подчиняет себе всю силу доказательств Раскольникова и страстей Рогожина.

В терминах имен, созданных Достоевским, — это голос князя Мышкина. И то, что он говорит, отчетливо слышится в разговоре с Рогожиным о вере: «не то...», «не про то». Это формула вето, пришедшего в мир форм и имен из безымянной глубины. «Не про то» говорит ученый атеист, и страсть, заставившая убить соседа за красивые часы, тоже «не то».

Дух Мышкина согревает грудь и тогда, когда нет никакого видимого творческого порыва. Огонь то горит в ней, то тлеет, но всегда готов заново вспыхнуть. Я чувствовал его и в порывах вдохновения, и в полете над страхом («Есть вдохновение в бою...» — Вальсингам был прав), и в порыве влюбленности, вырастающей в негаснущий огонь любви, и просто на высоте в 260 метров у могилы Волошина, когда охватываешь взглядом три бухты. Он царит в отношении Я и Ты, во всей огромной сфере любви, связывающей один образ Божий с другим и друг через друга — с самим Богом. Он отдает точным наукам отношение Я и Оно, отношение к пространству, расколовшемуся на предметы, и к времени, рассыпавшемуся на секунды. Он знает свой миг, когда дело смолкает и расправляется созерцание Целого. Он рождает интуитивное знание там, где другого знания просто нет. Но он не делает легким то, что трудно, не освобождает от мук неразрешимых вопросов, когда сталкивается долг с долгом, любовь с любовью. Он упорен только в одном: отсылать решением вглубь, дальше и дальше вглубь, пока ответ сам не становится ясным. И тогда человек идет по водам, как посуху, и улавливает точку, когда продолжение добродетели становится пороком.

Мне хочется закончить стихотворением Зинаиды Миркиной:

Все ответы давно готовы,
Но еще есть один вопрос:
Как узнаешь ты, если снова К нам
сегодня придет Христос?
Не появится знак небесный,
И опять, как тогда, опять Кто-то
властный и всем известный Нам
прикажет Его распять.
В сердце стукнет, как в окна ветер:
Самозванец Ты или Бог?
Кто поможет мне, кто ответит —
Почва выплыла из-под ног...
До чего же трудна свобода!
Никого в мировой тиши.
Неужели идти по водам
Внутри, в бескрайность своей души?

С любовью и без любви

Один из моих друзей познакомился с современным пророком. Этот человек сознавал, что в озарении ему приходят какие-то важные мысли и верил, что ему диктует Бог. Мой друг совершенно уверен в его искренности, и я не сомневаюсь, что некоторые мысли приходят во внутреннем свете, как бы высветляются им. В слове «вдохновение» уже заложено что-то подобное, и границу между вдохновением и озарением трудно провести. При горении сердца возникает что-то вроде внутреннего света, и иногда прямо — свет. Но что этот свет высветляет? Почему у Моисея он высветляет одно, у других — другое? И почему чередование озарений в Иудее, в Аравии, в Индии носит явный отпечаток разных эпох и культур?

У меня самого в молодости, после трех месяцев напряженных мыслей о затерянности человека во вселенной, родилась в озарении пара мыслей, и довольно долго я считал, что это чистая истина. Но постепенно я понял, что стремление к истине запуталось тогда в ограниченности слов, которые были наготове в моем уме. Хотя воспоминание, что я не испугался созерцать затерянность в математической и физической бесконечности, помогло мне преодолеть испуг при бомбежке и раз навсегда преодолеть психическую травму от первого ранения, когда я был тяжело ранен и контужен. Чувство полета над страхом стало с тех пор моим приобретением.

Этот опыт позволяет мне думать, что озарение Моисея родилось в его собственном уме, было высвечено вспышкой света откуда-то из вечности, но не продиктовано, и Бог послал ему только вспышку, а не готовый текст. И десять заповедей были лишь первой, грубо прямолинейной формулировкой нравственного закона. А потом прошли годы, века, тысячелетия, ум человеческий стал тоньше, и в Евангелии мы находим слова о двух наибольших заповедях (о любви к Богу и любви к ближнему). После этих подчеркнутых слов остальные заповеди потеряли свою однозначность. И тут же в Евангелии даются примеры: можно в субботу вправить вывих больному, можно простить и отпустить грешницу, а не побивать ее камнями и т. п. Наш современник, игумен Евмений, составил целую таблицу поступков, которые без любви ста

новятся грехом. Я запомнил пару примеров: вера без любви — фанатизм, справедливость без любви — жестокость... Можно найти и обратные примеры. Покойный митрополит Антоний Сурожский приводил их в своих проповедях: в иных случаях *надо* применить насилие, чтобы не допустить худшего зла. Фома Аквинский писал, что голодный *вправе* украсть, чтобы не умереть.

Это не значит, что десять заповедей потеряли свою святость. Но вопрос, когда и насколько можно их нарушить, становится делом сердца и совести. Одну из десяти заповедей нарушила сама церковь: Моисей осудил бы поклонение иконам. Протестанты в этом вопросе вернулись к Моисею (не сотвори себе кумира).

Я думаю, что Максим-исповедник был прав, защищая иконопись против династии иконоборцев в Византии VIII в. Он проводил черту между образом святости и живописью, отвлекающей от Бога. Однако где граница между подлинной иконой (например, Рублева), подводящей к святости, и простым знаком, в который велено верить? Этот вопрос всегда открыт.

Привязанность к слову, ставшему каноном, заставила осудить и распять Христа. Нечто подобное не раз повторялось в истории. Во имя правды святой сожгли многих праведников. И закон без любви, даже если он с юридической точки зрения бесспорен, для одухотворенного сознания не имеет окончательной силы. Русское народное сознание было право, называя всех каторжников «несчастливыми». Осужденные не раз становились жертвами несовершенного закона, закона без любви. В каждой традиции свои законы, но выше всех законов — любовь. Это понял Христос и замечательно коротко высказал ап. Павел: «буква мертва (в другом, латинском переводе — буква убивает), только дух животворит». И для этого духа нет преград, нет буквы, стоящей выше любви.

Послесловие к трагедии

Часть 1

Книга протоиерея Георгия Митрофанова¹³ стоит того, чтобы ее прочесть, продумать... Интересны собранные им данные о позиции церкви во временно оккупированных областях. Радует призыв покаяться в церковном конформизме 20-х и последующих годов. Однако слово «конформизм» не всегда употребляется к месту, например, к генералу Брусилову, за его призыв поддержать Красную армию в 1920 г. Врангель тогда еще оборонял Крым, — напоминает нам о. Георгий. Но в то время, когда опубликован был призыв Брусилова, Врангель не оборонялся, а наступал, используя переброску советских войск на Запад. Именно там неожиданно возникла серьезная угроза — со стороны Польши. Дождавшись поражения основных сил Белой армии, Пилсудский двинул войска на Восток, захватил Киев и явно собирался присоединить к Речи Посполитой всю Правобережную Украину.

Именно тогда, во имя России единой и неделимой, Брусилов призвал отбить у поляков «мать городов русских» (он, конечно, не предвидел, что Украина сама по себе станет за границей). Врангелем Советы занялись позже, когда Пилсудский был отброшен и с Польшей заключен мир. В событиях осени 1920 г. Брусилов никакого участия не принимал и до конца своей жизни оставался в тени.

Врангеля добивал деятель, выпавший из поля зрения о. Георгия: Нестор Махно. Учитывая настроения крестьян, он согласился допустить в часть своих отрядов комиссаров, назвать это дивизией, и махновцы, форсировав Сиваш, сходу взяли врангелевскую столицу, Симферополь. После этого Врангелю оставалось только дать приказ отходить к гаваням и садиться на корабли. Из официальной советской истории рейд махновских тачанок выпал. Только в повести (если не ошибаюсь, Малышкина) описан их подвиг, со сменой всех географических терминов, без малейшего упоминания Крыма. Официальную легенду о штурме Перекопа нельзя было трогать. Любопытно, что агиография о. Георгия совпадает по своей структуре с идеографией

¹³ *Митрофанов Георгий*. Трагедия России. «Запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике. СПб.: Моби Дик, 2009.

советских историков. Крестьянская вольница, восставшая и против белых, и против красных, не укладывалась в схему. Только частушка от нее осталась:

Эх, яблочко, цвета ясного,
Бей слева белого, справа красного!

Агиографическое мышление с его резким делением на сияющее добро и смердящее зло окрашивает и отношение о. Георгия к попыткам белой эмиграции понять свои политические ошибки. Мысленно канонизируя белое движение, о. Георгий не признает за ним никаких ошибок. Но как быть с фактами? Неприятные факты просто исчезают вместе с Махно.

Трезвый анализ я нашел у крестьянского сына, генерала Григоренко. Он рассказывает, как вели себя дроздовцы на своем пути с румынского фронта на Дон, как они наспех расстреливали нескольких местных жителей, избранных в совет, а затем шли дальше. Так же беспристрастно описывается красный террор, с массовыми расстрелами заложников (такими средствами Советы разоружили крестьян, заставили их сдать припрятанное оружие). Затем Петр Григорьевич задает вопрос, на который он не знал ответа: почему его земляки все прощали красным и ничего не прощали белым? Думаю, сыграла свою роль историческая инерция. В период Гражданской войны раскручивалась пружина ненависти, закручивавшаяся несколько веков...

Был момент, когда белое движение могло отождествить себя с крестьянским антибольшевизмом. В Самаре, захваченной Колчаком, собрался Комитет членов Учредительного собрания. В этом собрании преобладали эсеры. В 1917 г. левые эсеры поддержали большевиков, правое большинство заняло резко антибольшевистскую позицию. Сотрудничество царского адмирала с террористами было нелегким, но оно открывало огромные перспективы. Колчак этих перспектив не почувствовал, он приказал разогнать Комитет. И тут случилось неоправданное.

Офицеры, для которых все социалисты были на одно лицо, перекололи и изрубили шашками эсеров, своих союзников. Колчак не решился никого привлечь к ответственности. Тогда эсеры, только что застрелившие Володарского и Урицкого, ранившие Ленина, заключили мир с большевикам, и белые части, находившиеся под их влиянием, открыли красный фронт. А при попытке Колчака провести мобилизацию начались восстания. Крестьяне упорно защищали свой нейтралитет в Гражданской войне. В конце концов, совет рабочих депутатов Иркутска не пропускал эшелонов, двигавшихся к Владивостоку, пока командование чехословацкого корпуса не выдаст Колчака.

Его выдали, и бывшие союзники Колчака, заседавшие в Совете,

судили его и расстреляли. Это была расплата за резню в Самаре. Разрушив союз с эсерами, колчаковцы сами себя изолировали и обрекли на гибель. Была ли эта гибель неизбежной? Политический гений, наподобие Бонапарта, справился бы с этой ситуацией. Но политических гениев царская Россия не вырастила. Так же, как не вырастила брежневская Россия, и некому было вести «перестройку».

Мудрено ли, что в состязании красного террора с белым нейтралитет стал выбором таких людей, как Короленко, Волошин? Мудрено ли, что после Ивана IV и Петра I в революционном хаосе победил самодержавный утопизм? Мудрено ли, что завершением его стал деспотизм Сталина? И в 1941—45 гг. мы встали перед выбором: или Гитлер, или Сталин? И генерал Деникин обратился к Сталину с просьбой — принять его в советскую армию, хотя бы рядовым, — защищать родину? Если Брусилов конформист, то не был ли конформистом Деникин? Или в обоих победил патриотизм русского воина — защищать Россию Грозного с его опричниной, защищать Россию ленинского красного террора, Россию сталинского террора против всех и каждого, но Россию?

Часть 2

Из остальных тем, поднятых о Георгием, мне хочется разобрать только одну, действительно запретную, и не потому, что ее кто-то запретил, а по внутреннему запрету. Очень трудно оценить мученический конец Власова и его сподвижников, никак не вяжется это с оценкой движения, почти целиком (до 1945 г.) оставшегося на бумаге. Если не считать боя с эсесовским гарнизоном Праги, о котором мне по свежим следам рассказал чешский мальчик, волнуясь за судьбу своих освободителей.

Власов в 1941 г. защищал Киев и оставил его после запоздалого сталинского приказа «отступить». В декабре он разделил с Рокоссовским славу первой победы в великой войне и был назначен заместителем командующего фронтом. Задачей был прорыв к блокированному Ленинграду. Но зима кончалась. Уже в феврале засияло теплое солнце, и на небе — ни одного нашего самолета. Только танец юнкер-сов, только траектории бомб. Наш ополченский полк ночью взял деревню Павловка, к югу от Ильменя, а днем мы стали мясом для немецкой мясорубки. После первого, легкого ранения, я пошел на перевязку. Шел во весь рост, среди разрывов мин, падавших без остановки, когда прерывался танец юнкерсов. Хотелось запомнить белое снежное поле с частыми разовыми пятнами. Потом мне в тот же день прибавили покрепче и контузили. В эвакогоспитале, куда в конце концов я был доставлен, раненые солдаты вынесли единодушный приговор сталинской стратегии: не война, а одно убийство.

Несколько дальше к северу немцы, обескровив наши части, рвавшиеся к Ленинграду, окружили их. Власов решился на отчаянный шаг: перелетел

в кольцо, перестроил боеспособные части и прорвал окружение. Надо было воспользоваться успехом и выходить из мешка. Но Сталин приказал наступать — то есть лезть в мешок поглубже. Потом в мешок влез весь наш южный фронт и дал немцам выйти к Волге и к Эльбрусу. Маршала Шапошникова, советовавшего с весны перейти к стратегической обороне, Сталин снял с поста. Вероятно, он снял бы и Власова, если бы тот ему перечил. Видимо, Власов на это не решился. Единственное, что он мог сделать — и сделал, — это остаться со своим авангардом, не возвращаться на командный пункт. Второе окружение прорвать не удалось. Немцы крошили наши части, загоняли в болото и брали в плен.

Я представляю себе, как Власов, прячась в лесной избушке, проклинал Сталина, никогда не побывавшего на переднем крае, уничтожившего 80% высшего командного состава во время Большого террора, никого не слушавшего и всем командовавшего. В состоянии судорог ненависти Власов обнаружил немецкий патруль. И вырвался его крик — «не стреляйте!».

Остальное вытекало из добровольной сдачи в плен. Дальше пошли надежды на невозможное, невыполнимые планы, попытки сохранить независимость, раздражавшие Гитлера, и в конце концов марш на Запад. Освободив чешскую столицу, власовцы на авось ушли в американскую зону, откуда их выдали на расправу¹⁴.

Все декларации и воззвания, которые Власов издавал в своем межумочном положении, — бумажный хлам истории. Но достойно памяти решение выдержать любые пытки, но не играть жалкую роль на процессе. Это решение удалось выполнить. Ни одной пытки не сломили. Что давало «изменникам Родины» силы? Это загадка, которую никто пока не решил, и я приступаю к ней с чувством риска.

Перечислим возможные факторы. Верность своим воззваниям и декларациям? Не думаю. Все эти бумаги создавались задним числом. Решало другое: невозможность простить Сталину его безжалостный, бесчеловечный, демонический стиль правления. В Бутырской тюрьме я играл в шашки с «изменником родины». Измена его состояла в том, что он возобновил занятия в сельской школе при немцах. Этот человек мне нравился: твердый, подтянутый, бодрый. Однажды я вполголоса спросил его: что определило ваш выбор? Он так же коротко ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Власов тоже не мог простить.

Власовское сознание сложилось в первый период войны, когда один наш разгром следовал за другим. На это наслаивалась память о прошлых увечьях, нанесенных стране: уничтожение деревни, расстрел высшего комсостава, уничтожение конструкторов, создающих новое оружие. В

¹⁴ Во время войны слово «власовец» прилипло к «добровольным помощникам» (НП&тШде), служившим в немецких частях за миску каши. Ничего общего с Власовым у них не было.

лагере это сознание закапсулировалось. Между тем, победы Гитлера завязли в русских просторах. Заводы, эвакуированные в Сибирь, стали работать. А мы, ополченцы, понемногу чему-то научились. Военная пресса тогда тиражировала поговорку: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Учился и я, на своей собственной шкуре, и Сталин, на миллионах наших пробитых шкур, кое-чему выучился, стал прислушиваться к опытным генералам, и тень наших побед накрыла грехи генералиссимуса. Власовцы жили в прошлом, в трагических поражениях, загнавших храбрых солдат в плен, и сердце их жгло то, что когда-то назвали «пеплом Клааса». Мученичество в застенках было чем-то вроде писем Курбского или молчания Васьки Шибанова, передавшего царю письмо. Грозный читал письмо, воткнув посох в ногу гонца. Гонец молчал.

Власовцам предлагали 25 лет лагерей или, на худой конец, легкую смерть — они отказались. Им дали подумать, подсаживали в камеры бывших сослуживцев, уговорить на капитуляцию (об этом, со слов подсаженного, писал впоследствии Григоренко) — они отвечали, что боятся пыток, но ненависть к Сталину сильнее страха. И власовцы выбрали муки, как бессловесное письмо, посланное нам, современникам В.В. Путина, чтобы мы расслышали их «глухие проклятья». Что потом делать — они не знали. Многие проклятья — соловецкие, воркутинские, колымские — дошли до нас — и не поколебали рабской любви к Сталину. Но если и эти, молчаливые проклятья не переполнят чашу, — то есть ли она вообще, народная совесть? И не падут ли на наши головы проклятья, от которых мы отмываем тень Сталина, и не потянут ли Россию на дно? Пожалуй, в напоминании об этом — главный положительный итог книги Митрофанова, при всех недостатках, которые я пытался разъяснить.

Профессия неудачника: жизненная мозаика (Воспоминания о ФБОН)

В 50-е годы, получив справку о реабилитации, я вернулся в Москву и — неожиданно для себя — стал «люмпен-пролетарием умственного труда». Так меня назвал бывший коллега по нарам и будущий романист Е.Б. Федоров.

Это отчасти было моим свободным выбором. Женщина, которую я полюбил, могла прожить не более 10 лет, а может быть, и гораздо меньше. Так решили врачи, и они были правы. Ирине Игнатьевне (Муравьевой) не хотелось меня надолго отпускать, а мне — оставлять ее одну. Зарабатывать на жизнь легче было отдельными заказами. Основным заказчиком был сектор информации Института экономики. Я просматривал каталоги и выбирал подходящее для реферирования в Библиотеке им. Ленина, Фундаментальной библиотеке общественных наук (ФБОН) и т. п.

Так мне попала книга Гензеля «К теории центрально-административного хозяйства», над которой я засел надолго. Это было в фондах ФБОН, и я ходил туда ежедневно, часа на четыре. Ко мне привыкли, и когда в секторе экономики надо было навести порядок в картотеке, стали упрасивать зачислиться туда на временную работу недели на две. Я нехотя согласился. Систематизацией заниматься я не любил. Но если надо помочь хорошим людям, то я могу на пару недель стать человеком-машиной. Проклиная себя, я согласился, я за эти две недели очень устал и, как оказалось, кое-как исправил то, что сотрудницы напутали. И меня стали приглашать в другие отделы. Я соглашался — но без систематизации и на полставки, чтобы скорее уходить домой.

Потом случилось непоправимое — Ира решила вырезать каверну и умерла на операционном столе. Мне некуда было больше уходить, разве к пасынкам, делить с ними горе. Некуда было девать опустошенное время. И я согласился с предложением Софьи Иосифовны Кузнецовой поступить к ней в Отдел востоковедения, переименованный в Отдел стран Азии и Африки.

Работа библиотекаря, при известном устройстве ума, позволяла восстанавливать то, что казалось навеки утраченным нашей разбежавшей

ся по сторонам цивилизацией: созерцать развитие общества как единого целого. Обрывки фактов, на которые я наталкивался, были вызовом способности к синтезу.

Вскоре Леонид Ефимович Пинский (у которого я был в 30-е годы любимым учеником) стал удивляться, что меня за работа, которая мне так много дала. А работа была незавидная. Сперва очень от нее голова болела. Но потом привык, научился просматривать никчемные статьи и писать аннотации галопом, высвобождая себе время читать то, что интересно, и за несколько лет стал заправским востоковедом, и культурологом, и социологом. Мне никто не дал простора для развития. Я сам его создал, — и в моем ничтожном положении нашел залог свободы: нельзя было запугать угрозой снять с работы (это с какой именно? С библиографического конвейера? За 105 р. в месяц? Да любая другая была бы легче).

* * *

Осенью 1966 г. сослуживец по ФБОН, Игорь Александрович Энгельгардт, подсунил мне статью Лифшица «Почему я не модернист». Читать было неохота, но Игорь Александрович упорствовал. В конце концов, я прочел. И тут же, в Белом зале (где библиографы расписывают журналы), часа за три настроил то, что потом было опубликовано в «Литературной газете». Лифшиц пришел в ярость, посвятил мне 80 процентов своего ответа, и хочешь-не хочешь, пришлось и меня напечатать. Под заголовком, придуманным в последнюю минуту, «Кто совратил Калибана?». (А кто такой этот Калибан? Замред Сырокомский не знал — и не вычеркнул. Но и читатели не знали. Любопытно провести опрос: кто читал драму Вильяма Шекспира «Буря»?)

Перепалка наделала шума. Откликнулась «Фигаро литерер». Был и отечественный отклик: цензор, размахивая «Литературной газетой», где я назван пособником фашизма, заставил вырезать из «Народов Азии и Африки» мою статью по теории субэкумен. Я огрызнулся на Лифшица постскриптумом и еще одной прибавкой — про пять сортов интеллигенции. Этот текст прочел Солженицын, не понял (или забыл) и впоследствии приписал мне саркастическое определение интеллигенции четвертого сорта (одну из полемических стрел против Лифшица) как авторскую идейную платформу. Таким косвенным и неожиданным образом перепалка, сама по себе не очень значительная, вошла в историю.

* * *

Состав нашего сектора был дружный, почти семьей. Но ближе, чем с другими, я сошелся с Виталием Рубиным. Очень чувствовалась в нем традиция семьи. Я еще застал в живых его отца; к сожалению, тот вскоре умер.

В старике было какое-то редкое сочетание легкости и глубины. Философское образование, немислимое в наше время, проскальзывало, но

не давило. Почти танцующее «ученое незнание». Мне кажется, Виталий унаследовал от отца легкость характера, бодрость, быстроту — но в Ароне Рубине было еще что-то...

Отношения с Виталием складывались просто и естественно, мы очень скоро подружились. Виталий был захвачен своей новой оценкой роли Конфуция, и я охотно слушал его рассказы о конфликте конфуцианского гуманизма с принципом государственной пользы в учениях школы Фа-цзя (легистов). Легизм возносился в сталинские годы и легко ассоциировался со сталинизмом, отчасти даже персонально (апологеты Фа-цзя были нераскаившиеся сталинисты). Я вполне сочувствовал пафосу Виталия и перенес его в свою речь 3 декабря 1965 года, на которую рассердился Семичастный, тогдашний руководитель КГБ.

Начав писать статьи по сравнительной культурологии, я непременно показывал Виталию первые варианты своих работ. С его помощью и с помощью других моих консультантов (А. Герасимова, А. Сыркина, М. Занда) я смог избежать промахов, неизбежных при отрывочном востоковедческом образовании. Но еще раньше у нас с Виталием открылось новое общее поле деятельности: капустники. Как-то вдруг возникло сознание, что зигзаги Никиты скорее расшатывают режим, чем укрепляют его, и отдельные хамские выходки заслуживают только смеха. Заговорило «армянское радио». Интеллигенция, смеясь, прощалась со своими страхами. С какого-то капустника Виталий принес частушку:

Мы с Пал Палычем вдвоем
Обнаглели — и поем...

И мы с Виталием обнаглели. В 1961 г. мы сидели рядом, слушая доклад о Кубе. Там, дескать, старое переплетается с новым. Например, по-прежнему устраиваются конкурсы красоты, но при этом учитываются и производственные показатели. Мы переглянулись с Виталием и секретарем комсомольской организации Игорем Добронравовым и начали давиться от смеха. В тот же миг решено было устроить капустник «Выборы мисс ФБОН» и выбрать ее по производственным показателям. Потом производственные показатели были забыты и на первое место вылезла опасность культа мисс ФБОН. Выбрать королеву просто, но попробуйте ее переизбрать, это может оказаться и вовсе невозможным, как показывает пример недавнего прошлого... (долгая пауза) в Португалии, Греции и других капиталистических странах. Королева будет стареть, но повсюду ее портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают в книгохранилище на каторжные работы... Всего в своей предостерегающей речи уже не помню, но смеха было много. Культ личности я описал довольно подробно. Виталий, потерявший здоровье в проверочных лагерях после выхода из окружения, играл роль капустного

прокурора, наш общий друг Василий Николаевич Романов, сидевший еще в 1934—1937 гг., тоже что-то острил... В конце концов, нескольких девушек признали одинаково хорошенькими и таким образом избрали коллективное руководство. Публика наполовину состояла из читателей библиотеки; наши шутки разошлись по нескольким институтам.

Следующий капустник был посвящен культуркампу Никиты против Эрнста Неизвестного (впоследствии спроектировавшего памятник на Новодевичьем). Называлось это «Террор в ФБОН». Свиная Мария Заглада, судившая о живописи, была травестирована в Марию Зануду, в маске поросенка хрюкавшую перед пустой рамой (абстрактная живопись). Центральным номером были вызовы в кабинет следователя. Мне удалось убедить молодого ученого с довольно простым лицом (сына чекиста) сыграть роль следователя, а у него хватило чувства юмора согласиться. Роль свою он сыграл превосходно, совсем как на Лубянке. Являлись мы к нему с парой белья под мышкой. Моя жена говорила, что ей было совсем не смешно, а страшно, но хохот был гомерический. Дня через два Никита выступил с разгромной речью против абстракционизма. Молва, перепутав, посчитала наш капустник прямым ответом на его речь. Но до такой наглости мы не доросли.

Когда «пошел Никита юзом», я спросил Виталия: «Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?». Он ответил: «Сегодня в Институте истории доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса». Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет...

Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора, крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, с чего начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекло. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.

Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: «Кто хочет выступить?». Все молчали. Никто не решался ступить на не огороженное цитатами поле. Я поднял руку — и мне сейчас же дали слово.

Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории, после архиосторожного доклада, я выступил так:

«— По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна накладывает друг на друга ящики, чтобы достать банан. Накладывает неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай — колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а

когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону до предела максимума. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи».

Председатель, М.Я. Гефтер, спросил: «Нельзя поближе к истории? — Пожалуйста», — ответил я, и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, древнего Китая и т. п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда Померанц знает про Цинь Шихуанди? Виталий откровенно ответил: «Это я ему рассказал».

Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 года. Это была проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В декабре 1965 г. меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции «Личность и общество» в Институте философии.

Никакого сговора ни с кем у меня не было, я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию: историк; что слово история стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности... Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и когда я начал с известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал):

Мы сегодня поем тебе славу
И, наверно, поем неспроста,

—
Зачинатель великой державы,
Князь Московский — Иван Калита.

Был ты видом — довольно противен,
Сердцем — подл... Но не в этом суть:
Исторически прогрессивен Оказался
твой жизненный путь.

А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалёвым: и они, дескать, начинают с идеи свободы и приходят

к рабству. Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. «Библиограф — профессия неудачника», — часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней — профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла несколько лет спустя от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол, и только три опубликованные статьи (в сборнике «Август 1914-го» читают на родине»). Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, то есть самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так и вся ее жизнь.

В 1966 г. наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье «Размышляю о Циньском огне», оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972). Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится — было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 года. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына «В круге первом». Много в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время... Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое и сегодня меня глубоко отталкивает... Вторая травма была реакция Москвы на Шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве вялое и скорое враждебное недоумение.

В 1956 г. я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 г. не было рабочих советов в Венгрии, не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колониализма почти не было... На Синайском полуострове столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как победа греков под Марафоном. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого желания свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 года: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом, — и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).

Виталий дольше сохранял оптимизм. Помню, он с Василием Николаевичем Романовым пытался созвать профсоюзное собрание для выступления против директора, В.И. Шункова, запретившего вечер Солженицына в нашей библиотеке. Председатель тогда бросил свой колокольчик и таким образом призвал публику расходиться, поскольку

повестка дня была исчерпана. Я взял колокольчик и заявил, что собрание продолжается (хотелось довести эксперимент до конца, до голосования резолюции). Кто просит слова?

Заместительнице директора, И. Ходош, пришлось произнести демагогическую речь. Потом я поставил рубинско-романовский вотум недоверия на голосование... Против дирекции голосовали трое — авторы предложения и я; с этих пор нам не платили премиальных. Остальные голосовали по обычным советским нормам.

Следующий раз Виталий вспыхнул, когда Лариса Богораз и Павел Литвинов дали пресс-конференцию иностранным корреспондентам. Помню, это и меня поразило. Но я никак не мог согласиться со словами Павла, что «у щуки выпали зубы». А Виталий был совершенно захвачен.

О своих поездках к Павлу он рассказывал с неподдельным энтузиазмом. События в Москве шли так, что для энтузиазма оставалось все меньше места, зато в Праге... Иногда и мне казалось, что Прага вызовет цепной процесс в Восточной Европе, а там — чем черт не шутит...

Но наступил август. Оставалось или отказаться от оптимизма, или от своих корней в России. Я выбрал первое, Виталий — второе. Думаю, что и в этом случае, как и в спорах о Конфуции и Чжуанцзы, оба были правы. Тут самое трудное — понять самого себя. Период колебаний занял у меня года два. Он отразился в «Неуловимом образе», в «Двух принципах» и в первых частях «Снов земли». Победило желание — не суетиться, принять свою судьбу во внешнем и двигаться по мере сил внутрь. В этом решении сказались много обстоятельств. Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем, без особой нужды, уезжать из России? Писать пока не мешают. А печататься... Я уже привык, что книги печатаются спустя четверть века. Это отчасти даже хорошо: отсеивается литературная суета. Можно ли писать в гниющем обществе? Можно. Империя, ради которой Сервантес потерял руку, развалилась, а «Дон Кихот» остался, и «Жизнь есть сон» Кальдерона, и Эль Греко, и Сурбаран... Всюду можно вживаться в жизнь до любой посильной тебе духовной глубины. А уникальный исторический опыт утопии — неотразимо привлекателен для историка...

Какую-то роль играли и личные связи, и диалог со спорадически возникавшей аудиторией, и то, что у меня нет детей (которых надо спасти). Все это важно для меня — и совершенно не важно для другого. Виталия неудержимо потянуло туда, где его деятельный, рациональный и гуманный оптимизм получил новый смысл. Я его вполне понимал. Огорчали меня только накладные расходы выбора. Но никто не расходится с женщиной, не вспоминая ее недостатков. Так и с до-исторической родиной: с нею нельзя было расстаться, не облив презрением...

Здесь, как и во многих других случаях, о которых я писал, ни у какого

личного решения нет монополии на историческую и нравственную оправданность. Истина в каждом случае индивидуальна, для каждого своя. Богу безразлично, в какой угол человек забьется. Важно, чтобы это был его угол, чтобы человек нашел свой дом и в этом доме — тишину и покой для движения вглубь. Дом Виталия нашелся в Израиле. С точки зрения страны, которую Виталий покинул, начавшаяся алия тоже имеет смысл. Распад системы начался с распада оппозиции. Не сумев увлечь народы общей борьбой за права человека, оппозиция стала рассыпаться и наполовину рассыпалась на национальные партии. В обществе, где одна официальная партия и много наций, центробежные тенденции необходимо должны были принять национальный характер. Национальности превращаются в партии — сионизм, сепаратизм и проч. Только маленькое ядро остается верным космополитическим принципам гуманности и прав личности. В новых условиях это ядро все больше отступает на роль всесоюзного политического Красного креста и информационного центра Международной амнистии. Я всем сердцем сочувствовал его бескорыстному служению, но не возлагал на него политических надежд.

Чувствовал ли Виталий трагизм израильской судьбы? Сознал ли он, что меняет положение узника на положение бойца в гарнизоне осажденной навечно крепости, который может отбивать врагов, делать вылазки, но не может снять осаду?

Одного он не знал бесспорно: что его самого ждет придорожный столб в пустыне Негев и жизнь оборвется мгновенно — без раздумий, сожалений, мук. Легко для него, невыносимо для близких (я испытал нечто подобное и понимаю это). Смерть приходит как вор, и вот уже нет многих, и остаются ненапечатанные статьи, оборванные черновики. Может быть, все мы — Божьи черновики, которые к исходу дня сметают и бросают в корзину. И редко какой лист, написанный начисто, остается на столе.

На эти вопросы никогда не будет ответа. Но каждый человек должен стать самим собой и пройти свой жизненный путь по своей продуманной воле.

Впрочем, размышления опять увлекли меня очень далеко вперед. Вернусь снова (кажется, в последний раз) к началу 60-х. Когда я просто был никто. Так, как сказала Эмили Дикинсон: ты никто, и я никто; значит, нас двое... Значит — просто жизнь. В этой жизни случались скверные анекдоты, глупости, за которые приходилось расплачиваться. Но все это было ничтожно сравнительно с огромной жизнью. Огромной жизнью рядового человека, который ходит на работу, как все, и каждый будничным днем снимает табель.

Поступая в штат ФБОН, я уже немного знал буддизм дзэн и сформулировал проблему в дзэнских терминах: «Можно ли быть буддой,

снимаемая табель?». То есть сохраню ли я внутреннюю свободу, отказавшись от внешней свободы люмпен-пролетария умственного труда, сменив в 1960 г. свободу Диогена на незаметную свободу Канта? Заведующая отделом, Софья Иосифовна Кузнецова, мне понравилась. Она подбирала способных людей и давала им полную волю — лишь бы работа не стояла. Я сунул голову в хомут и проработал на одном месте 18 лет — до пенсии.

Фундаментальная библиотека открыла мне много возможностей. Это было окно в мир. Несколько лет я осваивал кучу информации, а потом стал перестраивать ее по-своему и написал несколько книг, опубликованных сперва на Западе, а потом и у нас, после перестройки. Правда, выкраивая время на свое, приходилось работать, как почтовой кляче, но радость жизни я не терял, жизнь углублялась и собиралась в пучок за выходные дни — в лесу, летом на даче, осенью у моря...

Дослужившись до пенсии, я уволился, но память о статьях и книгах, прочитанных в Белом зале ФБОН, продолжала жить в моей голове, вступать в новые отношения с новыми фактами, новыми духовными открытиями и с жизненным опытом, который я приобрел в прошлом. То, что во мне сложилось, опирается на память внутреннего сопротивления террору 30-х годов, преодоления страха на войне и борьбы творческого меньшинства с косностью, накопленной веками. Мне хочется оставить в наследство это сочетание тем, кто будет жить в XXI веке.

Три дороги вглубь

90 лет — это рубеж и толчок подвести некоторые итоги. Кое-что уже было сказано. Но достаточно ли я вдумывался в проклятые вопросы — хотя бы в самые старые? В вопрос Иова — почему страдают невинные? Или вопрос Шакья-Муни — почему человеческий дух не может вырваться из круга рождения, болезней, старости и смерти? Или вопрос Паскаля — о месте человека в бесконечности, о выходе из арифметики, по которой всякая жизнь, деленная на \wedge , равна нулю? Я прикоснулся к вопросу Паскаля в 16 лет, испуганно отошел — а потом, годам к двадцати, заболел им всерьез и убедился, что упорный штурм проклятого вопроса в конце концов открывает в сердце бесконечность света и дает силу полета над страхом темной бездны пространства, времени и материи. Во вспышке света рождаются некоторые слова, но только много позже я понял, что не столько в словах дело, сколько в самом свете, который гасит любой страх, в том числе грубый, всем понятный страх бомб, снарядов и мин на войне. К опыту войны я вернусь, но прежде расскажу, как от вопросов Паскаля и Тютчева пришел к подобию дзэнского коана, специально придуманному, чтобы соединить множество предметов с единством вечного света.

Меня угнетало в юности, что каждая книга заново убеждала, каждая ловкая речь. И я решил освободиться от этой зависимости. Задним числом я понял, что подобный вопрос возникал в истории несколько раз. Как только расшатался твердый племенной порядок, одинаковый для всех мальчиков, одинаковый для всех девочек, народ начал сбиваться с толку и вон из толпы выходит личность, почувствовавшая силу завести новый порядок. Более сложный, но опять твердый, например — систему четырех сословий. Распадаются сословия — и возникают классы, обычаи делаются менее твердыми, но все равно известно, когда надеть фрак, когда — смокинг. Личность царит во время кризиса. В старом переводе: распалась цепь времен: зачем же я связать ее рожден? Так говорит личность, полная сомнений. А рядом — полная энтузиазма, готова восстановить мир рыцарских романов, существовавший только в воображении, — освобождает каторжников и становится их жертвой. Шекспир и Сервантес увидели эти великие личности на рубеже XVI и XVII веков, Тургенев — в России XIX века, в статье «Гамлеты и Дон Кихоты», и я, выходя из квартиры Петра Григорьевича Григоренко, с которым дружил, подумал, что мы различаемся только акцентами, но оба чувствуем на своих плечах тяжесть мира, как Гамлет и Дон

Кихот. Мечущаяся за демагогами личность, вышедшая из толпы, ищет духовных опор в собственной глубине. «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне», — говорит Гамлет Розенкранцу и Гильденстерну. Это одна из первых опор, которую я нашел, в 15 лет. А через год, в предисловии к роману Стендаля: «позиция автора имеет только один недостаток: каждая партия может считать его членом партии своих врагов». Шел 1934-й год, и я держал про себя этот вызов времени.

Однако скоро я понял, что нескольких афоризмов мне мало, что собрать личность можно только пустив корень в широкий круг культуры. Священные книги были вне поля зрения, и собирать приходилось из стихов и романов. Потом помогли и другие искусства. В 1937 г. я каждую неделю ходил в Музей новой западной живописи, часами созерцал Ренуара, Моне, Сислея, Марке, Сезанна, Ван Гога, голубого и розового Пикассо — и отмывал там себя от бдительности комсомольских собраний и воплей газет. Еще весной 1935 г., в сочинении «Кем быть», я отказался служить лозунгам времени и закончил словами: «Я хочу быть самым собой». То есть прежде *быть*, быть верным собственной глубине, а потом уже *делать, служить, учить*. И я все глубже и глубже зарывался в великую русскую литературу. И Тютчев, Толстой, Достоевский вернули меня к проклятым вопросам, отложенным в сторону в 16 лет.

Я видел, что Тютчев мечется между природой-сфинксом, не знающей о былом, и природой, у которой есть душа, любовь, язык. Я читал, как Левин, в «Анне Карениной», прятал ружье, чтобы не застрелиться, и веревку, чтобы не повеситься, и понял, что это вопросы самого Толстого, что он тоже мучился от беспомощности перед бездной времени, пространства и материи. У Тютчева и Толстого не хватало сил на штурм нового проклятого вопроса, возникшего, когда Коперник и Галилей выдернули землю из под ног людей. Я не знал, что Паскаль уже довел штурм этого проклятого вопроса до конца и пережил радость от огня, загоревшегося в груди. Амулет Паскаля, зашитый в подкладке его камзола, не был понят Новым временем и не дошел до меня. И я решился начать штурм заново. Подхватывая у Достоевского ритм его романов, постоянные порывы вскарабкаться по темным лестницам подполья к вспышкам света, снимавшим, уравновешивавшим страх, но мгновенно гаснувшим, — и вновь порывы к мгновенной вспышке, упорное стремление к полету над страхом. Тот, кто эти вспышки чувствовал сердцем, видел суть Достоевского в свете и радовался его творчеству, а кто не воспринимал — мучился.

Я не знал слова медитация, не знал слова «коан» (познакомился — лет через двадцать), но я придумал коан и стал медитировать: если бесконечность (пространства, времени, материи) есть, то меня нет; а если я есть, то бесконечности (какой ее описывает наука) нет. Через три месяца теплое чувство посередине груди, которое я уже знал как знак целостной истины,

вспыхнуло огнем и одновременно высветились две словесные формулы, довольно неуклюжие. Впоследствии я понял, что свет не рождает слов, он помогает только родиться тому, что скрытно созревает в уме; внутренний свет — акушер, а не роженица. Но сам свет давал полет над страхом. И четыре года спустя, опрокинутый волной фронтового страха, я вспомнил свой опыт медитации и сказал себе: я не испугался бездны пространства и времени; стоит ли бояться нескольких «хейн- келей» (бомбивших совхоз Котлубань). Минут через две или три страх растаял, как кусок рафинада в стакане чая, и я прошел всю войну, радуясь опасности: она вызывала во мне чувство полета.

На этом я обрываю свой рассказ о пути к «сильно развитой личности», как ее назвал Достоевский; коротко подведу итоги. Первый шаг личности — выход из мятущейся толпы. Второй — собирание опор в памяти искусства разных стран и народов, разных веков и тысячелетий. Это доступно каждому. Нужно только упорство. Например, большая музыка мне не давалась лет пятнадцать, но в конце концов я пробился к пониманию Чайковского, а затем уже дело пошло легче. Второй путь — это штурм проклятых вопросов как лестницы, ведущей в глубину, где рождается внутренний свет. Это реже дается. Я встретил за свою жизнь только одного человека, заболевшего проклятым вопросом (не Паскаля, а Иова, но это все равно) и выстрадавшего взрыв внутреннего света. Это Зинаида Миркина, и я сразу, при первой встрече, почувствовал, что ее опыт был глубже моего и слова, родившиеся в ее опыте, точнее моих; я сразу решил идти с ней вместе, в любой форме, какая сложится. Сложилась своего рода молекула из двух атомов, но с одним сердцем, и общая способность поверять сердцем доводы ума. Узнавание превосходства чужого опыта и любовь к нему — третий путь к сильно развитой личности.

Итак, есть три пути развития личности. Расширение поля культуры, в которую личность пускает свои корни, — гуманистический путь. Штурм проклятых вопросов, нечаянно возникших или нарочито созданных в практике дзэн, — путь мистического опыта. И третий путь — любви к лучшему, чем ты сам, дальше тебя ушедшему к свету. Путь, по которому ушли все мировые религии, но очень скоро теряющие свой путь и заменяющие любовь верой.

Хочется вспомнить в конце, хотя бы наизусть, слова Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не испытывающая за себя никакого страха, не может ничего сделать, никакого другого употребления, кроме как отдать себя всего всем, чтобы и другие стали такими же полноправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормального человека».

О подлости, о доблести, о славе

Нравственную яму, оставленную после себя Сталиным, впервые стала разгребать песня. Ее не печатали — но тем смелее была летучая рифма. Ее не связывала мысль о цензуре. «Эрика» брала четыре копии, и этого хватало. Если брать бумагу потоньше, то получалось и десять копий. А потом песни заучивались наизусть — и держи ветер в поле! Я до сих пор помню некоторые песни Галича, иные — целиком, а в обрывках — десятки. «Эрика берет четыре копии» — это цитата из Галича. Не бойтесь самого ада, но бойтесь того, кто знает, как надо, — скомканная цитата из Галича. Песня его лепила и портреты, и целые социальные типы. Иногда трудно сказать, в кого автор метил: стрелы его попадали в тех, кто вылез на политическую авансцену, и попутно — в скромных подонков, довольных тем, что спасли собственную шкуру:

Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолоду,
А молчалники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото...

Солженицын обиделся за «человека, который знает, как надо», и причислил к знающим, как надо, Христа. У Галича это из цикла про Сталина. «Человек, знающий, как надо» — это схваченный в четырех словах тип лидера, увлекающего демонический уверенностью в себя. Не только в России. Это также Гитлер, Пол Пот, Бен Ладен. Это кумир растерявшихся масс. А их сейчас миллиарды, готовых к любому злу, готовых идти за любой силой, — лишь бы это была сила, способная навести «порядок», остановить хаотические перемены. И каждый вождь, умирая, оставляет за собой свору ничтожеств, ждущих нового Гитлера, нового Сталина, — нового дракона, как описал этот тип Евгений Шварц. Это ожидание дремлет в спокойные времена и кричит в дни кризисов.

Можно описать современных сталинистов, пользуясь образами Гоголя, Достоевского и других старых писателей, заметливых к дремлю

щему злу. Я это попытался сделать в своем «Квадрильоне» — и был обвинен в русофобии. Удивительно, как этого избежал сам Гоголь, за свои гротескные образы. И даже Коржавин не был пригвожден к позорному столбу за свою «вздорную оду» (так этот жанр назывался в ХУШ в.):

Мы сегодня поем тебе славу
И, наверно, поем неспроста,

—
Зачинатель мощной державы Князь
Московский — Иван Калита.

Был ты видом — довольно противен,
Сердцем — подл... Но не в этом суть:
Исторически прогрессивен Оказался
твой жизненный путь.

На этом я оборвал цитату, начиная свой опыт открытого публичного выступления против курса на реабилитацию Сталина. Мне хотелось проверить, возникнет ли цепная реакция, сумеет ли интеллигенция, если она осталась на свете, использовать свои кафедры для ряда подобных речей. Это не получилось. Публичной речью меня поддержал только один человек, Михаил Ильич Ромм. Он пригласил меня к себе домой, и мы провели очень интересный вечер. Ромм увидел во мне представителя молодого, здорового поколения. Это было ошибкой: мне уже исполнилось 47 лет; меня, как и других, ломали, но не доломали, и я попытался перенести в гражданку свой опыт полета над фронтовым страхом. Так или иначе, я был в глазах Михаила Ильича чем-то новым, чего он ждал, — человека, не исковерканного страшным временем. И он каялся передо мной, что не спал ночами, создавая фильм «Ленин в 1918 году», — раздувая истерику террора и боясь, что его самого посадят. Потом он предложил мне сотрудничество. Я охотно согласился, хотя плохо понимал, как перенести наш единый фронт из двух человек в кино. Но ничего не состоялось: очень скоро Ромм умер. После моей речи 3 декабря 1965 г.¹⁵ сотни, тысячи людей прочли ее в самиздате или слушали по «фальшивым голосам», но никто не сумел выступить в таком же роде. Эксперимент показал неспособность гражданского общества к сопротивлению или даже отсутствие гражданского общества. Оставалось заниматься размышлениями, далекими от политики (из них впоследствии сложились мои книги), и только время от времени пополнять самиздат своими репликами, а потом отчитываться о них в прокуратуре.

Эти скромные реплики не прошли мне даром. В 1976 г. Андропов наложил запрет на любые мои публикации. Музей-квартира Достоевского оставался единственным местом, где меня один раз в год выпускали на

¹⁵ «О нравственной роли исторической личности». — *Прим. ред.*

кафедру. Там я прочитал серию докладов, вошедших впоследствии в книгу «Открытость бездне». В 1976 г. это был доклад «Дети и детское в мире Достоевского». Причислив к детям Аркадия Долгорукого, я процитировал две реплики из романа «Подросток»: «Я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — вот вопрос»¹⁶. Это реплика Аркадия (ч. III, гл. 3). А вот другая реплика из того же романа, не самого Аркадия, но в разговоре с ним: «Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж, конечно, потому, что и то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести: сумеем ли?» (ч. II, гл. 3). Большого внимания на это никто не обратил.

Я вспомнил старую работу, перечитывая статью Ольги Седаковой: «Нет худа без добра. О некоторых особенностях отношения к злу в русской традиции» («Вторая навигация». Мюнхен, 2006).

Статья эта и прекрасная, и странная. Она начинается с извинения перед читателем, зачем автор затрагивает свою «пугающую» тему, и просит не относиться к сказанному «как к каким-то категорическим утверждениям» (словно не было Достоевского, который говорил о том же без всяких извинений). Далее читаешь и не можешь понять, зачем эти извинения. Идет академический анализ пословиц и поговорок, русских и английских, о добре и хude... И вдруг, после короткого перехода, о котором мы еще скажем ниже, начинается гневная обвинительная речь против уверток современной подлости. Словно подлость прямо росла из народных поговорок: «Это принципиальное, какое-то настойчивое неотличение зла, упорное настаивание на том, что ничего не следует относить к злу, ни за чем нельзя признать окончательный статус зла. Я осмелюсь назвать эту традицию “дружбой со злом”, имеющей как будто некое таинственное, едва ли не религиозное обоснование.».

В противовес уживчивости со злом, доходящей до «дружбы со злом», Ольга Седакова обращается к непосредственному нравственному чувству, мгновенно отбрасывающему то, что ему претит: «Ориентация в добре и зле в принципе моментальна, непосредственна, не рефлексивна. Мы не объясняем себе, почему нам это “нравится”, а это “не нравится”. Суждения вкуса интуитивны и выносятся со странной уверенностью... Если мы включаем механизм весов, сравнений, выяснений, мы никогда из него уже не выйдем. Начинается сводящее с ума качание маятника, торгвая неизвестно с кем: “с одной стороны”, “с другой стороны”, “с

¹⁶ *Достоевский Ф.М.* Поли. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. XIII. С. 307. — Здесь и далее цитаты приводятся по этому изданию.

пятидесятой стороны”».

Здесь возможны некоторые уточнения, некоторые коррективы (не нарушающие согласия с основной мыслью автора). В «Преступлении и наказании» сердце Раскольникова раскрывается на островах, в лучах заходящего солнца, и снова замыкается в его камерке, где логика, оставаясь без благодатных впечатлений от Божьего следа в природе, обретает ложное всемогущество. Таким образом, сердце то оживает и произносит свое «вето», то снова обмирает. Шоковый удар целостного понимания, опрокидывающего логику, не всегда справляется с ней одним ударом. Продолжим, однако, текст Седаковой: «Почему же мы постоянно встречаем это упорное, почти нечеловеческое сопротивление отнесение чего-либо к злу? Почему дурное — и по преимуществу дурное — находит у нас столько добровольных заступников? Вероятно, потому, что безусловное отнесение чего-либо к злу обязывает того, кто это делает, к решению, к поступку, к хотя бы мысленному, хотя бы “ханжескому” нет (то есть я признаю, что это зло, хотя сам я его делаю).».

Чтобы не запутаться в реально сложных проблемах, Седакова предлагает опереться на «основополагающий ориентир» из комментариев архимандрита Софрония к запискам св. Силуана: «зло действует обманом, но добро в своем осуществлении не нуждается в содействии зла». Последние слова она подчеркивает.

Я думаю, что без помощи зла побеждает след, оставленный в сердцах нравственной красотой. Так можно понять мысль Достоевского (из черновиков): «Мир спасет красота Христа». Однако от первого живого следа проходит долгий срок до канонизации его в культуре. И канонизируется только *символ* нравственной красоты (в нашей культуре — евангельский Христос), а живая нравственная красота остается Золушкой. Так это в «Соборных» Лескова. Так это в судьбе генерала Григоренко — и многих других.

Священник, примкнувший к штрафникам в фильме Досталя «Штрафбат», вспоминает канон св. Василия Великого (видимо, очень образованный священник; церковь этот канон забыла): участник войны три года не допускается к причастию. Но защищать отечество и, следовательно, совершать смертный грех убийства необходимо, к этому призвал св. Сергий Радонежский.

Существует множество положений, в том числе и в совершенно мирной жизни, когда приходится принимать на себя грех действия, потому что бездействие было бы худшим грехом. Примеры приводил Антоний Сурожский. Во многих случаях безупречного решения, без всякого причинения зла, просто нет.

По учению Антония Сурожского, Божий след пересекает все принципы, все догмы. Христос бичом изгонял торгующих из Храма. Разве это не пересекает его же заповеди?

Абсолютно только превосходство глубокого сердца над выкладками ума и порывами страстей, превосходство сердца Мышкина над логикой Раскольникова и ревностью Рогожина, право вето сердца, вступающего в союз с разумом против чувственной прихоти и с непосредственным чувством против логики, против теории, против принципа, против заповеди. Нарушение иерархии, вершина которой в сердце, — начало хаоса. Добро вообще, отвлеченное добро не безупречно. Подлинное добро всегда конкретно. Об этом хорошо писал Василий Гроссман. Абстрактное добро — призрак, который легко становится оправданием зла. Нет ничего страшнее *идеи добра*, особенно в руках людей, «знающих, как надо». Ян Гус был сожжен на костре, протопоп Аввакум был сожжен в срубе не во имя зла, но во имя добра, во имя всеобщего святого блага. Раскулачивание проводилось во имя высшего принципа общественной собственности...

В конце концов, Ольга Седакова признает, что «различение добра и зла представляет собой реальную сложность, в степени которой “порядочный”, “устойчивый” мир, быть может, не отдает себе отчета. Но моральный агностицизм не делает никакого усилия, чтобы каким-то образом с этой трудностью справиться. Усилие, которое здесь требуется, — я думаю, не столько интеллектуальное, сколько, если позволительно так сказать, сердечное (эти слова *мне* хотелось бы подчеркнуть. — Г.П.). Моральная растерянность связана с тем, что ничто по-настоящему не любимо, что любить слишком трудно. Решительные суждения произносятся из любви. Тот, кто говорит решительно: “это плохо, это нельзя!”, — как правило, говорит это не из желания “осудить”. Как правило, он говорит это потому, что он что-то любит — и чувствует, что то, что он любит, оказывается под угрозой. Человек, ставший в отрешенную, постороннюю происходящему позицию, неизбежно перестает различать зло. Во всяком случае, различать мгновенно, не рассуждая.».

Это, быть может, лучшее место в статье, хотя и оно не безупречно. Евреи любят Иерусалим, христиане любят Иерусалим, арабы любят Иерусалим. Три непосредственных чувства говорят: Иерусалим наш! Надо, по-видимому, различать решение глубокого сердца, которое признает право всех авраамистических религий на общий святой город? — и порывы, рожденные на более поверхностных уровнях, порывы, основанные на букве разных преданий, а не на едином духе любви. Здесь Седакова борется с неразрешимой трудностью: как перенести в слово Святой Дух, превосходящий *все* слова; и я ей сочувствую. Здесь нет никаких словесных формул, исключающих возможность зла.

Хочется только еще раз повторить, что опыт, подобный шоку, не всегда сразу разрушает стройную теорию, нравственную привычку и т. п. Иногда этот решающий эксперимент сталкивается с очень сильным противодействием и побеждает далеко не сразу, а только начинает борьбу.

Так сразу подействовал не меня обнаженный труп девушки лет 15—16 на задах фермы под Шталлупененом, в 1944 г. Было нетрудно сообразить, что она изнасилована и убита, увы! — нашими. Я в это время служил в батальоне и слился с солдатами и офицерами в чувстве полета над страхом. Гимна чуме офицеры батальона не помнили, но песню про Ермака мы пели вместе, с особым ударением на строку «беспечно спали среди дубравы». Лихая беспечность была нашим общим стилем жизни, это чувство слитности с массой не могло сразу исчезнуть, но чувство единства и армией треснуло, и трещина эта расширялась и дошла до пропасти в Берлине, когда армия, пьяная в дым, насильовала всех женщин, попадавших под руку. Стыд от униформы, которую я носил, боролся с гордостью победой: вы в нашу Москву не вошли, а мы ваш Берлин взяли! И доблесть на моих глазах сливалась с подлостью.

Разобраться в этой путанице было нелегко, и внутренний разрыв с аморфной массой, потерявшей критерии добра и зла, произошел только года через два, и только в лагере созрело чувство безусловного доверия только некой точке посредине груди, по соседству с сердцем, строго напротив позвоночника. Видимо, там есть какой-то узел, где собирается в фокус огонь целостного познания, прорвавшийся из глубины. Я год за годом учился прислушиваться к своему индикатору правды и строить свою жизнь так, чтобы эта точка не глохла. Хотя первые прорывы из глубины действительно приходили внезапно.

Вот еще один пример. Дивизия походным порядком возвращалась из Германии на родину. Я в это время, после второго ранения, был опять направлен в редакцию, уже лейтенантом. Соблазнили меня тем, что коллеги-офицеры там все с высшим образованием; так оно и оказалось. Проезжая мимо Треблинки, мы все заехали туда. Мы всё про нее знали. Читали статьи Гроссмана. Но я *увидел* слипшуюся массу детской обуви, заполнившую один из барачков, и во мне что-то перевернулось.

До того Холокост был чужой судьбой. Наша армейская судьба — риск остаться обрубок — без рук, без ног, без глаз — и ждать смерти как избавительницы. Судьба жертв Холокоста — сразу умереть. Но в бараке лежала *детская* обувь. В сознательном, организованном истреблении *детей* было что-то выходившее за рамки банального зла войны. Карамазовский вопрос о судьбе ребенка сразу умножился в полтора миллиона раз. Даже самое страшное, что я видел на войне, померкло. Самым страшным было поле смрада к северо-западу от Сталинграда, между балкой Широкой и балкой Тонкой, в августе-сентябре 1942 г. После первого ранения, прикомандированный к редакции, я проходил каждый вечер через поле смрада и несколько раз наткнулся на недохороненные руки и ноги. Хоронить как следует некому было и некогда. Выполняя свою жуткую и нелепую в этих условиях обязанность внештатного журналиста, я брел по открытой братской

могиле за материалом о подвигах, о роли коммунистов и т. п.

Впоследствии, когда начались победы, людям интересно было рассказывать о себе, а потом вырезать мои заметки и отсылать домой. Кроме того, я усердно вел отдел «из боевого опыта» и т. п. Я стал своим человеком в каждом батальоне, в каждой батарее - но это было потом. А пока я, в полуразбитых очках, похожий на чучело, кое-как добирался до балки Тонкой, в которой лепились штабы полков, и полковые политработники говорили мне что-то казенное... Насколько лучше было бы оказаться санитаром! Но переменить судьбу самому было невозможно.

Переменил ее Гитлер. Он заставил элитные части грызть развалины Сталинграда, а на безопасные участки поставил румын. Когда наступление остановилось на Волге, растянутый фронт немцев стал Ахиллесом, у которого пятка всюду, и по пяткам ударили наскоро сколоченные танковые соединения. Пехотных огрызков с пира смерти хватило, чтобы брать в плен румын, оглушенных артподготовкой. Нога моя к ноябрю вошла в строй, и я зашагал вместе с армией от победы к победе. Но страшное воспоминание о поле смрада до сих пор лежит на дне моего сознания, и я не знаю, что страшнее. Прочитал «Ночь» Эли Визеля — и вспоминаю детскую обувь в Трешлинке, посмотрел фильм Досталы «Штрафбат» — и чувствую запах гниющего пушечного мяса. Я думаю, что стрелки весов в наших оценках событий не могут не колебаться. Важно только, где они колеблются — в сердце или в уме, безразличном к добру и злу.

Вернемся, однако, к статье Седаковой, к абзацу, который замыкает ее обвинительную речь против уверток подлости:

«Второй род особо дружественного отношения к злу еще страшнее. Это не неразличение, не попустительство злу, не моральная неразборчивость, а что-то более серьезное — и еще более “восточное”. Я имею в виду едва ли не прямое почитание зла (в форме беспощадного насилия), готовность добровольно приносить ему в жертву деточек, как Тараканишу Чуковского, кормить его, как Кошечку в чулане, и ублажать, как Дракошу Евгения Шварца. Здесь мы видим не просто запуганность злом, как в первом случае («лучше не дразнить собак»), но какое-то теплое припадание к нему — как к несомненной *реальности* (все другое представляется не иначе как миражом, иллюзией), как к защите и покровительству. Мы свидетели того, как в наши дни создаются культы Сталина, Берии и других монстров, причем всегда религиозно, мистически, “православно” окрашенные, из исторической дали им отвечает образ Ивана Грозного, которого народные песни именуют “надёжа православный царь”».

Последняя фраза перекликается с одной из первых, об открытом вопросе, где кончается традиционная подлость и начинается подлость советская. Ничего больше — о веках истории между фольклором вос-

точных славян и травлей Пастернака на собрании советских писателей в 1958 г. Почему история вынесена за скобки? Но в истории ли «пугающее», о котором говорится во вступлении к статье? Или дело в том, что метод, блестяще приложенный к анализу современного нравственного упадка, не годится как инструмент историка? Вторая гипотеза интереснее, и я попытаюсь ее развить. Статья Седаковой распадается на два раздела серьезного анализа и довольно несерьезной связки между ними. Академически серьезно рассматривается фольклор, а затем страстно, трагически серьезно современность. Фольклор *традиционно* исследуется вне развития. Современность тоже допускает рассмотрение одним куском, игнорируя мелкие сдвиги внутри эпохи. Так мы говорим: век Петра, век Екатерины; можно сказать «век Сталина и Берии»... Объект рассматривается как неподвижный пласт и членится логически: первый аспект, второй аспект. А история текуча, история выскальзывает из рук. Приходится на свой страх и риск высвечивать одно и оставлять в тени другое — как Рембрандт в своем «Возвращении блудного сына», бросая луч света на пятки опустившегося бродяги и оставляя в тени лица порядочных свидетелей. Но Рембрандт — гений, у него это каким-то образом вело к истине. А нам что делать?

Я столкнулся с этой проблемой в 1962 г. Мне хотелось дать сдачи Хрущеву за его выходки в разговоре с поэтами и художниками. Но где взять образы для памфлета? И я обратился к Гоголю. Потом за Хрущевым встала тень Сталина, от которого Хрущев отталкивался, и понадобилось еще круче отделать Сталина. Нашелся и тут подходящий образ — Смердяков, перешедший из лакейской в хозяйские покои и заставляющий Ивана Карамазова ползать по полу, разбирая рассыпанные бумажки (подлинный эпизод в этом роде произошел у Вышинского с каким-то профессором).

Работа затянулась, и выпустил я ее из рук в 1964 г. Лет через пять мне сказали, что есть статья Бердяева «Духи русской революции», написанная тем же приемом. Еще лет через десять я наконец прочел этот текст, ходивший по рукам, и сам поразился сходству. Различия тоже интересны. У меня нет Хлестакова, у Бердяева — Скалозуба. Эти изменения только подтверждали верность художественно-исторической интуиции: Хлестаков еще в 30-е годы ступался, а Скалозуб в 1918 г. воевал на стороне белых. Эксперимент показал, что революция перетасовала многие старые карты. Отброшены были обитатели дворянских гнезд, но рыла из трущоб, из подворотен остались, всплыли наверх и даже терпят как специалиста профессора Преображенского. Г.П. Федотов описал это как ликвидацию петербургского слоя культуры и выход на авансцену старомосковского (во главе с Малютой Скуратовым?).

Мы к этой проблеме еще вернемся, а пока заметим, что Ольга Седакова пошла по другому пути, заменив сотни лет истории несколькими

общими фразами. Одна из этих фраз — о Западе и Востоке. Но что такое Запад? Это две генетически связанные конкретные цивилизации (на языке Шпенглера — два культурных круга, греко-римский и европейско-американский), отмеченные печатью римского права. *Lex, zed Lex*. Закон жесток, но это закон. Такова же и мораль Нового времени, «узкая», беспощадная к падшим. А в России закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло. В прорехах закона остается место для царской милости и народного милосердия; а также для русского бунта, бессмысленного и беспощадного.

Что же такое Восток? Это целых четыре конкретные цивилизации, каждая сама по себе: воинственный ислам и созерцательный Тибет; Индия, с господством жречества и кастовым строем, с острым чувством вечности и без ожидания чего-то лучшего от истории, без самого интереса к истории и без требования социальной справедливости; ибо справедливость воздаст Карма. Индии противостоит Китай, где конфуцианская образованность правит невежественным народом, но у крестьянского сына есть возможность (правда, редкая) стать императором в ходе успешного восстания против коррупции старой династии, формируя новую, честную администрацию за счет образованных людей, не получивших должности при старом режиме. А сын узурпатора обязан стать меценатом и поддерживать новые направления в искусстве, «чтобы придать династии блеск».

Общее у всех конкретных цивилизаций то, что каждая из них — и западные, и восточные — это замкнутый круг с общими святынями, общими путями духовного развития и общими, прочно сложившимися нормами поведения. На востоке нет римского права и гарантии прав гражданина, но есть другие формы хранения и передачи культуры, всплывающей после всех передраг и подчиняющей варваров себе.

А Россия? Это страна, формирующаяся на перекрестке, последовательно испытывавшая влияния Византии, Китая (податная система — через монголов), влияния жестокости мусульманской государственности и западного культа свободы. Это неустойчивый симбиоз византийского чина, казацкой воли и татарского кнута. Это вечная незавершенность, вдохновляющая гениев искать неведомо широкого завершения и очень трудная для формирования россиян, ищущих всего лишь личной завершенности. Об этом замечательно писал Достоевский в «Игроке», Синявский в «Голосе из хора», я их несколько раз цитировал и не хочу повторяться. Во всяком случае, структурную незавершенность России, порождающую то чрезмерную открытость, то судорожную закрытость, надо постоянно иметь в виду. В итоге, как сказал Константин Леонтьев, «в России легче встретить святого, чем элементарно порядочного человека».

Ольга Седакова надеется, что одинокий подвиг св. Силуана может уравновесить избыток русской «широты» (которую она называет, в

терминах Розанова, темным ликом в противоположность светлому). Мне кажется, что это натяжка. Св. Силуан молился по-афонски, *за все народы*. Как и все подлинные святые, он выходит за пределы «народного», «национального». Отцов церкви обычно делят на две большие группы (по цивилизациям, а не по странам): восточную и западную. Св. Силуан, по уровню своей глубины, кажется мне не ниже св. Исаака Сирина. Зачем же его привлекать как противовес Рогожина?

Лучше уж вспомнить Достоевского. Смит не прощает своей дочери, Ихменев прощает Наташу. Князь Мышкин, в швейцарский период своей жизни, убеждает «узких» мальчиков (по Щедрину — «мальчиков в штанах») не травить Мари. А в конце романа он пытается быть милостивым и к убийце около тела убитой Настасьи Филипповны; но разум его не выдерживает этого испытания и угасает. Наконец, самое полное воплощение русская широта находит в Мите Карамазове, с его крутыми переходами от низости, с которой он приглашает зайти Катерину Ивановну, — к великодушию, когда она пришла. Так же круто переходит он от грубой чувственной захваченности к просветленной, бескорыстной, жертвенной любви к Грушеньке. И наконец, в тюрьме, углубившись в одиночестве, он дает итоговое определение спору узости с широтой: «Широк, слишком широк человек! Я бы сузил!».

Впрочем, начав говорить о Достоевском, трудно кончить. А между тем, образы, которые он создает, целиком относятся к XIX веку. Более древние пласты в них только просвечивают. А мы живем в эпоху, когда всплыли и самые древние пласты и весь цикл развития, начавшийся с Ивана IV и даже с Ивана Калиты, все переходы от косности культурной изоляции к конвульсиям смут и от конвульсий — к новой косности.

В общей форме это описал Синявский, а Волошин, современник революции, — в притче о северо-восточном ветре:

В этом ветре вся судьба России —
Страшная, безумная судьба.

Приведу только несколько строк поэтического видения, в котором вся история — одни судороги, без эпох косности, в которые обыватель, по словам Щедрина, обростал шерстью:

Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогона, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.

За «Северовостоком» последовал отклик Даниила Андреева — его «Размах», прославление всего, в чем выразилась русская воля, не признающая над собой никакого закона, от светлых взлетов до дикой жестокости. Однако в «Розе мира» взгляд Андреева уходит вглубь, в тайники народной души, растревоженной метаниями Ивана Грозного и не нашедшей успокоения в зШиз ^ио аПе¹⁷, восстановленном Романовыми. Мне кажется, его понимание раскольников, шедших в огонь срубов, чтобы не гореть в вечном огне, раскрывает одну из тайных сил истории XVII века.

Все эти прозрения Ольга Седакова не вспоминает. Ее разговор о Западе и Востоке ведется накоротке и играет скромную роль связки между фольклором и современностью, роль мостика над темной бездной истории.

Однако я взялся говорить об истории и мне трудно остановиться. Какую-то последовательность в становлении характера великоросса можно наметить, опираясь на слова Г.П. Федотова о Москве как самом отатаренном из русских княжеств, о Москве как центре общего приспособления к власти Орды. Процесс этот начался еще до возвышения Москвы, с Александра Невского. Он выиграл пару пограничных сражений на северо-западе, а перед ханом стоял на коленях. Приходилось по одежке протягивать ножки. И первый эт о положение сумел использовать с выгодой для себя Иван Калита. Я думаю, что именно к нему в первую голову относится реплика Сокольского в «Подростке»: «Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж, конечно, потому, что и то и другое нам пришлось по вкусу» (ч. II, гл. 3). Иван писал доносы в Орду на своего соперника, тверского князя, а когда Михаил Тверской был вызван в Орду и там «умучан», Иван Калита на радостях ополчился на Тверь, вошел в город и увез, как трофей, колокол. Этой политике, видимо, следовал и другой князь, прозванный Темником, т. е. татарским генералом. Про Калиту и его последователей можно повторить сказанное Коржавиным:

...Но ты глубже был патриот,
И побором сверх сбора дани
Подготавливал ты восход...

Славься, князь! Мы живем все так же,
Как придется, так и живем.
А в итоге прогресс.

Прогресс Москвы не мог, однако, обойтись без доблести. Доблесть досталась Дмитрию Ивановичу. Вмешавшись в споры татар между собой, он разбил Маюя, но Тохтамыш, которому он помог, не поблагодарил его

¹⁷ Положение, которое было прежде (*лат.*).

и вторгся в Московское княжество, перебил 25 тысяч человек и заставил платить прежнюю дань. Церковное житие эту подробность обошло, но народ запомнил ее своей шкурой и песен про Дмитрия не пел.

Пел он о Грозном, за покорение Казани и Астрахани, за открытый путь русским удалцам на Восток. Каким образом этот мудрый правитель стал безумным садистом, песня не объясняет. Она просто не помнит этого. Возможно, гроза, обрушившаяся на головы бояр, даже нравилась, как сегодня — процесс Ходорковского. Но поход на свой же Новгород, потопление тысяч новгородцев в Волхове, массовые насилия над девками и женщинами? Все это оставалось за кадром — или принималось, как персидская княжна, брошенная в набежавшие волны Стенькой Разиным. Бедствия, вызванные татарским игом, заставляли любить и боготворить русскую силу. Сила сама по себе становилась высшим благом, даже если она творила зло. А из этого постепенно мог вырасти и культ зла.

«А холопей своих мы жаловать вольны есмы, а казнить их вольны же есмы», — писал Грозный Курбскому. «Казнить так казнить, миловать так миловать», — вторит ему Пугачев в «Капитанской дочке». В «Истории Пугачевского бунта» Пугачев другой. Но в Московском царстве не было позиции историка. То, что оставалось за кадром песни, создавалось глухо, смутно, тяжело, снилось, как нашествие бесов на Русь. Смущение особенно усилилось после убийства наследника престола. Из смущения родилась душевная смута, из нее вышли смутьяны, раздувшие смуту политическую. С воцарением Бориса она только началась. К Борису липли темные легенды. Ему не прощалось и четверти того, что прощалось Ивану. На голове вчерашнего раба, татарина, зятя Малюты, венец плохо держался. Достаточно было тени Ивана Грозного, чтобы все зашаталось. Хотя трудно сказать, чего народ хотел. Народ уже тогда не был единым. Больше всего разгулялся тип, описанный Пушкиным в Пугачеве. Впоследствии Ленин сказал, что для истинного революционера революция и есть высший порядок; а для смутьяна высшим порядком была смута, разгул необузданной воли. Другой пушкинский тип, Савельич, принявший со смиренным достоинством участь раба, поддержал Минина с Пожарским. Третий тип отметил мимоходом Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873-й год. Темный, не способный разобраться в собственной душе, недовольный собою и целым светом, он приходил домой, засовывал голову жены под половицу и сек ее вожжами, изо дня в день, пока несчастная не повесилась. Этот тип обычно не вспоминается при разговорах о русском характере, но именно он придает всем русским смутам оттенок тупого зверства.

В XIX в. казалось, что выход из духоты очередной вялотекущей смуты нашел Петр. Альтернативой смуты стали его реформы. Либералы, борцы за права человека, прощали Петру его жестокость, сравнимую с жестокостью Грозного. Прощали потому, что он рубил дорогу не в тупик

опричиныны, а в европейское царство свободы, основанное на законе, потому что он вывел Россию из культурной изоляции и открыл дорогу становлению русского европейца, создавшему гордость России — ее великую литературу.

Славянофилы возражали, что европейское царство закона узко для широкой русской души, что верхний слой, втянутый в Европу, слишком тонок и слишком далек от народа, в Европу едва заглянувшего, и т. п. Версиров, в романе, на который я уже ссылаюсь, признает всё сказанное, — но, по его мнению, игра стоила свеч. Нас всего тысяча, говорит Версиров, — немного более или немного менее, но примерно тысяча. Однако эта тысяча сделала великое дело: она увидела Европу как целое, не разделившееся на французов, немцев, итальянцев, англичан, и сумела воплотить это общечеловеческое, это общеевропейское в своем творчестве...

Можно заметить, что индеец или китаец тоже воспринимает Европу как целое. Но при этом они остаются индейцем или китайцем, то есть оставались в стороне, а русский, благодаря размытости ориентиров в многослойной России, действительно становится русским общеевропейцем. В этом сила русской творческой широты, захватывавшая Достоевского. Версиров спрашивает самого себя, стоило ли создание русского общеевропейца нескольких веков и миллионов людей (он не договаривает — людей, загнанных в рабство) — и отвечает, что стоило. Читая Достоевского, Толстого, мы соглашаемся с ним. Но попав в водоворот очередной русской смуты, начинаем сомневаться.

Версиров говорит это о России. Здесь разрыв между «тысячью» творцов культуры и массой был пропастью (в которую «тысяча», в конце концов, и рухнула). Но и в западных странах, более прочно сложенных, были свои трещины, зашпаклеванные и отлакированные.

За ними пряталась моральная расшатанность. Без этого допущения нельзя понять, как аккуратные немецкие «мальчики в штанах» (беру это выражение у Щедрина) вдруг, как по мановению волшебной палочки, зашагали с факелами в руках, распевая гимн смерти:

Воткнув еврею в глотку нож,
Ты скажешь: мир вдвойне хорош!

А между тем, этот гротеск истории был историческим фактом.

По-настоящему крепким было только общество без выбора, общество строго предписанных ролей, с техникой каменного века, которую знал каждый, и такими же простыми мифами. Там зримым идеалом мальчика был отец, а девочки росли, чтобы повторить образ своей матери. Они знали это с малых лет и с младенчества готовились к строгому экзамену (мы называем это инициацией). На инициации надо было доказать свою

стойкость, выдержку и тогдашнее нехитрые умения и знания. Выдержав экзамен, юноши и девушки готовы были воспитывать следующее поколение.

Переход к современному обществу шел через ступени кризисов, во время которых Хам иногда попирали все святые. Род укрощал его — или разваливался. Со временем Калибан (потомок Хама в более развитом обществе) дошел даже до идеи свободы (как дикой необузданной воли).

В Средиземноморье свобода дважды понималась иначе — как царство закона. Республики держались несколько веков. Но непрерывной традиции свободы история не знает. Рано или поздно свобода выходила за свои рамки, уходила по касательной к незримому кругу духовной цельности, и после нескольких неудачных попыток устанавливался новый порядок, допускающий известное разнообразие в наборе предписанных ролей, с акцентом на семью (по Конфуцию), с втягиванием воинственных племен в систему каст (оправданной Бхагаватгитой) или сословное общество, где благородство обязывало, а Калибана заковывали в цепи.

Всех кризисов история не запомнила. Но осталась в памяти фигура Сократа, слушавшегося своего демона, и два великих создания литературы, возникших в начале XVII в.: Гамлет и Дон Кихот. Они до сих пор остаются как вехи в культуре западных стран. Гамлетов и Донкихотов кризис толкал вглубь, к внутренней опоре. И вместо племенных и сословных характеров возникала личность, готовая поднять на свои плечи весь мир.

На первый взгляд, Гамлет и Дон Кихот — противоположности. Но у них гораздо больше общего (если сравнить эту пару с Фортинбрасом). Дон Кихот, с известными оговорками, мог повторить слова Гамлета:

Распалась связь времен.

Зачем же я связать ее рожден?

или, в более точном переводе:

Мир расшатался. И скверней всего,

Что я рожден восстановить его...

Оба видят расползающийся, рушащийся мир. Оба чувствуют себя одиночками в борьбе с нравственным хаосом. Тяжесть ответственности легла на плечи обоих. Только Гамлет с ужасом и сомнением воспринимает свою непосильную задачу, а Дон Кихот с восторгом и энтузиазмом освобождает каторжников. Недаром Тургенев написал статью «Гамлеты и Дон Кихоты», имея перед своими глазами первых русских интеллигентов, бросавшихся от глубины сомнений к штурму ветряных мельниц.

У меня был некоторый опыт в этом роде. Случайно встретившись с

Петром Григорьевичем Григоренко, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу, и я несколько раз побывал в его квартире возле Николы Хамовнического. Как-то раз, уходя, я подумал: Петр Григорьевич старается понять, чтобы действовать, а я иногда экспериментирую — с известным риском, — чтобы понять. И поняв, — останавливаюсь. Я признавал правоту и за Григоренко, и за Аверинцевым, рыцарем культуры, говорившим, что культура нуждается в работниках, целиком посвятивших себя ей. Но карма, которую я накопил, не давала мне уложиться ни в гамлетовский тип, ни в донкихотский (хотя Гамлет был мне ближе).

И Петр Григорьевич не укладывался в какой-то один тип. В его натуре было и действие, и созерцание, и осмысление. И мы прекрасно понимали друг друга. Я думаю, что гидальго, входивший в клетку к льву, и датский принц, размышлявший, как вправить вывих времени, тоже поняли бы друг друга.

К концу XVII в. крупные фигуры исчезают из западной литературы. Мир как-то вошел в свои суставы, и люди снова стали будничнее. Казалось, что Гамлетов и Дон Кихотов больше не будет. Запад очень удивился, когда в русском романе вновь оказались герои, готовые взять на свои плечи всю тяжесть вселенной. Постоянный кризис России вырывал людей из быта.

Особенно поразило то, что у Достоевского мировая неустроенность беспокоила самые пошлые натуры, переплетаясь с сочинением пасквилей и заботой, как бы достать двадцать пять рублей, прежде чем идти к любовнице. Если в трагедии Шекспира личность — только сам Гамлет, а его окружает свора пошляков, и единственный друг его — Горацио; если в сходном положении Дон Кихот, и за ним следует один лишь Санчо Панса на своем ослике, то друзьями Мышкина становятся и Лебедев, и Келлер, и даже Бурдовскому он не способен сказать, как Гамлет, — «вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Полуобразованность и полунравственность становятся его постоянной собеседницей и разрывают князя на части.

Примерно во время Гамлета Монтень сказал, что хорошие люди — философы и хорошие люди — простые крестьяне, но все зло от полуобразованности. В романе Достоевского простых крестьян нет, а то, что Монтень назвал полуобразованностью, очень близко к русскому понятию пошлости. Двадцать пять лет тому назад, сочиняя «Акафист пошлости», я писал:

«История человеческой массы — это движение от грубости к пошлости. Дикарь груб. Цивилизованный человек, по большей части, пошл. Дикарь держит в голове всю свою культуру и не притворяется, что он следует Христу, любит музыку Баха и т. п. Он о таких вершинах просто не знает. А средний цивилизованный человек — самодовольный пошляк».

Несколько ниже я еще раз поясню это трудное слово: пошлость — «нуль личности, потеря родовых образцов и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина».

Эту глобальную формулу приходится уточнять в каждое время и в каждой стране. Запоздало-ускоренное движение «современности» на Восток и на Юг создало здесь зоны повышенной аморфности и повышенной опасности тотального «перевоспитания». С другой стороны, протестантизм с его установкой на прямой контакт христианина с Богом способствовал структуризации личности, хотя бы в элементарных формах. Однако протестантизм не спас Германию от Гитлера, а Т.С. Элиот, став католиком, не перестал быть либеральным консерватором. Как все это выходит, мы можем объяснить только задним числом, Пол Пот и Бен Ладен всегда неожиданны.

Закономерно только одно: чем сильнее движение к нравственной аморфности, тем сильнее и противостояние творческого меньшинства, чем упорнее движение в глубину Гамлетов и Дон Кихотов, тем отчетливее они чувствуют в своей глубине точку опоры. И это не предел. Еще глубже — «сильно развитая личность», как ее назвал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека» (Т. V, гл. 6).

Правда, это только программа — и программа, к которой вовсе не тянет «нормального» человека (если считать за норму что-то статистически среднее). Здесь слово «норма» — скорее идеал, совершенство, которым человек задуман Богом (и не осуществлен родителями — добавила Марина Цветаева). Во всяком случае — это только программа. Показал Достоевский только отрока новой породы, прекрасного, но не способного защищаться от пошлых страстей, окружающих его.

В канун величайшего взлета русской литературы эти пошлые страсти с великой силой были развернуты Гоголем. Его творчество — это парад мертвых душ. И вся дальнейшая русская литература — усилие преодолеть силу пошлости. И то, что Достоевскому уже мало Гамлета и Дон Кихота, что ему нужна сильно развитая личность, — это действие, равное противодействию. Он не только дерзает нарисовать, хотя бы в намеке, очертания Сына Человеческого; он ищет движение к сильно развитой личности в самой пошлой пошлости. Захваченность мировыми проблемами, которая у Шекспира, у Сервантеса — достояние главного героя, у Достоевского пропитывает весь роман. Хотя пошлость, как правило, самодовольно сознает себя нормой и не страдает от своей аморфности, не мучается в «подполье». В этом смысле роман

Достоевского — болезненное чтение для некоторых читателей.

Зато все меняется в эпохи исторических кризисов. Тогда пошлость теряет свое самодовольство. Взбаламученная, она хамеет, аморфность ее кипит и прорывается сквозь лакировку. Она ищет вождя, который «знает, как надо» и ищет козла отпущения, чтобы растерзать его в жертву богам. Смердяков беспомощен, пока не знает, всё ли позволено. Но вот волшебное заклинание сказано. Всё позволено. И тогда смердяковщина разбухает, силы ее растут в десять, в сто раз. Тогда Павел Федорович Смердяков, не дрогнув, убьет отца. Тогда он и шесть миллионов пустит в расход, а если надо — и шестьдесят. И вдруг — сам вождь усомнился, заколебался. Сам вождь потерял свое знание, как надо. И Смердяков сморщивается, как шарик, из которого вышел воздух, как Сталин 22 июня 1941 г., и готов повеситься, чтобы никого не винить.

Лаком Германии до 1914 г. был миф о ее высокой культурности. Русские дыры лакированы были мифом о святой Руси, могучей в своих немощах. Но после Февральской революции 90% солдат не пришли к причастию, а после Октябрьской — все 99% (эти цифры взяты у Деникина). Значит, всего 1% готов был умереть «за Русь святую и за нее пролить кровь молодую» — больше офицеров и гимназистов, чем солдат. Взбаламученность и аморфность была во сто раз многочисленнее, чем решимость отстоять империю. А в Германии, в 1933-м, усталость от войны уже забылась, и взбаламученность рванулась в другую сторону — к новой войне, к мести союзникам, загнавшим немецкий народ в тупик. За шесть лет (с 1933-го по 1939-й) вчерашние безработные, павшие духом от голода, стали вермахтом, одушевленным волей к победе, и зашагали по Европе, по России... Зиг-хайль, зиг-хайль... Но у ворот Москвы ударили морозы. Ничего, весной снова стало тепло — и снова зиг-хайль. Но Россия велика, фронт растянулся, превратился в Ахиллеса, у которого пятки всюду (румынские, итальянские), а между тем, за два года мы, ополченцы, заменившие регулярные войска, научились воевать, — и немцы очнулись у разбитого корыта.

На первый взгляд, Германии в 1945 г. было хуже, чем России в 1991-м. Заводы лежали в развалинах, администрация — в руках победителей. Оставалось разбирать груды камней и каяться в своих грехах. Но структура немецкой экономики не была изуродована так, как советско-русская. Но все церкви Германии объединились в призыве к покаянию и труду. Но кадры старых политических партий уцелели, они не вымерли за 12 лет, и их не расстреливали. Нашлись старые опытные политики, которым победители могли поверить, как в своих союзников. Наконец, в Германии не было ликвидировано крестьянство. Эта идиотская идея Гитлеру не приходила в голову.

Наконец, груды развалин толкали немцев к труду, и это нашло отклик в немецких привычках. Такие привычки — кристаллизация диктата

исторически сложившихся обстоятельств. Они до поры до времени заменяют массам сократовскую опору на собственную глубину. Начали с разборки развалин — и кончили экономическим чудом. Между тем, положение в России в 1991 г., после бескровного и почти волшебного распада коммунистической системы, толкало к легкомысленному упоению свободой, а свобода в России издавна вырождалась в своеволие самодержца или разбойника (об этом хорошо написал Г.П. Федотов). Чиновники быстро научились пользоваться обстановкой, а массы, нахватавшись ваучеров, остались в дураках и вернулись к сожалениям о прошлом. Интеллигенции, способной найти другой путь и объяснить его народу, не оказалось, и церкви, способной вдохновить к покаянию, не осталось, все великие головы давно были срублены. Советский режим после Сталина смягчился, но не переставал изводить или выталкивать за рубеж всех, способных создать альтернативную администрацию, альтернативную идеологию, альтернативную экономику, структурировать бурлящую массу. В нарастающей смуте победило то, о чем в 1936 г. писал Троцкий: сталинская номенклатура захочет превратить свои привилегии в частную собственность. Старики колебались. Но младшие, комсомольские кадры с энтузиазмом взялись за дело, объединились с теневой экономикой, — и «рашидовщина», которой Горбачев объявил войну, одержала победу. Режим Ельцина не справлялся с положением. Народ бедствовал. И уцелевшее крыло старого режима, охрана, почувствовала себя единственной силой и стала подбирать власть и собственность под себя. Прикрываясь обрывками изношенных старых идей, она навела внешний порядок.

Аморфная масса, называемая народом, приняла это с благодарностью и мечтает о новом Сталине, который раскулачит олигархов и поделит их миллиарды поровну, по сто евро на брата.

Увы, от перехода части капиталов в руки чиновников бедняки не стали богаче, а чиновники менее наглыми. Вместо организованного капитализма, сотрудничающего с профсоюзами, у нас воцарился дикий, бандитский капитализм. Никому он не мил, но как изменить положение? Как довести аморфную массу полубразованности до кристаллизации в здоровое общество, в общество с некоторыми первыми шагами личностного развития? Можно ли надеяться, что через одно-два поколения молодежь устанет от цинизма и потянется в глубину, о которой сегодня и знать не хочет? Никаких гарантий история не дает, но надежда умирает последней. И надо идти навстречу этому движению, сегодня ничтожно слабому, не дожидаясь политических решений и не рассчитывая на низ. Наше будущее - в реабилитации любви (о которой писал Пришвин), в школе, где учитель любит детей, и дети любят учителя, в создании книг и картин — вроде тех, которые помогли мне когда-то в эпохи больших и малых волн террора. Возможно, крупнейшая роль

достанется самому массовому искусству — кино. И если Бог нам поможет, эта работа принесет свои плоды. Подлость не всегда сильнее доблести.

Прошлое и будущее России

Весной 1940 г. я кончал ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы). Одним из последних предметов на экзамене был только что вышедший «Краткий курс истории ВКП (б)». Сперва я сдавал его в конце семестра, а потом на госэкзамене. И третий раз — при попытке попасть в аспирантуру.

Первый экзамен удивил меня. Вроде бы все, что сказано в учебнике, я пересказал, а затем, как принято в хорошем ответе, показал знакомство с другими книгами. Однако мне поставили не пять, а четыре. Почему? Возможно, требовалось только знание «Краткого курса» наизусть? Или важно, что я нарушил порядок изложения по пунктам? Важнейшее там было перенумеровано и излагалось в строгом порядке, а я допустил вольность, поставил третий пункт раньше второго? И в этом хотя и не было прямой ереси, но отступление от порядка показалось шагом к ереси, к собственному мнению? И смысл преподавания истории партии по «Краткому курсу» (после того как мы уже несколько раз учили и сдавали эту историю по другим учебникам) был именно в установлении строгого и незыблемого порядка? Вплоть до порядка перечисления одних и тех же тезисов?

Я решил проверить свою гипотезу экспериментом. Весь материал, не изложенный по пунктам, я отбросил как беллетристику, а перечисления свел к мнемоническим формулам, иногда предельно кратким, иногда анекдотически нелепым. После этого все содержание «Краткого курса» уместилось у меня на внутренней стороне обложки. Несколько раз повторив эту пару страниц, я запомнил их наизусть и кое-что помню до сего дня. Например, пять причин победы Октябрьской революции: «глупая буржуазия, умный пролетариат, крестьянство поняло, партия сумела, империализм сцепился» или «три черты диалектического метода: связь, развитие, борьба».

Оказалось, что я угадал новую систему оценок. Меня так и спросили на госэкзамене: *третья черта диалектического метода*. И я тут же, у стола экзаменаторов, не садясь на место, стал лихо отвечать: «третья черта диалектического метода — это борьба. Всякое развитие проходит в борьбе...» и т. д. Цель была достигнута. Я получил пятерку. Правда,

при попытке поступить в аспирантуру мне за примерно такой же точно ответ поставили тройку. Внешняя система оценок дополнялась тайными внутренними инструкциями.

В итоге проведенного эксперимента я понял, что цель «Краткого курса» — не развивать мысль, а глушить ее и удерживать в рамках четких, удобных для запоминания формул, не провоцирующих к открытым вопросам и самостоятельным ответам. Все это мне припомнилось в субботу 12 июля 2008 г., сидя у телевизора, после замечания Евгения Ямбурга, что к поступлению на факультеты точных наук метод тестов не всегда применим, а к набору на факультеты литературы и истории *всегда* не применим. И я пожалел, что Евгений Александрович сказал об этом только в конце передачи, а не в самом начале. Потому что нажим на метод тестов разрушает восприятие *художественного* текста. Школьная проработка литературы и без тестов глушит неуловимую поэтичность, разрушает целое образа своим дробящим разумом. Подготовка ответов по тестам вдохновит компрачииков и будет доводить до отчаяния артистов педагогического ремесла.

Я вспомнил времена моей юности, когда талантливое и своеобразное надо было протаскивать, а штампы садились на голову. Формулы-перечни «Краткого курса» и тесты ЕГЭ не допускали никаких открытых вопросов, никаких проклятых вопросов, преследовавших людей веками, никаких проблем, которые даже за 400 лет после «Гамлета» и примерно 2500 лет после Книги Иова оставались нерешенными. И я сразу согласился с Ямбургом, что через ситечко ЕГЭ может пройти неплохой инженер, иногда даже физик и математик, но не талантливый литератор. Тот прорыв к свободным глубинам духа, которым увлек меня Тютчев, Толстой, Достоевский, — этот прорыв сегодня становится еще менее вероятен, чем в годы Большого террора. Террор действовал грубо, страхом, вызывал оцепенение мысли, но она могла еще выйти из оцепенения, структура ее не была полностью нарушена, и при случае еретическое сознание снова оживало, снова приникало к источникам живой воды. А метод тестов в гуманитарных науках делает саму мысль бескрылой, осколочной, лишает ее самого порыва к тайне Целого, неподвластной никакой системе.

Вне своей законной сферы метод тестов становится подобием лоботомии, стеной на пути к глубинам гуманитарной культуры. Вспоминается название статьи Оруэлла: «Предотвращение литературы». Происходит что-то вроде предотвращения гения, предотвращения взгляда в Книгу Иова, предотвращен сам вопрос — быть или не быть, на который компьютер не дает ответа, предотвращена мысль, идущая в глубину, к неделимой целостности истины, не укладывающейся в прокрустово ложе прагматики.

Говорят сейчас об истории православной церкви. Надо бы говорить об истории *всех* великих религий. Но в конце концов, достаточно одной,

чтобы в глубинах ее увидеть всё. Глубина неделима, несказанна, и Христос молчит на вопрос Пилата: «Что есть истина?». Ибо Пилат требовал от Христа простого однозначного ответа, того самого, который ЕГЭ требует от ученика. Христос зовет нас уподобиться Ему и в иных случаях молчать. Что же мы поставим ученику, который внял Христу, задумался — и промолчал? Исключить из программы все открытые, все проклятые вопросы? Что тогда останется от Достоевского? Что останется от мировой литературы, если со школьных лет отучать задумываться над тем, что превосходит умственный горизонт чиновника? Кого же тогда готовит школа для будущего России? Ясно только одно: *понимать* Толстого или Достоевского новая система не учит. Культурная традиция будет прервана. В самом деле, как тестовое мышление может объяснить молчание Христа после речи великого инквизитора в «Братьях Карамазовых»? Я вспоминаю несколько споров об этом среди своих друзей. Я вспоминаю дискуссию о князе Мышкине, вызвавшую к жизни десятки статей... Гуманитарная культура — это культура неразрешимых, открытых в бесконечность вопросов.

Когда Гёте спросили, в чем смысл Фауста, он ответил: «Если бы я знал, я не писал бы "Фауста"». Эту фразу, возможно, имел в виду мой учитель, Леонид Ефимович Пинский, когда сказал мне, после долгих размышлений над «Королем Лиром»: «Я пришел к выводу, что единственное адекватное высказывание о "Короле Лире" — "Король Лир" Шекспира». Что же делать? Не касаться вершин литературы? Обходить «мировые» образы (они все загадочны)?

Все вопросы, способные раскрыть личность юноши или девушки, стать шагом в их духовной биографии, — долой! Никакого расчета на внезапное вдохновение, на неожиданную вспышку таланта. Только условно правильные ответы на вопросы государственного катехизиса. Долой личность! Да здравствует Молчалин, угадывающий, что начальству (в данном случае экзаменатору) нужно!

Говорят, что ЕГЭ устранил коррупцию в народном образовании. Не думаю. Система тестов намного сложнее, чем принцип оценок при долбежке «Краткого курса». Но основные типы тестов за несколько лет уже сложились, и можно натаскать любого смышленного недоросля — как угадать тип вопроса и дать подходящий ответ. Ну, не на пятерку, но на четверку или тройку. А дальше скатертью дорога. Недоучил анатомию — клади в зачетку крупную купюру; экзаменатор поймет тебя и распишется в получении. Система по-прежнему будет пропускать абитуриентов, у которых есть деньги на репетиторов, а потом пропускать студентов, имеющих средства для личного контакта с профессором. Система экзаменов продержалась в Китае две тысячи лет и две тысячи лет боролась с коррупцией.

Барьер на пути барашка в бумажке — личность. Когда англичане,

после восстания сипаев, решили завести в Индии честную администрацию, они назначили на руководящие должности джентльменов. Разумеется, хорошо их обеспечив. Но хорошее обеспечение само по себе нуль, если честь и совесть вытеснила нажива.

Создаст ли ЕГЭ чувство чести? Не думаю. Обеспечит ли ЕГЭ неподкупность должностных лиц после экзаменов? Не думаю. Честность должных лиц на Западе, особенно на Западе протестантском, — воспитывалась веками. Поможет ли воспоминание о долбежке тестов специалисту, вышедшему из стен университета и вступившему в трясины повсеместной коррупции? Не думаю. Стена на пути коррупции — чувство тождества с героями Толстого и Достоевского, а не уродов, нарисованных Гоголем и Щедриным. И часы на преподавание литературы, русской и мировой литературы, надо не урезать, а увеличивать, насколько это возможно. Даже если недоросли будут ворчать.

Тургенев когда-то разделил русских интеллигентов на Гамлетов и Дон Кихотов. Но ни Гамлеты, ни Дон Кихоты не обирали купцов, как Сквозник-Дмухановский, и даже борзыми щенками не брали взятки. Обмануть начальство, чтобы урвать лишний кусок хлеба, — дело святое. Но взятка — дело подлое, и воровство бывает греховным. Народный инстинкт это понимает. Я был свидетелем любопытного разговора на огороде. «Где твоя совесть, — говорила казачка мальчику, пойманному при попытке украсть дыню. — Это что тебе, колхозное?». Ваня Тарантаев, попавший в одну лагерную бригаду со мной, получил десять лет за помощь брату — тащить с колхозного гумна мешок пшеницы. Он был абсолютно честным парнем, и даже черного лагерного слова я от него ни разу не слышал. А система...

Систему можно назвать исправительно-трудовой, и один раз из миллиона это удастся (у Макаренко). Социалистическую собственность можно объявить священной и неприкосновенной и по указу от 7.УШ.32 г. сажать на 10 лет за буханку. А Рокотова Хрущев приказал расстрелять за корупномасштабный обмен валюты: это нарушало государственный интерес. Фома Аквинский признавал естественное право человека на жизнь выше права собственности и оправдывал голодного. Рокотову он простил бы фарцовку: неуважению к законам Рокотова научил лагерь, посадили же его впервые только за то, что он был сыном «врага народа». Человечество признало св. Фому мыслителем, а Хрущева — дураком. Бессмысленная жестокость не спасла ложную систему. Развалившись, она открыла дорогу дикому, безнравственному духу наживы.

Все эти разбросанные мысли ведут к одному. Талантливый учитель литературы скорее выпрямит народную душу, чем любая система экзаменов. Я не против систем, без них не обойтись. Но если система разрушает нравственную связь учителя с учеником, личности с личностью, то опыт культуры на стороне личности.

Творчество и нажива

После XX и XXII съездов, когда рухнул культ Сталина, одновременно рухнула вся пирамида ценностей, на которой держалось советское общество. Вместо живого Бога остался уголовник:

Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!

Идеологическую гегемонию захватило армянское радио. В 1962 г. экскурсоводы, провожавшие автобусы на Рицу, развлекали публику вопросами:

- Можно ли построить коммунизм в Грузии?
- Нельзя, потому что коммунизм не за горами.
- Можно ли построить коммунизм в Дании?
- Можно, но жалко. И т. д. и т. п.

Однако Хрущев в коммунизм верил. И во имя этой веры разорвал то, что еще оставалось от крестьянского хозяйства: урезал приусадебные участки, отнимал коров. И на всякий случай перенес дату окончательной победы коммунизма с 1965-го (как установил Сталин) на 1985-й год. А в нижних слоях народа держалась поговорка: с этими людьми коммунизма не построишь. С другими людьми, значит, — еще можно.

Все это окончательно рухнуло, когда началась перестройка. Примерно в срок, установленный Хрущевым для торжества коммунизма, пирамиду стали перестраивать, и она превратилась в груды мусора. Наступило (как уже сказал кто-то) время мародеров, почти не прикрывающих свою мерзость. А между тем, идеалы гуманизма вовсе не были личной собственностью Маркса. Маркс только по-своему пересказал их (в одном из томов «Капитала»: «бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель»).

Мысль Маркса восходит к виконту Шефтсбери и Жан-Жаку Руссо, к просветительской вере в совершенство человеческой природы; а дальше, в глубине веков, маячила Телемская обитель, на воротах которой Рабле написал: «Делай, что хочешь».

В сознании Рабле, Шефтсбери и Маркса незаметно сохранился Адам, созданный Богом и безгрешный в своих райских кущах. Никто из них не замечал, какие в нем прячутся гены, какие динозавры могут

развернуться и развратить любой Телем, любую планету смешного человека. К этому подбирались только одиночки: Дидро в разговоре с племянником Рамо, Достоевский в «Записках из подполья». Хотя о генах тогда ничего не слышали. Достоевский только угадывал, чутьем художника, что апокалиптические видения, приходившие к нему в голову, никак не ладятся с его же современным, дробящим умом; что этот современный ум не совместим с чувством Целого, сквозящим в каждой частности. И достаточно одной «бациллы» дробящей логики, чтобы все распалось. Сон прямо кончается этим распадом...

Такова же судьба эрзац-мифов, сочиненных утопистами по всем правилам их разума; в том числе — теории Маркса. И нельзя сводить к извращениям, что она осуществилась в антиутопии Соловков, Воркуты и Колымы.

Что же началось, когда пирамида рухнула? Когда рухнула идея Протагора, что человек — мера всех вещей? Когда рухнула идея Пико делла Мирандолы, что человек, сам по себе, без вдохновения таинственным, непостижимым творческим духом, может достичь любого совершенства?

Осталось созерцание, дошедшее до глубин духовного света. Остались муки богооставленности, терзавшие душу, пока дух творчества снова не наполнит ее. А если душа закрыта для него и даже тоски о нем не чувствует — остается жажда наживы. Нажива денег, дающих власть. Нажива власти, дающей деньги. Или, на худой конец, — недолгий чувственный восторг, водка, героин и смерть. Выбор простой и жесткий: творчество — или нажива со скрытой в ней, как в портрете Дориана Грея, смертью.

Творчество может быть скромным, незаметным: творчество учителя, творчество библиотекаря, работающего с читателем, и т. п. Но в любом случае оно требует чуткости, воли, настойчивости, ухода от суеты. А если воли и настойчивости нет, то ленивое большинство тянется назад, к утраченным иллюзиям. К иллюзии светлого будущего или к иллюзии посмертного блаженства. Без понимания, что вечность либо здесь, теперь — или ее нигде нет.

Впрочем, сегодня борются не только эти две большие иллюзии. Есть целые отрасли промышленности, фабрикующие иллюзии-однодневки. Есть иллюзии, вырастающие на самом пути выхода из царства иллюзий. Есть иллюзии свободы, иллюзии любви, иллюзии творчества. Есть (все-таки есть) подлинная глубина — и есть иллюзия глубины. Есть образ соборности как единства, сохраняющего свободу, и есть иллюзия соборности.

И ведь вот в чем дело: нет такой иллюзии, в которой — только иллюзия и ни крошки правды. Даже мираж в пустыне несет в себе кусочек правды в сильно нагретом воздухе, который подхватывает образец издалека и уносит его за сотни верст. Каждый предмет, увиденный

глазами, надо еще увидеть умом. И каждую идею, воспринятую умом, надо провести сквозь глубокое сердце, как сквозь рентген, чтобы высветить гиперболы, литоты и прочую фальшь...

Если повернуться к слову «соборность», то в нем очень много оттенков. Это и простой перевод на русский язык латинского «кафоличность», вселенскость, только в византийском произношении, а в латинском произношении это католичность; т. е. вселенское католичество. В студенческие годы мне пришлось познакомиться с полемическим трактатом против латинян, то есть католиков, а назывался он «Венец веры кафолической». И в слове «соборность», воспринятом в потоке русской традиции, есть такой же антикатолический привкус, есть оттенок разделения, а не собирания, воссоединения, экуменизма.

Но соборность — это не просто собирание. Это собирание свободных, независимых людей, захваченных общим духом, а не принуждением, не загнанных, а именно собранных, не в загоне, а на полной душевной воле. И я думаю, что Хомяков, современник Николая I, отгораживался в слове «соборность» не только от избытка разделения, обособленности в западной культуре, но и от избытка принуждения на Руси. А дальше это слово приобретало разные, прямо противоположные смыслы. В одних устах — подчинение высшим авторитетам (авторитетность которых все менее и менее идет от полноты духа), а в других — диалог, дружеский спор, над которым встает дух общей любви к целостности Истины, к цельности Христа, к единству Троицы.

Я думаю, что спор между Хомяковым и Герценом в 40-е годы XIX в. до какой-то степени укладывался в рамки соборной любви к истине. И лишь понемногу, в полемике стал партийным, обособлявшим западников от славянофилов. Однако это не помешало Герцену снова повернуть к критике Запада. Хотя его «соборность» опиралась на русскую крестьянскую общину и дружески объединялась с польскими католиками, отделенными от русского славянофильства пропастью истории.

Пойдем теперь поближе к современности — к «Вехам». Сборник этот задумал Михаил Осипович Гершензон, не православный и даже не христианин, исповедник иудаизма, однако глубоко чувствовавший русскую культуру. И условием участия в сборнике он выдвинул совершенную независимость авторов, обязательство не читать друг другу фрагменты, не советоваться друг с другом. Тем не менее, мыслители «Вех» были связаны каким-то общим духом и выразили в сборнике этот общий дух (позволю себе высказать, не доказывая, — дух той «тысячи русских общеевропейцев», о котором Версиров говорит своему сыну). С самого начала «Вехи» принимают (сперва только немногие), а чаще отвергают — как целое, как верность или как измену лучшим традициям интеллигенции. Примерно на 1040 собраниях за «Вехи» высказалось около 70 аудиторий, а 970 — против. Грубо говоря, 97% против 3% резолюций.

Потом положение изменилось. «Вехи» были признаны воплем из глубины русского духа против политических страстей. Одно выдержало испытание крутого поворота: *единство* «Вех». «Вехи» остались собором, сложившимся из мыслей независимых авторов, шагавших каждый по своей тропинке, не оглядываясь на большинство голосов, не боясь остаться изгоями. Соборность «Вех» органически сочеталась с персонализмом. Этот персонализм острее чувствуется в Бердяеве, менее в некоторых других, но в какой-то мере он характерен для всех. Соборность «Вех» персоналистична и рождает диалог, дух которого витает над различием личных реплик.

Только неудача модернизации, неспособность войти в жизнь высококоразвитых стран породила лидеров, смешавших западничество и почвенничество в один тотальный клубок, где о диалоге не могло быть и речи, а только монолог отца и учителя. И по мере опоминания от псевдособорности, навязанной страхом, все чаще и чаще вспоминаются слова Достоевского о сильно развитой личности, написанные лет через двадцать после Хомякова, а от нынешних дней за 150 лет. «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, не испытывающая за себя никакого страха, не может найти себе никакого другого применения, кроме как отдать себя всю всем, чтобы и другие стали такими же полноправными и свободными личностями...»¹⁸

Страна, сложившаяся в византийском культурном круге и затем, после блуждания в степи, нашедшая себе новое место в западном культурном круге, не может избежать внутреннего диалога. Где мы находим подлинную соборность? В «Вехах». А где мы находим подлинный персонализм? В тех же «Вехах». Дух единства и личная окраска реплик сливаются в одно целое. Нельзя зачеркнуть след великого искусства, нашедшего себя в иконах и фресках XIV—XV вв. И нельзя зачеркнуть след великой литературы XIX века, от Пушкина до Чехова, с особым упором на всемирные вершины — Достоевского и Толстого. Необходимость диалога Рублева и Дионисия с Толстым и Достоевским почувствовал впервые Андрей Тарковский. И есть еще одна задача, сформулированная Достоевским в романе «Подросток» (я бегло об этом уже сказал) — преодолеть разобщенность европейских культур и создать культуру «тысячи русских общеевропейцев», постоянно расширяя круг этого диалога и втягивая в него вершины Дальнего и Среднего Востока.

Эту сверхзадачу надо иметь в виду, решая частные русские проблемы. И пусть еще не родились гении, способные решить ее так, как решали свои задачи гении XV века и гении XIX века; но мы в силах мостить им дорогу.

И пусть они превзойдут наши слабые попытки и снова уведут Россию

¹⁸ Прошу прощения, что цитирую наизусть: нет под руками книги.

от наживы — к творчеству.

Два этюда о Марии и Марфе

1. Какая элита нужна России?

Я попытался представить себе образ элиты. Но он тут же распался и превратился в какое-то облачко. Единой элиты не может быть в сложном обществе. Некоторые элиты живут в связке и как бы могут быть охвачены одним взглядом; другие мало что знают друг о друге; например — военная элита и театральная. Поэтому иду на риск поставить вопрос по-своему: *какая элита сегодня* нужнее всего России? Например, в 60-е годы XIX в. Гончарову казалось, что нужнее всего элита деловая, и он представил ее в Штольце. А мне кажется, что сегодня нужнее всего этическая элита. Или еще точнее: элита, противостоящая коррупции.

В книге Евгения Ямбурга «Педагогический декамерон» (Москва, 2008) хорошее определение заимствовано из опыта Германии. Это фрагмент из письма Дитриха Бонхёффера, ожидавшего казни за участие в заговоре против Гитлера. Письмо достаточно широко известно, но мысль Бонхёффера так глубоко и смело развита, что стоит еще раз углубиться в нее. И я согласен с Ямбургом, что формулировки немецкого пастора, созданные в эпоху великого немецкого кризиса, подходят и к нынешнему русскому кризису:

«Если у нас не достает мужества восстановить подлинное чувство дистанции между людьми и лично бороться за него, мы погибнем в хаосе человеческих ценностей. Нахальство, суть которого в игнорировании всех дистанций, существующих между людьми, так же характеризует чернь, как и внутренняя неуверенность; заигрывание с хамом, подлаживание под быдло ведет к собственному оподлению. Где уже не знают, кто кому и чем обязан, где угасло чувство качества человека и сила соблюдать дистанцию, там хаос у порога. Где ради материального благополучия мы миримся с наступающим хамством, там мы уже сдались, там прорвана дамба, и в том месте, где мы поставлены, потоками разливается хаос, причем вина за это ложится на нас. В иные времена христианство свидетельствовало о равенстве людей, сегодня оно со всей страстью должно выступить за уважение к дистанции между людьми и за внимание к качеству. Подозрения в своекорыстии, основанные на кривотолках, дешевые обвинения в антиобщественных

взглядах — ко всему этому надо быть готовым. Это неизбежные придирки черни к порядку. Кто позволяет себе расслабиться, смирить себя, тот не понимает, о чем идет речь, и, вероятно, даже в чем-то заслужил эти попреки. Мы переживаем сейчас процесс общей деградации всех социальных слоев и одновременно присутствуем при рождении новой, аристократической позиции, объединяющей представителей всех до сих пор существовавших слоев общества (подчеркнуто мною. — Г.П.). Аристократия возникает и существует благодаря жертвенности, мужеству и ясному осознанию того, кто кому и чем обязан, благодаря очевидному требованию подобающего уважения к тому, кто этого заслуживает, а также благодаря столь же принятому уважению как вышестоящих, так и нижестоящих. Главное — это расчистить и высвободить погребенный в глубине души опыт качества, главное — восстановить порядок на основе качества. Качество — заклятый враг омащования. В социальном отношении это означает отказ от погони за положением в обществе, разрыв со всякого рода культом звезд, непредвзятый взгляд как вверх, так и вниз (особенно при выборе узкого круга друзей), радость от частной, сокровенной жизни, но и мужественное приятие жизни общественной. С позиции культуры опыт качества означает возврат от газет и радио — к книге, от спешки — к досугу и тишине, от рассеяния — к концентрации, от сенсации — к размышлению, от идеала виртуозности — к искусству, от снобизма — к скромности, от недостатка чувства меры — к умеренности. Количественные свойства спорят друг с другом, качественные — друг друга дополняют».

Читателя может смутить установка на аристократию. Но это метафора, заимствование из прошлого. Автор говорит о том, что *должно* быть, и выбирает образы из того, что *было*. Иначе трудно создать зримый образ. Впрочем, в конце фрагмента дается и совершенно точное описание современного этического идеала с позиции современной культуры. Я иногда узнаю в этом описании своих знакомых.

Однако образ благородного рыцаря — не единственный, который приходит в голову. Мне припоминается другой образ из жизни России XV века: движение нестяжателей. С той же оговоркой: это метафора, описание того, чего еще нет, и прямого сходства с заволжскими старцами читатель не должен искать. Но я могу представить себе в современной России движение нестяжателей, собор нестяжателей, а рыцарей — только как одиночек. Одиночки не остановят рост коррупции. А остановить его необходимо. Гайдар (в полузабытой газетной заметке, бросившейся мне в глаза) совершенно верно писал, что рынок без нравственных устоев — это кошмар. Откуда же взять устои? Протестантская этика, которую высоко оценивал Вебер, выросла из спора монаха с папой и впоследствии уже сплелась с рынком. Этическая напряженность старообрядцев родилась в споре Аввакума с Никоном и опять-таки только впоследствии создала

лидирующее меньшинство в развитии русской промышленности. Откуда же нам взять хозяйственную этику сегодня?

Я присутствовал на круглом столе, обсуждавшем вопрос о доверии между деловыми партнерами. И ушел — с еще более твердым убеждением, чем прежде, что хозяйственная этика — часть общенародной этики, корни которой очень далеки от рынка.

Георгий Петрович Федотов считал духовной трагедией XV века победу осифлян над нестяжателями. Надо понять, почему. У Иосифа Волоцкого были свои резоны: на оброк от крепостных крестьян он строил храмы, создавал мастерские иконописцев, при неурожае помогал голодающим. Дело в стиле полемики. Нил Сорский не хотел никого уничтожить. Он мягко доказывал, что владение крепостными затягивало в мир суеты. А Иосиф Волоцкий стремился доводить спор до уничтожения противника и даже подозреваемых в сочувствии идеям нестяжателей. По этой причине был отправлен в тюрьму Иван молодой, наследник Ивана III, и на престол возведен Василий Иванович, отец Ивана Грозного. Последствия этого известны. Иосиф Волоцкий — один из первых русских политиков, разрушавших противника «до основанья, а затем»... Затем Иван Грозный уничтожал боярство, Никон — старообрядцев, Петр — стрельцов и, наконец, большевики — эксплуататорские классы, вплоть до ликвидации кулачества, а заодно и свободного крестьянства. К чему это привело? В обществе как целом, в культуре как целом?

Не существует ни одного исчерпывающего *определения* культуры. Но можно представить себе *образ* культуры как венка, сплетенного из многих символов, догм, принципов, идей. Жизнь культуры — постоянные поиски равновесия. Одна ветвь уравнивает другую и не дает ей устремиться по прямой линии в бесконечность. Всякое развитие, потерявшее меру, становится злокачественным. В здоровом организме и в здоровой культуре целое господствует над частями и не допускает уродливых перекосов, грозящих разрушением на куски. Отсюда опасения Конфуция и консервативная мудрость, не допускающая слишком быстрого роста, увлечения «прогрессом», создающим кризисы и катастрофы. Отсюда катастрофы XX века, вызванные ложной идеей уничтожения единого источника зла, после чего автоматически исчезнут все беды.

Если отвлечься от стиля полемики Иосифа Волоцкого, то его спор с Нилом Сорским — это спор Марфы с Марией. Христос, арбитр спора, сочувствует Марии, но он не проклинает Марфу, он только проводит в ее уме более длинную линию, чем линию ее хозяйственных забот, и в сравнении с этой линией, ведущей в глубину, хозяйственные заботы (и самолюбие хозяйственницы) сами собою становятся на второе место. Однако Мария царствует, но не правит, оставляет Марфе всю ее сферу — без переоценки важности этой сферы.

Мария царствует, но не правит, подобно королеве Англии или ны-

нешнему испанскому королю, которые не вмешиваются в торговые сделки, но хранят лучшие моральные традиции аристократии, традиции благородства, которое обязывает (поБлеззе оЪИде). С этой точки зрения можно понять и смысл слова «аристократия» в письме Бонхёффера. Это орден, к которому всякий может присоединиться, если он глубоко и чисто живет (как это подробно описывается в конце фрагмента, приведенного выше).

Нестяжатели наших дней — это учителя, живущие на свое скаредное жалование, но не торгующие отметками, библиотекари, не бросающие своего призвания ради ларька на рынке, и т. п. Сергей Аверинцев говорил, что культура нуждается в работниках, для которых она — единственное призвание. Один мой друг, выдающийся физик, сказал неожиданным в его устах библейским языком, — что торгующих надо изгнать из храма науки. Я немного участвую в большой работе, которую ведут Евгений Ямбург — с учителями, Екатерина Гениева — с библиотекарями, верными своему призванию. Эта традиция достаточно стара. От Ломоносова до Лихачева в университетах не было коррупции. Крепость держалась два века. Сегодня она на пороге падения.

Однако в сфере науки и народного образования коррупция еще сравнительно недавно пустила корни. Здесь остались нестяжатели, на которых можно опереться. И судя по письмам, которые до меня доходят, кое-где они смыкаются в группы и пытаются сформулировать свое сгедо.

Приведу один пример — из жизни уральского городка Верхняя Пышма. Начало нашей переписки с ним положил журнал «Смена», брошенный кем-то в электричке. Журнал подобрала Ирина Елисеева, воспитательница детского сада, прочла стихи Зинаиды Миркиной и стала разыскивать наш адрес. Было это давно, лет 15 тому назад. В конце концов, адрес нашелся. С тех давних пор я запомнил реплику ребенка после беседы о Боге. «Я поняла, — сказала шестилетняя девочка. — Это как чувствовать маму с закрытыми глазами». Я использовал эти слова в какой-то статье.

Год шел за годом, Елисеева поступила на заочное отделение института, проучилась шесть лет, но никак не могла защитить диплом. Оказалось, что диплом имеет рыночную стоимость. Елисеевой это не понравилось, и она ушла без диплома. Заведовать библиотечным колл-лектором ее взяли и так. Передо мной лежит бюллетень «Околица», издаваемый нестяжательницами Верхней Пышмы, № 1 за 2008-й год, а всего по счету 8-й. Приведу характерные заголовки статей: «Миры, творимые словом» Г. Киривой; «Библиотекарь — профессия креативная» (Г. Шматовой и Н. Некрасовой) и другие. Есть и раздел «Просто цитаты», фразы, выбранные внимательным чтением и ставшие девизом нового движения.

Маленькие бюллетени, восемь страниц, направлены к укреплению

духа общественной группы, непокорной гнилому поветрию. Если дело так пойдет, если удастся объединить кучки людей, разбросанные от Архангельска до Ульяновска и от Калининграда до Томска, то народное образование может быть постепенно очищено, торгующие изгнаны из храма и выпускники школ и университетов начнут бороться с коррупцией повсюду. Можно вспомнить, что это уже было. Выпускники университетов, расширившихся после реформ Александра II, взяток не брали и теснили лихоимство на местах, куда попадали. Можно вспомнить (это и мой личный опыт), что в исправительно-трудовых лагерях взятки брали только социально близкие воры и бандиты, а социально чуждые интеллигенты брезговали этим. Хотя, казалось, на что мне, осужденному за антисоветскую агитацию, бороться за этику своей лагерной профессии (нормировщика подсобных мастерских)? Положение абсурдное, но за два с половиной года я ни разу взятки не дал и не брал. Рискуя тем, что меня снимут с работы и отправят на общие, ворочать баланы на лесозаводе...

Примерно так вели себя и другие антисоветчики. Начальство это понимало и предпочитало комплектовать свои канцелярии из контингента со статьей 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда). Куда он делся, этот контингент? Что его создало? Может быть, чтение и перечитывание великой русской литературы XIX века, в особенности Толстого и Достоевского? И может быть, нынешняя реформа народного образования, с установкой на прагматику, подрывает сами основы честного рынка? Потому что прагматика у нас коррупционная, и без каких-то внепрагматических духовных устоев вор у вора по-прежнему будет дубинку красть, и никакого толку из этого не будет.

Говорят, что поможет преподавание Закона Божьего. Но тут тоже есть опыт. Дореволюционные батюшки, сталкиваясь с наукой, вызывали взрывы подросткового атеизма. Через него прошел даже Владимир Соловьев. Преподавание этически насыщенной литературы XIX в. (и лучших книг XX в.) давало гораздо более надежные результаты. Другое дело, что строить преподавание литературы в школе по университетскому принципу, как *историю*, — тоже себя не всегда оправдывало. Быть может, целесообразно подбирать из трудных сочинений классиков то, что может усвоить подросток. Например, «дети у Достоевского» (Неточка, Нелли, мальчики в «Братьях Карамазовых» и т. п.); быть может, стоит издавать специальные школьные серии, хрестоматии, а не сразу оглушать «Преступлением и наказанием». Этот вопрос требует длительной разработки и выходит за рамки статьи.

Подведем итоги. Нам нужна элита, которой «образование не позволяет» уступать привычкам коррупции; элита, способная исправить очередной перекосяк в русской истории — не «до основания, а затем...», — не упраздняя и не ограничивая рынок в его рыночной сути, а помогая рынку и государственному аппарату выработать свою профессиональную

этику и чувство чести. Мне кажется, изучение лучших образцов мировой литературы может (начинаясь в старших классах) продолжаться и на факультетах точных наук. Студентам нужны тексты, заставляющие мыслить о религиозных и этических проблемах, не пряча открытых вопросов, «проклятых вопросов», мучивших Иова. Такое чтение, по моему опыту, развивает личность, толкает ее в глубину, в «царствие, которое внутри нас», и «сильно развитая личность», о которой мечтал Достоевский, не поддается никаким соблазнам.

2. Школа в джунглях принципов

Первый экзамен, вошедший в историю, была инициация. Хотя слов «экзамен», «история», «инициация» еще не было. И письменности не было. Поэтому бесписьменные народы назывались, на моей памяти, «дикарями». Но это несправедливо. Была цельная культура, восходившая к прадедам, старики помнили предания и рассказывали их подросткам. В инициацию входили испытания юношей и девушек, обряды перехода к взрослости. И подростки 12—13 лет, выдержав испытания, входили в круг зрелости. Аттестатов им не выдавали, но юношей испытывали на глазах девушек, к этому обряду готовились с детства, вся жизнь племени была школой, и никто не учился на тройки. Все заслуживали золотую медаль.

Общество было простым, культура была простой и цельной, она вмещалась в одну голову и запоминалась наизусть. Если считать цельность вершиной всех ценностей, то дальнейшее развитие было упадком. Накапливались противоречия, рвавшие культуру на части. Рос объем культуры, и не все его могли удержать в голове, не путая. И появились хамы, плевавшие на непонятные запреты.

Следующим ударом по цельности культуры была письменность. Объем знаний окончательно вышел за рамки памяти, за рамки одного ума. Появились разные толки. Прямолинейная мысль срезала углы, повороты предания. Геометрия неолита сменила живые образы палеолитических пещер. Все это началось еще до письменности, до книги, но книга завершила процесс, утвердилось движение от принципа к следствиям, вытекавшим из принципа. Во имя принципа государственной пользы древние книги, хранившие архаические образы целого, иногда просто сжигались. Государство, объявившее себя высшим принципом, объединило Китай — и рухнуло: жить под игом принципа, доведенного до абсурда, было невыносимо.

Это предвидел Конфуций. Ему понадобилось несколько десятков лет, чтобы изучить всю совокупность древнего предания, уловить его общий дух и сплести все принципы, все идеи в единый венок. Это плетение венка культуры казалось лишним прагматикам, стремившимся к прямой пользе, к победе своего царства в борьбе всех против всех. Но победа принципа государственной пользы оказалась его смертью (так же, как победа

принципов Сталина или Гитлера). После трехсот лет воюющих царств Кун Цзы (мудрец Кун) был признан Кун Фуцзы (Кун великий мудрец). И страна середины приняла его завет: осторожно вводить новое так, чтобы оно не разрушало гармонии старого; следить за тем, чтобы ветвь, вылезавшая из венка, уравновешивалась другой, противоположной, и кольцо культуры медленно росло, избегая кризисов и разрушений. Этот идеал был не вполне достижим. Китай прошел через жестокие кризисы, но наследники Конфуция продолжали держать в уме древнюю гармонию и по мере сил восстанавливали ее.

Устойчивым был и порядок, уцелевший до сих пор в Индии, но нет здесь места рассматривать разные варианты стабильности. Достаточно подчеркнуть, что к западу от Инда совершенная устойчивость ни разу не удавалась. Отдельные ветви росли слишком быстро. Развитие, потерявшее меру, становилось злокачественным. Венки культуры расшатывали внутренние противоречия и добивали варвары, сохранявшие примитивную цельность (эту динамику впервые отметил Ибн Халдун). Некоторые древние культуры целиком погрузились в Лету, ничего не передав наследникам. В иных случаях из обрывков разрушенного старого венка и энергии завоевателей рождался новый круг, больше прежнего, а временами и крепче прежнего. Наконец, западнохристианский культурный круг охватил (хотя и не до глубины) весь мир; но чем быстрее развивалась глобальная цивилизация, тем труднее стало охватить ее умом и еще труднее остановить процессы, ведущие к распаду.

Древняя мудрость почти исчезла в гонке за частными целями. Образ Целого всплывает вновь только при созерцании гармонии природы и духовных глубин. То, что доступно Марии, ускользает от Марфы. Образы, всплывающие в сознании Марии, кажутся Марфе туманными наплывами, не имеющими большого веса в практике. Сестры все больше расходятся. Точное мышление рассекает мир на атомарные факты. И чем больше мы набираем фактической информации, тем дальше Целое, связывающее нас всех воедино; тем меньше мы понимаем собственные глубины и глубины друг друга. Тем меньше возможности понять корни настоящего в прошлом, тем больше разрыв между отцами и детьми, и исчезает способность понять ценность древнего, архаического опыта — то, что само собой давалось бесписьменным «дикарям» и «варварам».

Потеря цельности жизни захватывает и творческое меньшинство. Тютчев колеблется между одиночеством созерцателя, слитного с природой, в которой есть и душа, и любовь, — и оторванностью от мертвой природы, где нет и не было никакой загадки, где нет никакого знания о нашем, человеческом былом, о нашем присутствии. У Рильке сильнее чувство «святого одиночества», нераздельности человека и природы, но попытка единства мужчины с женщиной может кончиться катастрофой.

Когда советским переводчикам разрешили издавать Рильке, со-

бравшийся кружок подсчитал свой банк. Оказалось, что больше всего было переведено одиночество разрыва — одиннадцать раз! Одиннадцать раз одиночество хлестало реками! И гораздо реже слышалось «О, мое святое одиночество!». Это не характеристика Рильке, в его творчестве обратное отношение между единством и разрывом, но характеристика читателей Рильке, вероятно, одинаковая во всех странах.

Такова статистика. Но вот еще один единичный факт, подтверждающий статистику. О Рильке я впервые узнал в лагере. И единственный стих, который в подлиннике запомнил мой информант, был стих о падении в пустоту:

Моя мать выродила меня в огромный мир.

В разговоре о Рильке информант говорил и другое. Но запомнил он то, что ближе было к его собственному опыту.

Должно было пройти двенадцать с лишним лет, чтобы сила стихов, передающих чувство единства с миром, опрокинула и в моем сознании бездну ньютоновского пространства, как пустую корзину, и то, к чему я стремился, нашло, в конце концов, свой образ в стихах Зинаиды Миркиной, льющихся один за другим в ее тетрадах. Привожу одно четверостишие, особенно близкое к тому, что я пытался и не умел выразить:

Всемогущее сердце мое,
Бесконечных миров сердцевина,
Ты, наполненное до краев,
Со вселенною всею едино...

Это, однако, не сразу далось автору и еще дольше не давалось мне. И я думаю, что чувство цельности бытия и тоска по этой цельности — близкие соседи. Одни остаются «жильцами двух миров», как Тютчев, других тоска толкает к прорыву, к внутреннему огню, который пережил Паскаль и запись о котором была названа его «амулетом». А в стихотворении Миркиной — к его последним строкам:

Омываясь в твоей тишине,
Я прощаюсь со знанием ложным.
Все, что истинно надобно мне,
То воистину сердцу возможно.

Тоска по вселенской любви — уже на одной из последних ступеней к самой любви, и она узнает торжество любви, когда встречает его. Поэтому расколотость творческого меньшинства не делает учителя неспособным вести других к ступени, которой сам он еще не достиг.

«Человек живет для лучшего», — сказал Лука в горьковской пьесе. И хотя я знаю, что многого не достиг, я надеюсь, что читатели моих книг

добьются большего, чем я. И если среди моих читателей есть учителя, то пусть их не смущают неудачи. В замечательной книге Ямбурга «Педагогический декамерон» попадаются рассказы о провалах. Это неизбежно. И остается вечно открытым вопрос: то ли учитель не нашел ключа к ученику? То ли ключ оказался в других, более сильных руках — в семье, на улице, в бесконечных поворотах жизни. Евангельский сеятель не отчаивается, кидая свои зерна, хотя идея предопределения живет так же долго, как и надежда, что зерно, брошенное на землю, не пропадет.

То, чего достигает школа — только первый толчок, постановка на путь — не больше.

Аттестат зрелости — только знак *желания* стать зрелым, вступить на путь к зрелости, не остановиться на полдороге. Выпускник школы лжет, если он всерьез считает себя зрелым. Он зрел только как рупор, способный озвучить догмы, которые запомнил. Таких рупоров много. Но есть и подростки, которых курс русской литературы разворошил, озадачил и толкает учиться самому подходить к открытым вопросам, и для них специальное высшее образование должно быть дополнено продолжением курса литературы с упором на ее глубины, с переходом от истории к онтологии, к героям и ситуациям, где история прорвана и открываются бездны, которые раскапывал еще Иов в поисках внутреннего света. Насколько я понимаю, это должен быть курс вершин мировой литературы, органически связанных с вершинами русской литературы («Гамлет» — и «Братья Карамазовы», «Жизнь есть сон» Кальдерона — и «Идиот»).

В стране, которая прошла антивоспитание в лагерях и в диком рынке, нельзя ждать, пока само собой родится творческое меньшинство, способное вывести массу из тупика. Надо это меньшинство создавать и прежде всего — в школах и в университетах. Здесь раньше, чем где бы то ни было, торгующие должны быть изгнаны из храма — так, как это уже было в университетах, созданных Ломоносовым и продержавшихся в чистоте до первых лет революции. Здесь может быть создан опорный пункт, из которого — со временем, не рассчитывая на быстрые успехи, — удастся развернуть наступление «нестяжателей» на современные нравы.

Студент, вышедший из университета, должен чувствовать примерно такое отвращение к коррупции, как я его чувствовал, попав в лагерь, и научиться избегать продажности, как я избегал ее в течение трех лет, оказавшись на должности нормировщика подсобных мастерских, входившей в мафиозную цепь. Я эту цепь оборвал и убежден, что ее всюду можно оборвать. Меня поддерживало мысленное общество с героями прочитанных книг и живое общество с товарищами по несчастью, не покупавших себе поблажки.

Я думаю, что прагматики узко понимают государственную и экономическую пользу. Не будет общей пользы, если вор у вора дубинку

крадет. Обществу нужна личность, верная своей этике и утверждающая эту этику всюду, где живет и работает, даже если это тяжело и опасно.

Если (через несколько десятков лет) студенты будут выходить из университетов людьми, обладающими чувством собственного достоинства и чести (пусть не все — достаточно уверенной в себе группы), — зона, расплзшаяся на всю Россию, отступит за проволоку, и в жизни утвердятся не только евроремонт, но и евромилиция, евросуды и, наконец, — евроаккуратность на опушках лесов и улицах поселков. И кто знает? Возможно даже возрождение того, русского «общеевропейца», о котором Версильов говорил своему сыну Аркадию; того общеевропейца, который создал бессмертную русскую литературу XIX века.

Вселенское дыхание

Григорий Померанц

«Я» без скорлупы

Мой Боже, вновь Ты говоришь со мной.
День пасмурный, спокойный день лесной.
Безветрие. Не движутся листья,
Но рядом Ты. Все время рядом Ты.
И скорлупа ломается моя,
И я вхожу в безмерность бытия,
Сливаюсь очень медленно с Тобой,
Как с этой нежной, сизо-голубой Полоской
неба над моим окном,
Как с веткой, заглянувшей в мой дом.
О, как глаза людей еще слепы!
Ты — это я без всякой скорлупы.

Что же скрывается за мыслимой скорлупой повседневности? Какая-то глубина, но какая? Можно представить себе резонанс нескольких мыслимых ответов. Я допускаю резонанс и метафоры ядра без скорлупы, открытого ядра, — и метафоры залива, связанного с бескрайним океаном. Где волны то заносят океаническую воду, наполняя собой очертания берегов, то возвращаются в бескрайность. А скорлупа — та повседневность, которая отделяет наш «залив» от незримого океана — от царствия внутри нас.

Чем качественно богаче то, что скрывается за скорлупой, чем безмернее его возможности, тем труднее охватить их единым взглядом, труднее увидеть целое, свернутое в жгут метафоры, а потом развернуть его в систему понятий. Чем глубже проблема, захватившая ум, тем труднее обособить в ней угол, где действуют строгие законы. Во всяком случае, все законы, устанавливаемые людьми в делах человеческих, логически неизбежно вели к казни Антигоны или к убийству старухи-процентщицы. Это в лучшем случае; а в худшем — идея, признанная безусловно истинной, требует нескольких миллионов голов и ведет к исторической катастрофе.

Целостность природы, общества и целостность человека не делится без остатка на факты, которые можно обособить, рассчитать и сосчитать. Это показал Достоевский в сценах суда над Митей Карамазовым. Все жизненно важнейшие вопросы остаются там открытыми. Они и в жизни, и в великих созданиях искусства решаются лично, порывом сердца, прошедшим через муки сомнений. Невозможно точно ответить, в чем смысл жизни, можно только показать пример, как *ты* его решил. Перед

вопросами Гамлета математика, королева точных

наук, теряет свой престол. Правда открывается только бесконечной глубине сердца, открытой бесконечности вселенной. Христос почувствовал эту правду и не осудил грешницу, но прием, которым он загнал фарисеев в тупик, разрушает всю систему права и не может быть пущен в общий оборот. Кто из нас без греха? Значит ли это, что убийство, заслуживающее снисхождения, не должно быть вовсе наказано?

Или, напротив, каждый человек, не способный совладать со вспышкой гнева, — преступник на Страшном суде? Я думаю, верно второе.

Духовное неведение господствует в прикладных версиях точных наук.

И в исторически первой точной науке, в римском праве, оно было юридически четко высказано: *Иаl ^и8^^^а, регеа! типдиз* — да здравствует право, закон, справедливость, хотя бы мир погиб. Ученый, создававший водородную бомбу, закончил свои размышления о нравственной ответственности словами: «в конце концов, это превосходная физика». В переводе на язык римских юристов это звучало бы так: «Да здравствует физика, хотя бы мир погиб!». То, что было метафорой в древности, реализовалось в XX веке. Развитие западной цивилизации, наложившей отпечаток на весь мир, пошло по дороге, где на каждом повороте ждет катастрофа. Могущество средств, оказавшихся в руках человечества, обогнало власть духа, способного удержать злоупотребление своим могуществом, и мы давно вошли в зону смертельного риска.

Приведу один пример: Андрей Дмитриевич Сахаров разрабатывал проект взрыва, способного вызвать гигантскую волну в океане и затопить восточные штаты Америки. Его отговорили старшие коллеги, и только тогда он стал думать о нравственной ответственности физика и вошел в историю как пример ученого, для которого «превосходная физика» перестала быть высшей ценностью. Человечество не переменилось вместе с Сахаровым. И современная техника, нарастая, непременно разрушит биосферу, даже без войны, без применения ядерного, бактериологического и какого угодно оружия, простым своим ростом. Биосфера не рассчитана Богом на чудеса техники. Она рассчитана на людей, сознающих себя частью биосферы, а не машинного парка, людей, которым доступно целостное сознание и целостное чувство ответственности, людей, способных сдерживать ветвящийся кризис.

Екатерина Колышкина (в первом замужестве де Гук, во втором Дохерти) писала, что для спасения человечества нужны миллионы святых. Я думаю, речь у нее шла не о миллионах канонизаций, но о совести, дошедшей до капли святости, о совести в сознании специалистов, слишком узком для решения сегодняшних глобальных задач.

Более того. Я склонен думать, что культуры планет, разбросанных в пространстве и времени, как-то влияют друг на друга и в вечности образуют неразрывное царство духа. И не надо вносить в это царство

свою смуту. Ответственность перед космосом не может быть доказана, ум здесь смолкает, но сердце готово его принять. Пусть это только вера; но картина, нарисованная в «Розе мира» Даниила Андреева, захватывает меня.

Мир не исчерпывается точно установленными фактами. Мир имеет еще другое, целостное лицо, лик целостной вечности. Через вечность можно иногда мгновенно заглядывать в движение времени, еще не ставшее фактом, в реальность, уже угасшую или свершившуюся в неведомой дали. Известны случаи предвидения, неточного только по описанию. Например, Нострадамус предвидел, что будут летать железные стрекозы (не зная таких слов, как бомбардировщики, истребители и т. п.). Нелепая форма (стрекоза из железа) не должна нас смущать. Заглядывая вперед, духовидцы досматривают смутно увиденное сквозь пёстрое стекло привычных, повседневных образов.

Иногда такие образы включаются и в научную интуицию. Так, Кекуле увидел во сне структурную формулу бензола как змею, кусающую себя за хвост. Но паранормальные заглядывания могут быть и совершенно точными. Ломоносов увидел во сне отца, указавшего ему на остров в Белом море, где лежал его непохороненный труп. Михаил Васильевич поехал туда, нашел тело отца и похоронил.

Заглядывание сквозь время, сквозь пространство, телепатия, телекинез и т. п. встречается у цыганок, у шаманов и знахарей чаще, чем среди ученых. Современная цивилизация перегружает ум лавинами фактов, сдавливающих ум своей массой, и все труднее обзреть жизнь в целом, уловить ее общий ритм, понять роль молчания ума в созерцании. Все дальше от нас глубинная реальность, где будущее и прошлое, близкое и далекое сплетаются в один узел. Хочется вспомнить слова Николая Кузанского об «ученом незнании», об ограничении круга обзереваемых фактов уровнем, при котором еще возможен интуитивный охват их в цельном образе.

В донаучных культурах это проще. Покойный генерал П.Г. Григоренко рассказывал мне, что лет 16-ти он показал руку цыганке, и та предсказала ему тяжелую старость. Оказавшись в советской карательной психушке, он это вспомнил. О шаманах написал книгу американский ученый Хорнер, тридцать лет их изучавший и в конце концов ставший практикующим шаманом. Другой факт сообщила мне Ирина Воге, переводившая беседу азербайджанского поэта-дервиша с шаманом из норвежской части Лапландии (дервиш говорил по-русски, а шаман работал норвежским инженером-экологом). Это очень интересный случай пересечения традиций.

Дервиш, только что вышедший из азербайджанской тюрьмы, бледный тюремной бледностью, искал политического убежища, но прежде всего присил свести его с «настоящим» шаманом. Шаман вскоре отыскался.

Поэт-дервиш задал ему несколько вопросов. Привожу ответы, записанные Ириной Воге по памяти.

«В нашей культуре человек и космос — одно целое, и когда нарушается эта целостность, происходит все, что мы сегодня наблюдаем. Отрыв от космоса — источник зла, дисгармонии. Целостность — один из аспектов Бога».

Когда шамана спросили, как он относится к женщине, он дал интересный ответ: «Если женщина для тебя не богиня, то ты ее используешь. В жене надо видеть богиню».

После беседы дервиш попросил освободить его от ненависти, с грузом которой ему трудно жить. Вместо ответа шаман взял бубен и две-три минуты поиграл на нем.

«Звуки бубна, — продолжала свою запись Ирина Воге, — перенесли нас троих в какой-то более тонкий и светлый мир, и это состояние оставалось со мной до конца дня».

После беседы дервиш поблагодарил шамана, а тот, в свою очередь, поблагодарил дервиша за характер его вопросов. Подобные вопросы, сказал, задают ему редко и немногие.

Я думаю, что наследие архаических культур может во многих случаях интегрироваться в современность. Логика науки должна быть дополнена метафорикой целостной реальности, разворачивающей перед нами свои аспекты, недоступные современному уму. Одним из аспектов диалога эпох может стать и сам созерцатель, переставая быть изолированным атомом. Его сознание расширяется и движется к самосознанию вселенной.

При подступе к целому я использую и метафору скорлупы и метафору духовного океана, создающего свои заливы в каждом новорожденном, а иногда и во взрослом человеке. Внезапно возникшие «заливы» дают нам порой необычайную силу.

У меня было однажды впечатление, что мы окружены незримым духовным океаном и нужно только чрезвычайное состояние, близкое к стрессу, чтобы пробить слой повседневности, открыть океану дорогу в наш скромный овражек и превратить его в широкий фиорд. Во всяком случае, было чувство силы, льющейся в меня откуда-то с затылка, и эта сила возродила чувство полета над страхом, испытанное на войне.

Здесь хочется перейти к опыту Даниила Андреева, намного более глубокому и обширному, чем мой. В видениях Андреева сказываются игры его воображения, но образ духовного космоса, который он создает, содержит в себе драгоценное зерно истины. Это своего рода эскизы, играющие в духовидении роль, подобную роли гипотез в научной мысли, в становлении теории.

Особое место в расширении нашего сознания занимает то, что Андреев пережил на реке Неруссе. Там не было никаких воображаемых конструкций, а только целостный взгляд на земную жизнь, ставшую

текучей и переливающейся через его душу. Могучий поток разрушил скорлупу, разрушил границы между фактами, между созерцателем и созерцаемым, и сознание из помраченного (как говорят дзэнцы) стало просветленным, узревшим мир осколков как целостность, протекающую через сердце. Здесь невозможно и не нужно вышелушивать зернышки истины из шелухи. Чувствуется взрыв сознания, оказавшегося возле рычагов пространства и времени и готового овладеть ими. Впоследствии, не дождавшись повторного взрыва той же силы, Андреев стал дополнять отрывочные видения своим художественным воображением — не всегда удачно. Это, увы, судьба почти всех духовидцев, в том числе канонизированных. Многие канонизации спорны.

Практически невозможно провести черту между каноническими и апокрифическими чудесами. Можно указать только принципы отбора: апокрифический святой, подобно волшебнику, а чаще даже не он, а создатели житий и легенд стремятся поразить и ослепить воображение; подлинное чудо просветляет и преображает.

К издержкам средневековой традиции я отношу многое из того, что относится к идее бессмертия души. Человек чувствует иногда в глубине сердца что-то вечное; но оно ему не принадлежит. Скорее он сам принадлежит тому, что скрывается в недрах. То, что в человеке вечно, останется вечным, но об этом лучше говорить стихами. Я убежден только в одном: то, что имеет начало, имеет и конец. Выход из плена времени окутан тайной. Ну вот стихи об этой тайне:

Ты говоришь нам о другом,
Ты говоришь нам не о мире.
Ты говоришь нам языком
Взлетевших гор, небесной шири,
Спокойствием озерных вод,
Звездой на черном небосводе...
Ты говоришь нам: «Всё пройдет,
Но жизнь вовеки не проходит».
Речь и невнятна, и проста, —
Ты оставляешь только знаки.
Ты говоришь, что красота Есть
лишь намек на мир инакий.
О, нет, не на другую плоть,
О, нет, не на другие земли —
На то, что ввек не обороть,
На то, чему пространства внемлют,
На то, что расстилает гладь Небес
над нашей утлой крышей,
На то, чего не увидеть,
На то, чего нельзя услышать.
Немое горное плато,
Заката тающее пламя Лишь
намекают нам на то,

Чего нельзя назвать словами.
И кто намек беззвучный тот
Услышит, взглянет в наши
лица И тихо скажет: «Всё
пройдет.
Но сердцу нечего страшиться».

(Зинаида Миркина)

Мне приходилось вспоминать определение вечности в словарики, составленном бенедиктинцами: «выход за рамки всякой двойственности, в том числе двойственности начала и конца» (Гье §ооё БеаГЪ. ^., 1997). То, что имеет начало, рано или поздно исчезнет. Океан вечности недвойственен, он не имеет начала и конца. Мы постигаем в себе вечное как волну, всплеск. А что будет дальше?

Мне как-то снился странный сон. Он не был связан с каким-то внешним толчком. Я плыл в озере или море золотого света. Берега не было видно. Я знал, что не доплыву до другого берега, что я потону, но почему-то меня это глубоко радовало. Плавание было блаженным, и блаженным казался конец, слияние с чем-то высшим, чем я; но торопить этот конец почему-то нельзя было. Что все это значит? Может быть, другой берег — это еще одно рождение, а море золотого света — образ «Ты», к которому стремится «Я»?

Однако пойдем дальше. Образ неба как физической реальности разрушен. Но небо, вошедшее в разговор наших чувств, осталось в языке как метафора.

Я бывал на седьмом небе любви. Небо остается для меня образом мистического чувства; я могу говорить о небесной музыке, о чувстве неба во фресках Дионисия. Слово «небо» может значить для молящегося многое. В том числе бездну космоса, в которой планеты, превзошедшие нас в святости (их, наверное, много), ведут с нами молчаливый разговор. Но непосредственно и повседневно я чувствую только ту волну духа, которая нашла приют в моем сердце, пусть ненадолго (Энтони де Мелло прав, мы редко туда заглядываем).

Если вернуться к моей любимой метафоре с океаном и заливами, то важнейшее место Бога в пространстве и времени — глубина человеческого сердца. Бог приходит туда, когда человек его пускает. Сердце чаще бывает закрытым, глухим, но бывает и разворошено страданием или переполнено счастьем, и тогда открыта дорога Богу-Духу, и волна океана создает новый залив. Бог легко входит в незащитное сердце младенца, но чаще всего покидает его вместе с детством и не скоро и не легко притягивается нашей жаждой — не легко находит выражение в наших словах — и сохраняется, когда наше тело станет прахом, в любви тех, кого мы затронули.

Однако реальность, стоящая за образом неба, — иная, чем рай, где Ева сорвала запретный плод. Мистическое небо ближе к образу Святого Духа,

веющего всюду, или к буддийской Дхармакайе, «телу закона», объемлющему вселенную и находящему себе опору в каком-то числе воплощений. Рильке считал, что число звезд во вселенной сосчитано и неизменно. Я пытаюсь, по мере сил, призвать вселенский дух на помощь себе как вселенское Ты, сопряженное и с моим Я вместе с бесконечным множеством других «я», хрупких, смертных, обреченных страданиям. Я созерцаю достигнутое сплетение Я и Ты в Троице Рублева и в Троице неизвестного японского мастера из древней Нары, тогдашней столицы. Смертное и бессмертное, мгновенное и вечное сплетаются у великих мастеров в неделимом единстве.

Мы смертные, а Ты бессмертен,
 Мы боль — Ты боль преодолел.
 Нам жизнь свои пределы чертит,
 А Ты есть выход за предел.
 Мы дрожь и плач. Ты твердь и счастье.
 Нас косит ветер, как листья,
 А Ты стихиям не подвластен.
 Но мне не я важна, а Ты.
 Ты скрыт от внешних нападений
 Внутри, в последней глубине.
 Я знаю: Бог мой совершенен,
 И это все, что нужно мне.

И сознание нашей зависимости от вселенского дыхания вызывает потребность непрерывного ответа, непрерывного участия во вселенском вдохе и выдохе.

В этом вселенском дыхании участвуют и новые, и привычные метафоры. Привычные святыни не могут быть отброшены. Я пытался показать, что они требуют только нового истолкования, новой привязки к современной духовной жизни. Небо может стать зримым образом вселенской любви, связывающей нас с иными мирами, более совершенными, чем наш, и вдохновлять на молитвы за наших вселенских братьев и сестер, усилия которых противостоят инерции смерти. Бог — наше бессмертие. А мы созданы, чтобы в нас Бог вечно переживал любовь и смерть, воскресение — и новую жизнь.

А небо, небо обещало
 Всю жизнь мою начать сначала.
 А небо, небо говорило,
 Что непочат колодец силы.
 А небо открывало тайну,
 Как быть бесстрашным и бескрайним.

Зинаида Миркина

Рой трШт. «Без скорлупы»

У меня в сказках есть такое правило: на вопросы «как», «где» и «почему» волшебники не отвечают. Дело в том, что эти вопросы задает любознательный и часто очень любопытный ум, но не Душа. Для Души эти вопросы — праздные и потому неправильные.

Кришнамурти говорил, что только неправильные вопросы имеют ответ. Правильные вопросы ответа не имеют. Да, вопросы, которые задает наш ум, обращены к внешнему миру и имеют более или менее точные ответы вовне. Но эти ответы не нужны Душе. Безразличны ей. Не она их задает.

Те вопросы, которые задает сама Душа, не имеют ответа вовне. Они имеют ответ внутри, в душе. И только там. Вовне — безмолвие.

Что там, на созвездьях? Откуда я знаю?
Не знаю, что там, в мировой глубине.
Петляет и вьётся тропинка лесная,
И тайну стволы не поведали мне.
Не знаю я, как я пришла и откуда И
кто повелел мне когда-то: живи!
Я только дивлюсь бесконечному чуду,
Я только плыву в океане любви.
Петляет и вьётся тропинка лесная,
Бреду я и с иволгой вместе пою.
Откуда я знаю, откуда я знаю
Бездонную вечную душу свою?!

Да, душа не знает того, что ей и не нужно знать. Ничего — о строении вселенной, о прошлом и будущем. Ей нужно знать только о самой себе сейчас, в настоящем. Никто из вне не ответит ей на вопрос о том, конечно она или бесконечна, мгновенно ли ее настоящее или вечно.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, она должна обратиться в свою глубину, спуститься в глубокую темную шахту и найти там источник света. И все, что отвлекает ее от этой работы, враждебно ей, уводит ее от источника жизни вдаль, в сторону — к смерти. Мы живем во внешнем мире. И потому, конечно, вопросы, которые задаются умом, бывают необходимы для жизни нашей на земле. Но вопросам этим нужно ограничение — только то, что необходимо и что не отвлекает от души. Не уводит из глубины на поверхность. Душа должна дышать, а не задыхаться в нас.

Есть рассказ о том, как проводники из племени шерпа внезапно остановились на горной дороге. Путешественники спросили, почему? И шерпа ответили: «Мы слишком быстро шли. Наши души не успевают за нами».

Прислушивание к душе, понимание того, что нужно ей, — вот наша

первая задача. Может ли ребенок знать о половой любви, «скользящая тварь» о «непоявившихся крыльях», живой о посмертии? У ребенка и у существ с бугорками на месте будущих крыльев могут быть только смутные предчувствия, ощущения тайного роста чего-то неведомого — там, в глубине души. Так в стихотворении Гумилева «Шестое чувство»:

...Мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем,
И ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем.
Так некогда в разросшихся хвощах Ревела
от сознания бессилья Тварь скользкая,
почувяв на плечах Еще не появившиеся
крылья.

Так мы ждем своего преобразования. Бессознательно, смутно. Однако это смутное глубинное чувство дает душе гораздо более полную жизнь, чем все поверхностные развлечения, отвлекающие ее от движения вглубь, к самопостижению; вглубь — к источнику жизни.

Прекрасно в нас влюбленное вино И
добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей Над
холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Да, вот он, главный вопрос, ставящий ум в тупик. Что нам делать с тем, с чем делать ничего нельзя? Остановиться. Замереть. Не опережать свою душу. Дать ей созреть в нас и самой ответить на необходимые вопросы.

Ни слова от себя, ни звука.
В молчанье лес. Снега молчат.
И вот окончилась разлука И настает
глубокий лад С Тобою. Все тесней, все
тише.
И — боль подходит к рубежу.
Нашепчешь Ты, а я услышу.
Ты намолчишь, а я скажу Про эти вот разливы
света,
Про полногласье немоты.
Я всё скажу, но только это Не я, а Ты, не я, а Ты.

И какая полнота жизни наступает, когда я молчу, а мое великое любимое «Ты» говорит!

И какая пустота, когда Оно молчит!.. И никак не замолкает мое маленькое рассуждающее эго. Знаменитое стихотворение Лермонтова кончается выводом: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка!». Стихотворение это все знают с детства:

И скушно и грустно! — и некому руку подать В
минуту душевной невзгоды...
Желанья... Что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят, все лучшие годы!

Любить — но кого же? — на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно.

Вот тут и остановимся. Невозможно? И некого? Ну тогда жизнь и впрямь пустая и глупая шутка. Но Лермонтов никак не может сказать этого в другие часы, когда он видит и слышит что-то гораздо большее, чем он сам, и не может не любить этого.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так больно и так трудно? ...

Почему? Почему так больно и так трудно? Ведь он чувствует — и как еще! — удивительный лад, гармонию вокруг. Он чувствует Бога, которому внемлет Пустыня, то есть простор, запахнутый, чистейший, затихший. Здесь всё в ладу друг с другом, здесь звезда с звездой говорит. А душа? Говорит ли душа с этим торжественным и чудным миром, как одна звезда с другой? Нет. не говорит. Здесь можно было бы поставить рядом слова другого поэта:

«И почему же в общем хоре/ Душа не то поет, что море,/ И рошчет
мыслящий тростник?».

Душа никак не может войти в лад со своим Творцом и вместе с тем чувствует Его, тянется к Нему. Она ничего не ждет и ни о чем не жалеет. Она хочет только забыться и уснуть... «Но не тем холодным сном могилы ...Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.». То есть войти в полный лад с Божьим миром.

У Энтони де Мелло я прочла такой разговор: «На вопрос, с чем можно сравнить просветление, Мастер ответил:

— Представь, что ты находишься в Пустыне и внезапно чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит.

— Кто? — Скалы, и деревья, и горы.

— Жуткое ощущение. — Напротив, прекрасное, но поскольку это ощущение человеку непривычно, ему хочется убежать назад, к привычному миру людей — с его шумом, разговорами, смехом, — к миру, который отрезал нас от Природы и Действительности».

Вот оно что — это прекраснейшее чувство абсолютной полноты жизни, совершенного единства с миром нас пугает. Оно кажется нам пустотой, ужасом, потому что мы не можем обойтись без своей скорлупы, без той оболочки, которая нас защищает от нашей же бесконечности. Да, конечным, ограниченным быть легче, проще. Говорить с такой же, как ты, ограниченностью, огражденной скорлупой, куда проще и привычнее, чем с Безграничностью. Нет, не слиться с Безграничностью, а противопоставить себя Ей в гордом самоутверждении:

И дик, и чуден был вокруг Весь
Божий мир: — но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

У того же Энтони де Мелло есть другой рассказ: «В монастырь пришел посетитель и спросил Мастера: есть ли Бог?

— Если ты хочешь, чтобы я был предельно честным с тобой, то я не стану отвечать, — сказал Мастер.

Позже ученик спросил у Мастера, почему он не ответил.

— На этот вопрос нельзя дать ответ, — сказал Мастер.

— Значит ты атеист?

— Конечно нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами.

Выдержав паузу, чтобы смысл сказанного дошел до учеников, он сказал:

— Теист, напротив, делает ошибку, *утверждая* то, что нельзя выразить словами».

Так как же можно ответить на вопрос, есть ли Бог? Не выражая это словами?

— Любовью, которая заполнила все твое существо, которая изливается из сердца каждый миг в ответ на Божью любовь, такую же безмолвную, бессловесную, как твоя. Когда человек почувствует, что де-

ревья, и горы, и звезды разговаривают с его душой, что они наполняют душу великим счастьем, что в разговоре с ними душа обретает, наконец, истинных собеседников, человек поймет ясно и неопровержимо, что Божий мир и есть великая любовь... Почувствовать красоту мира как великую любовь, терпеливо ждущую нашего ответа, — вот, что требуется от нас.

Человек, ответивший этому требованию, сломал скорлупу, отделяющую его от Бога, и сказал: «Я и Отец — одно».

Нет, Он не стал равным Богу. Я очень много раз говорила о великом различии между равенством и единством. «Отец мой более меня» и все-таки «Я и Отец — одно». Он называл себя сыном человеческим, был вполне человеком и одновременно Сыном Божьим, потому что сломал все, что отделяло Его от Бога.

Звезда не перестала быть звездой, войдя в гармонию вселенной, прислушиваясь к каждой другой звезде, ведя таинственный разговор с ней. Лист не перестает быть листом, оставаясь неотъемлемым от Дерева, пока он живой лист.

Вот эту неотъемлемость от Целого, неотделимость сына человеческого от Бога не могли понять люди, отделенные от своего Божественного Отца. Им было страшно и непонятно в Пустыне, где на тебя смотрят и с тобой разговаривают горы и деревья. Им страшно, неудобно и незащищенно в своей собственной безграничности. И человеку иному, чем они, человеку, который чувствует великую полноту жизни там, где они ёжятся от ужаса, такому человеку они не верят. И... убивают Его. Им нужна скорлупа — ограниченность. Или ты человек, имеющий свои границы, или Бог, но тоже ограниченный нашими представлениями о Тебе. Отграниченный, отделенный от нас, не вмещенный внутрь нас.

Бог всемогущий, отстраненный от нас Владыка. Я — марионетка, которую он дергает за веревочки.

Но человек, назвавший себя Сыном Божьим (а заодно и всех нас Его детьми), человек, сказавший «Я и Отец — одно», — такой человек не совместим с ходячими представлениями о Боге и человеке.

Между тем, наша насущная задача — узнать Бога внутри человека, увидеть Его внутри мира — доглядеть мир до его последней глубины, до Сути, до Сущего. Вечно. Во глубине мира есть вечная неиссякающая Любовь.

Никакие сверхъестественные явления, никакие увиденные глазами, показные чудеса не дадут такого ощущения полноты и смысла жизни, как красота этого естественного мира, влившаяся в наше сердце, как великая Любовь.

Все тот же лес. Все гуще,
глуше В чащобу, внутрь души
маня, —

Какой поток любви обрушил
Ты, Боже святой, на меня!
И вот, воображенье тонет,
Смолкает в море бытия.
Здесь Ты и я. Нет посторонних.
Здесь только мой Господь и я.
Нет никакой мечты о чуде,
О жизни в неземном краю.
Когда ж узнать сумеют люди
Сейчас и здесь Любовь Твою?!

Благодатное присутствие и богооставленность

Подросток в романе Достоевского говорит об особом выражении лица, особой улыбке младенца, — особенно до одного года. Я имел случай наблюдать это в нашей внучатой племяннице. Стоя в своем манежике, она отвечала воплями ликования на проблески солнца. Бабулю это захватывало так, что все бросалось в сторону, и Зинаида Александровна бежала к манежику. Несколько лет спустя девочка уверяла меня, что она когда-то *в самом деле* летала, не во сне.

Из неразрывности с космосом младенца вырывает боль в животе, голод, укус комара, но единство легко восстанавливалось и снова слышались вопли счастья, снова манежик был в центре мира, вокруг которого вращались солнце и звезды. А когда ударял гром и рушились на землю потоки дождя, это было космической катастрофой. Если бы младенец знал Евангелие, он бы ответил грому: Отче, зачем Ты оставил меня? Но тут появлялась мама и уносила под крышу.

Слова, рождавшиеся в раннем детстве, сперва не разрушали его. Они складывались в сказку, и девочка, засыпая, говорила: это лучики вокруг солнца легли спать. Но постепенно внушались правила, разрушавшие сказку. Мир раскалывался на предметы, и вокруг них, как у Демокрита, оставалась пустота. И в пустоте селилась скука.

Обычные развлечения школьника не развлекали меня. Подобно Бастиену из сказок Михаэля Энде, я забирался в угол и переживал прочитанные книги. Говоря языком ученых, я погружался в виртуальный мир, где никто не мешал мне играть главную роль.

Это длилось до четырнадцати лет. Тогда я заметил, что герои моих любимых приключений очень похожи друг на друга, и мне захотелось разнообразия характеров. Я нашел их сперва у Мериме, но уже через год, читал «Войну и мир», а в шестнадцать его оттеснил Стендаль и удерживал первенство несколько лет. Стендаль не возился с такими фигурами, как Пьер Безухов, превосходивших мой уровень. Люсьен Левен был ближе; я чувствовал в нем своего двойника и перечитывал неоконченный роман, называвшийся в этом издании «Красное и белое».

Стендаль отвлек меня от бездны в учебнике тригонометрии, где тангенсоида ныряла в бесконечность и тянула меня за собой. Видимо,

какая-то тоска жила во мне с тех пор, когда мир раскололся на предметы. Подавляющее большинство школьников восприняла прыжок тангенсоиды в бесконечность совершенно равнодушно. А у меня в уме выстроилось уравнение: $1 : ^{\wedge} = 0$. И если математика адекватна реальности, то моя жизнь равна нулю. Побившись с этой проблемой несколько дней, я отложил ее, пока не поумнею.

Задним числом мне пришло в голову выражение «неосознанная богооставленность»; или, в терминах Паскаля, «полуосознание падения в бездну». Есть меньшинство, которое остается в манежике до старых лет (Пастернак, Моцарт). И есть другое меньшинство (начиная с Паскаля), которое выпало из манежика, но страдает от этого и ищет пути назад, к неразрывности Божественного космоса, и пытается прорваться к нему. А большинство или всем довольно, или очень смутно чувствует жизненную тоску и заливаает ее чем попало. В 30-е годы массовой заливкой были праздники с яркой иллюминацией, и я «каплей лился с массами»; но 9 ноября или 3 мая все это гасло.

После войны и 1 мая угасло, и праздники выдохлись, и возник анекдот: сколько лет живет человек? Ответ: девять! Семь лет до школы и два после пенсии. Система ценностей, направленная к светлому будущему, постепенно выдыхалась и уступала место системе цен на товары массового потребления. И при попытке заменить мнимые величины реальными все сразу рухнуло. На пустое место в душе вылезла жадность. Но сегодня и от нее стало тошнить. Массу захватывает злоба и поиски виноватого, на которого можно выместить ее.

Вернемся теперь к двум группам меньшинства, которое Стендаль называл счастливым; хотя сохраняет детское чувство счастья только первая, а вторая ищет и иногда находит по ту сторону бездны. Я условно обозначаю эти группы именами Пастернака и Паскаля.

Ахматова нашла замечательные слова для Пастернака: «он наделен каким-то вечным даром детства». Это детство без слез, без капризов, без неумения себя вести. Просто непосредственное чувство космоса, наступающее человека, как свежий ветер.

Пастернак иногда попадал в духоту, но тогда он переставал писать. У него не было таких стихов, как «ночь, улица, фонарь, аптека...». Не было никогда полной потери цельности жизни, безрадостного перечня предметов, отрезанных друг от друга. В дни, месяцы, годы депрессии у Пастернака сохранялась память целостной вечности, и он молчал об аптеке, о фонаре, ждал новых переливов сердечного восторга, а иногда вдруг — неожиданных чудес благодатного присутствия. Чем труднее было вырваться из безвременщины, из мерзлоты, казавшейся вечной, тем крупнее были его открытия, вплоть до пустоты, в которой Магдалина за три дня доросла до воскресения. Так пастернаковский ряд подошел и паскалевскому; ибо все перегородки исчезают на последней глубине.

Однако продолжим ряд, начатый с имени Пастернака, и вспомним Моцарта. В потоке его творчества дух света подхватывал и уносил все темные тени — и становился еще шире, мощнее. И нельзя считать случаем рывок к Реквиему, где сплетается вместе жизнь и смерть и одно без другого уже немислимы. Что писал бы Моцарт после Реквиема? Но на этот вопрос нет ответа. Мертвые остаются молодыми. И образ Моцарта в стихах Зинаиды Александровны — это Моцарт до Реквиема, светлый ручей, увлекающий за собой:

Будь Моцартом! Ведь это так несложно!
Ведь это — только руки распахнуть —
И всё. И вдруг очнуться пташкой Божьей,
Промыв всем небом маленькую грудь.
Ну да — всем небом, всем простором,
Ведь это так доступно, проще нет —
Тебе совсем не надо двигать горы,
А только сердце, настезь, напросвет.

Таков первый путь в небо, расположенное в глубине, в царствии, которое внутри нас.

Другой путь — у тех, кто не расслышали слов «будьте как дети», кто оторвались от врожденного корня, кто мучительно чувствует свою заброшенность. И неожиданно заглянув в бездну времени, пространства и материи, прячется от нее.

Первым, кто не спрятался, был Паскаль. Он ясно высказал свою тревогу в афоризме: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломать его. Но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не отымет у него этого преимущества». «Если вся вселенная обрушится на него» — кажется метафорой, энергией стиля. Но это живое чувство заброшенности, падения в бездну осколка, потерявшего связь с целым — вселенной, космосом — и может быть заброшенность Сына, потерявшего неразрывность с Отцом. Это чувство сердца, потерявшего свое всемогущество, о котором однажды написала Зинаида Миркина:

Всемогущее сердце мое,
Бесконечных миров сердцевина!
Ты, заполненное до краев,
Со вселенною всею едино...

Мышление не создает моста через реальную пропасть. Оно только обнажает пропасть, создает напряжение тоски. И однажды ночью тоска по единству со вселенной родила вспышку внутреннего света, я бы сказал: сблизив электроды вольтовой дуги. С привычкой ученого Паскаль

отмечает начало и конец эксперимента: с какого-то до такого-то часу ночи — и передает свое озарение одним словом: «огонь». Я думаю, это вспышка света. Нечто подобное я воспринимал, как свет вольтовой дуги. Но в XVII в. такой образ не мог прийти в голову, внутренний свет создал образ огня. И сразу за тем слова: Бог Авраама, Исаака и Иакова, не философов и ученых... Паскаль понимал, что современники ему не поверят, и зашил отчет о своем опыте в подкладку камзола. Впоследствии эта записка получила название «Амулета Паскаля».

Я опрашивал нескольких моих современников и современниц. Они переживали заброшенность в космосе примерно тогда же, как и я, лет в 16, и уходили от этого чувства, как и я ушел. Но в 20 лет я натолкнулся на чувство бездны у Тютчева, затем в «Анне Карениной», в «Записках сумасшедшего» (того же Толстого) и в другом повороте у Достоевского (глава «Подполье» в известных записках). Это был период Большого террора в жизни Советской России (начало 1938 г.) и период первого взрыва творческих сил, отодвинувших Большой террор на задворки в моем сознании. Я придумал нечто вроде того, что двадцать лет спустя нашел в опыте дальневосточного буддизма, и стал вертеть в уме абсурдную загадку: если бесконечность есть, то меня нет; а если Я есть, то бесконечности нет (имелась в виду бесконечность в уравнении $1 : ^{\wedge} = 0$, то есть несовпадение математических и прочих идей точных наук с реальностью: или я ноль, или точные науки уродуют, оконечивают целостность космоса и души). Через три месяца пришло озарение, и в его свете родились вненаучные образы вселенной, которые никуда не годились. Анализируя свои ошибки, я понял, что внутренний свет может опрокинуть логику, но конструкции, которые он высвечивает, строятся из понятий, которые уже готовы были родиться в твоей голове и поэтому могут быть неполными и даже совершенно уродливыми. Однако метафизическое мужество в борьбе с пустотой помогло мне на фронте за три минуты освободиться от страха бомб, снарядов и т. п.

Этот опыт я впоследствии использовал и в борьбе со спорными пророчествами. Коротко говоря, истинность озарения не может полностью удостоверить истинности слов, родившихся в озарении, и в иных случаях поддерживает поэтические и непоэтические фантазии.

Это можно показать, анализируя стихи Тютчева. Он дает целый набор ответов на метафизические вопросы. В 1938 г. меня сильнее всего ушибло стихотворение «По дороге во Вщиж»:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезой
природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Это был самый сильный вызов моему философскому творчеству. Но в другом стихотворении природа не равнодушна, она скорее захвачена порывом какой-то темной страсти; и душа откликается ей:

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком Твердишь о
непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем Порой
неистовые звуки!..

О! страшных песен сих не пой Про
древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной Внимает
повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

Третье стихотворение — голос пантеиста:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах, Для них
и солнца, знать, не дышат, И жизни нет в
морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили, Весна в
груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними В беседе
дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит И
голос матери самой!

Но Тютчеву мало пантеизма. В нем живет и душа христианского мистика (опять, как в «ветре ночном») — не уверенная в себе:

Слышал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшись, потух!

Дыханье каждое Зефира Взрывает
скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, о небесах!

О, как тогда с земного круга Душой
к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живую,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею По жилам
небо протекло!

Но, ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли Дышать
божественным огнем.

Едва усилием минутным Прервем
на час волшебный сон И взором
трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —

И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны.

Только изредка противоречивые звуки сливаются в одно гармоническое целое:

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились В
сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..

Можно поискать такую точку гармонии и в разбросанных стихах Блока — от фонаря и аптеки до Песни Гаэтана:

Ревет ураган, Поет океан,
Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег.

В темных расселинах ночи
Прялка жужжит и поет.
Пряха незримая в очи Смотрит и
судьбы прядет...

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан.
Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно!

В этой точке все концы связываются с концами. Но поэзия достигает ее только отдельными взлетами, там, где вдохновение переходит в озарение. Это чаще других бывает у Владимира Соловьева.

В одной из своих статей Соловьев пересказывает странную легенду. Двух братьев, совершивших какое-то преступление, на год посадили на покаяние в затвор. Когда год истек, лицо одного из братьев сияло. Он надеялся на бесконечное милосердие Бога. Другой брат был мрачен и дрожал от страха; перед его глазами стояли образы ада. Старцы сказали: покаяние обоих равно. Я согласен со старцами. В уме первого брата чувствуются воспоминания детства, когда любовь связывала его с отцом и в этой любви тонули детские грехи. Второй брат все это забыл, и перед ним вставала справедливость, лишенная любви, жестокая и безжалостная.

Эти две крайности чередуются в нравственном сознании из эпохи в эпоху, из страны в страну, с Ближнего Востока, где рождались византийские легенды, до Дальнего.

Начиная примерно с XII в. буддизм дзэн развивается в двух взаимно дополнительных направлениях, — Сото и Риндзай. Когда Догэна, зачинателя дзэн в Японии, спросили, что он привез из Китая, он ответил: нос стоит посреди лица, а глаза — справа и слева. На языке дзэнских притч это означает, что всякое слово, рациональное и парадоксальное, ничего нового не скажет. Созерцание направляется куда-то глубже уровня слов, в колодец бессловесных воспоминаний, в зарнышко целостного сознания, заложенное в младенце и не пущенное на ветер. Тогда оно без суеты помраченного сознания пустит корни и разрастется. Это путь тех, кто сохранил благодатные воспоминания.

Другой путь у тех, кто затоптал благодатные следы и должен прорваться сквозь свой помраченный ум. В дзэн школы риндзай путем становятся абсурдные диалоги и абсурдные загадки, повторение которых дало когда-то озарение и выход к целостному чувству. Этот метод успешно применяется до сих пор. Доказательством верности обоих путей дзэн служат искусство дзэн в поэзии Басё, в живописи Го Си, Ма Юаня и Сэсю, в составлении букетов, в чайной церемонии и в военном искусстве самураев (сохраняющемся сегодня как спорт).

Это не укладывалось в западный ум до кризисов XX в. Только после двух мировых войн искусство дзэн дало неожиданные ростки в литературе, театре и кино. Рукопись одной из глав моей книги о парадоксе дзэн, попавшая в руки Андрея Тарковского, была им передана композитору Артемьеву и вдохновила его на музыку к фильму «Сталкер». Я об этом случайно узнал несколько лет тому назад.

Если поискать, то абсурдные мотивы можно найти и в раннехристианской культуре. Особенно ярко они выступают у Тертуллиана, переводя слово «крест» на современный язык образов. Тогда афоризм Тертуллиана выглядит так:

«Я поклоняюсь виселице, ибо это постыдно, я чту повешенного, ибо это позорно, я верую, ибо это бессмысленно». Для современников Тертуллиана крест был виселицей. Только впоследствии, после Константина виселица перестала быть орудием казни и постепенно была поглощена святостью Христа. После этого афоризм Тертуллиана потерял почти весь свой смысл и фигура подвижника была отодвинута на задворки. Однако в Японии продолжали вешать на андреевском кресте — и в те годы, когда Андреевский флаг гордо реял над кораблями императорского флота, его украшал рисунок японской виселицы. Линии перехода от эпохи к эпохе и от страны к стране — заповедники абсурдных перемен.

Это отразилось и на сменах периодов расцвета и упадка дзэн. Дзэн

выдвигался на авансцену культуры в эпохи смены династий и общего хаоса. Во время стабилизации и роста влияния конфуцианства дзэн несколько отступал назад и самый характер его несколько менялся.

В Японии XVIII в., после укрощения социального хаоса династией сёгунов Токугава, метод коанов и моидо (иррациональных загадок и диалогов) был реформирован Хакуином и приобрел относительно рациональный характер. Материал традиции был расположен в строгом порядке. На первой ступени обучения новичок приходит к пониманию, что частности — это мир иллюзий, максимум реальности принадлежит целому. Когда Хакуин впервые пережил это и с радостью пришел к наставнику, тот схватил его за нос и спросил: а этот нос не реален? — И с руганью спустил с лестницы. На второй ступени ученик возвращается к реальности носа и т. п. На третьей ступени абстракция целого и абстракция частных одинаково исчезают. В терминах древнегреческой философии, точка зрения Парменида и точка зрения Демокрита (холизм и атомизм) одинаково осознаются как условности отвлеченной мысли; максимум реальности постигается то в целом, то в частностях, он текуч и непредсказуем. Это все понятно было мне, европейцу. Но следующие две ступени я не мог усвоить и только смутно угадывал. Оставалось поверить Судзуки, автору прекрасных книг о японском дзэн, которые я читал. Пройдя через все ступени школы Хакуина, он описал дзэн так: «Ваш повседневный опыт, но на два вершка над землей».

Существует по крайней мере еще сто ответов на вопрос: «что такое дзэн?». Некоторые поэтичны, другие вызывающе грубы. Слова, жесты, пощечины — только средства толкнуть собеседника к самостоятельному проплыву сквозь условности мысли. Все это напоминает театр абсурда и несомненно сыграло свою роль в становлении театра абсурда. Превращение людей в носорогов — метафора, которая блестяще передает реальность жизни Румынии (родины Ионеску), а также России, Германии и других стран. Сменив «у» на «о», Ионеску, автор «Носорогов», на собственном опыте пережил выход из интеллектуального штаба «Железной гвардии», оставившей в истории след нескольких погромов, и превращение во французского мастера изящной иронии. Сброшенные шкуры хранятся в чуланах у многих моих современников.

Я готов принять парадоксы времени де &c10, но не пускаю их вглубь. Это исключает громкий общественный успех, но успех оказался мне не по росту. Большевики всегда уступали большевикам в размахе, зато чаще сохраняли порядочность. И я готов всегда оставаться в меньшинстве. Примером мне служит вселенная, где планеты, пригодные для человеческой жизни, тоже находятся в меньшинстве. Это ничтожное меньшинство среди пылающих галактик. И на счастливых планетах в эпохи, в которые цветет дух, — историческое меньшинство, и в эти мгновения вечности только в немногих воплощается дух Божий.

Грандиозность — удел процессов, где катастрофы следуют за катастрофами — космические, социальные, — и второй ипостаси Троицы приходится поискать, где поставить ногу. Но такие точки находятся, и мне этого достаточно. Другой вселенной у меня нет и нет другой истории.

В этой истории не раз случается нечаянная вспышка внутреннего света, за которой следуют пустота и отчаянные попытки вернуть свет, но вместо чистого света возникают адские видения и раскрываются бездны огненной тьмы, без которой не обходится круговорот вселенной. И потому духовные потомки Силуана еще не раз услышат внутренний голос: держи ум свой во аде и не отчаивайся.

Я не могу здесь все разглядеть и всё объяснить, но опыт Силуана — не случайность, он был и до Силуана и повторится вновь. Без пройденного умом ада был бы невозможен финал Страстей по Матфею, и чем глубже ад пережит, тем ярче свет воскресения. И тогда Силуан (или кто-то еще) говорит: я не верю в Бога, я знаю Бога — не умом знаю, не в словах, а знаю так, как знают ближнего, которого видишь, любишь и осязаешь, — так, как мы знаем друг друга и поддерживаем друг друга.

В поисках творческого меньшинства

I

Когда мы имеем дело с крупным мыслителем, то он всегда в чем-то прав; нельзя выкинуть из истории Ницше, нельзя выкинуть Маркса. Чувство Бога действительно умирало в западной цивилизации, и гипербола Ницше — Бог умер! — осталась как знак начавшейся катастрофы. Бубер точнее назвал ее *затмением* Бога. Но в гиперболе, в «неразвитой напряженности» (как сказал бы Гегель), в «страстной односторонности» (на моем языке) есть энергия открытия, и формулы, в которых эта энергия отпечталась, культура не забывает. Они в чем-то ценны для понимания того, что произошло. Наверное, потому, что великое никогда не рождается вяло, в полутьме, без яркой вспышки, которая и освещает, и ослепляет.

Такой вспышкой была интуиция Маркса, что капиталистическая цивилизация выходит из кризиса средствами, которые создают новый кризис, опаснее прежнего. Маркс втиснул эту интуицию в экономический контекст, сузив свою мысль, сделав ее уязвимой. Научнотехническая революция вывела капитализм из замкнутого пространства экономических циклов. Но разрушительное движение продолжалось. Призрак экономического краха уступил место угрозе экологического краха — и целому ряду других угроз. Ибо кризисы стали ветвиться, и современная цивилизация кружится в клубке кризисов.

Не то при Хрущеве, не то при Сталине мы смеялись над анекдотическим вопросом: что с нами будет, если мы догоним Америку, которая катится в пропасть? И вдруг оказалось, что американский уровень производства и потребления, распространившись на 6 200 000 000 жителей Земли, действительно немыслим, экологически невозможен. А между тем, население растет все быстрее: за время моей жизни — в три раза, а с начала XX в. — в четыре раза. Конфликты в тесной коммунальной квартире неизбежны; а средства производства (пригодные и как средства разрушения) достигли такой мощи, что человечество впервые за всю свою историю способно эту историю прекратить.

Можно ли обособиться от рокового процесса? Можно ли укрыться от истории? В прошлом такие примеры были. Византия, а за ней Тибет создали культуры, духовно замкнувшиеся от мира. Особенно удачно это получилось в Тибете. Он внешне был защищен горами и социальную структуру создал, способную оставаться неизменной — сколько угодно лет¹⁹. Но соседи развивались, горы перестали быть непреодолимым препятствием, и Тибет стал легкой добычей для Китая. Византия продержалась тысячу лет (теряя одну провинцию за другой), но и она рухнула. Обособившиеся культуры не умеют учиться у соседей, не умеют извлекать опыт из своих поражений, и соседи их сминают. На сегодняшний день обособление имеет только относительный смысл, давая местной культуре время переварить проглоченное и перевести глобальные термины на свой язык. От участия в глобальных процессах невозможно отделаться. В той или иной форме оно неизбежно. И приходится всем искать выход из общего кризиса.

Маховик развития нельзя остановить, нельзя резко затормозить; но если торможение вовсе не удастся, затрещит природный сук, на котором мы все сидим, затрещит биосфера, и человечество рухнет. Никто не усидит в воздухе, не останется никакой «почвы», за которую уцепиться. Что же делать? Прежде всего, понять, что торможение в принципе возможно, периоды торможения уже случались. Были эпохи стремительного внешнего раскручивания, эпохи экспансии (торговой и имперской) «вширь», «вперед» — и переходы от центробежного развития к центростремительному, к поискам духовного единства. Пространственные образы здесь условны. Одно и то же может обозначать термин «центр» (в противоположность периферии) или «вертикаль» (обозначенная словами «вглубь» или «вверх») — в противоположность горизонтали. Бахтин, например, писал, что в «Божественной комедии» Данте одинаково напряженно чувствуется вертикаль (как в Средние века) и горизонталь (как до и после Средних веков). Суть дела в переоценке ценностей и целей. Данте поместил Одиссея в ад. Новое время реабилитировало Одиссея.

Примерно две тысячи лет тому назад героические подвиги уступили первое место подвигам созерцания, в котором раскрывалось заново Священное, и на этой духовной основе (общей для целого круга культур, для культурного мира) была создана единая для всех иерархия, такая же строгая, как в «мировом дереве» шаманов, где добро помещалось сверху и справа, а зло — внизу и слева. (Мы и сейчас говорим: правое дело, левый заработок, высокие помыслы, низкий поступок.)

¹⁹ Число крестьянских дворов было жестко фиксировано. Если хозяйство доставалось сыну, он имел право только на одну жену. Если дочери — она могла взять трех мужей, но от этого ее плодovitость не увеличивалась — лишние рты шли в монастырь. Крестьяне снабжали их пищей.

Если взглянуть на историю с птичьего полета, то это движение от простых разрозненных групп к единой и очень сложной глобальной цивилизации. При каждом шаге вперед что-то терялось. Терялось чувство психической и космической цельности, терялась устойчивость общества. Примитивные культуры живут без кризисов тысячи лет, сложные чаще всего рушились (на этом факте основаны циклические теории исторического процесса). Но рушились не все культуры. Не рухнули культуры, сумевшие найти новую духовную устойчивость и новый социальный порядок, опирающийся на этику Святого Писания. Распространение языка и шрифта Святого Писания создали границы культурного мира. Этот порядок продержался до Нового времени.

Такова схема. Однако стабильность Византии оказалась хрупкой и была разрушена исламом. Ислам (если не говорить о суфизме) снова перенес акцент на движение вширь. Борьба с натиском ислама подтолкнула европейцев в океаны и стала одним из импульсов к рождению новой экспансионистской культуры — западной культуры Нового времени. Этот культурный мир не имел имперской организации. Развитие науки, техники, торговых инициатив переходило в нем из страны в страну и в конце концов стало основой политической силы. Из этого ящика Пандоры вышли многие успехи во многих частных направлениях — и нарастающие кризисы, грозившие неведомыми катастрофами. Мы просто не знаем, что выйдет из тумана XXI, XXII веков (если до XXII-го мы дотянем).

Простая культура вся вмещалась в голову, она была чем-то целым, без разрыва на техническую информацию, духовные ценности и т. п. В ней не было спора между религией и философией. Примитивный человек нравственно целен и учит детей своим примером. Этот пример не достигал уровня Алеши Карамазова, но он не падал и до Смердякова. А сейчас каждое поколение сходит со сцены банкротом; только отдельные люди вырастают до задач нашего времени или хотя приближаются к ним. Развитие в сторону «дробности» слишком далеко зашло, пора, как сказал Сент-Экзюпери, связать рассыпанные прутки «Божественным узлом».

Наступило время поворота от центробежного к центростремительному, к созерцанию мирового духовного центра и покаянию за то, что забыли о нем, увлекшись частными успехами в борьбе с силами природы. В прошлом на покаяние уходило несколько веков. Но у нас нет этих веков впереди. Мы богаты только сознанием ошибок. За несколько десятков лет моей жизни я понял, что в идеях Парменида (человек — мера всех вещей), Пико делла Мирандолы (автора «Панегирика человеку», XV в.) и Маркса была великая односторонность, великая слепота к разрушительным духовным силам. «Бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель» (Маркс) было развитием не одного только добра, и «добро с кулаками» не случайно обернулось злом с кулаками. Не случайно

Телемская обитель (на воротах которой написано «делай, что хочешь») обернулась колымским лагерем смерти. Упущено было условие «ассоциации, в которой свободное развитие всех станет основой свободного развития каждого»; условие Августина: «Полюби Бога и делай, что хочешь». Полюби Бога и свободно твори Его волю, неотделимую от твоей собственной.

Идея диктатуры, способной создать гармоническое, цельное общество, оказалась ложной. Но проблема, которую Маркс пытался решить с помощью «диктатуры пролетариата», не была надуманной. Маховик либеральной цивилизации пошел вразнос и грозит катастрофой. Идеалы либерализма оказались таким же мыльным пузырем, как и идеалы Фурье, Сен-Симона и Маркса. Карабкаясь из-под глыб распавшейся советской системы, мы попадаем из одного процесса распада в другой. И нам снова вешают лапшу на уши.

Что только ни раскручивало американское телевидение! Даже концепция конца истории, придуманная Фрэнсисом Фукуямой, обсуждалась совершенно всерьез. Мне тогда — единственный раз в жизни — звонили из Би-Би-Си и спрашивали мое мнение. Видимо, корректным англичанам неудобно было самим сказать, что их разбогатевшая колония увлекается глупостями. Судя по тону сотрудника, беседовавшего со мной, он прекрасно все понимал; но нужен был русский мальчик, чтобы сказать, какого цвета платье голого короля.

Потом стали раскручивать Сэмюэля Хантингтона. Его концепция войны цивилизаций выстроена с таким количеством натяжек, что трудно их перечислить. Прежде всего, нет четкого признания, что речь идет об угрозе одной цивилизации, ислама. Индия ни при какой погоде не будет воевать с Западом. Китай в ближайшие десятилетия накапливает силы и не станет ввязываться в авантюры. Япония и Южная Корея — союзники США. Из дальневосточного культурного мира враждебен США только Вьетнам; с точки зрения глобальной стратегии, это не очень крупная проблема. Не большая, чем Куба. Наконец, мир ислама раздроблен и даже в мысленной совокупности — не соперник США в большой войне. Ключки бумажного тигра, из которых теория склеивает нечто целое (и то — бумажное). В практической, не словесной войне ислам не блеснул даже в конфликте с Израилем. Угроза его — скорее в плодовитости мусульманок, чем в терроре фанатиков-самоубийц. И не надо путать террор с войной! Возможности террора возрастают вместе с общим ростом техники, они могут распространиться и на атомную энергию, и все же террор ближе к политической демонстрации, попытке слабого выглядеть сильным. В подобных демонстрациях участвуют не одни мусульмане. Протест против американизации глобуса имеет глобальный характер. Его участники — и латиноамериканцы, и европейцы. Мусульманские экстремисты отличаются особым фанатизмом, и все же я

бы хотел подчеркнуть общность *мирового* протеста против потоков пошлостей, льющихся в эфире, и господства транснациональных корпораций (с лавиной долей американского капитала). Террор фотогеничен и очень эффективно смотрится с голубого экрана. Однако «нормальное» развитие, рождая алкоголизм, наркоманию, СПИД, нарастание экологической напряженности, нарастание психической напряженности от бесчеловечных темпов труда и транспорта — все это уносит в миллион раз больше жизней.

Крайние формы протеста, включая террор, — накожная сыпь, за которой стоит воспаление крови. Лечить надо кровь, лечить надо глобальную цивилизацию, вызывающую протесты. И ни бомбардировщики, ни ракеты здесь не помогут. Они не помогут и против демографических сдвигов — в пользу арабов во Франции, турок в Германии и афроамериканцев в Штатах. Действия НАТО в Югославии скорее приблизили ситуацию вроде косовской в самих странах НАТО, возле Лондона и Вашингтона. Западной культуре не хватает энергии, чтобы ассимилировать иммигрантов.

Я не отрицаю, что различия между культурными мирами играют свою роль в международных конфликтах, но не они нас губят. Глобальную цивилизацию губит она сама, нарастающий отрыв человека от Бога, нарастающий отрыв науки от духовного и нравственного целого, нарастающее производство средств, создающих неизвестно какие дыры, вроде уже известной озоновой дыры.

Мы должны быть благодарны англосаксам, что они не были захвачены призраком утопии и не попытались вылечить нашу больную цивилизацию средствами, которые хуже самой болезни. Однако болезнь от этого не исчезла. Однако лекари-диктаторы измельчали и борьба с ними стала второстепенной задачей. Выступила на первый план сама болезнь: переход от приручения природных сил к уничтожению природы; переход от прояснения образа и подобия Бога в человеке к затемнению этого образа суетой частных интеллектуальных задач, переход от равновесия центробежных и центростремительных сил культуры к духовному развалу, переход от духовной свободы к духовной пустоте постмодернизма, от победы Духа над буквой к культуре «мертвого Бога». Осталось совсем мало времени исправить перекося, повернуться к внутреннему росту личности, к культуре созерцания и равновесия с природой. Это очень трудно, но не невозможно.

II

Ни учение Христа, ни этика Канта не предотвратили Освенцима и Кольмы. И нет надежды, что «теология после Освенцима» или «этика после Освенцима» (как можно назвать этику Левинаса) окажутся сильнее. Когда почва истории становится раскаленной лавой, культура воспламеняется и любая клетка может стать злокачественной. Коммунизм вырос из

Просвещения, нацизм из романтизма; сегодня экстремизм растет из сопротивления ислама американизации, завтра он может вырасти из ужаса перед экологической катастрофой. Политическая мысль с ее безумными проектами — только следствие лихорадочного темпа научно-технического прогресса, следствие Нового, ставшего разрушительной силой. Потеряна способность культуры осваивать Новое, приручать его, сохраняя равновесие. Равновесие нарушено, разваливается иерархия ценностей. Разрушительная роль телевидения, о которой с тревогой писали Поппер и Гадамер, — только частный случай.

К сожалению, именно умные люди создали реальность, с которой умные люди не знают, что делать. Глобальная диктатура не может утвердиться мирным путем; а войны — еще более короткий путь к гибели, чем нынешний порядок, охраняемый НАТО.

Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными ракетами, — миллиарды недоучек. Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в каждой голове был нравственный порядок, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой цельности оставались отец и мать. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир становится другим каждые 5—10 лет, и все старое сбрасывается с корабля современности. В том числе — святыни, открывшиеся малограмотным пастухам. Сегодня они не стоят ломаного гроша. Русский поэт Брюсов в начале XX в. говорил о грядущих гуннах, тучей скопившихся над миром. Они не придут извне. Они копят в джунглях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы. Они готовы разрушить культуру, как провинциальные самураи разрушили Хэйан (XIII в.).

Одно из бедствий современности — глобальная пошлость в эфире. Глобализм и пошлость становятся синонимами. Когда местные культуры поглощались эллинизмом, или конфуцианством, или ведизмом, это можно было принять. Нынешний глобализм вызывает яростное сопротивление. В этом сопротивлении есть безумие, напоминающее луддитов (уничтожение антенн спутникового телевидения достаточно похоже на ломку машин). Но есть и мудрость культуры, сопротивляющейся цивилизации (оба термина в понимании Шпенглера, а не Тойнби²⁰). Сопротивление американизации увеличивает шансы европейского проекта, сегодня несколько отодвинутого в сторону.

Европа — в отличие от всех империй, азиатских и старой Российской, — осуществленный проект культурного мира как концерта (или хора)

²⁰ В немецком языке «культура» — духовное целое, а «цивилизации» — совокупность технических средств и приемов; в английском и французском языках этих различий нет. «Культурный круг» французы переводят как «ареал цивилизации».

самостоятельных голосов. Россия XIX века, войдя в этот хор, впервые открыла в себе возможность полифонии. Одни русские опирались на Францию, другие на Англию, третьи на Германию — и возникла перекличка голосов внутри русской культуры, создавшая условия для расцвета русского романа и русской философии.

Я думаю, это достаточная проверка европейского проекта. И можно представить себе глобальную культуру как подобие сводного хора, куда отдельные культурные мифы (Европа, ислам, Индия, Дальний Восток) войдут как отдельные хоровые группы. Музыкальное действие, в котором четыре ансамбля, разбросанные на десятки метров друг от друга, подчинялись одной палочке дирижера, я слушал в Риме в 1992 г. И для осуществления этой модели в политике не хватает только прислушивания к единому духу всех великих религий великих культурных миров.

В этом направлении действовали зачинатели диалога вероисповеданий — папа Иоанн XXIII, Томас Мертон, Джон Мейн, Д. Судзуки, Далай-лама XIV и др. За поверхностными противостояниями современности стоит тенденция техногенной цивилизации подчинить себе мир и разрушить его, а в борьбе с ней — силы, пока разрозненные, но способные соединиться, и в случае успеха — переломить тенденцию, коротко описанную Рильке:

Пусть наш не вьется, как тропки лесов и потоки дивным
меандром. Он — краткость, прямая.
Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый.
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.

(Сонеты к Орфею, ч. 1, N 24.
Перевод Зинаиды Миркиной)

Одна из особенностей великих культурных миров — способность к историческому повороту, к переходу от расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра и покаянию за отрыв от него. Соединенные Штаты пережили несколько движений аутсайдеров: волну, вызванную уходом Мертона в монастырь, дзэн, йогу. Но американская культура в целом, начавшаяся с высадки колонистов в Виргинии (XVII в.), не имеет способности к повороту в своей исторической памяти. Она очень односторонне воплощает дух Нового времени, дух Просвещения. Поэтому «Американский век» не может длиться вечно. Последний подвиг Америки — укрощение тоталитаризма. Новыми лидерами станут страны, которые лучше других сумеют создать новый стиль жизни, включить паузу созерцания в череду дел, избавиться от лихорадки деятельности. Пионерами могут быть и большие, и малые страны, сильные и слабые. Мы не знаем, кто вырвется вперед. Но начинать должны все, кто не

опустился до вымирания и резни.

Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки созерцания быстрее взрослых. С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит к переоценке ценностей, к переходу от лихорадки производства и потребления к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой. В созерцании, в тишине мы услышим снова Бога, заглушённого шумом машин, и Он нам поможет.

Если мы будем просто звать людей ограничить свои потребности, ничего не выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на Ивана, Европа на Америку, Азия на Европу. Поворот может дать только открытие ценности созерцания, паузы созерцания в делах, в диалогах, в развитии мысли, в сближении влюбленных. Когда Моцарта спросили, что важнее всего в его музыке, он ответил: паузы! Паузы, в которых он слышал — и мы услышим, если вслушаемся, — Божественное дыхание.

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день быстротечен, и течение несет его к смерти. Слово «кала» на санскрите омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечности, падает под напором перемен.

Школы могут и должны учить науке созерцания: через искусство, через литературу. Со временем — используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века. А пока — используя медитативную лирику, медитативную прозу и медитативную музыку.

Конечно, школа слишком слаба, чтобы справиться со своей задачей, опираясь только на искусство и литературу прошлого, на классику. Очень многое зависит от современного искусства, от его способности возрождать вечные ценности, а не только играть в бисер. И очень многое зависит от диалога мировых религий, от их способности усваивать опыт соседей в общем «аджорнаменте», в общем осовременивании языка символов. И многое зависит от решимости отдельных людей, от их воли к созерцанию глубины, откуда приходит сила.

«И стали они единой плотью»

Я довольно часто смотрел серию «Больше, чем любовь». Даже вспомнил, откуда это странное название. Оказывается, из песни, которую пели не то до войны, не то вскоре после войны: «И наша нежность, наша дружба, нежнее страсти, больше, чем любовь». В песне был намек на глубину чувства, большую, чем обычно. Но на сердце мне легли только две передачи: о встрече Меркурьева с Мейерхольд и о второй семье Пришвина.

История Меркурьевых осталась в моей памяти с вопроса, который какой-то нахал задал Ирине Всеволодовне: «Скажите, ваш брак с Меркурьевым — третий?», — и ее ответ, еще более громкий: «Да, третий, не считая мелочей». Меркурьев спросил жену: «Зачем ты так громко? — А зачем он так громко меня спрашивал?». Я почувствовал в ее словах характер. И во мне проросло то, что Мейерхольд не договорила, не озвучила, как сейчас говорят: «Да, я шла навстречу наплыву, но не тянула отношений, когда наплыв выдохся. Одну и ту же спичку два раза не зажигают. Но я верила, что вспыхнет костер и не погаснет, и я нашла его, а сколько ошибок было по дороге, — пусть считают другие».

Тогда шли годы, один страшнее другого, как в царстве Кощея. Все отношения рушились. Дети запросто отрекались от своих отцов. Иногда это помогало. Ирина Всеволодовна Мейерхольд не сменила свою фамилию. Ее нигде не брали на работу — пусть. Рыцарь Меркурьев оставался верным своей королеве и работал за двоих.

Тогда сиротам, оставшимся после исчезновения родителей, меняли фамилии и направляли в детские дома. Женщины, не деморализованные страхом, иногда успевали усыновить крошек. Это было небезопасно. При Ежове добрых самаритянок ссылали, а детей распределяли, как положено (насколько я понимаю, преступление усыновительниц классифицировалось как 7—35, т. е. «социально опасный элемент» и «связь с социально опасной средой». Писалось через черточку, чтобы не думать, какая квалификация больше подходит).

Ирина Всеволодовна рисковала не только своей головой, но и головами своих детей, которых в эти же самые страшные годы она вы

нашивала, рожала и кормила. Бог помог, или нелегкая вывезла (Ежова вскоре убрали), но разросшуюся семью Меркурьевых не тронули. Только рыцарю пришлось мчаться с одной съёмочной площадки на другую. Чтобы прокормить всю ораву, он снялся в 62 фильмах.

Если бы в некотором виртуальном мире поставлен был вопрос о канонизации Меркурьевых на католический лад, то адвокат дьявола имел бы материал для своей речи — против причисления к лику святых; но я голосовал бы за адвоката ангелов.

К сожалению, такая встреча, как у Меркурьева с Мейерхольд, — редкость. Достаточно часто возникает отвращение друг к другу и разрыв. Стихотворение Рильке «Одиночество» кончается так:

И когда тела, не получив ожидаемого,
С отвращением отрываются друг от друга,
Одиночество хлещет реками.

А в элегии Марине Цветаевой Рильке писал:

Боги обманно ведут нас к полу другому,
Как две половины к единству.
Но каждый восполниться должен сам...

Так, видимо, сознавал свой путь Пришвин. Неудавшаяся первая семья осталась где-то на обочине его жизни, а сам он бродил по северным лесам, по дальневосточным лесам, уходил в созерцание — и ему довольно было этого восполнения. Но о многом, что рождалось в тишине, невозможно было рассказать в печати, и неясно было, как писать, охватывая всю вздыбленную и переломанную жизнь. В конце концов, выкристаллизовался большой дневник, форма, наиболее располагавшая к искренности. Но на старости лет трудно было взяться за большое дело, и некому было передать текст на хранение. Нужна была совершенно надежная помощница.

Когда друзья подыскали ее, Пришвину было 67, ей — 40. При первой встрече они друг другу не понравились. Показались чересчур суровыми, замкнутыми. Но по мере того как Пришвин диктовал, а она записывала, начался неожиданный контакт, подымавший все более глубокие пласты. На Дальнем Востоке это назвали бы «зеркало в зеркале». Душевная переключка потянула за собой все существо, вплоть до порывов, давно забытых и изжитых Пришвиным, а у нее — почти воскресших из могилы, где покоился ее возлюбленный, расстрелянный в 1930 г. Кончилось тем, что Пришвин преодолел все трудности со старой семьей и нашел счастье и творческое содружество в своем втором браке. Часть страниц его дневника посвящена любви. Он находит прекрасные слова для нее: «любишь душу, а близость — только вопло-

щение». Я думал о том же и находил другие слова: причастие любви. Но можно выразиться и так: воплощение любви, достигшей глубины сердца, — своего рода таинство, подобие церковного причастия вином и хлебом.

Недавно, читая «Дневники» Шмемана, я почувствовал переключку этих двух таинств и в браке Александра и Уляны Шмеманов. Они поженились очень рано, но смолodu переступили через соблазны, в которые соскальзывают многие современные молодые пары. Развитие личности Александра Шмемана шло сложно, в борьбе трех традиций — русской, французской и американской, — и, вероятно, Уляна не все понимала. Но у них никогда не прерывался общий культ домашнего очага и душевной близости. Это подает надежду, что обретение общей глубины, одного сердца на двоих возможно и смолodu. Если, конечно, смолodu начался и путь в глубину.

Это, быть может, решило бы многие проблемы цивилизации. Она так сложна, что процесс обучения тянется — с аспирантурой — лет до 30, личность (судя по моему опыту) складывается годам к 30—40, а по большей части вовсе не складывается как целое, дело ограничивается «технически завершенной личностью», совершенной в одной области и рыхлой, аморфной во всем остальном. Между тем, биологическая природа человека не изменилась, дети рожают детей, следующее поколение уже в коротких штанишках понимает слабости старших и собирается жить по-новому.. Естественно, с каждым новым поколением культура становится все более инфантильной, а кризис — все более острым. Нынешний западный гедонизм, распространившийся и у нас, очень напоминает Рим эпохи упадка. Что здесь делать? Законы издавать бесполезно, если противоречат нравам. Пропаганда добродетели — дело безнадежное. Но стоит, во всяком случае, искать, находить и показывать семьи, сохранившие глубину любви за полвека и передавшие свой опыт детям. Пусть люди знают, что это есть, даже среди людей незначительных. А прославленные, но дурные примеры — что за смысл заполнять ими эфир?

Религия и культура в становлении личности и культурного круга

Если человеку суждено заболеть паскалевским страхом бесконечности, то ужас бездны у него может вызвать тангенсоида. Так именно случилось со мной. Я сидел над учебником тригонометрии и смотрел, как тангенсоида ныряет в бесконечность и выныривает с каким-то числом в зубах. И вдруг почувствовал всей своей шкурой, как лечу и пропадаю в физической бесконечности космоса. Сумею ли вынырнуть из нее, как тангенсоида? Все во мне зашаталось, вплоть до внутреннего пространства, которое я только начал выстраивать, чтобы не поддаваться уверенному голосу первого встречного, и уже положил в основу реплику, до сих пор любимую: вы можете меня расстроить, но не играть на мне. Чем больше я входил в ощущение песчинки, летящей в бесконечность, тем безвозвратнее все теряло смысл. Можно было сойти с ума. Мне было 16 лет, и я понял, что эта проблема мне не по зубам. Разберусь потом. И я отложил вопрос о месте человека в бесконечности, пока не поумнею.

Между тем, я продолжал строить свой внутренний мир, учился различать уровень, где оставалось что-то навсегда, от поверхностных впечатлений. И сочинение «Кем быть?» закончил словами, очень огорчившими учителя: «Я хочу быть самим собой». Недовольство Ивана Николаевича было первой угрозой на пути, который я выбрал. Потом пришлось держать удары посильнее.

Шли годы террора. Я нашел способ уходить от воя газет и ходил раз в неделю на Пречистенку, в Музей новой западной живописи. Это был мой храм. Про Бога я знал, что его нет, но туман над Темзой нельзя было отрицать, и я погружался в него, или в стихи Тютчева: «Тени сизые смесились, звук умолкнул, цвет уснул...».

Но Тютчев оказался расколотым надвое. Он то чувствовал природу как великую любовь, в которой тонули все страхи, то заражал окружающих страхом «мыслящего тростника»: «Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезю природы.». Тютчев ввел паскалевский страх в русскую классику, захватил им Толстого, и Толстой, начитав

шись материалистических брошюр, в которых человек конечен, как камень, прятал от себя веревку, чтобы не повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться. В двадцать лет эти сцены захватили меня больше, чем смерть Анны Карениной. Я испытывал тогда первый взлет творческих сил, который долго не повторялся, и принял вызов метафизического страха.

Логически проблема человека в бесконечности решалась не в мою пользу. Любое конечное число, деленное на бесконечность, равно нулю. Следовательно, я нуль, и вся история человечества — горсточка нулей. Это просто, как дважды два четыре. А мне нужно было дважды два пять (так я впоследствии прочел в «Записках из подполья»). И я решил не обращаться к логике, а просто перекачивать в уме абсурдную проблему: «если бесконечность есть, то меня нет; а если я есмь, то бесконечности нет». Через двадцать лет я узнал, что это напоминает метод перехода от помраченного сознания к просветленному в буддизме дзэн. Оторванный и от образа Бога, и от внеобразной мистики, я изобретал деревянный велосипед и изобрел что-то достаточно неуклюжее, отдаленно напоминавшее решения, предлагавшиеся начиная с УШ в. до Р.Х. После трех месяцев перекачивания проблемы в уме, она раскололась, и в мелькнувшем свете вдохновения сложились две мысли: 1) мое сознание не ограничено моим телом. Каждое сознание — точка, в которой вселенная вся себя сознает. Мое тело — весь бесконечный космос, и 2) мои жизненные цели и цели человечества как-то вплетаются в круговорот космоса и необходимы в его структуре. Вторую идею впервые я выразил очень неуклюже. Из уважения к прошлому я сохранил это уродство в книге «Выход из транса». Интересно однако другое: озарение не создает словесных структур. Оно озаряет то, что складывалось в уме. Как ни озаряй ум неандертальца, он не родит ничего больше примитивного мифа. Сейчас, познакомившись с несколькими великими культурами, я повторил бы слова Кришны Арджуны: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому — сражайся, Бхарата!». Это имеет смысл и вне спора индуизма с ранним буддизмом.

Как ни был плох мой деревянный велосипед, он пригодился мне в 42-м к северо-западу от Сталинграда. Во мне всплыла психическая травма ранения и контузии, испытанных несколько раньше, и полчаса я никакими доводами не мог победить страх. Наконец, пришла в голову простая мысль: я не испугался бездны пространства, времени и материи, стоит ли бояться нескольких «хейнкелей»? И сразу всплыла память полета над метафизическим страхом; глыба фронтового страха, придавившая меня к земле, стала таять, как сахар в чае. Через две минуты, все еще дрожа от пережитого, я встал и пошел, куда мне было назначено.

С чувством полета над страхом я прошел всю войну. Но, к сожалению, после войны оно перестало выручать. Фронтовики очень успешно

отучали от фронтового мужества. Три года я не находил выхода из клетки советской системы. Наконец, нашелся выход: вниз. На Лубянке, в Бутырках и в лагере мне дышалось свободнее, чем в сталинском большом оцеплении, — как мы шутя называли мнимую свободу. На прогулках между вахтой и столовой я учился этике диалога и раз навсегда взял себе второе место, уступив первое тем, кто рвались на него. Это сказалося и после лагеря, в поздно пришедшей любви. Мне нужна была королева, которой хочется служить. Я нашел ее, завоевал ее любовь и был бесконечно счастлив. Но на самой вершине счастья королева умерла на операционном столе. Я пережил малое светопреставление: несколько секунд ясное синее небо, расколовшееся на куски, падало на землю. Потом падение небесного свода остановила надежда: еще шла борьба за жизнь. Смерть наступила через сутки.

После похорон, закрыв глаза, я увидел Иру, что-то мне говорившую. Слов не было слышно, но я понял их как заботу о пасынках. Надо было вывести их из отчаянья. Сперва мы просто жили и забывались вместе. Потом, накануне 1-го января, я воспользовался опытом медитации и две недели упражнялся — сказать про себя «с новым годом, с новым счастьем», — и не заплакать. В канун Нового года мне это удалось. Я повторил тост надежды со всей полнотой чувства за столом. Обряд помог. Вместе с пасынками я выгацил из отчаянья самого себя. Галлюцинации, преследовавшие меня два месяца, сразу кончились. Я был здоров. Но в сознании наплывали, чередуясь, — то карамазовский бунт, то поиски другого образа Бога, чем тот, против которого Иван бунтовал.

Так прошло полгода. Потом мой младший пасынок затащил меня к Александру Гинзбургу, будущему правозащитнику, а тогда печатавшему в тридцати самиздатных экземплярах стихи, не попавшие в журналы. Я услышал о больной поэтессе, жившей на станции «Отдых». В воскресенье я туда поехал. Одним из первых было прочитано стихотворение «Бог кричал»:

Бог кричал. В воздухе плыли
Звуки страшней, чем в кошмарном сне.
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу. По мне.

Бог выл с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам расслышать за нашим криком
Бога живого крик?
Он всемогущ. Он болезнь оборет, —
Вызволит из огня
Душу мою. Или, взыв от боли,
Он отсечет меня.
Пусть. Лишь бы Сам, лишь бы смысл вселенной

Бредя, не сник в жару.
Нет! Никогда не умрет Нетленный.
Я за Него умру.

Недавно я услышал, что мысль о бесконечном сострадании к страдающей твари можно найти у Исаака Сирина. Но дело не в авторитете. С Сирином или без него, это стало моим сгедо. Я дополнил его только еще одной деталью: Бог топит наше общее страдание в творчестве и дает Иову приобщиться к своей творческой радости.

Мне кажется, через кризис и отчаянье родились и святыни субглобальных цивилизаций, положивших основу современному миру. Почему-то всем им предшествовала свободная мысль, отбросившая традицию или на свой лад ее толковавшая. Потом философия, не сумев создать нового нравственного порядка, запуталась в сомнениях. Начался общий духовный кризис, и уши нехотя открылись откровению (в Индии — местному, в других краях — пришедшему со стороны, ломая племенные границы). В глубоком отчаянии от неустройства общества умирал Конфуций: люди не слушали его добрых советов. Учение его утвердилось через пятьсот лет, после кошмара циньского террора. Гау- тама был потрясен зрелищем старости, болезни и смерти. И буддизм передал это чувство кризиса десяткам и сотням тысяч. Ученики Христа разбежались с Голгофы.

Но пройдут такие трое суток И столкнут в
такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток Я до
воскресенья дорасту.

Пастернак, вжившись в образ Магдалины, безошибочно выбрал слова. Только через пустоту, через бездну приходит воскресение святынь, обновленных отчаяньем. Это пережило меньшинство, но оно повлекло за собою народы. Сходство пути цивилизации с путем личности мне просто увиделось, но потом я вспомнил идеальные типы Вебера. Его характеристики цивилизаций очень напоминают характеристики литературных героев. Субглобальные цивилизации — это своего рода новые соборные личности, сменившие племенные соборы. А личность — тоже своего рода соборное единство, раскрывающееся по-разному в откликах на вызовы судьбы. Если бы Иван Карамазов сказал только «все позволено», — это был бы не Иван, а его черт. А Иван еще и Достоевский в отчаянии от смерти сына, и еще Иов из древней книги, над которой Достоевский плакал.

Эмиль Дюркгейм определял цивилизацию как группу стран, объединенных общим тШеи (духовным и нравственным строем), который каждая из них по-своему выражает. Мне хочется выделить какие-то

заметные признаки тШеи. Во всех современных субглобальных мирах есть единый свод священных текстов, почитаемых всеми народами. Это первое. Второе — есть общий язык священных текстов, Ипдиа Яапса²¹ Средних веков (а иногда и до сих пор) в дипломатии, науке, в университетах. Третье — это шрифт, зримая граница культурного круга: латиница, арабская вязь, деванагари, иероглифы. Возникает единое пространство информации. Единый субглобальный шрифт используется и новыми языками, до вестернизации Турции, Вьетнама, советского Востока.

Иногда новые языки отодвигают священный язык в богословие, и Ипдиа Яапса Ближнего Востока становится фарси, а в Европе — французский и английский, но священный язык остается в научной терминологии, так же как арабизмы в фарси. И еще несколько уточнений: если цивилизации развивались в двуединстве, как восточное и западное христианство, как индуистский мир с буддийским, то возникало и священное языковое двуединство. Так или иначе, священный шрифт секуляризировался, служил и новым языкам (кроме Византийского культурного круга, где греки держали свой язык и шрифт для самих себя). На Дальнем Востоке китайские иероглифы были и языком и шрифтом. Но в Корее и Японии они приспособивались к местным языкам. Наконец, сравнивая структуру средиземноморских культурных миров с индийско-тихоокеанскими, можно сказать, что вершина авраамической иерархии святых подобна пику, а в Индии и Китае — горному хребту — и определяет культуру *присутствие* или *преобладание* одного учения, а не безусловное *господство*.

Не одинаково и положение философии в Средние века: на Западе она стала служанкой богословия, а на Востоке даже терминов особых для философии и богословия не было. Элементы богословия и философия мирно уживались в большинстве учений; менялся только их удельный вес. В классической древности преобладал рационализм, и даже глубочайший мистицизм Будды выражал себя языком, напоминающим Людвигу Витгенштейна; а в Средние века рациональный анализ уступал чувству целого. В Индии это вызвало сдвиг к адвайта-веданте, а в Китае — к буддизму чань (в японском произношении — дзэн). Затем и на Западе, и на Дальнем Востоке начался крен в обратную сторону, к рационализму. На Западе это привело к Новому времени. Со всеми этими оговорками можно сказать, что устойчивость субглобального культурного мира определялась тремя точками: *единым сводом святых, единым языком и шрифтом*.

Этого, как я уже сказал, в византийском культурном круге не было. Краеугольный камень веры опирался здесь на стены языка и шрифта

²¹ «Франкское наречие» (лат.) — универсальный язык, включает греческие, романские и восточные элементы. — Прим. ред.

только в греческом ядре империи. Более того, существовала некогда группа ученых богословов, утверждавших, что православным может быть только грек. Я не считаю это курьезом, Свод святоотеческих текстов существовал только на греческом языке. Текст, доступный русским, был создан в XVIII в. Паисием Величковским, выходцем из Молдавии. Его труд запоздал. В Петербурге в XVIII в. читали Вольтера. Добротолюбие приобрело общественное значение только у ранних славянофилов. Тонкий ручеек движения, начатого этим, приобрел силу совсем поздно, в последние годы петербургского периода, да и то — силу внутренней энергии, а не широты распространения. В трудах его адептов чувствуется «неразвитая напряженность принципа» или, переводя Гегеля на церковный язык, — ревность неопитов. Павел Флоренский, гениально раскрывая структуру иконы, был одержим своим открытием и готов был уничтожить, подобно Савонароле, все искусство Нового времени. Его эпигон, Николай Тарабукин, делает исключение для Достоевского, не замечая, что Достоевский тысячами нитей связан с тем же «демоническим» искусством, которое Флоренским отрицается. Глубокая идея славянофилов о «целостном разумении», в котором нет ярости, была потеряна в полемике. А затем революция, в свою очередь, постаралась забыть Флоренского, Трубецкого, Лосева.

Однако вернемся к временам более далеким. Католическая церковь несла варварам не только Христа (как она его понимала), но и латынь. На этой основе были созданы университеты в Сорбонне и Саламанке, в Гейдельберге и Оксфорде. Латынь стала мостом, соединившим наследие Греко-римской цивилизации с Европой Нового времени. На этой основе возникла схоластика, а затем Возрождение. Что мешало византийцам создать греческий университет в Киеве? Только презрение к варварам. Восточная церковь не имела собственной воли. Она была орудием в руках императора. А для безопасности империи достаточно было держать в Киеве грека — митрополита. Русские чувствовали неискренность греков, отношение к себе как орудия. В Повести временных лет бросается в глаза фраза: «льстивы суть греци и до сего дне».

Когда рухнул Константинополь, не только в Московии, но и на Балканах возникла мысль о Третьем Риме. Но Рим (и первый, и второй) был не только империей. Это была цивилизация со своей философией, литературой, искусством. При переходе от первого Рима ко второму философия, не сумев создать единства империи, уступила первое место библейскому откровению. Но византийцы связали с этим откровением и свое наследие — Платона, Плотина. Вместо статуй Зевса и Венеры стали создавать иконы, — однако новое искусство органически выросло из греческого чувства красоты, ставшего христианским. С эпосом и трагедией не знали, что делать, но хранили рукописи. Третий Рим должен был все это принять и преобразовать, истолковать по-своему. Но это

было сделано на Западе, а не в Москве. Средиземноморской цивилизацией третьего поколения стала Европа Нового времени.

Русские мастера постигали иконопись созерцанием и хорошо воспроизводили ее, не понимая греческой терминологии, называя деисис деисусом. Но иконопись тоже стала падать, когда прекратился поток беженцев из разрушенных турками монастырей. Андрей Рублев превзошел своих учителей, но это частный случай. Общий уровень иконописания падает с начала XVI в. и к XVII доходит до полной безвкусицы. А к рукописным сокровищам Византии у русских даже подступа не было. Знание заменила спесь. Когда Максим Грек пытался указывать на ошибки в переводах богослужебных книг, его на много лет посадили в темницу.

Византийские книжники понимали, что в Москву им ехать не к чему. Они ехали во Флоренцию, к Марсилио Фичино, к Пико делла Мирандола. Уровень знания греческого языка у итальянских гуманистов был таким, что Лоренцо Валла, прочитав сочинения Дионисия Ареопагита, сразу понял, что они написаны не в первом веке, а в пятом, и не Дионисием, а неизвестно кем. И все, что могло стать основой нового витка православной цивилизации, вошло в историю западного гуманизма. Камень веры, оставшись без стен, не мог висеть в воздухе. Он перестал быть вершиной цивилизации, вершиной культурного круга. Он стал одним из восточных вероисповеданий. И бывшие маргиналы Византии поодиночке хирели или прорубали окно в Европу. Как ни грубо действовал Петр, он открыл дорогу расцвету русского европеизма, русскому освоению Запада как целого, которое в самой Европе стало исчезать, становлению творчества Пушкина, Толстого, Достоевского, неожиданному выходу русской литературы на первое место в мире.

Однако этот расцвет был так же недолог, как расцвет русской иконописи в XIУ—ХУ вв. Европа переставала быть Цивилизацией с большой буквы, она все быстрее становилась той цивилизацией, о которой презрительно говорил Шпенглер, карикатурой на Америку. Падение восточного христианства оказалось ущербом для христианской культуры в целом. Потерян был противовес рационализму Аверроэса, комментатора Аристотеля, вернувшегося в католический мир в переводе с арабского. Западная цивилизация стремительно двигалась к успехам в научном анализе и к потере чувства целого. Только в XX в. началось заметное сопротивление этому — и на Западе, и в вестернизированной России, — но оно и сегодня не стало господствующим направлением. Из троих имен, которые я вспоминаю, знаменит только Сент-Экзюпери. Рильке известен только по имени. Даниила Андреева знают только в России.

В доме без краеугольного камня трещины начинают разрушать стены. Христианская цивилизация становится постхристианской, потерявшей свой дух. А где потерян дух — все потеряно, — писал Гёте. Теряется

желание продолжить свой род. Постхристианская цивилизация вымирает, как некогда вымирал постантичный Запад. Высшим достижением современности остается фундамент глобальной цивилизации, технико-экономический каркас, подобный Вавилонской башне. Никакие компьютеры не укажут нам, как создать общее небо и вместе с реальностью Бога восстановить реальность человека. Мировой дом строится, не достигая крыши, глобальная солидарность рушится, прежде чем успела отвердеть, и уступает место глобальной ненависти. Падение небоскребов в Нью-Йорке — символ XXI века.

Чтобы создать единство, надо прежде всего увидеть его духовным взором, как Версиров видел единство Европы. В разговоре со своим сыном Аркадием он говорит о возникшем в России немногочисленном типе общеевропейца. Всего тысяча человек, может чуть больше, может чуть меньше, — говорит Версиров. Стоило ли на создание его истратить несколько веков и десятки миллионов людей?

Версиров считал, что стоило. И если думать только о памятниках культуры, остающихся навеки, то он прав. Но первая тысяча, создавшая икону XIV—XV вв., погибла в казнях, и до Версирова даже след ее не дошел. Вторая тысяча, создавшая искусство XIX века, не пережила казней XX века. Единицы, которых я знал, вымерли, не оставив потомства. Возникнет ли новая тысяча? Я уверен только в одном: задача творческого меньшинства стала труднее. Надо увидеть как целое духовную глубину иконы и духовную широту Пушкина, Достоевского, Толстого. И с этим чувством целостности двух всплесков русского духа подойти к мировой задаче, внести в нее свой вклад: увидеть как целое диалог авраамистических святынь со святынями индийско-тихоокеанских культур.

Этот диалог уже ведется — через голову России. И дело не только в большевицком разорении. Русским мыслителям долго мешали воспоминания о древнем диалоге христианского Запада с христианским Востоком. Подлинным Востоком они считали только этот, свой Восток. Даже такой широкий ум, как Александр Шмеман, повторяет старые выпады против «ориентальщины». А без понимания истины как диалога, истины как хребта, а не единого пика, мы не выйдем из тупика пророческих монологов, анафематствующих друг друга, и мы остались сегодня с безверием христиан и фанатизмом ислама.

В России все еще считается скандалом экуменизм Александра Меня. А в мире набирает силу суперэкуменический диалог. Его вели Томас Мертон с Дайсецу Судзуки и Далай-ламой, его ведут в семинаре имени Джона Мейна, пытаясь возродить традиции христианской медитации. В предисловии к книге «Мистики и дзэнцы» Томас Мертон писал: «Хотя существуют важные различия между традициями, у них очень много общего, включая некоторые основные положения, которые отделяют монаха или дзэнца от людей, жизнь которых можно назвать агрессивно»

несозерцательной». Суперэкуменизм — союз созерцателей всех стран против агрессивной несозерцательности, агрессивной поверхностности. Когда Далай-ламу XIV, одного из творцов суперэкуменизма, спросили, в чем сущность ламаизма, он ответил: «главное — любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские — дело второстепенное». Я это услышал из уст переводчика в 1996 г.

Главное в становлении новой духовности — понимание выхода ее глубинного уровня за все слова, все знаки, понимание всех писаний как переводов с несказанного на высказанный человеческий язык. К этому направлению примыкаем и мы с Зинаидой Миркиной. В послесловии к нашей книге «Великие религии мира» мы пишем, что глубина любой великой религии, корни которой уходят в Осевое время, ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Различие языков и образов религиозного опыта не может быть устранено, оно неотделимо от различия культур, от многоцветности мира. Диалог не стирает этого многоцветия. Но он ведет в глубину, где все различия смотрятся как преломления единого луча внутреннего света, озарившего мир в древности и давшего силу становлению культурных миров, тяготеющих к глобальности и оставшихся субглобальными только из-за древней непреодолимости океанов и пустынь. Сегодня надо продолжить начатое и заново увидеть мир как духовное целое. Увидев, мы его создадим.

Тихое струение

Четвертая глава «Записок гадкого утенка», «Наплывы», кончается расширением понятия «наплыв». Я пытаюсь разделить смыслы, вложенные в слова «любовь» и «влюбленность». Признаю, что строгую границу здесь нельзя провести. Достаточно расплывчаты и границы наплывов социальных, религиозных и т. п. Хочется подчеркнуть, что в первых шагах чувства влюбленность и любовь почти невозможно разделить; и только при своем развитии они уходят в разные стороны. Над клятвами влюбленных смеялись еще в древности, а любовь труднее переменить, чем символ веры. Миллионы людей перестали быть католиками, стали лютеранами, кальвинистами. Евреи, оторвавшиеся от своей культуры, находят потерянную веру в православии или католичестве. А любовь, укоренившись в сердце, не меняется до смертного часа. И вот итог, который я подвел, когда чувство, вспыхнувшее в моем сердце, горевшее два года, — вдруг, за один вечер, оборвалось: это была влюбленность, разросшаяся на иллюзиях.

Обстановка жизни многое решает. Есть ситуация юности, ситуация войны (хочется, чтобы кто-то ждал тебя), ситуация лагеря, отделившая тебя от другого пола на три года, на пять лет, на десять... Между лаг-пунктами возникала переписка; был случай, когда Он, вышедший первым, встретил Ее с цветами на вахте. А как они перешли от мечты к действительности? Не знаю. В течение коротких встреч (свидание на два часа) я сохранял свои иллюзии, а на обыденной вечеринке образ, очаровавший меня, за несколько часов растаял.

Мне кажется, все массовые увлечения подобны взрывам влюбленности. Не может народ *вдруг* полюбить свободу слова или бога своих предков... Наплывами приходит убежденность: что Бог есть и православие — истинная вера. Или что Бога нет и пасхальный звон — для старух и ворон. Убежденность не имеет ничего общего с глубоким личным опытом Бога, оказавшегося в твоём сердце. Или с личным опытом внутренней свободы; человек, открывший ее, ни за что не откажется, хоть завтра на плаху.

Иллюзии подобны миражу в пустыне. Дошли до города — и миражи исчезли. В пустыне они кружили, не отставая, как коршуны над своей

добычей. Просторы истории — царство майи. Выйти совсем из этого царства — значит выйти из *наплывов* истории. И надо найти сегодняшние наплывы, чтобы освободиться от вчерашних. Мы влюбляемся, думая, что любим. Мы увлекаемся идеями религии, свободы, национализма, интернационализма, революции, контрреволюции...

Настоящая любовь невозможна без внутренней зрелости (может быть ранней, но зрелости)²². Влюбленность захватывает миллионы юношей и девушек и по статистике длится меньше года. Ко мне подлинная любовь пришла в 38 лет. Настоящий подступ к духовной истине складывался еще дольше. А Джульетте было 14 лет, когда она полюбила Ромео. И в крестовых походах, в революциях и контрреволюциях участвуют миллионы юных энтузиастов.

Что же такое майя, сколько в ней лжи и сколько правды? И в наплывах, увлекающих массы, — сколько вечной правды и сколько призраков, обреченных назавтра рассеяться? И что стоит за призраком? Иногда — нечаянная истина. Колумб не собирался в Америку. Он плыл в Индию. А открыл больше, чем рассчитывал.

Истинная любовь редко увлекает толпу. Она создает только маленькое зеркальце тишины, в которой, может быть, какой-нибудь гадкий утенок увидит, что у него за плечами — лебединые крылья. Так я заново отредактировал концовку главы о наплывах в моей книге.

Я видел, как рушатся иллюзии, увлекавшие целые народы. Магниты, действующие силой тока, вдруг становятся простыми кусками железа. Теряют силу биологические магниты, заложенные в младенческие души. Дети рождаются лебедятами, а потом становятся утками. Остатки волшебных сил исчезают в первых классах школы, а иногда еще в детском саду.

Есть противоположные случаи, но их все меньше и меньше. Легче всего они сохраняются там, где цивилизация только скользнула по доисторическому сознанию. Я не могу представить себе падре Пио²³, жизнь которого стала сюжетом фильма, если бы его отец был, скажем, юрист, а мама — учительница. Мальчик Пио был окружен доисторическими сознаниями, и никто не оспаривал его видения. Новое время делает такие случаи крайне редкими. Даже в XVII в. св. Юста, портрет которой писал Сурбаран, складывалась как личность, скорее всего, в другом окружении, чем у Рембрандта. В автопортрете его с Саскией на коленях не чувствуется никакого дыхания Святого Духа. Чаще всего писал Рембрандт групповые портреты бюргеров, одно полотно за другим, — и вдруг Даная. Откуда? Какой-то зигзаг истории, назад к античности, попытка еще одного Ренессанса. Неповторимый шаг гения.

²² Агнеса Кун рассказывала мне, что полюбила Гидаша в 12 лет, вышла замуж в 16, разлучена террором в 22, соединилась реабилитацией в 28.

²³ Фильм, посвященный падре Пио, можно посмотреть; он есть у многих.

Новое время делает путь к озарению трудным, даже в XVII веке, полным противоречий, — не говоря о близком к нам XX-м. В автопортрете Рембрандта с Саскией на коленях глядит на нас бездумная юность. Основной поток времени движется к натурализму. Он сказывается в групповых портретах бюргеров. Но XVII век сложен. В нем сталкивается математика и мистика, бытовое правдоподобие — со взлетами воображения. И вдруг рождается Даная, зигзаг куда-то назад, в соседство с фигурой Весны и рождением Венеры. Еще одна попытка прорваться к вечности, вопреки общему духу времени, обыденно трезвому. Тело Данаи — та же Саския, но лицо не просто другое, лицо внутренне другое. Внутренний свет, мелькающий в группах бюргеров и не находящий в них места, прорывающийся где попало, в обстановке, в вещах, — и вдруг находит свое воплощение в лице Данаи, во всем образе Данаи, летящей к свету на незримых крыльях.

В этом прорыве к чуду внутренний свет торжествует над банальностью века. Всплески озарения, пробивающегося сквозь трезвую историю Голландии, находят свой образ. И Даная Рембрандта — последняя после эпохи Возрождения попытка человека войти в мир полубогов и полубогинь.

Однако продолжить этот мир не было возможно, образ озаренной полубогини был дан — и остался единичным. Наступила старость художника, и она создала целый хор прекрасных стариц, озаренных внутренним светом. Собственная старость ведет художника к последней ступени человеческого пути, к созданию образов, близких к образам икон, но не повторяющих условностей иконописи, безнадежно ушедших в прошлое. Поздний Рембрандт сумел найти другой путь, чем Эль Греко, найти в старости подступы к просветлению, подступы к освобождению от страстей — и тихому внутреннему свету, к тихому струению духа в лицах стариков и старух.

И как прежде, это не единственный путь, а переключка путей. Рядом с просветленными старцами и старицами — обаяние юности в Титусе и обаяние зрелой женственности в Хендрикье. Но основная дорога творчества — победа духа над нарастающей дряхлостью, утверждение никем не провозглашенной истины, что в каждом возрасте есть свой проблеск Святого Духа: и в младенце, и в расцвете юности, и в творческой зрелости, и в старости, озаренной струением тишины. На каждом повороте жизни Дух борется с косностью плоти и добивается побед то в подростковом, то в старческом; и руки художников вдохновляет Бог.

В своем воображении я вижу ряд созданий Рембрандта в единой мизансцене: в центре — возвращение Блудного сына; и, чуть отступя от него в тень, — безмолвный, но тихо слышный хор стариц, создающих свой полукруг. И в мгновение глубокой тишины, когда слепой отец прижимает голову вернувшегося сына к своей груди, оживает сквозь

дряхлость вся сила отцовского чувства, и глубины стали зримыми, стали чудотворными. И чудо возвращает живую жизнь Блудному сыну, запутавшемуся в своих безумствах. Дух, просвечивающий сквозь дряхлую плоть, чудотворен и может воскресить мертвую душу.

Оглянувшись назад, я вижу — в каждой ступени жизни, пройденной до чистой старости, два полюса: уровень Саскии и уровень Данаи, уровень бургеров на групповых портретах и уровень подобию Христа, может быть не равных Христу, но близких Ему по внутреннему свету.

Я вижу на каждой ступени неповторимую пару сил: дыхание времени и дыхание вечности. Так я прохожу сквозь мысленную картинную галерею и в каждом зале нахожу образ совершенства, от младенца до старца. И я вижу, что в движении нельзя останавливаться и старость надо принимать открытым сердцем и раскрывать в ней то, что раньше было в тени. И на лицах благородных стариц запечатлена тихая напряженность последних лет. Повторение духовного порыва отца в хоре стариц обращен к небу, и красота старости завершает ряд образов человеческой красоты. Рембрандт чувствует красоту каждой ступени, через которую человек проходит от рождения до кончины: и в Данае, и в Хендрикке, и в Титусе, и в хоре просветленных стариц.

Мне хочется повторить: старость становится у Рембрандта полной тишайшего звучания. И в грудной клетке слепого раскрывается внутреннее зрение, потерянное Блудным сыном, и блудный сын, прижавшийся к груди ослепшего отца, обретает в нем источник жизни, как младенец — в груди матери. Гений протестантизма находит здесь замену средневекового пути: побеждает гений одинокого протестанта, лишённого красоты католических традиций.

Эта озаренность свыше прорывается во всей культуре Нового времени, потерявшей старые знаки вечности и не нашедшей новых. Это каждый раз личное открытие, не ставшее канонем. Каноны рухнули, иконопись достойна бережного хранения, но продолжить ее невозможно. На пустом месте от святости пробиваются ростки человечности, и Диккенс находит в своих романах место для старых чудаков, и уже в свои двадцать пять лет сделал героем мистера Пиквика, а за ним разместил на заднем плане своих романов целую галерею пиквиканцев, не боящихся быть смешными и добрыми в мире мистера Домби.

Были и другие великие писатели-гуманисты. Однако важнейшие художественные открытия произошли в странах, которые можно назвать отсталыми и от которых взлетов не ждали: в немецкой музыке и в русской литературе. Золотой век немецкой музыки длился больше столетия: Бах, Моцарт, Бетховен — и многие другие великие имена. А в России вершины были достигнуты очень быстро: Достоевский и Толстой уместились рядом в одни и те же десятилетия; и почти сразу начались социальные катастрофы, отбросившие классику в прошлое. Меньше всего от

катастроф пострадала музыка... Впрочем, не берусь оценивать ее успехи: слишком поздно я раскрыл двери консерватории и только в морозные лагерные ночи стал слушать симфонии. Поговорим о словесности в самом широком смысле слова.

Поиски внутреннего света начались в Новое время у Паскаля. Свидетельство — записка, найденная после его смерти; озарение длилось два часа. Во Франции эта линия сразу оборвалась, и, кажется, нигде в Европе не было заметного продолжения. В XIX в. след Паскаля подхватил Тютчев, а Тютчева подхватывал Толстой. Я запомнил его фразу: «Тютчев мне важнее Пушкина».

Вот это измерение глубины, чувство разлуки с собой истинным, этот поиск вечного начала и негасимого «невечернего света» стал главным в творчестве Толстого и Достоевского. Глубокий след, который они оставили в русской и мировой литературе, остался неизгладимым в XX и XXI веках. След у каждого свой, неповторимый, разный накал света, но у обоих чувство необходимости жить в свете, необходимость пройти сквозь тьму, необычайная сила прорыва к свету. Это чувствовали они оба. Важнее всего для обоих была внутренняя реальность, в которой все внешнее тает, как снег, или озаряется странным светом.

Когда Блудный сын приникает к отцу, он встречается с жизнью истинной, непреходящей, с царством, которое внутри нас.

Чуть голову склонил Отец,
Ощупывая плечи сына,
Его израненную спину.
И в замирании сердец,
В их переключке слышно стало,
Как медленно слеза стекала Из
глаз, давно уже слепых,
Во мрак глядящих. Был так тих
Час остановленный. Все звуки
И краски выпиты судьбой,
И только вздрагивали руки,
Измерившие глубь разлуки С
самим собой.

(Зинаида Миркина)

Толстого мучило, что пылинки—Земля тонула в бескрайной бездне. Рухнул образ мира, в котором земные события определялись свыше и вдруг — ни неба, ни ада! Куда взлетел воскресший Христос? Куда девать грешников, заслуживших вечные муки? Начиная с XVII в. и до сих пор бездна космоса вдруг, в какой-то миг, поражает непривычные головы. И постепенно они привыкают. Или, как я в 9-м классе, школьники откладывают проблему до неопределенного времени, когда поумнеют, — и забывают.

Этот момент наступил для меня года через четыре. Перечитывая «Анну Каренину», я вспомнил звездный ужас и решил, что достаточно созрел, чтобы сразиться с «дурной бесконечностью»; и после трех месяцев медитации «дурная бесконечность» сгорела во внутреннем свете. Следующий подобный опыт пришел ко мне двадцать лет спустя; третьего не было.

К порогу внутреннего света вели стихи Тютчева. Тютчев играл с чувством бездны, но никогда не раскрывал полностью своих незримых крыльев. Его взлеты то увлекали Толстого, то под ногами начинала шататься земля. Я думаю, мысленные провалы в космическую пропасть вплетались в кризис Толстого 80-х годов, и после кризиса вдохновение подхватывало Толстого только отдельными всплесками. Сила, создающая эпопеи, его оставила.

Припоминая прочитанные книги, я пришел к выводу, что подобные прорывы характерны скорее для монахов, иногда для поэтов и почти никогда для прозаиков. Сервантес или Диккенс могли писать о безумцах, о странных чудаках, но сами они были трезвые люди, и Пегас их скакал по земным дорогам. То, что величайшие русские писатели далеко выходили за рамки художественной литературы, выходили к философии, к богословию, — черта очевидная даже у позднего Толстого, когда во «Власти тьмы» он рисует почти безъязыкого Акима с его «тае» и «не тае», в рамках которых вмещается вся совокупность нравственного выбора, пропущенного сквозь незримое духовное ситечко.

Глубины Достоевского безъязыкими не были. Он принял в сердцевину своей поэтики череду шумных скандалов и внезапных тишин, когда двое оставались в одиночестве с вечностью (разговоры Раскольникова с Соней, Ивана с Алешей и др.); и в тишине внезапно открывалось окошко: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?». А потом толкуют люди, не знавшие этого в себе, — что же Мышкин увидел? Какими глазами он смотрел? Откуда это ему блеснуло? И это ли самое главное, что Мышкин мог сказать?

До какой-то степени это и есть самое главное. Я бы попытался разделить совокупность пяти романов на две части. В первых трех романах герои, несущие в себе внутренний свет, парадоксальны и неповторимы. Это Соня, в роли духовного вождя и спасительница, повернувшая душу Раскольникова к свету; это Мышкин, вышедший из идиотизма к святости и снова рухнувший в темноту. Это Марья Тимофеевна Лебядкина, полубезумная и в то же время сверхъестественно чуткая, вдруг разгадавшая демоническую натуру Ставрогина. Но на ней кончается цепочка парадоксально одаренных, неповторимых персонажей. За первое место в сюжете начинают бороться столпы православия.

Первый из них оказался неудачником — архиерей Тихон. Заговорив о любви к Ставрогину после рассказа о загубленной девочке, он отталкивает

от себя читателя. Правова оценок остается у Марьи Тимофеевны. И судя по дальнейшим романам, Достоевский сознает свою неудачу и продолжает попытку заменить природных гениев православными столпами: странником Макаром Долгоруким (в «Подростке») и иноком Зосимой (в «Карамазовых»).

Образ Зосимы заботливо продуман, но рядом с братьями Карамазовыми он выглядит скорее программой, чем характером. Оказавшись в кругу живых характеров, растущих в своем обаянии Карамазовых, Зосима не выдерживает сравнения с ними — не только с Митей и Иваном, но и с Алешей, который полностью оживает в общении с мальчиками.

Временами оживает и гаснущая душа Версилова в «Подростке». Остыв от своих страстей, он дарит своему сыну целую галерею былых прозрений и озарений, которые я несколько раз цитировал. И наконец, беседа двух братьев Карамазовых переходит в диалог Великого инквизитора с молчащим Христом. На первый взгляд эта легенда разрывает художественную ткань, но она захватывает, и невозможно представить себе последний написанный Достоевским роман без этого прорыва духовной образности в реалистический текст.

«Подросток» может быть назван переходным шагом от первых трех романов, в которых никто не побывал в церкви, и духовная глубина Сони, Мышкина и Марьи Тимофеевны совершенно самобытна. В последних двух романах присутствие православия бросается в глаза, но оно не торжествует. Странник Макар добросовестно выписан, Зосиму заведомо невозможно обойти. Но оба они выглядят как подсвеченные системы, а не порывы вдохновения. Вдохновение торжествует в героях совершенно не церковных, и решение Зосимы отпустить Алешу из послушников в мир можно понять как победу авторского чутья: только на светском пути герой Достоевского становится самим собой.

Сюжет «Братьев Карамазовых» разворачивается в стихийных взрывах страстей; он удерживает все идейные нагрузки, все религиозные вставки, все неожиданные повороты в едином потоке. И мы вынуждены принять обрыв пятерицы романов смертью автора как некоторое внутреннее завершение.

Есть библейское изречение: в начале была буря, а потом тишина. И в тишине — Бог. Вот эта тишина, которая струится внутри, это тихое струение и есть то самое, во что нам надо бы вслушиваться все внимательней, все чутче. И мне хочется кончить несколькими строками Зинаиды Александровны, перекликающимися с темой тихого струения в последнем романе:

Деревья струились, деревья текли В высокое
небо из темной земли.
Деревья струились незримо, безмолвно,
Но слышало сердце глубинные волны.

И в этом потоке пахучем, весеннем,
Лишь сердце — не глаз — различало струенье:
Поток незаметный, поток неустанный —
Немолчные громы тишайшей осанны.
Не видные глазу, не слышные уху,
Струились валы жизнетворного Духа...

Эти струи жизнетворного Духа несет нам, вопреки всем изломам,
творчество Достоевского.

Григорий Померанц

Иконы, которые мы можем видеть в Третьяковской галерее — потерянное сокровище русской культуры. Глаза посетителей вяло скользят по ним. Между тем, византийская икона и ее русская реплика XIV—XV вв. — одна из величайших эпох искусства духовных глубин, сравнимая только с дальневосточными «иконами тумана» в Китае XII и Японии XVI вв. и с музыкой барокко в Европе. Я входил одновременно в Рублева, Ма Юаня и Баха и, может быть, поэтому чувствую их подобие, несмотря на все внешнее несходство. Впрочем, Р.О. Блайс, исследователь дальневосточного искусства, тоже сравнивал его с Бахом, Моцартом и византийской иконой, по его словам, «неподвижного образа незыблемой вечности».

Разница в формах этих искусств очевидна. Сходство в другом. Это искусство эпох социального упадка, гражданских войн, набегов кочевников и других бедствий. Град земной колебался и рушился. Приходилось искать убежища в Граде Божьем, в царствии, которое внутри нас. И возникло искусство, которое Трубецкой назвал «умозрением в красках», а Г.П. Федотов — одним из явных случаев действия Святого Духа в истории. Мы живем в сходную эпоху, и если не можем создать великого искусства, то надо, по крайней мере, научиться понимать язык старых форм. Тем более, что до Третьяковской галереи совсем недалеко. К сожалению, только для москвичей.

Войти в мир иконы с наскока нельзя. Но так же нельзя с наскока войти в Клода Моне, в хорошо темперированный клавир. Сразу мне открылась только китайская живопись гор и вод, возможно потому, что формы ее парадоксально перекликались с современным авангардом. Во всех других случаях я год за годом погружался в чужой мир, начиная с самого доступного, и только очень нескоро начинал чувствовать себя в этом мире дома.

От иконы отгораживал ее художественный аскетизм. Это нечто вроде колодца в глубинную реальность. Снаружи виден только сруб, ничем не украшенный. Иконописец не глядит по сторонам. Он просто

отбрасывает всю поверхностную красоту, чувственную красоту, отбрасывает третье измерение физического пространства, не потому, что не додумался до перспективы, а потому что ему она мешает. Третье измерение открыло красоту отдельного предмета и загородило путь к духовно целому. После открытия перспективы только гений (Рембрандта, Эль Греко) находил путь в глубину запредельного. В третьем измерении Адам, не в силах выдержать Божьего взгляда, спрятался от Бога, как это описано в стихах Зинаиды Миркиной:

Предпочел пахать и сеять
И с Божьих глаз ушел Адам.

Не смог Адам жить «ежеминутно возле Бога, не отрываясь ни на миг». Трудно это. А икона все время возле Бога.

Весь мир, где живут пятью чувствами, доведен в иконе до минимума. Остается плоская доска и на ней — лики, в которых просвечивает опыт жизни, хранящей память смертную. Многие иконописцы были монахами, они знали, о чем писали. Другие были людьми семейными, но непременно молились, прежде чем начать работу, и вглядываясь в признанные образцы. Иконописцы старались выразить не поверхностный уровень своего сознания, а глубинный, до некоторой степени общий многим. Это не значит, что у Рублева не было своего почерка. Но личный почерк был для него средством, а не целью, не «самовыражением».

Созерцая иконы, мы как бы беседуем с душами, более глубокими, чем наши, и в разговоре с ними сами становимся глубже. Икона может быть вдохновлена видениями (подобно тому, как сон вдохновил Рафаэля), но икона — не зарисовка видения. Она берет глубже. Икона — путь в глубину, недоступную слову, недоступную четкому образу, через лик, в котором запечатлена эта глубина. Икона — слово о недоступном слову. Слово о переживании сверхличного, которое просвечивает в личном. Был канон глубины, и гений выражал себя в рамках канона. Но сказав «себя», я не думаю «свое мнение», нет, свою глубину, которую он до конца не сознает, которую никто до конца не сознает и никакой собор не может четко выразить. И потому икона многозначна, как любое настоящее искусство, как многозначен любой символ тайны. И этой тайной икона влечет к себе, заставляет вглядываться — и преображает, открывает в нас самих свои глубины.

Я прошу извинения у слушателей, запомнивших мои старые работы о «Троице», и повторю вкратце, с чего у меня все началось: с вопроса Ивана Грозного Стоглавому собору — кто есть кто в Троице Рублева, который из ангелов Христос и должен быть выделен нимбом с перекрестием. Бросилась в глаза двойная нелепость. Нимб с перекрестием как бы приподымает Христа, окруженного святыми, ставит над ними. Но Отец и

Святой Дух — не апостолы и не стоят ниже Христа. Напротив, в Евангелии сказано: «Отец мой более меня». Еще важнее другое. Три ангела, посетившие Авраама и Сарру, — только отдаленное подобие Отца, Сына и Святого Духа. Никакого точного соответствия здесь не может быть, это символы, а не знаки, вроде кирпича или стрелки на дороге. Тем не менее, Стоглавый собор решил вопрос просто и однозначно: Христос — средний ангел, потому что он похож на рублевского Спаса из звенигородского чина. Таким образом, Сын оказался выше Отца, а Святой Дух, в пространстве иконы, предельно оторван от Отца, из которого он должен исходить по символу веры.

Между тем, на Спаса похожи все ангелы. Зрим, изобразим только Христос. И можно увидеть в трех ангелах три состояния Христа. В среднем Христос запечатлен в созерцании. Он так глубоко погрузился в него, что вышел из времени и пространства и «прежде всех век», как бы с неба, видит необходимость своего подвига. Он как бы чуть-чуть склонился к нему — к ангелу одесную. В этом ангеле, одетом в розовые одежды, уже родилась собранность, напряженность, готовность не медля, сегодня, принять чашу, на которую мягко указывает средний. А в ангеле ошую он уже вынес невыносимое. Его лицо несет отпечаток муки, руки (напряженные у собрата одесную) разжались и бессильно опущены — таким он мог выглядеть после выхода из обморока смерти. Он тянется к целительному созерцанию, готов вернуться к созерцанию. Он не исходит из среднего, из созерцателя, а готов прильнуть к нему.

В терминах предания, можно сказать: это Сын, воскресший и готовый прильнуть к Отцу. Но за евангельской легендой просвечивает другой, вечный прообраз, общий и буддийским троицам: дух вернулся от действия, истощившего его, к отрешенному созерцанию, чтобы возродиться в безмолвии. Евангельская легенда — не только рассказ о единичном подвиге Христа, это дверь (Аз есмь дверь), в которую каждый может войти. Троица Рублева тянет вырваться из суеты, погрузиться в созерцание, осознать в созерцании цель, ждущую моего действия, а после истощения в действии, вырываясь из запутанности в поверхностном, мелком, — вернуться к созерцанию, вновь обрести цельность и ясность взгляда и вновь действовать. Я не знаю, входил ли этот слой смысла в намерения Рублева, но искусство многое творит нечаянно.

Однако Троица — далеко, в глубине иконных залов. Мы начинаем свой обход друзей с большого византийского Благовещения. Почему оно задерживает нас? Потребности верить в непорочное зачатие у меня нет. В Библии есть несколько эпизодов сближения, вдохновленного свыше и сохраняющего в участии мужчины эту же святость, которую евангельская легенда дарит только женщине. И не будем забывать, что и в светской жизни любовь не раз начиналась с сердечного чувства, когда даже мысль не дерзает перейти к осознанию и два сердца общаются какими-то волнами,

проносящимися в эфире. Моя любовь всегда была в бронзовых одеждах, — сказал какой-то французский поэт. И бывает, что господство сердца сохраняется вплоть до зачатия, в сдержанной страсти, в молчаливой молитве. Это не всегда удается, это *редко* удается, но почему отрицать способность Бога совершить то, что иногда удается людям, — одухотворить осязание? Зачем Богу нарушать законы естества, которые он же создал? Почему не помочь канонизации молчаливой молитвы любящих?

Фигуры ангела и Марии в самом деле подобны бронзовым статуям. Вся жизнь — в лицах, в глазах. Пламя в глазах архангела захватывает Марию и вводит ее в то же созерцание Божественного света, луча из глубины, которое архангел несет. Чем сильнее этот внутренний огонь, тем больше застывает тело. Вся энергия направляется внутрь и преобразует Марию. Плод в ее чреве — символ преобразования. И чудо зачатия младенца, которого мы видим уже просвечивающим сквозь платье и плоть, становится символом мгновенного преобразования, как был преобразен Андрей Блум, почувствовав присутствие Христа около себя, читая Евангелие от Марка. Так понимали евангельскую легенду великие мистики — Экхарт, Таулер. Они говорят о «вечном рождении», о вечно повторяющемся преобразении ветхого сознания в обновлённое. Ибо дух от духа родится, а плоть от плоти, сказал Христос Никодиму. И Рейсбрук еще в XIV в. понял, что Второе пришествие происходит в душах святых. А я думаю, что и первое произошло в обычно рожденной, но освященной душе.

Однажды в Третьяковской галерее была у нас такая неожиданная встреча. Едва мы встали со скамейки перед рублевским Спасом, где всегда долго сидим, к нам подошла девушка и спросила Зинаиду Александровну: «Кто вы такая?». Зинаида Александровна, недоумевая, стала собирать слова о своей профессии поэта, которого тогда не печатали, и девушка поняла необходимость уточнить свой вопрос: «Когда вы смотрели на иконы, у вас было иконное лицо». Больше мы эту девушку не видели, но запомнили случай, когда общее чувство, шедшее от иконы, создало мгновенное братство зрителей — как иногда бывает со слушателями на концерте органной музыки. Других таких случаев не было. Между тем, византийская и древнерусская икона не меньше органа раскрывает глубину, где сгорает суета и рождается духовное братство.

Но пойдём дальше, от Благовещения к Богородице из рядового византийского деесиса. Это единственная в своем роде икона. Она висит, как ей положено, возле Христа — и совершенно затмевает его. Христос рядом с ней выглядит архиереем с евангелием в руках в качестве документа, удостоверяющего его положение в иерархии, но не более того. У Богородицы никаких документов. Ее лицо темнее всех окружающих лиц, а в одеждах — ни одной яркой краски. Темное пятно среди

раскрашенных ангелов. Но их красочные одежды только отражают электрический свет, а Богоматерь излучает незримый, не воспринимаемый зрительными нервами, только душой, — внутренний свет. И руки, руки... Они обнимают пустоту, обнимают пространство, открытое каждому. И каждый, сколько бы их ни было, может войти в это пространство — такое маленькое и готовое обнять всех, от Адама и до сегодняшних шести миллиардов людей.

Лик Богоматери вырывается из чина поклонения, становится самостоятельным высшим образом, верховным воплощением милосердия, сила которого независима от места, которое Богородица занимает по отношению к Христу. Чем больше образ Сына заслонял Отца и занимал его место сурового судьи, тем больше милость Христа переходила к его матери. Не знаю, понимал ли это художник, но он завершил долгий процесс развития раннего христианства, длившийся несколько веков. Скромная девушка, не ведавшая, кого она родила, постепенно превратилась в подобие богини милосердия, примерно как бодисатва Авалокитешвара, которого индийцы представляли себе мужчиной, на Дальнем Востоке превратился в тысячерукую богиню милосердия (в Китае Гуань-ин, в Японии Кваннон), каждой из своих рук готовой прийти на помощь страдающей твари. В богословии старушек, на плечах которых русское православие удержалось в годы гонений, Богоматерь вытеснила и Бога-Отца и Святой Дух. А лауреат Нобелевской премии польский поэт Чеслав Милош просто предлагал довести число ипостасей до четырех, признав Марию одним из аспектов единого Бога.

Я думаю, что образ Троицы уходит в подсознание. Он схватывает в трех фигурах вечно текущий круговорот от созерцания к действию, от действия и истощения к новому кругу созерцания и рожденных в нем новых добрых целей. Однако прообразы не отделены друг от друга, они проникают друг в друга, и в развитие Троицы (буддийской и христианской) проник китайский прообраз, в котором созерцательное Дао порождает инь и ян, женское и мужское, а уже они — тьму вещей. В истории буддизма и христианства не хватало инь, женственных воплощений Божественного, и мифология дополнила историю. У нее, у мифологии, свое собственное отношение к реальности, и отсутствие исторических фактов ее не удерживает.

Халкидонский собор осудил монофизитство, для которого Вседержитель, суровый хранитель закона, заслонил Христа, простившего грешницу. Но как сделать зримым парадоксальный догмат о неслиянном, нераздельном и совершенном единстве Божеского и человеческого в Христе? Как не уклониться в ту или другую сторону? Перед иконописцами стала почти неразрешимая задача. Сдвиги к монофизитству (в образе Пантократора) — или к утрате Божественности Христа в западной живописи (хотя бы в той картине, возле которой беседуют

Мышкин с Рогожиным). Все это почти неизбежно. Тем драгоценнее отдельные удачи. Одна из величайших — рублевский Спас.

Для меня любовь не отделима от понимания. Влюбленность может быть мгновенной, а любовь — радостный труд понимания. Входя в рублевский зал, я подхожу поздороваться с Троицей. Две осени в Крыму, забираясь на обломок скалы в Лягушачьей бухте, я думал о ней — и она прочно отпечаталась во мне. Она и сейчас перед моими глазами, хотя я пишу в комнате, где иконы нет. И подходя к Троице, я только недолго удостоверяюсь, что она действительно такая, которая мне помнится, и радуюсь, что она не изменилась, не постарела, не поблекли переливы розового и зеленого в одеждах и глубина в ликах. А потом надолго сажусь к Спасу. Я его чувствую очень давно, но сразу понял только одно: это подлинный Христос. Никак не похожий на еврея из Назарета, и тем не менее подлинный, — человек, вместивший в себя Бога. А как у Рублева это получилось — не мог понять.

Икона Спаса, или вернее, то, что от нее осталось, висит между двух других икон из того же деесиса — архангела Михаила и апостола Павла. Павел часто удерживал мое внимание и недавно опять удержал. Павел — человек огромной глубины опыта и огромной мысли, освоившей этот опыт. Он очень мне близок. И недавно я хотел сосредоточиться на Спасе, а Павел, как только мой взгляд скользил по его лицу, меня задерживал. Он что-то хотел мне сказать. Спас же смотрел на меня с облака и молчал. Одно из впечатлений, которое много раз у меня повторялось, — что Спас живет на порядок глубже, чем очень глубокой Павел. Где-то, где глубина становится высотой. Никакого особого нимба нет, а разница уровней бросается в глаза. Павел строит мосты через духовные бездны. А Спас перешагивает через них интуитивно, без обращения к логике.

Иногда происходило чудо, и его взгляд входил в меня и зажигал необычайной силы огонь. Но чаще я только чувствовал огонь в нем самом — спокойно сдержанный огонь, равновесие огня и спокойствия духа. В Спасе нет никакого экстаза. Он парит духом в облаках и оттуда смотрит на землю. В сердце огонь, а в уме покой, совершенная ясность. Кажется, это надо назвать «трезвением». Есть такой термин в православной аскезе. И такая практика была — трезвости в духовном взлете. Разумеется — давным-давно. А вот могучая шея и кажущиеся за нею могучие плечи — это не традиционное, не византийское. Скорее от народного образа богатыря, от тяги молодой культуры к полноте человеческих сил, не иссушенных умерщвлением плоти. Здоровье льва (образ, подсказанный Нарнией). И нежность, отблеск которой я видел у очень сильных мужчин, — в их отношении со слабым, бессильным. Нежный лев.

Передаю теперь слово Зинаиде Александровне.

Зинаида Миркина

Григорий Соломонович очень много сказал за нас обоих. Но мне хочется начать несколько иначе, с какой-то другой точки зрения.

Как-то мы находились в обществе довольно близких нам по взглядам, по восприятию жизни людей. Разговор зашел об иконах, и одна женщина несколько смущенно сказала, что икон не понимает. Другая обрадовано протянула ей руку. Она тоже не понимала икон. Я замолчала, припомнила время, когда сама могла сказать то же самое. Правда, это было давно. Очень давно. Но было время, когда иконы казались мне чем-то мертвым. Мне, как и многим, нужна была динамика, пластика, трехмерность, перспектива.

Это было до моего опыта, моей Встречи, о которой я не раз говорила и повторять сейчас не буду. Но, подумалось мне: и хорошо, что я сама многого не понимала. Это нужно, чтобы понять непонимающих. Может быть, и нельзя понимать по-настоящему иконы до того, как произойдет в тебе остановка внешнего движения. Во мне она произошла вдруг в 19 лет, во время события, пересоздавшего мое сознание. Внешнее движение замерло. Оно как бы было пересечено другим движением или другим измерением, которое всегда есть, но которого мы обычно не замечаем.

Разве мы замечаем рост дерева? Цветка, ребенка? Мы видим результат этого роста, но самого процесса заметить не можем. Дерево нам видится статичным. Ребенок вдруг становится другим. Перед нашими глазами он все тот же, и вдруг — откуда ты взялся такой? Обыкновенное, привычное, и все-таки чудо. Тайна.

Откуда взялся мир? Откуда взялись мы? Может быть, первая религиозная мысль появилась вместе с первым удивлением перед непостижимым. Душа остановилась на берегу Тайны, как ноги на берегу Океана. Дальше идти нельзя. Что-то пересекло наше движение. Что?

Остановившись и оглядевшись, мы заметили Бесконечность, объявляющую нас. Мы — конечные существа. Мы подвижны от начала к концу. Но мы сопричастны чему-то Другому, что не знало начала и не будет знать конца. Мы вышли из него, как Венера из пены морской. И вот мы чувствуем дыхание незримого Океана, ощущаем некое внутреннее движение, которое идет не рядом с нами, а СКВОЗЬ нас. Ощущаем, потому что мы остановили свое внешнее движение. Нас пересёк великий Покой.

Раньше, еще в старом здании Третьяковки, я обычно шла к иконам через верхние залы, приостанавливаясь около Левитана, удивительно чувствовавшего Божественность света, досмотревшего природу до ее источника, до Бога, — творение до Творца его. Я останавливалась около «Вечернего звона», около картины «Над вечным покоем» и шла дальше, неизменно проходя мимо суриковской «Боярыни Морозовой». Ничего сейчас не хочу сказать об этой картине в целом. Речь не о ней. Но вот за

санями бежит мальчик. Быстро бежит. Это чувствуется. И пятка его, поднятая в беге, так и застыла навсегда. И торчит перед глазами моими эта поднятая пятка. Стоп-кадр. Движение, которое насильственно остановлено. Но не могу я останавливаться вместе с этой пяткой. Иду дальше. Спускаюсь вниз, на первый этаж. И, наконец, что-то останавливает меня. Дальше идти невозможно. Я около одной из моих любимых икон. Я начинаю чувствовать неостановимое Движение. Внутреннее Движение.

Вот тут остановка внешнего движения не только законна — она необходима. Застылость, статичность иконных фигур — это неподвижность русла, внутри которого — вечное течение. Я сама застываю все больше и больше, до полной остановки вопросов, мыслей. И течение входит в меня, заполняет меня. Невидимый поток движется во мне и причащает меня внутренней Бесконечности.

Всю жизнь пытаюсь передать, что со мной происходит тогда. Всю жизнь пишу об этом. И каждый раз переживаю заново. Это причастие Тайне. В природе и в великом духовном искусстве. Природа — это тоже икона. Только не рукотворная, написанная самим Богом. Через природу, так же как через икону, мы можем увидеть Творца ее. Если сумеем остановиться. Остановить все внешнее движение. Стать руслом для Движения внутреннего.

Не пропускайте час молитвы.
 Не пропускайте час, когда Царит
 недвижная вода И правят медленные
 ритмы.
 Как будто мир смежает веки.
 Вовнутрь глаза его глядят,
 И о всеильном человеке Безмолвно
 говорит закат.
 О нашем тайном, сокровенном,
 Живущем в самой глубине —
 В центральной точке всей Вселенной
 И очень глубоко во мне.
 И начинается великий
 Непрерываемый рассказ О том, что в
 мире нет Владыки,
 Кроме Того, который — в нас.
 В часы зари золотокрылой,
 Немой, молитвенной зари,
 Стянулись внутрь все наши силы И мощь
 восходит изнутри.

Это я испытала на морском закате. И это же я испытываю у икон. Обращение внутрь. Стягивание всех сил внутрь. Открытие каждый раз заново одной и той же евангельской фразы: «Царствие Божие внутри нас».

Есть утверждение, что святые видели потустороннюю реальность и направляли кисть иконописцев. Таким образом, иконописец оказывался копировальщиком готового видения, представшего глазам. Согласиться с этим никак не могу. Бог говорит с нами *только* через душу, через нашу таинственную и бездонную глубину. Не иначе. Глазами не увидишь главного, как сказал маленький принц. Увидеть по-настоящему можно только сердцем. Может быть и через глаза, но тогда, когда открывается внутреннее зрение, зрение сердца, которое никогда ничего не копирует, а только заново рождает. Только в глубине сердца происходит таинственная Встреча и сердце зачинает от Бога. И вынашивает Божественный плод.

Мой Боже, Бог мой, из моих берез,
Дождя, травы и звона дальней птицы В
меня вошел и из меня пророс.
Нельзя иначе Богу появиться
Здесь, на земле. Есть место лишь одно —
Внутри меня. И в радости и в муке Вот
это сердце выносить должно Тебя и
выпячивать вот эти руки.
Мой Бог — мой сын. И тварь Твоя, и мать.
О, Господи, сумею ли так много?
Зачать, родить и, вырастив, отдать Тебя
во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу..

Вот это «отдать во тьму», вернуть Бога Богу, это самое трудное и самое таинственное и непостижимое. В иконных глазах всегда сочетание света и боли. Просветленная печаль или просквожённая болью радость, но то и другое вместе, потому что главное — это соприкосновение с Бесконечностью, которое всегда трудно конечному человеку, и все-таки именно оно — причастие Бесконечности — является нашим смыслом и глубочайшей радостью, ликованием Духа.

Наш ум всегда спрямляет путь. Наши представления всегда одномерны. Но Бог непредставим и умом непостижим. Слова о Божественной реальности — всегда метафоры. Ибо в нашем языке, оперирующем конечными понятиями, нет и не может быть точных слов о Бесконечном. Разве все слова о воскресении являются точной копией физического явления? Как понять слова: «Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. А живущий и верующий в Меня не умрет вовек...»? Эти слова уму ничего не могут сказать.

Он не сказал: «Верь, Я воскрешу». Сказал: «Я есмь воскресение». Воскресение перед вами. Сумейте вместить. Вместить океанскую глубину, в которой тонет мука и смерть. И эта океанская глубина есть в глазах подлинных, лучших икон. В бесконечно скорбных глазах есть негасимый свет. Это тайна, глубже и величественней которой ничего быть не может.

Глаза эти прошли через смерть и — живы.

Бог это выход. В полной черноте,
В пространстве без дорог.
Скажите мне: есть выход на кресте?
Тогда есть Бог.

Выход на кресте. Понять этого, повторяю, невозможно. Именно поэтому очень часто икона представляется неживой, мрачной, неподвижной. Она вызывает отталкивание или испуг. Между тем, настоящая икона полна великого света, мощного движения и непреходящей жизни. Эта жизнь не избегает страдания, а превосходит его, так же как и саму смерть.

Есть вечный вопрос: как допустил всемогущий Бог страдание. Есть в Библии Книга Иова, о которой мы много раз говорили. Я сама когда-то задавала вопросы Иова, и ответом мне был иконный лик. Сначала я увидела Его сердцем, а потом узнала на лучших иконах. И каждый раз снова и снова прихожу к ним с трепетом, как на нужнейшее, драгоценнейшее свидание.

Иконы не отвечают на вопросы нашего ума. Они снимают эти вопросы и открывают нам предельную (а точнее — беспредельную) высоту и красоту человеческой души, и которой мы призваны, которая нам всем открыта. Когда мы с Григорием Соломоновичем входим в наш любимый немой храм — иконные залы Третьяковской галереи — первая наша остановка, как он уже говорил, у огромной иконы Благовещенья.

Ангел (архангел Гавриил) и Мария. Ангел смотрит на Марию. Мария — на нас. Ангел протягивает руку по направлению к Марии. Его тонкий напряженный перст — как будто силовая линия. Он делает видимой эту линию — это могучее, незримое и неслышимое течение, тока от Бога к душе.

Я чувствую его перст, как удар тока, как повеление замереть и приготовиться к великой Встрече. Очень точный и тишайший жест ангела и бесконечно спокойное лицо Марии, которая почувствовала святую тяжесть своей глубины — Божественный плод, созревающий в ней.

Мы движемся дальше, в глубь залов, и я все время ощущаю эту священную тяжесть в глубине. И вот, мы садимся у моей любимой Богоматери. Я совсем не утверждаю, что она лучше всех. Есть другие, гораздо более знаменитые и действительно прекрасные. Но у каждого свой вход в глубину души, в свою живую тайну. У меня — она — Богоматерь византийского деесисного чина, о котором уже говорил Григорий Соломонович.

Что происходит со мной, когда я надолго принимаю к ней взглядом, передать трудно. Тем более, что каждый раз все происходит заново и несколько иначе, чем в прошлый раз. В каждом из нас есть две природы:

Божеская и человеческая. И в совершенном человеке, в Богочеловеке есть природа человеческая. Все мы помним Его слезы в Гефсимании и крик на кресте... А уж наша человеческая природа кричит куда больше...

Я не боюсь смерти, но, конечно, не хочу муки, и уж как боюсь разлуки с любимыми.

И вот что произошло со мной во время последнего свидания с «моей» Богородицей: слова «Я емь воскресение и жизнь вечная» воплотились передо мной.

Я увидела, что то, чего я больше всего боюсь, не страшно этому лицу и мне, когда я это лицо вижу всем сердцем. Припав к ней, я живу жизнью вечной. Яснее сказать не могу. Но лик этот причащает меня той глубине, где смерти нет.

Григорий Соломонович еще говорил о руках «моей» Богородицы. Скажу и я: в этих руках главное для меня — поразительный ритм. Полное согласие с тайным ритмом, творящим жизнь, со звездным танцем, с удивительной внутренней гармонией, единой для всего мира, для всех миров.

Чем отличаются лучшие византийские и русские иконы Богородицы от самых замечательных западных мадонн? Я очень далека от того, чтобы возносить одно за счет другого. Западная религиозная музыка кажется мне вершиной, превзойти которую невозможно. Да и готическая архитектура и некоторые деревянные скульптуры. Но икона византийская и древнерусская, на мой взгляд, гораздо глубже и ближе к духовной реальности, чем западная иконография.

Духовная реальность — это и есть суть жизни. Сама Вечная жизнь. В подавляющем большинстве западных икон я вижу скорее мечту о вечной жизни, человеческое представление о ней, чем саму суровую и бездонную глубину Вечности, которая есть Дух, прошедший через смерть и не затронутый смертью.

Икона, о которой я столько говорила сейчас, делит со мной все мое человеческое страдание, вплоть до смерти, и как бы просит меня разделить с ней её негасимый свет — выйти с нею в воскресение.

Это не всегда и не всякому видно. Но это есть. Когда-то, когда я ездила в Третьяковку после целого дня, проведенного в больнице у матери, смотрительница спросила меня: что я вижу, сидя так долго и неподвижно у Спаса рублевского? «Это дает мне силы жить», — ответила я. Она мне как-то безоговорочно поверила, но с грустью сказала, что вот она целыми днями сидит здесь и ничего такого не чувствует. И это — первый шаг: почувствовать, что икону *можно* почувствовать.

Замечу вскользь, что о западной иконографии и живописи, вероятно, будет разговор в другой раз. Сейчас хочу привести только один пример, сделать одно сравнение.

Знаменитая Сикстинская капелла Микеланджело — мощнейшее

проявление человеческого духа — и гораздо менее знаменитый Ферапонтов монастырь на русском Севере. Так вот, преклоняясь перед микеланджеловским Саваофом, ощущаю в нем всю мощь Ветхого Завета, всю его космическую волну; но, побывав в Ферапонтовом монастыре, мы с Григорием Соломоновичем ощутили нечто большее. Может быть, много большее. Мы точно на небе пожили. И тайна здесь в том, что фигуры и лики Дионисия утратили земную плотность — отдельность своего человеческого «я». В них произошло то самое опрозрачивание, к которому призывал Христос. То опрозрачивание, та сквозность, в которой через человека проглядывает Бог.

В этом проглядывании единого Бога, являющегося в трех лицах, — смысл Троицы. Споров о Троице было много. Майстер Экхарт говорил, что немалое число священников понимают Троицу, как трех коров. То есть как три предмета, три отдельности. Не один Бог у них, а три. Но в понимании троичности Бога и заключена тайна нашего бессмертия, нашего воскресения.

Собственно изображению подлежит только ветхозаветная Троица, то есть три ангела, пришедшие к Аврааму и Сарре. И вот, они оказались одним, единым Богом. Един в трех лицах. Это триипостасное, я бы сказала трехслойное, трехсоставное единство — и является главной тайной.

То, что рождается и умирает, — это СЫН. Но есть еще и то, что Его рождает, и то, что Его наполняет. И то и другое невидимо. Но без Того и Другого нет видимого. Тайна всего видимого, явленного в том, что оно родилось из чего-то гораздо большего, чем оно само, и наполнено чем-то гораздо большим, чем то, что можно увидеть глазами и ощутить пятью чувствами.

Так вот, Сын, явленный, рождённый, таит в себе нечто неявленное и нерожденное и неумирающее. Сын — не только сын. Творение — не только творение. В Сыне просвечивает Отец. В Творении — Творец. Это и есть просвечивающее в смертном существе — бессмертие. Мы не равны самим себе. Мы светимся великой тайной. Главное в нас — то, что просвечивает сквозь нас.

Троичность Божества есть отсылка к тому, что мы начинаемся не с рождения и кончаемся не со смертью. Для ума это тайна. Здесь он должен замолкнуть, как должно остановиться внешнее движение, чтобы заметить внутреннее. Перед нами глаза икон. И это Путь и Дверь в невидимое, бесконечное, вечно рождающее все видимое и конечное.

Это Оно смотрит на нас из глаз рублевского Спаса, обжигая негасимым огнем и наполняя жизнью вечной, ощутимой сердцем более явно, чем тяжесть всей мировой материи. Отсюда и слова: если будете иметь веру с горчичное зерно и велите горе сдвинуться, она сдвинется. Дух, наполняющий материю, могущественнее материи. И глаза икон говорят

нам об этом.

На возврате к традиции

Не помню, когда я натолкнулся на стихотворение Николая Гумилева «Звездный ужас». Там первобытные люди никогда не подымали глаза на небо. И вдруг один из них взглянул на ночной небосвод, усыпанный тысячами звезд. Бездна ужаснула его, и он умер. Несколько смельчаков повторили его подвиг, и все они умерли. Пока маленькая девочка, увидев светляки, мелькавшие на небе, не запела. С тех пор троглодиты поняли, что песня побеждает страх. Начался мысленный полет в бездну, постепенно ставший путешествием вглубь сердца, и открылась одна глубина за другой.

Советская власть, отправив на свалку всю мистику, поставила нас в положение троглодитов, не знавших песни. Наталкиваясь на символы бесконечности, в которой тонули привычные предметы, мы чувствовали себя песчинкой в бездне, и нас охватывал ужас. Во мне этот ужас вызвала кривая тангенсоиды в учебнике тригонометрии для 9-го класса. Я почувствовал себя π , деленным на бесконечность и ставшим нулем. Ничего не поделаешь: $\pi : \infty = 0$, и я заставил себя не думать об этом, пока не поумнею. С этого начался мой духовный путь. Описывая его, приходится повторять азы и еще раз сказать, что меня подхватил Тютчев, а Тютчев ссылался на Паскаля...

Дальше моя эрудиция не простиралась, и только много лет спустя я понял, что начинать надо бы с Индии УШ в. до Р.Х. Но в Европе Паскаль остался первопроходцем. Он первый ужаснулся бездне пустого космического пространства, раскрытого для европейцев телескопом Галилея. И в историю вошел его ответ на вызов:

«Человек слаб, как тростник; порыв ветра может сломать его; но этот тростник мыслит, и даже если вся вселенная обрушится на него, она не отнимет этого преимущества». Я подчеркнул то, что просто не приходило в голову до Паскаля.

Тютчев сжал афоризм Паскаля в одну строку: «и человек, сей мыслящий тростник.». От Паскаля осталась хрупкость тростника; исчезла попытка утвердить достоинство человека на силе его мысли; сознание ничтожества человека несколько раз повторяется в стихах Тютчева:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы...

Однако лирика позволяет развернуть веер мыслей, противоречащих друг другу. Стоическое отчаяние то и дело уступает упоению полетом в бездну, где душа сливается с беспредельностью и открывает в себе самой бесконечность:

О, страшных песен сих не пой Про
древней хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди И с
беспредельным жаждет слиться!.

Тютчев вдохновлял меня ответить на вызов, перед которым дважды отступал Толстой — в романе «Анна Каренина» и в рассказе «Записки сумасшедшего». Но я понимал, что попытки анализа бесполезны, и вдруг нашел прием, о котором ничего раньше не слышал: вертеть и вертеть в уме неразрешимый вопрос, пока он сам по себе не исчезнет, не сгорит, не растворится в созерцании двух-трех слов, ставших символом целого, и откроется реальность целого, в которой никаких вопросов нет. После трех месяцев медитации вспышка внутреннего света отодвинула в тень всю сложность и высветились слова, которых я ждал.

Зинаида Александровна шла другим путем и мучили ее другие проблемы. Но в конце концов и она пришла к озарению, иному, чем у меня, и в чем-то превосходившему мое. Об этом есть на нашем сайте.

Теперь пришла очередь рассказать, как я со своим опытом внутреннего света попал в ловушку. Мне показалось, что этот свет высветил некоторые очень важные идеи (на самом деле — то, что мне хотелось, что дремало в подсознании). Мне хотелось получить модель вселенной, в которой человек играл роль Бога-Творца на куполе Сикстинской капеллы; и подсознание выдало мне то, что я хотел.

Много лет я радовался своему мнимому открытию, пока знакомство с традициями Индии и Дальнего Востока не помогло понять вспышки внутреннего света иначе — как проблеск сияющей вечности, выглянувшей сквозь оболочку времени, пространства и материи. Человек не может преодолеть своей физической связанности с миром отдельных предметов и дробных величин, но он иногда чувствует реальность глубинных слоев бытия, волнами сменяющих друг друга на поверхности. И эти проблески оставляют след, описанный Д.Т. Судзуки: «ваш повседневный опыт, но на два вершка над землей».

Наряду с английскими и немецкими книгами, посвященными традициям Индии и Дальнего Востока, мне многое помогли понять переводы

упанишад, полученные в дар от Александра Сыркина: «Брихада-раньяка» (УШ—VI вв. до Р.Х.), «Чхандогья» (VI в. до Р.Х.).

«Брихадараньяка» сперва смутила. Я ждал чего-то вроде принципа и его последовательного развития, а нашел кружение мифологических образов и вылупившихся из них понятий. Подумав, решил перечитать книгу и со второго захода стал ее понимать. В ее сутолоке просвечивало то, что я сам когда-то испробовал: верчение в уме медитативной формулы, к которой, как к вершине, постепенно стягивалась вся глубинная реальность — и вдруг она пробивается сквозь измеримые величины к сияющей цельности, не поддававшейся никакому дроблению.

У меня сложилась метафора, подсказанная «Солярисом» Тарковского, но самостоятельно разработанная, — метафора незримого океана и его мгновенных наплывов, мгновенно исчезающих заливов на прибрежном песке. Мгновенных — сравнительно с вечностью, но достаточно ощутимых по человеческому счету. Максимум реальности (понятие, сложившееся еще в юности) я приписываю незримым глубинам; затем — их проблеск, наш внутренний свет; а призраки, возникающие на границе света и тьмы, рождают мифы у бушменов и метафоры у поэтов. Языком метафор пользуется и библейская традиция и продолжение ее в устах Христа, когда он говорит: «Царство Божие внутри нас». Традиция, усвоенная Буддой, предпочитает в подобных случаях смысловые паузы. На этом впоследствии было основано и апофатическое богословие церкви.

Язык смысловых пауз нашел свои первые разработки в «Брихадараньяке» и «Чхандогье». Первая медитативная формула — отказ от всех определений на последнем рубеже аналитической мысли, повторение слов, ведущих к непостижимо целому: «На ити, на ити» (в русском переводе — не это! не это!). Вторая формула из «Чхандогьи»: местоимение, указывающее неизвестно на что: «Тат твам аси», То ты еси; более складно по-русски: «То — это ты».

В дальнейшем «То» оказалось трамплином, с которого взмыл вверх целый ряд понятий. «То» (санскр. Тат) перевоплотилось в существительное «Татхата», не имеющее соответствия в русском языке, а татхата породила еще одно существительное, «татхагата», человек, ставший воплощением татхаты, таинственной сердцевины, смысловой паузы. В буддийских текстах Татхагата — синоним Будды. Европейцы предпочитают слово «татхагата» не употреблять, ограничиваясь словом «Будда», которое кажется легко переводимым: «Просветленный». Между тем, слово «татхагата» дало еще один, еретический, отпрыск — «татхагатагосрбха», зерно (или зародыш) просветленного. В более точном переводе это зародыш существа, созерцающего непостижимое «То» и идущего непостижимым путем по его следу.

Вернемся теперь к мысли Паскаля, внезапно пережившего крах астрономии Птолемея и падение в бездну. Муки тонущего в бездне —

родовые муки мыслителя, из-под которого выдернули плоскую землю и ищущего другой опоры — в вечности. Эту опору Паскаль находит незадолго до конца своей жизни во внутреннем свете. Так я толкую слово «огонь» в записке, найденной зашитой под подкладкой его камзола. Флоренский понимал «огонь» как пламя преисподней. Это толкование перекликается со вспышками страстей и плохо вяжется со сдержанностью Паскаля.

Французы назвали посмертную записку «Амулетом Паскаля». По моему, — неудачное сочетание слов. Стил записки совсем не амулетный: точная научная фиксация двух часов озарения в такой-то день (или вернее ночь) календаря. Дальше у Паскаля возникают ассоциации: Бог Авраама, Исаака и Якова, а не философов и ученых, Бог живых, а не мертвых... Всё это не вяжется ни с амулетом, ни с адским пламенем. Скорее с райским светом.

В ближайшее к нам время наметились новые проблемы. Рушатся преграды между духовными традициями Средиземноморья и индийско-тихоокеанских стран, выступили на первый план их внутренние противоречия: различия вдохновения и догмы, различия больших (глубоких) и малых (поверхностных) озарений. Рамакришна, живший в XIX в., попытался установить иерархию основателей великих традиций. Он поочередно входил в образ древних подвижников и признал полными озарения Будды и Христа; остальных же расположил по нисходящей лестнице.

Опыт Рамакришны, быть может, дает ключ к фактам соблазна и падения некоторых канонизированных учителей. Сразу же вспоминается Раджнеш, несомненно знавший внутренний свет, автор нескольких замечательных книг, посвященных корифеям духа, — и пример великого падения, подобного падению Люцифера. Бывают и феномены противоположного характера: взлеты в традиции, начало которой было небезупречным; таким взлетом был суфизм.

Замечателен также опыт Хакуина, японского подвижника ХУШ в. Он начал с проблеска, который переоценил, и явился к своему наставнику, гордясь успехом. Наставник обругал его и спустил с лестницы. Упав лицом в грязь, Хакуин смиренно продолжил свои поиски подлинной глубины. Незадолго до смерти он писал, что пережил восемнадцать озарений, больших и малых. К сожалению, Хакуин не захотел, а может быть, не смог строго разделить те и другие. Возможно, были сомнительные случаи. Но то, что несовершенные озарения допускают соблазн и падение, показывают многие факты в истории религии.

В оценке проблесков на первый план выходит характер оставленного ими следа. Иногда яркий проблеск, озаривший ночь, остается фактом личной жизни, глубоко не освоенным и не преобразившим человека. И напротив, внутренний свет, вызванный внешним, дневным впечатлением,

дает устойчивый пунктир, тянувшийся из года в год. Полузабытые озарения, попав в русло традиции, временами оживают и дают глубокие сдвиги. Все эти оттенки истории трудно осознать, расчленив, описать. Во всяком случае, плодотворно, если малое озарение понимается как первая ступенечка лестницы. Плохо, если оно вызывает попытку остановиться и увенчать себя в роли святого. Подлинность света познается во всем контексте жизни, во всем предшествующем и последующем опыте.

Это можно сказать и о мере подлинности, мере глубины целой культуры и культурного круга. Здесь возникают очень трудные проблемы оценок. Индия, мать многих озарений, от древности и до сего дня, остается и матерью многих ересей. Достаточно упомянуть тантризм, использующий в своем культе сочетание оргазма и наркотического экстаза.

Зато в Индии не было крутой смены эпох, во время которой гибнут многие ценности. Не было ничего подобного войне между Заветом Христа и Заветом Мохаммеда, между церковью, созданной Павлом, и церковью, созданной Лютером. Индуизм полторы тысячи лет боролся со своим порождением, буддизмом, и в конце концов поглотил его, ни разу не обнажив меча. Аналогию можно найти в миролюбии конфуцианства, сохранявшего книги своих лютых врагов и прилежно их переписывавших.

Какое-то время казалось, что средиземноморские крутые повороты — лучший путь развития. Однако прямолинейность римского ума уже единожды привела к краху Рима. И видимое торжество западного рационализма сегодня переходит в глубокий духовный кризис. Сумеют ли цивилизации индийско-тихоокеанского региона устоять перед захваченностью этим кризисом? И устояв, спасти Землю? К чему приведет диалог культур, западных и восточных, стиснутых в одном пространстве информации? Поймем ли мы, что все традиции несовершенны и преодолеют свое несовершенство только в диалоге друг с другом?

Вселенский хор сегодня звучит в тихой глубине; на шумном Западе он становится какофонией. Терпимость, победившая на рубеже XVII и XVIII вв., превращается во всеядность и напоминает Рим периода упадка. Это провоцирует и мусульманский фанатизм. В глазах фанатиков их агрессивность — священная война с пороком.

Сможет ли творческое меньшинство остановить мощные разрушительные процессы? Это меньшинство, открытое дыханию глубины, растет, но не слишком ли медленно? Смогут ли мыслители, подобные Экхарту, Толле, увлечь массы? Смогут ли они, к примеру, остановить экологический кризис?

Политическое равенство не исчерпывает жизненных проблем. Духовный мир иерархичен. Истина доступна каждому, но в меру его сил, сознания и воли. Первая ступень к духовной глубине или дается по благодати (но немногим), или заставляет вспомнить правило Силуана:

«держи ум свой во аде и не отчаивайся». Второй шаг в глубину приходится выстрадать. Широкому кругу дается только любовь к тем, в ком чувствуется внутренний свет или, по крайней мере, след пережитого света, продолженный пунктиром сквозь всю жизнь. И вокруг этого следа возникает переключка сердец и царство любви.

На этом я кончаю свой опыт находок и оценок. С этим я прихожу к пониманию великих традиций. В каждой из них мы с Зинаидой Александровной видим свет, рожденный озарением, и темные пятна, оставленные страстями. И нам хочется в каждой традиции утвердить ее свет и показать возможность переключки с вершин, выступающих за облаками слов.

Долгий путь к свободе

Я думаю, в судьбах русской свободы слова можно многое понять, следуя за Г.П. Федотовым в анализе терминов «свобода» и «воля». Веер значений «свободы» уходит в республики древнего Средиземноморья, ведет на агору и на форум. Слово «воля» скорее ведет на простор, где нет никаких ограничений, ни стен, ни заборов. Помкомвзвода, которого я запомнил с 1941 г., никогда не говорил: «выходи на улицу», «выходи на двор». Только — «выходи на волю».

На средневековом Западе свобода скорее вела в город, обнесенный высокими стенами. Сложилась даже поговорка, что городской воздух делает свободным. Спасаясь от произвола, крестьянин уходил в город, и здесь он находил другой юридический климат. Свобода горожанина была ограничена и обеспечена. Она не мыслилась без ответственности за город и четко сформулированного закона. И слово «закон» означало здесь не какую-нибудь варварскую «правду», а обрывки римских уложений, вошедших, вместе со всей дохристианской культурой, в средневековую латынь. Деревенский житель довольно долго оставался варваром, но горожанин вступал в традицию средиземноморской цивилизации.

Ничего подобного не было в России. Существовали русские вольные города, но о правовых традициях античности они ничего не знали. Споры на новгородском вече решались кулаками. Стилистика парламентских речей там так и не сложилась. Возможно, новгородцы дошли бы до нее, но их воля, не успев стать свободой, была растоптана Московской державой, складывавшейся по татарским образцам с начала XVI в.

К несчастью для России, византийцы поленились научить новокрещенные народы своему языку со всеми его богатствами. Мировая культура присутствовала в древней Руси только как Библия, а если говорить о широком обиходе — одной Псалтырью, читавшейся по покойнику. Искусство иконы было подхвачено интуитивно, без полноты связанного с ней слова. Поражаясь красоте рублевской «Троицы», западные исследователи называют Русь немой культурой. Античное слово как толчок к традициям политической свободы пришло в Россию с опозданием на несколько веков.

Спасаясь от растущего притеснения, вызванного татарским игом, непокорный уходил через открытую границу на дикую волю. Встречая местные племена, землепроходцы охотно усваивали их языки. Но традиции якутов и чеченцев не вели к столбовым дорогам истории.

Завоевав Западную Сибирь, Ермак подарил ее Ивану Грозному — видимо, рассчитывая на известную степень автономии. Однако воеводы строили крепость за крепостью, и казаки уходили дальше на восток. Пространство съедало социальную напряженность, центральная власть нехотя мирилась с открытой границей, но, в конце концов, Александр II закрыл Америку, продал Аляску Соединенным Штатам.

На юге дело шло иначе. Там не было безграничного простора. Казачьи авангарды сталкивались с форпостами Турции и Ирана или с Большим Кавказским хребтом, и показалось легче продолжить традиции смуты, повернуть с Юга на Север, опрокинуть Московскую державу и создать царство казачьей воли. К отряду Степана Разина примыкали многотысячные толпы крестьян, придавленных крепостным правом, но бунтующие толпы не могли во мгновение ока превратиться в казачье войско. Поражением кончился и замысел Емельяна Пугачева. Этим последним отголоском мятежей начала XVII в. попытки всероссийской воли кончились, и казаки стали послушным пограничным сословием.

Однако сразу же роль борца за свободу подхватило дворянство — то самое, которое при Борисе Годунове добивалось и добилось окончательного закрепощения крестьян. Потомки крепостников, получившие волю ездить на Запад и досуг читать Вольтера, Дидро, Руссо, стали размышлять и сравнивать русские порядки с европейскими идеями. Культ чувствительного сердца их затронул — по большей части поверхностно. Но нашелся один, чье сердце охватил жгучий стыд от власти над крещеной собственностью. Он в полном одиночестве — как впоследствии авторы самиздата — написал и издал «Путешествие из Петербурга в Москву». Не было никаких шансов затронуть этой книгой тогдашнее общество. Но Екатерину она испугала.

Радищев был арестован, сослан, при наследнике Екатерины возвращен, еще раз почувствовал свое одиночество и покончил с собой. Тираж его книги сожгли. Но сожженные книги восстают из пепла.

С этого отчаянного шага начался новый период. Русская литература перестала быть придворной. Она стала всенародной, а потом и всемирной. Временами перекликаясь с политическими движениями, временами полемизируя с ними (и с их западными образцами), она стала воплощением свободного духа.

Дальнейшая история делится на три периода. В первый на авансцене остаются дворяне. Гвардейские офицеры в декабре 1825 г. пытаются свергнуть Николая I и сделать русскую монархию конституционной. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев создают русский литературный

язык и традицию художественного слова. Во второй период эта традиция подвергается критике со стороны нового поколения. Ведущей фигурой становятся выходцы из семей священников, ученики духовных семинарий, где православие вбивалось розгой. Они порывают с религией и становятся пропагандистами левых западных течений. Художественное слово им плохо дается, оружием их становится литературная критика и публицистика. «Что делать?» Чернышевского — прокламация в форме романа. Эта книга становится библией нескольких поколений русских революционеров.

Толстой и Достоевский, каждый по-своему, уходят от этого течения вглубь, к вопросам, в которых литература близка к Священному Писанию. Русское западничество и сама Европа становятся для них чем-то мелким сравнительно с русской духовной широтой. В этой широте физическая воля бесконечных просторов приобретает духовные измерения. Толстой находит свои образцы в народном отпоре, сломившем Наполеона, Достоевский — в своих мистических озарениях. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», забытых читателями, он бросает фразу, поразившую меня и которую я привожу во многих лекциях — я не могу без нее обойтись.

«Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, не испытывающая за себя никакого страха, не может найти себе другого употребления, как отдать себя всю всем, чтобы и другие стали такими же полноправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормального человека...»

Я цитирую наизусть то, что живет во мне более семидесяти лет. И семьдесят лет остается нерешенным вопрос: а как же другие? Когда же они сумеют принять и усвоить призыв к сильно развитой личности?

Современники не поняли Достоевского. Многие его идеи остались как снаряды на старом поле битвы, взрывающиеся через десятки лет. История шла своим путем. Вышла на авансцену третья очередь общественных слоев, вырванных из традиций самодержавия контактом с Европой. Европейские идеи дошли до фабричных рабочих и национальных меньшинств. На рубеже XX в. эти слои входят в освободительное движение и придают ему свою окраску. Марксизм становится ведущей идеологией. Массы городских окраин усваивают простейшие марксистские лозунги и загораются верой, что насилие — повивальная бабка истории — ведет прямо в царствие, где из золота будут делать унитазаы (эту мысль можно найти в собрании сочинений В.И. Ленина). Бурные события в городах сделали то, чего не добились народники-пропагандисты: началась пугачевщина без Пугачева; мужики жгли помещичьи усадьбы, потом мужиков пороли и вешали. К 1907-му году все улеглось, но в 1917-м, после трех лет невиданно тяжелой войны, вспыхнуло снова. Большевики с успехом использовали погромную

стихию против белых, а потом жестоко подавили ее. К 1922-му году власть сосредоточилась в их руках. Однако никакое насилие не создавало золотых сортиров. Хватала за горло костлявая рука голода. И пришлось освободить крестьян от принудительной сдачи продуктов и дать известную волю частной инициативе.

Опыт Дэн Сяопина показал, что такая политика открывала возможность эффективного развития. Но идеи Бухарина у себя на родине были забракованы. Сталина, «восточного повара, любящего острые блюда», тянули к себе дороги, устланные трупами. Историки вечно будут спорить, что ему помогло победить соперников, намного превосходивших его в разработке теоретических концепций и в искусстве слова. Опора на аппарат? Думаю, что не только. В нем была какая-то демоническая сила, подчинявшая помощников. Он замечал людей, которых околдовывал, и умело их использовал. Например, Ежова он выхватил с незаметной должности, несколько лет воспитывал и сделал орудием Большого террора.

Возможно, сказалось и то, что охранка в последние годы царского режима внедряла в революционные партии агентов-provokatorov. Иные из них были по-своему талантливы. И есть много косвенных данных (хотя ни одной прямой улики), что Сталин после экспроприации Тифлисского банка избежал царской виселицы согласием на двойную роль. Так это или нет, но он отличался от Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина одним тактическим преимуществом: идеи для него ничего не значили, он менял их, как перчатки. Единственной целью его была тотальная личная власть, и он добился ее.

После смерти Сталина осталось неясно, сохранилась ли интеллигенция как интеллигенция, крестьянство — крестьянством, народ — народом. Все слилось в массу хорошо управляемой полуобразованности. Духовная свобода и свобода слова сохранялись только среди антисоветчиков, которых арест освободил от страха попасть в лагерь, остальные жевали слова, которые в 1917 г. вызывали трепет в сердце, а в 1953-м потеряли силу. В правящей партии не осталось ни одного подлинного идеолога. Медленно всплывали из нравственной неразберихи старые национальные ценности, но они плохо подходили и многонациональному Советскому Союзу. Они скорее разрушали, чем связывали Союз. И когда началась перестройка, советская власть стала рушиться, как старый гриб.

Первые годы перестройки вызвали большие надежды. Однако гласность очень скоро выродилась. Сплошь и рядом она продавалась и покупалась. Разгулялись демагоги. Приоритетной фигурой стали новые русские, грызшиеся друг с другом за собственность, как бандиты на своей сходке. Пришлось даже заключить конвенцию — не использовать убийство как средство конкурентной борьбы. Однако на журналистов табу не распространялось. Их до сих пор подстреливают без страха мести

или наказания. Криминальные нравы и словечки стали модой. Государственные деятели оживляют свою речь выражениями, которые я помню по лагерю. Образованность потеряла свой стиль, свой слог, свой запрет на некоторые вещи. Как-то забылось, что личность определяется не только тем, на что способна, но и тем, на что она решительно не способна.

Гласность вывела из забвения книги, созданные в Серебряном веке, в эмиграции; первое время ими упивались. Но отклики лучших русских умов на далекие события только отчасти отвечают на вопросы современности. Западные разборки совсем мало затрагивают наши языки. Удержится ли влечение к православию, возникшее после многолетнего третирования, трудно сказать. Введение закона Божия в школы может вызвать и нигилизм. Во всяком случае, массовое крещение еще не делает людей действительно православными.

Попытки заполнить пустоту спесью и воспоминаниями об эпохе, когда весь мир нас боялся (хотя что хорошего в том, чтобы вызывать страх?), — эти попытки скользят по поверхности. Захватывает массу жажда наживы, угар чувственности, обещание бесконечных наслаждений от наркотиков. Одновременно нарастает тоска по глубине, где дышит Бог-Дух, ступающий от сердца к сердцу. Но как собрать одиночек, разбросанных по стране? Как помочь им разобраться в себе самих? Возникают небольшие группы, до пятидесяти, до ста человек, семинары, в которых идут дискуссии о философии Соловьева, о традициях Индии, о буддизме дзэн, — но их влияние не выходит за рамки одного круга. Сможет ли телевидение, интернет связать родственные группы? Возможна ли общность духовных поисков, общность противотечений нравственному распаду?

Большой мир городских окраин оторван от природы и не вошел в стены цивилизации. История застыла здесь на полдороге. Темная воля, склонная все рушить, забрасывает мусором улицы поселков и опушки лесов. То, что Экхарт Толле назвал внутренним человеком, слишком долго топталось во имя фантастических целей революции. И трудно сказать, сколько нужно лет, чтобы поддержать новую поросль. А пока согласимся жить в неизвестности, но без подлостей. Нужно много контейнеров для всякого рода мусора, в том числе духовного, не только в закоулках и на опушках, но и на Красной площади.

Воспитание — трудное дело, и совершается оно не только в школе. Молодежь липнет к телевизору, усталый человек включает телевизор — и их забрасывают леденцами пополам с мусором. Надо сознавать, что ты делаешь, когда говоришь, пытаешься передать свой внутренний опыт и свои открытые вопросы.

Тут есть одно обстоятельство, которое часто забывают. Во всякой педагогической работе — в том числе в эфире — надо помнить характер ученика. Открытая граница вширь отошла в историю, но осталась в

русском характере. И нужно сдерживать, но не сковывать то, что названо душевной ширью (и часто становится разбросанностью). Достоинство, выйдя за свои рамки, становится злом. Но сама по себе широта — не зло. Гармония может быть достигнута при очень большой широте. Это показали романы Толстого и Достоевского. Гармония достигается духовной иерархией, господством тихой глубины над поверхностными бурями. Только в опоре на глубину возникает стиль общения, подобный спору Степуна с Трубецким в 1913 г., накануне века катастроф. И воспитатель должен набраться терпения. Очевидные результаты могут появиться не скоро. Для успешной борьбы за свободу слова нужна внутренняя свобода, неотделимая от ответственности, а это единство складывается год за годом, десятилетие за десятилетием.

Поиски русской ментальности

В хорошо продуманной статье Андрея Кончаловского¹ есть узелок, который хочется распутать. Приведем сразу цитату:

«Мне кажется, что определение “крестьянская культура” сбивает с толку, несмотря на свою историческую точность. Многие воспринимают это определение ложно. Даже Евгений Ясин, когда я назвал Россию страной с крестьянской ментальностью, вмешался в полемику и заявил, что большинство российского населения теперь живет в городах. В том-то и дело, что крестьянская этика сохраняется не только среди тех, кто работает на земле, ее придерживаются и те, кто работает на заводах, в банках и даже в Кремле! Можно забыть своих крестьянских пращуров, но исповедовать те же самые ценности, хотя бы принцип доверия только самым близким, желательно родственникам...»

Но, как оказывается дальше, спор идет не о кумовстве, свойственном и дворянам (вспомним Фамусова), не об отдельных чертах, а о некоторой модели Латинской Америки, созданной Харрисоном после двадцати лет исследований: «культура — это логически связанная система ценностей, установок и институтов, влияющих на все аспекты личного и коллективного поведения». Эту схему (одну из нескольких сот моделей культуры) предлагается использовать для понимания нынешнего русского общества.

Однако история России в XX в. так не похожа на историю Аргентины или Бразилии, что меня берут сомнения. Если взять за исходный пункт Россию 1913-го года, то это страна, в которой стремительно развивается промышленность, а сельское хозяйство снабжает пшеницей весь мир. И вдруг — разлом. Бунт армии, уставшей от войны, позволяет коммунистам взять власть и строить свою утопию. Раздражение от неудач, загнанное внутрь, вызывает неслыханные волны террора. Лавина доносов стремится навстречу власти. Некоторые действия Сталина граничат с безумием: невозможно оправдать ликвидацию 80% высшего комсостава и 50% среднего на пороге войны. Сталин растерян. Когда война началась, количество пленных превос- «Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс». роШ.ги 12/07/2010.

ходит численность вермахта. Неслыханные потери на войне, неслыханное число заключенных в лагерях, ссылки целых народов, подготовка второго Холокоста — все это было только у нас. И только у нас шел ряд неполных и всегда неудачных реформ после Сталина, а за ними — распад Союза. Можно ли это сравнить с любой страной Латинской Америки?

Лет пятьдесят тому назад попадались люди, еще сохранившие навыки свободного труда. Солженицын изобразил это в Иване Денисовиче. Но Иван Денисович — реликт прошлого. Сегодня Ивана Денисовича не сыскать. Просчет сталинских пятилеток был в том, что люди, загнанные в колхозное и лагерное рабство, надолго сохраняют волю к труду. Это не получилось. Народ приспособился к рабству. Экономисты мне говорили, что треть продукции, шедшей на потребление, присваивалось хищениями. Образ Ивана Денисовича был дополнен другим образом. У кого-то из крестьянских писателей описано, как старик, вышедший из лагеря, решил помочь сыну. Но привычка — вторая натура. За целый день он создал только видимость труда. Сталинский поворот к рабскому труду дал короткий эффект — и долгий надрыв в сознании, с которым советская власть все меньше и меньше справлялась и в конце концов вовсе не справилась.

Перечислим четыре пункта, заимствованные у Харрисона для понимания российской ментальности:

1. *Радиус доверия.* «Способность отождествлять себя с другими членами общества, сопереживать, радоваться успехам другого и огорчаться неудачам — вот что определяет доверие. В большинстве отсталых стран радиус доверия преимущественно ограничен семейным кругом...» Ничего не напоминает? Ни на что не похоже? Слушайте дальше...

2. *Жестокость морального кодекса.* «Обычно источником системы этики и морали является религия. В разных конфессиях мера ответственности различна. Более того, проступки и нарушения морали возможно или невозможно искупить. Отсюда в разных культурах индивидуальная ответственность личности очень различна».

Кончаловский не комментирует этого. Возможно, он предполагает всем известную неэффективность православия в экономике. Но православная Россия в 1913 г. развивалась ничуть не хуже католической Франции. Моральный кодекс был жесток у меньшинств (в частности, у староверов), но развивалась Россия в целом. Этот секрет никак не раскрывается.

Столыпинские реформы разрушали общину, выделяя инициативных хозяев на отруба. Революция это отменила. Но Бухарин, в годы НЭПа, вернулся к поддержке инициативных хозяев. Подобный путь был закрыт только Сталиным.

Вообще п. 2 можно по-разному понять, и не случайно Кончаловский в этом пункте отказывается от комментариев. А между тем, именно здесь

они нужны. Именно здесь лежит путь в духовную глубину, которая сказывается иногда и в труде. Но здесь следов размышления у Кончаловского нет. Между тем, русская ментальность не сводится к одному человеческому типу. У Федора Павловича Карамазова четверо сыновей, и все они по-русски ментальны, но как по-разному: и в нациях это так. Нация — система противоположных типов, она не шагает в ногу, как воинская часть.

В схеме Кончаловского предполагается какая-то единая народная ментальность. Но еще мой учитель, Л.Е. Пинский, расчленил библейскую ментальность на три контрастные группы: Иисус — Иуда, Патриарх — Пророк, Соломон — Самсон... Я тут же нашел контрастные пары в европейских нациях. Скажем, мистер Пиквик и мистер Домби; аббат Жером Куаньяр (у Анатоля Франса) и Жан Кристоф (у Роллана). На контрастной паре построен образ народа в «Капитанской дочке» (Пугачев — Савельич). Подобие есть и у Толстого (партизан Тихон Щербатый и Платон Каратаев). Но у Достоевского, в «Карамазовых», подчеркнута другое: текучесть границ между типами. У Федора Павловича четыре сына. Но только Алеша более или менее соответствует задуманному образу. У трех остальных — неожиданные повороты: Смердяков вешается (хотя в жизни смердяковы к этому не склонны), Иван сходит с ума и беседует с чертом, а Митя изменчив, как Протей. И эта переменчивость — тоже всемирный закон.

Разве за десять лет до 1793 года можно было угадать Робеспьера, Марата, Дантона? На моей памяти круто менялись и русские. В 1940 г. пошла в ход поговорка: «моя хата с краю, ничего не знаю». Война одних склонила сдаваться в плен, а других — держаться до последнего патрона. После Сталинграда дух войска выразила поговорка: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». На какое-то время чертой фронтовиков стала лихость и готовность перенести ее в мирное время. Сталин учуял это и ловко сманеврировал: дал выход энергии в эротическом мародерстве (ни одного человека не наказали за руководство «хором», т. е. групповым изнасилованием; число изнасилованных достигает 150 тыс. женщин). А потом начались новые репрессии. И все снова стихло. Однако перейдем к п. 3.

3. *Использование власти.* «В Латинской Америке власть традиционно воспринимается как право на обогащение.» Что-то знакомое, правда? Но граф Витте, выйдя в отставку, нуждался в деньгах. И Столыпин ничего не нажил. В Индии и в Китае власть издавна связана с обогащением; как же получилось, что обе страны вдруг вышли в лидеры современности? Видимо, в некоторых культурах есть глубины, которые дают сдвиги, недостижимые поверхностными схемами.

Наконец, п. 4. Отношение к труду, новаторству, богатству.

«В отсталых странах к труду относятся как повинности. Работают,

чтобы жить. В динамических — живут, чтобы работать».

Подумаем, однако, какими зигзагами шла Россия. Петр I бесспорно жил, чтобы работать, чтобы ломать старую Россию и создавать новую. А потом страна полвека «обрастала шерстью», по выражению Щедрина, отдыхала от петровских экспериментов, рожала детей и «работала, чтобы жить». Но жить уже вне той изоляции, в которой Россия оказалась после татарского нашествия и падения Византии. Жить — в Европе, по-европейски. Разумеется, мужиков это не касалось, но перед верхним классом развернулась, как на сцене, вся Европа — Германия, Франция, Англия, Испания, Италия, и все это была Европа, и образованный русский человек стремился вместить ее всю в целом, стать русским искателем вселенского синтеза.

Этого на свой лад достигла «тысяча», о которой говорил сыну своему Версиров в романе «Подросток», и в романах Достоевского, действительно, родился русский образ Европы как целого, русский всевропейский дух. Этот дух вызвал в общественной жизни реформы Александра II, сдвинувшие Россию с места, начавшие историю России как современной европейской державы. Но с тяжелым гнетом, легшим на спины народа и давшим взрыв, которым сумел овладеть Ленин, увлеченный своей утопией, а потом все это прибрал к рукам Сталин.

Надо отдать ему должное. Он создал свой гибрид коммунизма с шовинизмом, инерция которого и по сей час не выдохлась. И овладев страной, повернул обратно дело Петра. Культуру, которую Польша Валери сравнивал с веком Перикла и Ренессансом, он придавил сапогом и связи с Европой обрубил, загнал Россию в новую изоляцию. Сейчас все это рухнуло, но живых сил, способных создать новую демократию, не оказалось. Сталин основательно все вырубил, а новая власть досталась финансовым мародерам, сжавшим в кулак деклассированную массу. Массу *бывших* крестьян.

Что тут делать? Для меня — продолжать то, что начал, постепенно собирая свою группу творческого меньшинства, слава Богу, — не единственную. И слава Богу, — возможную в той ограниченной свободе, которая у нас осталась после Горбачева и Ельцина. И на том спасибо. Смогут ли эти искорки зажечь костры и согреть чьи-то сердца, и сложится тысяча, о которой Версиров говорил Аркадию? И сможет ли это помочь в трудные годы, которые еще ждут нас, когда кончится и нефть, и пресная вода, и многое другое? Мы можем только приступить к этой задаче. Решат или не решат ее наши внуки.

Становление личности сквозь террор и войну

Я был самым маленьким и слабым в классе. Зная свои возможности, я избегал уличных столкновений, но это не всегда удавалось. Огольцы из пролетарских трущоб в соседнем Бутиковском переулке терроризировали меня. Только в середине 30-х годов, когда террором занялось государство и стали хватать студентов, — я принял вызов и бросил лозунг: «лучше три года сидеть, чем всю жизнь дрожать».

Три года давали без суда, решением Особого совещания. В лагерях шутили: «За что сидишь?» — «Ни за что». — «Врешь, ни за что дают три года, а у тебя десять». Потом цифры сменились. Ни за что давали пять, десять — и даже двадцать пять оказалось ничем, когда началась реабилитация. Но реабилитация — через двадцать лет. А в середине 1937-го исчезли анекдоты. И вдруг всю Москву облетел диалог: «Как живете?» — «Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся». Это летало по столице, как голубь мира с оливковой веткой в зубах: «Как живете?» — «Живем, живем, живем!».

Я оценил анекдот как начало конца террора, дошедшего до безумия. Больше напугать нельзя, рождается мужество отчаяния, веселое мужество висельников. И впрямь, скоро Ежова сняли. Лаврентий Павлович Берия распустил несколько тысяч осужденных, в том числе моего приятеля Юру Лесскиса, осужденного по суду — с добросовестными показаниями свидетелей, слышавших его дерзкие слова. Лаврентию Павловичу плевать было на юридические формальности. Важно было, что Юра — мальчишка, студентка, беспартийное ничто, даже не родственник делегата XVII съезда, вычеркнувшего фамилию Сталина при тайном голосовании. Зато Ольгу Григорьевну Шатуновскую не выпустили, несмотря на хлопоты Микояна: она слышала, что Берия был двойным агентом и Киров послал из Тифлиса в Баку телеграмму: Берию расстрелять!

Анализируя свое поведение, я нахожу, что переход от робости к дерзости был вызван внутренним скачком, далеким от политики. Началось это в 15 или 16 лет; листая учебник тригонометрии, я обратил внимание на тангенсоиду, ныряющую из бесконечности в ничто и из ничто взлетающую вверх. Прodelать это с вышки в воду я никогда не решался, я не доверял своим рукам и ногам. Но другое дело — ум. Ум

мой принимал формулу $p : \wedge = 0$ как смертный приговор. Но приговор действителен только для конечных величин. И вот вопрос: конечен ли человек? Вроде бы да: бытие определяет сознание. Переменим бытие — и человек переменится. $4 : 2 = 2$, $p : \wedge = 0$.

А вдруг точность наук — только практическая условность? И вселенная не началась 12 миллиардов лет тому назад? Додумать все это в мои 16 лет я не мог. И через несколько дней решил, что проблема слишком трудна для школьника, но я ее непременно буду решать и решу когда-нибудь. Сознание великой задачи, дремлющей во мне, стало частью моей дерзости. Я думаю, что всякое мужество связано с сознанием своей силы. Физической, или нравственной, или еще какой-то, но силы.

И вот прошло четыре года. Страна двигалась от одного показательного процесса к другому, а я от проблемы к проблеме. Одной из них было мое несовершенство. Оно мучило меня с детства. Мои родители были выходцы из Польши, неуверенно чувствовавшие себя в Москве. Никакого твердого образца взрослого перед моими глазами не было. Я должен был сам для себя все решить. Особенно обострился кризис, когда мама уехала в Киев, играть в тамошнем театре. Папа, заваленный растущей советской отчетностью, брал часть работы на дом и стучал до ночи костяшками счетов. Ничем он не мог мне помочь. Газеты были полны достижениями, а Галя, домашняя работница, плакала после каждого письма с Украины. Потом она ушла на завод, там давали больше хлеба — на сушку сухарей для родных. А между тем в этот голодный быт врывались герои Толстого, Шекспира, Стендаля. Нам задали писать сочинение «Кем быть?», то есть какую профессию выбрать. А в моем уме этот вопрос преобразился, стал другим, приблизился к гамлетовскому: «быть или не быть», по какой дороге я смогу набрать впечатлений, из которых сложится моя личность. Пока ее нет. И я закончил школьное сочинение фразой, возмущившей учителя: «Я хочу быть самим собой». Это был первый шаг вон из сознания капли, льющейся вместе с массами.

И вдруг я вернулся к вопросу, вылезшему передо мной из учебника тригонометрии: где мое место во вселенной? что я значу в мире? — мучившему Тютчева (природа знать не знает о былом...), мучившему Толстого, готового застрелиться, но не согласного с признанием своей ограниченности; мучившему Достоевского в «Подполье»: «дважды два пять — тоже премиленькая иногда вещичка.»

В двадцать лет я почувствовал рост силы своего ума и решил не отступать перед «арзамасским страхом» Толстого, решил штурмовать его «Записки сумасшедшего». Я понимал, что логическими выкладками нельзя создать внутренний противовес бесконечности пространства, времени и материи. Надо было бросить вызов собственной глубине и повторять этот вызов, пока глубина не откликнется и не раскроет *своей* бесконечности. Как — я не знал. Но вызов, наподобие дзэнского коана, я

сформулировал и повторял его три месяца, вплоть до ослабленного подобия дзэнского сатори, озарения, на котором я остановился, наивно предполагая, что достиг цели.

Разумеется, таких слов, как «коан» и «сатори», я не знал. Прочел впервые в статье Кестлера через двадцать лет. В это время мой путь вглубь себя уже определился, скорее в подобию бхакти, чем дзэн. Но дзэн дразнил и подталкивал меня, когда годы странствий кончились и наступил покой созерцания. А в 38-39-м учебном году меня подталкивали парадоксы «Подполья». Кончив чтение Достоевского «Подпольем», я стал возвращаться от него то к Ивану Карамазову, то к Кириллову, то к Хромоножке...

В школе я остановился, признавшись самому себе, что «бунт» Ивана Карамазова понимаю, а «Легенду о великом инквизиторе» — нет, не могу понять и отложил всего Достоевского, как тангенсоиду. И вот теперь мне показалось, что я на пороге великого понимания, а предисловие к анализу «Подполья» разрасталось, отодвигало на задний план сравнение Достоевского с Толстым, становилось исповеданием веры в величайшего русского писателя (оно так и было озаглавлено: «Величайший русский писатель»).

Руководитель семинара, Глаголев, напоминал мне, что писали о Достоевском Горький, Ленин. И я в ответ объяснял, что Горький и Ленин ошибались. Сегодня это банальность, но тогда — скандал. Работа была вынесена для обсуждения на кафедре и осуждена как антимарксистская. Я вышел с заседания кафедры, хлопнув дверью. Весной 1939 г. это сошло мне с рук. Тогда разлилась усталость от Большого террора, и администрация ограничилась мерой кротости: установлением тайного надзора и тайным же приказом срезать при экзамене в аспирантуру.

Однако одновременно открылась другая дверь, на Олимп, до которого я мгновенно дорос, хлопнув дверью кафедры. До этого хлопка мое одиночество делили только импрессионисты, молчаливо висевшие на стенах пустых зал — почти без зрителей — в Музее новой западной живописи. Каждую неделю я приходил туда и проделывал обряд очищения, созерцая полотна Ренуара, Моне, Сислея, Марке, Писарро, Сезанна, Ван Гога, Пикассо (розового и голубого). И на два часа я уходил от мерзости, разлитой в умах москвичей, от комсомольских собраний, навешивавших ярлыки «потеря бдительности» и «притупление бдительности» в память родственников, исчезнувших за железными воротами ГПУ. Ярлыки незримо прилипли к спинам примерно трети студентов, и иногда по этим бубновым тузам стреляли новым ордером на арест. Эта угроза висела над каждым. И только небольшая группа преподавателей была ограждена незримым табу.

Впоследствии их называли «течением Лукача—Лифшица». Лукач, плохо владевший русским языком, в дискуссиях не участвовал, но

Лифшиц и его ученики, начиная с 1934 г., вели свободную дискуссию с теми, кого стали называть вульгарными социологами. И по незримому распоряжению на три статьи Лифшица печаталась в ответ одна статья Нусинова, сторонника старой школы.

Секрет заключался в том, что к власти в Германии пришел Гитлер, и коммунистам пришлось искать союза со всеми противниками фашизма. Сталин понимал, что создание идеологии народного фронта (вроде того, который на короткое время победил в Испании) — не его ремесло, и он разрешил Лукачу, бежавшему от Гитлера, создать в Москве свою школу. К 1939 г. Мавр уже сделал свое дело, и схоластика народности, разработанная Лифшицом, была советскому руководству ни к чему. Фадеев, оскорбленный пренебрежительным отношением к его творчеству, уже точил оружие для разгрома «течения». И разгром уже готовился, когда я вошел в число «теченцев».

Помню доклад Лифшица о народности, длившийся шесть часов. Лифшиц различал непосредственную народность Тараса Шевченко, народность Некрасова, порвавшего со своим классом, народность Пушкина и раннего Толстого, сохранивших дворянское сознание, но сочувствовавших народу.. Но куда девать Тютчева? Лифшиц понимал, что философская лирика Тютчева народу непонятна, но когда-нибудь народ ее поймет, и тогда Тютчев *станет* народным. Уходя из большой аудитории в толпе студентов, Ефим Глухой, не понимавший Тютчева, кричал, что теперь он перестал что бы то ни было понимать. И, вероятно, то же думали сотрудники идеологического отдела ЦК, но молчали — и заказывали брошюры попроще. В студенческих кругах эти наспех испеченные странички называли «изнародованием». По своей простоте, подобной мычанию, брошюрная народность мало отличалась от бывшей идеологии классово-борьбы и будущей идеологии русской национальной идеи.

Зимой 1939—40 гг. была организована еще одна дискуссия. На этот раз печатали три статьи противников «течения» и одну — ее сторонников. Среди сторонников были два блестящих лектора — Леонид Ефимович Пинский и Владимир Романович Гриб. Студенты с восторгом шли за ними. Лифшиц был уверен, что его идеи рано или поздно победят. Пинский ожидал репрессий, но не отказался от защиты своих позиций. «Нас называют течением, — сказал он (я запомнил эту фразу). — Но что противостоит течению? — болото». Студенты яростно аплодировали. Положение спас Кеменов, примыкавший к «течению» и руководивший Обществом культурных связей с заграницей. Он имел доступ к Молотову и убедил его, что разгромное постановление будет иметь нежелательные международные последствия. Видимо поэтому постановление не было опубликовано. Формально все остались при своих. Но магическая сила оставила Лифшица... Все это произошло через полгода после моего

хлопка дверью кафедры и за несколько месяцев до войны.

На другой день после скандала на кафедре я подошел к Пинскому, преподававшему западную литературу на моем русском отделении, и попросил высказать свое мнение о моей курсовой работе. Пинский сразу прочел текст и передал его своему другу, Владимиру Романовичу Грибу (преподававшему западную литературу западникам). Остальное мне рассказала Лиля Лунгина в коридоре купейного вагона Москва — Феодосия, примерно в конце 70-х годов (мы ехали в Коктебель): Гриб прочел текст ночью и в пять часов утра пришел с Поварской на Усачевку просить Пинского подарить меня в ученики. Пинский согласился и при следующей встрече со мной сказал, что работа понравилась и моим научным руководителем будет Гриб, с полузападной темой «Бальзак и Достоевский». Бальзак — это понятно, чтобы обсуждать у западников. Но почему Гриб, а не Пинский? Я не решился спросить²⁴.

Гриб пригласил к себе на Поварскую знакомиться. Там во дворе собралось несколько человек праздновать окончание учебного года. Гриб опаздывал и опаздывала аспирантка русской кафедры Сусанна Альтерман. Дважды кто-то спрашивал: где Сусанна? И кто-нибудь отвечал: Сусанна ждет старцев. Тогда все смеялись, а я хлопал ушами. Потом Пинский мне объяснил, что Сусанна и старцы — из Мандельштама. Наконец, все собрались, пришел Гриб, но заниматься со мной было поздно, и меня просто пригласили в ресторан вместе со всеми. Я оказался за столом между двумя богами студентов, Пинским и Грибом, единственным студентом в их кругу, и чувствовал себя Ганимедом, вознесенным на Олимп.

Потом, в следующем академическом году, начались встречи с Грибом, оборванные его болезнью и смертью. Очень ранней смертью — в 32 года. В сущности, все «течение Лукача — Лифшица» было молодым, кроме самого Лукача. Разница между мной (мне было двадцать два) и Пинским, тридцатичетырехлетним доцентом, постепенно сглаживалась. Еще меньшим был разрыв в возрасте с аспирантом Ремой Янке-левичем, ярко одаренным юношей, на выступления которого я приходил. К сожалению, помню только, что его любимым поэтом был Осип Мандельштам. Рема погиб на войне, корректируя огонь батареи. Последними его словами был смертельный приказ: «огонь по НП!». Этим упоминанием я отдаю последний долг юношам, не успевшим иначе оставить по себе память.

К счастью, о трех состоявшихся беседах с Владимиром Романовичем Грибом я могу сказать гораздо больше. Гриб недаром выбрал меня в

²⁴ Когда Лиля Лунгина наговаривала «Подстрочник», со времени нашего разговора в вагоне прошло 10, или 15, или 20 лет. Кое-что забылось и спуталось. Сохранилось сочувственное отношение к нам всем троим, но кто где учился, кто с кем был знаком и кто что кому передал — изложено неверно.

ученики. У него был особый талант, не находивший себе применения. Платон назвал этот дар маевтикой, акушерством, помощью при рождении истины. Сегодня можно было бы назвать этот дар навигатором, прибором, подсказывающим водителю — где и как свернуть. Тему «Бальзак и Достоевский» мы ни разу не затрагивали. Гриб задавал мне вопросы, касавшиеся Достоевского, и дальше только слушал, поразительно чутко слушал, одним словом или жестом показывая, что я соскользнул на поверхность, потерял глубину. И я мгновенно понимал, что он прав, и тут же находил лучший ход мысли.

Два часа мы не выходили из глубины. Оказавшись на улице, я еще чувствовал себя озаренным, но быстро глупел. Прошло много лет, пока я встретил Зинаиду Александровну и мы научились быть друг для друга навигаторами. Других подобных встреч у меня не было. Пинский поразительно глубоко вчитывался в текст и потом ясно раскрывал его внутреннюю структуру, но в беседе он был захвачен собственной страстной мыслью. Сократовского дара у него не было. Смерть Гриба была огромной потерей для островка живой мысли, уцелевшей после террора.

Между тем, надвигалась война. 16 октября 1941 г., когда последний, вяземский заслон был сломлен, Пинский мне позвонил, что уходит в ополчение. Нельзя было сдавать Москву без боя. Я ответил, что иду тоже. В одном отделении, под командой сержанта Сорокина, собрались Пинский, я и еще два ученика Пинского. Через месяц Пинского демобилизовали. Назло Геббельсу, надо было создать видимость работы Московского университета, объявленного разрушенным. Собрали группу девушек-студенток, и Пинский их обучал и руководил ими на разных чрезвычайных работах. Возвращаясь из эвакогоспиталя на фронт, я побывал у него и несколько часов рассказывал, как на самом деле выглядит война.

Остается теперь рассказать, как я прошел через опыт войны. Но об этом уже многое было написано и напечатано в «Записках гадкого утенка». Попробую повернуть военный опыт с новой стороны, сквозь пушкинский «Гимн чуме». Я много раз вспоминал его тогда наизусть:

Есть упоение в бою И
бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит Для
сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья

Их обрести и вести мог...

Это всё правда, но неполная правда. В устном повторе я незаметно для самого себя заменил «упоение» другим словом — «вдохновение». Почему я это сделал? Потому что опыт войны подсказал, что упоение слишком часто ведет к хмелю. В бою нужно именно вдохновение, когда сердечный жар сливается с напряженной работой мысли. Покажу это на ничтожном примере, к которому я уже несколько раз возвращался и каждый раз находил в нем новые оттенки.

В октябре 1943 г. наша дивизия прорывала линию Вотана. Удалось это только с третьей попытки, когда исходный рубеж придвинулся к немецкой укрепленной полосе почти вплотную. На этот раз прошли все три линии обороны, в том числе третью, недостроенную. Немцы зацепились за хаты большого села Калиновка, дававшие укрытие от прицельного огня артиллерии. Настроение на нашей стороне было праздничное. И когда пехота поднялась из овражка, где скапливалась, я не удержался и побежал вместе со стрелками. У меня на глазах двое солдат были убиты. Но «всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья», вызывает чувство полета над страхом. Немцы с околицы отошли вглубь села. «Трофейные солдаты», как мы их называли, жители Донбасса, наспех мобилизованные и полуобученные, тотчас рассыпались по хатам. Я тоже заглянул в одну или две хаты, но там ничего интересного не было, — и вернулся на исходный рубеж, к артиллерийским наблюдателям, с которыми был шапочно знаком.

Вдруг раздались выстрелы, и стрелки побежали обратно. Артиллерийские офицеры вскочили и стали их удерживать и укладывать в прикрытие. Я им помогал. Потом показалась немецкая цепь. Артиллеристы немедленно повернулись к своим телефонам, и я остался один. Для авторитетности я отпустил на перевязку мальчика, слегка поцарапанного и сильно испуганного, отобрал у него автомат и время от времени постреливал поверх голов, когда бежала целая группа.

Я хорошо знал огневые средства дивизии и не сомневался, что немцев остановят. Но наблюдателям легче работать, когда они видят перед собой прикрытие. Хотя на самом деле они, артиллеристы, прикрывали своим огнем не уверенных в себе стрелков. И я немного прибавлял им уверенности, расхаживая по цепи и явно не собираясь залечь, когда свистнет пуля. Немцы вскоре залегли, и в наступившем затишье я переговорил со всем своим маленьким войском (человек 20—25). Оказалось, что это толпа, сложившаяся из разных смешавшихся подразделений, и патронов у них не густо. Что дальше делать, я не знал. Но тут подбежал связной и, увидев издали меня, торчавшего на правом фланге, ближнем к НП командира дивизии, произвел меня мысленно в офицеры и в командира всей цепи, сложившийся по линии НП ар-

тиллеристов. Он назвал меня лейтенантом и передал: переходить в наступление. Надо было подумать, как сдвинуть с места всю линию.

Телефонной связи или связных у меня не было. Оставалось показать пример. Я скомандовал «вперед», с некоторыми ободряющими словами, а пробежав метров пятьдесят — «ложись!»! Оглянулся — цепь двинулась. Когда она сравнялась со мной, я повторил тот же маневр. Но входит ли в село? Опять повторится то, что было утром, и немцы нас снова вышибут. И я решил остановить движение в 100—150 м. от околицы. Будем ждать в полутьме кухонь. Немцы ночью не воюют. Около кухонь лейтенанты найдут своих солдат, солдаты — своих лейтенантов, а там и брочки с патронами подойдут. И на рассвете, опередив немцев, бросимся вперед, с пальбой, с криками «ура!»... Там видно будет, что получится. Может быть, у немцев вообще был приказ отступить.

Мой план нарушил майор Токушев, первый зам. начальника штаба дивизии. Он прибежал, сбросив для скорости шинель, в мундире, блестя орденами. Увидев меня, с удивлением назвал меня по фамилии и спросил, почему я остановил наступление. Я объяснил. Токушев внимательно меня выслушал, вздохнул и сказал: ничего не поделаешь, сообщили в Москву, что село взято. Я почувствовал взрыв негодования: значит, надо было повторить ту бессмыслицу, которая была в полдень. Но делать нечего. «Вперед, ура!» — и через пять минут мы с Токушевым остались одни. «Ну вот, воюйте теперь, т. майор, а я пойду собирать материал для газеты». И до сего дня вспоминаю эту фразу с чувством недовольства собой.

Я в то время еще оставался рядовым, прикомандированным к редакции из-за хромоты, сохранявшейся полгода после выхода из эвакуогоспиталя. Прошло полгода, штатный литсотрудник погиб 9-го или 10 января 1943 г., редактор обещал оформить меня на эту должность и обманул. Он меня невзлюбил, но не мог от меня отделаться, и я делал то, что хотел. Мне удалось выстроить пространство свободы на передовых позициях, в зоне действительного артиллерийского огня и ружейно-пулеметного огня, куда редактор никогда не совался, где я никому не подчинялся и писал то, что мне казалось нужным, а в редакцию приходил раз в две недели помыться в бане и выслушивать «ценные указания».

Весной 1944-го, когда отношения в редакции очередной раз напряглись, я зашел в политотдел и подал рапорт с просьбой направить комсоргом стрелкового батальона. Вакансии там всегда были: более четырех месяцев комсорги не оставались в строю. Через полчаса я получил назначение, через два месяца звание младшего лейтенанта и еще через два месяца ранение, не причинившее большого вреда и открывшее мне вакансию штатного сотрудника дивизионной газеты (занятие, бывшее мне больше по сердцу, чем обязанности комсорга и парторга).

Однако вернемся в тот октябрьский вечер, когда я простился с

Токушевым. Утром произошло все, что я предвидел, Токушев пытался остановить бегство и был убит. Мне до сих пор совестно, что я не предложил пойти от него к командиру дивизии и объяснить, что один Токушев не сделает трофейных солдат закаленными бойцами и надо придумать что-то еще.

В эту ночь, однако, Токушев был жив, а я — доволен собой. Двинувшись по полю вдоль села, я натолкнулся на КП одного из батальонов, где всех знал, и сел с офицерами ужинать.

«— Почему, — спросил я их, — вы сидите в поле, а не переносите КП в село?»

— Там немцы!

— Ничего подобного, — возразил я. — Мы только что взяли село. Немцы отошли».

За час до этого я понимал, что немцы, возможно, отошли только до середины села, и если у них нет приказа отступить, то на рассвете они опять атакуют трофейных солдат и опять вышибут (что и случилось; Калиновку брали шесть раз и взяли только тогда, когда командир дивизии нашел нестандартный ход: бросил в стрелковую цепь пушки). Но меня уже захватила хмель победы. И волна этого хмеля заразила моих собеседников. Один из офицеров взял с собой двух связистов, и мы пошли выбирать место для нового КП.

В селе царил мертвая тишина. Капитан, пошедший на авантюру без размышлений, несколько протрезвел и спросил, сколько у меня патронов. «Ни одного, — ответил я, — пустой диск». «У меня только пистолет», — сказал он. — А у вас?» — спросил он у связистов. «Вы же знаете, — ответил один из них. — Таская катушки, мы патронов не берем. Только в винтовке — четыре штуки». «Итак, у нас шестнадцать патронов на четырех, по четыре на брата», — подсчитал капитан. Подумав немного, он добавил: «если наткнемся на немцев, я крикну вперед, за мной, — и мы побежим назад».

Не буду подробно описывать дальнейшего. Мы наткнулись сперва на передний край соседнего полка; весь этот край, человек сорок, вместе со своим младшим лейтенантом, собрался у большого костра, не выставив никакой охраны. Потом на нас наткнулась немецкая разведка. Капитан скомандовал «вперед» и побежал — но на запад. Я привык ориентироваться по звездам и пытался остановить его, но не мог догнать, остановился, рядом со мной оказался один из связистов, легко раненный в ногу осколком гранаты. Я велел раненому идти за мной, и мы благополучно вышли. Через несколько дней увидел резвоногого капитана и спросил его, где второй связист. Он не знал. Пропал без вести...

Теперь умножим этот эпизод на миллион (или несколько миллионов) и получим широкую картину перехода от вдохновения к упоению, от упоения к хмелю и от хмеля — к похмелью. Года два тому назад я, как

ветеран Сталинградской битвы, получил циркулярное письмо, где разъянялось, как немцы оказались на Волге. Маршал Шапошников, тогдашний начальник генерального штаба, весной 1942 г. предлагал перейти к стратегической обороне. Всеми рубцами на моей шкуре я могу подтвердить, что он был прав. С февраля засияло солнце, и немецкая авиация царила в воздухе. Наступать мы могли только ночью, но это годилось нам, добровольцам, не расположенным сдаваться в плен. Остальные были ненадежны. А дневные бои становились мясорубкой. Единогласный приговор раненых, с которыми я говорил в госпитале: не война, а одно убийство. Шапошников предлагал это убийство прекратить, но Сталин снял его с поста и приказывал: наступать, наступать, наступать. Катастрофа на северо-западе, когда Власов попал в плен, не отрезвила Сталина, он продолжал свое, до окружения и разгрома большой группировки под Харьковом и выхода немцев на оперативной простор.

И тут хмель ударил в голову Гитлеру. Он отправил группу армий Клейста на Кавказ, а чудовищно растянувшийся восточный фронт укомплектовал армиями своих союзников. Пока немцы шли вперед, румыны и итальянцы тоже шли вперед, заполняя пустое пространство.

А когда немцы уперлись в Волгу и застряли в городских боях, румыны тоже остановились и не беспокоили советское командование, дав ему подходящее время и подходящую обстановку для подготовки контрудара. И на подходящем материале советские войска стали учиться прорывать фронт. Потом эта идея была широко тиражирована в армейской прессе: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Я на себе почувствовал этот перелом. И хотя ни в какой школе не учился, сносно провел бой под Калиновкой.

Теперь попробуем еще шире обобщить этот опыт. Всякая победа несет в себе опасность перехода от вдохновения к упоению, от упоения к хмелю и к похмелью. И тотчас победа становится пирровой, разрушительной для победителя. А поражение (бывает и так) несет в себе возможность отбросить устарелые приемы, реформировать устаревшие учреждения, обновиться, возродиться. «Разбитые армии хорошо учатся». И разбитые державы также становятся сильнее. Поражение в Крымской войне 1854—56 годов было благотворно для России. Япония и Германия окунулись в разгром — и воскресли. А Россия, к сожалению, не удержалась на мудрости 1943-го года и уже в 1944-м упивалась своими победами, действительными и мнимыми: «русские прусских всегда бивали, наши войска в Берлине бивали»... В итоге, хмель и спесь до сих пор бродят в русских жилах.

Весь путь Сталина, после установления его единодержавия, — ряд пирровых побед. Победа над крестьянством смертельно ранила сельское хозяйство. Победа над армией лишила генералов политической воли — но заодно и военных талантов. Все полководцы, выдвинувшиеся в 1941—45

годах, были избраны не Сталиным. И оружие, победившее на войне, было спроектировано в сталинских тюрьмах. Тоталитарные режимы ни в чем не знают меры. Они борются за всемирную власть, создают рыхлые империи и сеют семена развала. Они втягивают в факторы войны страны, народы, отрасли культуры, чуждые войне — и вдруг решающие исход войны. Когда немцы водрузили свой флаг на Эльбрусе, Эйнштейн пошел к Рузвельту и убедил его создать атомную бомбу. Бомба в конце концов досталась Японии, и самураи вынуждены были капитулировать перед группой физиков—эмигрантов во главе с Оппенгеймером. И только готовность Сталина, не считаясь ни с какими потерями, обескровив Россию, выйти на Эльбу, позволила сокрушить Гитлера без атомного оружия. Я уже писал, что Гитлер — не Хирохито, он не сдался бы от двух бомб, и Германия, а может быть и вся Европа, покрылась бы смертоносным пеплом.

Попробуем теперь обобщить, к чему ведет хмель победы. Этот список, к сожалению, открыт. Атомная смерть — фактор, которого не знали в XIX в., и мы, наверное, не все знаем. Но перечислим классический ряд бедствий.

Первая функция хмеля — та, которую я лично пережил, неудержимая тяга к авантюрам.

Вторая функция — порывы жестокости. Атакующая русская пехота, ворвавшись в окопы противника, редко брала в плен. В первые минуты — убивала. Потом, если немец прикинулся мертвым и через полчаса поднял голову, он спасен. Это бытовой случай. Хуже другой, обдуманно холодный. Гарнизон Сталинграда, сдавшийся в плен, гнали форсированным маршем и отстававших пристреливали. Прекратили убийство корреспонденты газет, доложившие об этом командованию.

Третья функция — превращение женщин в военный трофей. Приведу только один случай. Подполковник Товмасян, начальник политотдела 61-й дивизии, завел партийное дело на командующего артиллерией (фамилию забыл), руководившего коллективным изнасилованием. Политотдел армии приказал дело прекратить, документы сжечь, а полковника, командующего артиллерией, тем же чином перевели в другую дивизию. Товмасян был белой вороной. При Хрущеве он стал секретарем ЦК Армении и послом во Вьетнаме. Поведение политотдела армии было обыденным фактом. Число насилий подсчитано немцами. Шестизначная цифра вошла в историю.

Из Берлина нас вытурили в Судеты, и я, бродя по Судетским холмам, вспоминал «Торжество победителей» Шиллера и пытался свести концы с концами. На уровне героев Гомера все было в порядке. Но куда исчезли три тысячелетия? И что осталось от идеологии, с которой я начал войну?

Через пару недель массовый хмель улегся. Заработал юридический механизм. За немку давали пять лет, за чешку десять. Но как стереть след

разгула? Глядя на разглаженную униформу с белыми подворотничками, я в иные мгновения чувствовал под ними шкуру носорога (из пьесы Ионеско). Чувство отворачивания прочно смешалось с чувством победы. Это прорвалось в моих заявлениях о демобилизации и определило мою судьбу на ближайшие десять лет. Опускаю эти годы и перейду к самому значительному в последующей мирной жизни.

За свои дерзкие заявления я был исключен из партии. Это загнало меня в тупик. К любимым моим занятиям с волчьим билетом не допускали. Я терял себя, апеллировал, с внутренним разладом писал необходимые бумаги и ждал ареста. Когда за мной пришли, я почти обрадовался: межумочное положение кончилось, лагерь — одна из «разрешенных орбит» электрона в модели атома, одно из обычных мест для интеллигента сталинских времен. Лагерь дал мне белые ночи, морозную тьму, в которую два меломана (одним из них был я) ходили между бараками, слушая Пятую или Шестую симфонию Чайковского (музыка хорошо проходила через рупора в крепкие морозы)... И, наконец, я нашел дружеский круг, где царил свобода слова, невысказанная на воле. В этом кругу я впервые осознал, что стремление быть первым — болезнь, и одним резким рывком выбрал себе второе место. Моим образом истины стал диалог.

Выйдя по амнистии 1953 года, я не получил московской прописки и поехал работать учителем в станицу Шкуринскую, Краснодарского края. Я узнал ее страшную историю в начале 30-х и научился просто излагать свои мысли, ту часть моих мыслей, которую ученики могли вместить. Наконец, после XX съезда пришла реабилитация, и я вернулся в Москву.

Здесь уже собрался весь лагерный круг, и продолжились лагерные разговоры. И здесь я надеялся встретить то, чего не хватало всю жизнь. В конце лагерного срока я встретил девушку, из которой мое воображение, искавшее идеала, создало свой идеал. Этот идеал то воплощался при коротких встречах, то уходил в письма. Но увидев лагерный призрак в обычном кружке друзей, я почувствовал, что мне там скучно. И на обратном пути написал прощальное письмо. Остался только след в сердце, ни к кому не относившийся, тлеющий во мне белый огонь, ждавший, кого он вдруг зажжет и вспыхнет снова во мне. На этом кончились мои годы странствий.

В Москве ко мне пришла большая любовь. Та самая, которую я терпеливо ждал, решительно отказавшись размениваться на мелочи. Задним числом я понял, что мне для соединения с женщиной нужен ее духовный мир и, соединяясь со всем этим миром, я признаю женщину королевой этого мира. В августе 1956 г. это произошло почти против моей воли.

Незадолго до всех событий я узнал, что семья Мелетинского, казавшаяся идеальной, внутренне разрушена, что супругов мучает скелет в

шкафу, к которому и прикоснуться нельзя, и освободиться невозможно. И Мелетинский уезжает в отпуск один, чтобы отдохнуть от своей жены. Я вспоминаю развод своих родителей — что тогда папа говорил о маме! — а потом писал ей дружеские письма...

Уезжая один, Мелетинский сознавал, что оставляет одну, в пустой квартире, больную женщину, у которой всякий подступ к скелету рождал новую каверну, и попросил меня чаще навещать ее. Ира с неожиданной горячностью поддержала его. Потом я узнал, что она боялась тени свекрови в углах. Я обещал приходить день через день и первую неделю строго это выполнял, во вторую стал приходить каждый день, а в третью просыпался в пять утра и думал, когда вернется мой друг, чтобы объясниться с ним.

В эти годы марксизм в нашем кругу оставался отдельными клочьями, новое, религиозное мирозерцание еще не сложилось, и Серебряный век занял пустое место. Ира, хранившая в сердце и в блокнотах тысячи строк, вышедших из запрета и забвения, была воплощением поэзии в наш обесцвеченный век. Обычно она читала сдержанно, как на лекции, но потребность высказаться — может быть, в последние месяцы жизни — захватила ее полностью, и она читала, словно собственные признания, стихи Ахматовой:

Мне зрительницей быть не удавалось,
И я всегда нечаянно вторгалась В
запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга И
многих безутешная вдова.

Переведите это в прозу — и может оттолкнуть. Но в стихах Ахматовой я чувствую правду. И Цветаева меня чарует. За роковые три недели Ира ни разу не подкрасила посиневших губ, выглядела скверно, одета была в балахоне, в котором красила морилкой мебель, но в чтении она преображалась. Но я нетерпеливо ждал своего друга, чтобы снять с него груз, ставший моим счастьем.

Дождаться мне не удалось. Книга — антология лирики 20-х годов — выпала из рук, и вспомнился стих Данте, в 5-й песни Ада: «больше мы в тот день не читали». В музыке это пытался передать Чайковский.

Потом был ад ломавшихся жизненных связей, сплетни чертей, чистилище отношений в новой, не сложившейся семье, и только к весне все устроилось с жилплощадью в трех разных точках: Володя в общежитии, Лёдик в подростковом сумбуре комнатки, доставшейся ему по обмену, и мы оставались с Ирой в моей наследственной конуре. В последний год этого счастья Ира говорила мне, что не будь она больна, я

не решился бы вторгаться в чужую жизнь, и она не жалеет, что рано умер: того, что у нас, она искала всю жизнь.

Но все висело на волоске. Мы оба много в жизни рисковали и любили риск. Мы оба согласились на предложенную ей операцию — резекцию части легкого, не принимавшей медикаментов. Операция была сделана, но какой-то тромб попал в сердце. <...>

Судьба снова повела меня неожиданными зигзагами.

В кругу, в котором мы жили, поэзия была священным писанием, и поэты — святыми. Травля Пастернака была для нас кощунством. И мы еще с Ирой решили попробовать, нельзя ли свергнуть эту кощунственную власть. С помощью Володи мы связались с одной из групп, искавших пути к прямому действию. Я объяснил ребятам, что надо дожидаться каких-то народных волнений и знать, что людям сказать, какие идеи могут повести за собой. А пока — обсуждать сами эти идеи. Но состав кружка был слабый, дискуссии выходили неинтересными. Время от времени выпирали самолюбие, надежды на политическую карьеру. Я хорошо помнил «Бесы» и приглядывался к росткам бесовщины. Впоследствии эта мысль была выражена в заглавии книги П.Г. Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс.». Может быть, не только крыс, но крысы там водятся, и лучше действовать открыто.

Я уже шел к этому, когда Лёдик, окончив школу и рыская по Москве в поисках интересной жизни, натолкнулся на кружок в квартире Алика Гинзбурга (будущего правозащитника). Кружок этот, или вернее широкий и постоянно расширяющийся круг, увлек Лёдика, и он посоветовал мне пойти туда. Познакомившись с Аликом, я сказал себе: яйца курицу учат. Молодое поколение свободно от страха и находит новые пути. Я буду помогать Алику искать для его «Синтаксиса» новые стихи, не пробившиеся через журнальную перестраховку.

Вскоре в «гинзбургятнике» оказалась Александра Исаевна Гулыга, переводчица, сохранившая в обиходе детское прозвище «Муха». Мы были шапочно знакомы по открытому дому Лунгиных. Сидевшая там в уголке Муха оживилась среди молодежи и предложила мне вместе поехать на станцию Отдых записать несколько стихотворений у больной женщины, с которой она дружила. Я сразу согласился и в воскресенье заехал в Красково к Мухе, потом вместе с ней на дачу Миркиных, километрах в двух от станции «Отдых». Там уже сидели три женщины, ждавшие чтения стихов. И сразу меня потрясло стихотворение «Бог кричал»²⁵

Никогда никакое стихотворение меня так не потрясло. Я требовал читать еще, еще. Я никого не дал накормить. Чтение длилось до двенадцати часов ночи. Стихи были неровные, иногда шероховатые, но следы духовного опыта поражали меня и не давали думать об обеде или ужине.

²⁵ Это стихотворение цитировалось и в других лекциях (см. с. 167—168, 462—463). — *Прим. ред.*

Моя воля всех покоряла, и все разъехались голодными. Но во мне жило чудо, и оно все оправдывало. Сумею ли я помочь чуду, стать критиком-другом, в чем-то повторить опыт Гриба со мной? Вот мысль, рождавшаяся во мне.

Через некоторое время Зина дала мне прочесть ее поэму «Таня». Я прочел и сказал, что там есть два прекрасных лирических монолога, а все остальное не годится. Зина подумала — и согласилась. Так шли наши занятия маевтикой. Они все больше и больше сближали нас, и я стал думать, что в конце концов, через год или два, могут совсем сблизить.

Но сближение произошло быстрее, чем я ожидал. Первого января мы шли по Сокольникам, на день рождения Лены, дочери Мухи. Присели на скамейку отдохнуть, и после какого-то стихотворения между нами мелькнула волна или искра. Пролетела и исчезла. Но в моем опыте это много значило. Я посмотрел на Зину; она даже не обернулась. Я тоже решил не облекать бессловесную волну в слова. Пусть поживет с чувством тайно совершившегося обручения. Впрочем, дома я написал «Пух одуванчика» — рассуждения о роли нежности в очеловечении обезьяны, своего рода свидетельство о нежности.

Через месяц Зина прочла вслух сказку «Фея Перели», где фея обсуждает с Паном, может ли она выйти замуж за смертного, Пан ее отговаривал, но на последних страницах смертный все-таки нашелся, и мы поцеловались. Через две недели сыграли скромную свадьбу, с одной бутылкой шампанского на восьмерых.

Наутро Зина прочла мне поэму Гумилева «Гондла», очень неровную, но с несколькими прекрасными стихами:

Все вы, сильны, красивы и прямы,
За горбатым пойдете, за мной,
Чтобы строить высокие храмы
Над грозящей очам крутизной...

Занятия маевтикой продолжались теперь в домашнем кругу, на слух, когда стихотворение только рождалось. Угол сердца, в котором жила тень Иры, оставался для меня священным (как и карточка на столе), но постепенно разрасталось другое пространство. Ира была язычницей, и через ее язычество и многое другое страсть выстраивала мосты. А Зинин духовный дар был скорее близок к мистическим ветвям мировых религий, находившим свое выражение в поэзии, обходя схоластические конструкции. Недаром она впоследствии переводила Тагора, Ибн ал Фарида, Ибн Араби и Рильке.

Занятия маевтикой постепенно развивало во мне самое новое чувство формы, в которой лирический всплеск приобретал логическую ясность мысли. Вчитываясь в Зинин текст, вылавливая в нем приблизительные слова, чтобы заменить их более точными, я входил в ритм, не

свойственный статьям, и весной 1962 г. рождаются куски какой-то новой, по крайней мере новой для меня самого, прозы — то, что можно назвать эссе. За первым эссе последовали второй, третий — и то, что я пишу сейчас, через 48 лет, — тоже эссе.

С этих пор началась новая маевтика, в которой поэт и критик, родственник поэту, водитель и навигатор, Гриб и его ученик постоянно меняются местами. Я на слух отличаю слова и строки, которые требуют доработки в стихотворении, а Зина на слух принимает, с какими-то поправками, мои эссе, или отвергает их, и тогда я подхожу к теме с какого-то нового конца.

Так жизнь привела меня к творческому созерцанию, рождающему подступы к истине в нашем сумбурном мире.

Запоздалая тень Победы

Праздник Победы подтолкнул меня еще раз обдумать современный парадокс: две побежденные страны, Германия и Япония, процветают. Россия, выигравшая войну ценой огромных жертв, никак не выйдет из инерции своих пирровых побед.

14.07.2010

Нечто подобное уже случалось когда-то, и греки связали роковую победу с именем Пирра, легендарного царя, который допобеждался до полного истощения своего царства. Случалось это и потом. В 1918 г. у немцев возникла поговорка: мы допобеждались насмерть. Владыки, блиставшие победами, не раз кончали крахом (Карл XII, Наполеон).

В истории войн известен и противоположный парадокс: «разбитые армии хорошо учатся». Можно немного расширить эту поговорку: хорошо учатся державы, потерпевшие поражения (если поражение толкнуло их на глубокие и плодотворные реформы). Можно вспомнить подходящие случаи и в истории России: позорное поражение у Нарвы вдохновило Петра I на создание нового, своеобразного типа армии, с основной массой солдат из крепостных крестьян, становившихся вольными после 25 лет службы. Эти солдаты побеждали наемные армии Европы довольно долго, пока поражение в Крымской войне не потребовало новых, более глубоких реформ. Если бы эти реформы продолжались, не было бы, вероятно, ни Февральской, ни Октябрьской революций. Трудно сказать, что здесь было роковым, но реформы были оборваны и развитие России пришло к саморазрушению.

Обобщая опыт России (на рубеже XVIII в. и в середине XIX в.), Германии и Японии (после 1945 г.), можно сказать, что поражения, даже катастрофические, бывают плодотворны, когда кладут конец отжившим традициям и начинают новую эпоху истории, развязывающую скрытые народные силы. Однако непременным условием является глубина общественного развития. Длительные войны, сливающиеся в одну череду, приводят к упадку и к потере своего места в кругу великих держав. И любой путь, продолженный по прямой линии, грозит саморазрушением. Плодотворен волновой ритм жизни. Плодотворно преобладание мира над войнами.

Одна из опасностей пирровых войн — то, что они ослепляют своим блеском. Многие люди до сих пор верят в победы Сталина; хотя чем дальше, тем труднее вырваться из тупиков, в которые завел Россию новый Пирр.

Для Сталина, сложившегося как политик в актах революционного террора и в Гражданской войне, нет мирного времени. Он решал по-военному все важнейшие социальные проблемы. И его путь — это ряд пирровых побед. Он победил крестьянство и загнал его в колхозное рабство, а в итоге — глубокий развал сельского хозяйства. Он создал в мирное время экономику военного времени, и во время войны она как-то работала, но мирного соревнования с другими системами не выдерживала. Он покорила себе партию, которую возглавил, и в результате она стала бесцветной, безмозглой, не способной выдвигать талантливых лидеров, не способной к творческим поворотам. Он разрушил традиции интеллигенции и в результате резко снизил ее нравственный уровень. Он поставил на колени армию, он расстрелял, вместе с массой других военачальников, Тухачевского, который в 20-е годы, вместе с Гудерианом, укрывшись в Поволжье, разрабатывал тактику танковых армий. А в 30-е годы, в статьях, которые я читал и запомнил, Тухачевский очень правдоподобно описал тактику войны, начавшейся через несколько лет. Танковые корпуса Германии действовали по этим правилам в Польше и Франции, а впоследствии и в России. Но в Красной армии в конце 30-х годов они были упразднены. Сталин, покончив с Тухачевским, отверг и его наследство. «Броневые ударные батальоны» были включены в состав стрелковых дивизий. Роль танков при этом снизилась до будущих самоходных орудий. Буквально накануне Отечественной войны реформу решили переиграть, и 22 июня застало советские танки в процессе незаконченного собирания батальонов — опять в корпуса.

Некоторые действия Сталина можно назвать просто самодурскими. Зачем он приказал взорвать укрепленные районы, несколько лет создававшиеся вдоль старой границы? Ради какой выгоды? Чтобы доказать Гитлеру свою искреннюю дружбу?

Во время «заклятой дружбы» были присоединены к Советскому Союзу несколько территорий, народы которых не хотели этого. Эстонцы, латыши, литовцы, западные украинцы, молдаване десятилетиями ждали независимости и в конце концов дождались своего. Выходя из Советского Союза, они потянули за собой и других.

Пожалуй, не укладывается ни в этот, ни в какой другой ряд только финская война. Она укрепила решение Гитлера покончить с Россией за два летних месяца. Поэтому Гитлер с абсурдной самоуверенностью не велел шить зимнее обмундирование, а Сталин с такой же самоуверенностью делал вывод, что наступательные боевые порядки у наших границ — только средство нажима накануне новых переговоров. И на-

чальника разведотдела, упорно твердившего свое, он велел расстрелять: пусть не раздражает главу партии, государства и всех Вооруженных сил... Но огромное число обмороженных в Финляндии заставило все же Сталина осознать реальность зимних морозов, и он с опозданием распорядился пошить теплую одежду для солдат и офицеров. Это распоряжение, данное задним числом, когда финская война кончалась и вовсе кончилась, вдруг оказалось решающим фактором зимой 1941—1942 года. Армия, потеряв танки и самолеты, но одетая по-зимнему, отогнала окоченевших немцев от ворот Москвы. Запоздалая предусмотрительность присоединилась к ряду задержек немцев на пути к Москве, к взрывам патриотизма при обороне городов-символов — и в совокупности все это сорвало блицкриг, и Гитлер был втянут в затяжную войну. Таким же просчетом Гитлера оказалась и Сталинградская битва, о чем разговор будет ниже.

Ход войны в решающем 1942-м году необъясним без понимания психологии битвы, которую я без всякой практической надобности несколько раз продумывал, занимаясь своими мемуарами. Кое-что я прочел, кое-что услышал, но основным моим материалом был очень скромный личный опыт. Мне кажется, что психология битвы и психология боя обладают некоторыми общими чертами. Вдохновение, в котором полет над страхом, полет над риском сплетается с напряженной работой мысли, легко вырождается. Победы вызывают восторг, и в нем тонет ряд факторов завтрашнего дня. Эти факторы только профессионалы удерживают в голове, а импровизаторы, втянутые в войну, легко забывают. И при совершенной несовместимости масштабов наступления батальона и наступления нескольких армий — есть нечто общее в непрофессионализме диктаторов и в непрофессионализме военного журналиста.

Кое-какие подробности можно найти в моих «Записках гадкого утенка». Но здесь я ограничусь схемой. После победы вдохновение боя распадается на части, упоение размывает разум, переходит в хмель. И хмель много раз кончался горьким похмельем. Сравнивая мой микроопыт с макроопытом 1942 г., я пришел к выводу, что по этой схеме развивались события и на большом фронте — от подступов к Ленинграду до Харькова. А если говорить о Сталине, то в его уме зимний хмель прочно заледенел, превратился в интеллектуальный штамп, в неподвижную идею.

Весной 1942 г. маршал Шапошников, тогдашний начальник Генерального штаба, предложил перейти к «стратегической обороне». Я узнал об этом из циркулярного письма, разосланного всем участникам Сталинградской битвы, года два тому назад. Слова «стратегическая оборона» многое мне сказали. Здесь и возможность отдельных наступательных операций, и отказ от втягиваний в частные успехи, и настойчивое сохранение глубины обороны и т. п. Что ответил на это Сталин? Он уволил Шапошникова и приказал продолжать зимнее на-

ступление! Хотя в течение теплого времени, пока не преодолено абсолютное господство противника в воздухе, наступление — это создание идеальных условий для немецкого контрнаступления и прорыва нашего фронта. Но Сталин опьянел от зимних побед. Он забыл о своем позорном предложении второго Брестского мира²⁶ и решил, что весна ему нипочем.

На Керченском полуострове, где окружение было невозможно, истончившийся фронт наступления был рассечен ударом в лоб. А дальше удержаться было не на чем. Наступательные боевые порядки не предполагают второго и третьего эшелонов. Мехлис, исполняя волю Сталина, давил на командующего, а после катастрофы принял вину на себя и молча переносил насмешки над Мехлисом Дюнкеркческим, намекавшие на разгром англичан в Дюнкерке. Сталин молча отблагодарил его: ограничился уменьшением звезд на погонах с трех до двух, а после войны верный слуга стал министром государственного контроля.

На Ленинградском направлении немцы окружили наши основные силы. Заместитель командующего фронта, генерал-лейтенант Власов, перелетел в центр окруженной группировки, перестроил ее и ударом изнутри прорвал окружение. Что ответил на это Сталин? Запретил выводить наши части из ловушки, приказал продолжать наступление. Это значило снова ослабить фланги, снова попасть в «котел», не иметь сил на второй прорыв — и в итоге плен.

На Харьковском направлении Гитлер, учитывая характер своего противника, симулировал отступление, втягивая массы советских войск в мешок. Этот маневр многим бросался в глаза, но Сталин их не слушал — пока мешок не захлопнулся, и ничего нельзя было исправить.

Тогда хмель победы овладел Гитлером, и он развернул наступление по двум расходящимся линиям — к Волге и на Кавказ. Могучий веер танков и самолетов ослепил мир. Стефан Цвейг пришел в отчаяние и покончил с собой; а Эйнштейн нарушил соглашение физиков и объяснил Рузвельту, какое значение атомная бомба может получить на войне. К лету 1945 г. бомба была готова. Таким образом, видимость неукротимого марша гитлеровских армий вызвала к жизни силы, способные уничтожить все армии.

Эта карта, однако, не была пущена в ход по своему назначению и только показана была миру в Хиросиме и Нагасаки. Гитлер был разбит без атомной бомбы. Его ошеломительные победы и без этого оказались пирровыми. Сказался второй парадокс войны: разбитые армии хорошо учатся. Заплатив миллионами жизней за свое обучение, Сталин понял наконец, как превратить свой грубый промах в «благодетельное поражение». Он приватизировал идею «стратегической обороны», только

²⁶ Предложение капитуляции было передано сотрудником Берии, Судоплатовым, болгарскому послу. Сталин предлагал уступить Украину немцам, если за ним оставят Москву. Гитлер не стал отвечать ему.

что отвергнутую, и избрал Сталинград как ключевую позицию своей стратегии.

Был, правда, миг, когда в душе Сталина снова победил страх, терзавший его в июне-июле 1941 г.: а вдруг немцы с ходу возьмут город его имени? С панической энергией он собрал несколько десятков пехотных дивизий (нашу 258-ю сперва выгрузили под Воронежем, но тут же погрузили снова и высадили из вагонов к северо-западу от Сталинграда); массы пехоты были брошены в пекло с задачей срезать танковый клин, отгородивший Сталинград с севера. При полном господстве противника в воздухе результат можно было предвидеть: ни одна дивизия не продвинулась больше чем на три километра, устланные трупами. Над степью долго висел трупный смрад.

Однако Сталинград продолжал держаться. Момент отчаяния в душе Сталина прошел. Вернулось устойчивое решение сделать оборону Сталинграда поворотным пунктом войны. Для этого приняты были меры, вряд ли приходившие в голову Шапошникову, чисто сталинские меры: запрет эвакуировать население. В воспоминаниях секретаря Сталинградского обкома приводятся слова Сталина по телефону: «Армия не защищает пустых городов». В этой фразе, цитированной и в книге Николая Рыбалкина «Тень родного города» (безусловно заслуживающей переиздания), учтен опыт Одессы, Севастополя, Ленинграда. Но в городах-героях население стихийно собиралось в местном центре - и оказывалось в блокаде. А в Сталинграде граждан сознательно не предупредили об опасности, использовали их гибель как толчок к вспышке патриотического воодушевления. Женщины и дети, погибающие на глазах солдат и офицеров, создавали тот взрыв патриотизма, который и в 1941 г. заставил немцев обходить очаги сопротивления и потом вести долгую осаду. Но Гитлер не хотел оставить Сталинград в стороне, ему нужен был поскорее символ победы. И его элитные части увязли в городе, растянувшимся на десятки километров вдоль Волги.

Оборона Сталинграда остановила весь фронт, напоминавший лоскутное одеяло. Немецкие части чередовались там с румынскими, итальянскими, испанскими... Пока немецкие части шли вперед, прочие охотно разделяли славу победителей. Но остановившееся или просто замедлившееся наступление создавало линию, в которой румыны и итальянцы оказались на направлении главного русского контрудара. Этого удара они не выдерживали, и после артиллерийской подготовки танки, изготовленные в Сибири, вышли на оперативный простор. Группа войск Паулюса была окружена. Лоскутный фронт превратился в кучу лохмотьев. А войска Клейста, ушедшие на Кавказ, оказались вне главной игры и вынуждены были отдать все свои завоевания. При чудовищно растянутом фронте чередование немецких и румынских, немецких и итальянских участков так же помогло советским войскам, как

маниакальная инерция зимних побед в голове Сталина помогла немцам прорвать русский фронт летом 1942 г.

Здесь, пожалуй, надо упомянуть и моральный фактор. Приказ № 227 — лучший образец красноречия, до которого смог подняться Сталин. «Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором...» Если разобрать приказ по косточкам, то это фальшивая риторика. Виновником сдачи Ростова был сам Сталин. После окружения главных сил, поставленных под удар его упорством наступать, наступать, наступать, — уцелевшие части не могли остановить немцев. Позиция, на которой можно было стоять насмерть, была только на берегу Волги. Мне кажется, что Сталин уже думал об этой позиции, когда писал о сдаче Ростова. И именно будущим сталинградцам был адресован лозунг, замыкавший приказ: «Ни шагу назад!».

В Сталинграде не было никаких возможностей маневра и приходилось стоять, как пешки на шахматной доске. Последние слова приказа могут быть названы законом пешек. Но игрок, ограничивший этим законом слонов, коней, ладей, ферзей, — наверняка проиграет партию. Как это выглядело на войне, я описал в «Записках гадкого утенка». В донских степях неожиданно сталкивались наши наступавшие и немецкие отступавшие части, сохранившие боеспособность. Здесь вступали в силу законы тактики, а приказ № 227 терял силу, которую он имел в Сталинграде и которую поддерживал приказ артиллерии левого берега стрелять по лодкам, на которых группы, сброшенные с кручи на береговую черту, пытались спастись.

Впрочем, никакого массового бегства из Сталинграда не было. Отдельные части, отрезанные друг от друга, продолжали отчаянно сопротивляться, и это мужество отчаяния было народной почвой, на которую опирались расчеты Генерального штаба. Все это описал Гроссман в романе «Жизнь и судьба». Гроссман прекрасно описал и то, чем кончилось стремительное движение на Запад: беспорядком и беспечностью. Бросив в бой новые танки, «тигры» и «пантеры», немцы отбили у нас несколько городов, но не сумели отбить курский плацдарм. И на этом сразу выдохлись.

Наступило затишье. И в затишье завершилось становление нового армейского сознания. День был заполнен рытьем окопов, разворачиванием одной сводной стрелковой роты в двадцать семь стрелковых рот и т. п. Гвардейские значки раздавались щедрой рукой. Но главное происходило в формировании духа бывалого солдата. Сотни газет повторяли лозунг, выхваченный из приказа № 227 и замечательно сформулированный в «Вольном слове Фомы Смыслова, русского бывалого солдата»: «Немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Я бродил взад и вперед по холмистому фронту и собирал рассказы бывалых солдат, сражавшихся в разных местах, но в газете «За Родину» сливавшиеся в

одну легенду нашей дивизии, со вчерашнего дня гвардейской. Это был звездный час прессы. Она находила слова для того, что само собой складывалась в умах ветеранов. И захватывало всех; единство капли, льющейся с массами, длилось недолго, но оно было.

Сталинградская битва сплела вместе несколько идей, сил, волей: Сталин, Сталинград, победа сплелись в один клубок. Сложился свой русский стиль удалой войны, без касок, без знания пароля и отзыва, беспечный и лихой, как в песне про Ермака, с легкой готовностью стать жертвой победы. Этот тип исчезал в одном, павшем, и возникал снова в другом. Я вспоминаю младшего лейтенанта Бараболкина с его восемью нашивками за ранения, нигде не успевшего получить очередное звание — и вдруг ставшего неуязвимым и за несколько месяцев до конца войны ставшего командиром батальона и Героем Советского Союза. Судя по статистике, большинству выпал другой жребий. Но к нему все были готовы.

А что созревало в сердце Сталина? Секретная инструкция о ссылке народов, заслуживших в его глазах свою кару. Идея эта зародилась еще до войны, она была высказана публично Берией, пригрозившим сослать поголовно всех чеченцев, если они не помогут потушить восстание Ибрагимова. Это было единственное народное восстание в ответ на Большой террор, оно упорно держалось в горных ущельях и, видимо, получало тайную поддержку у «мирных» чеченцев. Но выполнить угрозу не сразу удалось. Началась война. И когда немцы пришли на Кавказ, Ибрагимов послал своего друга Авторханова заключить союз с ними. Немцы пренебрежительно отнеслись к предложению кучки абреков, однако в историю вошел сам Авторханов. Он ушел на Запад, написал там замечательную книгу о борьбе Сталина с оппозицией и еще книгу воспоминаний, напечатанную в журнале «Октябрь». Предисловие к ней редакция предложила написать мне. Так я узнал, с чего все началось.

В месяцы великого затишья 1943 года Сталин вернулся к своей демонической идее и развернул ее в целый список штрафных народов. По рассказам Хрущева, великий вождь говаривал иногда, что и украинцев надо покарать за Бандеру, но их слишком много и приходится ограничиться малыми народами. А большие пусть учатся на этом: кошку бьют, невестке поветки дают. В конце инструкции была еще строка о евреях: не выдвигать на высшие должности и не награждать Звездой Героя Советского Союза. Отделы кадров сразу уловили здесь новый дух.

А что созревало в сердце Гитлера? Известно что: Холокост — жертва демонам, чтобы они даровали победу. Видимо, с надеждой на незримых союзников дан был приказ «тиграм» и «пантерам» обрушиться на курский плацдарм. Никаких хитростей Гитлер на этот раз не придумал, ничего похожего на уловки, подготовившие удар 22 июня 1941 года и удар, закрывший мешок на Харьковском направлении в 1942 г. По обе стороны

фронта скопились огромные силы, воодушевленные верой в победу: победу арийского духа, не разбавленного ничтожными союзниками, и победу испытанной славы сталинградской обороны. Это было последнее стратегическое наступление немецких армий. После Курской дуги у Гитлера осталась только надежда на «секретное оружие». Но во втором эшелоне танков, рвавших, не считаясь с потерями, линии обороны по Днепру и по Висле, работали неарийские и антифашистские физики, собранные в группе Оппенгеймера. Судьба, сохранившая Гитлера от бомбы Штауффенберга²⁷, берегла фюрера только для одинокой смерти от глотка яда.

Сравнивая Гитлера и Сталина, мне хочется подчеркнуть их подобие, более важное, чем историко-культурные различия. В диктаторах XX века бросается в глаза общая черта: решать все великие вопросы большим пролитием крови. Это повторяется и в Мао Цзэдуне, и в Пол Поте. И дело не в том или другом принципе, а в гипертрофии принципов. Все принципы истинны, когда они сплетаются и ограничивают друг друга в венке культуры. Но любой принцип становится разрушительным, когда вырывается из венка и становится движением по прямой линии — в бездну.

Гитлер пережил это падение в бездну при жизни, сталинизм — после смерти Сталина, менявшего идеи как перчатки, лишь бы увлечь и заморочить людей. В ходе войны с Гитлером Сталин готовился использовать и национализм, смешанный с расизмом. Одна из фраз в приказе № 227 имела зловещий характер: «Учиться у врагов своих...». Сталин учился у Троцкого и готов был учиться у Гитлера.

Я не сразу понял то, что сейчас пишу. Вступая в ополчение на защиту Москвы, я откладывал сомнения, вызванные во мне Сталиным: на переправе не меняют лошадей и командующего на войне. Актуальными были только те промахи Сталина, которые вели к военным поражениям. И с лета 1943 г. и до конца войны держался патриотизм, вспыхнувший в обороне городов-символов и в героической работе заводов, эвакуированных в Сибирь, и в расчетах Генерального штаба, выбиравшего время и место для контрударов. Тогда у призрака коммунизма выросли новые головы — Александра Невского и Дмитрия Донского. Тогда стирались следы позорных поражений, и Фома Смыслов их мгновенно забыл: «Русские прусских всегда бивали». Тогда меня, как и всех, охватывал единый дух армии, который я поддерживал, по мере сил и способностей, в дивизионном листке.

Но уже в 1944 г. в единстве духа начались трещины. Непонятен был отказ поддержать Варшавское восстание, непонятна была секретная

27 Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг — участник заговора германских генералов против Гитлера, взявший на себя осуществление самого покушения — 20 июля 1944 г. Расстрелян 21 июля. — *Прим. ред.*

инструкция о штрафных нациях, дошедшая до меня в госпитале легкораненых. И сердце мое раскалывалось в Берлине. Я был горд и пристыжен в одно и то же время. Меня вдруг оттолкнула от себя масса солдат и офицеров, почти поголовно одуревших от победы, охмелевших от нее до уровня варварской орды. И постепенно осознавалась связь этого варварства с лозунгами, которыми Сталин разжигал боевой дух: «Убей немца!». Не фашиста, а немца. Это легко переходило на немцев, становившихся добычей победителя.

Все яснее сознавалась несовместимость мыслей, возникавших в наиболее развитых головах, и сталинского руководства. Чувство собственного достоинства солдат, вынесших войну, ленинградцев, вынесших блокаду, ожидание амнистии политических заключенных, ожидание многопартийной системы (даже об этом многие мечтали) — все это для Сталина было ересью, и на все головы, в которых закрутились мысли о свободе, посыпались удары.

Прежде всего удары обрушились на военнопленных. Формально они обвинялись в добровольной капитуляции, фактически подавлялась свобода мысли, которую они обрели в немецких лагерях. Даже военнопленных, восставших и самостоятельно освободивших Северную Норвегию, взяли под стражу и осудили на долгие годы советских лагерей. (Подробности см. в книге П.Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крысы...», глава «Разведсводка № 8».)

В 1946 г. началась проработка интеллигенции. Первым шагом была статья Жданова, издевавшегося над Зощенко и «полумонахиней, полублудницей» Ахматовой. Затем началась борьба с общим «низкопоклонством перед Западом», то есть признанием связи русской и европейской культур. Слово «космополитизм», программное в эпоху Гёте, стало ругательством. Интеллигенты вынуждены были каяться в широте своей культуры. Доходило до судебных процессов, в которых обвиняемые подбирались по норме 4:1 (одним, в качестве уступки принципам марксизма, мог быть русский, обвиненный в сионизме). Ликвидировались целые науки: «поповская лженаука генетика», «поповская лженаука кибернетика».

В газете «Правда» появилась разгромная статья против академика Сыркина, считавшего невозможным объяснить реакции органической молекулы одной моделью. Он предлагал теорию резонанса двух или трех моделей. Видимо, в этом учуяли намек на невозможность одной истинной философии, одного курса истории ВКП (б), а может быть, и многопартийной системы. Подвал в газете «Правда» был выше любых научных доказательств.

На очереди был физический идеализм. И вдруг работа идеологического отдела ЦК столкнулась с другим отделом, курировавшим атомную физику. Видимо, Берия поговорил со Сталиным, и Сталин велел оставить

физиков в покое.

Однако кухня ведьмы продолжала дымить. Н.А. Вознесенский вызвал зависть своей книгой о советской экономике в годы войны. Ленинградцы разгневали предложением сделать город, вынесший блокаду, столицей РСФСР. На этом материале было склеено знаменитое «Ленинградское дело». Большую группу партийных работников бросили в застенки, пытали и расстреляли. Кое-кого поменьше рангом отправили в лагеря. С одним из них я имел честь познакомиться в Каргопольлаге.

Народный артист СССР Михоэлс неосторожно вспылал, когда Сталин не принял подарок от нью-йоркских портных, и был за это убит. Вины ему Сталин сгоряча не успел придумать, и поэтому убийство не было юридически оформлено. Однако очень скоро сфабриковано было дело Еврейского антифашистского комитета. Оно не совсем удалось. На инсценировках судебного заседания обвиняемые трижды отказывались от показаний, данных под пыткой. Председатель трибунала дошел до Маленкова с вопросом: что делать? Маленков ответил: «Вы хотите, чтобы мы отступили перед группой изгоев? Исполняйте свой долг». После этого обвиняемых расстреляли втихую, без показательного спектакля.

Но тотчас же Рюмин, замминистра МГБ, затеял новое еврейское дело: врачей, убийц в белых халатах. 5 марта 1953 г. их должны были осудить, а 12-го повесить на Лобном месте. После этого всех евреев, «во избежание погромов», должны были выслать на Дальний Восток и там с ними разделаться. Наташа Трауберг рассказывала мне, что с перепугу она спряталась в квартире полковника, своего друга. Несколько именитых евреев составили письмо, в котором, осуждая убийц, пытались как-то кого-то спасти (об этом есть намек в романе Гроссмана). Но еще до 5 марта радио стало передавать траурную музыку..

Есть предположение, что дело, развернутое Рюминым, угрожало и Берию. Есть другие предположения, что в укрывании «убийц» могли быть обвинены и другие бывшие члены политбюро. Не для этого ли политбюро на очередном съезде было упразднено и весь его состав растворен в большом президиуме ЦК? Из такого большого президиума нетрудно было потом выдергивать по одному и расстреливать соучастников сталинского террора 30-х годов, и — все концы в воду.. Во всяком случае, первым делом Берию, Маленкова, Молотова, Кагановича, Хрущева, как только Сталин испустил дух, было восстановить себя как политбюро, а президиум ЦК распустить. Есть и другое предположение: что за делом врачей последовало бы «освобождение Европы»... Достоверно в смерти Сталина только одно: о ней объявили 5 марта.

Толпы иступленно веровавших в своего идола давили друг друга на улицах Москвы. А через месяц, 4 апреля, мы вдруг узнали, что врачи ни в чем не виновны и признания у них вырваны «незаконными методами следствия». Я слушал радио в лагерном бараке и запомнил короткую

реплику инженера Войниловича, бывшего офицера царской армии, посматривавшего на нас, молодых, с высоты своего опыта: «Скажите, кто бы мог подумать? Они ведь всегда ходили в белых одеждах. Карающие ангелы диктатуры пролетариата. Только крылышек им не хватало. И вдруг — незаконные методы следствия!».

После 4 апреля открылись многие вопросы. Стали возвращаться репрессированные из лагерей, и они рассказывали, как велись процессы 30-х годов. XX съезд создал Комиссию Шверника, чтобы расследовать, почему был убит Киров и как велись репрессии после его смерти. Ольга Григорьевна Шатуновская, вызванная из вечной ссылки, опросила тысячу свидетелей и создала дело в 64 томах. Резюме Хрущев собирался прочесть на XXII съезде. К нему явились партийный идеолог Суслов и второй секретарь Козлов и дали понять, что подавляющее большинство ЦК против такого шага. Хрущев отступил и только сообщил съезду, что ведется следствие. Вскоре его сместили, дело в 64 томах выпотрошили, доказательства преступлений Сталина уничтожили. Шатуновская (1901—1990) дожила до перестройки и дала несколько интервью, однако документов у нее не было, сохранился, по счастью, один список документов, переданных Комиссией Шверника в политбюро. (Подробнее см. в моей книге «Следствие ведет каторжанка».) Историкам придется выбирать, чему верить: заведомой фальсификации, созданной Суловым, или воспоминаниям Шатуновской (по рассказам дочери и моим воспоминаниям). Сколько было репрессировано в 1934—1941 гг.? Около 20 миллионов или в десять раз меньше? Сколько было расстреляно — 7 миллионов или 1,5 миллиона? И сколько всего было перебито народу с 1929-го по 1953-й год?

Почему мне так дорога правда Истории? Ведь суловская фальсификация — не первая. В середине XIX в. Сенковский опубликовал перевод саги, в которой убийцы, нанятые Ярославом, рассказывали, как они прикончили Борислейва. Нашелся только один историк, Погодин, который считал необходимым отредактировать заново житие Бориса и Глеба. Церковь настояла на незыблемости памятника, запечатленного во многих сердцах, а стало быть — на незыблемости ложного обвинения Святополка?

А в XX в. Альшиц, мой сосед по бараку, рассказал, как он листал древний памятник, лицевой (то есть украшенный заставками) свод летописи, и натолкнулся на приписку, сделанную нервным почерком, о боярском заговоре. Экспертиза установила авторство Ивана Грозного. Так и продержался этот заговор четыре века. На следствии Альшица обвиняли в пародии на процессы 30-х годов...

Неужели так сохранится и слава Сталина? Да, он научился военному делу, расплатившись за науку нашими шкурами. Да, после битвы на Курской дуге он гнал и гнал немцев до Эльбы и, погубив по дороге

несколько миллионов душ, он нечаянно спас Европу от атомной смерти. Но ведь так, неожиданно для самого себя, Альберт Эйнштейн, напуганный Гитлером, создал угрозу атомной смерти для всего мира. И даже до его разговора с Рузвельтом сама формула $E = mc^2$ открывала перед человечеством пропасть, по краю которой мы до сих пор ходим. И другую пропасть создает простой рост промышленности, стегаящий атмосферу.

Любое действие человека связано с неведомым риском. Даже открытие огня, совершенное в раннем каменном веке. Но судить и восхвалять нас можно только за непосредственные следы наших поступков. И след, оставленный Сталиным, — это разрушение основ русской культуры и разрушение самой плоти русского народа. Идол Сталина, созданный в умах его поклонников, увековечивает могущество тени, вокруг которой собираются мелкие тени зла и пляшут на своем шабаше.

Нынешней весной в Осло проходила Неделя русской культуры, и норвежский король принимал президента Медведева. При этом король процитировал фразу из моего сборника, переведенного на норвежский язык, — о следе, который каждый человек оставляет в истории своей страны, и о слиянии следов в темные и светлые нити, из которых плетется история (привожу свою мысль так, как она сейчас ложится на бумагу). Мне хочется развить эту мысль дальше и сказать, что иссякающие следы Ярослава и Ивана IV получают мощную поддержку в свежем следе Сталина, и ад радуется еще одной пирровой победе.

Мы до сих пор не сумели отделить от тени кровавого деспота народные подвиги при обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, Тулы — и безымянные подвиги бойцов, погибших на своем рубеже, и беспечную удачу танкистов, сделавших ненужной атомную бомбу в Европе. И вот до сих пор мы топчемся между правдой и кривдой, между чувством вины соратников Сталина и чувством гордости победителей Гитлера. А без нравственной ясности нельзя бороться с гнилью, разъедающей наше общество, и нельзя отбросить призраки прошлого, за которыми прячутся цинизм и бесстыдная ложь.

Поворот «всем вдруг»

Одна из особенностей Нового времени — развитие техники, вырвавшейся из венка культуры и ставшей угрозой для жизни на земле. Люди оказались детьми природы, создавшими игрушки, опасные для их незрелого ума. В XX в. символом этого стали атомная и водородная бомбы. Однако все началось гораздо раньше.

Субглобальные цивилизации Азии еще около Р.Х. достигли своих географических пределов, в которых каждая могла существовать неограниченно долго, приручая и подчиня авторитету культуры беспокойных соседей. Я имею в виду цивилизацию индийского субконтинента и цивилизацию Дальнего Востока.

Иначе шло дело в странах Средиземноморского Востока и Средиземноморского Запада. Их не разделяли Гималаи, и море скорее связывало, чем обособляло. А образ единого Бога, сложившийся в Библии, вызывал вечное стремление создать единое царство Истины и вечное соперничество, кто лучше понял Истину — православие, католичество, протестантизм, ислам суннитский и шиитский. Начиная с VII в. в этом споре лидировал ислам, а с XVI в. перевес в технике мореплавания дал Западу возможность выйти на океаны и лишить страны ислама их доли в международной торговле. Но глобальный мир, созданный Западом, лишен был духовной основы. Он все больше и больше становился постхристианским. Не случайно в одной из вестернизированных стран, в России, на моей памяти брошен был лозунг «техника решает всё». И во имя технических успехов опустошались глубины культуры.

Однако победы техники над культурой достигались и без советских крайностей. Весь христианский мир, сохраняя старую вывеску, двигался к постхристианству. Мировая духовная каша, созданная электронными связями, постепенно растворяет в себе и обезличивает местные культуры. При этом Запад стал передовым в упадке рождаемости и в потере своей воли к гегемонии. К началу XXI в. роль Запада вырисовывается по-новому: он вывел из стабильности страны Азии и втянул их в процесс разрушения колодцев духовной глубины ради успехов в науке и технике. Сперва вырвалась вперед Япония, и западные социологи искали в японской культуре какие-то эквиваленты «протестанской

этики», за счет которой принято было объяснять, по Макс Веберу, прогресс Европы. Потом рванулись вперед малые государства, созданные зарубежными китайцами (Гонконг, Сингапур, Тайвань; можно добавить к ним и Южную Корею). Потом Дэн Сяопин нашел заменитель «протестантской этики» в работах Н.И. Бухарина и доказал на практике, что даже коммунистическая диктатура, приняв Бухарина и отвергнув Сталина, могла стать одним из лидеров технико-экономического прогресса. И наконец Индия, оставаясь кастовой, сдвинулась с места. И Соединенные Штаты импортируют интеллекты из России, из Индии, с Дальнего Востока... И всё это расширившееся и ускоренное мировое развитие стремительно движется к экологическому краху. И все острее встает вопрос, что же делать, чтобы окончательно не разрушить биосферу?

Видимо, нужно что-то вроде глобального поворота руля, наподобие тех, которые удались Японии — в начале XVII в., в конце XIX в. и после поражения во Второй мировой войне. Но возможно ли это? Возможен ли диалог цивилизаций, направляемый разумной волей к управляемому единству?

Хаос воюющих княжеств и царств не раз порождал монолитные государства. При переходе к Новому времени так рождались единые нации в Европе и в Японии. А в истории Китая гигантская империя дряхла, рассыпалась и восставала из праха, полная сил. Однако условием обновления была устойчивость духовных основ.

Приоритет конфуцианства держался две тысячи лет, немного колебался, но никогда не рушился. Сейчас положение иное. Для всемирной администрации многое готово: техника мгновенной информации, транспорта, торговых и финансовых сделок, — а взаимное понимание существует только на самом поверхностном уровне. Чуть поглубже — духовная каша. И только ничтожное меньшинство способно жить и мыслить на подлинно глобальном уровне.

Современный человек очень далек от него. У него не только нет колодцев тишины, нет даже сознания необходимости таких колодцев. Во всяком случае, в постхристианской цивилизации их меньше, чем в лучшие эпохи прошлого. Старые колодцы заброшены или завалены, новые, глобальные, — едва начаты. Остались мертвые символы великих религий; потеряно то, о чем сказал апостол Павел: буква мертва, только Дух животворит. И по мере вестернизации Востока это опустошение распространяется по земле. Поэтому Хантингтон убежден, что нас ждет война цивилизаций.

Я убежден в другом: неотвратимости этого нет, и даже в постхристианском мире не все потеряно. Возможность диалогического единства показала конференция бенедиктинцев в Лондоне, в 1994 г., председателем которой был приглашен Далай-лама. Я уже об этом неоднократно

говорил, но здесь не упомянуть об этом невозможно. Каждый день он зажигал свечу, от нее зажигали свои свечи другие, и все проводили полчаса в глубоком безмолвии. Многие признавались, что именно в эти полчаса достигалось духовное единство, не вмещавшееся в словах.

Но и на словесном уровне произошли значительные сдвиги. При подготовке материалов конференции к печати были созданы словарики буддийских терминов для христиан и христианских — для буддистов. Приведу пример, врезавшийся мне в память: «вечность — это не утомительная длительность, а выход за рамки всякой двойственности, в том числе двойственности начала и конца». Таким образом создан был интеллектуальный мостик между важнейшим термином христианства — «вечность», отсутствующем в буддизме, и важнейшим термином индобрддийской мысли — «недвойственность», отсутствующим в монотеизме.

При желании, можно рассматривать это как простое расширение мысли ап. Павла. Однако в историческом контексте Павел ни о чем подобном не думал. Его мысль («буква мертва, только Дух животворит») в трудах конференции перенесена в глобальный контекст и перешагнула через пропасть, разделяющую средиземноморский круг цивилизаций от индийско-тихоокеанского. Это очень важно, когда культуры Индийского субконтинента и Дальнего Востока активно входят в мировое общение.

Дело, конечно, не сводится к пониманию пары терминов. Бездна невежества, разделяющего нас с Востоком, очень широка. Диалог — это разговор, уходящий в глубины, недоступные слову, но прежде всего — это грамотный разговор, элементарное знакомство с фактами. Между тем, даже сравнительно недолгая история японской культуры известна публике только чуть-чуть. Что касается трех тысяч лет китайских иероглифов и четырех тысяч лет санскрита, то даже переведенное на русский язык мало кто читал.

Единственная древность, которую принято было изучать на гуманитарных факультетах, была греко-римская. Студентом я прочел десятки книг, «Илиаду» — дважды. И в 1939 г. *одну* книгу, только что переведенную с японского — повести и рассказы Акутагавы Рюноскэ. О других я ничего не знал. Между тем, началась война, за ней — лагерь, и дальнейшую информацию о Востоке я получал в разговорах с товарищами по нарам. Не досидев полтора года по случаю смерти Сталина, я ринулся в библиотеки. И теперь вызываю раздражение читателей, ссылаясь то на Бхагаватгиту, то на парадоксы Линьцзи, то на труды Д.Т. Судзуки. Из этого я заключаю, что структура нашего народного образования очень сильно отстала от эпохи глобальных сдвигов. Надеюсь впоследствии развить эту тему.

Новый Левиафан?

В папке современных эссе, изданных *^еига* (первый выпуск, 2010, № 1), мое внимание остановило заглавие: «Страх, почтение, ужас». Это оказалось про Гоббса. Ничего интересного я про Гоббса не читал и решил понять, что потянуло автора, Карло Гинцбурга²⁸, в XVII век. В тексте чувствовался живой современный интерес. Загадка его разрешилась в последних строчках: «Гоббс мог бы помочь нам вообразить не только настоящее, но и будущее, пускай и не неизбежное, но, пожалуй, вполне вероятное. Давайте представим, что продолжается неуклонная порча нашей природной среды, и она достигает такого уровня, какой немислим даже сегодня. Загрязнение воздуха, воды и почвы в конце концов поставит под угрозу выживание всех до единого биологических видов — и растений, и животных, включая и вид *Ното зарюпз*. На этом этапе не останется иной альтернативы, кроме установления жестокого, беспримерного контроля над всем миром и его человеческим населением. Выживание человечества потребует такого договора, который не будет слишком отличаться от описанного Гоббсом: каждый в отдельности человек откажется от своей личной свободы в пользу некоего деспотического сверхгосударства — *Левиафана*, бесконечно более могущественного, нежели те, что возникали в прошлом. Общественные узы спаяют всех в единый железный узел — не против “нечестивой природы”, как выразился итальянский поэт *Леопарди* в стихотворении *^а Отз1га* (“Дрок”), а ради выживания хрупкой, ослабшей, раненой природы («И ужас, что некогда спаял всех смертных в общие оковы»). *О. ^еора^д^*. *^а Отз1га* (*Сап1й Топпо*, 1962).

Практика Нового времени показала, что недоверие Гоббса к «нечестивой человеческой природе» было преувеличено. Однако на кон

²⁸ Карло Гинцбург — итальянский историк (род. в 1939 г.), изучал религиозные представления разных социальных слоев в Европе конца Средних веков — начала Нового времени. — *Прим. ред.*

грессе экологов в 1968 г. проблема была поставлена по-новому; и с тех пор она ставится все чаще и все острее.

Что будет, если от граждан потребуют отказаться от 50 или даже 70% своих прихотей? Выдержат ли они это испытание без трепета страха перед угрозой гибели биосферы?

В скандальной форме эту мысль бросил покойный господин Кожинов в период цветущих демократических надежд: что будут они делать, господа-демократы, когда воду станут выдавать по карточкам и кислород в аптеках?

Услышав это лет двадцать тому назад в изустной передаче, я подумал, что в Англии во время войны были трудности с продовольствием, но от свободы слова англичане не отказались. А вот Россия... И мне припомнилась пара строк из «Афоризматы Тита Левиафанского». Впервые я прочел этот текст, только что закончив «Повесть, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (казавшуюся мне в детстве очень веселой). Теперь, в 20 лет, я был подавлен ужасом жизни живых мертвецов, запечатленным мощной рукой Гоголя. Меня словно погрузили в массу клея, который тут же застыл и сковал руки, ноги, зрение и слух, и в отчаянной попытке вырваться я схватил в руки томик Герцена; случайно раскрылось на «Афоризмате». Это был счастливый случай. В каждой строчке блистали сарказмы, освобождая меня от застывшей пошлости. И когда я дошел до фразы, которая помнится мне до сих пор, я захлопал ногами (потому что лежал на животе и мои руки держали книгу):

«Разве разум, а не безумие создало все военные империи, от Ассирии до Пруссии (привычка к цензуре заставляет умалчивать о любезном отечестве)».

Это было зимой 1938 г., и меня привела в восторг удача составителя сборника, сумевшего легально и печатно описать атмосферу, в которой мы жили. Разумеется, Сталин считал разумным свой ответ 292 делегатам XVII съезда, вычеркнувшим его фамилию при тайном голосовании (и, вероятно, еще 300, 600 или 900 делегатам, хотевшим сделать то же самое, но не набравшимся храбрости). И я не знал, сколько миллионов людей было арестовано и сколько расстреляно, чтобы выкорчевать крамолу. И не знал, сколько генералов и офицеров было расстреляно накануне большой войны, проложив Гитлеру дорогу к блицкригу, как немцы это называли. Блицкриг, в конце концов, сорвался, но четыре миллиона наших воинов сдались в плен за полгода и еще полтора — за следующие полгода. И мы воевали и наконец даже побеждали в этом безумном мире.

Кризис биосферы может оказаться более страшным испытанием, чем Гитлер, испытанием глобальным. За последние годы об этом говорили очень серьезные люди, в частности В.В. Иванов, которого я знал и высоко оцениваю трезвость его ума. Я не эколог, но мне ясно, что от шести

миллиардов людей требуется высокая, глубоко осознанная дисциплина — наподобие перехода от жизни гуляки в монастырь. И все это в глобальном масштабе. Ясно, что без солидарности ничего не выйдет. А как достичь солидарности, если разные цивилизации тысячелетиями развивались, не заботясь друг о друге, и только в XX веке оказались в одном котле и внутри каждой еще дремлют и рвутся наружу маленькие, но злые конфликты?

В годы моей юности Индией и Китаем можно было пренебречь. Это были колония и полуколония. Сейчас это великие и быстро растущие державы. Они долго запрягали, но быстро едут. Архаические племенные основы, сохранившиеся у них, задержали старт, но сегодня они показывают нам пример устойчивости в стремительном темпе развития. Я представляю себе, что китайцам модель Гоббса может подойти. Но сумеют ли они навязать свое решение всему миру? И нет ли других путей?

В первом тысячелетии до Р.Х. греческая демократия не сумела выйти за рамки полиса. Попытка Афин создать прочную федерацию сорвалась. Царь Филипп объединил Грецию по-своему. Но в эти же годы Рим действовал по-иному. Когда плебеи ушли на священную гору, патриции пришли к ним и договорились создать пост народного трибуна с правом вето на любое решение аристократического сената. А при угрозе, созданной Ганнибалом, был испытан институт диктатуры, возобновляемой сенатом, пока угроза не прошла. С этим сочетанием олигархии, демократии и диктатуры Рим долго сохранял нравственную устойчивость и стал клониться к упадку только тогда, когда масштабы его завоеваний не превзошли хорошо продуманных рамок.

Опыт соглашения принципов, повторенный ангlosаксами сперва в Великобритании, а потом в Соединенных Штатах, показал, что ни один принцип не должен доводиться до абсурда; к устойчивому порядку ведет сближение идей, классов, этнических групп и т. п. Сейчас перед человечеством стоит задача диалога целых цивилизаций, только что осознавших, что история XX в. втиснула их в один глобальный каркас, где тысячи километров расстояния, горы и океаны, разделявшие в прошлом, потеряли значение, что Земля — наш тесный общий дом. И надо искать солидарности в духовной глубине, куда уходят корни всех религий. Это происходит в узком кругу, но совсем не затронуло массы. А без сдвигов в массах глобальная солидарность никак не выйдет. Разве только после нескольких жестких катастроф, которые встряхнут массы и заставят их искать духовной и экологической общности. Не слишком ли поздно поймут массы, что экологическая проблема, рационально поставленная, не сможет быть рационально решена без духовной отзывчивости к диалогу; а ее пока не видно, скажем, между басками и кастильцами, между палестинскими арабами и Израилем и в других подобных спорах. Какой ценой будет достигнуто понимание, что сохранение биосферы нельзя

совершить по отдельности, с презрением и ненавистью к соседу? Если понимание опоздает, — пиши пропало.

Что в этом потоке перемен ждет Россию? Ее прошлое — это мощные толчки, после которых наступает усталость и застой. После опричнины — застой. После стрелецких казней верхи потянулись в общество европейских стран, но отставали низы; а потом правительство стало отставать от общества. После Ленина и Сталина — новый застой и новый тупик, из которого нельзя выйти, не распрощавшись со всеми гнусностями, без общества свободных людей, свободно согласившихся на экологическую дисциплину, без равнения на людей, достигших вселенских глубин, без верности памяти таких светских людей, как Вернадский, или церковных, как Антоний Сурожский. Без всего этого жизнь человечества на Земле кончится провалом.

Экологические и духовные проблемы сплелись в один узел и разматывать его можно только в целом.

Аскеза — это моря гладь.
Нет множеств. Есть Одно.
Отбросить лишнее и стать
Единым, как Оно!

(Зинаида Миркина)

Сумеет творческое меньшинство найти путь к Одному? Сумеет ли увлечь массу? Если нет — масса (в том числе русская) обречена на роль младших подданных китайского Левиафана. А нужно другое: отказ от излишеств лишней свободы (грубо говоря — от распущенности) и сохранение того минимума свободы, который необходим для творческой жизни.

Продолжение темы Левиафана

Чувство тревоги, сдержанно выраженное Карло Гинцбургом, продолжает захватывать людей, и мне захотелось ответить еще на один взволнованный голос, на письмо молодого человека, 27 лет, выросшего в Алуште и сейчас студента одного из канадских университетов. Зовут его Слава. Больше он о себе не сообщил. Его характеристика современности поражает своей яркостью.

«... Бегло изложу свое понимание сегодняшнего дня. Мы не смогли объединиться в истине — объединились при помощи интернета; мы не смогли мыслить глобально — получили глобальные экологические проблемы, и что делать с этим — большой вопрос, т. е. если раньше люди находили какие-то лазейки, то это благодаря тому, что, помимо творческой энергии, хватало физического пространства и природных ресурсов. Не преувеличу, сказав, что сегодня все люди скопились в одной

большой камере смерти, и исполнение приговора — лишь вопрос времени; для этого даже палач не нужен, мы уже потихоньку захлёбываемся в собственных нечистотах. Единственный плюс — мы все-таки объединились, и многие остро осознают, что дороги назад нет, а если и есть, то — Дорога Назад, осознание своих ошибок и возвращение к своим истокам, т. е. единственный способ избежать казни — казнить себя и начать с чистого листа».

Я подчеркнул то, что оставляет некоторую надежду. Однако Слава говорит о грядущей катастрофе только один раз. Юношеское мышление идет взрывами, и следующий замечательный фрагмент оставляет современность в стороне. Это история мировых религий, взятых как одно целое. 2,5—3 тысячи лет вмещаются в притчу о перстне. Драгоценный камень личного религиозного опыта сверкает в оправе традиции, но со временем алмаз выветривается; остается пустая оправка, вокруг которой блещут отдельные камешки нового религиозного опыта. Эти случайные проблески не оставляют места для вопроса, куда мировая традиция ведет. Спокойное течение обобщенного духовного потока не стыкуется с современностью, стоящей перед пропастью; каждое существует в мысли само по себе.

Прекрасная метафора о перстне упускает несколько вещей. Первая — это богатейшее развитие всех оттенков светской культуры у греков и римлян. Развитие, отодвинувшее религию на задний план — и в конце концов упершееся в пустоту.

Вторая вещь — то, что всё ограничено рамками Средиземноморья и прилегающих к нему земель. Индия и Китай ни во взлетах, ни в падении классической древности не участвуют. Они жили своей жизнью, менее динамичной и более стабильной. Отделённые друг от друга горами и океанами, они сохранили нечто от устойчивости племенной культуры. После кризиса в правление Цинь Шихуанди обломки старины были заново слеплены конфуцианцами и обеспечили устойчивость Китая еще на две тысячи лет. В Индии никакой ломки вообще не было, был только диалог буддизма с индуизмом. Традицию пытались ломать мусульмане, но захватили — одни только окраины. Центр Индостана сохранил свой характер и во всей своей полноте вступил в глобальную культуру XX в., стяннутую новой техникой информации и связи.

Третье: на Западе светская культура, очнувшись в эпоху Возрождения, снова стала выдвигаться на первое место и рассыпалась на десятки и сотни направлений. Этот разброс она распространила на весь земной шар. Слава не заметил аналогии между античной и новой светскостью, победившей к концу XVIII в.

Поток революций, начиная с Промышленной, разлился на Азию, Африку, Америку и Австралию и после ослепительных успехов упирается в ту же духовную пустоту, в которой задохнулся Рим. Экологический

кризис захватил весь глобус и в близком будущем грозит всей биосфере. Меры ограничения, задуманные Гоббсом, скорее всего, начнут вводиться. Но встанет вопрос, как люди компенсируют отказ от внешней свободы ростом свободы внутренней. И здесь не исключено творческое участие Запада, в самом широком смысле, включая всю христианскую культуру.

Попробуем теперь нарисовать утопию глобальной цивилизации, вышедшей из кризиса. Она по-монастырски аскетична. Она по китайскому примеру ограничивает рождаемость. Но она как-то компенсирует человека за его потери; она ищет радости, как князь Мышкин: «разве можно видеть дерево и не быть счастливым!». Деревьев стало меньше, но и людей меньше. Созерцание уцелевших рощ становится общей привычкой, так же как украшение жилищ репродукциями великих созданий живописи (современная техника репродукции здесь многое позволяет); и диски дают слушать у себя дома музыку, которая раньше была доступна только в консерватории. Творческое меньшинство помогает детям и подросткам создавать в своей душе колодцы глубины, в которых я находил отраду и в камерах Лубянки, и в Каргопольлаге.

Я узнал на собственном опыте, как трудно развить в себе способность воспринимать Баха, Рембрандта, Рублева, Го Си, Сэсю. Но трудно только начать, и трудности иногда форсируют энергию. Именно в камере без окна я с глубоким вдохновением прочел Пришвина и научился у него видеть природу; и именно в лагере при температуре -35° , я часами ходил между бараками, где люди жались к печке, и слушал с начала до конца симфонии, которые прежде бросал, недослушав, теряя понимание; они, кстати, очень хорошо передаются рупорами на морозе.

Один из величайших духовных лидеров современности, Экхарт Толле, убежден, что творческий рост личности сильнее сил распада. Он опирается на свой личный опыт. Но как поведет себя общество, трудно предвидеть. Я надеюсь, что в критическом положении энергия творческого меньшинства вырастет. Но хватит ли сил увлечь большинство?

Современное образование близоруко и смотрит вперед на 3—5 лет, а надо — на 50 и еще больше. Надо думать о тех узких вратах, которые ждут нас отнюдь не в далекой, неизмеримой дали. Время незаметно движется, и ограничения на пресную воду и т.п. не должны нас оглушить. Перенеся центр жизни в духовные глубины, легче согласиться на дисциплину потребления, подобную монастырской. Задача образования — разнести эту систему ценностей на все слои народа.

Непреренно будут трудности с разными заповедями и догмами, с различиями людских типов. Л.Г. Пинский делил библейские типы на три пары противоположностей. Можно найти такие пары и в русском народе: Савельич и Пугачев в «Капитанской дочке», Платон Каратаев и Тихон Щербатый в «Войне и мире». Однако народные характеры бывают

текучими. В повести «Дубровский» один из дворовых спасает из огня кота, но приказных оставляет гореть в запертом доме. Поведение не укладывается в простой тип, оно может быть неожиданным.

Достоевский, рисуя четырех сыновей Федора Павловича, показывает каждого в нестандартном повороте. С особенной любовью он раскрывает душу Мити, который в первых сценах может отталкивать. И вот все четверо стоят перед узкими воротами в новую Россию. Правильно, в соответствии с типом, почти всегда ведет себя Алеша. Трое других нас удивляют: Иван беседует с чертом, Смердяков, разуверившись в Иване, вешается, а Митя переменчив, как Протей.

В последний период войны я узнавал Митю во многих офицерах, безумно храбрых и немного пьяных; взявши Берлин, они безобразничают, а потом искренне и глубоко каются. Это самый реалистический герой романа — и самый непредсказуемый.

Есть очень мало людей, способных найти свое место на сжавшейся земле. Кто-то готов к преображению. Но не задушит ли его толпа?

Впрочем, даже растоптанное меньшинство останется в памяти Бога и где-то всплывет во времени. Сколько будет длиться культура, в которой мы живем, — вопрос, который в бесконечности теряет смысл. И для тех, кто не выходит из глубины, это так же не важно: важно быть самими собой, быть до конца верными своим святыням. Но мы живем не только в прикосновениях вечности. Мы живем и во времени. И во времени остается вопрос: что делать? Оставляю его слушателям.

Чужое горе

Григорий Померанц

Чужое горе — оно, как овод.
Ты отмахнешься, но сядет снова.
Захочешь выйти, а выйти поздно.
Оно — горячий и мокрый воздух.
И как ни дышишь, всё так же душно.
Оно не слышит. Оно — кликуша.
Оно приходит и ночью ноет.
А что с ним делать? Оно — чужое.

Илья Эренбург

Первый укол чужого горя я испытал зимой 1933/34 года. Подошли каникулы, и я поехал навестить маму. Ее театр гастролировал в Коростене. В Киеве у меня пересадка. Но у выхода на перрон, прямо в дверях, лежала женщина, судя по одежде — крестьянка. Кругом шли люди, привыкшие к голодным, потерявшим силы, и не обращавшие на нее внимания. Но мне надо было переступить через нее. Если она не поднимется или хоть подвинется. Я растерянно стоял и смотрел в ее бледно-голубые глаза. И глаза молча ответили, одним движением век: что делать, паренек, тебе ехать надо... Я осторожно переступил через нее и пошел на пересадку.

Прошло больше 70 лет. Я забыл, какие в Коростене сыграны были спектакли, какие роли сыграла мама. Помню только усталые бледно-голубые глаза. Они смотрят на меня и сегодня. Ничего от меня они не требуют, но в меня все глубже и глубже входит причастие чужому горю. Сперва остро запоминались только живые встречи. А потом, — ударом по старой ране, — и от газетных сообщений.

Но прежде — живая память. Встает перед глазами коридор ИФЛИ. Рыдает дочь доцента Лесника. Ночью его забрали. Хочется подойти утешить, но я не умел это делать. Подошел другой студент. Осталось мучительное чувство беспомощности.

И еще одна сцена тех лет. Исключают из комсомола Агнессу Кун за потерю бдительности в отношениях с отцом, матерью и мужем.

На бюро подруги пытались предложить другую формулировку — *притупление* бдительности. Я готов их поддержать. Но за ночь девочки передумали и стали сознательнее. А я с Агнессой не перемолвился ни одним словом, у меня не было аргументов. Впрочем, тут аргументы не помогли бы. Уходя, я вслух сказал, что охотнее голосовал бы за избрание Агнессы в комитет ВЛКСМ. Сосед с ужасом посмотрел на меня.

Через год — заседание кафедры русской литературы. Обсуждается моя курсовая работа: «Величайший русский писатель». Аспирант Шамориков берет слово: «Если даже Горький ошибался, нам об этом не следует говорить». Я чувствую, что задыхаюсь от возмущения, не могу ничего сказать и выхожу с заседания, хлопнув дверью. Кафедра признала мою курсовую работу о Достоевском антимарксистской. Спецчасть выяснила, что я за чужак. Установлен тайный надзор.

Пропускаю батальные сцены, описанные в «Записках гадкого утенка». Весна 1944 года. Я шел куда-то по степи. На перекрестке толпа, в центре ее табуретка. На табуретке немец, стиснувший зубы. Вышел приказ, что поджигателей деревень надо вешать. Ни одного поджога я не заметил. Ландзеры уходили весело. Армия без боя сокращала фронт. Хозяйка запомнила частушку, которую они распевали:

Прощай курки, прощай яйки,
До свидания, хозяйки.
Прощай млеко, прощай вино,
До свиданья, Украина!

Но под приказ Сталина можно подвести любого замешкавшегося солдата. Почему-то решили вешать его на перекрестке. Там не было никакого дерева, и толпа гоготала, радуясь затянувшемуся зрелищу. Что-то изменилось в лицах, которые я видел после боя. Тогда в каждом чувствовался хмель победы. Я сам, придя со своим блокнотом и карандашом, как-то захмелел и побежал вместе с солдатами в атаку на село Калиновку, за которую немцы зацепились, отдав линию Вотана, да так и провоевал весь день. Когда стемнело, а хмель продолжал бродить во мне, я сдал команду майору из штаба дивизии, а сам зашел в соседний батальон и стал говорить и делать глупости, о которых уже рассказывал в «Записках гадкого утенка». Но вот что я в «Записках» не продумал. В бою человек хмелеет, но пока смерть со всех сторон, разум тоже возбужден, он напряженно бдителен и ограничивает хмель. Я в тот день, в октябре 43-го, довольно толково действовал и вполне справился со своей ролью импровизованного командира. А когда бой стихает, остатки хмеля вырываются когда в ком и когда в чем. У иного в авантюрах, у другого в убийствах врагов, сдающихся в плен, и других насилиях. Моя авантюра кончилась благополучно, но вполне могло и не повезти.

Этот незначительный случай я несколько раз вспоминал, когда война вошла в Германию; после всех потерь, после всех нервных надрывов, — вы оказались в логове зверя, расписанного пропагандой сплошным черным цветом. Тут хмель вырастает до масштабов цунами и происходит то, что Ионеско описал как превращение людей в носорогов. Я сам, проходя мимо черного щита с надписью «Германия», почувствовал в себе что-то носорожье. Но через день, на задах какой-то фермы, я увидел обнаженный труп девушки лет 16—17. Ум, набитый словами о зверствах фашистов, попытался построить подходящую фразу, но остановился на полдороге. Это не они. Это наши наделали. Захватили какую-то медсестру из фольксштурма (гражданского населения там не было), — захватили, раздели, изнасиловали и убили. Образ сплошь черной Германии был сразу смыт. Все заповеди стали на место.

Этот единичный случай в октябре 1944-го, в самом восточном углу Восточной Пруссии, был прививкой человечности. Меня она сразу вернула к самому себе. Но я уже был самим собой. Создать армию из сложившихся интеллигентов никому пока не удавалось. Чудо-богатыри, ошалев от рукопашного в стенах Измаила, не послушались Суворова, кричавшего — брать пашей в плен! Всех до одного перекололи. И наши, по мере движения к Берлину, по мере нарастания численности женщин, попадавших по пути, возвращались на три тысячи лет, к уровню греков, захвативших Трою, где все женщины становились их рабынями. Чтобы немки не сомневались в своем положении троянок, им показывали пистолет, и они покорно отдавались властителям. Были отдельные случаи самоубийств. Были поиски защитников. Например, к майору Череваню, заместителю редактора дивизионной газетки, обратилась рижанка, говорившая по-русски, и попросила спасти киноактрису, спрятавшуюся между прочих женщин в бомбоубежище. Предприимчивый лейтенант там разыскал красавицу, увел с собою, а потом, насытившись, отпустил. Но он по-своему был хорошим товарищем и стал угощать всех своих знакомых. Актрису уводили за день три раза и собирались уводить четвертый раз. У Черевани не было уверенности, что лейтенант, выслушав выговор и обещав оставить актрису в покое, выполнит свое обещание.

Я гулял по району Берлин-Лихтенраде, обойденному войной, и ко мне бросилась женщина с криком: господин лейтенант, мою дочь... То, что я увидел, было совершенно неожиданным. Старший сержант, довольно пьяный, стоял с пистолетом в руке и с лицом, по которому текла кровь. Девушка пустила в ход ногти. Старший сержант был глубоко возмущен, что она не признает своего долга наложницы победителя, и выражал свое возмущение словами, к которым привык. Выслушав мой приказ, он пошел за мной, по-прежнему держа пистолет в руке и ругая скверную девку, но, я думаю, довольный тем, что я вывел его из неловкого положения. В контрразведке его заперли на ночь, а утром отдали пистолет, и он ушел в

часть.

Это исключение из правила, а вот типичный случай, рассказанный писателем Злобиным. Лейтенант встречает утром своего друга и спрашивает: «Ты сколько раз сегодня отомстил?» — «Два раза!» — «А я — три!». Так могли разговаривать два Аякса, только не пользуясь словарем советской военной прессы, говорившей о мести фашистам и т. п.

Из Берлина нас вытурили в Судеты, и я, бродя по судетским холмам, вспоминал «Торжество победителей» Шиллера и пытался свести концы с концами. На уровне героев Гомера все было в порядке, но куда исчезли три тысячелетия? И что осталось от идеологии, с которой я начал войну? Через пару недель хмель победы улегся. Заработал юридический механизм. За немку давали пять лет, за чешку десять. Но как стереть след разгула? Глядя на разглаженную форму с белыми подворотничками, я в иные мгновения чувствовал под ними носорожки шкуры. Чувство отвращения прочно смешалось с чувством победы. Это прорвалось в моих заявлениях о демобилизации и определило мою судьбу на добрый десяток лет.

Между тем, все шло своим порядком, походным порядком, которым армия шла домой. Шли, шли — и оказались по соседству с Майданеком. Мы знали цифры геноцида, мы читали статьи Гроссмана и решили посмотреть это проклятое место. Я не ждал, что оно меня потрясет. И вдруг я остолбенел перед бараком, до половины набитым детской обувью, слипшейся в ком. Я не вдумывался раньше, что полтора миллиона из шести — дети.

Шесть миллионов смешивались в моей памяти с нашими огромными потерями на войне. На наших глазах стрелковые полки превращались в стрелковые взводы и в стрелковые отделения — и судьба пехотинца мало отличалась от судьбы узника в лагере смерти. Но дети... Эти полтора миллиона детей были черной дырой в памяти и еще одним причастием, дошедшим до глубины сердца. Еще одним причастием несмываемому чужому горю. И не последним.

Опускаю несколько передрыг: Лубянка, Бутырки, лагерь — и амнистия после смерти Сталина. Амнистия теоретически позволяла мне вернуться к преподаванию литературы. Но практически меня взяли только учителем в станице Шкуринской. О прошлом там не говорили, но постепенно оно прорывалось. В 1933 г. станица была на черной доске за невыполнение плана хлебозаготовок. Ее оккупировали войска, никого не выпускали и постепенно выхватывали то одного, то другого (кажется, «за саботаж»). Но от этого хлеба в клунях не прибавлялось.

Завуч Батраков рассказывал про своего отца, старого коммуниста, директора небольшой фабрички, мобилизованного на выполнение плана хлебозаготовок. В первом же доме, к которому он подошел, хозяина уже не было, забрали. Хозяйка молча отдала ключи от клуни. В углу лежала

кучка кукурузы. Женщина молчала. Пятеро детей, облепивших ее, тоже молчали. Без объяснений ясно было, что до нового урожая едва-едва хватит. Батраков-старший бросил ключи хозяйке под ноги и ушел. Его исключили из партии, сняли с работы. Старик долго болел. Мой собеседник (в то время подросток) как-то стал пересказывать радиопередачу о врагах народа. «Еще неизвестно, кто враги», — прохрипел умирающий.

Про Украину в Москве больше знали, у многих там были родственники. Про Кубань знали меньше и совсем мало — про Казахстан. Только в 60-е годы я услышал тамошнюю статистику вымерших с голоду, цифра была семизначная.

Прошло несколько волн событий, открылись пути на Запад, и в Швейцарии до меня дошло еще одно чужое горе. Я знал о нем по Маяковскому: «солдат полковника сбивает с мостков...». Так эвакуировалась Белая армия из Крыма. Но в Швейцарии мы подружились с Людмилой Владимировной Сухотиной, прожившей эту трагедию, еще не раскрыв глаз. Несколько раз она говорила: «я родилась на рейде Севастополя». Отец ее, полковник Сухотин, втолкнул на палубу свою молоденькую беременную жену. На палубе она разродилась. Младенца завернули в какие-то грязные тряпки, матросы чуть не выбросили их за борт. Через полгода молодая мать умерла, не выдержала жизни, в которую судьба занесла. Ребенка подобрала бабушка, но вскоре и та умерла. Девочку взяли в приют, она забыла первые русские слова, но через несколько лет ее нашла прабабушка и заново учила русским молитвам.

Людмила Владимировна уверенно делила приехавших из советской России на русских и советских. Русские были те, в ком она улавливала дух русской культуры, а советские — кто старое впитал клочками, цитатами в советском контексте. Стихи Зинаиды Миркиной слушала со слезами, и мы как-то сразу подружились, несмотря на то, что приехали из разных миров. Каждый раз, вглядываясь в подаренный ею пейзаж (она хорошо рисовала), я испытываю волну сочувствия. И к ней, и ко всей этой человеческой волне, выброшенной революцией из России.

Я знал людей, у которых сочувствие своим закрывало душу чужим. У меня этого не было. Я сочувствовал солдату, которого никак не могли повесить на степном перекрестке, и меня потрясла убитая девушка в Восточной Пруссии. В Берлине меня окружали чужие-свои и свои- чужие. В одну из женщин, с которыми мы встречались в Берлин-Лихтенраде, я был даже немного влюблен и принес сумку консервов, когда мы уезжали в Судеты. Но почему это сочувствие оказалось таким редким весной 1945 г.?

Думая об этом, я возвращаюсь к крошечному эпизоду в октябре 1943 года. Когда я, во хмелю от победы, бросился без оружия брать село Калиновку, втянулся в бой и довольно успешно командовал вторым

штурмом. Этот эпизод, как капля воды, содержит в себе все передраги, происходящие в голове, где хмель борется с разумом и разум с хмелем. И по той же схеме можно понять более крупные события.

Сталин, охмелев от зимних побед 41/42-го года, снял с поста начальника штаба, маршала Шапошникова, предлагавшего весной 1942 г. перейти к стратегической обороне. Об этом я не раз уже говорил. Шапошников был прав: при полном господстве немцев в воздухе и возвращении боеспособности замерзшим танкам попытки продолжать наступление были безумием, и немцы это безумие с радостью поощряли и создавали видимость отхода, а потом, когда ловушка достаточно углубилась, захлопнули и ее. Любопытно, что сержант-связист Лесников, воспоминания которого мне передала его дочь, совершенно ясно понимал обстановку, и многие другие понимали, что Сталин в своем подземелье на станции Кировская (ныне Чистые пруды) видел только то, что хотел видеть (как и накануне войны он видел только, что немцы не шьют зимнего обмундирования, а следовательно, не думают воевать).

Дальше опьянел Гитлер и не удержался направить свои танки по двум расходящимся направлениям: к Волге и на Кавказ. Мобилизовав румын, итальянцев, венгров, испанцев, он растянул фронт на несколько тысяч километров. Он забыл, что даже в 1941 г., при общей катастрофе советских армий, штурм городов оказывался нелегким делом и молниеносные удары не удавались. Оборона Сталинграда, не поддававшегося ни танкам, ни самолетам, дала советскому командованию собрать резервы, а румынские, итальянские и прочие части сделали немецкий фронт Ахиллесом, у которого пятка всюду. И на этих пятках советские ополченцы научились военному мастерству.

Флаг со свастикой, поднятый на Эльбрусе, заставил Эйнштейна раскрыть Рузвельту возможности атомной бомбы. Работы по созданию бомбы заставили Сталина торопиться и двигаться на Запад, не считаясь с потерями, обескровив несколько поколений. И если выход советских войск на Эльбу избавил Европу от атомной смерти, то он же довел до максимума хмель победы и обрушил на Восточную Германию орду, жаждавшую натешиться, насладиться победой.

Перемену армии можно выразить двумя пословицами. Лозунг 1943 года, брошенный в «Вольном слове Фомы Смыслова», был разумным: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим»; и действительно, в 1943-м был достигнут перелом в войне. Но в 1944 г. разумный тон исчез, его заменил безумный, хмельной, залихватский: «русские прусских всегда бивали, наши войска в Берлине бывали...». Что бывали в Берлине — да, бывали, в XVIII веке, и вели себя прилично, а все остальное — бред, разгул воображения, будивший безумие в офицерах и солдатах, толкавшее их поведение назад на три тысячи лет. И три тысячи лет цивилизации были смыты вместе с окопной грязью. Бродя по судетским холмам, я

пытался понять добродушного сержанта, показавшего немке пистолет и очень возмущившегося, когда она стала царапать ему лицо.

В эти дни насилие и грабеж были нормой, за них никого не наказывали. Этим хвастались. Завелась игра — меняться ограбленными часами, ручными и карманными. Фрау Рут, у которой мы стали на постой, говорила мне, что немцы больше не будут производить часов менее двух метров в высоту (такие часы только и остались у нее). Понимая по-немецки, я вынужден был слушать ее остроты и не знал, что на них ответить. Чужое горе стало для меня своим стыдом.

В городе Форст, с которого Конев повернул нас на Берлин, я застал, среди бела дня, старушку, лежавшую в постели. «Вы больны?» — спросил я ее. «Семеро солдат, — сказала она с кривой улыбкой, — и на прощанье воткнули бутылку, горлышком внутрь. Мне трудно ходить». Это дикий единичный случай, подумал я, — все на войне бывает. Но Берлин. Только в Берлине, в заранее воспетом конце войны, хмель победы вырвался на полную волю и растоптал и разум и совесть. Это не было победой антигитлеровской коалиции, победой над фашизмом, победой над злом. Это было реинкарнацией зла, победой в духе Сталина, укравшего у народа его подвиг, победой изуверской пропаганды, охмурившей не только малограмотных солдат, но и полковника, начальника артиллерии нашей дивизии, наводившего порядок в коллективном изнасиловании одной немки²⁹.

Немцы, с которых мы сбили хмель, укрепили свой разум и ушли вперед, а наша пиррова победа мстит до сих пор за себя, превращая хмель в хроническую национальную болезнь. И, видимо, лечение от нее будет долгим и тяжелым. Я хотел бы кончить откликом Зинаиды Миркиной на одно из первых побоищ перестройки:

Ну что же, раз пришло, то заходи.
Огромное, косматое. Лихое.
Мне надо уместить тебя в груди Со
всем твоим звериным, диким воем.
Чудовищное горе. Время игр Давно
прошло. Померкли небылицы.
В мой дом ворвался разъяренный тигр,
И с этим тигром я должна ужиться.
Выталкивать нельзя. Иначе съест И
ближнего и дальнего соседа, —
Всех, кто беспечно лепится окрест И
ничего о нем не хочет ведать.
Не вытолкнуть. Но и не продохнуть.
О, если бы судьба сняла излишки!

²⁹ Начальник политотдела, подполковник Товмсян, завел на полковника партийное дело; но политотдел армии приказал дело прекратить и бумаги сжечь, а полковника перевели в другую дивизию.

Что значит всё вмещающая грудь
Придется мне узнать не понаслышке.

Зинаида Миркина

Григорий Соломонович говорил о победе, которая может победить самого победителя, превратить его из защитника, рыцаря добра, в палача. Победа человека над человеком не должна переходить некой черты. Христос отказался от победы над своими мучителями, оставив нам поразительные слова: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». В Евангелии есть две как бы противоречащие друг другу фразы: «Взявший меч от меча и погибнет» и «Не мир, но меч». Но речь во втором случае идет о другой битве и о другой победе — не над злыми, а над Злом, не над грешниками, а над грехом.

Бывают случаи, когда зло так слилось со своим носителем, что их невозможно разделить. Битва с фашизмом была необходима. Но боец, защищающий мир от зла, много раз заразился злом. Как избежать этого?

Святой негр из фильма «Зеленая миля» вдыхает в садиста полицейского всю негативную энергию, которую он как бы вынул, выкачал, спасая умирающую женщину. При этом ни единой капли злорадства, довольства победой над этим выродком, никакой ненависти — только огромная боль за то, что человек безнадежен. Боль такая, как будто он оторвал кусок собственного тела. Для святого всякая чужая боль — своя боль. Но если она неизлечима, приходится отрубать больной член.

Это чувство чужой боли, как своей, свойственно не только святым. Однажды пятилетняя девочка сказала мне: «Если я вижу ранку — у животного или человека — всё равно, — это моя ранка. Если кому-нибудь больно, это мне больно». Слова эти пронзили меня в свое время. Но девочка выросла — и слова эти забыла. Однако, хоть и редко, но есть люди, в которых подобные чувства вырастают вместе с ними.

В буддийской притче, очень любимой мной и много раз пересказанной, Будда вырезает кусок своего тела и кладет на весы, чтобы уравновесить маленькую голубку, за которой гонится тигрица. Но голубка перевешивает все куски. Это длится до тех пор, пока сам Будда, весь Будда не становится на весы.

Как же быть? Можно ли за каждого другого (чужого) отдавать всего себя? М.Цветаева так кончила одно свое стихотворение:

Смотрю на след ножовый —
Успеет ли зажечь До
первого чужого,
Который скажет: Пить!

А может, и не заживет след и погибнет человек, как князь Мышкин, который не мог не откликнуться на чужую боль и себя мог отдать за каждого?

Отдал Себя и Христос. Но аналогия здесь не полная, и в это надо вглядываться пристальнее (что мы потом и постараемся сделать).

Князь Мышкин, по-моему, уникальный образ святого в светской литературе. Было немало литературных героев бесконечно добрых, жертвенных, светлых. Но святой — это другое. Святой — это человек, дошедший до источника Света; человек, который светится и светит всем. Человек, который зачерпнул живой воды из источника жизни и которому ничего не надо для счастья извне. Он все имеет внутри. «ІсѢ ЪаѢе депид». Так называется и так начинается одна из кантат Баха, где человек, уходящий из мира, изливает в мир весь собранный в душе свет. «У меня всего достаточно. Мне больше не нужно».

Так нищий, приехавший с узелком из Швейцарии больной юноша, поражает всех здоровых и богатых своим умением быть счастливым, способностью светиться, точно в нем и впрямь источник света. Он соединился с ним, подключился к нему.

«— Вы что, влюблены были? — спрашивает князя одна из Епанчиных.

— Нет, я по-другому был счастлив».

Он был един с миром, с его красотой. Он просто переливал эту красоту в душу, отдавался Ей, и Она отдавалась ему. Он был открыт каждой душе. И, конечно, был естественным рыцарем всех обиженных. Так переломил он жестокость детей, которые из гонителей несчастной Мари превратились в ее защитников.

Так он думал повернуть и души людей в России. Однако приехал он не к детям. Не дети окружали его, а взрослые с упрямым, почти окаменевшим эго. Что делать в таком случае?

Сейчас (во всяком случае несколько лет тому назад) была тенденция развенчивать князя. Он превращался в отрицательного героя, который делал все не так и плодил вокруг себя одни несчастья. Да, если смотреть по результатам дел, то так оно и есть. Но есть другие мерки и другой взгляд. И Христос был побежденным, поруганным и оплеванным. Однако, дай Бог вырастить то, что Он заронил нам в души. Повторю — князь едва ли не единственный образ святого в светской литературе. И вот вопрос: как святому принести в мир свой свет?

Он не может не откликнуться на чужую боль. Каждая боль — его собственная. И когда Настасья Филипповна спрашивает его — счастлив ли он, в ответ раздается: «Нет! Нет! Нет!». Не может он быть счастлив, когда она так несчастна.

Да, боль каждого — его боль. Но ведь счастье его — не его личное счастье. Его счастье может и должно быть счастьем всех. Ведь его делает

счастливым не богатство и успех, не обладание любимой красавицей, вообще никакое не обладание, а Дерево, которое он видит. Но ведь это Дерево видят все, а почему-то счастливым это делает его одного.

У него одного нет «эго». Нет скорлупы, отделяющей его от других душ и от самого источника света. Его душа — прозрачная, не заслоняющая света. Поэтому свет виден сквозь него, через него. И те, кто истинно любят его, должны бы смотреть *сквозь* него на единый для всех свет. Но окружающие его люди смотрят не *сквозь* него, а *на* него.

Более того — они хотят присвоить его, разорвать его на части (что им и удается в конце концов).

Так чьи желания должен исполнять он? Их бесчисленных эго или своего светящего им всем сердца?

Он растерян. Ему очень трудно. Не раз появляется мысль — уехать обратно в прекрасную Швейцарию. И не может он уехать. Его бесконечно доброе сердце ранено чужим горем, пронзено им. Он не может оставить этих безумных людей; не может бросить на растерзание Настасью Филипповну. Хотя уже ясно понял, что помочь ей тоже не может. Тут ничего нельзя *сделать*. Тут нужно только *быть*. Есть такие положения, когда мелькающая горизонталь бесчисленных дел, поступков должна быть пересечена некоей вертикалью неподвижного бытия.

Это — отрешённость. Ее часто смешивают с равнодушием, эгоистическим безразличием. Хотя на самом деле это антонимы. Не может быть эгоизма там, где нет эго. У святого нет эго. Оно пробито насквозь.

Он — не только он. Его душа принадлежит всем. Он живет в единстве с миром и потому стал самой любовью, которая излучается из него, как свет из солнца. Да, у него нет эго. Но он окружен сплошным кольцом других «эго». Так вот, теперь надо уметь не отвечать им, не раскармливать их, а напротив, освобождать бессмертные души людей от слепого жадного смертного «эго».

В каждом человеке есть эго и — гораздо глубже — Божественная сущность. Отрешенность — это укрепление связи с божественной сущностью и разрыв с эго — всяким: своим, чужим.

Но для этого нужна большая душевная сила и некоторый опыт. Эго настойчиво, хитро, упрямо. Оно заведет в тупик и того, кому принадлежит, и того, кто хочет спасти запутавшегося человека.

По сути, само существование человека без эго — это великая помощь запутавшемуся миру. Его ясность, гармония, любовь — некий маяк в темноте. И ничего не надо хотеть от такого маяка, кроме того, чтобы он *был*.

Князю не нужно от Дерева ничего, кроме его бытия. И если Настасья Филипповна и Аглае ничего не нужно было бы от князя, кроме того, что он есть. Если бы!... Но каждой нужен «мой» князь, как всем людям нужен *мой* Бог, *мое* имущество. «Мое», «мое», отталкивающее другого. Если бы

князю хватило силы оторваться от этих протянутых рук, присваивающих его!.. Если бы его Божественная сущность укрепились бы сама в себе, тем самым помогая укрепиться и проявиться Божественной сущности других людей... Вот для этого нужна отрешенность.

Майстер Экхарт считал отрешенность самой главной добродетелью, ставя ее выше любви. Он говорил, что отрешенность без любви невозможна, а любовь без отрешенности возможна. Отрешенность свободного от эго человека — это великое одиночество, на которое отваживается отшельник. Это одиночество вовсе не противопоставление себя миру людей. Нет! Томас Мертон говорит о таком одиноком отшельнике, что «им движет не горечь или досада, а жалость ко всей вселенной, преданность человечеству. Он бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы *“в себе залечить все раны мира”*». Это бесконечно емкая фраза. Весь мир в тебе. Все раны мира — твои раны. И залечивая их в себе, ты лечишь мир. Твое бытие становится бытием света (ты дал ему вместиться в себя и расправиться в тебе). Ты несешь людям гармонию. Ты *знаешь* выход из любого горя, из самого ада. Солнце доносит свет только своим бытием. И все.

Но если человек в темнице? Если у него такое горе, что свет солнца до него не доходит? Если он уже жить не может — мука превзошла меру?..

Тут я приведу пример, который уже приводился в прошлых беседах, но сейчас без него не обойтись. Это пример самого великого и действенного сочувствия, который я знаю.

К Рамакришне пришел однажды человек, потерявший своего единственного 24-летнего сына. По лицу человека текли слезы. Рамакришна взглянул на него, всплеснул руками и зарыдал. Три дня он рыдал вместе с отцом погибшего. А к концу третьего дня — запел гимн Богу. И отец запел вместе с ним.

Этот рассказ пронзает меня, как ничто другое. Смерть близкого может затмить солнечный свет. Человек тонет в своем горе, как в морской пучине. Так вот — спасающий не стоит на берегу. Он бросается в эту пучину. Он борется с ней *вместе* с утопающим. Но он — лучший пловец. Он в своей отрешенности накопил великую душевную силу. Он знает нечто, что глазами увидеть нельзя, руками потрогать нельзя. Но он это видел и осязал. И соединившись с человеком в его боли, в его безвыходном горе, он ведет доверившуюся ему душу за собой. И в безвыходности находится выход.

Но прежде, чем броситься в пучину горя, надо накопить силы для преодоления пучины. Надо не только хотеть помочь. Надо мочь. Для этого и нужны отрешенность, созерцание, безмолвие.

Что делаю? Да ничего.

Вдыхаю Бога своего.
Пью этот световой настой,
Впиваю сердцем Дух Святой.
О, если б я сказать сумела,
Что в мире нет важнее дела,
Чем это! Если б я смогла
Сказать, как мелки все дела
Без этого! Все наши битвы
Без этой истинной молитвы
Проиграны, хоть гром побед
Сопровождал их сотни лет.
Что делаю? О, Боже мой!
Учусь Твоей любви немой,
Учусь Тебе. О, научи,
Чтобы из глаз текли лучи,
Чтобы из слов струился свет,
Заливший весь позор побед.

...Да, не победа одного над другим, а вмещение внутрь себя целостного духа, охватывающего всех. Безмолвие, в которое погружается Серафим Саровский, продержав много часов Мотовилова в долгом, не определенном внешним сроком молчании. Он вобрал в себя безымянную творящую силу жизни — Дух Святой. И когда вышел к Мотовилкову, он действительно светился и мог *показать* действие *Святого Духа*.

И вот о чем еще очень важно сказать: боль бывает не только у Божьего творения, боль знает и Бог. И когда наши души делают что-то не то, живут не так, как задумано Богом, это причиняет Ему бесконечную боль.

Мы знаем о безмерном страдании Богочеловека — человека, начисто лишенного эго. Перед ним стоит задача, представляющаяся нам непосильной.

Дело Его — это мира приятие Внутрь
себя. Вплоть до муки распятия.
Мир весь вместить до последней частицы.
Так, чтобы каждой душе причаститься.
Так, чтоб не в грезах ума, не в виденьи —
В сердце своем ощутить воскресенье.

Петр, как известно, предлагал Христу избежать распятия. Что означали слова Христа «Уйди от меня, сатана. Не о небесном думаешь, а о земном»? Что такое небесное? В чем небесная воля? Воля Отца?

Это самое трудное на свете — Высшая воля — воля, велящая принять внутрь ВСЁ, ничего не отталкивая, *ничего* не оставляя вовне. То, что не принято внутрь, оборачивается неумолимой судьбой, несильным роком. И Бог, Тот, кто внутри, оказывается не несильным, не всеобъемлющим, не независимым. Он зависит от чего-то внешнего. В античном мире есть богоравные герои и рок, стирающий их в порошок. Сами античные боги

(все языческие боги) подвластны року.

Рок — вовне. И пока ты не взял всё внутрь, как бы могуч ты ни был, ты раб более могущественного господина. Но Христос — ничей не раб. Он — Сын творящего мир Духа. Он абсолютно свободен только потому, что ВСЁ принял внутрь Себя.

Однако цена этой Божественной свободы — великая мука, превосходящая все наши представления. И в предчувствии этой муки Иисус впервые попросил своих близких помочь Ему. «Пободрствуйте со мной. Душа моя скорбит смертельно». Так Он говорил. И плакал кровавыми слезами.

«Пободрствуйте». Но они спали. Сил на такое бодрствование у них еще не было. И Христос знал это. Петр не знал меры своих сил и поклялся, что никогда не отступится от Учителя. Но мы знаем, что произошло. И Христос это предсказал: «Прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». Так и случилось. И однако, пришло время Петру очнуться. Сила любви все-таки была в нем больше земного инстинктивного страха. И Христос видел это и простил его. Сама Любовь простила его, потому что она в нем БЫЛА. Она очнулась и вошла в свою силу.

Для того, чтобы помочь Богу, для того, чтобы боль Божья не была для нас чужой болью, нужна великая, не одолимая ничем сила любви. И тогда человеку некуда деться от любви. Он поймет, что теряя ее, себя потеряет, всё потеряет. И любое страдание покажется ему меньше, чем эта потеря. И он примет любое страдание. И только таким образом дорастет до воскресения. До того Воскресения и жизни вечной, которыми Христос уже является. Зерно этого есть в каждом из нас. Задача наша — вырастить это зерно. Почувствовать Божью боль как свою собственную. И не спрашивать Его «За что?», а помочь Ему, отдавая Ему всю свою силу, всего себя.

«За что?!» — спрашивают с языческого бога, который находится вне нас. Бог, которому учит нас молиться Иисус, находится внутри нас. И самое главное, что сказал нам Христос, это что Царствие Божие — внутри нас.

Он сказал это, поставив перед нами бесконечно трудную задачу. Он счел нас достойными этой задачи, открыв нам нашу Божественную высоту.

Наши университеты

Горький, которого мы все в юности читали, назвал свой жизненный путь «Мои университеты». Институт истории, философии и литературы дал мне лекции трех преподавателей, уцелевших во время Большого террора (Винокура, Гриба и Пинского), распоряжение администрации о тайном надзоре надо мной и закрытый путь в аспирантуру. Вторым университетом была война («не война, а одно убийство», — говорили в эвакогоспитале) и вопреки всему — радость риска под огнем. Третьим университетом была школа свободной мысли за колючей проволокой. Там же брошена была мысль, что всё, чему нас учили на лекциях, — только один угол, застроенный в европейском стиле, а мы сидим в этом углу, ожидая, пока та или иная бомба не покончит с нами. Так что пора покончить с высокомерием европейцев. Европа перестала быть авангардом истории. Советский авангард не состоялся. Идет формирование глобального диалога. Складывается многоликое единство Земли.

Выйдя на волю по амнистии, весной 1953 г., я стал заглядывать в русские книги по Востоку, но их было мало, и окошком в мир оказалась работа библиографом в Фундаментальной библиотеке общественных наук. Там я убедился, что без старых цивилизаций Востока, ищущих новые пути, миру не обойтись.

Сегодня мы обладаем массой информации обо всем на свете, но нет никакой уверенности, что какие-то факторы не пропущены и не остались в тени. Более того: в массе поверхностной современности по телевидению, по интернету и т. п. потеряна *глубина* культуры и какие-то колодцы в глубину в сознании каждого человека. Потерян вкус к трудным книгам, на первое место попадает то, что не мучает совесть и не тревожит ум. Среди читателей классиков Чехов теснит Толстого и Достоевского. Об усталых тружениках, отдыхающих вечером у телевизора, и говорить нечего: сто лет тому назад их дедушки и бабушки были, скорее всего, вовсе неграмотными, но в народных песнях будило их сердце что-то большее, чем в мелькающих кадрах передач. И прогресс формирует смердяковых намного быстрее, чем карамазовых.

Я несколько раз уже предлагал ввести в среднее образование и на первых курсах институтов преподавание основ великих цивилизаций. В диалоге культур и культурных кругов складывается язык глобального взаимного понимания. А оно совершенно необходимо для выхода из клубка конфликтов, прикрытых общим равнодушием.

Эта проблема как-то ставится в книге «Великие религии мира», написанной нами вдвоем с З.А. Миркиной. Книга эта выдержала три издания, и все они давно разошлись, так что я уверенно говорю о доступности ее для многих школьников 10-го, 11-го класса и, безусловно, для студентов. В некоторых институтах она давно используется как учебное пособие. Основная идея этой книги сформулирована в заключительной главе: «Глубинное ядро одной религии гораздо ближе к глубинному ядру другой религии, чем к собственной поверхности». И главное препятствие на пути к мировой солидарности — массовая поверхностность, цепляющаяся за слова.

Может ли каждый гражданин почувствовать родство со всеми великими цивилизациями земного шара, рухнувшими и еще живыми? Это и мне недоступно. Но в какие-то трудные времена я находил колодцы в глубину и черпал из них ведро чистой влаги. К 1937 г. я каждую неделю часа два проводил в Музее новой западной живописи и в тишине его зал стоял у полотен Ренуара; потом до меня стал доходить Клод Моне и другие пейзажисты; а в конце концов и Пикассо, розовый, голубой. Никаких книг по искусству у меня тогда не было, я просто вглядывался и входил в безмятежный дух искателей света для сердца.

После войны я так же вглядывался в иконы Рублева, Дионисия и безымянных мастеров. Через несколько лет древняя икона, мертвая для большинства (и сегодня мертвая для большинства крещенных), воскресала для меня. Более того, она стала лучшим, что я находил в Третьяковской галерее. А в 60-е годы я так же вникал в средневековую китайскую «живопись гор и вод». Помогала жажда глубины, где чужое становилось своим. И постепенно расширялся круг своего в мировом искусстве и в мировом духе. Помогали этому и книги, которые я читал на работе, а частично брал на дом книги, передававшие духовный опыт своих авторов в исповеди и в искусстве. И мне хочется передать мой опыт пути к духовным окнам, пробитым в разных концах земного шара. В том числе в Индии и в Китае, где не было религиозных революций, подобных переходу к единобожию или переходу от Ветхого к Новому Завету.

Там старых богов не топили в реке, не ломали, как статуи Аполлонов и Венер. Их просто переосмыслили, дополняли новыми образами, отодвигая старые свойства в тень. В Китае (а по его следу в Корее и в Японии) примитивный образ космической женственности, «инь», дополнялся образами текучести, сумеречной мглы, туманов, а образ-иероглиф «Ян», символ мужественности, ассоциировался с образами

крутых гор, ясного света, красного цвета. Все это было зримо и толкало к развиту «живописи гор и вод». При этом конфуцианство толкало к четкому различию предметов, ясности линий, а буддизм - к таинственности мглы, из которой только чуть-чуть высовывались зубцы скал.

Я представляю себе образ дальневосточной живописи как веер; справа четкие образы, слева - то, что я назвал «иконами тумана». Можно по-разному разворачивать веер, открывая либо то, либо другое. В последних десятилетиях династии Сун, когда монголы уже захватили земли к северу от Янцзы, китайские пейзажи разворачивают картины наступающей мглы. Настроение, которое они вызывают, перекликается с картиной Левитана «Над вечным покоем». Предметы, изображенные там, другие, техника живописи другая, но что-то общее я чувствую. Отдельные примеры можно выбрать у других художников Нового времени в Европе. Но в Европе не было *культы* природы, а на Дальнем Востоке он был, и свитки Ма Юаня или Сэсю (продолжавшего эту традицию в Японии) остаются почти всегда непревзойденными.

Оставляю в стороне Индию — там религиозный и художественный гений нашел другие пути. Размеры статьи не позволяют разбирать и этот пример. Достаточно сказанного, чтобы понять многоликость духовного единства мира. Не нужно только смешивать многоликость форм с многообразием опыта зрителя и слушателя. Для меня глубина иконы открылась с Троицы, для Зинаиды Александровны — с образа апостола Павла; а в конце концов мы оба вошли в незримый храм, за дверьми которого скрыт мир Андрея Рублева. И помогала нам не поверхностная терпимость, а жажда найти в себе глубину, отвечая на глубину искусства иных времен и народов.

Терпимость, граничащая с простой вежливостью, сглаживает противоречия, покрывает их пленкой, которая легко рвется при кризисе. Германия была очень цивилизованной страной, но экономический кризис 1929—1933 гг. содрал с нее покровы, создававшиеся сотни лет, и Адольф Гитлер стал фюрером и рейхсканцлером, а очарованные им толпы — штурмовиками и эсэсовцами. Подлинный мир между народами складывается только в глубинах. Только на последней духовной глубине исчезает ненависть рас и вероисповеданий.

Я говорил уже в своих лекциях³⁰ об очень интересной конференции, состоявшейся в Лондоне в 1994 г., где Далай-ламу пригласили быть председателем. В 1997 г. материалы конференции были изданы. Я эту книгу прочел и нахожу ее одним из пособий в диалоге двух великих мировых религий. Хочется ее дополнить несколькими подобиями, анализируя спорные проблемы других вероисповеданий.

³⁰ См. «Парадокс Бухмана и диалог культур» на с. 18—26 настоящего издания. — Прим. ред.

Главные препятствия для такого диалога — не интеллектуальные, а нравственные, нежелание отказаться от чувства своего превосходства. Между тем, человечество, владеющее атомной бомбой и другими путями в ад, погибнет, если не сделает необходимых шагов. Пока что священнослужители защищают свою обособленность. А надо бы соединить свои усилия в поисках мирного решения мировых споров.

Я надеюсь, что Святой Дух поможет нам найти путь к спасению от угроз, нависших над нами: и от быстрой гибели, и от медленной смерти простым путем — удушением промышленными отходами. Я надеюсь, что религиозные объединения найдут свое место в этом святом деле и верующие найдут общий язык с иноверцами и с гуманистами, далекими от всякой догматики.

О духе цивилизации³¹

Некоторое время назад у меня сложился новый образ поэзии, очень простой: рождающаяся в груди звезда света и протянувшаяся от звезды линия. Довольно долгое время я чувствовал эту линию как луч, всё более и более слабеющий, как уходящий и теряющийся в темноте поток света.

Потом этот простой образ — линии или луча — начал дробиться, распадаться на ряд отдельных образов. Луч стал напоминать мне туго натянутый шнур, или ось, на которую нанизаны, словно ломтики хлеба, кольца, или круги. Каждое из колец существует отдельно, само по себе. А всё вместе — ось и нанизанные на нее кольца-круги — единый мир, единое целое.

И всё же эти замкнутые, каждое в самом себе, кольца взаимодействуют — сквозь некие невидимые прорези или каким-то иным способом, — образуя родственные, в чем-то созвучные друг другу миры. Но тогда представление о том, что связь колец-микромиров осуществляется единственно посредством шнура, на который они нанизаны, — тогда оно становится неполным, тогда оно явно страдает упрощением.

На самом деле таких осей, или шнуров, или, скорее, струн, несколько — словно это фантастическая, грандиозная вселенская гитара, соединяющая кольца-круги не одной, а целой группой струн. Звучат они по-разному: одна вдруг начинает доминировать, потом стихает, зато усиливается звучание другой струны. При этом может быть так, что не одна, а несколько струн глохнут, другая же группа струн, напротив, становится ведущей.

Когда я думаю о современном мире, с его десятками и сотнями звучаний, мне нужно сделать над собой усилие, чтобы отвлечься от всей этой разноголосицы и вспомнить то, что ее объединяет: существование какого-то сквозного всепроникающего звука или, скорее, сквозного

³¹ Последнее эссе Григория Соломоновича Померанца — записанное на диктофон (З.А. Миркина).

всепроникающего духа — духа движения цивилизации.

В древнейший период такой разногласия не знали. В частности, мир египетских пирамид единствен, уникален. Но с появлением соседей возникает и процесс влияния на этот монолитный мир, процесс приятный и отторжений чужого, чуждого.

В Древнем Китае мы видим уже систему нескольких на равных соперничающих учений. Цинь Шихуанди с его свирепым деспотизмом вмешался в этот процесс и многое в нем разрушил. После убийства его наследника и неизбежного развала великого царства система выработанных до Цинь Шихуанди учений вновь овладела умами, хотя не в прежнем объеме. Менее существенные из этих учений ушли, отсеклись, но главные уцелели.

Академик Конрад говорил мне о четырех незыблемых столпах китайской культуры — кун дзы, синь дзы, дао дзы и лао дзы. Древнекитайские мудрецы не сомневались, что наличия этих фундаментальных основ достаточно для существования культуры, всё прочее — излишне.

Главенствующее место в этой системе принадлежало учениям Конфуция и Будды. Вторжение в страну монголов (в XIII в.) не остановило переключки конфуцианства и буддизма. Когда император, сбросивший монгольское иго, задумал перебить буддийских монахов, один из мудрецов предостерег его словами о том, что голова, отрубленная у монаха, вырастает снова. С тех пор массовые убийства, характерные для постбуддийской династии, прекратились. А кое-какие формы буддизма — их можно назвать апофатическими — пережили новый расцвет, вплоть до XVII в., когда на императорском престоле утвердились манчжуры.

Но Новое время не стало дожидаться манчжурской династии. На переломе столетий вышли в океан корабли из Европы. Чтобы вывозить пряности морем, европейцы основали фактории на берегах Индии и Китая. Позже пустились в трехлетнее странствие вокруг Земного шара корабли Магеллана. За Магелланом последовали испанцы и португальцы, захватившие и превратившие в свои колонии архаические царства Мексики и Перу.

В XVII в. Галилей с помощью примитивного телескопа обнаружил в небе спутника Сатурна, и таким образом открылась бесконечность, сплошь заполненная космическими мирами. «Открылась бездна, звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна». Церковь в лице инквизиции восстала против этого открытия, и Галилей был вынужден отречься от него. Но во Франции, где инквизиция заметной роли не играла, Паскаль мог свободно рассуждать о «бесконечности миров, из которых каждый имеет свой небосвод».

Следующее грандиозное событие связано с английским кораблем «Мэйфлауэр», который в ноябре 1620 г., обогнув мыс Код, пристал к берегам Северной Америки. С этого времени начался процесс формирования Соединенных Штатов и тогда же, вместе с ним, одновременно —

процесс противостояния двух колонизаций: южно- и североамериканской, расколовшей всю Северную Америку на Север и рабовладельческий Юг. Противостояние закончилось кровопролитнейшей войной, в которой Север одержал победу.

Между тем по сути это было столкновение двух Европ — Европы феодалов, представленной аристократией Юга, и Европы буржуазной, уже сложившейся в ту пору. Победа Севера казалась безусловной, тем не менее противостояние длилось вплоть до 60-х годов века XIX, и отголоски этой розни живы до сих пор, пускай в завуалированном виде.

Нужно сказать, что в последние десятилетия завоеванные северянами южные штаты усердно заселялись мексиканцами, и это привело к тому, что рост населения на Юге стал опережать таковой на Севере. Но в отличие от динамично развивающегося, процветающего буржуазного Севера южные и восточные штаты были и остаются более инертными (ряд исключений только подтверждает правило). Их творческий потенциал безусловно слабее, и это создает проблемы, которые Соединенным Штатам придется, рано или поздно, решать.

Если переместиться теперь в Южную Америку, прежде всего нужно отметить, что появление мощной буржуазной культуры в Северном полушарии как было, так и остается единичным фактом. С Южным полушарием этого не случилось. Оно по-прежнему является конгломератом этносов, группой не вполне развитых цивилизаций, из коих ни одну нельзя назвать ведущей. Всё приходившее туда из Европы, наспех усвоенное, не полностью проработанное творчески, тонуло в глубинах местной архаики. Страны Южной Америки с их многомиллионным населением до сих пор сохраняют феодальные черты, хотя победа свободного труда на Севере вызвала и там волну освободительных движений — но движений незавершенных, не увенчавшихся решительным успехом. В размытых, рыхлых экономиках Южной Америки по-прежнему идет процесс брожения, поиски сильной и единой доминанты. То же касается и общественного строя этих государств.

Отчасти такое положение вещей объясняется географическим фактором. Если сравнить оба американских материка, легко заметить, что Северная Америка — это главным образом прерии с плодороднейшими почвами, озера и смешанные леса, тогда как большую часть Америки Южной занимают удушающе влажные тропические леса, обширные болота, предгорья и горы с их бедной фауной. И если Соединенные Штаты, прикупив у России Аляску, плавно, без каких-либо территориальных потерь, подошли вплотную к Северному полюсу, то Южная Америка кончается острым углом, за которым лишь океан и ледяная пустыня Антарктиды (здесь уместно вспомнить и о нашей Сибири, о тысячах километров вечной мерзлоты).

Но это не единственное «но», которым объясняется разительная

разница между двумя материками. Дело еще и в том, что Северное полушарие имело в процессе своего развития два центра, две опоры. Один из этих центров — Европа, другой — США. В Соединенных Штатах уже к XVIII в. сложился целый пояс, большой ансамбль, венок, составленный из высокоразвитых, с мировым статусом культур — английской, французской и немецкой. С Южным же полушарием этого не произошло: в культурном отношении Юг не более чем пасынок, придаток благополучного, талантливой Севера.

Думаю, выходом из общекультурной неограниченности, несобранности южноамериканского материка могло бы стать формирование там так называемых «дуговых» цивилизаций — в отличие от «круговых», наглухо замкнутых в себе цивилизаций вчерашнего и позавчерашнего дня (к примеру, архаичных царств Мексики и Перу). Дуга имеет форму, и вместе с тем это открытая система. Отсюда, на мой взгляд, главная задача Южного полушария — формирование неких творческих узлов, или же комплексов, аккумулирующих творческую волю и творческую энергию материка.

Теперь вернемся к одной из древнейших цивилизаций — китайской. Вопреки всем зигзагам истории, Китай был и остался верен четырем столпам своей культуры. Он неизменно возвращался на свою столбовую дорогу — к учениям кун дзы, синь дзы, лао дзы и дао дзы. И в этой верности устоям ничего не изменили ни монгольское и манчжурское нашествие, ни беспрецедентные перемены, которые несло с собой Новое время. Сегодня, в наши дни, по-прежнему держась своих основ, Китай сумел войти в динамику общемирового развития и добиться не просто впечатляющих, но величайших успехов на этом более чем не простом пути.

Примерно то же можно сказать и об Индии, хотя дорога индийской цивилизации была иной. Она началась задолго до Будды, с двух широко известных Упанишад, которые утверждали незримое, таинственное, не имеющее имени.

Первая Упанишада (УШ—VI века) складывалась из ответов старца на попытки его учеников определить суть сущего. Он отвечал им только двумя словами: «не это, не это». Таким образом, Упанишады не только предшествовали буддизму — они открыли ему двери. Ведь и Будда полагал, что ответ на все вопросы и недоумения — в молчании.

Во второй из Упанишад (VI век) рассказывалось о беседе отца с сыном. Отец спрашивал своего кончившего школу сына, что ему ведомо о глубинной истине. Узнав, что сын в глубины не вникал, отец прочел ему что-то вроде лекции, каждый абзац которой кончался словами: «И ты — это То». Что подразумевалось под этим «То»? Прежде всего — что оно не может быть переведено на будничные язык, поскольку это нечто идущее из тех глубин, которые незримы. Впоследствии из местоимения «тат»

возникло существительное «татхата», непостижимое с позиций обыденной жизни.

Борьба между положительной философией, утверждавшей ту или иную истину, и молчанием Будды длилась примерно тысячелетие. В конце концов остался лишь один из вариантов буддизма. Можно сказать, что Индия, создавшая буддизм, вынесла его за свои границы.

В Центральной Индии господствовал индуизм, а ее окраины — через буддизм — отошли к исламу. Возникнул целый ряд замкнутых индуистских и мусульманских княжеств, или царств, каждое из которых имело свои отличия: к примеру, кызылбаши, завоевавшие Иран, придерживались иного варианта ислама, нежели правоверные, для которых существовал только один ислам — Мекки и Медины.

Восстание сипаев и его подавление в середине XIX в. расчистили дорогу множеству ответвлений общепринятых религий, и в современной Индии практически любая территория отличается от соседней именно по этому признаку. К концу того же XIX века европейский фактор начал самым сильным образом влиять на жизнь страны. Рождались университеты европейского типа, возникали крупные металлургические производства — и всё это на фоне глубоко и прочно укорененной старины. Но более тесное знакомство с европейской цивилизацией не стало разрушительным для Индии.

Эта древнейшая страна не стала сопротивляться тому, что приносило время. Какие-то из элементов архаики она вживила в свою теперешнюю жизнь, какие-то преодолела и отбросила. Сегодняшняя Индия — естественное, органичное целое, где древняя красочность индуизма спокойно, пусть и в нарушение всякой логики, соседствует с функциональностью хай-тека, с его последними новациями (в металлургии, например, или в компьютерном деле). Во всяком случае это справедливо по отношению к Центральной Индии, основному массиву ее территорий.

Еще один пример алогичного сплава — доисламской религии и современности — являет собой Иран, вошедший в общемировой процесс наряду с Индией и Китаем.

Но всех быстрее и решительнее по этому пути продвинулась Япония. Будучи некогда одной из самых закрытых цивилизаций (начиная с XVII в. Страна Восходящего Солнца предельно сократила контакты с внешним миром), она не только с поразительной быстротой и чуткостью осваивала достижения европейской технической мысли, но и сама стала одним из главных поставщиков на мировом рынке технологий. И вместе с тем это страна, где чтут обычаи и уважают корни, где и поныне хранят верность традициям — не всем, разумеется, но очень многим элементам изысканной, загадочной для европейцев японской архаики.

Между тем процесс развития культуры шел и в странах, заселенных

эмигрантами, то есть в бывших европейских колониях, полностью сохранивших свой европейский облик, — в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Там усвоение западных образцов протекало вяло и, в общем, механистически. Слияния культур, чреватого открытиями, ведущего к нетривиальному, а то и новому взгляду на вещи, там не происходило. Да и откуда ему было взяться, например, в Австралии, если аборигены планомерно вытеснялись на север страны? Или в Канаде, где индейцев запирали в резервациях? Великий пианист Глен Гульд, пожалуй что, единственный представитель большой высокой европейской культуры, которого Канада может предъявить миру.

Заканчивая свой поневоле схематичный и, разумеется, неполный обзор деяний той неостановимой, не постигаемой рассудком силы, что зовется духом цивилизации, я бы хотел вернуться к началу моих заметок. К звезде поэзии, живущей в сердце и посылающей свой луч в пространство, в бесконечность.

Какова траектория пути света из сердца? Как скоро и каким образом иссякает сиянье этого луча? Долгое взглядывание в бесконечность, где луч теряется, привело меня к такой мысли: утраты света в бесконечности не существует и не может существовать. Я думаю, что луч, вырвавшийся из области сердца и устремленный вверх, попадает в сеть земных меридианов. Летя по ним и изгибаясь в соответствии с ними, он ударяется наконец о какой-то из возможных полюсов и покидает ноосферу, выходит за пределы Земного шара.

Дальнейшая его дорога — бесконечность, Вселенная, где он и замыкается неким таинственным для нас, чудесным образом. Я говорю «чудесным», поскольку время от времени оттуда, из бесконечности, из пенья сфер, до нас доходит весть о гармонии, о том, что жизнь по-прежнему творится ею. Разве искусство упомянутого выше Глена Гульда не есть такая весть свыше? Не есть одна из посылаемых в ответ сердечному лучу вестей?

Примечание

Нельзя вести речь об общемировом процессе перемен, не затронув вопроса о двух мировых войнах. Сдвиги в архитектонике цивилизаций, казавшиеся поначалу незаметными, вследствие этого фактора приняли обвальный характер. Первая мировая война дала мощнейший стимул к возникновению западно-восточных ассоциаций. Начало было положено Японией, все бросившей в тигель перемен — промышленность, торговлю, военное дело. Столь свойственное европейцам чувство собственного превосходства впервые было поколеблено именно в это время.

Вторая мировая война, в сущности, сокрушила европейский коло-

ниализм. Восток все увереннее захватывает позиции, до сих пор принадлежавшие Западу, западным монополиям. Даже в отсталой Африке колониализм переставал быть прежним, классическим колониализмом. Он там приобретал некие смешанные формы, где элементы племенного строя все чаще и все плотнее соседствовали с европейскими. Можно назвать имена тех из африканских лидеров или политиков, кто обладал воистину европейским мировидением, например Нельсона Манделу.

*27 ноября — 19 декабря — 26 декабря 2012;
3 января — 29 января 2013*

Зинаида
Миркина

Струна Давидова

И когда злой дух сходил на Саула, то
Давид, взяв гусли, играл.
И отраднее и лучше становилось Саулу, и
дух злой отходил от него.

(Библия)

Струна Давидова — это струна, которая отгоняет злого духа, рассеивает сгустившуюся тьму, готовую объять и погубить человека. Звонящая струна, как рассветный луч, как пробуждение. Восход Души, отгоняющей все слепые страсти и страхи.

Есть час души, как час Луны,
Совы час, мглы час, тьмы Час...
Час души, как час струны
Давидовой сквозь сны
Сауловы... В тот час дрожи,
Тщета, румяна смой!
Есть час души, как час грозы,
Дитя, и час сей — мой.

(М. Цветаева)

Мой, то есть главный час жизни. Час грозы. Час, может быть, грозный, как сам Страшный суд. Всё, с чем ты сжился, что казалось насущным, необходимым, оказывается тщетой, небылью. Ты сам как бы на грани небытия, тебе больно, как от ножа хирурга, но это не губительный, а спасительный нож.

Так, лекарским ножом
Истерзанные дети — мать
Корят: зачем живем?!
А та, ладонями свежа Горячку:
Надо. Ляг.
Есть час души, как час ножа,
Дитя, и нож сей — благ.

Это час обращения к глубине, час вызова той вечной силы, которой мы боимся и от которой уклонялись, но которая одна только необходима нам.

У св. Силуана есть знаменитые слова (мы не раз приводили их и будем приводить): «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Держать ум в аду, значит знать, помнить, что на тебя могут обрушиться все

муки мыслимые и немыслимые. Внешней защиты нет. От ада тебя никто не избавит. Он существует. И однако внутри тебя есть что-то, что больше ада, сильнее его. На поверхности, на горизонтали выхода нет. Но есть некая вертикаль, которая пересекает горизонталь. Явь, которая перечеркивает наши сны. И это — струна Давидова сквозь сны Сауловы.

Увидеть наши страсти, наши страхи, наши неразрешимые проблемы как сны, и — проснуться, отрешиться от них.

Майстер Экхарт считал отрешенность самой высшей добродетелью. Центр его проповеди об отрешенности — притча о двери и крюке (вероятно, стояке), к которому дверь прикрепена. Внешний человек — дверь, которую может мотать в разные стороны ветер, — человеческие страсти, страхи. Все дело в том, насколько прочно дверь прикрепена к своему стояку — незыблемому внутреннему стержню, который и есть Бог.

Если внешний человек крепко до неразрывности связан с внутренним, то он совершенно свободен в любых своих проявлениях.

Абсолютная неподвижность внутренней оси дает абсолютную свободу движений вовне.

Непонимание этого может быть источником великой путаницы: отрешенность может пониматься как неподвижность человека внешнего, как безразличие, равнодушие. На самом деле отрешенность и равнодушие антонимы.

Все внешнее, проявленное, чувственное остается живым и становится священным, если оно накрепко связано с внутренним. Тогда, что бы мы ни делали, мы действуем не от себя, а от Бога. Мы подключены к высшей воле, которая, однако, есть наша собственная воля, но глубинная.

Путь в эту глубину может быть аскетическим, а может — совсем не аскетическим. Я не знаю ничего более очищающего, возвышающего и отрешающего от всего временного, поверхностного, чем музыка Баха. Однако Бах отнюдь не был монахом. После смерти первой жены женился на Анне-Магдалене; имел от обеих жен двадцать детей. Был нормальным мужчиной, но только ни секунды не сомневаюсь в том, что каждое движение его коренилось в Духе, что сердце заполняло каждую клеточку тела — тело никогда не отрывалось от переполненного любовью сердца.

Это мне говорит его музыка. И она не может меня обмануть, как не может обмануть море, свет солнца или скрещение лучей в каплях дождя, которые когда-то явились для меня откровением о Творце.

Когда я смотрю на иконы распятия (или картины великих мастеров на ту же тему), я вижу почти потерявшую сознание Богородица, совершенно убитую горем Марию Магдалину и потрясенные лица других святых; когда я вижу Распятого, я сливаюсь с Ним всей душой в бесконечной боли. И все же чувствую, кроме этой невыносимой боли, еще что-то... Что-то незыблемое, то, что делает незыблемым смысл моей жизни.

Христос не был стоиком. Он плакал кровавыми слезами в Гефсимании, стонал и кричал на кресте. Я вместе с Ним. И все же сквозь страшную муку ощущаю Свет. Это Он сам, Христос, оставшийся самим собой, то есть Светом и Любовью, несмотря ни на что. Прошел через ад. Вынес невыносимое. Но Его внутренний человек был незыблем. И потому я чувствую свет, который светит во тьме, и тьма не объяла его.

Этот свет на дне смерти, свет сквозь смерть и есть отрешенность. Не стоическая выносливость внешнего человека и ни в коем случае не отъединенность от мира внешнего, а прохождение через всю невероятную боль внешнего человека в таинственную незыблемость человека внутреннего.

Душа отрешенного человека всегда настезь открыта. Никакой стены, отделяющей от внешнего мира, никаких заслонов. И, открыв себя всего до последней глубины, он открывает эту глубину всем и всех зовет туда. Он открывает сияние этой глубины, которая вовсе не только его глубина. Она — единая во всех. Она равно принадлежит всем. Но люди разъединены во внешнем пространстве и отождествляют себя с внешними чертами, сами отчуждаются от своей вечности.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся» означает: пройди через смерть и воскресни. Представить себе этого мы не можем. Поэтому мы реализуем метафору и представляем себе вставшую из гроба и потом вознесшуюся на небо плоть.

Я сейчас не обсуждаю, так это или не так. Я много раз говорила о моем незыблемом чувстве всемогущества Божьего. Богу всё возможно. Но нам надо понять, что Ему нужно. И почему, когда Петр хотел избавить Христа от распятия, он услышал: «Отойди от меня, сатана, не о небесном думаешь, а о земном»? Так вот, — плоть — это земное. Оно (она) священо, когда стоит на втором месте после небесного, когда соблюдается верная иерархия. И мы будем говорить сейчас о небесном, а не о земном. Всё, что можно увидеть глазами, — земное. Всякое явление — земное. Что же небесное? Наша Суть. Незримая. Непредставимая. Вечная. Когда Христос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь вечная», Он говорил о своей Сути, которая не была и не будет когда-нибудь (через три дня или через тысячу), а есть всегда. Дух есть всегда. И духовная задача, поставленная Силуаном, посложнее любой физической: не отчаиваться в аду.

Адом могут быть пытки, а может быть расставание навсегда с самым близким, сросшимся с тобой человеком.

Мне ничего страшнее нет Угрозы
твоего ухода.

Но дан душе один завет:
Отыскиванье в бездне брода.
Молчат моря. Безмолвен лес.
Следы последние исчезнут.

Но кто сказал «Христос воскрес!»,
Тот отыскал свой брод сквозь бездну.

Наша задача — отыскивание брода в бездне. Но ведь его нет! И все-таки он есть.

Мы хотим утешения. Но истинная религия — не утешение, а расширение души до бесконечности. Уничтожение предела. Вход в беспредельность. Беспредельность физическая, внешняя — это ужас, беспредел, чудовище.

Беспредельность духовная, внутренняя — это ликование, любовь. Это обретение нового измерения, ощущение слияния своей души со всем миром. Океаническое ощущение себя, внутри которого — все и всё.

Не утешай меня, не утешай!
Дай мне испить до дна всю безутешность!..
До дна, до края и еще — за край —
Один бескрайний может стать
безгрешным. Мой дух всей болью
мировую пьян,
И сам себя во веки не измерит. —
Когда передо мною океан,
Не надо, не зови меня на берег!
Я в океанской двигаюсь волне,
Ликую и захлебываюсь в пене.
Лишь океана в жизни надо мне,
А не бескрылых ваших утешений.
Мне Богом Дух непостижимый дан,
Входящий в мир сквозь смерть и через
рану. Меня не будет — будет океан,
Меня не будет — буду океаном.

Иисус Назарянин ощутил в Себе этот океан, был слит с Источником жизни и, называя себя сыном человеческим, назвал каждого человека сыном Божиим. Хотя это богосыновство или богоподобие в каждом человеке — лишь зерно, которое должно прорасти, лишь потенция. Он же — человек, осуществивший свой человеческий потенциал. В нем осуществилось богоподобие. Но Он сказал: «Будьте подобны мне, как я подобен Отцу». Другими словами: «Это для вас возможно. Я — доказательство этого, пример».

Само бытие обоженного человека, не дела его, а бытие — сущность — является условием жизни и счастья для всех, кто способен это ощутить.

Мы с Григорием Соломоновичем очень любим слова князя Мышкина (и много раз повторяли их в наших беседах): «Как это можно видеть дерево и не быть счастливым?». Не все, к сожалению, далеко не все счастливы при виде дерева. Но дерево, но лес, но море, но горы способны

сделать нас счастливыми. Хотя для этого им надо только *быть* и ничего больше. Природа абсолютно отрешена от наших проблем, забот, трагедий и радостей. Она как бы живет сама в себе и сама по себе. Но что мы без нее?

Как часто мы просим Бога сделать что-то для нас. Но Он только *есть*. И потому есть мы. Он — сердце мира. Сердцу надо только быть и ровно биться, чтобы человек и мир были живыми.

Отрешенный человек — это человек, накрепко связанный со своим духовным сердцем — с Богом. Человек, который всем существом чувствует биение этого всемирного сердца. Он знает, что есть в нас что-то, что важнее жизни и смерти. «Я не верю в Бога, — говорил Силуан. — Я знаю Бога». И это знание делает его воистину живым. Наш внешний человек не может ничего знать о вечной жизни. Умом о ней знать нельзя. Но вечность есть внутри нас. И только вечностью можно почувствовать вечность.

Мне вспоминается один рассказ Антония Блума (Сурожского). Он стоял у гроба отца один на один с мертвым. Он очень, любил отца. Он стоял, и вокруг и внутри него росла тишина. И вдруг в нем родились слова: «Какая может быть смерть, если *такая* тишина?!». Перевести эти слова на язык внешнего человека невозможно. Но его внутренняя тишина как бы встретилась с той тишиной, которая была сущностью отца. Эта таинственная встреча в глубине была присутствием жизни вечной.

Отец его всегда знал, что эта внутренняя жизнь, внутренняя вечность есть самое главное. Еще когда Антоний был мальчиком Андреем, он как-то пришел домой очень поздно, чуть ли не под утро. Отец встретил его и сказал, что очень волновался.

«— Ты боялся, что со мной произошел несчастный случай? — спросил сын.

— Нет. Если бы с тобой что-то случилось, даже если бы ты умер, это было бы не самое страшное. Я боялся, что ты потеряешь чистоту».

Есть нечто внутри более важное, чем жизнь и смерть. Это хорошо знал отец, и теперь, когда сын стоял у его гроба, это более важное, может быть, соединило их еще больше, чем в жизни. Но умом этого не понять. У нашего слушателя Романа Перельштейна есть замечательная работа: «Конфликт внутреннего и внешнего человека». Я процитирую из нее несколько фраз: «Реальность — это подлинная жизнь, творимая нашим внутренним человеком, вопреки обстоятельствам, которые на первый взгляд сильнее нас, но которые внутренний человек, благодаря опыту общения с незримым, потусторонним, непостижимым, все же превосходит. Игра — это побег от подлинности, который планирует и совершает наш внешний человек, поднимаясь над обстоятельствами, но лишь в своих фантазиях преодолевая обстоятельства».

Всё здесь так. Мне только не хотелось слова «потусторонний». Это

слово может уводить несколько в сторону фантазий... А вот — с непостижимым, не постигаемым умом, — да. Наш ум очень самоуверен и совершенно не знает и не хочет знать своих границ. Мудрец же хорошо знает, что он ничего не знает. И это незнание обращает его внутрь — к душе, которая чувствует свой источник, свое вечное начало. Это она, душа, счастлива деревом, морем, водопадом. Это она созерцает безмысленную, не наделенную словами природу, ощущает свое родство, даже единство с ней. Именно в безмысленном созерцании душа расширяется до бесконечности и сознание человека пересоздается. Человек чувствует, что он — не только он (такой, каким его видят). Он — всё. Он и мир — одно. И только это чувство единства и есть подлинная жизнь. Такой человек, воистину отрешенный, сам становится условием счастья других людей, да и прочих живых существ, ибо из него излучается свет и любовь. Он уподобляется тому самому дереву, которое дает счастье. О нём можно сказать: как это можно жить рядом с ним и не быть счастливым? Да, он уподобляется дереву и Богу.

Чтобы не быть голословной, я бы хотела обратиться к одной сказке, моей сказке, но написанной по мотивам буддийской джатаки (рассказах о перевоплощениях Будды). Это сказка о царевиче Сутасоме и людоеде Калмашападе, который был, по преданию, сыном царя Суда-са и львицы.

Человек-зверь, живущий по звериным законам и считающий, что других законов (божественных) нет и быть не может. Он наслышан о каком-то необыкновенном царевиче-человеке, живущем по тем самым не существующим для Калмашапады законам. Вся сказка — это духовное состязание этих двух людей. Один — человек, осуществивший образ и подобие Божье, другой — человек сугубо внешний, о своем внутреннем человеке и не ведающий. Вся сила физическая (сила этого мира) — у него. Он распоряжается жизнью и смертью. Он перебрасывает через плечо этого хваленного хилого Сутасому и готовится его съесть. И вдруг тот просит отпустить его на три дня. Он говорит, что выполнит некий долг и вернется. Калмашапада хохочет в душе, но отпускает пленника в полной уверенности, что докажет всему миру, что никаких особенных праведников не бывает, что все люди одинаковы, а этот еще трус и хитрец. Но когда через три дня Сутасома возвращается к нему, ошеломленный людоед видит, что перед ним человек какой-то иной породы людей, и начинает присматриваться к представителю этой породы. Оказывается, есть человек, для которого что-то важнее жизни и смерти. Это для людоеда непостижимо. Но это есть. Если бы ему это рассказывали, он не поверил бы никаким словам.

Но перед ним не слова, а сам человек. Живой, стоящий перед лицом смерти и излучающий свет.

Одно из изречений мудреца, которое пересказывает Сутасома, гласит: «Только полюбив мудреца, ты сможешь понять его мудрость». Мудрость

не передается словами. Только от сердца к сердцу. Только сердцем надо приобщиться к бытию мудреца, причаститься ему. Причастие этому бытию и есть высшее чудо — чудо преображения. И людоед преобразился.

В данном случае сам Сутасома, его отрешенная от страха душа, был струной Давидовой.

Князь Мышкин — человек не из сказки-притчи, а из самой жизни. Человек, отрешенный от всего поверхностного, лишенный эгоизма, накрепко связанный с единой глубиной мира и открывающий эту глубину для всех способных видеть. Он открыт совершенно, не защищен ничем. Он полностью отрешен от зла. Его нельзя сломить, победить духовно. Но физически он погиб. Если бы люди, окружавшие его и даже полюбившие, могли быть счастливы самим его бытием... если бы им было достаточно того, что он есть, как ему достаточно того, что есть дерево, они причастились бы его бытию. Случилось бы то же, что с Калмашападой по отношению к Сутасоме. Но этого не случилось. Несколько человеческих эго разорвали на части обоженного человека.

Здесь самому князю не хватило отрешенности от этих страдающих, замкнутых эго. Не хватило понимания, что где-то надо остановиться и предоставить самим людям причащаться его душе, его свету. Его погубила слишком сильная потребность идти навстречу людям. Между тем, где-то есть граница, перейти которую не дано было и самому Христу. К Его бытию должны причащаться люди. Само это бытие незыблемо. И если в Назарете Он не смог совершить никаких чудес, Он принимал это, как данность. Он может всего Себя открыть людям, но Он не может ничего сделать за людей. Какое-то великое духовное усилие должны сделать сами люди, чтобы причаститься Богу. И это усилие и есть отрешенность от своего эго. Сгорание эго, делающее сердце прозрачным для пропускания Божественного света. Очистить сердце («Только чистые сердцем узрят Бога»).

Но как бы то ни было, сам образ князя, его явление в этом мире призвано также отгонять злого духа, как струна Давидова.

И нет ничего более необходимого нашему времени, чем это.

XIX век был веком, провозгласившим главной ценностью жизни действие.

К чему может привести действие, оторванное от Бога, действие, поставленное на первое место перед Божественным бытием, с ужасом понял Достоевский. И противопоставил действию созерцание — видеть дерево, видеть закат, соединяться душой с целостным мирозданием, а уж потом действовать...

Но Достоевский остался гласом вопиющего в пустыне. Люди захотели переделать мир и свой новый мир построить. И век XX-й стал веком строительства Вавилонской башни, газовых печей и колымских лагерей.

Люди побеждали природу и почти удушили ее, прежде чем поняли, что вместе с ней удушают себя самих.

Ад стал обступать нас со всех сторон — культ денег и наслаждений, фанатизм с терроризмом, беспредел. Полное торжество человека внешнего. Вот с чем мы вступаем в век XXI-й.

И, может быть, сейчас, как никогда нужна нам струна Давидова, отгоняющая сны Сауловы — наши страшные сны. Нам нужно пробуждение. Не действие людей, находящихся в плену своих представлений, мечтаний, утопий, а созерцание Божественного бытия.

Инерция дела как чего-то главного, первого, очень сильна. Нередко заповеди Христа принимаются как руководство к действию, тогда как они прежде всего — призыв к преображению.

Однажды я была свидетельницей такого разговора-размышления о том, как надо исполнять заповедь Христа о любви к врагам. Женщина каялась в том, что никак не могла полюбить человека, «обнулившего» ее (по ее выражению) — обманувшего и ограбившего. Она его простила, но вот полюбить все-таки никак не смогла.

Я думаю, что этого от нее и не требовалось. Требовалось другое: душа должна была бы отрешиться от этого человека (как и от всех его ценностей). Её «я» (это) должно было бы превратиться в дырку, через которую светится Бог. Тогда тому, другому, оставалось бы только увидеть этот свет и причаститься ему. Сделать это *за* него не только невозможно, но и не нужно. А нужно, нужно. чтобы прозвучала струна Давидова. Струна Давидова — это не слова

о Боге и не руководство к действию. Это — голос Божий и образ Божий. Его передает высокое религиозное искусство. Оно делает слово плотью. И в иконах Рублева (вообще в лучших иконах), и в музыке Баха слова и раздумья о Боге воплощаются.

Мы видим образ Божий и слышим голос Божий, слышим Зов Божий. Мы нужны Ему не меньше, чем Он — нам. И настало время это понять.

В числе откликов, полученных нами после фильма «Беседы с мудрецами» (транслировался по каналу «Культура» в течение четырех вечеров), было письмо одного душевно больного человека. (Он сам сказал о том, что болен душой.) Он написал, что верит в Бога, но не верит в себя. Я ответила, что вся его безвыходность в том, что он разделяет себя и Бога и думает, что Бог — нечто высокое, безразличное к нам. Но нет большей ошибки, чем это. Бог не отделим от нас.

И наша боль становится Его болью. Может ли быть спокойным человек, у которого болит нога, или рука, или какой-нибудь другой член тела? Мы и Бог — это таинственный целостный организм, и где бы ни болело — больно всему организму.

Мы — не отдельность. Мы члены Единого Целого, и струна Давидова будит нас от ощущения своей отделенности, обособленности. Наша

отдельность — иллюзия, сон. В каждом из нас есть глубина, ощущающая это единство. И струна Давидова — зов в эту глубину.

Да святится имя Твое

Мне захотелось вынести в название слова молитвы, которые звучат в фильме Вячеслава Орехова «Памяти Любы Михайловой». Это фильм о девочке-художнице, прожившей тридцать два года и с одиннадцати лет прикованной к постели. Парализованы руки, ноги, позвоночник. Она научилась писать и рисовать ртом, держа перо или кисть в зубах. Картины ее ничего не говорят о ее судьбе. Они светлые, гармоничные, с мягким юмором, детской улыбкой. Но самое замечательное — ее лицо, ее глаза и ее слова, адресованные мальчику-инвалиду, ее другу Андрею:

«Нас коснулась счастливым крылом природа, дав жизнь. Мы видим свет. Мы видим потрясающий мир. А что живем не как все, то это испытание Бога. Будем держаться до конца». И еще: «Я знаю, что земля живая и у нее есть сердце. А человек забывает об этом, и она страдает. Люди перестали слышать, как растет трава, как дышат ангелы».

Это непосредственное чувство больной девушки, выраженное с подкупающей простотой (вспоминаешь Достоевского: больной человек ближе к своей душе). Тема эта разворачивается в цикле «Времена года»: картины лета, осени, зимы, весны сопровождается прекрасно прочитанный акафист вл. Трифона, благодарящего Бога за красоту и плодородие земли. Перед нами проходят не расхищенная еще природа России, уцелевшие на приусадебных участках старики и старуха, их труд, покой в их движениях и лицах (покой, почти всегда потерянный в городской сутолоке), купанье в проруби на Крещение, освящение куличей... Путешествие в прошлое и вечное, которые никуда не делись, еще живут и зовут остановиться на бегу и дать место созерцанию, дать возможность взглядеться — что еще живет и нуждается в охране.

Несколько десятилетий нас учили, что вся правда в коммунизме. Теперь учат, что вся правда в православии. Но православие ложится на умы, подготовленные политграмотой, и воспринимается как новая политграмота. Не хватает той простоты чувства, которая светится в словах Любы Михайловой и в молчании крестьян, собравшихся в храме.

Сколько людей думают, что они обращаются к Богу, и других учат, как стоять, как креститься, какие молитвы читать. В Третьяковской галерее я не раз видела мужчин и женщин в монашеской одежде (или в священническом облачении), стоявших у икон, погрузив глаза в Евангелие или псалтырь, а на икону они не глядели. Ни глазами, ни сердцем с ней не встречались. Они крестились, низко кланялись и уходили.

А вот эта больная девочка не отрывала глаз от мира Божьего и действительно слышала, как билось сердце земли. И как растет трава... И как дышат ангелы — слышала. И это ангельское дыхание заглушало всякие вопросы о себе, обиду на жизнь, вечные наши «за что?». Она действительно обратилась к Богу, потому что ее «я» истончилось до прозрачности и сквозь нее стало просвечивать нечто гораздо большее, чем «я». Обращенность к Богу — это состояние, когда наше «я» не заслоняет собой света. Мы становимся открытым окном. Мы причащаемся Источнику жизни.

Коммунистическая идеология рухнула. Нам без конца показывают и рассказывают, каким разрушительным вихрем она прошла по нашей земле. Это так, но что пришло на смену? Коммунисты разрушали храмы. Теперь их восстанавливают, строят новые. А благоговейное отношение к жизни, внимание к тишине, в которой жизнь творится, истинное внимание к живому, к сердцу человека и самой земли? Где все это? Это ли заменило победные марши коммунизма, топтавшего жизнь во имя жизни, уничтожавшего сострадание и любовь во имя человека?

Когда-то, в начале перестройки, нам показывали фильм Абуладзе «Покаяние». Я рыдала на этом фильме, была потрясена им. И мне казалось, что пришло опоминание, что люди вдруг увидели, что творили. «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». И вот теперь как будто бы начали ведать. Мы жили на плоскости, на поверхности самих себя. В суете, где всегда сторожит дьявол. Только на глубину он зайти не в силах. Там он задыхается. По страшной наивности думала я, что мы все увидели это и сейчас уйдем с поверхности в глубину. Только в этом смысл слов «зачем эта улица, если она не ведет к храму?».

Это поняли буквально. Рукотворные храмы восстанавливают. А что делается с нерукотворным храмом, зодчий которого сам Бог? Строят ли его?

К этому храму обращены фильмы Вячеслава Орехова, фильмы об экологии Души, о той самой тишине и глубине, мимо которой мы вечно проходим, спеша и шумя; вечно спеша на какой-то другой конец нашей плоскости, совершенно не замечая, что есть глубина и высота. И вот совсем маленький фильм «Облака». Мы — в облаках. В небе. И нам раскрывается то, чего мы совсем не замечали в нашей раздробленной земной жизни, где мы быстро поворачивались от одного предмета к

другому, совершенно не видя той таинственной связи всего со всем и всеми; связи, в которой и раскрывается, может быть, смысл нашей жизни. Он ведь в том, что мы не равны нашему телу. Мы равны всему, что может вместить наша душа. Душа наша, вмещающая бесконечность, встает сейчас из облаков, как богиня из пены морской. Мы попадаем во власть медленных, завораживающих ритмов и постепенно чувствуем, как что-то растет внутри нас. Этот неостановимый рост, это внутреннее движение и есть ощущение творящего Духа, расширение, углубление — рост Души.

Она растет вместе с деревьями, с травой. Мы, наконец, услышали, как растет трава. «Зачем эта улица, если она не ведет к храму?» Это можно было бы перевести другими словами: зачем нам глаза и уши, если они не видят и не слышат священного внутреннего движения, рождающего жизнь?

Фильмы Вячеслава Орехова вводят нас в те медленные ритмы, в которых движутся звезды и рождаются великие творческие мысли.

Перед нами лицо Виктора Черноволенко. Удивительно собранное лицо с глазами, темными от глубины. Они смотрят куда-то далеко, сквозь близкие планы с их разорванностью, хаотичностью, и видят великую гармонию космоса. Художник видит «невозмутимый строй во всем», и бесконечность внешняя уравнивается в нем бесконечностью внутренней: «Огромное, яркое солнце, как быстро бы ты убило меня, если бы во мне самом не всходило бы точно такое же солнце». Диктор читает стихи Уитмена. А у меня в памяти встают строки Мандельштама:

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Разбирая на ребра их, сызнова Собирает
в единый пучок.
Чистых линий пучки благодатные,
Направляемы тонким лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Точно гости с открытым челом.

Да, художник провидит и зарисовывает, словно с натуры, эти удивительные дали, где миры гармоничны и прекрасны, и люди в этих мирах все до одного с золотыми нимбами вокруг голов.

А рядом с космическими планами, с прозреваемым макрокосмом, наш земной мир. Режиссер показывает нам простой цветок — розовый пион со шмелем внутри. И мы ощущаем глубокое родство этого маленького цветка и мирного насекомого со звездами, с сиянием далеких миров. И вдруг, в резком контрасте со строем природы, деловая суэта нашей земли, не замечающей того, что ее породило и что ее растит.

Маленький розовый цветок; детское личико, так ясно улыбающееся этому цветку; задумчивые глаза девушки, которая, кажется, чувствует те же

далекие миры, что и художник, и — рядом, наперерез всему этому — гудящие машины, спешащие, замкнутые на себе и своих делах люди, отрезанные от великой жизни земли, неба, Духа.

А вот фильм о другом художнике, на мой взгляд, гениальном: очень открытое, тихое, доброе лицо Бориса Смирнова-Русецкого. И его картины. На них нет дальних миров, а только вот этот, который мы каждый день можем видеть. Но разве мы видим его? Взгляд художника проходит сквозь плоть вещей, опрозрачивает их и делает ощутимым, видимым, кажется, сам невидимый Дух. И сама собой выходит, как утренняя заря, та тайная гармония мира, которая всегда ускользает от невнимательных глаз. Кто дослушал мир до такой тишины? Доглядел до нежнейшего света, до засветившейся музыки?

Перед нами раскрывается и судьба этого художника (десять лет в лагерях и пять лет ссылки), так и не успевшего увидеть любимую мать — не дождалась его. Она смотрит на нас с портрета, от которого постепенно остается только рама и черный прямоугольник в ней.

А тихий человек с маленькой бородкой говорит нам: «Можно было держать голову низко, а душу высоко». И не надо других громких слов про обращенность к Богу. Она чувствуется сквозь молчание.

В Евангелии сказано: что ни попросите у Отца, дастся вам. Слова эти могут вызвать полное недоумение. Уж сколько просили! А что дается? «Что тебе твой Бог делает?» — спрашивает Родион Раскольников Соню. «Всё делает», — отвечает Соня с тоскливой убежденностью, что он этого не поймет. Бог дает только тогда, когда к Нему обращаются. Не со словами только, а всем существом. Обращение к Богу предполагает отсутствие всяких просьб, чего бы то ни было для себя. Обращение к Богу есть отвержение себя. Ты, а не я. Это «Ты» входит в душу, заполняет и переполняет ее. И бесконечно обделенная девочка говорит: «Нас коснулась счастливым крылом природа, дав жизнь. Мы видим свет. Мы видим потрясающий мир». И она умеет слышать, как растет трава и как дышат ангелы.

Она сама дышит так глубоко, как люди, вполне владеющие своим телом, дышать не умеют. Они нередко страдают от бессмыслицы жизни. А смысл ее — у них под ногами и, может быть, растоптан ими...

Фильмы В.Орехова собирают и оживляют этот растоптанный смысл.

Я написала только о нескольких фильмах. Они разок показаны по каналу «Культура». И — забыты. И как жаль, что они не показываются вновь. Они насущно необходимы. Они действительно обращены к Богу. И учат обращаться к Нему.

Гр ° °

Трагический поэт и неутомимый мечтатель

(Борис Чичибабин)

Я уже не раз говорила и писала о Борисе Алексеевиче. Но прошло 10 лет с его смерти, и я хочу сейчас сказать то, что еще не было сказано, но что за эти 10 лет не только не ушло в прошлое, а наоборот — утвердилось, прояснилось и заняло свое очень важное место.

У Бориса было одно любимое слово, которым он из целомудрия подчас заменял слово «Бог», — Главное. Жизнь делилась на Главное и не главное, на Суть и суету. Да, он был очень целомудрен в слове и старался не поминать имя Божие всуе. Но все-таки понимал, что без этого имени ему не обойтись никак, а потому оговаривался и, как бы извиняясь перед современным словарем, говорил, что нас ведет «ничего не поделаешь, вечность, и все дальше ведет, ничего не поделаешь, — Дух».

Ничего не поделаешь — без этого не обойтись. И вот то, что он не мог никак никогда обойтись без этого, считаю главным в нем.

За эти 10 лет многое изменилось. Имя Бога почти у всех на устах, и его произносят все, кому не лень. И почти всегда всуе. И при этом очень ясно видно, что людям хотелось бы обойтись без Бога, что Он им *не нужен*.

По-настоящему Он все время миру не нужен. Толпа выбирает Варраву, а не Христа. Слишком много Христос от нас требует. Нам бы чего попроще и полегче. Высота, целостность мира, чувство бесконечности... Обычно это людям тягостно и ненужно.

Давно когда-то я видела телепередачу — спор о двух фильмах «Анна Каренина», американском и нашем. Спор или обсуждение. В ответ на слова о чувстве Целого, которые принадлежали Л. Анненскому, его оппонент с полной убежденностью сказал: «Но это никому не нужно. По-настоящему интересны только фрагменты, разорванность». Так мир и продолжает с интересом разрываться на куски, куски сталкиваются друг с другом, опять разрываются — и это то, что многих вполне устраивает. Так вот, это как раз то, от чего у Бориса разрывалось сердце. Ему больше всего на свете нужны были тишина, высота, чистота и цельность.

Ему был нужен Бог. Тот, который объединяет, а не разъединяет, творит, а не разрушает. И потому голос Бориса Чичибабина, на мой

взгляд, сегодня, может быть, важнее и нужнее, чем даже при жизни. И это великий признак настоящего неумирающего поэта.

И все-таки я собираюсь сегодня не только произнести панегирик Борису Алексеевичу. Так поступают с мертвыми. А для меня он живой. И я хочу вести разговор с живым и о живом.

Мы с Борисом не только были большими друзьями, мы и спорили, и порою Борис отдалялся от нас с мужем. Правда, к концу его жизни все вернулось на круги своя, стало почти как в начале. Но представляется сейчас важным сказать обо всем — и о том, что нас соединяло, и о том, что разъединяло.

Я говорила уже, что главное в Борисе — это его жажда Бога, его нужда в глубинном, в сущностном — в сути жизни. И его важнейшие стихи — это почти всегда разговор с Богом, хотя бы это имя и не было произнесено. Бубер считал, что о Боге нельзя говорить в третьем лице. К нему можно только обращаться напрямую, из самой глубины души, чувствовать Его всей глубиной, как свое живое, дышащее в лицо «Ты»...

Все это и есть в стихах Бориса. Они обращены к своей и одновременно общей всем сути жизни, до которой он порой никак не может достучаться, но и не стучать в эту дверь тоже не может. Сказано: «Стучите и отворится вам». Стучал постоянно, ибо пока не открывалась эта дверь в самую суть бытия, чувствовал себя бездомным, выброшенным на мороз.

Его потрясающее стихотворение «Мать Смерть» — это тоже разговор с Богом, стук к Богу, взывание к Нему, перекликающееся с взыванием Иова.

Все друзья Иова, увещевая его, говорили о Боге с чужого голоса заученные слова. А Иов обратился прямо к Богу с неправильными, почти богохульными словами, но со своими собственными, рожденными сейчас из самой глубины страдания. Он докричался до Бога. Достучался, и ему отворилось. Ему, а не его правильным друзьям ответил Бог из бури.

В стихотворении «Мать Смерть» нет Божьего ответа, но есть великая подлинность обращения к Нему.

Сними с меня усталость, мать Смерть,
Я не прошу награды за работу,
Но ниспошли остуду и дремоту На мое
тело, длинное, как жердь.

Я верил в дух, безумен и упрям,
Я Бога звал и видел ад воочью.
И рвется тело в судорогах ночью, И
кровь из носу хлещет по утрам.

Он больше не может так жить. Силы его исчерпаны. Раздается великая мольба о помощи. Но он не видит в жизни никого и ничего, что может

помочь, и потому обращается к смерти. И однако, несмотря на всю трагичность, в этом стихотворении нет того отчаянья, в котором отрицается всякий смысл существования, отчаянья, которым оскверняется само сердце, становится опустошенным, обезлюбленным. Нет!

Нет, мы чувствуем биенье сердца, которое мы можем глубоко любить, которое само любит и жаждет любви, сочувствия и больше не может выносить жесточайшего мороза жизни.

Мне книгу зла читать неволю,
А книга блага вся перелисталась.
О, мать Смерть, сними с меня усталость,
Прикрой рядом худую наготу.

Бесконечно усталое сердце в Пустыне жизни. К кому оно все-таки взывает? Может быть, к той же Глубине, из которой само кричит. Этой Глубины нет рядом. Нет, нет и нет! Ну так приди же, Мать Смерть. Он больше не может жить на поверхности в этой бессмысленной сутолоке жизни.

Стихотворение вызывает глубокое сочувствие. И вот нашлась душа, которая рванулась всей собой навстречу и спасла его продрогшую душу. Борис не раз говорил, что Лиля спасла его, когда жизнь, казалось, была исчерпана, явилась та чистая, цельная любовь, которая помогла ему родиться заново. Да, началась новая жизнь. Появилась прекрасная книга сонетов к любимой. Примерно в этот период — когда писалась эта книга, — мы и встретились с ними обоими.

В первую же встречу у нас возник спор о Достоевском. Спор этот потом утонул в стихах, был залит поэзией и взаимной любовью. Но спор все-таки оставался. Мы по-разному относились к Федору Михайловичу. И как-то у нас на даче Борис горячо говорил, что не хотел бы, чтобы я знала о тех безднах, которые открывает Достоевский. Чистый снег покрывает всю грязь, и нам надо видеть этот снег и ничего другого. Воистину светлый человек не должен *знать* о тьме. Есть тьма, но, слава Богу, есть и свет, и он хотел бы отвернуться от тьмы и глядеть на свой любимый белый снег, забыв обо всем остальном, перечеркнув это остальное хотя бы на время.

Для нас с мужем все было (и есть) иначе. Свет — воин. Свет не боится тьмы. Свет обрывает ее, вырастает над ней. Свет пронизывает тьму и во тьме светит.

Разногласие оказалось большим, чем казалось вначале. Отвернуться от тьмы, уйти в светлую мечту — или войти во тьму и, никогда не смешиваясь с ней, переглядеть ее?

Борис не верил, что тьму можно переглядеть. Он хотел только не глядеть на нее. Не входить в нее. «Мне ад — везде, мне рай у книжных

полок», — писал он в сонетах к любимой. Он был великий читатель. Для него мир книг был второй действительностью, более важной, чем первая. Великий читатель и великий мечтатель, считавший свою мечту Божьим миром, а окружающую действительность — человеческим.

Наш друг Израиль Мазус, сидевший вместе с Борисом в лагере, рассказал нам о таком случае: на каком-то собрании, посвященном очередному советскому празднику, вышел на сцену долговязый худой зэк и начал пафосно читать стихи о советском паспорте. Казалось, что это слепой и глухой человек и его надо защитить от тех, кто способен сейчас разорвать его за эти неуместные стихи.

Есть некое мужество в том, чтобы живя в лагере, не замечать лагеря. И все же это уход от действительности, а не вырастание над ней, не dorастание до того глубокого противостояния, в котором Душа становится сильнее всей окружающей ее тьмы.

Мечта... «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!» Так должно было быть, а как есть — это не столь важно.

Потом он будет стыдиться своей веры в коммунизм, которой не поколебал даже лагерь. Он увидит действительность. Ужаснется, никогда не примет от нее никаких подачек. Уйдет из лживого писательского союза в свой трамвайный парк, будет обладателем одной из самых чистых биографий среди писателей. Будет мечтать уже не о коммунизме, а о ... Боге. И все-таки — *мечтать*.

Поиск Бога, поиск Вечности — это трудный поиск. Может быть, самый трудный на свете поиск. Бог — это то вечное, что остается после исчезновения всего временного, преходящего. Это то, что проходит сквозь ад и оказывается сильнее ада.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся», — услышал в душе великий духовный искатель св. Силуан.

Наша задача не отделить Бога от плоти, отбросив нашу плоть, как грязь, а *воплотить* Бога, об жив нашу плоть, наполнив ее Духом Божьим. В Борисе была великая жажда Бога, но работа по воплощению Бога была ему слишком трудна. Мечтать — легче.

Как-то раз он прислал нам стихи, которые меня огорчили. В них не было силы лучших его стихов. Они были почти слабыми, хотя это были стихи светлые, стихи о свете. И я тогда написала ему, что лучшие его стихи сами хотят написаться, а эти — *он* хотел написать. За них хотел. Я говорила, что посреди ночи писать о том, что наступает рассвет, может быть, не надо; что надо дожить до рассвета, проживя всю темноту ночи, дожить до того, когда свет сам взойдет в сердце. И тогда родится гимн свету, равный по силе его взыванию из темноты ночи.

Я писала ему, что его трагические стихи — великие, и не надо бояться их трагизма. В них — стук в Дверь Бога. Бог *Сам* ответит. Надо только *достучаться*.

Борис тогда обиделся на меня, хотя и отрицал это. Наступило некоторое охлаждение и перерыв в переписке. И я знаю, что Борис начал уходить в вымечтанные, отчасти просто выдуманные отношения, от более трудных, с которыми не умел или не хотел справляться. Это было. И однако это не могло быть навсегда, не могло оторвать его от той жажды настоящего, от той тоски по Богу, которая была в нем, была им.

Борис был не только великим мечтателем и великим читателем, он был, конечно, еще прежде всего подлинным поэтом огромной силы. И здесь, в творчестве своем, он не мог обойтись без реального, а не выдуманного, призывающего нас к ответу Бога. И без ощущения великого разрыва между Божьим призывом и тем, чем мы Ему ответили, что воплотили. Он был прежде всего великим трагическим поэтом. И в одном из последних стихотворений почти Иеремией, плачущим на развалинах Иерусалима. Это горячее обвинение всем нам, не ответившим на Божий призыв.

При нас космический костер
Беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
Проматерили Дух.
К нам обратилась бездной высь,
И меркнет Божий свет.
Мы в той отчизне родились,
Которой больше нет.

Очень многие критикуют «Плач по утраченной Родине» как всплеск имперских настроений. Но здесь говорится о гораздо большем, чем распавшийся Союз. Здесь — плач о распавшейся Душе, о разбившейся цельности. Здесь слово — великая тоска по Целому, по Богу, как бы Его ни называть; по той вечной основе нашей жизни, от которой мы вечно отлыниваем, но без которой нам не прожить.

О вечности и о времени, или О чем говорит Моцарт

В чем я чувствую ошибку, несостоятельность всех основополагающих учений? Иногда самых верных, самых достойных? Думаю, именно в том, что они хотят научить самому главному. Тому, чему научить нельзя, тому, чем можно только заразить. Учение тем уязвимее, чем больше оно акцентирует вопрос «что делать», полагая, что сердце человеческое — глагол, отвечающий на этот вопрос. Но сердце человека — не глагол, а имя существительное, притом одушевленное, и отвечает на вопрос «кто? кто ты?».

Эссе Бото. «Се человек» — было написано на кресте. «Я есть воскресение и жизнь вечная» — сказал Иисус Христос свои загадочные слова. Все сплошные имена существительные. Хотя Он говорит иногда и глаголом: «Любите друг друга. Любите врагов своих». Но все это после самых простых и трудных слов: «Будьте подобны мне, как я подобен Отцу», т. е. будьте кем-то, а потом уже делайте что-то... «Я умер, жив во мне Христос», — сказал апостол Павел. То есть надо пройти через смерть своего ограниченного «я» и вместить в себя «я» безграничное. Вот наша истинная задача.

Люби врагов своих и прощай всё и всех — можно сказать только тому, в ком открылось сердце и стало изливаться из глубины свой свет и любовь. Человеку надо стать самим светом и самой любовью. А иначе, сколько ни говори ему: люби, прощай врагов своих, — из этого руководства к действию ничего не получится.

Одна женщина, двигаясь от атеизма к христианству, так уверовала в необходимость любви к врагам, что ей мало показалось простить того, кто ее обворовал и обманул. Она поставила себе задачу — полюбить его. Но сердце таких задач не принимает. Если будешь приказывать сердцу, будет или надрыв, или самообман — искусственность, которая никому не нужна.

Христос был и есть сама любовь. И только если любишь Его всем сердцем, уподобляешься Ему. Твое сердце изменяется, из него вытесняется всякая самость. Происходит великое таинство преображения.

Солнце ничего не делает. И ни к кому конкретно не направляет своих лучей. Оно просто есть. И от этого есть жизнь на земле. Сердце, подобно солнцу, может излучать свет, который светит всем, греет всех.

Антоний Сурожский сказал однажды человеку: «Не думайте, что вы что-то должны давать людям. Только БУДЬТЕ».

Задача бытия — самая простая и самая трудная одновременно. Я есть то, что я люблю. Но вот я бесконечно люблю Моцарта. Возможно ли мне, не написавшей и даже не прочитавшей ни одной ноты, стать Моцартом?

Оказывается, возможно. И пушкинский Сальери, глубоко чувствовавший музыку Моцарта, мог бы стать Моцартом. Да, не обязательно делать то, что делал Моцарт, писать так, как он. Можно просто вдохнуть его музыку, не думая о том, чья она. Вдохнуть, вместить и совершить этим акт жизнетворения, а не убийства.

Бесконечно любя музыку Моцарта, я, зачарованная ею, вбираю Моцарта внутрь. Все, что несет его музыка, становится моим. Так же, как и все, что несут солнечные лучи, птичьи трели.

Если бы меня спросили «кто я?» в минуту, когда я, не очень грациозная женщина, танцую, не в силах не подчиниться музыке Моцарта, я бы, наверное, только рассмеялась и сказала бы: Моцарт. И есть много часов, когда я, неподвижная, насквозь пронзенная музыкой Баха, сливаюсь в одно с Бахом.

Я есть то, что я люблю. И моя любовь научит меня, что мне делать. Единственный мой учитель — любовь. А у любви нет основополагающих учений. Есть она сама. И от нее — вся жизнь.

Конечно, слова — всегда опасная вещь. Любовью называют многие чувства. Отелло тоже любил Дездемону, Рогожин — Настасью Филипповну. Но при этом оба они не могли отказаться от любви к себе, драгоценному, — от себялюбия. Настоящая любовь и себялюбие — антонимы. И Отелло, и Парфен Рогожин хотели, чтобы любимая принадлежала им. И это очень обычное человеческое чувство. Но любовь Божественная — это нечто иное. Ей нужно одно — чтобы любимый или любимая существовали. Будь! И все. Ничего больше. Остальное приложится.

Разве нужно, чтобы солнце мне принадлежало? Или Бог? Он есть. Вот и все, что мне нужно. Ответ? Но ответ нужен при наличии двойственности. В Божественной любви нет двойственности. *Я и любимый — одно.*

Повторяю — научить такой любви нельзя, заразить — можно. Можно заразиться самим учителем, поверив ему совершенно и впустив его внутрь.

Любовь истинная, не имеющая ничего общего с себялюбием, вечна. Все учения, акцентирующие вопрос «что делать?», говорят о том, что происходит во времени. Во всех монотеистических учениях Бог сделал то-то и то-то, тогда-то и тогда-то, в таком-то времени, один раз. Но это

антропоморфные представления о Боге. Это то, о чем митрополит Антоний говорил, что «падшие люди падшим языком говорят о невыразимом».

Бог создал Адама и Еву. Бог изгнал их из рая за грех, совершенный ими однажды в раю. Но Бог не однажды создал. Он и сегодня создает. А люди и сегодня совершают грех. Иисуса распинают сегодня так же, как 2000 лет назад. И Он воскресает сегодня (потому-то мы еще живы).

То, что ограничено временем и пространством — не Бог. Бог живет в таинственной глубине нашего сердца, в общей для всего мира глубине. Она на всех — одна. И она не умирает.

Вот ее-то нам и надо искать. И никакой «информации» о ней быть не может. Кто может проинформировать вас о вашей Душе? Информация всегда приходит извне. А нам необходимо внутреннее знание. О глубинной жизни души нельзя рассказать. Ее можно только пережить.

Можно рассказывать о своем переживании, но тайна в том, заразит ли вас сам рассказчик собой самим? Почувствуете ли вы его абсолютную подлинность так, как будто перед вами пламя зажглось и подожгло ваше сердце?

Но даже здесь не все так просто. В истории сплошь и рядом заражают лжепророки. Есть критерий истинного и ложного учителя, критерий, о котором я не раз говорила. Истинный учитель скажет вам, что все, что он говорит, вы можете в принципе узнать и без него, из глубины собственной души. Он только поможет вам понять глубину вашей души. Ложный учитель (лжепророк) будет учить вас тому, что вы без него никогда бы не узнали. Он несет знание извне — информацию. Но нам необходимо внутреннее знание, то, что не учит нас что-то делать, а преображает нашу душу — помогает нам стать тем, кого мы любим.

Истинный учитель раскрывает нам, кто мы есть. Мы одушевленные субстантивы, существительные, и отвечаем на вопрос: кто? Ложный учитель предполагает, что мы глаголы и отвечаем на вопрос «что делать?». Даже если это глаголы «любить» и «прощать», их продиктовала нам не глубина души нашей, а голос извне. Этот голос может призвать к любви или к ненависти — все равно это будет не голос Того, кто внутри нас.

Мы созданы по образу и подобию Божьему, и наша задача воплотить этот образ, чтобы, как в суфийской притче, на вопрос Божий: кто стучится в мою дверь? — ответить: это ты пришел к тебе. Стать самой любовью и только потом уже что-то делать. Божье дело — всегда дело любви и существует в вечности.

Мне хочется помочь моим рассуждениям стихами Рильке:

За вещью вещь в таинственной погоне
Мы разрываем. Но внутри предмета Нет
ничего. Опять пусты ладони.

Мы жаждем ЗНАТЬ — и в старой книге где-то
Подчеркнуты места, непостижимо
Невнятные... Ты там прошел. Но — мимо.

Кто удержал Тебя? Идешь, ломая
Все заграждения, — мимо нас, сквозь нас.
Ты говорил? Но вновь душа немая.
Ты здесь дышал? Но где же Ты сейчас?

Так и со мной случалось, но Тебя я Не
спрашивал. Я лишь служу Тебе И жду лица,
сквозь вещи прозревая Невидимое. По ночам
в мольбе,
Склоняюсь, не жаляюсь.
Я — вглядываюсь.

(Перевод мой)

«Мы жаждем ЗНАТЬ», но тот Вечный, тот Внутреннейший проходит мимо нас и сквозь нас. Нам надо закрепить, поймать неуловимое, остановить вечное движение. Вот так мы превращаем Дух в букву, ограничиваем вечность временем. Хотим втиснуть ее во время, конкретное и определенное. Но она — вечность. Она — всегда. Она — сейчас так же, как 2000 лет назад. О ней нельзя дать никакой информации, ибо она — в нас.

Можно ли рассказать (информировать), о чем говорит Моцарт? Музыка льется из души в душу. Бог есть слово, обращенное к нашей душе. Оно звучит внутри нас. И никакое знание о внешнем (пусть это даже знание о строении миров иных) не заменит самого необходимого нам внутреннего знания — ощущения царствия, которое внутри нас.

Встреча одиночеств

Есть в Евангелии от Иоанна загадочные слова Христа, которые никак нельзя понять однозначно, истолковать буквально: «Я есть воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. А живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Не обещание воскреснуть, не пророчество о каком-то явлении, которое можно увидеть глазами. Нет, не в будущем, а сейчас. И не глазами, а всей глубиной сердца.

Воскресение уже осуществилось. Оно *есть*. Христос сам и есть воскресение и жизнь вечная.

И еще одну фразу из Евангелия хочу сейчас вспомнить — слова, которые много раз повторяются и, кажется, навязли в зубах и, однако, думается мне, меньше всего другого услышаны. Это «Царствие Божье внутри нас».

Вслед за этими двумя евангельскими цитатами мне хочется привести слова, которыми кончается эссе Томаса Мертона «Философия одиночества»: «Внутреннее “Я” всегда одиноко и всегда универсально, ибо в нем мое собственное одиночество встречает одиночество других людей и самого Бога. Это “Я” выше разделений, границ и самоутверждения. Только это внутреннее и одинокое “Я” по-настоящему любит любовью и духом Христа. Это сам Христос, который живет в нас. Но и мы живем в Нем, а через Него — в Отце».

Так вот. Сам Христос — в нас. Царствие Божье, то есть сам Бог внутри нас. Воскресение и жизнь вечная — это наше глубинное «Я», которое «всегда одиноко и всегда универсально». И чтобы почувствовать вечную жизнь, надо уйти с поверхности в глубину, в свою собственную глубину, которая вдруг окажется общей всем глубиной. На поверхности нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Форм у жизни бесконечное множество. Но глубина у всех одна. В глубине мы познаём, что мы — не только мы, что мы связаны таинственной мистической связью с каждой былинкой и с каждой звездой. Мир — единый организм, одно Божественное тело. Мы все члены этого единого Тела. Но сознание такой связи, ощущение своей причастности всему и всем — дается не так-то просто.

Отказ от внешней защиты, от опоры на внешнее, внутреннее одиночество — вот путь в истинное единство. Деревесный лист, если бы он обладал сознанием, должен был бы понять, что он не только лист, но еще и Дерево. Я не только «я». Я еще и то, что «я» люблю, и даже не только это.

К такому ощущению можно придти, только погрузившись в глубину. Только в глубоком одиночестве, в безграничной пустыне духа можно найти то, что единит всех. Отказ от внешнего для нахождения внутреннего.

Это бесконечно трудно. «Ужас одинокой жизни, — пишет Мертон, — это тайна и неизвестность, которые томят душу, вверившую себя воле Божьей. Куда спокойнее и безопаснее жить, когда эту волю преподносит нам общество, человеческие установления или чьи-то приказы. Принять ее со всей непостижимой и обескураживающей тайной может лишь тот, кого прикровенно хранит и направляет Святой Дух».

Но вся бесконечная трудность и одновременно бесконечное счастье в том, что Святой Дух никогда не приходит извне, никогда не предстаёт глазам или ушам. Его можно почувствовать только всем существом, когда пробуждается та самая глубина, которая обычно усыплена. От глубины этой мы убегаем, ибо встретиться с ней — это все равно, что ступить на море, пойти по водам или, как сказал митрополит Антоний Сурожский, войти в пещеру к тигру. Так он сказал о встрече с Богом. Но только в этой глубине и живет Бог. Тигр, поедающий все бренное, все поверхностное, что занимало, наполняло нас и, может быть, казалось очень важным. Все это — в пасть тигра. «Бог есть огонь поедающий».

Может быть, самый первый инстинкт человека — бежать от этого огня. Глубина и одиночество страшны. Мы стремимся от одиночества — в общество, от тишины укрываемся в шуме. «Одинокий человек, — говорит Мертон, — это пророк, которого не слышат, глас вопиющего в пустыне. Мир всегда отвергает таких, как он, а заодно и пугающее одиночество Бога. Бог не такой, как мы. Он совершенно чужд мирскому прагматизму, а Его таинственная неотмирность бесконечно возвышает Его над лозунгами, рекламой и политикой. Именно за это мир и негодует на Бога (подчеркнуто мной. — З.М.). Не будь рядом отшельника, который напоминает людям об одиночестве Бога, им было бы гораздо легче сотворить себе бога по собственному образу и подобию, идола, покорно вторящего их лозунгам».

Это очень веские слова. Здесь проходит линия разделения Бога и человека, такого, какой он есть на сегодня. Человек ищет внешней опоры. Бог — опора внутренняя. Он обнимает собой вся и всех. *Для Бога нет ничего внешнего*. Ему некому молиться и не на кого жаловаться. Вся Вселенная внутри Него. Он Миродержец. Он держит мир на Себе, а Сам ни за что внешнее не держится. «Учись падать и держаться ни на чем, как

звезды», — сказано в одной мистической сказке Микаэля Энде. Но Лукавый подстерегает нас всюду. Всё в этих словах — метафора, так как сказать о Боге прямыми словами невозможно.

«Мы должны одиноким, непостижимым и невыразимым путем пройти сквозь мрак своей собственной тайны и открыть, что она сливается с тайной Бога в одну — и единственную — реальность. Мы должны увидеть, что Бог живет в нас и мы в Нём. Как это бывает, словами передать невозможно, потому что слова не могут охватить реальность.

Только слова Бога, собирающие всех верных в “одно тело”, способны выразить тайну нашего одиночества и нашего единства во Христе. Правда, при этом они теряют форму слов и становятся неизреченным биением сердца в сердцевине нашего бытия» (подчеркнуто мной. — З.М.).

Вот это «неизреченное биение сердца в сердцевине нашего бытия» и есть присутствие Святого Духа, которое никогда не обнаруживает себя — не является снаружи, извне.

«Нищета его (отшельника. — З.М.), — пишет Мертон, — так глубока, что он и Бога не видит; сокровища его так велики, что он забылся в Боге и забыл самого себя. Он никогда не удаляется от Бога настолько, чтобы посмотреть на Него со стороны, как на объект. Он поглощен Богом, если можно так сказать, и потому никогда Его не видит» (подчеркнуто мной. — З.М.).

Как это перекликается со словами Тагора о Боге: «Ты не видим, потому что Ты — зрачок моего глаза». В обычном же сознании обязательно при слове «Миродержец» возникает объект, объективный, увиденный извне образ некоего всемогущего существа. Мы его рисуем и разукрасим как угодно, только бы отдалить Его от себя, только бы не ощутить свою слитность с Ним, потому что это значит, что мы сами должны держать мир на себе и отвечать, а не спрашивать. Да, сердце Миродержца чувствует себя ответственным за весь мир. Ему не на кого жаловаться и не с кого спрашивать. *Только с себя самого.* Есть ли что-нибудь труднее?

Когда-то в юности я прочла легенду о Будде, голубке и тигрице. — Голубка прилетела к Будде, скрываясь от тигрицы, и Будда ее укрыл. Но к нему прибежала и тигрица, сказав: «Не я создала себя такой, как есть, — питающейся мясом. Ты укрыл голубку. Скажи, чем мне кормить своих тигрят?». Тогда Будда отрезал кусок собственного тела и положил на одну чашу весов. На другую — голубку. Голубка перевешивала. Сколько бы кусков тела ни клал на весы Будда, голубка перевешивала. Тогда Будда сам встал на весы и весы уравновесились.

Легенда меня потрясла. Я записала ее в свой дневник, но понять не могла. Как?! За каждую голубку — целого Будду? Но ведь это невозможно...

Да, невозможно, если понимать буквально. Если Будду измерять теми

же мерами, что и каждое отдельное существо. Но Будда — пробужденный, преображенный человек, человек, в сознании которого произошел переворот — он понял свою неотделимость ни от кого и ни от чего. Он вместил всех внутрь — сам встал на весы. Всего себя отдал. Почувствовал всего себя в каждой голубке и каждую голубку в себе.

Не то же ли самое произошло с Христом, согласившимся на распятие после кровавых слез в Гефсимании? «Да будет воля Твоя, а не моя». Он не мог отделить Себя ни от одного из своих мучителей, не мог противопоставить им Себя, ибо они не понимали, что составляют одно тело с Ним, а Он понимал. «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Они не ведали. Они ведали только горизонталь, поверхность мира. Они не чувствовали под этой поверхностью никакого внутреннего движения — движения к новому образу, к преображению. Мир представляется духовно статичным тому, кто видит только то, что на поверхности, то, что открывается только глазам. Всё в мире для такого видения состоит из объектов — отдельных существ, которые могут объединяться или разъединяться, ни на йоту не продвигаясь в глубину или в высоту. А вертикаль, на которой, может быть, держится мир, находится внутри. Это ось мира. Для большинства людей ее нет. Не видима глазу, значит нет. Не объективна. Не объект.

Сотворенный мир инерционен. Он хочет остаться таким, как есть сейчас, и сопротивляется творчеству. Сопротивляется Творцу своему. Воля Творца, ведущая нас к преображению, нас пугает. Мы хотим остановиться, а Бог движется невидимо внутри нас. Разве нам не хочется остановить молодость, остановить приход смерти? Почему время уходит от нас? Или воля Творца нашего — воля жестокого тирана? Никогда человеческий ум не ответит на эти вопросы, на страшные вопросы о страдании и смерти.

Но если ум замолкнет, если откроется глаз сердца и увидит Бога не извне, а изнутри, вдруг почувствовав, что вопросы эти обращены в глубину самого себя, а не к какому-то существу, сидящему на облаке, — если сердцу откроется таинственная глубина жизни, то малое «я» наше лопнет, как кокон гусеницы, и крылатое существо, развернувшееся в нас, поймет, что никакие страдания и сама смерть не смогут убить вспыхнувшей и всё больше разгорающейся любви к новому, увиденному внутренним глазом образу, к новой высоте, на которой мы еще никогда не были, но к которой мы призваны.

Если человек поднялся на эту высоту, если он воплотил в себе высший образ, то он чувствует себя единым со всеми и всем. Он не может не ощутить себя слившимся с Богом, потому что ясно узнал — Бог не отдельность, он не отделим ни от кого и ни от чего, следовательно, и от меня.

«Я и Отец — одно». Это самые трудные слова, какие может произ-

нести человек. И самые смиренные. Малое человеческое «я» совершенно замолкло. Его нет. Оно слилось с великим «Я», обнимающим мир. Нет меня, отдельного от вас. Есть «Я», вместившее всех вас в себя. Вы этого не знаете? «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

И самая страшная боль не может угасить в этом преображенном человеке (новом Адаме) любви к Тому, Кто дал ему жизнь, дал этот мир. Он чувствует дар жизни как великую любовь.

Бог есть Любовь. Это он узнал всем сердцем. Эта любовь вошла в его человеческое сердце. Она уже не отделима от него. Вот так когда-то Иов увидел Бога, хотя словами передать этого нельзя. Метафора реализуется и рисует нам картину, на которой есть два объекта — человек и Бог. На самом деле произошло исчезновение двойственности. Нет двоих. Есть одно. Человек был ослеплен величием Бога, Его красотой и понял, что эта Божественная красота и есть смысл его жизни. Человек был поглощен Богом, как сказал Мертон.

«Я и Отец — одно», — произнес Христос. И слова эти, услышанные извне, показались людям великим кощунством. Если все объективно, если есть два объекта, их можно сравнивать. Человек сравнивает себя с Богом. Это вызывает шок. Но Иисус никогда не говорил о равенстве с Богом. Напротив — «Отец мой более меня». Единство и равенство — совершенно разные вещи. Равенство предполагает сравнение двоих или нескольких. В единстве нет сравнения, ибо нет двоих. Есть одно.

Так вот, путь в это великое единство лежит через одиночество, через отказ от объединения на поверхности, через уход с поверхности в глубину. Объединение на поверхности — это унификация, штамповка, это бесконечное удаление от источника жизни. Единение на поверхности — это зависимость от внешнего, от другого, это отдача своей воли, своего сознания другому, подобному тебе существу, которое посчитали высшим.

На самом деле высшим может быть только тот, кто включает тебя в себя, а не противостоит тебе.

Высшая воля есть твоя собственная воля, воля твоего высшего «Я», а не воля другого существа. И эту высшую волю, ведущую нас к преображению, к вечной жизни, может узнать только человек, прекративший бег по кругу, нащупавший вертикаль — ось мира, отшельник.

«Обязанность одинокого человека пребывать в одиночестве, оставаясь таким же нищим и отверженным, как нищ и отвержен Бог в душах столь многих людей, — говорит Мертон. — Мало кто Его слышит, когда Он напоминает людям, что как только они найдут внутреннее одиночество и оценят его, они найдут Бога и узнают (уже по Его слову к ним), что каждый из них действительно личность».

И еще в другом месте: «Одиночество, о котором мы до сих пор говорили, это смерть человеческого “я”. Но какого “я”? В пустоте одиночества исчезает «я» поверхностное, общественное, ложное; исчезает

образ, сотканный из предрассудков и прихотей, плод позерства, фарисейского эгоизма и фальшивой преданности, наследие ограниченного и несовершенного общества.

Рождается же другое “Я”, истинное, достигшее зрелости в пустоте и одиночестве. Конечно, это “Я” растет в действенной, жертвенной и творческой самоотдаче, в полноценном общественном бытии. Но заметьте: чем больше в человеке любви к ближнему, тем больше в нем и внутреннего одиночества.

Без одиночества того или иного рода не бывает и зрелости. Если человек не станет пустым (от самости, от своего малого “я”. — З.М.) и одиноким, он не сможет отдать себя в любви, потому что не обладает глубинным “Я” — единственным достойным любви даром».

Таким образом, речь вовсе не идет о противопоставлении себя обществу. Нет. «Им (отшельником. — З.М.) движет не горечь или досада, а жалость ко всей Вселенной, преданность человечеству. Он бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы в себе залечить все раны мира» (подчеркнуто мной. — З.М.). И в другом месте: «Я говорю не столько о людях, избравших одиночество, сколько достигнутых им; о тех, кого ведут в пустыню не простота и невинность, а горечь страдания и крушение иллюзий».

Да, человек уходит в пустыню, которая — «населена она или необитаема, — все равно окажется бескрайней пустотой, принадлежащей всем и никому, — тишиной, где Бог прорекает Слово. <...> Пустота уединенной жизни помогает привыкнуть к свету, который совершенно затмевает миражи многозаботливой жизни».

Этот свет и есть излучение Святого Духа. И его на протяжении многих веков не видят люди. Не видят и потому не ведают, что творят.

Имеющий глаза, да видит, имеющий уши, да слышит — гласит Евангелие. Истинное одиночество — это школа для отверзания и усовершенствования духовного зрения и слуха. Школа трудная. Очень трудная. По-настоящему ее может пройти только тот, кто не может идти иначе, кого нельзя отвлечь ничем от глубочайшего внутреннего зова и от страшных вопросов жизни.

В школе этой, в этой пустыне, много искушений. Еще древний античный миф об Орфее говорит об этом. Орфей не мог не оглянуться на внешнее, на видимое, осязаемое пятью чувствами. Оглянулся — и потерял вечную Эвридику, свою бесконечно любимую вечную душу.

Не оглянуться невероятно трудно. Мы так привыкли опираться на что-то внешнее, иметь почву под ногами. А тут — идти по водам...

Все ответы давно готовы,
Но еще есть один вопрос:
Как узнаешь ты, если снова К нам

сегодня придет Христос?
Не появится знак небесный,
И опять, как тогда, опять Кто-то
властный и всем известный Нам
прикажет Его распять.
Сердце стукнет, как в окна ветер, —
Самозванец ты или Бог?
Кто поможет мне? Кто ответит?
Почва выплыла из-под ног.
До чего же трудна свобода! —
Никого в мировой тиши.
Неужели идти по водам
Внутри, в бездонность своей души?..

Так хорошо, чтобы кто-то был рядом, чтобы сказал: «Это Он, не сомневайся!». Но этого не скажет тебе никто, кроме твоей собственной души, ее последний глубины, которую ты должен открыть в себе и поверить ей.

Но на пути к твоей последней глубине — то, что в аскетике называется бесами. Я отвлекаюсь от того, в каком образе они являются. Бес — это то внешнее, что встает на пути души к своей безымянной и безобразной внутренней глубине. То, что встает между душой и Богом. Бес — то, что выманивает тебя на поверхность, из себя — к другому, из единства в расколотовость.

Ад — это тьма внешняя.

Рай — внутренний свет.

Но путь в рай проходит через ад. Рай глубже ада. «Держи ум свой во аде и не отчаивайся», — услышал Силуан слова Бога в душе своей. Эти слова могут означать — будь готов к самой страшной жертве. Так их услышал Авраам. и был готов принести в жертву Исаака. Жертва не понадобилась. Нужна была только готовность к ней. А в другом случае жертва понадобилась. И тогда Гефсиманской ночью нужно было, собрав все силы, помнить о том, что ты сам есть Жизнь и Воскресение. Есть ли задача труднее?

Ее вынесет только тот, кто не может отказаться от своей сущности, которая есть Любовь и Свет. Не может. Это сильнее него.

Христа распяли. 2000 лет назад. Распяли те, которые не увидели внутри человека Бога. Те, которым весть о единстве с Богом слышалась как кощунственное утверждение равенства со Всевышним.

Многое ли изменилось за 2000 лет? Церковная цензура едва не объявила Мертон еретиком. Во всяком случае, настаивала на совершенно невозможных изменениях в текстах его. Вынуждала его на вставки вроде таких: «Без водительства Церкви вы пропадете».

Итак, Бог находится все-таки не в самой глубине души, а в учреждении человеческом. Пусть самом авторитетном и уважаемом, но в некоей

человеческой организации. И человеку, достигшему последней глубины, предложено оглянуться. — А как иначе вы узнаете, что вы на верном пути, а не в заблуждении?

Так критерий истины лежит вовне или внутри?

Может быть, только та церковь истинная, которая признает свое *второе* место после Церкви невидимой, внутренней? И тогда, по словам Антония Сурожского, превратится из церковной организации в Церковь?..

Митрополит Антоний как-то сказал о церковном водительстве, что «духовным гениям мы не нужны». Слово «гений» может настораживать. В нем есть привкус мирских оценок, гордыни. Но всякие слова человеческие опасны. И владыка имел в виду, конечно, того, кто с гордыней не совместим. Он говорил о том, кого невозможно отвлечь от внутренней бездонной глубины; того, кто не боится войти в пещеру к тигру, о том, в ком совершенная любовь изгнала страх.

Средневековый мистик Рейсбрук сказал, что второе пришествие совершится в душах святых. Как совершится?

О втором пришествии сказано, что тогда уже никто не сможет сомневаться в том, кто перед нами.

Что же это? Будут предъявлены доказательства? Справки с печатью из небесной канцелярии? Или души наши дойдут до своей высоты, или глубины (это одно), в которой отпечатался образ Христа, образ человека вместившего мир внутрь, и теперь уже *не смогут не узнать Его*? Тогда, когда все скажут, как апостол Павел: «Я умер. Жив во мне Христос». Тогда, когда мы воскресим Христа в себе, выполнив нашу величайшую, труднейшую и неотвратимую задачу..

Только тот, кто воскресил в себе Христа, узнает Его в другом. Воскресил или, предчувствуя возможность такого воскресения, отбросив своё, пошел за любимым высшим образом, просиявшем ему из глаз стоящего рядом отшельника, в котором уже воскрес Христос. Отшельника, Одинокого, живущего в великой Пустыне, где так свободно веет Дух Божий.

Должна произойти встреча одиночеств... двух, трех, миллионов.

Одиночество старого клена,
Одиночество голых берез..
Дуб раскинутый, дуб наклонённый
Целый век в одиночестве рос.
Одинокый простор небосвода Над
широкой, неспешной рекой.
Одиночество — это свобода.
Одиночество — это покой,
Храм для истинных единоверцев.
Та молитва, что Богу слышна, —
Одиночество полного сердца,
Переполненных глаз глубина.
И не надо гремящих пророчеств.

Есть одно. Его хватит навек —
Встреча двух или трех одиночеств,
Точно в море впадающих рек.

Пророки и переводчики

Мы говорим о пророках и лжепророках. Но кто такой пророк? Тот, с кем говорит Бог. Как? На человеческом языке? На любом из наших языков? Или пророк — это тот, кто научился понимать язык Божественный, ни на один из человеческих языков не похожий?

Нам очень хочется, чтобы с нами говорили на привычном языке — просто, прямо, однозначно. Но это означало бы сводить Бесконечность к конечному; многомерность — к одной мере. «То, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом», — сказал Силуан. И мы несколько лет назад проводили беседу на эту тему. Однако есть необходимость поговорить об этом и сегодня.

Мы выучили буквы, знаем алфавит — и думаем, что умеем читать. Но это иллюзия. Научиться воспринимать смыслы можно, только поняв, что всякое состоящее из букв слово — только значок, палец, указывающий на Луну, а не сама Луна. Бога невозможно увидеть не потому, что Он не хочет или не может показываться нам. Нет, это принципиально невозможно. У Бога нет вида, во всяком случае того, который могут уловить наши глаза; нет голоса, во всяком случае того, который могут уловить наши уши.

Я несколько раз цитировала слова Тагора о Боге: «Ты невидим, потому что Ты — зрачок моего глаза». И не раз говорила об иконе Феофана Грека «Преображение», где апостолы переворачиваются вниз головой, увидев свет Христа не вовне, а внутри самих себя. Только увиденное и услышанное внутри является духовной истиной. Только Душа может увидеть и услышать Бога. Но у Души нет ни глаз, ни ушей. Поэтому то, что видит и слышит Душа, требует перевода на наш язык.

Силуан, в течение пятнадцати лет испытывавший мучительнейшее состояние богооставленности, вдруг, во время молитвы, услышал в душе голос Бога. Не уши, а Душа услышала. Душа пережила потрясающее чувство освобождения от всякого страха. Не потому, что ничего устрашающего нет. Это есть. Ад обступает нас, но в нас есть сила, которая больше всего ада; Душа почувствовала, что может перерасти ад, что она сама реальнее ада. Как перевести это чувство на общепонятный язык?

нятный язык? В душе Силуана возникли слова: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Слова эти до сих пор толкуют как угодно, но важно то, что Душа вышла из отчаяния и просияла.

Говорят, что можно глазами увидеть ауру святого. Если это и так, то что толку, если твоя душа при этом не просияла сама, не уподобилась сияющей Душе? Или, во всяком случае, не испытала великой любви к этому просиявшему Духу; любви, которая рано или поздно заставит засветиться и твою душу.

Чем отличается лжепророк от пророка истинного? Если тот, кто считает себя пророком, говорит о событиях внешнего мира, предсказывает ли он будущее, учит ли тому, что надо нам делать, — правду его слов можно так или иначе проверить. Но целостную истину не проверяют. Ею становятся. На вопрос Пилата «что есть истина?» — Христос мог ответить только всем собой. Нет слов об истине. Есть сияние Истины. То есть слова, может быть, и есть. Но произносящий их хорошо знает, что это лишь слова, что это *перевод* с несказуемого подлинника — с молчащего Бытия.

Бог говорит с нами сиянием. Говорит светом, цветом, линией, ритмом — красотой. Это величайший язык. И однако, с нашей человеческой точки зрения, — немота. И нам надо научиться понимать язык молчания, понимать, что говорит само бытие Божие, которое без слов является нам.

Так вот, найти слова, соответствующие этому Бытию, как бы расшифровать немому, ничего не придумывая, а отыскивая ее точный смысл, это и есть работа переводчика. Им может быть поэт, художник, композитор или просто человек, сама жизнь которого становится красотой. Энтони де Мелло дал такое определение Мастеру (духовному учителю): это человек, сама жизнь которого становится шедевром.

Работа переводчика бесконечно трудная, ибо совершенно не допускает отсебятины. И вместе с тем, работа эта совершается всем собой, всей личностью. И каждое слово, каждая интонация, краска, линия, поступок соотносены с невидимым подлинником и передают то, что больше всех слов и знаков.

«Я ничего не творю от себя. Всё — от Отца». Что означают эти слова Христа?

Когда-то родоначальник монотеизма Авраам отыскивал в пустыне Того, кому может поклониться его душа, — Всевышнего. Он поочередно отвергал всё самое высокое и прекрасное, что видел, ибо все видимое сравнивалось одно с другим; одно превосходило другое. Всё измерялось нашими мерами. И вдруг он почувствовал, что есть что-то нашими мерками не измеряемое — что-то непредставимое, неизреченное. Ни глаза не могут увидеть этого, ни уши услышать. И всё-таки Оно ЕСТЬ. Более, чем что-либо видимое и слышимое. Оно создало все видимое и слышимое и пронизало его Собой. Оно — сущее не где-то, а везде — вездесущее.

Оно — могущее сделать не что-то, а всё, что нужно жизни — всемогущее. Оно обнимает нас, включает нас в Себя и никогда не может предстать перед нами, ибо бесконечно больше нас. И не просто больше. Оно — ИНОЕ. Непредставимое. Ум представить Его не может. А сердце — чувствует, ибо это непредставимое проходит через наше сердце, бьется в сердце и заставляет наше сердце биться. Это и есть само наше бьющееся сердце, только очень глубокое сердце, которое таинственным образом является общим, единым во всех сердцем.

Если я почувствую, что мое сердце не отделено ни от чего живого; если я почувствую, что являюсь живой неотъемлемой частью единого таинственного организма, если почувствую, что это Единое ЕСТЬ, что есть незримая связь всего со всем; что каким-то непостижимым образом каждый волос наш сосчитан и каждая клеточка учтена, если я всё это почувствую, то я почувствую Бога.

Увидеть этого нельзя — так же как утробному младенцу нельзя увидеть свою мать, хотя нет ничего реальнее матери. Она — единственная возможность его жизни. Ближе и нужнее нее нет ничего. Но Она — ИНАЯ. Он — в ней, и вся её кровь — в нем. И однако — ни увидеть ее, ни услышать он не может. Нет у него таких органов. Связь — только внутренняя. Так вот, это чувство внутренней связи и есть религиозное чувство. Увидеть же и услышать мы можем только такое же, как мы, — нечто конечное. Но не бесконечного Бога, включающего нас в Себя.

Тот, кто утверждает, что видел Бога физическими глазами, либо обманывается, либо обманывает. «Бога не видел никогда и никто, — говорится в Евангелии от Иоанна, — едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (то есть — явлен нам). Только Сын нам явлен. Только явление видимо. Сущность — не видна. В мире явлений есть конечные существа. В сущностном мире — внутренняя бесконечность, ощущение которой и есть чувство Бога.

Всемогущее сердце мое,
 Бесконечных миров сердцевина.
 Ты, наполненное до краев Со
 вселенною всею едино.
 О, лесная великая тишь. —
 Чудотворная сила безмолвья.
 Это ты мое сердце растишь.
 Это ты его тайною полнишь.
 Омываясь в Твоей тишине,
 Я прощаюсь со знанием ложным.
 Всё, что истинно надобно мне,
 То воистину сердцу возможно.

Чувство всемогущества уравнивается чувством величайшего смирения. И одно без другого будет ложью. Лжепророк — это тот, кто чувствует великим себя, свое человеческое «я», тот, кто может сравнивать

себя с другими и с гордостью сознавать свое превосходство. Истинный пророк никого не хочет превосходить и ни с кем не думает сравниваться. Он — тот, кто чувствует свою бесконечную *малость*, чувствует себя *ничем отдельным*. Он не способен отделиться от Единого Бога. И ни от одного из созданий Божьих. Он знает о страшном грузе единства. Страшном грузе — потому что пока все люди не почувствовали этого единства, Он будет одиноким, Он будет один нести на себе крест за всех. И может быть распят на этом кресте теми многими, которые сравниваются один с другим и превозносятся один перед другим.

Его — наисмирненнейшего — сочтут дерзким богохульником за то, что он понял свою неотделимость от Бога и сказал: «Я и Отец — одно».

Чувство связи всех со всеми, чувство неотделимости от источника жизни недоступно тем, кто вечно сравнивает и сравнивается и не выходит из мира конечных явлений к Океану Бесконечности, в котором тонут все ограниченные «я», какими бы огромными они ни были. Так вот, когда Океан переполнил твое сердце, ты хочешь донести Его рокот до людей; ты хочешь открыть им великую истину об их, о нашей общей Бесконечности и, пользуясь конечными человеческими словами, должен стать переводчиком.

Я только переводчик. Знали б вы,
Как мало мне отпущено свободы!
Как будто ждет лишение головы За
каждую неточность перевода.
Когда б вы знали, сколько нужно мне
Немого, бесконечного вниманья,
Чтобы понять, что дышит в тишине И
что звучит в глубинах мирозданья!
И сколько нужно тайного труда,
Чтоб в слово превратить касанье Духа
И то, что молча говорит звезда,
Доступным сделать для чьего-то слуха.
Когда б вы догадались, сколько зла
Скрывается в одной фальшивой ноте,
Вы бросили бы все свои дела И стали
б помогать моей работе.

Одна фальшивая нота — это отсебятина; то, что произнесено от своего отдельного, противопоставленного другим «я». Когда человек не чувствует себя бесконечно малой частью великого целого; когда он думает, что является вполне самодостаточным, не соединяясь с миром, окружающим его, — он фальшивит, он что-то не то думает и говорит.

Но вот появляется кто-то, кто знает, что он, отдельный от тебя, от меня — никто. Он — никто, даже если отделен от малой травинки и от далекой звезды. Он цел только вместе с тобой, вопрошающим Его,

спорящим с Ним и даже распинающим Его. «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Не ведают, что нас много только на поверхности, а в сокровенной глубине мы — одно. Одно величайшее целое. И каждый мой шаг отдается на далекой звезде; и каждая наша мысль либо бьет, либо исцеляет Бога. И пока мы наносим раны друг другу, мы раним Его, без которого мы — ничто, и мир никак не может исцелиться. Наше соперничество — это соперничество пальцев одной руки друг с другом, соперничество двух рук одного тела или ног и рук, глаза и уха.

Мы очень разные. У нас разные задачи. Но мы члены одного таинственного (мистического) Тела. И потому «Бога ударили по тонкой жиле — по руке, или даже по глазу — по мне».

А Бог не виден. Виден лишь
Цветок. И сколько ни глядишь
—
Стоит цветок, раскрывший глаз,
И к Богу обращает нас.
Куда? На Запад? На Восток?
— Туда, откуда встал цветок.

Да, Бог говорит с нами только через цветок, через рассветы и закаты, через сосну или березу, через море — через мирозданье.

Этот май священный —
Половодье сил.
Ах, Творец Вселенной,
Что Ты натворил!
Растворил все двери —
Здесь я и везде.
Потому не верю Ни одной беде.
Ни одной утрате,
Никакой судьбе. —
Верю я, Создатель,
Одному Тебе.
Лес в зеленом цвете,
Как жених в венце...
Этот мир — свидетель О своем
Творце.

Так вот, это свидетельство надо увидеть. Этому свидетельству надо уметь поверить. Надо доглядеть мир до его Творца и никогда не соблазняться мыслью, что можно увидеть Творца напрямую, не через Творение Его.

Все эти послания на человеческих языках из других миров, все иномирные видения, все что видится не *через* этот мир, а мимо него, заключает в себе много ложного, а подчас — лжесвидетельского. Но

бывают порой очень сложные переплетения истинного и ложного. В иных случаях человек, очень глубоко увидевший красоту этого мира, пытается потом что-то домыслить от своего ума. Он перестает переводить с божеского языка на человеческий и рисует картины иных миров так, как будто это можно передать нашими словами. Иногда находятся талантливые метафоры, но реализация метафор, смешение метафоры с фактом заводит в тупик. Очень любимый мной гениальный поэт и духовидец Даниил Андреев лучше всего описал свой духовный опыт в двух местах: в поэме «Песня о Монсальвате», в сцене преображения королевы Агнессы, и на тех страницах «Розы мира», где он рассказывает о том, что пережил на реке Неруссе. В обоих случаях — никаких оторвавшихся от Земли видений, никакого уводящего в фантастику воображения — только озаренность внутренним сиянием, переданная с поразительной силой. В других поэмах он говорит о другом, о проникновении в иные пласты бытия, находя потрясающие метафоры. Но когда вдруг пытается заменить метафоры схемой, — на мой взгляд, и он соскальзывает на неверную ноту. Бывает и так...

Бог дал нам этот мир как великую любовь и великую тайну нашей общности, нашей связанности в одно целое. *Это* мы должны увидеть, открыть, а не нечто необычное, поражающее наше воображение и отвлекающее нас от своей задачи. Всякое отвлечение от нее — увод нашего сознания в сторону от единой глубины и является лжепророчеством, лжесвидетельством — назовите, как хотите.

Христос назвал Себя только Дверью и Путем туда, в это единство, в это целое, в Бесконечность, породившую нас, — в Отца. Уподобиться Христу значит стать этой открытой Дверью, прозрачным окном, пробитым из конечного мира в бесконечный. А всё остальное —

Слова, слова, сплетенье фраз.
О, Боже правый, как их много —
Всех тех, что заслоняют Бога И
отгораживают нас От
бесконечности небесной,
От той родимой глубины,
Где никому не будет тесно И
все друг в друга включены.

Слова облетают, как листья. А между тем, сказано, что Бог есть Слово.
Как с этим быть?

Ну да, конечно, Бог есть Слово,
Но только то, что вечно ново,
А говорит одно и то же На языке
не нашем — Божьем,
На языке лесов и вод,
И лишь Душа Его поймет.

Я кончу еще одним стихотворением:

И вот раздался голос Бога.
Все речи мира заглушив,
Он прогремел не за порогом —
В пространстве всей моей Души.
Он разорвал ее пределы.
Пронзил тьму ночи солнцем дня...
— Что Он сказал? Что повелел Он?
— Он к жизни пробудил меня.

Смысл красоты

В прошлый раз мы много говорили о знаменитой, истолкованной на все лады фразе Достоевского «Мир красота спасет». И сейчас я хочу вернуться к этой теме и развить ее.

Достоевский сказал о красоте и это, и другое: «Красота — страшная, ужасная сила». Да, красота может быть и тем, и другим, и третьим.

Красота — это Божий урок.
Нам Творец преподал красоту.
Тихо падает легкий листок,
Задержался, дрожит на свету..
Бог велел: «разгадай и пойми».
Но загадка трудна иль проста —
Между Богом самим и людьми
Вечным сфинксом молчит красота.
Отдана в нашу полную власть.
Что ж нам делать с загадкою той?
Мы вольны иль убить, иль украсть,
Или, может быть, стать красотой?

Да, мы вольны отнестись к ней, как угодно, сделать с ней все, что изволим. Можем смотреть на нее, как охотник на дичь. «Зверек хорошенький», — говорит Свидригайлов Дуне Раскольниковой — и вдруг понимает, что пистолет, запертые двери, вся его сила и хитрость ничего ему не дадут. Нужно другое. А так как к этому другому он совсем не способен, — он кончает жизнь самоубийством. Она потеряла для него всякий смысл.

Думаю, что и для Гумперта Лолита была зверьком хорошеньким. Зверек этот дался ему в руки, и он тешился ею, сколько мог. Потом очень страдал, когда она ускользнула от него, а в конце понял вдруг, что она не зверек, а живая душа, и роль охотника показалась ему дурной, грешной ролью. Но что же делать с этой живой душой?

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой?
 Что делать нам с бессмертными стихами?
 Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
 Мгновение бежит неудержимо,
 И мы ломаем руки, но опять
 Присуждены идти все мимо, мимо...

Вопрос, заданный Гумилевым, приближает нас к религиозному мироощущению. Мы замираем на берегу тайны, «благоговей богомольно перед святыней красоты». Более того — мы понимаем, что тут рядом тайна нашего преображения — рождения нового вида, нового существа.

Так некогда в разросшихся хвощах
 Ревела от сознания бессилья Тварь
 скользкая, почуяв на плечах Еще не
 появившиеся крылья.

Так вот как появляются крылья, — какое-то совсем новое духовное чувство жизни — шестое чувство, когда уже нет охотника и зверька; нет двух, а есть одно — розовая заря входит в душу. Душа светится, как розовая заря, и кажется, может охватить собою мир. И так, можно убить, если не красоту, то самого себя, как Свидригайлов; можно украсть красоту, как Гумперт Гумперт, а можно самому стать красотой, как предчувствует Гумилев.

На самом деле, красота дается нам как благая весть. Дается всегда. И ждет, чтобы Ее услышали. Благая весть — это весть от Бога — Душе, которая должна зачать от Него и родить Нового, обоженного человека — *стать* обоженным человеком.

Обожение — это цель нашей жизни. Красота — ангел, благовестующий нам об этом. Духовные истины все выражаются только метафорой. Буквально сказать о духовном нельзя. Недаром Христос говорил большею частью притчами, иносказаниями. И все великие мистики говорили так — иносказаниями или поэтической метафорой. Мы привыкли принимать буквально, что Иисус родился не от Иосифа, а от Духа Святого. И мы совершенно забываем слова самого Иисуса: «плоть от плоти родится, а Дух от Духа». В ответ на недоуменный вопрос Никодима — как это можно войти снова в лоно матери, чтобы родиться свыше. «Только безумный понимает так, — ответил Христос. — Плоть от плоти родится, а Дух от Духа». Майстер Экхарт много говорит о Божественном рождении, о вечном рождении — и это всегда рождение Бога в душе. Ни о каком плотском рождении речи у Экхарта не идет и не может идти, ибо это просто не о том. «Не про то», как говорил князь Мышкин. Совершенно не про то — добавлю я. «Да поможет нам Бог, сегодня вновь рожденный человеком, дабы мы, бедные дети земли, родились в Нем

Божественными», — говорит Майстер Экхарт.

Рождение Божественного человека — Богочеловека — это рождение безгрешного человека. Как ни обросло легендами имя Иисуса, но даже чисто канонически о нем сказано, что Он ничем не отличается от обычного человека, кроме отсутствия греха. В этом «кроме» заключено бесконечное содержание. Безгрешный человек — это человек, в котором разрушилась преграда, отделяющая его от Бога. Безгрешный человек — человек, слитый с Богом в одно. (Не знаю, надо ли повторять то, что я много раз говорила: единство ни в коем случае не означает равенства: моя рука не равна мне, но едина со мной).

Итак, красота — весть, призывающая нас родить в себе безгрешного человека — стать безгрешными. Присутствие красоты в нашем мире — это присутствие ангела-хранителя. Но только он ничего не может сделать без нас, как ничего не мог сделать даже сам Христос, когда Ему не верили, то есть когда Его в упор не видели. Видим в Нем человек. Бог в Нем невидим. Глазам не виден. Видим сердцу, если оно не слепо. Ангеличность красоты тоже видима только сердцу. Глаза могут видеть розовую зарю и считать ее слепой игрой природы. Глаза могут видеть красивую женщину, как зверька хорошенького. А что видит в ней сердце? — это только сердцу становится ясно.

Я уже приводила в прошлый раз слова Энтони де Мелло о том, что значит уметь видеть. Один из ответов был: увидеть, что золотое ожерелье, о котором ты мечтал, находится у тебя на шее: т.е. по-настоящему увидеть (увидеть всем сердцем) значит уже достичь цели. «Имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит» — слова, красной нитью проходящие через все Евангелие. Ничего больше не надо. Никаких действий. Если ты действительно *увидел* красоту, ты станешь ею. Надо только подставить ей свое сердце, и она впечатается в тебя и засветится в тебе.

Окаменей, замри, Мария.
Останься у Христовых ног.
Пусть тянутся часы святые.
Нет никого. Есть ты и Бог.
И если будет день проклятый,
Когда померкнет небосвод, —
Он образ свой в тебя впечатал,
И этот образ тьму прожжёт.

Так вот — надо дать впечатать в себя совершенный образ. Но ведь чтобы дать впечатать Его в себя, надо дать Ему возможность вытеснить все другое. Надо стать чистой бумагой или первозданной глиной, не имеющей еще никакого образа.

Вот это и называется «работой любви». Термин Рильке, не раз повторенный и развитый нами с Григорием Соломоновичем. Рильке го-

ворит, что подлинно Любящий не ждет никакого ответа от любимого. Ответ заключается в самой его любви. И это, может быть, труднее всего понять на обычном нашем уровне. У нас всегда присутствуют в любви двое. В божественной Любви нет двоих. Есть одно. В суфийской притче, пересказанной Руми, любящий стучится в дверь возлюбленной. (В этих мистических текстах возлюбленная это всегда твоя суть — сам Бог).

«— Кто здесь? — спрашивают изнутри дома.

- Я».

Здесь нет места для двоих — следует ответ. Дверь открывается только тогда, когда с внешней стороны раздаются короткие слова: «Ты. Здесь Ты». Ты сам стучишься к себе. В этом же смысл Христовых слов: «Я и Отец — одно». Но от первого взгляда на красоту, даже от тончайшего восприятия красоты до чувства единства с ней — расстояние огромное.

В прошлый раз меня спрашивали, почему я сопоставляю таких разных писателей, живущих в разные эпохи и очень далеких друг от друга, как Достоевский и Набоков. Попытаюсь подробнее ответить на этот вопрос.

Набоков так тонко, так полно чувствует красоту, что мне казалось — он готов слиться с ней в одно, как сливаются в его рассказе облако и башня с озером, отражающим их. Я ждала, что душа его вот-вот расправится, как та редчайшая бабочка из рассказа «Рождество», чудотворная бабочка, вылупившаяся из кокона, который казался мертвым, вылупившаяся и воскресившая умиравшую от горя душу человека. Есть у Набокова немало рассказов, в которых красота обладает чудотворной силой. В том же, очень любимом мной рассказе «Озеро, облако, башня» герой, необычайно чуткий к красоте, становится жертвой жестокой торжествующей пошлости. И душа, потянувшаяся к красоте как к спасению, взывает к нам почти что с креста.

Та же тема и в «Приглашении на казнь». Почему же Набоков не создал героев, подобных Мышкину и Алеше Карамазову, — ни в прозе, ни в лирике, хотя как будто так близко подходил к этому? И почему от самого Достоевского Набоков отталкивается, как от чего-то неестественного, ненужного его душе? Зачем закрывать шторы и зажигать днем настольную лампу, когда вокруг столько красоты? (А он видит Достоевского именно так — человек, закрывшийся от дневного света.) Набоков был влюблен в красоту. Но готов ли он, умеет ли он любить до того, чтобы увидеть Вестника Божьего, понять задачу души: зачать от Бога и родить нового, безгрешного человека?

Все романтики так или иначе влюблены в красоту мира, но перейдет ли эта влюбленность в любовь к Творцу этого мира, всегда трудную и жертвенную, или остановится на самом ангеле, не поняв, на что он указывает, куда ведет? Почему, если этот мир так прекрасен, в нем столько страдания? Почему около волшебного озера, отражающего облако и башню, столько глухих и слепых, бесконечно жестоких людей?

Как быть с этой пошлостью и жестокостью, с этим «обезьяньим» ушком героини «Приглашение на казнь», ушком, в которое не входит ничего из истинного, с этой хорошенькой куклой, тоже носящей имя человека? Столько вопросов... Ни религия, ни искусство не дают окончательного ответа. Но вот перед нами Книга Иова. Мы много говорили о ней. Но она неисчерпаема. Религия и искусство в ней соединились. Точнее — религия и творчество. И здесь хочется остановиться. Слово «творчество» равно считается и по ведомству религии и по ведомству искусства. Религия вся о Творце мира. А искусство и творчество стали почти синонимами. Может, разница количественная? Там — Творец, здесь — творцы? Однако вернемся к Книге Иова. Не знаю более прекрасных слов о праведнике, чем те, что сказаны об Иове: «Он был для хромого ногами, для слепого глазами, для сироты — отцом». И вот такой-то человек получает всю меру боли, которая только мыслима на земле, — потерять все богатства, стать нищим (самое легчайшее), потерять разом всех детей (их десятеро) и, наконец, заболеть проказой, страшнейшей и позорнейшей болезнью, которая считалась проклятьем Божиим, поражающим грешников.

Иов и друзья его — знаменитые страницы противостояния беспричинного страдания и поиска причин этого страдания. Необъяснимая громада страданий и громоздящиеся друг на друга горы объяснений. Религия здесь адвокат Бога. Страдание — Его обвинитель.

И совершенно неожиданным образом Бог оказывается на стороне своего обвинителя. Ему не нужны посредники. Он сам будет говорить со страданием. Со страждущим.

Как же Он говорит с ним? Никак. Без аргументов. Развернув перед ним картину Божественной красоты мира. Вопрос Божий только один: можешь ли ты вместить это? Можешь ли быть Мне со-творцом? Можешь ли не быть другим (противоставшим Мне или стоящим рядом, но вторым, другим), а не единым со Мной? Чтобы было не двое, а одно? Можешь?! Вот перед чем смолкает Иов.

Он, как громом, поражен пониманием, что должен отвечать, а не спрашивать. Бог дал ему всего Себя. А он взял? Выход из невыносимого страдания в том, что человек может стать единым с Богом. Нет двоих. Есть одно. Бог страдает так же, как и Иов. Иов сияет так же, как и Бог. Бог — в Иове. Иов — в Боге.

Здесь порог, который труднее всего (до полной невозможности) перейти нашему уму. Разум, логика привыкли иметь дело с множеством, а не с единством; с числами, а не с бесконечностью, бесчисленностью...

А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

(Н. Гумилев)

Но самому умному числу тут больше нечего делать. Нечего делать с розовой зарей, кроме как вместить ее в душу и засветиться изнутри, стать единым с нею. Но нет двоих. Есть одно. Нет чисел. Есть бесконечность.

Мы созданы по образу и подобию Божию. И если замысел Создателя воплотится, если мы свершимся, то сами станем ответом, станем Божественной красотой, гармоничными безгрешными людьми, соединенными с Богом в одно. Но.

Попробуем вдуматься в миф о грехопадении. На первый взгляд, примитивная сказка (как, между прочим, и история Иова, где Бог так мучает своего праведника на спор с сатаной). Бог запретил Еве срывать яблоки с древа познания добра и зла. Ну, а она сорвала. Всего-то только. И за это!.. Но все дело в том, что Бог — господин не внешний, а *внутренний*. Ева ослушалась своей собственной Глубины и поддалась поверхностному голосу. Это легче. Это приятнее. Надо слиться в одно с Богом, чтобы воистину распознать добро и зло. Плод этого таинственного дерева по зубам только нашей Божественной сущности. — Сущему. — Вечному. — Богу. А Ева украла у Бога этот плод. Украла, потому что право на него имеет только слитая с Богом душа. Но это слишком трудно. Украсть куда легче.

Почему не овладеть Лолитой? Дуней? Грушенькой? Она — моя. А ты чей? Чье небо? Море? Лес? Музыка Баха, Моцарта? Кажется, это о другом? Да нет! Пришло ли бы в голову Сальери (пушкинскому, разумеется) спорить о том, кому принадлежит небо? Но музыка Моцарта переводит на другой язык те самые переливы розовой зари, с которыми Гумилев не знал, что делать. Схватить? Присвоить?

Эти переливы должны принадлежать мне, а не Моцарту — решил пушкинский Сальери, как-то совершенно отказываясь понять, что переливы эти, эти песни райские вовсе не принадлежат Моцарту. Они так же, как и небо, принадлежат только Богу. А это значит, что совершенно равно даны и Моцарту и Сальери. Условие одно: любить их, любить эти райские песни и самого Моцарта, через которого они дошли до души, до всех наших душ. Вся суть в них самих, в песнях этих, а не в том, чьи они. Они — ничьи.

Моя красота? Но такой не бывает.
Ведь я же не кукла. Взгляни, разлита
Вокруг красота белопенного мая.
Вот это и вправду моя красота.
Вот здесь, в этой яблоне розово-белой,
Да в звонкой руладе того соловья...
И вдруг, словно ангел, певица запела.
Так вот она где — гениальность моя!
Совсем не моя? Перепутала имя?

Да полно! Деления ваши — вранье!
Кто, кто же у сердца сиянье отнимет?
И что это значит — «мое», «не мое»?

Не мое, а Божье. Тогда граница между мной и Богом разрушена. Я сама — Божья. И вот это оказывается счастьем, которое никто и никогда не отнимет. И такой свободой!

Облака ушли в кочевье,
И во мхах текут ручьи.
Мы свободны. Мы деревья,
Мы не ваши. Мы ничьи.

Вот это чувство, что я — ничей, ничья, как дерево и небо, приобщает душу Бесконечности. Я, разумеется, не равна ни дереву, ни небу, ни морю. Но я с ними едина. Какая радость может сравниться с этим чувством единства с миром? Какое яблоко?

Впрочем, после того, как душа воссоединилась с Целым Вселенной или тогда, когда она еще не отделялась от него (как в детстве или в раю), все будет Божественным — каждая вещь пахнет Богом, имеет вкус божества.

Вишня, груша, слива налитая —
Жизнь и смерть, входящие в мой рот.
Предвкушаю. Чувствую. Глотаю.
Как ребенок яблоко берет,
Вы видали? Это издалёка Входит,
различимое едва.
Там во рту, где жили лишь слова,
Вдруг — поток открытый — свежесть сока!
Так попробуйте сказать сейчас —
Что зовется яблоком? Вот эта Сладость?
Сгусток солнечного света,
Что собой напительная нас,
Брызнул. Льется! — полнота мгновенья!
О, познание, опыт, единение!

(Рильке. Сонеты к Орфею. Перевод мой)

Он и только Он дает нам полную истинную свободу. Но свободу нашему вечному, бессмертному началу — Целому, а не частям. «Полюби Бога и делай, что хочешь». Мы оба не раз цитировали эти слова Августина. Бог не ограничивает нас. Напротив — хочет слить со своей Безграничностью. Только в Целом мы живы. Все ветки и бесчисленные листья живы, пока не отделены от единого Дерева.

Я Божий раб. И нет раба покорней,
А вы свободны и гордитесь вы

Свободой веток от ствола и корня.
Свободой плеч от тяжелой головы.

Князь мира сего — это часть, отделившаяся от Целого и соблазняющая другие части сделать то же самое. Листок, слетевший с Дерева, на время чувствует себя таким свободным!..

Так что же делать Гумперту, когда он почувствовал, что Лолита не зверек хорошенький, а живая душа, розовая заря, бессмертный Божий стих? «И здесь кончается искусство, и дышат почва и судьба». Здесь именно может происходить зачатие от Бога и то самое божественное или вечное рождение, о котором говорит Майстер Экхарт. Здесь может родиться безгрешный человек, соединенный с Богом.

Но действительно ли кончается искусство там, где «дышит почва и судьба», или начинается новое, величайшее искусство? Искусство религиозное? Да, начинается искусство, в котором бесчисленные мастера сливаются с единым Мастером, становятся Его подмастерьями, не утрачивая от этого ни крошки своей неповторимой личности, своего неповторимо личного пути на Божью гору. Троп здесь бесконечно много. Простор для творчества — неисчерпаемый. А Творец все-таки один. Во всех — один.

Желтыми, бурыми, рдяными Стали
осенние листья.
Лес мой, расписанный заново
Вечно невидимой кистью.
О, как он просит внимания!
Все во мне смолкнуть готово.
Господи, это послание!
Господи, это же Слово...
Знаю я, слышу я — должно нам
Душу собрать воедино.
Как не увидеть Художника За
совершенной картиной?
Как не провидеть нетленное За
приоткрытою дверью?
Как не рвануться мгновенно нам
Прямо к Нему в подмастерья?

Да, Великий мастер — Поэт наивысший (как назвал Бога Тагор) — бесконечно нуждается в подмастерьях — в помощниках, в сотрудниках. Но люди чаще всего предпочитают, получив от Бога дар, стать владельцами этого Дара. Роль самостоятельного мастера нас привлекает больше, чем роль Божьего подмастерья. Мы не прочь защититься от Бога. Нам очень трудна Его безграничность, требующая от нас не части — а всего. Всей нашей души. В раю с Богом хорошо, но

И все же каждое мгновенье

Блаженным душам суждено
Вершить свой труд соединенья
Всего со всем и всех в одно.
И потому здесь так немного Людей,
хоть Божий сад велик. —
Ежеминутно возле Бога,
Не отвлекаясь ни на миг!..
Вниманьем всем, душою всею Быть
вечно ЗДЕСЬ, не где-то ТАМ...
Нет, предпочел пахать и сеять И с
Божьих глаз ушел Адам.

Да, пахать, сеять — заниматься любимым трудом, довести этот труд до совершенства. Стать мастером, гроссмейстером слова — гением. Разве не довольно? С обычной человеческой точки зрения — вполне. Люди за это увенчивают лаврами, поклоняются.

Когда Пастернака наградили Нобелевской премией (ставшей для него и мученическим венцом), Набоков спародировал его стихотворение, начинавшееся словами «какое сделал я дурное дело?».

«Какое сделал я дурное дело», — повторяет Набоков и продолжает:

И я ли, развратитель и злодей,
Я, заставляющий мечтать мир целый
О бедной девочке моей?
О, знаю я, меня боятся люди И жгут,
таких, как я, за волшебство,
И, как от яда в полом изумруде,
Мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Ну да, ему поставят памятник и конечно назовут (давно назвали) великим русским писателем, классиком нашим.

Все так. Только все ли это? Слава и мастерство — все достигнуто. Гений. Но на самом ли деле заполнена душа? Или она ограничилась, отгородилась мраморным забором от неба и моря — от Бога, который один только может заполнить бездну человеческой души?

Да, душа — это бездна, заполнить которую может только Бог! — сказал архиепископ Рамзай. И настоящая полнота жизни приходит только тогда, когда душа заполняется Богом. Хотя отгородиться от Него гораздо легче, чем открыться Ему. Защититься от Него — это защититься от Бесконечности. Бесконечность в тебе самом. И защититься от нее — значит защититься от себя, от бесконечной жизни. А это значит, в конце концов, — омертветь. Душа, защитившаяся от Бога, от своего источника

жизни, частично омертвела. Она жива еще, но не вполне. Она не полна, какими бы дарами ее ни осыпали. И так, не убить и не украсть красоту, а стать красотой, стать Божьим подобием... Не слишком ли трудная это задача? Может, даже слишком дерзновенная? Все может быть. И инстинктивное желание защититься от нее присуще многим очень хорошим людям.

Есть английский фильм о Клайве Льюисе. Прекрасный фильм. Когда Льюису было 9 лет, у него умерла мать. Это его глубоко ранило. Он много думал о страдании, читал лекции-проповеди о нем, уже став знаменитым писателем. Обрел славу, срывал аплодисменты. Но вот потом, в зрелые годы, его постигло великое страдание. Он потерял бесконечно любимую жену. Все слова о страдании превратились в пыль, в ничто. И в конце фильма он говорит своему юному ученику, рассуждающему о любви и страдании, но еще ничего не пережившему: «когда я был ребенком, я выбрал защищенность. Мужчина выбирает страдание». И это новая встреча Иова с Богом. Новая готовность не укрываться от Лица Божьего. Готовность вместить в душу Бесконечность.

По Божьему следу

Божий след можно определить по-разному. Но одно несомненно: это не застывший след. Это мерцание вечно настоящего. Мерцание внутреннего движения среди внешней неподвижности и одновременно — внутренней незыблемости среди внешней зыбкости; бессмертие среди постоянного умирания:

Тот, кто идет в стоящем,
Тот, кто стоит в идущем...

Во внешнем мире остаются всегда застывшие следы. Они превращаются в опору, в твердые правила, которых незыблемо придерживается всякий фундаментализм. Но истинный духовный путник, действительно ищущий Божий след, ни за что внешнее удержаться не может. Иначе он будет бесконечно далеко от Бога. Рильке обращается к Богу с такими словами:

О, Ты свободный! Расточитель света!
Прносишься, минуя ночь и день,
Ничьей стрелой ни разу не задетый,
Тысячерогий золотой олень!
О, лес рогов! Лес древний! Все сплелось Ты
сбросил их. Быстрее! Быстрее! — Одним
Прыжком (О, дрожь!) промчался СКВОЗЬ
Охотников, — для них не достигим.

И дальше:

За вещь вещь в неистовой погоне Мы
разрываем. Но внутри предмета Нет ничего.
Опять пусты ладони.
Мы жаждем ЗНАТЬ. — И в старой книге где-то
Подчеркнуты места, непостижимо
Невнятные. Ты там прошел. Но — мимо.
Кто удержал Тебя? Идешь, ломая
Все загражденья, — мимо нас, сквозь нас.

Ты говорил? Но вновь душа немая.
Ты здесь дышал? Но где же Ты сейчас?

Где? На этот вопрос откликнется только эхо. Внешнее пространство немо и глухо. Пустыня. Но пустота ее — кажущаяся. Отважься пройти сквозь пустоту. Отважься на одиночество. Вглядишься. Вступи вглубь.

И Рильке продолжает:

Так и со мной случалось, — но Тебя я
Не спрашивал. Я лишь служу Тебе И
жду лица, сквозь вещи прозревая
Невидимое. По ночам в молитве
Склоняюсь, не жалуясь.

Я — вглядываюсь.

(Импровизации на тему «Каприйской зимы». *Перевод мой*)

То самое вглядывание, пламенно-чистое, о котором говорил Антоний. Бесконечное внимание сердца, распахнутого настежь, готового к тому, чтобы незримый, вечно идущий прошел *сквозь* него.

Чистый пламень вглядывания сжигает покров, отделяющий от вечной жизни. Обычно покров — это защитная оболочка — очень крепок. Он сопротивляется уничтожению, сопротивляется тому, что иногда называют мистической смертью, тому, что сквозь «я» открывает дорогу Богу.

А Бог опровергает смерть.
Не спрашивайте, «как»?
Кто знает Бога, знает твердь,
Разрезавшую мрак.
Кто знает Бога, знает взмах
Незримого резца,
Который рассекает страх Обвала и
конца.
Сие не ведомо уму.
Оставьте ваши сны.
Кто знает Господа, тому Игрушки не
нужны.
И гроб не пуст, и камень цел,
Но в сердце — сноп огня.
Мой Бог пройти сквозь смерть сумел,
Шагая сквозь меня.
Огонь! Огонь! Огнем палим,
Расколот вечный мрак.
Чье сердце сделалось сквозным,
Тот понимает «как».

«Чье сердце сделалось сквозным» — вот основа основ. Искать Божий след можно только сквозь себя, внутри себя. И это самое трудное. Обычно ищут под фонарем, больше всего боясь заглянуть в темноту — внутрь, в

бездонность своей души. А между тем, без этого заглядывания глубоко внутрь, без этого пламенно-чистого взгляда, под которым внешний мир как бы расступается, сгорая, ты не нападешь на след Творца этого мира. Вы все время будете в разных мирах. Он — внутри, ты — вовне. И вновь и вновь повторится история Христа и тех незапятнанно правильных хранителей закона, которые Его предали на распятие.

Все дело в том, что законы жизни не пишутся чужой рукой раз и навсегда. Законы жизни создаются в нашем глубоком сердце, нашим Духом, который мощнее самых незыблемых гор. И тут мне хочется проиллюстрировать мою мысль одним современным американским фильмом. Он может быть в чем-то спорным, но не в главной мысли своей.

Мне не слишком нравится название этого фильма, но оно таково: «Куда приводят мечты». Я бы предпочла «Куда приводит любовь». Но фильм назван, как назван. Действие там происходит почти все время в загробном мире. Семья — муж, жена и двое детей. Сначала погибают дети, потом отец детей, Крис, муж художницы Энн. Она в полном отчаянии кончает с собой. Крис узнает об этом, находясь в раю. Ему сообщает это друг, учитель, умерший раньше него.

«— Когда я ее увижу? — восклицает Крис.

— Никогда.

— Как?

— Вот так. Она в аду. Она попала в мир своего отчаянья. И это навсегда.

— Нет!

— Как нет? Таков закон, и он незыблем».

Но для Криса нет незыблемых законов, которых не понимает его сердце.

Он идет в ад. Он проходит через весь ад. Он находит темную пещеру, наполненную пауками. Там — его любимая. Путь был невероятно трудным. Вот он у цели. Но — она не узнает его. Ее отчаянье ее съело. От нее не остается ничего, кроме страха перед пауками. Все попытки Криса пробудить ее напрасны. Он может только чуть уменьшать ее ужас, снимая с нее пауков. И он говорит: «Ну что ж, я остаюсь с тобой. Скоро я буду таким, как ты. Может быть перестану узнавать тебя, но я остаюсь. *Лучше быть с тобой в аду, чем без тебя в раю*». —

Эта абсолютная решимость выполнять волю Любви вопреки всему остальному в себе подобна решимости на распятие.

Неколебимая решимость выполнять волю Любви, даже если ты сам погибнешь, это и есть воля, творящая жизнь. Любовь творит жизнь. Но совершенная любовь, на которую очень мало кто способен. Она не ищет награды. Она сама свой смысл, смысл души, жизни. Лучше любовь, жертвующая жизнью, чем жизнь без любви.

Эта уверенность — основа чуда, основа творчества. Эта уверенность

— самая большая сила на свете.

И эта уверенность дошла до слепой и глухой души Энн и — пробудила ее. Она узнала Криса. Как бы наткнувшись сердцем на незыблемость его любви. Это привело ее в себя, и она вышла из ада.

Нет предопределения. Нет рока. Нет чуждого нам Бога, диктующего извне свои законы, свои условия. Рок — это не вмещенный внутрь Бог. По Божьему следу можно пройти через весь ад и выйти в рай. Но Божий след не где-то, не рядом с тобой. Он *проходит через тебя*.

Другой пример отыскания Божьего следа я хочу привести из романа XX в., из романа «Раб» нобелевского лауреата, еврейского писателя Башевиса-Зингера. Божий след, который находит здесь автор, пробивает стены национальных различий, стены религиозного фанатизма, слепой уверенности каждой группы в своей обособленной правде.

Герой романа — молодой еврей, бежавший от казаков Богдана Хмельницкого, вырезавших всю его семью. Скитаясь, он попал в руки разбойников, продавших его в богатую крестьянскую семью. И вот он стал рабом, пасущим скот хозяина в Карпатах, высоко в горах. Наедине с горами, наедине с Богом, раб находит свою внутреннюю свободу и достоинство.

Таков герой. Героиня — дочь хозяина, Ванда. Она охотно подымается на горное пастбище принести рабу его хлеб. В доме у себя Ванда видит грязь физическую и душевную. Она чужая в своей семье. Подымаясь в горы, встречаясь с Яковом, она попадает в другой мир. Ей кажется, что в душе Якова так же просторно и чисто, как в этих горах. Только здесь она начинает дышать полной грудью. И она полюбила Якова той совершенной любовью, больше которой не бывает. Ей безразлично, что он еврей и раб. Напротив, она думает, что все евреи таковы. Она готова была бы на все — перейти в иудаизм, уйти из дома. Только бы быть с Яковом.

Но для Якова думать о близости с ней после всего, что сделали с его семьей и с ним христиане, — страшное кошунство. Они с Вандой разделены пролитой в погромах кровью. И все же любовь уже закралась в его сердце и постепенно пробивает все стены. Даже когда еврейская община выкупает Якова из рабства и они с Вандой расстаются, казалось бы, навсегда, любовь оказывается сильнее всех обстоятельств. Яков не выдерживает разлуки, приезжает ночью к Ванде, выкрадывает ее, выдает за немую Сарру, женится на ней и начинает жить среди евреев.

И вот Сарра-Ванда видит, что окружающие ее евреи вовсе не похожи на Якова. Они так же мелки, лживы, корыстны, как и ее родичи. Формы жизни другие, чем в горной деревушке, а пошлость одна.

Роман кончается трагически, но сквозь него проходит свет любви, пронзительный свет — тот самый Божий след, который преображает душу и уводит к нетленной сути жизни.

Бог не связан ни с еврейским, ни с христианским бытом. Бог в той

глубине, о которой всё забывают ради корысти, ради ежедневных мелочных забот, ради своей чечевичной похлебки.

Реки крови проливаются из-за этой чечевичной похлебки, горы слов нагромождаются. Каждая группа выдумывает себе своего бога. Образ Божий разрывается на множество частей — распинается в распрах.

Божий след становится следом крови. И следом Бога в душе становится глубокая боль. Бог с теми, *кого* распинают, а не с теми, *кто* распинает. С теми, кто страдает, а не с теми, кто заставляют страдать.

Иначе не может быть. Весь таинственный смысл жизни в том, что я — не только я. Я не отделима от тебя, от него, от кого-то совершенно не знакомого мне, как и от каждого листочка. И от каждой звезды. Непонимание этого — корень всех наших бед.

Один из героев Достоевского, смешной человек из фантастического рассказа, чувствует себя *только* собой, оторванным от всего и всех. И вот, видя в хмурую сырую петербургскую ночь промелькнувшую между туч звездочку, задумывается: что, если я сделаю подлость здесь, на земле, и попаду на эту звездочку, будет ли мне стыдно и больно или там это не в счет, *там* будет все безразлично?

Весь рассказ (а может быть, весь Достоевский) — ответ на этот вопрос, утверждение веры, что каждое движение нашей души, где бы она ни находилась, отдается на всех звездах.

Внутреннее пространство едино. И те, кто думают, что можно причинить боль другому без всякого ущерба для себя, не ведают, что творят. Вот за них (за нас всех) и просил Христос на кресте: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Глаза «ведающих» всегда бездонны, как у икон, и бесконечно кротки. Они хорошо знают, что всякая агрессия обернется агрессией против тебя самого. Они не прочитали у кого-то, они внутренним знанием знают, что злом зла не прогонишь... Любовь к врагам — это не прекраснодушная мечта, а реальная необходимость для тех, кто ведаёт о нашем невидимом глубинном единстве.

О мир мой одухотвленный!
Как облаков прозрачных пух,
Как легкий лист в древесных кронах,
Вот так во всем трепещет Дух!
Плоть мира в каждое мгновенье
Небесным Духом налита,
И это одухотворенье И есть земная
красота.
Миллионнолика, живая —
Огня творящего ожог. —
Себя повсюду узнавая,
Ликует вездесущий Бог.
Единый — в каждой малой твари.
В Нем — наше тайное родство.

И знай — кого б ты ни ударил,
Ударишь Бога своего.

Вот такие знающие глаза, иконные глаза, ведающие о нашем тайном единстве и совершенно не способные причинить кому-либо зло; глаза, в которых есть боль за каждого из нас, — такие глаза я увидела однажды в кинофильме, опять же (ничего не поделаешь) американском. «Зеленая миля». Это были глаза великана — негра. Он был приговорен к казни. Конечно, за чужое преступление. Фильм этот — великая притча XX века, заново открытый Божий след. Свидетельство о том, что Евангелие не умирает. И не потому, что издается огромными тиражами, не потому, что люди заучивают цитаты из него, повторяют дословно молитвы. Не потому! А потому, что отыскивается снова та самая Глубина, из которой родились евангельские слова, та самая Глубина, и тогда, и сейчас приводящая к казни...

Казалось бы, Джон Кофе никак не похож на евангельский образ, и обстоятельства совершенно другие. Всё, все другие. Никаких повторов. Никакого внешнего сходства! Но. Тот же самый внутренний Божий след.

Джон Кофе творит чудеса. Исцеляет больных, воскрешает мертвых. Он чудотворец. Но не это в нем главное. Это — следствие главного. Главное в том, что он сам был чудо.

Есть чудо — «что» и чудо — «кто». Люди очень падки до чуда, которое «что». Нам обычно нужно, чтобы что-то случилось, чтобы не ведомый нам Бог исполнил нашу человеческую волю.

Но, я уже не раз приводила слова нашего любимого Энтони де Мелло: «Вы считаете чудом, когда Бог исполняет волю человека; а мы считаем чудом, когда человек исполняет волю Бога».

Негр со смешным именем Джон Кофе (по-русски — кофе) — чистый сосуд, в который вошел Дух Божий.

Когда он впервые появляется на экране, я еще ничего о нем не знаю. Его обвиняют в страшном преступлении, но я увидела его глаза и была потрясена. Глаза святого, встретиться с которым — величайшее счастье.

Доброта, любовь, бесконечное сочувствие чужой боли его переполняют. И он исцеляет от мучительной болезни своего босса, спасает обреченную больную раком мозга жену начальника тюрьмы и даже воскрешает маленького мышонка — последнюю радость одного заключенного, приручившего его.

Мышонка раздавил садист полицейский. Один из всех полицейских — садист. Остальные — нормальные люди, даже хорошие. И среди заключенных тоже один садист, выродок. А остальные нормальные люди, люди, как люди, слабые, что-то совершившие (мы не знаем, что именно, да это и неважно), кающиеся, обреченные на муку. И среди них один святой.

Этот фильм — великая притча о человечестве, так и не понявшем себя

и жизнь. Так и не научившемся отыскивать живой след Божий. Даже не поставившем себе эту задачу.

Другой герой фильма — полицейский корпуса смертников. Тот, которого исцелил Джон Кофе, видит, что перед нами чудо Божье и делает все, чтобы его спасти. Но великан-негр его останавливает: «Не надо, босс. Ничего не надо делать. Я устал, босс. Я хочу умереть. Все страдания, какие есть вокруг, все, все — во мне. И эта злоба, злоба...».

Сколько злобы он видит! Да еще фанатично уверенной в своей правоте, в том, что она знает, как надо. А этот великий и незаметный (неузнанный) прозорливец ничего не знает умом, логикой. Когда его везут куда-то, не говоря, куда и зачем, он спрашивает: я должен помочь одной женщине?

«— Откуда ты знаешь это? — удивляется везущий.

— О, я многое знаю, хотя я ничего не знаю, — отвечает Джон».

Его сердце видит след Божий и идет только по этому следу, другим не видимому.

Люди, идущие по Божьему следу, не дают нам никаких установок, правил. Они учат нас без учительства — собственной жизнью, всем своим образом.

Если буквально следовать за словами Евангелия, они не исполнимы. Исполнишь одно, будешь противоречить другому, и в конце концов из-за слов Евангелия начнется великая война, что мы и видим на протяжении двадцати веков.

Слова Христа связаны с обстоятельствами и не должны применяться без толку. В одном случае «не мир, но меч». В другом — «взявший меч от меча и погибнет». Цитатами можно оправдать любое зло: и насилие, и предательство. Но истина Христа — в живом следе Его целостного образа, вошедшем в наше сердце.

О, этот долгий, долгий Путь От
самого себя до Бога!
Случайно б только не свернуть,
Не потерять бы вдруг дорогу,
Как много дней, а может, лет На
заповеданную встречу:
Идти за Деревом вослед,
Или за Сыном человеческим.
За искрою... — За кем-нибудь —
Проводников на свете много,
Но не за тем, кто *знает* Путь, —
За Тем, Кто сам и есть дорога.

По образу и подобию

Мы созданы по образу и подобию Божьему. Но многие ли понимают, что это такое? Он такой же, как мы? С руками, ногами и всем прочим?

Мы сами создаем Бога по своему образу и подобию.

А рядом Дерево. Ни рук, ни глаз, ни сознания вроде бы у него нет. Оно на нас не похоже. Но как много оно говорит моей душе!

Ствол у березы толстый, старый. Вершина в небе полощется. Ветки массивные, раскидистые. А рядом ель и сосна. И все перевито солнцем. И от этого сердцу больно и слезы на глазах. И благодарение, благодарение... Кому?

Душа не задает этого вопроса. Душа знает, кому. Неужели знает? У души знание особое. Знать для души значит любить. И она любит. И как любит!

Так вот, мы созданы по образу и подобию Божьему. Что же это за образ? Глазами не вижу. Умом не понимаю. А душой? Только душа может ответить на этот вопрос. Но в большинстве случаев она молчит. Или мы не умеем по-настоящему разговаривать со своей душой? Умеем ли мы отбрасывать всякое знание, пришедшее со стороны, не из глубины души? Умеем ли мы в малчиваться всей душой в то, что любим?

Ветер перебирает ветки кленов и берез. Вершины полощутся в небе. Ну и что? Всё, всё, что нужно, если досмотреть и дослушать. Бог не говорит словами. Не говорит с умом. Только без слов и со всей душой.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Вот эта Пустыня, внемлющая Богу, и есть наша душа.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом.
Что же мне так больно и так трудно?..

Это вечный наш вопрос.

И почему же в общем хоре
 Душа не то поет, что море,
 И ропщет мыслящий тростник?

У души нашей несколько пластов. Душой себя называют и наши эмоции и наше эго. Но есть тот глубинный пласт, который слышит, что поет море, и чувствует, как в небесах торжественно и чудно и... внемлет Богу. И все-таки ей, глубокой душе, трудно и больно. Почему?

Потому что она на полдороге. Она почувствовала призыв, но еще не может ответить.

Разве она должна ответить, а не ей должен ответить Тот неведомый, который создал этот мир? Разве не Он должен ответить, почему в мире столько страдания? Почему люди воюют друг с другом, почему люди едят животных, а звери друг друга и людей? Почему стихия обрушивается на правых и виноватых, на всех без разбора? Почему?!

Все вопросы — Иова, который проклял ночь, в которую был зачат, и день, в который был рождён.

Почему?! Зачем?!

Книга Иова — великая метафора. Но люди всегда склонны реализовать метафору и понимать буквально.

Бог не насылает на нас несчастий. Ни потопа, ни цунами, ни страшных болезней.

Бог ничего не делает. Бог просто есть, и это условие жизни мира.

Надо ли солнцу что-то делать? Ему надо только *быть*, чтобы жизнь на земле существовала. Однако солнце может все-таки погаснуть. Но есть негаснущее нематериальное солнце. Это бессмертное сердце мира. И нам нужно только бытие этого сердца. Божье бытие.

Откуда я знаю, что оно (сердце) есть? А откуда я знаю, что у меня есть сердце? Знаю, потому что существую. Существую, потому что сердце бьется.

Если бы в мире были только рвущие его на части стихии, только цунами и Везувии, он вряд ли мог бы существовать. Все цунами и вулканы существуют на поверхности мира.

Но есть ли у мира глубина, суть, сердце? Не то, что возникает и исчезает, а то, что есть *всегда*?

Суций — вот библейское имя Бога. Яхве — суций (*иврит.*). Суть мира.

У мира есть не только поверхностные, преходящие явления. Есть и непреходящая суть. И нам, чтобы что-то понять, надо дойти до самой сути.

Есть ли у нас суть или мы сами только мелькающие явления, листья,

носимые ветром, мгновенные вспышки жизни, не имеющие смысла? Очень многим именно так и кажется. Нет смысла. Нет Бога.

Мне хочется привести стихотворение Мигеля де Унамуно «Молитва атеиста» (в переводе Косса):

Господь несуществующий, услышь В
своём небытии мои моления.
Ведь Ты всегда подаришь утешенье И
кроткой ложью рану исцелишь.
Когда нисходит в мир ночная тишь И
мысль вступает с вымыслом в боренье,
Надеждою изгонишь ты сомненье,
Свое величье сказкой подтвердишь.
Ты так велик, что миру не вместить
Величья Твоего. Ты — лишь идея,
А я за это мукою своею,
Своим страданьем обречен платить.
Бог выдуман. Будь Ты реален, Боже,
Тогда б и сам я был реален тоже.

Стихотворение кажется мне потрясающе точным и глубоким по смыслу. Вопрос о Боге надо обратить из вне во внутрь. Реален ли я, или я сам — выдумка? Есть ли у меня суть или никакой?

Да, вопрос о Боге это вопрос о себе. Богопознание это *самопознание*. Познание себя до последней глубины. До сути.

Путь в эту глубину трудный. Может быть, ничего нет труднее этого пути. И ничего нужнее. Тот, кто дошел до своей сути, узнал на опыте, что в глубине глубины нашей *есть* что-то, что одолеть нельзя. Нам говорят, что Бог всемогущ. И мы тут же требуем доказательств. Если всемогущ, то пусть уничтожит все зло и страдание, пусть сделает все, что нам нужно.

А Он ничего нам не делает. Он только есть.

И это всё, что нам нужно. Не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Это условие нашего бытия, нашей реальности.

Его неодолимость, вечность — это Его всемогущество. А Его всемогущество есть наше всемогущество. Ибо Он — наша суть, наша глубина глубин.

Мой Бог внутри. Так это значит, есть
Внутри меня возможности такие,
Каких бы мне извне не смог принести С
седьмых небес спустившийся мессия. Дел
никаких вершить я не должна, Хоть их на
свете бесконечно много.
Но у меня задача есть одна:
Раскрыть в душе сокрывшегося Бога.
Я сделала лишь только первый шаг,

Не знаю, что еще смогу успеть я,
 Но в высоту идет моя душа,
 Как дерево, живущее столетья.
 И шум страстей, вопросов гул исчез,
 И стали тихо отступать тревоги,
 Когда в душе моей поднялся лес,
 И день и ночь чуть шепчущий о Боге.

Да, вопросов гул исчез, потому что вопрос обратился внутрь и там замолк, ибо слился с ответом. Там, в глубине, происходит это слияние и ощущается возможность и обязанность отвечать, а не спрашивать. Открывший свою глубину знает, что спрашивать не с кого — только с себя. Проникший в эту глубину, в суть мира знает, что глубина эта одна на всех. И только когда все это узнают, кончится вражда. Как кончилась бы вражда двух рук между собой (будь такая возможна), если бы они узнали, что они принадлежат одному телу.

А пока этого нет, раздастся: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Те, кто живут на поверхности, не ведают внутренней тайны связи всего со всем. Узел связи всех со всем — в глубине. Там, в этом узле, — наше всемогущество.

На пути к нему — ад. Легион бесов. Бесы — это то, что встает между душой и Богом, между душой и ее последней вечной глубиной. Бесы — это то, что задерживает нас на пути в глубину, задерживает на поверхности, отвлекает от глубины и уверяет, наконец, что ее вовсе и нет. Все, что есть, есть здесь, на поверхности. Это можно увидеть глазами и пощупать руками. Да, это все преходящее, а непреходящего нет. Глаза показывают нам потоп, цунами, извержение Везувия. Это все слишком ясно видно и ощутимо. Весь вопрос в том, заслонило ли это страшное зрелище невидимую глубину, или нет, не заслонило?

Разговор сатаны с Богом об Иове, конечно, метафоричен. Разговоры о духовном не могут быть не метафорой, потому что это разговоры о том, что не может вместиться в слова. Но смысл этой метафоры один: сможет ли Иов пробиться сквозь все видимое, смертное, в бессмертную глубину? Заслонит ли сатана Бога? Поверит он Богу (глубине глубин, сути) или сатане (тому, что на поверхности).

Поверить Богу это значит Не верить
 собственным глазам,
 Не захлебнуться в море плача,
 Когда добра разрушен храм.
 Ты, наполняющий мне душу,
 Открыл ее беде любой.
 Ты на меня весь ад обрушил,
 Сказав: Не бойся. Я с тобой.

Конечно, и здесь метафора. Бог не обрушил ада на Иова. Он только ничего не сделал, чтобы защитить Иова от ада. Но, однако, само существование Божье — защита. Он ничего не делает извне нас. Он только существует *внутри*. «Не бойся. Я с тобой».

Ощувив это, поверив в это, я войду в свою нетленную глубину.

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. Никто не отвечает на вопрос «Почему так больно и так трудно». Пустыня внемлет Богу.

Еще чуть-чуть. Еще немного
Молчанья и, гора моя,
Ты возведёшь меня до Бога —
До полногласья бытия.
Волны беззвучной нарастанье.
Сейчас дойду до той черты,
Где постигают смысл
страданья И тайну Божьей
правоты.

Бог ни слова не сказал Иову. Бог словами не говорит. Никакими. Он Сам есть Слово, которое может слышать душа, если совершенно очистится, если станет пустыней, внемлющей Богу. Бог есть Слово или Смысл (логос).

Бог ни слова не сказал Иову, но Бог вошел в его беспредельно чистую, как простор пустыни, душу. И тогда Иов замолк. Два молчания слились. Молчание Бога и молчание души. Не стало двоих. Стало одно.

Мы созданы по образу и подобию Божию. По образу простора, охватывающего вселенную. По образу творящей бесконечности. Само ее существование творит миры. Оно, существование это, условие возникновения жизни. «Был ли ты со Мной, когда Я создавал небо и землю?» — так переводится на человеческий язык молчание Бога. «Ты создан Мной, чтобы ответить Мне и слиться со Мной. Ты можешь, ты готов стать образом и подобием Моим?»

И ничего не осталось в сердце Иова, кроме любви и благодарения. А это и есть условие жизни.

Есть много переводов и толкований Книги Иова. Но подлинник единственный... И он не в Библии. Он — в молчании души, внемлющей Богу.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь
блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет
Богу...
Сейчас дойду до той черты,
Где постигают смысл
страданья И тайну Божьей
правоты.

И вот, в лицо мое земное Она
уже глядит в упор.
Она встает передо мною
Непререкаемостью гор...

Ты ли создал все это? — спросил Иова Бог. — Ты ведь призван быть создателем. Ты создан по Моему образу и подобию...

О благодатном присутствии и богооставленности

На позапрошлой лекции мы кружились вокруг афоризма Ангелуса Силезиуса: «Я без Тебя — ничто. Но что Ты без меня?».

Тема трудная. И многие не могли вместить афоризма силезкого мистика. Эта тема очень близка к сегодняшней. И мне необходимо вернуться к ней. Мы говорили сегодня о благодатном присутствии, Богоприсутствии. И снова кружили вокруг Его невыразимой сути. Что это такое? Видение? Нечто, увиденное физическими глазами? Если нет, если это только глубокое переживание, то переживание чего? Ощущение чего? Что происходило? Что такое — это Божественное «Ты»? Когда я говорила в прошлый раз в стихах: «Ни единой черты / От меня. Только Ты. Всюду Ты», сердца очень многих не соглашались с этим. Вера в бессмертие дорогого нам человека, желание сохранить все его черты (а без этого мне ничего не надо) — это очень естественное желание, близкое каждому. Иногда нужно даже все до мельчайших подробностей сохранить. На иное мы не согласимся.

Вот тут-то и остановимся. Мы не согласны. Мы хотим того-то и того-то. Но в Гефсиманскую ночь Христос, плакавший кровавыми слезами и моливший Отца пронести мимо него чашу сию, сказал: «Но да будет воля не моя, а Твоя».

Человек, вместивший в себя Бога, сказавший: «Я и Отец одно», — все-таки имел не только единое с Богом великое «Я». Было и другое «я» — телесное, человеческое, для которого Бог был его бесконечно любимым «Ты». Тем, кому он отдавал всю свою человеческую волю. Всю. До конца. До последней капли. И хотя на кресте Он воскликнул: «Зачем Ты оставил меня?!» — волю этого высшего «Ты» он никогда не хотел изменить.

Ни единой черты
От меня. Только Ты. Всюду Ты.

Что же такое это «Ты»? Нечто отдельное от меня? Кто-то другой? Нет, не отдельный, не другой. Это «Ты» связано со мной самыми неразрывными узами. Это «Ты» может быть ближе ко мне, чем мое человеческое «я». Это моя Сущность, моя глубочайшая Суть, которая совершенно не

раздельна со мной и все-таки не слиянна. Я ощущаю это, как нечто бесконечно высшее и бесконечно любимое, как смысл моей жизни.

Богоприсутствие — это пробуждение всех слоев моей души вплоть до самого глубокого, внутреннейшего. Это состояние, при котором мое «я», жившее частичной, поверхностной жизнью, вдруг пробуждается и чувствует в себе жизнь бесконечную, вечную. В момент этого пробуждения сознание пересоздается. Человек испытывает такую полноту жизни, которая снимает все вопросы, мучившие его до этого. Момент этой полноты нельзя уподобить ничему, разве что абсолютной полноте взаимной любви с совершенным существом. Поэтому суфийская поэзия сравнивает *это* со свиданием с бесконечно любимой, со своей вечной возлюбленной.

Христианская традиция тоже называет Христа небесным женихом души. Он тот единственный, кто дает душе человека полноту жизни, абсолютное счастье.

И «Песнь песней», где описывается земная любовь царя Соломона и Суламифи, земная, но полная, совершенная, — включена в Священное Писание. А у суфиев это сравнение просто срослось со всей священной поэзией.

Глаза поили душу красотой.
 О, мироздания кубок золотой!
 И я пьянел от сполоха огней,
 От звона чаш и радости друзей.
 Чтоб опьянеть, не надо мне вина,
 Я напоен сверканьем допьяна.
 Любовь моя, я лишь тобою пьян,
 Весь мир расплылся, спрятался в туман,
 Я сам исчез, и только ты одна Глазам
 моим, глядящим внутрь, видна.
 Так, полный солнцем кубок пригубя,
 Себя забыв, я нахожу тебя.
 Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты
 Земного мира, — исчезаешь ты.

(Ибн ал Фарид. Путь странника. Перевод мой)

Это исчезновение и есть богооставленность, осознанная, ощутимая (в отличие от того, о чем говорил Григорий Соломонович). Еще как ощутимая! Был миг экстаза, но вот он прошел. До этого мига человек жил своей обычной жизнью, но после этого жить так, как жил раньше, уже невозможно. Это сравнимо только с тем, как человек жил, не зная любви. Потом была встреча, в сердце вошла великая Любовь. И вдруг — обрыв, расставание. Душу охватывает великая тоска.

О, если б так Синай затосковал,
 В горах бы гулкий прогремел обвал.
 И если б было столько слезных рек,

То, верно б Ноев затонул ковчег!
В моей груди огонь с горы Хорив
Внезапно вспыхнул, сердце озарив,
И если б не неистовство огня,
То слезы затопили бы меня.
А если бы не слез моих поток,
Огонь священный грудь бы мне прожег.
Не испытал Иаков ничего В сравненьи
с болью сердца моего,
И все страданья Иова — ручей,
Текущий в море горести моей...

Можно было бы отнести эти слова к восточной гиперболичности слога, но вот что говорит православный монах Софроний, когда пишет о богооставленности, испытанной святым Силуаном: «страдание матери, потерявшей единственного сына, бесконечно меньше, чем это страдание». Поистине, «и все страданья Иова — ручей, текущий в море горести моей».

Человек увидел, в чем смысл и суть жизни. Человек встретился со своей Сутью — с Сущим, с Богом. И потерял Его (или ее — пол здесь условность). Наступила разлука, и он не знает, как ему вернуть потерянное.

Все дело в том, что душа, встретившая Бога (живущего внутри нас, нашего внутреннейшего), все-таки не смогла еще целиком соединиться с Ним. Что-то встает между душой и Богом.

Думаю, что это встающее между душой и Богом и есть бесы, в образе они являются или без образа. Что-то тянет душу назад, от трудного единства с Творцом к более простой и легкой жизни творения (твари). Тварь ни за что не отвечает. Кто-то меня сотворил, дал жизнь и все, что нужно для жизни. «Дай всё, что мне нужно! Почему Ты мне не додал? За что наказываешь? Ты — жизнедавец, а я кто? Ты отвечаешь, а я только спрашиваю».

Но в том экстатическом свидании открылась возможность *единства* творения с Творцом. А значит, ты и истец и ответчик в одном лице. Это очень трудное состояние, когда ты сам отвечаешь на свои же вопросы, когда ты отвечаешь в своей глубине. Она спрашивает с тебя. Отвечай!

Ты совершенен. Значит надо мне
Замолкнуть абсолютно, совершенно.
И в этой всемогущей тишине Расслышать
смысл и тайный лад Вселенной.
Расслышать лад и быть с Тобой в ладу.
И в радости и в нестерпимой боли Держать
ответ за каждую звезду,
За каждый листик и былинку в поле.
Над нашею душою рока нет.
И о Тебе ежеминутно помня,
Душа должна всегда держать ответ И

никогда не спрашивать: «За что мне?».

Это бесконечно трудно. Душа и тело почти машинально (инстинктивно) отталкиваются от этой ответственности. И тут вся суть в силе любви. Если она и впрямь сильна, как смерть, душа сольется воедино с Тем, кого любит. Любовь победит всех бесов — и сомнения, и уныния, и безвыходности — всех.

Св. Силуан был в состоянии богооставленности 15 лет. И уже сказал себе: «Бог неумолим», как вдруг услышал голос Бога в душе: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Что это значит?

Да, ад есть. Земная жизнь может быть страшной, как ад. Да, все несчастья, все напасти возможны. Они окружают тебя. Однако есть великая тайна души — душа больше всего этого. Больше всего, что может случиться с телом. Душа не случается. Она есть всегда. И ей надо уметь все вынести. Все принять и потопить в своей глубине.

Ну что же, раз пришло, то заходи,
Огромное. Косматое. Лихое.
Мне надо уместить тебя в груди Со всем
твоим звериным диким воем,
Чудовишное горе. Время игр Давно
прошло. Померкли небылицы.
В мой дом ворвался разъяренный тигр,
И с этим тигром я должна ужиться.
Выталкивать нельзя. Иначе съест И
дальнего и ближнего соседа —
Всех, кто беспечно лепится окрест И
ничего о нем не хочет ведать.
Не вытолкнуть. Но и не продохнуть.
О, если бы судьба сняла излишки!
Что значит всёвмещающая грудь,
Придется мне узнать не понаслышке.

Да, все вынести, все принять и ясно ощутить, что душа твоя — непреходящая реальность. Все внешнее — фантом. Оно приходит и уходит. А Бог, а внутреннейшее — реальность. То, что воистину есть. Есть всегда. Утвердись в этой внутренней реальности. Как бы в ничём — ничём внешнем. «Учись падать и держаться ни на чем. Как звезды». Мы много раз цитировали эти слова из сказки Микаэля Энде.

Жизнь и смерть. Разделять их не надо.
Дрожь листка. Жилки трепетной дрожь...
Если жив, значит смерть твоя рядом,
Ты в соседстве со смертью живешь,
С ярким солнцем наступит разлука.
О границах своих не забудь.
Жизнь без смерти? Но это сквозь муку,

Через смерть прологаемый путь.
Сердце знает. И — верьте, не верьте, —
Только истина в мире одна:
Что-то есть большее жизни и смерти —
Породившая их Глубина.
Без нее невозможно спасенье.
Только в ней — наш незыблемый Бог.
Верность Ей есть залог воскресенья —
Бесконечности нашей залог.

Мне осталось сейчас вернуться к вопросу позапрошлой лекции — к вопросу о личном бессмертии, о нашем несогласии на исчезновение любимого существа в Боге. Самое трудное, что от нас требуется, — это отдача своей воли — Божьей. Полностью. Бог не представим умом. И не представимо то, что за чертой смерти. Но если сердце твое знает и любит Бога (а знать сердце может только любовью), тогда ты твердо уверен в одном: жизнь не кончается. Сам Бог и есть Воскресение и жизнь вечная. И от нас требуется только совершенное замолкание перед тем, что есть в самой глубине сердца: неизреченное, непредставимое.

Ответ Бога, который услышал в душе Силуан, отмечает всякую надежду на снисхождение, на возможность обойти стороной боль и смерть. Это перекликается с ответом Христа Петру, который уговаривал Его избежать распятия: «Отойди от Меня, сатана. Не о небесном думаешь, а о земном».

Как нам трудно отделить одно от другого! Как нам хочется представить себе то, что за границей наших представлений! Как нам трудно абсолютно довериться тому Высочайшему и Глубинному, что нам открылось, когда разверзлось наше сердце и мы ясно ощутили *незримое присутствие!*..

Не надо говорить, что смерти нет.
Есть смерть и есть невыносимость боли.
Но есть на смерть немолкнущий ответ —
Есть жизни чудодейственная воля.
Еще оливы слушают моления.
На всей земле еще стоят кресты.
И нет во внешнем мире воскресенья,
Но жизнь и воскресенье — это Ты.
Земля моя сквозь боль прошла такую!
И так галдит над смертью воронье!
Но потому душа моя ликует,
Что чувствует присутствие Твое!

Мистицизм и религия

В лекции об иконах я говорила, что надо остановиться, остановить все внешнее движение, чтобы почувствовать то непрекращающееся движение внутреннее, которое все время происходит в иконах. Внешне иконный лик совершенно неподвижен. Надо заразиться этой неподвижностью, застыть около иконы так, как тот или та, кто изображен на ней, застывают во внешнем мире, уступая дорогу чему-то неизреченному, много большему, чем они сами. Все внешнее должно стать руслом для вечно текущей реки Духа, всегда незримого и всегда движущегося, — вечно творящего этот мир. Мы видим дерево, но мы не видим роста дерева. Мы видим образ мира, но мы не видим Творца этого мира. Это тайна.

Однако тайна эта ни от кого не скрывается. Напротив, она широко, беспрепятственно открыта всем и всему. Как море, как высота и глубина неба. Разве кто-нибудь закрыл эту глубину и высоту от нас? Мир тогда не был бы миром. Он стал бы клеткой, тюрьмой. Но мы не в тюрьме. Наша свобода измеряется всем небом и всем морем — всем океаном, в котором мы — песчинки, но без которого мы — нули.

Мы, конечные существа, дышим Бесконечностью. Дух — это то, чем мы дышим. Чтобы дышать, чтобы быть живыми, нам нужна вся Бесконечность. Вдыхай, сколько можешь.

Вот почему книга величайшего христианского мистика Майстера Экхарта предваряется словами:

«Это
Майстер Экхарт,
От которого
Бог
Никогда ничего
Не скрывал».

Что такое мистик? Мистика?

В привычном словоупотреблении — это область потустороннего, проникновение в наш физический мир явлений из миров иных. Но

истинная мистика — нечто совершенно иное. Она даже враждебна такому пониманию. Речь в ней идет вообще не о явлениях — каких бы то ни было, а о непостижимой Сути, таящейся в глубине нас, — о нашей последней глубине.

Слово «мистика» происходит от греческого слова, обозначающего тайну. Мистик — человек, проникший в тайну бытия, не в скрытый от него секрет, а в свою собственную тайну, как бы нырнувший с поверхности в глубину и опытно обнаруживший там вечную реальность, непреходящую суть этого преходящего мира.

Может быть, первым мистиком в иудео-христианском и мусульманском мире был общий праотец всех трех религий — Авраам. Он первый открыл, что у всего видимого есть невидимый Творец. Он первый отказался поклоняться чему бы то ни было видимому, ограниченному, сотворенному. Отсюда заповедь: не сотвори себе кумира. Заповедь эту дал уже Моисей — наследник Авраама, основатель иудаизма. Легендарный Моисей вывел евреев из египетского рабства и дал народу своему десять заповедей, впоследствии принятых и христианами.

По библейскому преданию, он встретился на горе Хорив с Богом, Иеговой. Имя Бога не означает ничего иного, кроме того, что Он — Сущий — Суть мира. Бог открылся Моисею в огне. Куст купины горел перед ним и не сгорал, навсегда получив название Неопалимой купины. Божьи заповеди вписались огненными буквами в сердце пророка и были выбиты на каменных скрижалях.

Разумеется, все слова здесь метафоричны. Но о вечном нельзя сказать иначе. Как бы там ни было, Моисей был мистиком, проникшим в огненную тайну бытия. Но он был не только мистиком. Он стал основателем религии. И Моисей, и впоследствии Мохаммед были и мистиками, и законодателями. Моисей снес с горы Хорив свои скрижали. Мохаммеду Бог продиктовал Коран. А потом религии, основанные мистиками, зажили своей жизнью. Возникли культы, обряды, правила жизни — все это началось когда-то от огненных озарений, от пламени, вспыхнувшего в душах первых пророков. Но постепенно от пламени остались только уголья, или даже предметы, прикасавшиеся к угольям. Об этом таинственном пламени сохранилась память как о чем-то внешнем, пришедшем один раз к пророку, за которым надо безоговорочно следовать. Религия не могла рассчитывать на новую встречу с живым пламенем, а должна была строго исполнять то, что сказано раз и навсегда в святой книге.

Первой в Средиземноморье великой религией был иудаизм. В основе его Библии — Тора, пятикнижье Моисеево, к которому дальше приросли книги священной истории народа и книги пророков. В иудаизме народ израильский провозглашался избранным народом, носителем религии единого незримого Бога среди народов, поклонявшихся идолам. Однако

народ этот оступался и отступал от своего Бога и от заповеди «не сотвори себе кумира». Тогда появлялись новые пророки, жестоко обличавшие свой народ. Очень часто пророков этих побивали камнями и только потом слова их включались в Библию. Это были прорывы огня сквозь камень. Прорыв внутреннего потока сквозь все внешние ограждения. Религия с ее жесткими законами, диктуемыми человеку извне, как ему жить, часто становилась гасительницей того пламени, который должны были хранить.

Вот так именно появилась в центре Средиземноморского мира Голгофа — величайшая трагедия человечества, которая началась более двух тысяч лет назад, но вовсе не кончилась. Она длится до сих пор.

Моисей, а впоследствии Мохаммед были родоначальниками религий. Но не Иисус Христос. Христианскую религию основал его великий ученик ап. Павел. Не сам Иисус. Иисус произнес слова, не вмещающиеся в умы: “*Царствие Божие внутри нас*”. Он никогда не создавал новых законов. Он говорил: «Я пришел не нарушить, а исполнить закон Моисеев». Однако установленные правила он нарушал непрестанно и был твердо уверен, что это есть не нарушение вечного закона, а истинное исполнение его, ибо самое главное — это верность тому огню, с которым встретился Моисей и из которого услышал заповеди. Важнейшими из них Иисус считал две — о любви к Богу и любви к ближнему. Любовь к Богу — заповедь наитруднейшая и всеохватывающая. Человек, по-настоящему любящий Бога, находит Его в бездонной глубине собственной души. Может быть, жить на этой глубине так же трудно, как оставаться одному в океане, как ходить по водам. Уюта — ни малейшего. Защиты — никакой. Внешняя опора отсутствует. Ты или найдешь свой таинственный внутренний стержень, совпадающий со стержнем всего мироздания, или потонешь.

Немудрено, что люди хватаются за внешние опоры, чтобы не потонуть. Заповеди Моисеевы и есть такая внешняя опора. И естественнее и легче буквально исполнять их, чем проникнуть в дух этих заповедей и в конце концов уподобиться Тому, Кто их творил. Для нас, грешных, самое естественное — оставаться на нашем собственном уровне, на поверхности, и слепо следовать за Тем, Кто когда-то проник в глубину. Глубина эта — только для него. Мы даже забыли, что это такое. Это — дело высшего. Но ведь грех, как коротко и ёмко определил его митрополит Антоний Сурожский, это потеря контакта с собственной глубиной.

И вот рождается человек, который *никогда* не теряет контакта с собственной глубиной; который слушается только Её, ничего не делает, не прислушавшись к ней. Нет, Он не создает новой религии, новых правил, законов. Он каждый раз творит все заново *изнутри*. Главная, главнейшая Его заповедь: ищите внутреннего. Идите вглубь самих себя, в Царствие Божие, которое внутри вас. «Ищите Царствие Божие, а все остальное

приложится вам».

Великий инквизитор Достоевского обвинял Христа в том, что он дал людям непосильную задачу. Здесь мне хочется перебить одним небольшим стихотворением:

Господи, они маленькие, им не пройти по небу.
Господи, они маленькие, им не вместить любви.
Господи, как накормить их вечности свежим хлебом?
Как напитать их жизнью, бьющей в Твоей крови?
Господи, они бедные. Господи, им не надо
Ни Твоего сердца, ни Твоего взгляда,
Ни Твоего света, ни Твоей мощи.
Им бы чего полегче, им бы чего попроще.
Им бы лишь научиться жить без Тебя на свете.
Господи, как быть с ними? Они ведь Твои дети...

«Они ведь Твои дети».

Великий инквизитор в это не верил. Он верил очевидности. Было слишком очевидно, что люди маленькие и Бог им не по силам. Было очевидно, что людям нужна внешняя опора. И надо было найти для них эту опору. Надо было решать *за* них. Давать им правила извне; наказывать и поощрять, как малых детей. Словом, инквизитор не верил, что люди могут жить как творцы законов. Они, по его убеждению, в состоянии только рабски исполнять то, что избранные творцы велят им. Люди — смертные, конечные существа, и им не нужна Бесконечность. А Христос дал нам образ величайшей высоты, до которой должна и *может* подняться душа человеческая. Он назвал себя сыном человеческим и говорил ученикам: «Будьте подобны мне, как я подобен Отцу».

Он знал, как это трудно. Но Он считал это не только возможным, но единственно необходимым. Он знал, что без этого человечество погибнет. Задумка Творца мира — в этом. Человек призван к Бесконечности.

Мы обречены на Бесконечность.
Нам простор без стен и крыши дан. Наш Творец нам
мнится бессердечным, Он забыл нас, бросив в океан.
Он нам не залечивает раны.
Он на наш не отвечает зов.
Мы — родные дети океана,
Нам лишь снятся почва и покров.
Нам лишь грезится укрытие в гнездах.
Ты — владыка неба и морей —
Не по мерке эту душу создал,
А по всей безмерности Твоей.
Всей земною ношей дух нагружен.
Радость в дверь стучится иль беда, —
Нужен нам наш Бог или не нужен —
От Него не деться никуда.

Мы обречены на бесконечность.
 Ветер яви гонит наши сны.
 Нам от Бога защититься нечем —
 Мы на высь и глубь обречены.
 Ты велишь средь бури быть спокойным,
 Твердью Духа укрощая вихрь, —
 Твоего величья стать достойным.
 Стать достойным крестных мук Твоих.

«Нужен нам наш Бог или не нужен». Может быть здесь основная линия разделения человечества. Что нам нужно? Защита? Опора внешняя или наполнение сердца, переполнение его светом, любовью? Раскрытие души до возможности вместить небо, объять все сущее — без всякой гарантии, что твое тело, твое ограниченное эго уцелеет. Шагнуть в неведомое с ясным чувством, что есть что-то, что больше тебя. И Оно нужнее тебе, чем ты сам.

Тише, люди! — говорит Душа,
 Крыльями, как листьями, шурша,
 Звездами мерца с высоты,
 Духом, ароматным, как цветы, —
 Еле слышимо, едва-едва...
 Ей совсем не надобны слова.
 Мысль прерви и речи приглуши.
 Одного Ей надо — всей Души!
 Говорит Душа. Душа зовет —
 Нужен Ей всецелый разворот
 Внутренних небес и всех морей,
 Дремлющих на дне души твоей.
 Кто проснувшись мертвому помог?
 Говорит Душа. Ей нужен Бог.³²
 Мне нужен Ты и только Ты.
 Я не устану
 Взывать к Тебе. Желаний череда Проходит, точно
 дым, и все мечты — обманы.
 И страсть меня уводит в никуда.
 Как ночь таит стремление к рассвету И свет растет в
 глубинах темноты,
 Вот так же в бессознательности где-то

32 этой жажде Бога, жажде Бесконечности говорит не только христианская мистика. Мистическое переживание универсально. Мистик христианский, мусульманский, иудейский, буддийский и индуистский всегда узнают друг друга с полуслова и даже без слов. Так в молчании обнялись когда-то Франциск Ассизский и Людовик Святой. Обнялись и промолчали час. А потом разошлись. Каждый мистик сочтет своим слова Тагора:

Растет мой крик: Мне нужен Ты. И только, только Ты.
Как буря жаждет перейти к покою,
Но гнёт деревья, рвет с ветвей листы,
Так в суете своей сражаюсь я с Тобою И все-таки
кричу: Мне нужен Ты и только Ты!

(Перевод мой)

А вот перед нами Большая касыда великого мусульманского мистика
Ибн ал Фариды:

Глаза поили душу красотой.
О, мироздания кубок золотой!
И я пьянел от сполоха огней,
От звона чаш и радости друзей.
Чтоб опьянеть, не надо мне вина:
Я напоен сверканьем допьяна.
Любовь моя, я лишь тобою пьян.
Весь мир расплылся, спрятался в туман.
Я сам исчез, и только Ты одна Моим глазам,
глядящим внутрь, видна.
Так, полный солнцем кубок пригубя,
Себя забыв, я нахожу Тебя.
Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты Земного мира,
исчезаешь Ты.

(Перевод мой)

Кто же это? К кому он обращается? Арабская касыда (можно со скрипом перевести это словом «поэма») по форме верна традиции любовной поэзии доисламского периода. Мистик обращается к Возлюбленной, которую он любит больше жизни. Но она видна только глазам, глядящим внутрь. Ее можно найти, только совершенно забыв себя.

Таковы приметы истинной мистической любви к Богу. Тагоровское «Мне нужен Ты и только Ты» совершенно перекликается с этими словами. Возлюбленная Фариды — это его сущность, Душа, последняя глубина, где обитает сам Бог. Он видит сияние этой глубины в мгновения экстаза, а потом провалы — разлука. И эта разлука с собственной сущностью для него мука большая, чем разлука Ромео и Джульетты. Это мука ни с чем не сравнимая. Жажда Бога, жажда встречи со своей глубиной, Сущностью — переполняет его, отодвигает все другое.

О, если б так Синай затосковал,
В горах бы гулкий прогремел обвал.
И если б было столько слезных рек,
То верно б Ноев затонул ковчег.
В моей душе огонь с горы Хорив

Внезапно вспыхнул, сердце озарив.
 И если б не неистовство огня,
 То слезы затопили бы меня,
 А если бы не слез моих поток,
 Огонь священный грудь бы мне прожег.

Такова жажда Бога в этой душе. И когда душа *так* жаждет, Бог не может не откликнуться. Ибо нет жертвы, на которую был бы не способен тот, кто Его так жаждет. В конце концов человек в своей самости, отдельности исчезает. Остается только горящий Дух. И тогда его абсолютно освобожденная душа становится сосудом, в который этот Дух вливается. Чей Дух — его или Божий? Нет этого «или». На этой глубине «Я и Отец — одно».

Слова, за которые распяли Христа, посчитав их великой гордыней. На самом деле нет слов более смиренных. Это предел смирения. Я уже не раз говорила, что равенство и единство — вещи разные. Рука не равна всему человеку, но едина с ним. Рука эта никогда не своевольничает, не имеет ни малейшего желания быть самостоятельной. Не имеет желания отделиться от сердца и мозга. Единство с Богом — это единство с Целым, частью которого мы являемся, с Бесконечностью, сводящей к нулю наши концы.

Человек, дошедший до этого единства, полностью отказался от своей человеческой воли, от воли отдельного, отделенного от Целого существа. Даже в самый свой страшный час Христос скажет: «Но не моя воля будет, а Твоя».

Этот потерявший все, вплоть до тела собственного, этот беспредельно измученный на кресте Нищий, может показаться самовозносящимся гордецом только людям, глядящим извне, слышащим слова, но не понимающим их значения. Взгляд изнутри обнаружит здесь величайшую жертвенность, ту самую прозрачность, сквозь которую просвечивает Бог.

Как лес осенний все свои листья,
 Сбрось сам с себя, устав с собой бороться.
 Вот он, предел последней нищеты,
 Когда от человека остается
 Один лишь Бог. И после страшных мук
 Внезапно радость ощутишь такую,
 Что взглянешь ввысь, оглянешься
 вокруг, И точно ангел в небе,
 возликуешь.

Человек истощается до Бога. Любя до самоисчезновения, он вдруг обнаруживает внутри себя нечто вечное, сливающее его в одно с Тем, Кого он любит. То же, что в притче Джелалледина Руми, где путнику до тех пор не открывается дверь, пока на вопрос: кто здесь? — не будет

ответа: «Ты, пришел к Тебе».

Душа должна придти к самой себе в великую единую глубину. Вот где кончается Путь странника в касыде Ибн ал Фарида. Вот где кончается путь всякого мистика. Уничтожение двойственности, понимание того, что все внешнее до тех пор остается внешним, пока ты не вместил его внутрь. Рок — это не вмещенный внутрь Бог. Для вместившего Бога нет рока.

Ощущение единства со всем миром; ощущение бесконечности не внешней силой, а внутренней — вот что значит: мы созданы по образу и подобию Бога. Мы подобны Ему по бесконечности. Великий христианский мистик Иоганнес Таулер говорил об этом вот как: «Душа не только создана по образу Божию, она должна быть тем же образом, что сам Бог в своей Божественной сути. Ибо в этом образе Бог любит, Бог взыскует, Бог познает и обретает Сам Себя. Стало быть, душа становится совершенно богоподобной, богообразной и боговидной. Она по благодати то, что Бог есть по своей природе: погружаясь в Бога, соединяясь с Богом, она через самое себя возвращается в Бога». Переживание мистиков универсально. Мы уже не раз говорили об этом. Хотя внешне слова их могут быть похожи, а могут быть так же разнообразны, как цветы, как деревья разной породы. Что у них общего? Они никогда ничего не говорят с чужих слов — только из собственного опыта. Они говорят только тогда, когда достигают своей великой глубины, которая оказывается общей для всех. Им ничего не надо подтверждать извне, как не надо справляться в книге, взошло ли солнце, если оно сейчас светит тебе в окно.

Мистики — это живая жизнь каждой великой религии, но религия и мистика — отнюдь не одно и то же. Я уже говорила, что монотеистические религии создали Моисей и Мохаммед. Христианскую религию создал не Христос, а Павел. Христос призывал к тому, чтобы человек реализовал то, что заложено внутри него. Реализовал, воплотил Божий Дух — Бога. Сам Он воплотил в себе Бога. И ничего не хотел так сильно, как того, чтобы ученики Его сделали то же самое. Человек может и даже должен возлюбить в себе Бога. Но может ли общество воплотить в себе Царство Божие?

До сих пор зачинатели великих религий на это не замахивались. Ни Моисей, ни впоследствии Мохаммед. И тот и другой хотели некоего компромисса небожественной, непросветленной природы человеческой с Божескими законами. Они ограничивали человеческую природу и не говорили о возможности слияния этих двух природ.

Павел был мистиком, который сердцем увидел, вместил Христа — человека, воплотившего Бога. Это пересоздало его. И он, ревнитель старой религии, — фарисей, сын фарисея, гнавший Христа, не допуская мысли, что человек может соединиться с Богом в одно, он вдруг услышал и увидел Божественную явь. «Савл, Савл, почто гонишь Меня?» — раздалось в его сердце. И фарисей Савл стал апостолом Павлом. В нем

загорелся живой огонь, и он понял, что каменные скрижали могут давить этот огонь, что, окаменевая, религия теряет связь с Духом живым. И тогда он сказал свои знаменитые слова: «Буква мертва, только Дух животворит». И он отбросил религию буквы ради религии Духа. Он создал новозаветную религию, которая, однако, никак не должна была порывать со старым «ветхим» Заветом, а только возрождать его связь с Духом живым. Он хотел сбросить ветхую одежду и облечься в новую, но живая плоть, облакавшаяся в разные одежды, должна была оставаться единой и целой.

Задача трудно выполнимая. И однако, Павлу многое удалось. Христианство, созданное Павлом, было великим духовным движением, вдохнувшим жизнь в умирающую, разлагающуюся морально Римскую империю. Античный мир, в котором смысл жизни уже был потерян, вдруг вновь почувствовал этот смысл. В омертвевшие формы влилась волна могучего Духа, чистого и высокого, не боявшегося ни мук, ни смерти. Прошло целых четыре века борьбы старого мировоззрения с новым. Борьба материальной силы, разросшейся, самоутвердившейся плоти с невесомым Духом, не боявшимся потерять плоть, в которую он был одет.

«Что есть истина?» — спросил когда-то Понтий Пилат Христа. Властитель мира сего задавал вопрос иному владыке, владения которого были не от мира сего. Христос не вопрошал об истине. Он был Истиной и смыслом мира. И Он был распят, был физически побежден. Однако в конце концов мир признал правду Галилеянина. И все-таки всё не так просто. Даже в те четыре века, пока христиане были гонимы и церковь чиста и бескорыстна, были у церкви этой уже некоторые отступления от истинного Духа Христа. Пока Павел был жив, он поправлял, наставлял общины, основанные им. Послания Павла — замечательная духовная литература. Но они не могли изменить логики воплощения Духа в историческую плоть.

Основная линия этих отступлений и искажений — прямолинейность, уход от старой религии не в глубину, которую та потеряла, а просто в противоположную сторону на той же плоскости. Не от буквы к Духу, а от одной буквы к другой. После смерти Павла прямолинейность эта продолжалась, выливаясь в фанатизм. Один из примеров этого — жажда мук. Первые христиане хотели следовать за Христом, хотели чисто, пламенно. Хотели страдать вместе с Ним, сораспяться Ему. Но понимали это опять буквально и прямолинейно. И поэтому не замечали, как отходили от Христа.

Христос — не чрезмерность, а мера всех вещей. Суть Его — абсолютная связь с глубиной — источником жизни. А все обстоятельства жизни зависели уже не от Него, а от людей. Он никогда *не просил мук*. Просил пронести мимо чашу сия. Но — был *готов* принять любую муку. Однако никакая мука и смерть мученическая не могли заменить той

полноты сердца, того единства с Богом, к которому Он звал.

Да, искажения мысли Христовой были еще и в те времена, когда церковь была гонима. И все-таки, когда христиан обвиняли в том, что на свою пасху они убивали римского младенца и пили его кровь (когда-то эти обвинения шли именно в адрес христиан), — тогда они были сильны духом и даже в поражениях своих были победителями. Но начиная с эпохи Константина, когда церковь христианскую признали и она стала господствующей силой, вот тогда и началась великая трагедия церкви. Будучи гонимой, она была победительницей. Став признанной, она все более и более становилась зависимой от мирского и теряла свой бесстрашный и высокий дух. Она сама стала судить, жечь, проклинать, бесконечно отдаляясь от Того, Кто был ее сердцем и знаменем.

Об этом говорит Достоевский устами Ивана Карамазова в своей поэме «Великий инквизитор». Иван как будто говорит только о католической церкви. Но вот что говорит наш недавно умерший современник, православный священник А. Шмеман: «Бог нужен грешникам и святым. Религиозным людям Он не нужен. И, когда могут, они Его распинают». И еще: «Я думаю — Страшный суд — это суд над религией». Припоминаются слова Христа, сказанные ученикам: «Вы — соль мира. Но если соль теряет силу, чем посолите пищу?».

Об этом вопросе будет говорить Григорий Соломонович.

Григорий Померанц Религии на Страшном суде

Зинаида Александровна кончила свой поэтический сказ блестящим афоризмом из «Дневников» Александра Шмемана — книги, которую сейчас многие читают:

«Бога любят святые и грешники. Его не любят и, когда могут, распинают религиозные люди».

Как это понять? Как подстановку мертвой буквы на место живого духа? Тогда это относится ко всем религиям, это общая болезнь религий книги. Любая цивилизация опирается на книгу, а в книге всегда есть опасность стать препятствием живого опыта. Или речь идет о побиении камнями, распятии, о сожжении на костре тех, кто установил прямой контакт со своим внутренним человеком, с уровнем глубины, где личное переходит в сверхличное, и книга перестает быть высшим авторитетом?

Напомню, что ап. Павел разделил наше самосознание на внешнего и внутреннего человека. Кумиры внешнего человека — выгода, наслаждение и т. п. Повелители внутреннего человека другие: совесть, образ совершенства, страх Божий. Потом Майстер Экхарт провел еще одно различие — между внутренним и внутреннейшим. В своего внутреннего человека или, говоря иными словами, — в свое внутреннее пространство

мы уходим от внешнего давления. Там собраны наши любимые образы, любимые слова, от которых вздрагивает сердце. Это как бы наш собственный домик, в который мы можем забиться, свой заветный сундучок, открывающийся в тишине.

А внутреннейший человек не замкнут. Он открыт бесконечности. Это устье души-залива, за которым океан света. И мысль, рождающаяся в устье, — одновременно наша и не наша. Она рождается во вспышке света, внезапно озарившего нас. Она облекается в наши слова, в решение проблем, выросших в нашем сознании, подготовленные вопросами, которые нас измучили, которые мы выстрадали. Зинаида Александровна называет это переводом с Божьего языка на человеческий. Можно назвать это также переводом с языка целостного сознания на язык дробных истин, выраженных словом.

Когда проходят века и тысячелетия, переводы стареют, их приходится перетолковывать или заменять другими переводами. Хранители Писания сопротивляются новому и правильно делают: не все мистики улучшают понимание вечного духовного стержня жизни, иногда новый перевод не лучше старого, он просто другой — в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Но сопротивляться новому можно по-разному. Брахманизм ответил на вызов Будды Бхагаватгитой. Диалог длился полторы тысячи лет и кончился тем, что буддизм был вытеснен из Индии. Но в ходе спора и буддизм, и брахманизм изменились. Брахманизм стал индуизмом, признавшим духовную свободу доступной отшельнику из любой касты. Буддизм признал возможность использовать язык мифов, который Будда отбросил, язык абсурдных загадок, разработанных впоследствии дзэн, и обновленным распространился на Восток, вплоть до Японии.

Иначе вел себя монотеизм. Опираясь на древний мистический опыт, записанный в книгу, он считал себя вправе преследовать и казнить новых мистиков. Вся история монотеизма запятнана казнями еретиков и религиозными войнами. В конце концов, европейцы устали от собственной нетерпимости. Духовная элита XVIII в. стала толерантной. Но это оказалось связанным с упадком самой веры в реальность духовной глубины. Один за другим люди теряли контакт с ней, и постмодернистская Европа стала постхристианской. Оставшись без веры, Европа попала в ловушку утопий. Потом, устав и от идеологических войн (не менее жестоких, чем религиозные), европейцы отвернулись от всякой захваченности идеей, от всякой цели, требующей жертв. И сегодня религиозный фанатизм, заново вспыхнувший в исламе, противопоставляет вырождению свободы в духовный хаос и грозит навести порядок, какой был при праведных халифах. Идея светлого прошлого, заменившая идею светлого будущего, — очередной фантом истории. Но сторонники остановки развития готовы на жертвы и играют на выигрыш, а Европа, отступая, рассчитывает на победу здравого смысла, никем не

гарантированную. Между тем, духовный кризис Запада становится глубже и глубже, а одержимость мусульманского экстремизма все неистовее. Этот кризис европейской культуры стал личным кризисом Александра Шмемана, его постоянной мукой. Я ограничусь цитатой, в которой все главные проблемы схвачены одним усилием мысли:

«Думая сегодня о мучительно низком уровне церковной жизни, о травле Бродского в русской газете, о фанатизме, нетерпимости, действительном “рабстве” стольких людей. На нас надвигается новое Средневековье, но не в том смысле, в котором употреблял это понятие Бердяев, а в смысле нового варварства. Православные церковники, в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили — Ферапонта. Он им по душе, с ним всё ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, — все это соблазн, все это нужно сокрушить. В культуре начинается торжество “русинов” — нео-нео-славянофилов. Расцвет упрощенчества, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих падшим человеческим “нутром”, как оправдание этих идолов. Тут глубочайший соблазн. Ферапонт — действительно аскет, молитвенник, подвижник, традиционалист и т. д. И расхождение между Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским — чистая историческая случайность. Большевики уже сейчас — национальная русская власть (писано в 1973 г. — Г.Л.), как суть эмигрантского национализма и антибольшевизма — большевистская (вскоре, познакомившись получше с Солженицыным, А.Шмеман с прискорбием признал его большевиком антибольшевизма. — Г.Л.). И у того и у другого большевизма только один враг — свободный человек, особенно же свободный “во Христе”, то есть единственно подлинно свободный. Подспудная ненависть к Христу, судящему вечно “Церковь” и “великого инквизитора” в ней»³³.

«Свободен во Христе» Александр Шмеман только в своем дневнике. Но «Дневник» стал интеллектуальным событием — по крайней мере для читателей книги, изданной тиражом в 5000 экз. Она будит множество мыслей. Одна из них — то, что религиозная нетерпимость и фанатизм — общая черта религий единого Бога, парадоксально связанная с их прорывом в незримую глубину, с освобождением от власти племенных кумиров и племенной вражды друг к другу. Религия единого Бога объединила народы Римской империи — и разожгла костер ненависти к еретикам, неправильно веривших в того же Христа. Это началось с Моисея и длится до наших дней, до казни Махмуда Тахи в Судане и до убийства Александра Меня в России. Все религии, пошедшие от Авраама, грешат нетерпимостью.

³³ «Дневники». М., 2005. С. 18-19.

Пророк, принесший с Синая заповедь «не убий», призывал к массовому убийству отступников. Папский легат, окормлявший поход против альбигойцев, ответил на вопрос, как отличать еретиков от верных христиан, словами, вошедшими в историю: «убивайте всех, Господь найдет своих». Мохаммед, призывавший в Мекке к любви и милосердию, в Медине стал звать к избению неверных, — и все это во имя Бога милостивого и милосердного, всемогущего, Творца неба и земли. Образ царя небесного — не простая метафора. Он полон значения, в том числе юридического. Где царь, там и судьи, и палачи.

Образ Бога, выношенной Моисеем, стал спасением для евреев — и в то же время стеной между ними и народами земли. Он дал твердые заповеди. Он не был привязан к определенному городу, стране, земле, как египетские боги, он мог повсюду сопровождать народ-праведник по пути в землю обетованную, он превосходил всех встречаемых богов земли, он как-то обозначал, выражал непостижимое, превосходящее все образы, все кумиры. И все же он был назван именем существительным «бог». Сверхпредмет — это тоже предмет, по крайней мере для грамматики: и слово «Бог» с прописной буквы остается неуловимо связанным со всеми низвергнутыми богами. Всякое имя существительное имеет ограниченный смысл, слишком узкий для безграничного и непостижимого. За словом, тысячелетиями жившим в языке, до сих пор тянется след, влекущий назад.

Бог Моисея незрим, но он слышен, он разговаривал на языке современников Моисея, и этот Бог-собеседник становился их кумиром, кумиром из слов, создающих мнимую, поверхностную понятность. Как только мы вышли на поверхностный уровень, святое слово становится кумиром.

Философии во времена Моисея еще не было. Не сложился еще язык индивидуальной мысли, позволившей вести утонченный разговор о невыразимом, выраженном знаковыми паузами. И не всякая философия на это способна. Досократики избегали разговора о непостижимом. И только в восточных странах философия признает реальность за опытом мистика и сама логика допускает суждения типа: это есть и то, и другое; это есть ни то, ни другое; это непостижимо. Логика Аристотеля отрезала мистику законом исключенного третьего: это или есть, или не есть; третьего не дано.

В Индии еще в VI в. до Р.Х., т. е. до Будды, тайная мудрость брахманов отвечала на попытки напрямую выразить глубочайшую духовную тайну словами «Не это! Не это!» или «То — это ты!». Во втором случае океан духа назван, но назван местоимением «То», а устье залива личного сознания, переходящего в океан сверхличного, — словом «ты», внутреннейшим «ты». Оно нигде не было осознано в массовом сознании, но и в исламе, вопреки Мохаммеду, его вновь нашел Джелаледдин Руми в уже упоминавшейся знаменитой притче, где путник отвечает хозяину

хижины: «Ты пришел к Тебе» — и только тогда открывается запертая дверь. Нечто подобное пробивается во всех религиях. Но в Святом писании монотеизма господствует прямая речь Бога, не изнутри души, а извне.

Только в Индии после упанишад Будда мог ответить «благородным молчанием» на вопросы религии: существуют ли боги? Вечен ли мир? Бесконечна ли вселенная? и т. п. И при этом остаться признанным религиозным учителем. Однако и в Индии, при переходе к массовой проповеди, религия, избравшая своим языком философию, вынуждена была признать вторым языком мифопоэтическую образность. Так же как учение Христа, пояснявшего свою речь простыми притчами, в Евангелиях от Матфея и от Луки обрастает народными сказаниями о Рождестве.

Без поэтической образности религия не может и не должна обходиться. Но библейский миф застывает раз навсегда, а в ориентальных религиях постоянно могут возникать новые поэтические мифы и без препятствий врастают в традицию. А рядом с ними живет и религиозная философия, со своими собственными законами развития. Философия в Индии и Китае никогда не становится служанкой богословия. Можно сказать, что философия и богословие здесь нераздельны. Нет даже слов, пригодных, чтобы различить их. Поэтому Александр Шмеман ошибается, пренебрежительно отбрасывая всю «ориентальщину», не пытаясь разобраться в ее добродетелях и пороках. Настало время знать друг друга и учиться друг у друга. Только в диалоге с Востоком христианство может найти выход из тупика. Только в этом диалоге можно продолжить духовный прорыв Экхарта, Таулера, Рейсбрука, не понятых церковью Нового времени.

Христианскую мысль до их пор связывают архаические формы, в которые отлилась мистика Моисея. Во II тысячелетии до Р.Х. архаика была неизбежна. Но сегодня она принадлежит истории. Евреи, попавшие в Египет, оказались под воздействием мощной египетской культуры. Их племенной обычай шатался. Моисей, возможно, чувствовал это на себе и боролся с собой, искал твердой опоры в самом себе. Но он не был личностью-атомом, окруженным пустотой, как греческие философы, он чувствовал нераздельность с племенем и искал решения для всего племени, откровения для народа, обета Бога с народом. А когда задача долго мучает человека, озарение приходит к нему. В той форме, которую допускает его ум. Это бывает и с самыми простыми людьми. Мой друг Лайф Ховельсен в 1945 г. внезапно стал из заключенного концлагеря — солдатом, охранявшим заключенных эсесовцев. Тех самых, которые мучили его и его товарищей. В первые дни трудно было удержаться от мести. Эсесовцев заставляли то бегать, то ползать. И когда один из них попросил воды, Лайф, схватив ведро воды, вылил ему на голову. Всем новым охранникам это очень понравилось, а Лайф испытал укол совести:

он почувствовал, что его захватило то, что он в эсесовцах презирал. Он попросил отпуск и несколько дней бродил по холмам вокруг Осло, не зная, как освободиться от постоянно мучившей его проблемы. И вдруг в нем родилась фраза: ты должен простить своего палача! Это был приказ, который нельзя было не выполнить. Лайф рассказал о нем матери. Та его одобрила и прибавила: «Передай своему палачу, что я буду молиться за него». И Лайф все так и сделал. С тех пор он вернулся к вере, которую в юности утратил.

Кто же отдал приказ, давший Лайфу опыт непосредственной связи с Богом? Я думаю, приказ отдал его же внутреннейший человек. Мучение совести разбередило душу, и открылся колодец в глубину, где уже нет резкой границы между заливом и океаном, между Я и Ты. Лайф считал, что ему диктовал Бог. Моисей тоже так думал. Но проблемы, мучившие Моисея, были всенародными и общечеловеческими. И озарение его продиктовало не один поступок, а новый образ жизни. Оно принесло Десять заповедей и дало толчок религиозному развитию, подхваченному пророками и в конечном счете положившему начало двум мировым религиям.

К сожалению, эти религии получили в наследство и силу озарения, и ограниченность понимания испытанной вспышки внутреннего света. Перевод был воспринят как подлинник, как непреложное слово Бога. Между тем, язык заповедей был языком Моисея, со всеми традициями этого языка и связанной с ним архаической культуры. Престол, освобожденный от каменных кумиров, занял кумир буквы.

Потрясенный Христом, Павел воскликнул: буква мертва, только дух животворит! Но опыт показал, что прямым велением духа, любовью, могут жить очень немногие. И тот же Павел вынужден был давать новым христианам правила: как верить, как жить. А потом обстановка менялась, и понадобились другие правила. В III в. стало распространяться Послание к Евреям, где любовь — для Павла первейшая в связке веры, надежды и любви — освободила первое место вере. И считалось, что Павел сам переменял свои взгляды. Хотя в списках I и II веков Послания к Евреям нет и стилистически в этом Послании чувствуется другой автор.

После Константина вера стала государственным делом, краеугольным камнем новой цивилизации, второго Рима, и государственный ум однозначно решал вопросы, уходившие корнями в потаенный опыт личности. А не согласные с решением Собора отпадали от вселенской церкви, и их преследовали как еретиков. Это очень облегчило завоевания ислама.

Преследования еретиков не было в индуистско-буддийском мире Южной Азии и в конфуцианско-буддийском мире Дальнего Востока. Вершина иерархии святынь в ориентальных культурных коалициях строилась не как единичный пик, а как хребет с несколькими вершинами,

и сдвиги в системе были мирными. Споры между индуизмом и буддизмом, между буддизмом и конфуцианством никогда не решались мечом, это был диалог, в Индии, как я уже говорил, кончившийся вытеснением буддизма, а в Китае — симбиозом учений Конфуция, Лаоцзы и Будды. Жесткой догматической системы нигде не потребовалось. Индуизм живет без нее примерно четыре тысячи лет, буддизм — две с половиной тысячи лет. Нужна ли догматическая рамка христианским церквям? Нужна ли она исламу?

Сегодня в исламе догорает последняя вспышка монотеистического фанатизма, смешавшегося с фанатизмом утопии. А в христианском мире, начиная со II Ватиканского собора, идет медленный, но неуклонный поворот к диалогу и к поиску подлинника за всеми архаическими переводами. Цель этого движения можно представить себе в образе Розы Мира, созданном Даниилом Андреевым.

Ревизия переводов не означает сомнения в реальности подлинника, в реальности устья, где залив переходит в океан. Можно подтвердить это дзэнским изречением: «для спасения нужны великая вера, великое рвение и великое сомнение в *словах* будд и патриархов». Великое сомнение в букве во имя духа. Истолкование догм как поэтических метафор, не отрицающих друг друга, даже если одна противоречит другой.

Подлинник — это мистический опыт древности и Средних веков. Подлинник — это современный мистический опыт, убеждающий поэтичностью своего выражения. Я думаю, мусульмане когда-нибудь реабилитируют Махмуда Таху, предлагавшего считать откровением только мекканские строфы Корана. Но сдвигов в исламе придется подождать. А в христианском мире ждать нечего. Фанатизм здесь уже выгорел вместе с верой, с чувством присутствия Святого Духа в природе и культуре. Необходимы внутренняя остановка суеты и взгляд на мир из глубины отрешенного созерцания, взгляд, в котором разорванное вновь станет цельным, единым и святым. И я думаю, что тихие успехи диалога с учениями и отдельными людьми, сохранившими способность созерцать мир как целое, окажутся в конечном счете важнее, чем шумные взрывы шахидов.

Только общими усилиями всех великих религий можно будет создать единый небесный свод над единой, но по-прежнему грешной землей.

О вере, сомнениях и первородном грехе

Когда-то, наверное, в конце 80-х годов, мне на глаза попался текст бесед митрополита Антония с обозревателем Би-Би-Си Анатолием Максимовичем Гольдбергом. Беседы эти меня глубоко огорчили. К счастью, я к тому времени прочитала уже много текстов митрополита Антония, полюбила его так, что разлюбить не могла. Но если бы я начала знакомство с ним с этих бесед на Би-Би-Си, я бы его не полюбила.

Все, что я читала раньше, был опыт сердца, нечто непроверяемое, и мое сердце откликалось на это всем собой. Никаких доказательств, никаких рассуждений здесь не требовалось. А в беседах с Гольдбергом был как будто другой человек, настаивающий на букве Писания. Все, что он говорил, было как бы заучено, а не рождалось сейчас. Буква давила Дух, и я недоумевала.

Совсем недавно мне подарили книгу последних бесед владыки, прочитанных на английском и переведенных на русский. И вот какие слова я прочла в начале первой беседы, называющейся «Уверенность и вопрошание»:

«Несколько лет тому назад мне предложили выступить на Би-Би-Си с беседой о вере, и когда я закончил, человек, ответственный за передачу, сказал: “Отец Антоний, мы Вас больше не пригласим никогда на наши религиозные передачи”. Я спросил: “Что, моя беседа была безнадежно плохой?”. Он ответил: “Не в этом дело. Нам не нужна ваша уверенность. Нам нужны сомнения и вопросы”».

Вот этим сомнениям и вопросам посвящает митрополит Антоний свою последнюю серию бесед. Однако кончает он ее беседой под названием «Уверенность, которую у нас не отнять». И эта уверенность его последней беседы — и моя уверенность. А уверенность, с которой он говорил с Гольдбергом, совсем не моя.

Вот об этих двух разных уверенностях я и хочу поговорить сейчас. Мы с Григорием Соломоновичем не раз говорили о двух типах веры — веры друзей Иова и самого Иова. Друзья Иова уверены в том, что им внушили, в том, что они прочитали в Писании. Иов потерял уверен

ность в этом. Иов перестал понимать Бога и стал вопрошать Его. В результате докричался до самого Бога, до встречи с Ним.

Встреча с Богом у Антония произошла еще в отрочестве, когда он был 14-летним мальчиком Андреем. Встреча неизгладимая, незабываемая, определившая всю его жизнь. Но еще не все открылось ему тогда. В сердце мальчика упало семя, которое росло все годы. Вырастала душа, пересоздавалось сознание. Сознание часто не поспевало за душой. Подчас спорило с ней, оглядываясь на авторитеты и все-таки чувствуя в эти моменты свою неполноту.

Душа еще, может быть, не достигла той глубины, с которой сознанию невозможно спорить, которую надо только слушаться. Такая глубина определяет сознание, заставляет человека говорить не от себя, а от чего-то большего, чем ты, живущего в твоём «глубоком сердце». Человек, слышащий свое глубокое сердце, обладает неколебимой уверенностью. Но такая же неколебимая уверенность может быть у человека, совсем не слушающего своей глубины, а слушающего чужие голоса, опирающиеся на авторитеты, освященные веками. Есть, таким образом, две правды и две уверенности. Одна из них имеет опору вовне, другая — внутри.

Мне сейчас хочется процитировать одно очень старое стихотворение:

Нет, истина рождается не в споре.
 Богам не нужен наш словесный бой.
 Лес вечно прав, и вечно право море,
 Полмира охватившее собой.
 И я, когда в душе, как в небе вольно,
 И я, когда забытой меж ветвей,
 С меня их вечной правоты довольно
 И нету нужды думать о своей.

Вот, когда нету нужды думать о *своей* правоте, о правде твоего эго — маленького отделённого от всецелости «я», тогда появляется «уверенность, которую у нас не отнять» — та самая, о которой говорит Антоний в последней беседе.

Ей противостоит другая уверенность, которую можно назвать самоуверенностью личной или групповой (иногда целого народа). Вот такая уверенность должна всегда подвергаться сомнению, и если этого не происходит, она каменеет, человек мертвеет при жизни. Известны слова ап. Павла: «Буква мертва, только Дух животворит». Буква неподвижна и всегда остается внешней нам. Опирающийся на нее человек *теряет открытость души, которая и есть условие жизни*. Душа жива, пока она открыта Источнику жизни, пока она проточна или прозрачна для света.

За эту открытость души, за эту ее проточность (сам Антоний называет это Божественной динамикой) я и полюбила Антония крепко, любовью, которая не проходит. Открытость Вечному Источнику придает вл.

Антонию великое бесстрашие перед всем временным, преходящим. И это в нем — главное.

Однако полное бесстрашие появилось в нем не сразу. Оно постепенно росло и крепло всю жизнь.

Решающие шаги он сделает в последние годы жизни, когда будет смело ступать на воду, держась только за Христа, которого встретило его сердце.

В знаменитой речи 2000 года, которую мы не раз цитировали в наших беседах, он прямо сказал, что мы теряем последний шанс превратиться из церковной организации в Церковь. А Церковью он называет собрание людей, у которых была хоть самая мимолетная, но личная встреча с Богом. Пусть не такая грандиозная, как у апостола, преобразившая душу и превратившая его из Савла в Павла, пусть не такая, говорит Антоний, но все-таки встреча, все-таки чувство, что «я Его знаю». Не с чужих слов знаю — из собственного сердца.

Так вот, когда он говорит о знании собственного сердца, о своем опыте — это вне сомнений и вне обсуждений. Он дает тогда прикоснуться к сердцу своему, дает свою любовь, мы как бы соединяемся с ним.

Другое дело, когда он пытается объяснять Писание, давать свои толкования, исходящие не из опыта встречи, а от ума. Пусть свободного ума, не привязанного цепями авторитетов к догмам, но от ума. Это рассуждения, а не откровения, и они могут быть ошибочными.

И здесь мне хочется обратить внимание на две вещи: Первое — это как относится к своим ошибкам сам Антоний. В одной из бесед он дает свое толкование образа Иуды. Даже не свое, он соглашается с довольно широко распространенным толкованием, по которому Иуда не был предателем — он хотел только спровоцировать торжество Иисуса. Пусть Его распнут, и все увидят, что Он воскреснет. Когда этого не произошло, Иуда повесился.

И вот как начинает вл. Антоний одну из бесед, называющуюся «В полумраке истории»:

«Я уже не раз повторял, что цель наших бесед — ставить вопросы перед собой, всматриваться в то, что представляется таким простым и очевидным, но порой оказывается для нас серьезной проблемой, вызовом. После моей прошлой беседы я получил письмо с комментариями по поводу ее содержания. Письмо мне кажется таким ценным и интересным, что я попросил его автора сегодня, перед тем как я начну свою беседу, прочитать его вслух».

И дальше он приглашает автора письма Джолиан Кроу (это журналистка, писавшая биографию Антония) прочитать свое письмо, *совершенно опровергающее концепцию митрополита.*

Вот так он учит сомневаться во всем — во всех словах, во всех рассуждениях, — *в том числе и в том, что говорит он сам.*

Это замечательный пример того скромнейшего отношения к себе, которое бывает только у очень подлинной души.

Да, в своих рассуждениях, идущих от ума, он может ошибаться, как и все люди. Но мне хочется сказать еще одно: *Есть вещи, о которых вообще нельзя рассуждать. Есть то, перед чем ум должен смолкнуть.* И вот здесь я хочу поспорить с митрополитом Антонием вслед за Джо-лиан Кроу (с надеждой, что он отнесся бы к этому спору так же, как и к письму Джолиан).

Целье беседы в этой его последней книге посвящены осмыслению того, что названо грехопадением первых людей, ставшего причиной великой катастрофы мира, созданного Богом.

Если миф этот читать буквально, то понять все это очень трудно: ну, послушались неразумные дети отца, съели запретный плод. Неужели стоит их так страшно карать за это? Изгнание из рая, лишение бессмертия и в конце концов все муки человеческой истории.

Если Бог сам посадил в раю Древо познания добра и зла рядом с Древом жизни, сам впустил в рай сатану, то Он сам и ответственен за это — рассуждает Антоний. И очень радуется, что св. Ириной Лионский дает трактовку, позволяющую думать о Боге иначе. Ириной Лионский считает, что Древо познания добра и зла не было уж таким страшным. Если Древо жизни давало прямой путь причастия Богу и познание через него, то второе Древо сулило долгий, кружной и трудный путь познания через творение (через науку, отчасти и через искусство). И таким образом первые люди обрекли себя и свое потомство (всех нас) на этот трудный тернистый путь. Выбрали вместо рая земную человеческую историю.

Это толкование примиряет с историей человечества, вносит хоть какой-то смысл в этот кровавый путь.

Если рассуждать, то можно рассудить и так.

Но все же — как раз рассуждать-то здесь и невозможно?

Может быть, грех был именно в том, что захотели *умом познать непознаваемое* — то самое, что умом познать нельзя. Совсем нельзя. Это «нельзя» и было непререкаемым Божьим приказом. Человек должен почувствовать, что есть что-то, что в наш ум вместиться не может. Никогда. Никак. Ни прямым, ни кружным путем к Этому прийти нельзя.

Нельзя ни в какой сосуд влить Океан. Нельзя измерить Безмерность. Есть что-то несоизмеримое с нами и не измеримое нами.

Однако оно не внешнее нам, не чужое. Оно находится внутри нас и от нас неотделимо. Его нельзя *определить*, вместить в предел.

Ум наш имеет дело с пределами; сердце — с таинственной Беспредельностью, той внутренней беспредельностью, которая ощущается нами как единение со всем миром. Как Любовь.

Ум может познавать все предельное. Он познает мир извне. Сердце познает мир изнутри, причащаясь ему. Наука может делать чудеса в

познании мира, но никогда не познает Бога, потому что Бог не находится вне нас. И сколько бы ни познавали внешних вещей, мы не приблизимся к Богу. А может, даже будем отдаляться от Него, если сознание нашего внешнего могущества нам покажется чем-то соизмеримым с Богом — если мы захотим быть *богоравными*.

Здесь скрывается еще один таинственный знак мифа-метафоры: сатана сказал первым людям: съешьте плод и будете, как боги, т. е. станете равными Богу. И вот почему сатана воистину отец лжи: соблазн богоравенства — это самая страшная и главная ложь. *Всё ограниченное, имеющее форму, начало и конец, не может быть равно безграничному никогда.*

Оно может почувствовать себя причастным Безграничному, единым с Ним. Равенство и единство — вещи совершенно разные. Равенство предполагает различие и соизмеримость. В единстве стирается всякое различие и возможность соизмерения. (Моя рука никак не равна мне, моему телу, но *едина* со мной.)

Христос никогда не называл себя равным Богу. Он был единым с Ним. «Я и Отец — одно», но «Отец мой более меня».

Можно очистить сосуд своего сердца полностью. Чистый сосуд — это только сосуд, а содержимое сосуда — нечто большее, чем он. Сосуд не может быть безграничным. Он *служит* Безграничному. Человеческое сердце — это сосуд, в который вливается Дух Божий. Но сосуд принадлежит Богу, а не Бог — сосуду. Мы служим Богу, а не Бог — нам.

Сатана это тот, кто хочет присвоить себе то, что он должен нести, чему должен служить. Но он не хочет быть слугой. Он — отдельное существо — хочет сравняться со Всецелостью. Он хочет сравняться с тем, с кем равенство невозможно. И не нужно. Ощущение причастности бесконечному Духу это и есть жизнь вечная. Это радость всеединства, которую чувствует только открытая настезь душа, открывшая всю глубину свою и обнаружившая, что это *не только моя* глубина. Она — общая всем, *единая*. Вот это единство было разорвано в первородном грехе.

По мифу, в первых людей попало сатанинское семя. Семя гордыни и по сути — остановка вечного творческого движения — Духа — Дыхания.

Демон окаменеет в своем остановленном могуществе. Он опустошается. В него не вливается Дух жизни. Он только крадет эту жизнь у других. Он присваивает чужое. Он — вор. Бог — отдает себя. Сатана берет себе. И этому учит людей. Он

Давно отверженный блуждал В
пустыне мира без приюта:
Во след за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.

Ничтожной властвуя землей,
 Он сеял зло без наслажденья,
 Нигде искусству своему
 Он не встречал сопротивленья —
 И зло наскучило ему.

(Лермонтов. «Демон»,)

Он могуч. Он все забрал себе. Он властелин. У него есть количественная вечность, но не качество вечности. Он пуст. Он отделен ото всего. И послушный ему человек — так же.

Бог отдает себя. Всего себя. И человеку заповедал — отдавать, передавать то, что получил. Не замыкать Божий дар, дар жизни на себе. Первородный грех — это ослушание Бога и послушание сатане. Это — взять Божье и почувствовать себя владыкой. Бог дал человеку разум. Это великий дар, если он знает свое второе место и не пытается встать на первое.

Познать Бога из вне, захотеть познать ограниченным разумом безграничность — это утратить истинную внутреннюю связь с безграничностью. Это — противопоставить себя Ей. И — окаменеть в своем пустом безжизненном могуществе.

Первородный грех не был совершен однажды и когда-то. Он совершается все время. Вот почему наш мир на грани саморазрушения. Человек создан по образу и подобию Божию. У него есть безграничные творческие возможности. Он причащается Творцу мира и задуман как «соротник» Божий.

У нас огромная духовная потенция, но она еще не воплощена, потому что инерция того, что названо первородным грехом, еще не преодолена. Даже очень совестливые, добрые люди, даже такие праведники, как Иов, не осуществились до конца. Иов на гноище своем совершенно безгрешен перед людьми. Никто не вправе упрекнуть его в чем-нибудь. Никто, кроме Бога.

Но что такое встреча Иова с Богом? Это возвращение утраченного единства с Бесконечностью.

Бог ничего не отвечает человеческому разуму. Он не говорит с разумными друзьями Иова. Он говорит с сердцем Иова, открывая ему его собственную внутреннюю бесконечность. Он пересекает человеческий разум другим измерением, открывает измерение глубины. И преображенный Иов замолкает.

Вот такого замолкания ждет от нас Бог. Восстановления единства, разрушенного первородным грехом.

Пока бесконечно страдающий Иов кричал, взывая к Богу, он взывал к кому-то другому, живущему во вне.

Из вне не приходит никакого ответа. Потому что Бог находится не

там. Когда восстанавливается единство, раскрываются бесконечные внутренние возможности.

Сколько очень хороших людей и сегодня кричат: «За что?!». И либо осуждают, либо оправдывают Бога. А Он не отвечает на наши осуждения и не нуждается в наших оправданиях. Он ждет, чтобы мы почувствовали Его внутри себя. Христос, сказавший: «Царствие Божие внутри нас», не знает первородного греха. В Нем нет не только никакого человеческого греха, в Нем нет того первородного, который отделил человека от Бога. «Я и Отец — одно».

Но вот этого-то не может вместить, понять род человеческий до сих пор. До сих пор убивают Безгрешного, смешивая самый последний предел смирения — состояние души, когда человеческое «я» (это) сходит на нет, — с гордыней.

Нам гораздо понятней Бог, как кто-то другой, высший. Мы хотим от Него ответа, мы кричим Ему: «За что?!», не понимая, что надо обратиться внутрь, воссоединиться с Ним и взять на себя всю ответственность за всё и всех.

Трудно? Очень. Тому, кто первым очистился от первородного греха, пришлось слишком трудно. Он так просил, чтобы Отец пронес мимо чашу сию... И я прошу. И все мы просим. Но — «Да будет воля Твоя, а не моя». Без этих слов, произнесенных всей душой, возвратиться в потерянный рай невозможно.

Обнажившимся сердцем

Слова, вынесенные в заглавие, я взяла у Андрея Платонова. Из его рассказа «Возвращение», где происходит нечто бесконечно важное, то, что я назвала бы чудом. Не раз уже говорила в беседах наших, что я подразумеваю под словом «чудо»: это то, что преображает душу, а не то, что поражает воображение.

Действительно, в этом рассказе, как, впрочем, и почти во всех других рассказах Платонова, нет ничего поражающего воображение. Всё очень просто. И люди — чрезвычайно простые, не интеллектуалы какие-нибудь, ничем не выдающиеся. Ну вовсе ничем, кроме одного: полного, даже переполненного и ничем не защищенного, обнаженного сердца. И, оказывается, именно здесь-то, в полноте обнаженного сердца, и происходит чудо.

Фронтовик Иванов возвращается домой после четырехлетней разлуки с женой и двумя детьми. Дочке был год, теперь — пять, сыну — девять. После счастья встречи долгое ночное выяснение отношений с женой — очень чистой, простодушной женщиной, рассказавшей горячо любимому мужу о своем единственном грехе, который совершила в отчаянном положении и после которого особенно ясно поняла, как сильно любит единственного мужчину — мужа.

Иванов сам отнюдь не так чист и безгрешен, но он оскорблен. И рано утром, когда жена ушла на работу, а дети еще спят, собирается уезжать. Ушел из дому, сел в поезд, но не успел поезд набрать скорость, как он видит, прислонясь к окну, две бегущие за поездом детские фигурки. И — постепенно узнаёт: это его дети.

«Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключённое и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг всё, что знал прежде, точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся её обнажившимся сердцем».

Я почувствовала в конце этого рассказа такое волнение, которое могу сравнить только с тем, что чувствую от картины Рембрандта «Блудный сын», где передо мной раскрывается великое чудо: встреча двух обнажившихся сердец.

Перед этим все смолкает. Вся прочая внешняя жизнь оказывается в тени, в полумраке, и великое молчание подводит нас к центру Вселенной, который, оказывается, находится у нас в груди. Только мы об этом не знаем. Мы ведь находимся на поверхности самих себя, вдалеке от себя настоящих. Так нам легче. И привычнее, хотя здесь, на поверхности, мы полуживые, на четверть живые, а то и того меньше. И, однако, мир живет именно так. Так живет, однако держится мир на тех, кто живет иначе.

Все народы и во все времена знают, что земля держится на праведниках. У одних народов — этих праведников семь, у других — тридцать шесть. Есть еврейская легенда о «ламидвовниках». *Ламид Вов* значит тридцать шесть. Их всегда тридцать шесть в мире, этих незаметных, беднейших, часто больных, горько обижаемых всеми и в глазах окружающих — никудышных людей. Они всё терпят. Они — кроткие. И в их тихих душах всегда живо благоговейное отношение к жизни, ко всему живому; живет что-то не позволяющее им нарушить тишину души, как нельзя потревожить зеркальность воды, отражающую небо. Поэтому они безответны.

По легенде, когда такой праведник умирает, Бог берет его оледеневшую от всех обид душу в свою пылающую ладонь. И если за целую минуту душа эта не отогревается, Бог плачет, и каждая Его слеза на год приближает конец света. Да, если мир бьет и рушит ту самую целостность, которая его сохраняет, он сам приближает свой конец.

Такие праведники — главные герои Платонова. Прежде всего мне хочется сказать о Юшке, именем которого назван замечательный рассказ. Это один из тех, о ком сказано в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом».

Нищие духом они вовсе не потому, что Духа им недостает. Они просто не присваивают Дух себе, чувствуют Его не своим, а Божьим. Они дышат им, то есть вдыхают и выдыхают. Берут и отдают. Душа их всегда открыта. Они никогда не замыкаются, пытаются накопить какие-то духовные богатства в себе, для себя. Накапливать дыхание невозможно. Это остановка дыхания. Однако мир только и делает, что останавливает дыхание в своих каменеющих догмах, несдвигаемых убеждениях, закрытых для притока свежего воздуха.

Истинно нищие духом не накапливают книжные знания, а обладают способностью сейчас, сегодня, заново сказать то, о чем говорили и писали древние мудрецы.

Когда афонские монахи показывали изумленным гостям свою библиотеку, св. Силуан заметил, что главное здесь не книги, а люди,

способные заново написать эти книги, если бы все это пропало... Вот они — нищие Духом.

Но вернемся к Юшке. Кто он такой? Больной, чахоточный, вроде бы жордировый. Так его, во всяком случае, воспринимают окружающие. Уж очень он не похож на всех. Зимой ходит всю жизнь в одних и тех же прохудившихся валенках; летом — в несменяемой ветхой одежде. Работал двадцать пять лет помощником у кузнеца, а деньги, которые получал, на себя совсем не тратил. Он их каждый год относил куда-то. А куда — никто не знал.

Но в июле или августе он надевал на себя котомку с хлебом и уходил. «В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал больше своей любви к живым существам. Он склонялся к земле, целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания, он гладил кору деревьев и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим (подчеркнуто мной. — З.М.). Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнувших влагой и солнечным светом».

Был он тихий и безответный. И детям и взрослым хотелось растормошить его, чтобы он как-то ответил, хоть каким-то злом, словом недобрым на злую выходку, а он не отвечал.

И вот этому-то божьему ангелу, уже тогда, когда он сильно ослабел, и был не способен на свои славные далекие путешествия, однажды веселый прохожий сказал: «Что ты землю нашу топчешь, божье чучело. Хоть бы ты помер что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться.».

«И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю?.. Я жить родителями поставлен <.> Я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя!»

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

«Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!».

Этот-то прохожий, и ударил Юшку так, что он больше не поднялся.

А уж после его похорон пришла в город разыскивать его кроткая девушка — сирота, которую он опекал всю жизнь. Это для нее копил он деньги, ото всего отказываясь, чтобы она выросла и выучилась.

«Я никто, — (говорила девушка), — я сиротой была, Ефим Дмитриевич (Юшка) поместил меня маленькую в семейство в Москве, потом

отдал в школу с пансионом. Каждый год он приходил проведать меня и приносил деньги на весь год, чтобы я жила и училась. Теперь я выросла. Я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич не пришел в нынешнее лето меня проведать».

Я выписала, быть может, слишком много цитат. Не могла остановиться. Хотелось весь рассказ переписывать.

А ведь без Юшки жить людям стало хуже. «Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство».

Любопытно, что в другом замечательном рассказе, «На заре туманной юности», Платонов дает это редкое не то имя, не то прозвище полуторагодовалому ребенку, тоже ангелическому по существу. Этот осиротевший малыш привязывается к временно няньчившей его молоденькой Оле, героине этого рассказа, и дает ей столько любви, что в самый тяжелый момент жизни, когда Оле грозит смерть, она хочет видеть только этого мальчика и никого больше.

А вот сама Оля, наверное, из тех же тридцати шести или семи, на которых мир держится. И вправду, не удержался бы, погиб бы состав из тридцати двух вагонов, наполненных людьми, если бы не она, чуть-чуть не отдавшая жизнь, уже приготовившаяся ее отдать, чтобы только они не погибли.

Кто она такая? Самая обычная девочка, выросшая в семье машиниста. Ей четырнадцать лет. Идет Гражданская война. В одну ночь погибают ее родители. У нее только и есть адрес тетки — сестры матери, живущей в другом городе. Ну, и находит она эту тетку. Узнав о смерти сестры, она утирает глаза углом фартука и говорит, что она тоже только на вид здоровая, а нет-нет и сама может помереть. А девочку в дом не пускает — «обожди на улице, я только что полы вымыла, затопчешь».

Прием у тетки такой, что оставаться там Оля не может. Но помогли ей другие люди. Как дочку машиниста устроили на курсы железнодорожников с общежитием и стипендией. И благодарная душа девочки чувствует огромную ответственность перед людьми, позаботившимися о ней, и перед теми, кто установил такой порядок жизни. Ей теперь надо быть предельно добросовестной, хорошо учиться, чтобы стать по-настоящему полезным тем, кто ей сделал добро.

Рядом с ней тоже сирота. Тоже несчастная, которая может вызывать такое же сочувствие. Однако не все несчастные являются праведниками. Лиза, с которой, сдружилась Оля, потеряла отца, жила с матерью в глубокой нужде. Но потом мать вышла замуж за очень благополучного человека и... бросила дочку.

Лиза несколько образованней Оли. Она и объясняет ей что-то про коммунизм. Говорит громкие красивые слова, которым простая и цельная

душа Оли безоговорочно верит. Но вот настает трудный период для сокурсников. Временно не платят стипендию и нечем платить за еду в столовой. И тогда Оля предлагает Лизе учиться за обеих, а она будет подрабатывать и кормить Лизу, а вечером делать уроки, которые запишет Лиза. Лиза все это принимает, но записывать уроки ленится, чего Оля взять в толк не может. «Не надо говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила».

Но вот они кончили курсы и работают на практике. Все хорошо. Только вот одним ранним утром Олю разбудил паровозный гудок, предупреждающий о катастрофе. Оля пытается растолкать Лизу, но ждать ее нет времени — бежит на станцию. Сейчас может полететь с откоса состав в тридцать два вагона, отцепившихся от паровоза. Нужно срочно что-то делать. Ни минуты не задумываясь, она берет маневренный паровоз и едет навстречу оторвавшимся вагонам, чтобы остановить их. У нее есть два помощника, но постепенно один за другим они соскакивают с паровоза, зная, что их ждет гибель.

А она? «Неужели? — думала Ольга — Неужели я сейчас умру? Не хочется!» Но. «Ну же бедная! — с испугом вслух сказала она самой себе. — Пусть песни поют без тебя».

Ольга была тяжело ранена, долго болела, но выздоровела. А состав был спасен. Когда врач, серьезно опасавшийся за ее жизнь, спросил ее, кого она хочет видеть? Может позвать родственников, друзей? «Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо».

Да, Юшку, а больше никого не надо. Одну только она знает совсем чистую и совсем полную душу. Даром, что ему всего четыре года (да, Ольге теперь семнадцать, а маленькому Юшке — четыре).

Есть и другой Юшка, о котором мы уже говорили. Я не знаю, как они связаны, но. есть Юшка, а больше никого.

Около Ольги больше никого. И вообще таких, как Юшка и Ольга, невообразимо мало. — Людей, живущих одной душой, одним обнажившимся сердцем. Сердце доминирует надо всем остальным, и потому обладатели его по-настоящему живые.

Как-то раз Оля рассердилась на Лизу, жаловавшуюся на голод (Оля голодала не меньше). «Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли?... У тебя сознание должно где-нибудь быть!»

Вот они — незаметные праведники. Кроме Юшки и Ольги, есть еще и Никита Фирсов из рассказа «Река Потудань». Это один из самых целомудренных рассказов, которые только есть в мировой литературе. Никита самый простой и самый редкостный человек, живущий настолько полной душой, что она, душа эта, как бы не умещается в теле, почти парализует его. Никита становится импотентом от великой полноты своей любви.

После первой брачной ночи с любимой женой Никита встал рас-

терянный, он решил, что «Люба теперь, наверное, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, у него *вся сила бьется в сердце, приливая к горлу, не_оставаясь больше нигде*» (подчеркнуто мной. — З.М.). «Как он жалок и слаб от любви ко мне, — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я потерплю. А. может, когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком!»

Нет, он никогда не стал любить ее меньше. Только раз ночью, увидев случайно слезы Любы (подглядев, ибо она думала, что он спит), Никита в одном порыве поднялся и ушел в соседний город, стал там бомжом, помощником дворника на базаре. Он ушел в никуда. Ушел, чтобы не портить ей жизнь. А она... Она жить без него не может. Бесконечно ищет его и в отчаянии бросается в реку Потудань. Ее все-таки спасли. А Никиту случайно встретил в городе отец и рассказал все о Любе. И вот, когда Никита узнал, что Люба также любит его всей своей душой, что для нее все остальное второстепенно, приложение к Главному, он идет, бежит, летит домой и сливается с Любой в одно целое уже и физически. (Сейчас это просто само собой получается.) Но вот что интересно: «Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением» (подчеркнуто мной. — З.М.). Мысль в высшей степени не современная. Она не из нашего времени. Она из вечности.

Это та вечная истина, к которой наше время относится так же, как свинья из басни, подрывающая корни дуба, кормящего её. Пришвин сказал однажды: «Любишь душу. А близость это воплощение». Воплощение это нечто бесконечно важное, оно становится даже священным, но только если чувствует свое второе место по отношению к Душе; если *служит* Духу, а не господствует над ним.

Господство плоти над Духом — это господство временного над вечным, господство части над Целым, потеря связи с Целым и обреченность на опустошение и смерть.

Еще об одном герое Платонова хочется мне рассказать, героя, который имени даже не имеет. Он именуется только третьим сыном. Рассказ так и называется: «Третий сын».

Отец дает шесть телеграмм в разные города шести сыновьям. Умерла мать. И вот съезжаются все шестеро. Только третий сын приехал не один, а с шестилетней дочкой. Отец привез ее проститься с бабушкой. Гроб с телом стоит в спальне родителей. Сыновья погоревали у гроба, а к ночи отец укладывает их всех в соседней комнате и только внучку кладет рядом с собой на месте покойной жены.

Старик задремал и вдруг снова проснулся. «Из-под двери комнаты, где спали сыновья проникал свет. — Там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор». Братья впервые за долгое время сошлись вместе. Они радовались встрече. Каждый рассказывал про что-то свое. Попросили даже брата-артиста спеть что-то. Кто-то упал на другого. Кого-то подняли. Громко захохотали, так, что проснувшейся девочке стало не по себе.

«— Дедушка, а дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю. Я ничего, — сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу.

Оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко, сказала внучка. — Все живут, смеются, а она одна умерла».

И вдруг в другой комнате наступила полная тишина. Старик услышал голос третьего сына — отца девочки. От этого голоса утихли все. А сам третий сын вышел из соседней комнаты, одетый, как днем, подошел к гробу матери и вдруг упал, потерял сознание. Тогда опомнились и другие братья. Вышли в белье из другой комнаты, унесли брата, привели его в чувство. И дальше — всё встало как бы на свое место. И мать в смерти своей не осталась одна. Не оставить в смерти своей человека одного может быть это великий долг каждого живого и, кто знает, может быть именно с этого и начинается победа над смертью, потому что, соединившись с мертвым, ты начинаешь жить не только за себя, но и за него. И здесь кроется великая тайна причастия, единения всех со всеми. Это и есть вход в вечную жизнь.

Третий сын не может оставить мать умирать одну. Он умирает вместе с нею. И потом будет вместе с нею жить. Его сердце разделило с ней смерть. И дало возможность ей разделить с ним жизнь.

О мертвых... Да, опять о мертвых
Портрет молчит. Земля нема.
Но если жизнь хоть чья-то стёрта,
То значит стёрта я сама.
Провал. Последние черноты.
Но смолкнувшие не ушли.
Они сейчас в тени кого-то,
Так, как Луна в тени Земли.
И до тех пор еще не с нами,
Покуда не свершились мы,
Покуда мы ущербны сами,
Как месяц в царстве полутьмы.
Но так, как над земною твердью
Восходит полный диск Луны,
Вот так наступит *полносердье* И

будут все воскрешены.

Полносердье. Полное сердце. Обнажённое сердце. Без каких бы то ни было прикрытий, отделяющих тебя от всего мира. Открытость Бесконечности. Полная незащитность и совершенная полнота жизни.

Это есть у третьего сына. А у других нет. Но кто эти другие пять братьев? Плохие сыновья? Нет, совсем нет. Это — обычные люди. И только третий сын был необычным.

Ученики Христа до поры до времени были такими же обычными людьми, как пять братьев. Когда душа Христа «скорбела смертельно», когда Он, никогда ни о чем не просивший их, попросил пободрствовать с Ним; когда на лбу Его выступил кровавый пот, — они спали.

А Петр, который был уверен, что любит Христа больше жизни, разве не отрекся от Него трижды, пока петух не разбудил его душу?..

И что же, Христос осудил их? Нет, никого не осудил. Он знал слабость человеческой природы, знал, что они еще не могут нести то, что нес Он. Да, знал. И не осудил их, но... разбудил. Разбудил своим примером. Своим страшным страданием. Своим уходом. «Если не уйду к Отцу, не пошлю вам Духа-утешителя. А если уйду — пошлю».

И ушел. И послал То, что преобразило их. И эти хорошие, любившие Его, но обычные люди, знавшие страх и слабость, преобразились и стали необычными, подобными Ему.

«Я умер. Жив во мне Христос», — сказал апостол Павел.

Я говорю сейчас о преобразении апостолов, минуя камень преткновения многих верующих и неверующих — воскресение Христа во плоти.

Я здесь ничего не отрицаю и не утверждаю. Я просто считаю, что это разговор не про то.

То — это нечто, происходящее внутри, а не перед глазами. Не явление, а суть.

В чудеса, которые творил Христос, я верю абсолютно. И в воскресение Лазаря и дочери Иaira, и во все исцеления, и в то, что Он останавливал бурю на море. Совершенный человек обладает совершенными способностями. Дух Его становится всемогущим. Дух царит над плотью, а не плоть над Духом. Мы этого не можем знать только по несовершенству своему.

Но прежде всего — внутреннее совершенство. А все чудеса — следствия его, приложения к нему. Они второстепенны. Как всё, что можно увидеть глазами, проверить, показать.

Первостепенен сам Христос, а не те чудеса, которые поразят нас.

Если бы Христос сошел с креста, Он бы поразил своих мучителей, изумил, удивил, устрасил наконец, оставаясь таким же чужим для них, каким был, когда они Его обрекали на муки. Они, может, даже уверовали бы в Него, но от страха, а не от любви.

Этого Ему было не нужно. В то, что Бог всемогущ, я верю абсолютно. Он *может всё, что Ему нужно.* Но вот что Ему нужно, должна понять наша душа. И понять она может, только полюбив. До конца. Всей собой. «Царствие Божие внутри нас» — самые главные слова, менее всего понятые большинством верующих и неверующими.

В нас есть три уровня бытия — как бы три человека: внешний, внутренний и внутреннейший. Об этом говорили великие христианские мистики Майстер Экхарт и Иоганнес Таулер.

Так вот, добраться в себе до своего внутреннейшего человека, который чувствует теснейшую связь свою со всем живым, — это и значит найти Царствие Божие и осуществить свое богоподобие. Мы ведь созданы по образу и подобию Божию. Это как бы аксиома.

Во время моей молодости, да и зрелости, было принято считать, что Бога нет. В моей старости стало принято считать, что Он есть.

Я узнала всем сердцем, что Он есть, в ранней молодости — в 19 лет, когда все вокруг считали, что Его нет и быть не может. Теперь Он появился. Все надели на себя крестики. В машинах — иконки. Но по сути ничего не изменилось. Люди верят на слово авторитетным представителям общества, которые очень убедительно рассуждают о Боге.

А вот такие, как Юшка и Оля, как Никита Фирсов и безымянный третий сын, о Боге вообще не рассуждают. Они просто живут всем сердцем, в каждом биении которого — Он.

Его можно и не называть по имени, как это делают буддисты и индуистские авторы древних Упанишад. Есть что-то, что перерастает все имена и названия. И это — ТО.

Одно из наименований Будды — Татха-Гата. (Такостный, или Тот самый, Такой именно, как надо.)

Любопытно, что наделенный высшим духовным сознанием и образованием автор Упанишад и весьма образованные буддисты каким-то образом сходятся с неграмотным, почти мычащим что-то нечленораздельное Акимом — героем Льва Толстого из «Власти тьмы». Знал Аким по сути только два слова: «тае» и «не тае», что означало ТО или не ТО. Такой или не такой. У него было абсолютное нравственное чутье и почти ничего больше.

Но не самое ли это нужное? Люди с абсолютным нравственным чутьем живут с обнаженным сердцем, которым касаются прямо без каких-либо посредников всего живого. Это как бы люди с содранной кожей. Каждая боль — их боль, каждая смерть — их сиротство. «Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой», — говорит один из героев Платонова, хороня умершую от горя по своим погибшим детям старуху. Другой герой, солдат, говорит о своем похороненном командире: «Такие люди долго не держатся на земле, а свет на них стоит вечно» (подчеркнуто мной. — З.М.).

Кто же они такие ТЕ, на ком свет стоит вечно? Эти семь, или тридцать шесть, или сколько их там еще... (кто точно сосчитал?) праведников?

Это те, кто чувствуют, что есть что-то большее, чем они сами, большее, чем может понять их разум, но каким-то образом вмещаемое в их физическое маленькое смертное сердце. Да, сердце это может умереть, и все-таки в нем хранится то, что не умрет никогда. И в хранении этого Бессмертного, в соприкосновении с ним — смысл их жизни. Они чувствуют себя причастными к великому Целому, которому каждый из нас так же необходим, как оно само — нам. Без каждого из нас это Целое не цельно. Без участия в нем мы мертвы, даже если имеем еще живое тело. Одному из героев Платонова, Одинцову, «представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое. Он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве» (рассказ «Одухотворенные люди»).

Мало объявить, что есть Бог? и начать отстраивать храмы. Надо научиться почувствовать храмом созданную Богом землю и нашу душу. «Церковь не в бревнах, а в ребрах» — гласит старая русская поговорка. Нельзя объявить о существовании Бога, не поняв, что такое благоговейное отношение к жизни, к миру Божьему. Не открыв путь в ту Глубину, где только и может находиться Царствие Божие. Наше дело только открыться Ему. Только обнажить сердце. В глубине сердца, как в центре земли, — горит огонь. Негасимый, несмотря на все усилия его загасить. В истинно живом человеке всегда продолжает горение таинственный жар любви, Божественный жертвенник, из которого всегда рождается жизнь. «Или христианство огонь, или его нет», — говорила мать Мария.

Вот об этом огне и будет говорить Григорий Соломонович.

Григорий Померанц

Огонь Паскаля

Огонь! Огонь! Огонь без края,
Огонь, не знающий конца.
Огонь, который, разгораясь,
Творит солнца.
Огонь, который жжет и рушит
Все стены на пути своем, —
Но вовсе не сжигает душу,
А делает ее Огнем.

Зинаида Миркина

Когда проходят несколько десятков лет, прошлое, казавшееся законченным, смотрится по-новому. Великое открытие рассыпается в прах, а незамеченная деталь вдруг вырастает и раскрывается. Так было с плодами

медитации, которой я упорно занимался весной 1938 г. Мне уже приходилось писать, что тогда я решился преодолеть ничтожество человека перед бездной космоса и чего-то добился; в ярком свете озарения я увидел сразу две модели вселенной с человеком в центре. В обоих случаях человек переставал быть ничтожной песчинкой и становился узлом, в котором связан весь мир.

Несколько смущало меня, что узлов оказалось два. Но разбирать, почему это так, не хотелось. Прошло много лет, пока я понял, что озарение озаряет только то, что уже складывается в уме. А в уме складывается то, что ему по силам, что как-то соответствует его кругозору. И яркое озарение бушмена будет бушменским, кроманьонца — кроманьонским, а Моисея — ветхозаветным... И все эти озарения — метафоры, и одновременное рождение двойни показывает, что близнецы одинаково условны, остаются на поверхности бытия. В лучшем случае это туманные намеки на глубины, а в худшем — просто нелепость (так это и было в 1938 г., и по заслугам отвергнуто моими друзьями).

Однако память озарения пригодилась мне на фронте. Об этом тоже было говорено. Ошеломленный грохотом бомбежки, я не мог справиться со страхом. И вдруг, по ассоциации этого страха со страхом бесконечного пространства и времени выплыло чувство внутреннего огня, внутреннего света, испытанное в марте 1938 г.; и фронтовой страх стремительно растаял, настолько, что хватило до конца войны. Тень страха, коснувшись сердца, тут же исчезала, как страх чумы в гимне Пушкина.

Можно было бы вспомнить и замечательный стих Державина, давший барочный образ человека через ряд оксюморонов: «Я раб, я царь, я червь, я Бог». Но Державина я в студенческие годы почти пропустил. Между тем, на волне поэтического ритма он дал слову «Бог» полноту реальности — не меньшей, чем реальность царя; Бог здесь реальность одного из полюсов человечности. И вопреки атеистической выучке человек приобщался к реальности бесконечного духа.

Эта реальность не доказывалась. Она захватывала волшебной силой поэзии, силой, подхватывавшей на своих волнах и раба, и царя, и червя, и Бога; захватывала силой культуры, неполной без шестого чувства. И это не догмат, выученный наизусть, это опыт, мгновенный опыт благодати, мгновенный ответ на пропасть, раскрытую перед взором человека, когда Коперник и Галилей разрушили небесный свод и Земля повисла в пустоте.

Впервые заболел звездной тоской Паскаль. Тютчев сослался на его слова о мыслящем тростнике, Толстой говорил, что Тютчев для него важнее Пушкина. Почему вселенская тоска Паскаля не нашла последователей у себя на родине? Почему запомнился только исходный шаг его мысли, афоризм, вошедший в минимум западной культуры: «человек слаб, как тростник; порыв ветра может сломить его; но этот тростник мыслит, и если вся вселенная обрушится на него, она не отымет этого

преимущества»...

Для рационалистической культуры Франции XVII в. преимущество мысли уравновешивало физическое ничтожество человека, но в России XIX в., заваленной материалистическими брошюрами, на первое место выступило именно ничтожество человека перед массой материи, перед математически бесспорным уравнением $n : \wedge = 0$. Отравленный этим равенством, Толстой прятал от себя веревку, чтобы не повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться. Его «арзамасский страх» — не изящная словесность. Это опыт.

Меня поразило, что читатели «Анны Карениной» и «Записок сумасшедшего» Льва Толстого не попытались прорваться сквозь бездну к нераздельности человеческой глубины и вечных глубин.

Паскаль достиг этого. В одну из ночей он испытал вспышку внутреннего огня, в которой внешняя бесконечность сгорала и сгорало всякое превосходство материи над человеческим духом. Этот свой опыт он записал и листок зашил в подкладку камзола: «огонь. Бог Авраама, Исаака и Якова, не философов и ученых.». Что означало здесь слово «огонь»? Судя по моему опыту — чувство внутреннего горения, внутреннего света. В одном случае свет как бы погасил предметы, ничего не было кроме света. В других случаях он освещал какие-то слова. Как было у Паскаля, я не знаю, но думаю, что образов праотцев сперва у него не было, скорее, возникла ассоциация опыта с опытом, а не с размышлением философов и ученых.

Почему Паскаль зашил, засекретил свою записку? Почему ночной опыт его не стал широко известен? Почему он не дошел до Тютчева и Толстого? Скорее всего, Паскаль чувствовал, что современники не в силах понять его. В какой мере этот разрыв в понимании сохранялся и позже, век за веком?

Сегодня меня не обвинят в ереси или в безумии, — но не в этом дело. Опыт Нового времени показал, что взгляд в бездну вселенной остался достоянием немногих, для большинства он до сих пор табу. Некоторый сдвиг обозначился только в XX в. Тогда многие физики заговорили об упанишадах (в частности, Шредингер в его книге «Что такое жизнь с точки зрения физики», вызвавшей скандал в Москве 1947 г. Потом я узнал, что Шредингер не одиночка). Только в годы моей жизни взрывной рост информации бросил Запад и Восток в один котел, где они сталкивались, постепенно постигая глубокое сходство в словах Христа «Царствие Божие внутри нас» и в словах Шанкары- ачарьи «Атман и Брахман едины».

Сегодня за клубились новые ассоциации, вышедшие за рамки обособленных культурных кругов и обособленных сфер знания. В американских книгах, изданных миллионными тиражами, бросаются в глаза продуманные ссылки на ведантские и дзэнские тексты. Из этих веточек

плетется венок глобальной духовной культуры, век которой придет, быть может, скоро — если еще скорее не рухнет вся наша постройка научных связей. Исповедники разных традиций, сложившихся тысячи лет тому назад, сходятся сегодня за одним столом и понимают друг друга, как психолог Кен Уилбер понимает тибетских гуру, а Далай-лама — своих собеседников-бенедиктинцев.

Духовные глубины ищет сегодня не только востоковед или богослов, но и кинорежиссер. Например, в «Андрее Рублеве», «Солярисе», «Сталкере» импровизированные скважины в глубину («Солярис», «Сталкер») смотрятся рядом с Троицей, и зрители втягиваются в неожиданные поиски — и находят общее в глазах рублевских ликов и в тайнах «Сталкера» и «Соляриса».

Мы не знаем, как на самом деле выглядят глубины глубин, но мы можем жить открытыми ей и в этой открытости искать источник силы, противостоящей всем внешним, поверхностным силам, ничтожным, сравнительно с огнем, мерцающим в глубине и иногда вспыхивающим внезапным пожаром. Образом, рожденным в этом огне, могут быть и Бог Моисей, и Брахман, и Дао, и опыт созерцания недвойственности, и взрывы гения в старой живописи и современной музыке — словом, любой глубоко пережитый символ. В «Солярисе» Андрея Тарковского глубина просвечивает сквозь научную фантастику. Но меня захватила и отвлекла от фантастики другая ассоциация: мой сон, увиденный лет тридцать или сорок тому назад.

Я плыл сквозь озеро золотого света. Другого берега не было видно, так что это было скорее море, но почему-то я назвал его озером и так это осталось в моей памяти. Я знал, что до другого берега мне не доплыть, что я утону, но почему-то мысль об исчезновении в золотом свете переливалась во мне ликованием, собственно, это все, что я мог назвать словами, когда проснулся, но готовность погрузиться в золотой свет я помню до сих пор и до сих пор не могу ни вполне понять, ни забыть его. Этот сон постепенно сблизился с образами Тарковского, отодвинул назад все лишнее и оставил только берег, изрезанный фиордами, напоминающими те, над которыми я летел в Тромсе, приглашенный читать лекцию о Достоевском. Фиорды постепенно стали для меня образами личности, открытой в бесконечность. В своем устье фиорд-личность сливается с непостижимым и бескрайним, но остается резко очерченной в своих берегах. По крайней мере, так преобразилась в моем сне уже «сильно развитая личность», описанная когда-то Достоевским.

Эта метафора осталась для меня символом постоянного усилия быть открытым вечности, не давать никаким заботам закрыть духовное устье, быть открытым всем небесам всех вер.

Образ берега вечности, в которую открылся мой фиорд, стал для меня чем-то вроде внутренней иконы. Я постоянно ее вспоминаю и оберегаю

устье от мусора, от обломков временных сооружений, принесенных волнами. Но океан бурлит, и обломков все больше; иные хочется поместить в музей и сохранить, другие распадаются в труху. И образ цивилизации, в которую уходят берега фиордов, все больше рушится. В XIX в. Европа казалась почти законченной, почти уравновешенной, подобной венку, в котором одна ветвь ограничивает другую, но не угнетает ее так, чтобы помешать рождению цветов. И все континенты, казалось, плыли вслед за Европой, тянулись к ее совершенству. Эта иллюзия рухнула в 1914 г., и перенос центра силы из Лондона в Нью-Йорк не изменил сути дела.

Условие гармонии — сдержанность, отсутствие головокружительных темпов, с которыми ветвь, теряя гибкость, становится бревном и всех расталкивает. Нет злокачественного развития общественных форм и движений, одержимых волей к власти. Нет превращения научно-технического и экономического прогресса в разрушение биосферы. Тысячелетние традиции не брошены временем в один котел и не громятся друг на друга. Соглашения достигаются дистиллированным языком дипломата, но в сердцах растет вражда, как между сектором Газа и Израилем.

Современная наука ставит диагнозы, но лекарство может дать только соборное человеческое сердце. Образ соборного сердца — условность, но для групп творческого меньшинства, рассеянных по земле, — это реальность, и она не поддается вражде — религиозной, национальной, социальной. Это сердца, открытые вечности, их не так уже мало — и ничтожно мало для своей задачи, если считать, что все надо сделать своими руками; и напротив: творческое меньшинство достаточно велико, если соборное сознание сможет распространиться и захватить достаточное число сильных и гибких умов, способных к действию.

Соборное действие невозможно без соборного сознания. А соборное сознание сможет родиться только так, как был создан мир — из ничего, из озера внезапно раскрывшегося зеркалом истины в клубящемся вихре сил, и в этом зеркале явится целостный образ, к которому потянутся избранные, а потом многие. Ясный и бесспорный образ не может быть выдуман. Он сверкнет, подобно огню Паскаля, и сразу осветит и притянет к единому свету все великие традиции. Их открытый вечности диалог может стать реальностью здесь и теперь. Это возможно. И вера в него может сотворить чудеса.

Сегодня эта вера создает стихи. И я присоединяю к эпиграфу еще три стихотворения из сборника Зинаиды Миркиной «Один на один» (М., 2002).

Своим дыханьем глину тронь,
Кинь искру в ночь, взметнись над нами!
Ведь ты огонь! Огонь! Огонь,

Который прожигает камень,
 Который входит внутрь сердец,
 Как в темень леса свет осенний...
 Я знаю, знаю, мой Творец,
 Жар твоего прикосновенья!

Почему удлиняется вечером свет,
 Чтоб до сердца достать моего,
 Чтоб оставить свой долгий сияющий след
 В непроглядных глубинах его.
 Чтоб потом ниоткуда, внезапно, сама,
 Как прозреньё в нечаянном сне,
 Изнутри засветилась безмолвная тьма,
 Сохранившая свет в глубине.
 Во глубине моей горит огонь.
 Всегда горит, без чада и без дыма.
 А вы кладете на глаза ладонь.
 А вам сияние невыносимо

Вы стороной обходите меня.
 Вы погасить хотите это пламя,
 Не зная, что без моего огня В глухую
 ночь провалитесь вы сами.

Богословское приложение

«Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или любых принципах; но сколько бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют Божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью — но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и сама эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает “безумно”. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против

всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог»³⁴.

³⁴ Из выступления Антония Сурожского в Париже в 1974 г. «Континент», 1996, № 89.

О смирении

Григорий Соломонович очень много сказал за нас обоих. Но мне хочется начать несколько иначе, с какой-то другой точки зрения.

Как-то мы находились в обществе довольно близких нам по взглядам, по восприятию жизни людей. Разговор зашел об иконах, и одна женщина несколько смущенно сказала, что икон не понимает. Другая обрадованно протянула ей руку. Она тоже не понимала икон. Я замолчала, припомнила время, когда сама могла сказать то же самое. Правда, это было давно. Очень давно. Но было время, когда иконы казались мне чем-то мертвым. Мне, как и многим, нужна была динамика, пластика, трехмерность, перспектива.

Это было до моего опыта, моей Встречи, о которой я не раз говорила и повторять сейчас не буду. Но, подумалось мне: и хорошо, что я сама многого не понимала. Это нужно, чтобы понять непонимающих. Может быть, и нельзя понимать по-настоящему иконы до того, как произойдет в тебе остановка внешнего движения. Во мне она произошла вдруг в 19 лет, во время события, пересоздавшего мое сознание. Внешнее движение замерло. Оно как бы было пересечено другим движением или другим измерением, которое всегда есть, но которого мы обычно не замечаем.

Разве мы замечаем рост дерева? Цветка, ребенка? Мы видим результат этого роста, но самого процесса заметить не можем. Дерево нам видится статичным. Ребенок незаметно становится другим. Перед нашими глазами он все тот же, и вдруг — откуда ты взялся такой? Обыкновенное, привычное, и все-таки чудо. Тайна.

Откуда взялся мир? Откуда взялись мы? Может быть, первая религиозная мысль появилась вместе с первым удивлением перед непостижимым. Душа остановилась на берегу Тайны, как ноги на берегу Океана. Дальше идти нельзя. Что-то пересекло наше движение. Что?

Остановившись и оглядевшись, мы заметили Бесконечность, объившую нас. Мы — конечные существа. Мы движимы от начала к концу. Но мы сопричастны чему-то Другому, что не знало начала и не будет знать конца. Мы вышли из него, как Венера из пены морской.

И вот мы чувствуем дыхание незримого Океана, ощущаем некое внутреннее движение, которое идет не рядом с нами, а СКВОЗЬ нас. Ощущаем, потому что мы остановили свое внешнее движение. Нас пересёк великий Покой.

Раньше, еще в старом здании Третьяковки, я обычно шла к иконам через верхние залы, приостанавливаясь около Левитана, удивительно чувствовавшего Божественность света, досмотревшего природу до ее источника, до Бога — творение до Творца его. Я останавливалась около «Вечернего звона», около картины «Над вечным покоем» и шла дальше, неизменно проходя мимо суриковской «Боярыни Морозовой». Ничего сейчас не хочу сказать об этой картине в целом. Речь не о ней. Но вот за санями бежит мальчик. Быстро бежит. Это чувствуется. И пятка его, поднятая в беге, так и застыла навсегда. И торчит перед глазами моими эта поднятая пятка. Стоп-кадр. Движение, которое насильственно остановлено. Но не могу я останавливаться вместе с этой пяткой. Иду дальше. Спускаюсь вниз, на первый этаж. И, наконец, что-то останавливает меня. Дальше идти невозможно. Я около одной из моих любимых икон. Я начинаю чувствовать неостановимое Движение. Внутреннее Движение.

Вот тут остановка внешнего движения не только закона — она необходима. Застылость, статичность иконных фигур — это неподвижность русла, внутри которого — вечное течение. Я сама застываю все больше и больше, до полной остановки вопросов, мыслей. И течение входит в меня, заполняет меня. Невидимый поток движется во мне и причащает меня внутренней Бесконечности.

Всю жизнь пытаюсь передать, что со мной происходит тогда. Всю жизнь пишу об этом. И каждый раз переживаю заново. Это причастие Тайне. В природе и в великом духовном искусстве. Природа — это тоже икона. Только не рукотворная, написанная самим Богом. Через природу, так же как через икону, мы можем увидеть Творца ее. Если сумеем остановиться. Остановить все внешнее движение. Стать руслом для Движения внутреннего.

Не пропускайте час молитвы.
Не пропускайте час, когда Царит
недвижная вода И правят медленные
ритмы.
Как будто мир смежает веки.
Внутри глаза его глядят,
И о всеильном человеке Безмолвно
говорит закат.
О нашем тайном, сокровенном,
Живущем в самой глубине —
В центральной точке всей Вселенной
И очень глубоко во мне.

И начинается великий Непрерываемый
 рассказ О том, что в мире нет Владыки,
 Кроме Того, который — в нас.
 В часы зари золотокрылой,
 Немой, молитвенной зари,
 Стянулись внутрь все наши силы И мощь
 восходит изнутри.

Это я испытала на морском закате. И это же я испытываю у икон. Обращение внутрь. Стягивание всех сил внутрь. Открытие каждый раз заново одной и той же евангельской фразы: «Царствие Божие внутри нас».

Есть утверждение, что святые видели потустороннюю реальность и направляли кисть иконописцев. Таким образом, иконописец оказывался копировальщиком готового видения, представшего глазам. Согласиться с этим никак не могу. Бог говорит с нами только через душу, через нашу таинственную и бездонную глубину. Не иначе. Глазами не увидишь главного, как сказал Маленьких принц. Увидеть по-настоящему можно только сердцем. Может быть, и через глаза, но тогда, когда открывается внутреннее зрение, зрение сердца, которое никогда ничего не копирует, а только заново рождает. Только в глубине сердца происходит таинственная Встреча и сердце зачинает от Бога. И вынашивает божественный плод.

Мой Боже, Бог мой, из моих берез,
 Дождя, травы и звона дальней птицы В
 меня вошел и из меня пророс.
 Нельзя иначе Богу появиться Здесь, на
 земле. Есть место лишь одно- Внутри
 меня. И в радости и в муке Вот это сердце
 выносить должно Тебя и вынырнуть вот
 эти руки.
 Мой Бог — мой сын. И тварь Твоя, и мать.
 О, Господи, сумею ли так много?
 Зачать, родить и, вырастив, отдать Тебя
 во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу...

Вот это «отдать во тьму», вернуть Бога Богу, это самое трудное и самое таинственное и непостижимое. В иконных глазах всегда сочетание света и боли. Просветленная печаль или просквоженная болью радость, но то и другое вместе, потому что главное — это соприкосновение с Бесконечностью, которое всегда трудно конечному человеку и все-таки именно оно — причастие Бесконечности — является нашим смыслом и глубочайшей радостью, ликованием Духа.

Наш ум всегда спрямляет путь. Наши представления всегда одномерны. Но Бог не представим и умом не постижим. Слова о божественной реальности — всегда метафоры. Ибо в нашем языке, оперирующим конечными понятиями, нет и не может быть точных слов о Бесконечном.

Разве все слова о воскресении являются точной копией физического явления? Как понять слова: «Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. А живущий и верующий в Меня не умрет вовек...»? Эти слова уму ничего не могут сказать.

Он не сказал: «Верь, Я воскрешу». Сказал: «Я есмь воскресение». Воскресение перед вами. Сумейте вместить. Вместить океанскую глубину, в которой тонет и ка и смерть. И эта океанская глубина есть в глазах подлинных, лучших икон. В бесконечно скорбных глазах есть негасимый свет. Это тайна, глубже и величественней которой ничего быть не может. Глаза эти прошли через смерть и — живы.

Бог это выход. В полной черноте,
В пространстве без дорог.
Скажите мне: есть выход на кресте?
Тогда есть Бог.

Выход на кресте... Понять этого, повторяю, невозможно. Именно поэтому очень часто икона представляется неживой, мрачной, неподвижной. Она вызывает отталкивание или испуг. Между тем, настоящая икона полна великого света, мощного движения и непреходящей жизни. Эта жизнь не избегает страдания, а превосходит его, так же как и саму смерть.

Есть вечный вопрос: как допустил всемогущий Бог страдание. Есть в Библии Книга Иова, о которой мы много раз говорили. Я сама когда-то задавала вопросы Иова, и ответом мне был иконный лик. Сначала я увидела Его сердцем, а потом узнала на лучших иконах. И каждый раз снова и снова прихожу к ним с трепетом, как на нужнейшее, драгоценнейшее свидание.

Иконы не отвечают на вопросы нашего ума. Они снимают эти вопросы и открывают нам предельную (а точнее — беспредельную) высоту и красоту человеческой души, к которой мы призваны, которая нам всем открыта. Когда мы с Григорием Соломоновичем входим в наш любимый немой храм — иконные залы Третьяковской галереи — первая наша остановка, как он уже говорил, у огромной иконы Благовещения.

Ангел (архангел Гавриил) и Мария. Ангел смотрит на Марию. Мария — на нас. Ангел протягивает руку по направлению к Марии. Его тонкий напряженный перст — как будто силовая линия. Он делает видимой эту линию — это могучее, незримое и неслышимое течение, тока от Бога к душе.

Я чувствую его перст, как удар тока, как повеление замереть и приготовиться к великой Встрече. Очень точный и тишайший жест ангела и бесконечно спокойное лицо Марии, которая почувствовала святую тяжесть своей глубины — Божественный плод, созревающий в ней.

Мы движемся дальше, в глубь залов, и я все время ощущаю эту

священную тяжесть в глубине. И вот, мы садимся у моей любимой Богоматери. Я совсем не утверждаю, что она лучше всех. Есть другие, гораздо более знаменитые и действительно прекрасные. Но у каждого свой вход в глубину души, в свою живую тайну. У меня — она Богоматерь византийского деесисного чина, о котором уже говорил Григорий Соломонович.

Что происходит со мной, когда я надолго принимаю к ней взглядом, передать трудно. Тем более, что каждый раз все происходит заново и несколько иначе, чем в прошлый раз. В каждом из нас есть две природы: Божеская и человеческая. И в совершенном человеке, в Богочеловеке, есть природа человеческая. Все мы помним Его слезы в Геф-симании и крик на кресте... А уж наша человеческая природа кричит куда больше...

Я не боюсь смерти, но, конечно, не хочу муки, и уж как боюсь разлуки с любимыми...

И вот что произошло со мной во время последнего свидания с «моей» Богоматерью: слова «Я есмь воскресение и жизнь вечная» воплотились передо мной.

Я увидела, что то, чего я больше всего боюсь, не страшно этому лицу и мне, когда я это лицо вижу всем сердцем. Припав к ней, я живу жизнью вечной. Яснее сказать не могу. Но лик этот причащает меня той глубине, где смерти нет.

Григорий Соломонович еще говорил о руках «моей» Богоматери. Скажу и я: в этих руках главное для меня — поразительный ритм. Полное согласие с тайным ритмом, творящим жизнь, со звездным танцем, с удивительной внутренней гармонией, единой для всего мира, для всех миров.

Чем отличаются лучшие византийские и русские иконы Богоматери от самых замечательных западных мадонн? Я очень далека от того, чтобы возносить одно за счет другого. Западная религиозная музыка кажется мне вершиной, превзойти которую невозможно. Да и готическая архитектура и некоторые деревянные скульптуры. Но икона византийская и древнерусская, на мой взгляд, гораздо глубже и ближе к духовной реальности, чем западная иконография.

Духовная реальность это и есть суть жизни. Сама Вечная жизнь. В подавляющем большинстве западных икон я вижу скорее мечту о вечной жизни, человеческое представление о ней, чем саму суровую и бездонную глубину Вечности, которая есть Дух, прошедший через смерть и не затронутый смертью.

Икона, о которой я столько говорила сейчас, делит со мной все мое человеческое страдание, вплоть до смерти, и как бы просит меня разделить с ней её негасимый свет — выйти с нею в воскресение. Это не всегда и не всякому видно. Но это есть. Когда-то, когда я ездила в Третьяковку после целого дня, проведенного в больнице у матери,

смотрительница спросила меня: что я вижу, сидя так долго и неподвижно у Спаса Рублевского? «Это дает мне силы жить», — ответила я. Она мне как-то безоговорочно поверила, но с грустью сказала, что вот она целыми днями сидит здесь и ничего такого не чувствует. И это — первый шаг: почувствовать, что икону *можно* почувствовать.

Замечу вскользь, что о западной иконографии и живописи, вероятно, будет разговор в другой раз. Сейчас хочу привести только один пример, сделать одно сравнение.

Знаменитая Сикстинская капелла Микеланджело, мощнейшее проявление человеческого духа, — и гораздо менее знаменитый Ферапонтов монастырь на русском Севере. Так вот, преклоняясь перед микеланджеловским Саваофом, ощущаю в нем всю мощь Ветхого Завета, всю его космическую волну; но, побывав в Ферапонтовом монастыре, мы с Григорием Соломоновичем ощутили нечто большее. Может быть, много большее. Мы точно на небе пожили. И тайна здесь в том, что фигуры и лики Дионисия утратили земную плотность отдельность своего человеческого «я». В них произошло то самое опрозрачивание, к которому призывал Христос. То опрозрачивание, та сквозность, в которой через человека проглядывает Бог.

В этом проглядывании единого Бога, являющегося в трех лицах, — смысл Троицы. Споров о Троице было много. Майстер Экхарт говорил, что немалое число священников понимают Троицу, как трех коров. То есть как три предмета, три отдельности. Не один Бог у них, а три. Но в понимании троичности Бога и заключена тайна нашего бессмертия, нашего воскресения.

Собственно изображению подлежит только ветхозаветная Троица, то есть три ангела, пришедшие к Аврааму и Сарре. И вот, они оказались одним, единым Богом. Един в трех лицах. Это триипостасное, я бы сказала, трехслойное, трехсоставное единство — и является главной тайной.

То, что рождается и умирает, — это СЫН. Но есть еще и то, что Его рождает, и то, что Его наполняет. И то и другое невидимо. Но без Того и Другого нет видимого. Тайна всего видимого, явленного в том, что Оно родилось из чего-то гораздо большего, чем Оно само, и наполнено чем-то гораздо большим, чем то, что можно увидеть глазами и ощутить пятью чувствами.

Так вот, Сын, явленный, рожденный, таит в себе нечто неявленное и нерожденное и неумирающее. Сын — не только сын. Творение — не только творение. В Сыне просвечивает Отец. В Творении — Творец. Это и есть просвечивающее в смертном существе — бессмертие. Мы не равны самим себе. Мы светимся великой тайной. Главное в нас — то, что просвечивает сквозь нас.

Троичность Божества есть отсылка к тому, что мы начинаемся не с

рождения и кончаемся не со смертью. Для ума это тайна. Здесь он должен замолкнуть, как должно остановиться внешнее движение, чтобы заметить внутреннее. Перед нами глаза икон. И это Путь и Дверь в невидимое, бесконечное, вечно рождающее все видимое и конечное.

Это Оно смотрит на нас из глаз рублевского Спаса, обжигая негасимым огнем и наполняя жизнью вечной, ощутимой сердцем более явно, чем тяжесть всей мировой материи. Отсюда и слова: «если будете иметь веру с горчичное зерно и велите горе сдвинуться, она сдвинется». Дух, наполняющий материю, могущественнее материи. И глаза икон говорят нам об этом.

«Завещание Ленина» и заповеди Христа

Может быть, многие телезрители не стали смотреть фильм — «опять о Ленине». Приходится задним числом объяснить, что они потеряли. «Завещание Ленина» — условное название закрытого письма, в котором больной Ленин предлагал устранить Сталина от руководства партией. За распространение этого письма Варлам Шаламов получил в 1929 г. свой первый срок. В 1937 г. все бывшие участники студенческого кружка, давно отошедшие от политики, были арестованы вторично. Шел Большой террор. Организаторов группы расстреляли. Варламу Шаламову дали пять лет; на Колыме ему прибавили еще десять. Вернулся он оттуда только через семнадцать лет, одиноким чужаком, без права жить в городах с населением больше десяти тысяч, с книжкой стихов и планом «Колымских рассказов», вошедших в русскую и мировую литературу.

В отличие от «Штрафбата» (2004 г.), созданного тем же режиссером, Николаем Досталем, «Завещание Ленина» (2007 г.) — не притча; фильм опирается на документы — на прозу Шаламова, на его стихи, его дневники и живые свидетельства Ирины Сиротинской — хранительницы шаламовского архива. Но благодаря небольшим режиссерским сдвигам и замечательной игре актеров вся трагедия Колымы становится зримой. Особенно хочется отметить Муравьеву и Трофимова (сыгравших родителей Варлама), Класса и Капустина (Шаламова в разные его годы). Перед нами, как в библейском пророчестве, облекаются плотью кости, вставшие из вечной мерзлоты. Фильм стал событием, глубоко поразившим всех, с кем я говорила о нем. И мне хочется начать разговор даже не собственно о фильме, а о том, что он пробуждает в душе; какие вопросы ставит перед нами. В чем мы виноваты? И если виноваты, то возможно ли и нужно ли покаяние?

В телевизионной передаче, предварявшей демонстрацию фильма, Ирина Павловна Сиротинская выразила сомнение в возможности покаяния: «Будут каяться те, кто ни в чем не виноваты, — сказала она, — а виноватые все равно ни в чем каяться не будут». Возможно, это так. И все-таки, если обратиться к немецкой параллели, то самые виноватые предстали перед Нюрнбергским судом. А остальные, составляя

шие большинство немецкого народа, в 1946-м году признавали Гитлера величайшим политиком немецкой истории... Они были виноваты или нет? Были или нет виноваты миллионы, боготворившие Сталина, рыдавшие и давившие друг друга на его похоронах?

Покаяние немецкого народа я считаю одним из чудес XX века. Сегодня большинство немцев глубоко стыдятся Гитлера. Это другие немцы. Другой народ.

Когда лет 20 назад у нас в гостях был один немецкий профессор и мы с мужем говорили, что ставим знак равенства между Гитлером и Сталиным, он страстно возразил: «Гитлер хуже, — говорил немец. — Гитлер — это война. Когда я был в Аушвице и видел детскую обувь, мне стыдно было говорить на немецком языке».

Григорий Померанц писал, что истинный патриотизм — это сочетание гордости и стыда за свой народ. Если есть только гордость без стыда, народ теряет истинное самосознание, он пьянеет и, наконец, духовно деградирует.

Мы гордились войной в течение десятков лет. А стыд? Его мы не знали. Этому нас не учили. СССР был родиной слонов. Мы были всегда самые первые, самые лучшие, самые — самые.

Есть у Марка Харитоновича роман «Два Ивана». Иван Грозный и Иван-дурак, Иван юродивый, Иван — святой. Святость незаметного человека из народа, его невероятные страдания и чудовищные преступления царя. В эпилоге романа остаются два человека — слепой и поводырь. У поводыря нет ни языка, ни пальцев. Язык вырван, пальцы отрублены по велению царя Ивана. А у слепого глаза выколоты. И вот поводырь водит слепого, а тот поет песни, прославляющие царя Ивана Васильевича. Какая долговечная метафора.

Народ, переживший коллективизацию и потерявший за время нее 10 миллионов человек, народ, который обрекали на голодную смерть, народ, потери которого на войне доходят до 26 миллионов, народ, превращаемый в рабов, в лагерную пыль, потерявший в годы террора неведомо сколько миллионов, — народ этот рыдает у гроба своего палача и прославляет его до сих пор.

Что это? Какой симптом? Признак чего?

У Василия Гроссмана в повести «Все течет» есть рассказ героини о своем комсомольском прошлом, когда она вместе с другими убежденными товарищами «раскулачивала» зажиточных крестьян. Она говорит, что все проводившие эту кампанию были как будто одурманенные, точно их зельем колдовским опоили. «Кулаки» были для них «нелюдями». Даже к их ребенку брезговали прикоснуться. Их полотенцем не могли руки вытирать.»

Анна Сергеевна рассказывает это с глубоким стыдом, с великим покаянием. Первая брачная ночь с любимым человеком превращается в ее

исповедь перед ним — великим страдальцем, судьба которого во всем подобна шаламовской. «Перед тобой, как перед Христом, — говорит она. — Я тогда красивая была, но не добрая. Ты бы не полюбил такую». Вот такое опоминание, вытрезвление и исповедь необходимы были бы нашему народу, всем народам нашим.

В начале перестройки я была потрясена фильмом Абуладзе «Покаяние» и думала, что именно по такому пути мы и пойдём. Что будет опоминание, стыд за то, что было. За то, что дали себя зомбировать.

Нет, ничего этого не произошло. В начале перестройки Горбачев говорил о необходимости нового мышления. Не получилось нового мышления.

Мы ушли от сталинизма и идей, приведших к нему, вовсе не из-за преступлений режима, а из-за того, что он вел и почти привел к экономическому краху. Одно с другим мало связалось. Посчитали, что, переменяя экономические ориентиры, сразу можно стать нормальной демократической страной. Не вышло этого. Был преступный социализм, который перешел в бандитский капитализм. Между тем, прилагательное (или эпитет) здесь важнее существительного. Это мое глубокое убеждение.

Обратимся к фильму, вызвавшему все эти мысли. Вот кадр: двое молодых солдатиков ведут з/к Шаламова к месту, где ему должны вынести новый приговор. А этот «доходяга» идти не может. Досада невероятная! Ведь там, куда идут они, должны привезти фильм «Свинарка и пастух». Неужели опоздают?! А не пристрелить ли его? Объяснение простое: попытка к побегу, вот и всё. Не пристрелили. Но лишь потому, что этот подконвойный, лежа обессиленный на земле, рассказал им содержание фильма. И все-таки на фильм-то опоздали и, пожалуй, жалко им, что не пристрелили...

Кто они? Злодеи вроде Сталина и Гитлера? Да нет, самые обычные люди, каких много. Люди, воспитанные на том, что род человеческий не весь состоит из людей. Есть люди, а есть нелюди: нелюди — это кулаки, бывшие буржуи, зеки. Особенно политические. Конвоиры — люди. А этот «доходяга» — нелюдь. Вот в чем главное.

Этот «нелюдь», будучи мальчиком, козленка не мог зарезать, даже под угрозой нешуточного гнева отца. Не мог. Выше его сил. Ну, а эти воспитаны так, что человек может быть ниже козленка. Подумаешь, — зек, враг народа. Стреляй и всё.

Это тянется с очень давних времен. Христос для толпы тоже был нелюдем. Люди — это те, которые правильные, те, которые как все; те, которые могут гордиться своей правильностью.

Есть в Евангелии знаменитая страница о Христе и грешнице. Грешница и вправду согрешила. И по закону ее следует побить камнями. Христос много раз говорил, что Он пришел не нарушить, а исполнить

закон. Он и не нарушает. Он только просит этих вполне довольных собой людей обернуться на себя. Прежде чем судить другого, сумей разобраться в себе. Только и всего.

Думаю, что вот такое мышление необходимо нам. Как его назвать? Новым или очень старым, но за 2000 лет так и не усвоенным, не знаю...

Вот уж чего не привыкли советские люди, так это разбираться в себе и судить себя. Куда там! Мы самые правильные, самые лучшие.

Начальник конвоя, только что ударивший старого священника так, что сбил его с ног, спрашивает Шаламова, вступившегося за старика:

«— Ты в Бога веруешь?

— Нет, — отвечает Варлам Тихонович.

— А почему?

— Потому что существование ваше опровергает существование Бога.

— Бог есть, — говорит ему начальник конвоя. — Я — твой бог».

И показывает свою полную власть над ним. Так вот и расплодилось маленькие боги. Гитлер или Сталин для них великие боги, сами они, слуги великих богов, — маленькие боги. А заключенные — тварь дрожащая. Так и осуществилось предвидение Достоевского.

В Германии людоедский режим продержался всего 12 лет. И террор был направлен большей частью вовне и в первую очередь на евреев и цыган. Немцы, противящиеся режиму, все-таки физически сохранились, и работу по покаянию было кому проводить. Прежде всего это делали немецкие христианские демократы, социал-демократы и, конечно, администрация победителей, контролировавшая процесс.

Вернемся к фильму. Шаламов выбирается с Колымы. В Москве он встречается с женой, с Пастернаком и со своей незнакомой дочерью. Когда оставил, ей был год. Теперь — восемнадцать.

Приехал он не один — со всеми тенями замученных, со всеми стонами и криками страдальцев. И увидел, что здесь, в мирной жизни, он такой вот — всё помнящий, готовый кричать за всех и от имени всех, — не нужен. Невозможен даже.

Самое страшное, может быть, — встреча с молодежью, со своей дочкой и, позже, с сыном друга зека, сыном, который жалеет, что отец его, враг народа, не умер. Собственная дочь не очень понимает, зачем этот неведомый отец к ним приехал. Сама она донельзя чужая, при-блатненная.

Жена? Жена хочет одного — чтобы он забыл прошлое и жил, как все люди. И она хватается за слова Пастернака, который советует Шаламову оставить мысли о мести.

Любимый поэт сказал именно это. Так что, забыть всё, как Галя? Этого он не может никогда ни за что. Может быть, все-таки Пастернак и Галя говорят не одно и то же? И великий поэт отличается от обычной запуганной женщины с не слишком большой душой?.. Женщины, которая

сразу после ареста мужа принялась лихорадочно сжигать его рукописи.

Их выхватила из огня другая, сестра ее, понимавшая душу Шаламова и меру его таланта. Но эта другая, Ася, погибла на Колыме. А Галя хочет жить, жить и забыть. С Галей они теперь чужие. Это понятно. А вот Пастернак... Его он не понимает. Во всяком случае, при всем пиетете, согласиться с ним не может.

Варлам Шаламов в Бога не верит. Существование Колымы опровергает для него существование Бога. После Освенцима и Колымы заколебалась вера не только у Шаламова. Возник термин «теология после Освенцима». Вера должна была или рухнуть или измениться. У многих и многих ускользала почва из-под ног. Бога-защитника, который не допустит самого страшного, — не было. Все допустил. Начиная с голодомора и повальной коллективизации до Колымы и гитлеровских газовых камер.

Потерял Бога и герой эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», замечательный человек по фамилии Иконников. Потерял всякую надежду на опору вовне и вдруг нашел эту опору внутри, увидев простую крестьянку, помогавшую заклитому врагу только потому, что он был ранен и страдал. Может, она и не знала вовсе заповеди о любви к врагам, и о Боге, и об абстрактном Добре (с большой буквы, которое ополчалось на другое Добро, то есть другую Идею), но в сердце ее жила безымянная «безыдейная» подлинная доброта, которую Гроссман назвал «дурацкой добротой». Всякая боль была ее болью. Существование этой «дурацкой» доброты убедило Иконникова в существовании Бога. Она перевернула его душу. Он понял, что есть святое. Есть то, что не любить невозможно. Бог не внешний судья и Владыка. Бог — это чудо, которое живет внутри человеческого сердца. Он это видел. Спорить с этим было невозможно. За это можно жизнь отдать, что он позже и сделал. Отдал жизнь за ее смысл.

Наверно, то что было в этой крестьянке, можно увидеть и в Асе, Галиной сестре. Смертельно больная, она вытаскивала из колодца тяжеленные ведра воды. — Только такой ценой могла получить клочок бумаги, чтобы написать записку Варламу. А потом разносила эту воду по палате и поила больных женщин, быть может, менее больных, чем она сама. За это ей ничего не давали, только ругали. Но она не могла не помочь больным. И погибла, потому что за лекарство надо было отдаться врачу. Не могла этого. Не могла отдать смысл жизни за жизнь.

Ася — один из самых пронзительных образов, созданных в фильме. Он дан актрисой Анной Рудь очень лаконично. Наверное, не все ее и заметили, но те, кто заметили, не забудут.

Теология после Освенцима напоминает Книгу Иова. Все друзья Иова, уличавшие страдальца в недостатке веры и призывавших его, безвинного, к покаянию, все они напоминают теологов *до* Освенцима, а может быть, и тех книжников и фарисеев, которые точно следовали Писанию, когда

римские солдаты распинали Христа. Все они не понимали, что истина заново рождается в сердце.

Они предлагали покаяние самому праведному человеку. И тогда, возмущенный, он проклял *их* Бога, смотрящего на страдания извне.

Думаю, что таким подлинным человеком, таким праведником был Варлам Шаламов. Когда на склоне лет он спросил молодую женщину, полюбившую его: «Что ты нашла в больном старике?». Она ответила: «Вы — настоящий». И этот настоящий человек на вопрос, какую мораль он признает, отвечает, что никакой новой морали нет. Есть десять заповедей. Они остаются для нас незыблемыми. К ним он прибавляет еще одиннадцатую: не учить, не навязывать своего пути другому.

На этом основании некоторые исследователи отрицают неверие Шаламова в Бога. Их можно было бы понять, особенно если вспомнить, что первая из десяти заповедей есть заповедь о любви к Богу. Они уверяют, что и эту заповедь Шаламов чтит, ибо был верен самому глубокому, самому благородному в себе. Все так. Но все-таки сам Шаламов говорил, что верить в Бога не может. И говорил правду.

Верить в Бога в прежнем традиционном значении этих слов теперь, испытав все нечеловеческие страдания, может быть, и вправду нельзя. Верить в Бога может теперь, после Освенцима и Колымы, только тот, кто узнал Бога, встретился с Ним. «Я не верю в Бога, я знаю Бога», — говорил св. Силуан.

А митрополит Антоний хотел бы, чтобы церковь истинная состояла бы из таких вот людей, *знающих* Бога, *встретивших* его. А знать Его можно только изнутри, открыв Его в собственном сердце. В содрогнувшемся сердце, ясно ощутившем, как бьют Бога, как издеваются над Богом, распинают Бога.

Бога, внешнего нам, Бога, отделенного от всех нас, — нет. Отделенное от нас божество, обладающее плотью и распоряжающееся чужой плотью, — это кумир.

Истинно живой Бог — тот, которого невозможно увидеть глазами, — Дух, живущий внутри нас, соединяющий нас в любви, таинственным образом давший нам жизнь и ставший смыслом этой жизни. Этого живого Бога мы бьем, и Он кричит.

Он кричит во всех мучениках, как кричал в Иисусе Христе.

Можно спорить и судиться с Богом, обрекшим мир на такие страдания, можно вернуть Ему билет на всеобщую гармонию, как это хотел сделать Иван Карамазов, а можно почувствовать вдруг, что возвращать билет некому, что ты сам и истец и ответчик в одном лице. Вне тебя никого нет. А глубоко, глубоко внутри тебя кричит Тот, кого замучили в каждом ребенке, в каждом зекке. Теология после Освенцима — это теология после Распятия.

Всемогушество Христа не в том, что Он может сойти с креста, пре-

кратить муку свою, а в том, что Он в силах вынести всю беспредельную муку и остаться живым — совершенно живой душой, в которой не колебалась ни на миг Любовь к источнику жизни и ко всему живому. Такая душа и есть Воскресение и Жизнь вечная.

Пастернак говорил в конце своего потрясающего стихотворения, устами Магдалины:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Вот что почувствовала Магдалина: Душа может ожить даже после такой страшной потери, после такого предельного страдания. И не мстить надо, а надо дорасти до воскресения — вот чего хотел Пастернак.

Библейский Иов, как и колымский, был во всем прав, был праведен. Но пока от отделен от Бога, он сам бесконечно болен и нуждается в исцелении.

Кто может исцелить его? Тот, кто не бросит камень в его неверие, в его срывы, в его ожесточившуюся душу.

Портреты Шаламова, данные в конце фильма, — поражают. Его лицо заставляет замереть сердце. И мне вспомнился вдруг портрет Настасьи Филипповны, увиденный князем Мышкиным. Князь был потрясен великой внутренней красотой этого лица, запечатлевшего бесконечно много страдания. Он был готов, как рыцарь, служить Настасье Филипповне. Только один вопрос с болью возник в нем: «Вот только добра ли она? Ах, кабы добра!».

Глядя на удивительное по своей подлинности лицо Варлама Тихоновича, у меня вырывается вопрос: «А вот только открыто ли оно? Ах, кабы открыто!».

Это замкнутое лицо. Замкнутое в своем нечеловеческом страдании.

Повторяю: никто не вправе требовать от него забвения, никто не вправе бросить в него камень. Но помочь ему может только тот, кто прошел страдание, равное его страданию, и при этом сохранил всю Любовь цельной и нетронутой. Есть рассказ о Рамакришне, к которому пришел отец, потерявший единственного двадцатилетнего сына. Рамакришна всплеснул руками и зарыдал. Он рыдал вместе с отцом, потерявшим сына, три дня. А к исходу третьего дня запел гимн. И отец запел вместе с ним.

Что такое гимн, сохранившийся в глубине беспредельного страдания? Это может сказать другой страдалец, прошедший гитлеровский лагерь смерти и погибший там. Его молитву нашли в архивах немецкого концентрационного лагеря. Эту молитву еврейского праведника часто приводит митрополит Антоний Сурожский. Он не видит в ней никакого

отличия от самой глубочайшей христианской молитвы:

«Мир всем людям злой воли! Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников... Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против их мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе! Положи на весы в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли — мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, осушавшую слезы, их любовь, их истерзанные, разбитые сердца, оставшиеся непреклонными и верными перед лицом самой смерти, даже в моменты предельной слабости. Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощение грехов как выкуп ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло!

И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них. А когда все это кончится, даруй нам жизнь среди людей, и да возвратится на нашу пострадавшую землю мир — мир людям доброй воли и всем остальным» (опубликовано в «Зюддойче цайтунг»).

На этом можно было бы и закончить. Но мне очень хочется вернуться к началу. Вернуться в тот мир, из которого вышел Варлам Шаламов — этот Иов XX века. Начало века. Обычный мир, который предшествовал аду. И люди, жившие в нем, хотели искоренить зло. Мир этот, кажущийся в ретроспективе спокойным, уютным и теплым, как само детство, был тоже населен страстями и идеями окончательного искоренения зла, беспощадной борьбы со злыми и порочными.

Очень честный, но очень строгий, суровый отец, священник-рационалист, мечтал о создании нового демократического режима (хотя сам был достаточно деспотичен в своей семье. Не оглядываясь ли на отца своего придумал Варлам Тихонович свою одиннадцатую заповедь — не учить никого, уважать правду другого и его выбор?).

Перед отцом трепетали домашние. Это он велел девятилетнему Варламу собственноручно резать козленка в день своего ангела. Воспитывал в сыне суровость и беспрекословное послушание. А мать — сама мягкость, само тепло, сплошное сердце, обнимающее и живых и мертвых детей своих и своего всё потерявшего ослепшего мужа. Она рассказывает Варламу, приехавшему домой после первого ареста, о братьях и сестрах. Они все разъехались по разным городам, хотя в ее сердце все собраны. А вот одного из них можно навестить. Он близко.

«Пойдем, пойдем, Сереженька будет очень рад», — говорит она,

отправляясь с младшим сыном и слепым мужем на могилу старшего... В этой душе и вправду жив мертвый. Это не фантазия, это бесконечная глубина любви, которая осязает духовную реальность, — то, о чем другие могут только рассуждать и воображать.

И говорит она на могиле удивительные слова о том, что никакого такого воскресения, обещанного в Писании, не будет, а просто все так истончатся, что почувствуют то, что всегда есть, а еще не видно. Муж резко отрицает это. А Варламу нравится то, что говорит мама. Прощание со стариками, их последнее свидание с младшим сыном — одно из самых пронзительных мест фильма.

И что бы ни говорилось в дневниках Шаламова об отношении к отцу, режиссер проявил великий такт, оставив все это за кадром и показав только разоренную заколоченную церковь и слепого отца, отдающего последнее, что у него есть, — золотой крест, чтобы было чем накормить приехавшего сына. Он не только отдает этот крест — он сам раскалывает его на куски (принимают чистое золото на вес). Он уже не заставляет никого другого делать это — уже не воспитывает суровость ни в сыне, ни в кроткой своей жене. Он — священник, сам разрубает крест, говоря, что «Бог не в этом». И на какие-то часы восстанавливается уютный стол с горячей едой. Последний птенец вылетает из гнезда, которое очень скоро совсем перестанет существовать.

Но ведь когда-нибудь души истончатся так, что все почувствуют всех, и это будет значить, что мертвые встали. Невероятно, но фильм сделал для этого всё, что можно было сделать.

Самое истинное желание

На одной из прошлых бесед был задан вопрос о наших любимых книгах, на который мы по-настоящему не ответили. Забыли сказать о совершенно новом жанре, развившемся в XX в., — сказке-притче. По форме это увлекательная детская сказка, часто полная приключений, а по сути — иносказание, скрывающее глубокий смысл, доходящий подчас до мистических откровений.

У Рильке, в его «Записках Мальте-Лауридса Бригге», герой, рассказывая о своем детстве, говорит, что они с матерью не любили сказок. На самом деле не любили они развлекательных придумок, лишенных настоящей глубины. Не любили сказок, но в ткань повествования вставлен рассказ об удивительной смерти сестры матери, которая, собираясь на бал, приколотла к платью брильянтовую брошь и взглянула в зеркало. Блеск брильянта вдруг вырос до такого жара, что женщина сгорела. И это рассказывается как совершенная правда.

Тут можно вспомнить высказывание Тагора: «Правда находит, что действительность слишком тесна, чтобы служить ей одеждой. В вымысле — она движется свободно». Это тот самый вымысел, который теснейшим образом сплетен с высшей Правдой, не выразимой буквально, прямыми, плоскими словами.

Такой вымысел — сказка особого рода, началась еще в XIX в. с Андерсена и Гофмана, но расцвела полностью в веке XX-м, в таких произведениях, как «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, эпопеи Толкиена и, наконец, книги Михаэля Энде. Вот на одной из них, может быть, самой главной, мы сейчас и остановимся. Она называется «История, конца которой нет».

В книге этой есть два мира: наш обычный, человеческий, и еще другой, не видимый нам, находящийся где-то внутри нашего мира и наполняющий нашу жизнь смыслом, тайной и красотой. Мир этот в книге называется страной «Фантазией». По сути это мир творчества — духовный мир. Оба мира не могут существовать друг без друга. Их тесная связь и есть условие их жизнеспособности.

В Фантазии царит Девочка-Королева. Прекрасная, вечно юная, хотя с седыми волосами. Но она родом не из Фантазии и не из челове

ского мира. Она — из Вечности, из высшей реальности. По сути это именно она связывает оба мира, хотя видна только в мире фантазии. Там она царит. Однако ее царственная власть очень необычна. Она ни над кем не властвует. Никого не подчиняет себе. Она только ЕСТЬ. И от этого ЕСТЬ вся страна.

Для существования безграничной творческой фантазии нужно только одно: чтобы ее королева — эта вечная Девочка с седыми волосами — была здорова и сидела на самом верху башни из слоновой кости, внутри цветка магнолии; чтобы она каждое утро расцветала вместе с раскрывающимся цветком — ее тронем.

Кажется, это условие не может быть нарушено — разве ВЕЧНОЕ может болеть и умирать? Оказывается, может. Так же как может терпеть невероятные страдания Бог, воплотившийся в нашем мире. Он может страдать и умирать, как обычный человек, чтобы открыть людям великую тайну воскресения и жизни вечной. Но для этого мы должны участвовать в Его страдании, причаститься Ему и понять, что Ему что-то действительно от нас нужно.

Что-то очень нужно и Девочке-Королеве от человеческого ребенка. Она заболела. Она при смерти. И с нею вместе больна вся страна. То на ту, то на другую область страны наплывают черные пятна — НИЧТО. И это НИЧТО вбирает в себя, поглощает всё, что с ним соприкасается.

Это потому происходит, что в нашем человеческом мире перестали верить в фантазию. Человеческий мир становится плоским, скучным — конечным. Творчество исчезает. А вместе с ним исчезает ощущение бесконечности и смысла жизни.

И Девочка-Королева ищет ребенка, беззаветно верящего в фантазию. Он может спасти страну. Но чтобы его найти, его ровесник, мальчик-фантазиец, должен совершить невероятно трудные подвиги, подвергаться страшным опасностям. Юная королева дает знак своей власти, ОРИН, мальчику-фантазийцу, зеленокожему Атрю, и он отправляется на великий ПОИСК. Он ищет того, кто может спасти Фантазию. А это — мальчик, его ровесник, Бастиан.

Сам Атрю — невоплощенная мечта Бастиана. Он обладает всеми теми качествами, которых не хватает рыхлому, неловкому, робкому фантазеру, читающему на школьном чердаке волшебную книгу. С каким упоением, доходящим до полного самозабвения, он читает эту книгу! Как бесконечно опереживает зеленокожему герою! *Читает* книгу? А может, он сам сочиняет ее? Это неизвестно.

Известно только, что, убежав от преследовавших его мальчишек, Бастиан запирается на чердаке школы и совершенно не в силах оторваться от разворачивающейся фантазии. Он все больше и больше уходит из мира, в котором живет. Как телом можно погрузиться в воду, так погружается он душой в волшебный фантастический мир. И все-таки еще не совсем, не

до конца. Для того чтобы спасти Фантазию, он должен дать Девочке-Королеве новое имя, и это будет входом в страну.

Новое имя... Что это значит? Почему от имени так много зависит? Разве вечная сущность, душа наша не больше имени своего? Безусловно, больше. Но все дело в том, что *связывает* эту вечную сущность с нашим временным миром *имя* — образ — форма. В конечном мире бесконечность не видна, не обнаруживается (она внутри). Она должна обрести конечную форму, чтобы стать видимой в этом мире.

Однако всякая форма терпит изменения, постепенно теряет свою прозрачность, сквозь которую просвечивает бессмертная суть. Она как бы тяжелеет и заслоняет собой то, что должна охранять, чему должна служить. Имя становится мертвым, ибо за ним ничего не стоит. Оно воображает себя всем и становится ничем. Вот когда наплывает НИЧТО. Мертвая форма превращается в ложь. И тогда появляется настоящая необходимость в новом имени, новом образе, который облек бы Суть прозрачной одеждой.

Имя должно вечно твориться заново, чтобы не терять связи с неизменной сутью. Надо дать новое имя Девочке-Королеве. Значит, надо научиться творить образы, которые оденут словесной плотью невидимую Суть и сделают ее видимой. Надо войти внутрь, погрузиться в страну творческой фантазии и спасти эту омертвевшую, почти исчезнувшую страну. Как это сделать?

У Девочки-Королевы свой замысел: надо, чтобы человеческий ребенок так заразился муками, мужеством и красотой кого-то из страны Фантазии, что просто не смог бы оторваться от него. Надо, чтобы кто-то из жителей Фантазии «привел» мальчика из человеческого мира — сюда, в страну творчества. Юная королева и выбирает Атрю — зеленокожего охотника, обладающего всеми теми качествами, которых так не хватает человеческому мальчику Бастиану Бальтазару Баксту, всей душой следящему за подвигами Атры.

Атрю смел, ловок, строен. Он — прирожденный победитель, тогда как Бастиан — робкий, рыхлый, неловкий, вечно гонимый. Он умеет только читать книжки и сочинять бесконечные истории. Но именно это и нужно Девочке-Королеве. И вот она дает зеленокожему Атрю знак своей власти — ОРИН и посылает его на великий ПОИСК.

Атрю проходит через такие испытания, выносит с великим мужеством такие муки, что следящий за ним со все возрастающим вниманием Бастиан не может не превратиться в одно сплошное сочувствие. Сопереживание заставляет его сделать то, чего от него ждет волшебная властительница, связывающая оба мира в одно: Бастиан входит в страну творчества. Бастиан видит Девочку-Королеву и дает ей новое имя. При таинственном лунном свете он встречается взглядом с седой Девочкой, излучающей лунное сияние, и называет ее Лунитой. Он *увидел* Ее. Это

самое важное. И назвал, одел словесной плотью то, что *увидел*.

Страна творческой фантазии спасена. И хотя от нее осталась только песчинка, которую передает из рук в руки Бастиану сама Королева, но из этой песчинки вырастет целый лес образов, бесконечные переливы красок, невиданной красоты строения, невероятной увлекательности рассказы. Однако это только первая половина истории. Она закончилась спасением страны Фантазии, спасением творчества. Дальше — вторая половина: история спасения самой творческой личности. Спаситель Фантазии тоже может погибнуть, как могла погибнуть страна.

Начинается второй великий поиск. Его осуществляет уже сам Бастиан Балтазар Бакст. Теперь ОРИН, знак власти, Девочка-Королева вручает ему. На обратной стороне знака написано: «Делай, что хочешь». У него неограниченные способности и, кажется, неограниченные возможности. И он должен отправиться на великий поиск. Но что искать? — Путь в страну людей, туда, откуда он вышел. Найти дорогу, связывающую два мира. Фантазия не должна быть оторвана от мира реального. Только если он найдет эту связь, он станет настоящим творцом.

Но почему только тогда? Он и сейчас может делать все, что он хочет. И он упивается своими возможностями и... как быстро забывает он, что все эти возможности дала ему Девочка-Королева и все великолепные образы творятся не им, а только *через* него. Волшебная властительница Фантазии дала ему песчинку, из которой разросся целый лес, потом превращенный в разноцветную пустыню, потом в сказочный город. Но песчинку дала Девочка-волшебница. И знак власти тоже.

Что ты без нее, спаситель Фантазии? На ОРИНе написано «Делай, что хочешь». Значит творческой личности все позволено? «Если Бога нет, то все позволено», — говорили герои Достоевского. И некоторые из них пытались стать такими человеко-богами, воля которых есть воля высшая.

Может быть, если бы Бога не было, все и было бы позволено. Но в сказке Энде существование высшего Творца обнаруживается с предельной очевидностью. Кто же этот высший Творец? Что есть Его воля? Это чуждая нам воля, насилующая нас? Нет. Совсем нет. Это *наша* внутреннейшая воля — воля нашего глубинного и одновременно высшего «я». Вот его-то, это свое высшее «я», и надо искать творящей личности, чтобы стать творцом истинным. Иначе — крах.

Да неужели так обязательно? Пушкинский Сальери сомневался в этом. Он очень надеялся, что гению все позволено, что он сам, как Бог, может вершить суд, суд высшей справедливости (надеялся, но уверен не был и все-таки убил). Но вот гений ли он? Это остается открытым вопросом.

Во всяком случае, «талант, как прыщ, садится на любую голову» — гласит пословица, как бы утверждая, что ни от каких нравственных законов талант не зависит. И вот Бастиан задает грозному и мудрому Льву Граограману вопрос: «“Делай, что хочешь” — это ведь значит, что я могу

делать всё, что мне вздумается? Верно?

Морда Граограмана стала вдруг невероятно серьезной. Глаза его вспыхнули.

— Нет! — сказал он гроыхающим голосом. Это значит, что ты должен следовать своему истинному желанию. Только ему одному. А это труднее всего на свете.

— Моему истинному желанию? — переспросил Бастиан. — Как это понять?

— Это твоя глубокая тайна, которая от тебя скрыта, ответил Лев».

Пока что Бастиан не понимает Льва. Но все еще так прекрасно! Все смешано в начале пути. Просто радость чистого творчества, искрометного и увлекательного, как игра ребенка. Раскованность творческих сил. Но это не может оставаться таким навсегда. Это — момент пути, но не остановка. Надо идти дальше. Куда?

Собственно то, что называется в сказке Энде Фантазией, вовсе не выдумка, а незримая глубина зримого мира, его волшебная тайна. Тот, кто проникает в эту тайну, получает от высших сил задание: углубить, расширить и возвысить реальный мир. Он был бескрылым и ограниченным, этот мир. Ты способен дать ему крылья и открыть ему его сокровенную безграничность. Твоя великая задача — наполнить реальность красотой и смыслом, а фантазию — глубинной правдой реальности.

Ты видишь внутренним оком, ты создаешь образы, которые вмещают в измерение этого мира еще одно, как бы иномирное измерение. Только помни: ты ничего не создал сам. Ты только обвел очертаниями невидимую суть. Ты сам ничего не значишь. Ты стал прозрачным, чтобы истинно значимое просвечивало СКВОЗЬ ТЕБЯ. Ты видишь глубинный источник живой воды. Ты должен привести людей к источнику или зачерпнуть живой воды, чтобы принести ее в мир.

Принеси живую воду, способную напоить души и оживить их. Если же ты этого не сделал, если человек, проникший в тайну творчества, только наслаждается своими безграничными возможностями, удивляет всех своим превосходством, поражает воображение — то творческая фантазия превращается в пустую выдумку, ложь. И мир убеждается в том, что никакой глубинной тайны нет вовсе. И вот тогда-то в мир входит пустота. Мир человеческий больше не верит ни в какую бесконечность. Все выдуманно. Воцаряется НИЧТО. Творческая фантазия постепенно, область за областью, исчезает. Люди перестают творить.

Бастиан Балтазар Бакст возродил фантазию. НИЧТО отступило. Но навсегда ли? Стал ли сам Бастиан прозрачным? Ушло ли в тень его «я», чтобы высвечивалась только та нетленная глубина, которую он увидел? Или — он увидел ее и снова заслоняет самим собой? Не возгордился ли он своими возможностями, не возомнил себя самым высшим, самым-самым?

Кажется, происходит именно это. Путешествие Бастиана начинается

кружиться в замкнутом пространстве. Блистательный спаситель Фантазии вместе со всей своей восторгающей им свитой начинает двигаться в сторону реального мира, но после длинного, трудного дня пути путники возвращаются туда, откуда пришли. Бастиан не хочет выходить из Фантазии, не хочет возвращаться в реальный мир; и тут впервые начинается конфликт с его вернейшими друзьями: Атрю и драконом счастья Фушуром.

Кто такой Атрю? По сказке — мальчик из страны Фантазии. Но все-таки, может быть, это другое «я» Бастиана, более честное и не поддающееся никаким соблазнам тщеславия? И теперь Бастиан борется с самим собой — или с настоящим другом, защищающим его от него самого.

А ведь как он любил Атрю! Как он сочувствовал ему, как восхищался его благородством, жертвенностью, невероятным мужеством! И понастоящему становился счастливым при виде Фушура — дракона счастья. Какой красотой, каким райским блаженством веет от описания Фушура:

«Драконы счастья — дети тепла и света, безотчетной радости, и, хотя тела их огромны, они легки, как летние облака. Поэтому им не нужны крылья, чтобы летать. Они плавают в воздухе, как рыбы в воде. Если смотреть на них с земли, издали, они кажутся зарницами. Но самое удивительное — это их пение. Голоса их звучат, как благовест, а их тихие песни — как доносящийся откуда-то издали малиновый звон. Кому довелось хоть раз в жизни услышать их пение, тот не забудет этого до конца своих дней и непременно расскажет внукам». Так что же заставило Бастиана забыть этот благовест, эту весть из рая и начать враждовать с чем-то самым прекрасным, самым заветным в самом себе?

И вот впервые совершается сомнительное чудо: Бастиан не желает считаться с какими-то высшими, не им установленными законами. Спаситель Фантазии становится неукротимым фантазером и делает то, что ему вздумается. Он превращает червеобразных уродцев ахариев в разноцветных бабочек. Ахарии вечно оплакивали свое уродство. Но их горючие слезы вымывали из пород земли редкостное серебро, из которого они сплетали искуснейшую филигрань и строили поразительной красоты город Амаркант. (Это некая Венеция, сплетенная из кружевного серебра.) Серебряный город стоит в озере слез, размывающих всё, кроме этого серебра. Уродцы, прятавшиеся в темной глубине, творили удивительную красоту.

Бастиан увидел когда-то этот город в творческом воображении и воплотил образ, сделал видимым для всех. Ну а теперь он хочет быть благодетелем плачущих уродцев, хочет избавить их от страдания и превратить в вечно смеющихся счастливых. Но счастье бывает разным. Есть счастье, о котором благовествует переливчатый, похожий издали на зарницу Фушур. Это счастье плавает в небе. Оно неисчерпаемо и

бесконечно, как само небо. А есть счастье поверхностное, истощимое, конечное. Ахари, превращенные в шлумуфов, вырвались из темной глубины на поверхность, оторвались от истоков жизни и стали размалеванными пустышками. Пение Фушура, его малиновый звон уводило в глубину души, а беспрестанный громкий хохот шлумуфов заглушает душу, отрывает от нее и оставляет в безжизненной пустоте.

Это первый поступок спасителя Фантазии, превратившегося в своенравного фантазера. За ним пойдут и другие. Самое главное, что с каждой победой своеволия, с исполнением каждого своенравного желания он теряет часть самого себя, теряет память о себе настоящем. Атрю и Фушур видят это, и тревога их возрастает. Они хотят одного: остановить Бастиана, вернуть его к самому себе. Но как?

Бастиан — прославленный победитель. Робкий неуклюжий мальчик, гонимый, терпящий издевательства, давно забыт. Будто его и не было. Новый Бастиан не желает его вспоминать. Как и весь тот трудный и скучный мир, из которого он ушел. Ему туда не надо. Он совершает все новые подвиги, не очень нужные, но удивляющие всех и умножающие его славу.

Однако что делать дальше? Он не знает. И решается идти к центру Фантазии, к башне из слоновой кости, чтобы Лунита дала ему новое задание. Пусть она ему скажет, что он должен делать.

Но она уже все сказала. Она дала ему волю. По законам Фантазии, по творческим законам Королеву Фантазии можно увидеть один раз. Она всё передала ему. Его творческой воле. Она дала, — сумей взять. Больше она тебе не даст ничего. Всякая другая воля будет внешней волей. А ты должен действовать по своей внутренней воле. Надо обратиться внутрь и отыскать свою глубинную внутреннюю волю, свое самое истинное желание.

Вот этого-то делать он как раз и не хочет. Любые подвиги он готов совершать. Но путь внутрь? Что это такое?

Атрю с Фушуром глубоко взволнованы. Они видят, что Бастиан на краю гибели. И причиной гибели они считают ОРИН. ОРИН выполняет все желания Бастиана. Надо отнять у Бастиана его могущество. Добровольно он не отдаст знака власти. Значит, надо его украсть. Атрю собрался это сделать, но был уличен Бастианом. И разгневанный Бастиан изгоняет Атрю с Фушуром в дальние края Фантазии. С глаз долой. Воистину он почти совсем забыл сам себя.

Но так ли уж абсолютно прав Атрю? Избавление от ОРИНа действительно может спасти его друга? Единственный способ вернуть его к самому себе — это лишить его творческой силы?

Вопрос этот мучил не только героев Михаэля Энде. И Гоголь, и Лев Толстой задумывались о том же. Если творчество не ведет к добру и свету, не надо ли его остановить? Сжечь свои рукописи, как Гоголь сжег

«Мертвые души»?

Марина Цветаева рукоплескала этому костру. Считала поступок Гоголя высшим, гораздо более важным, чем всё, что он написал. Перед Гоголем, наступившим на свою творческую силу, преклонялась, как и перед Львом Толстым, осудившим свое прежнее творчество, а заодно и огромную часть мировой литературы, включая Шекспира.

Преклонялась, но сама последовать их примеру не могла. Это было выше ее сил. Она признавала, что священник и медсестра нужнее людям, чем она, но она — поэт и никем другим быть не может. На этом перекрестке остановилась в своей статье «Искусство при свете совести».

Она говорила, что поэт одевает плотью, дает жизнь тем духам, которые в него стучатся. Это всегда духи, близкие душе. Все это «мое», — говорила она. Но этих «моих» у поэта подчас оказывается много. И Пугачева Марина Ивановна чувствовала одним из своих «я». «Но, — говорила она, — не хочу не вполне моего, не заведомо моего, не самого моего.

— Ничего не хочу, за что в семь часов утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру. За Пугачева не умру — значит Не Моё».

Итак, и Пугачев, и «Молодец» — не её, не вполне её, не самое её... Они по-своему желанны, но она хорошо знает, что это не самое истинное желание. И за то, что все-таки и «Пугачева», и «Молодца», и «Царь-девицу» не может не воплощать, она чувствует себя виновной. Это искусство света совести не выдерживает. Оно остается у нее на совести.

Единственное, что оно может — это знать, что это не самое её, не вполне её, судить себя за это, но своего «ОРИНа» не отдавать. Нет, она не сожжет «Молодца», но она напишет еще и «Куст», и «Деревья», и «Благовещение». И здесь эта огненная душа так скажет о тишине, о своей любви к ней, о ее великой наполненности жизнью, как, может быть, говорил только её любимый Рильке.

А мне от куста (не шуми
Минуточку, мир человеческий!),
А мне от куста — тишины:
Той, между молчаньем и речью.
Той — можешь ничем, можешь —
всем Назвать: глубока, неизбывна —
Невнятности! наших поэм
Посмертных — невнятицы дивной.
Той — до всего, после всего.
Гул множеств, идущих на форум,
Ну — шума ушного того,
Всё соединилось в котором.
Как будто бы все кувшины
Востока на лобное всхолмье. —

Такой от куста тишины Полнее
не выразишь: полной.

Разные часы есть у ее творчества. Но главный — час души.

Есть час души, как час луны,
Совы — час, мглы — час, тьмы —
Час... Час души, как час струны
Давидовой сквозь сны Сауловы.
В тот час, дрожи Тщета, румяна
смой!
Есть час души, как час грозы,
Дитя, и час сей — мой.

В отличие от большинства поэтов она хорошо чувствовала иерархию желаний и потому строго судила себя, но насиловать себя не могла. Ничего не жгла, не писала «Крейцеровой сонаты», почти призывавшей к скопчеству, не отдавала своего ОРИНа, но знала, что надо еще идти и идти куда-то, где сходятся параллельные.

Граограман говорил Бастиану: «Надо идти дорогой желаний от одного к другому, до самого последнего. Она приведет тебя к твоему истинному желанию». Бастиану показалось тогда, что это очень просто, но Лев предупредил его, что это самое трудное.

Действительно, было бы легче отказаться от свободы воли, подчиниться хорошим правилам, установленным кем-то. Вернуть ОРИН значило бы вернуть талант тому, кто его дал, боясь ответственности. Евангельская притча осудила того, кто возвращает господину данный ему талант (талант — монета, но это давно стало метафорой). Талант нельзя ни возвращать, ни зарывать в землю. Его надо приумножать, но как?

Бастиан делает что-то совсем не то. Все больше и больше забывает себя настоящего и мнит себя не тем, что он есть. Он хочет стать королем Фантазии. Мальчиком-Королем вместо Девочки-Королевы, которая исчезла. Да, торжественную процессию, сопровождавшую Бастиана к Башне, ждал сюрприз: Башня из слоновой кости оказалась пустой. Разноглазая колдунья Ксайда внушает Бастиану, что опустевший трон ждет именно его. Все готовятся к коронации. Но в день, предназначенный для этого, совершается самое неожиданное: Атрю вернулся с войском, чтобы бороться с Бастианом. Идет битва. Центр Фантазии охвачен пожаром. Башня из слоновой кости рухнула, Бастиан впервые с силой вырывает из ножен сопротивляющуюся Зиканду (волшебный меч) и тяжело ранит Атрю.

Оба войска разбиты. В центре Фантазии бушует пожар. Полный хаос.

А неудачливый кандидат в короли садится на железного коня и скачет, куда глаза глядят, подальше от всех, от места битвы, от сорванного праздника. Он скачет до тех пор, пока железный конь не разламывается

под ним на куски. (Воля Ксайды, двигавшая его, иссякла.)

Бастиан падает на землю и оказывается около какого-то весьма странного города: дома здесь с кривыми окнами, с балконами, висящими вертикально. — А люди, выходящие из домов... Кто это? Почему у них на головах кастрюли или цветочные горшки? Кто-то катит перед собой детскую коляску, в которой запелёнутое, как новорожденный ребенок. помойное ведро. Это город дураков. Огромный сумасшедший дом. Единственное разумное существо в нем — обезьяна Артакс, надзиратель. Население этого города — бывшие короли Фантазии. Все они короновались или стремились короноваться. Все они, подобны ему! Бастиан прозрел. Он в ужасе. Как, как отсюда выбраться?!

«Не так-то просто, — отвечает ему обезьяна. — Покажи-ка твой ОРИН. У тебя осталось так мало желаний!»

Бастиан понимает теперь, кто ему друг, кто враг. Как страшно ему от мысли, что он ранил вернейшего друга!

Но вот ОРИН отдавать все-таки не надо было. Атрю ошибался, пытаясь спасти Бастиана таким образом. «Только путем желаний ты можешь выйти отсюда, — сказал ему надзиратель сумасшедших». Значит, надо искать свое истинное желание. Но он не знает, что это такое. Однако желания его сильно изменились. И хотя Атрю ошибался, но все-таки только Атрю спас его от сумасшествия.

Атрю не дал Бастиану стать победителем. А только поражение оказалось единственным шансом спастись. Если бы он короновался, он был бы одним из этих «королей». Поражение возвращает Бастиана к самому себе. О, еще не совсем! Еще надо идти и идти. Но, он больше не хочет побед, блеска, величия. Он опомнился. Он ждет «чтоб высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ» (Рильке).

Он совершенно один на каком-то пустыре. И ему захотелось только не быть таким одиноким. Желание исполняется. Он оказывается среди людей, многочисленных и вполне доброжелательных. Но он постепенно чувствует, что они его в упор не видят. Он один из многих, из толпы совершенно одинаковых людей. Если кто-то погибает, этого никто не замечает. Все заменимы. И сердце Бастиана снова тоскует.

Ему так хочется, чтобы его видели и любили, чтобы он был нужен кому-то, как был нужен умершей матери.

Желание снова исполняется. И он оказывается в волшебном доме под крылом у женщины-яблони, которая всю жизнь мечтала о ребенке. Он — вымечтанный, единственный. Он упивается теплом и лаской. Никак не может насытиться и любовью, и вкусными плодами, которые растут прямо на женщине и являются ее частью, как грудное молоко. Но он все-таки насытился. Ему необходимо что-то еще. Это чувствует и мать-яблоня, с которой облетают листья, как с обычного осеннего дерева. Веет холодом. Мальчик уходит в дорогу. ОРИН сам ведет его — в зиму.

Разворачивается огромная снежная равнина и на ней одинокий домик рудокопа. Слепой рудокоп видит только в темноте. В глубокой шахте хранит он картины — забытые человеческие сны. Много раз спустится Бастиан вместе с рудокопом в эту шахту, прежде чем найдет то, что забыла его душа. И без чего она скована сном — не живет, а спит. Он увидит картину, на которой изображен человек в белом халате с гипсовым слепком в руках и узнает своего тоскующего отца. Эту единственную картину вытащит он на свет из темноты. Забытый сон всплыл в памяти. Душа пробудилась. Она теперь рвется обратно в свой реальный мир. Она страстно жалеет. Она любит. Она живет!

«Смотри, — наставляет его рудокоп. — Эта картина так хрупка! Надо нести ее очень осторожно в полной тишине. Смотри, чтобы ничто не нарушило тишины...»

И вот тут-то случается страшное: прилетает стая орущих шлумуфов и обрушивается на него. «Вот он, наш благодетель! Ты зачем превратил нас в шлумуфов! Нам скучно! Нам пусто! Нам незачем жить. Когда мы были ахариями, мы жили на глубине и творили красоту. А сейчас мы — никто, мы пыль». Они готовы растерзать своего «благодетеля». Но пока что растерзали его картину — единственный шанс добраться до источника живой воды и выйти в свой мир.

В этот-то момент слышит Бастиан бронзовый звон и видит перламутровое облако. Это Фушур — дракон счастья, а на нем Атрю. Они доводят Бастиана до источника живой воды. Путь из мира Фантазии в мир людей проходит через темную неизведанную Глубину и приводит к источнику живой воды. Только окунувшись в живую воду, можно войти в тот мир, из которого ты вышел. Нельзя просто вернуться назад. Вернуться может *другой человек*, омывшийся живой водой и узнавший ее вкус.

С помощью Атрю Бастиан окунается в живую воду. Теперь он может вернуться домой. Об одном он только жалеет, что не смог зачерпнуть живой воды из источника.

Однако на глазах отца, выбежавшего ему навстречу, были слезы. Оказывается, сын донес ему все-таки живую воду. После смерти матери глаза отца были тусклыми и сухими. И мальчика своего он почти не замечал. А теперь все переменилось. Отец ожил. Он будет слушать рассказ своего пропадавшего целые сутки сына (сутки? А не жизнь целая прошла?) с огромным вниманием и совершенным доверием. Он чувствует, что мальчик не пустые сказки рассказывает, а глубокую правду, которая его воскрешает к жизни.

Но вернемся к девизу ОРИНа — «Делай, что хочешь». Он ведь весьма опасен. Найти свое истинное желание — это ведь и вправду очень трудно. Так надо подчиниться только своей собственной, хотя и очень глубоко запрятанной воле? Только себе настоящему? А не кому-то другому, кто знает больше меня? Не какому-то авторитету?

Есть каменные скрижали Моисея. Есть Ветхий Завет. Разве заигравшемуся ребенку или своевольной, разгулявшейся душе не нужны жесткие правила?

До поры до времени безусловно нужен Ветхий Завет, где записано «делай то-то и не делай того-то». Это обязательно и сегодня для большинства людей.

А что такое Новый Завет? После Моисея через много веков приходит новый Учитель и говорит, что Он пришел не нарушить, а исполнить Закон Моисеев (по некоторым переводам «восполнить»). И исполняет этот закон слишком по-своему. На виду у всех нарушает его: «Не человек для субботы, а суббота для человека». «Сказано в Писании, а Я говорю». Законопослушная толпа негодует. И на вопрос римского прокуратора — «что делать с этим человеком?», кричит: «Распни его!».

Ничего страшнее этого крика я не знаю. Но ведь крик этот не кончился. Он длится до сих пор. И не какие-то злодеи выбирают Варраву и просят распять Иисуса, а законопослушные люди, которые живут по правилам и хотят, чтобы все люди жили по их правилам.

Среди тех, кто гнал Иисуса, был не кто иной, как праведный фарисей Савл — будущий апостол Павел. Он тоже держался строгих правил, соблюдаемых отцами и дедами. И вдруг произошло чудо — он встретил Иисуса на пути в Дамаск и услышал: «Савл, Савл, пошто гонишь меня?».

Я говорю сейчас не о том чуде, которое видят глаза. Я говорю о чуде, которое видит душа. Физически видеть Иисуса Савл мог много раз при жизни Его. Но душа его была слепа. И вот — прозрела. Прозрение, пробуждение души — вот что такое чудо. И вот появились великие слова: «Я умер. Жив во мне Христос».

До сих пор правоверные иудеи исполняли Закон Моисеев, соблюдали правила, данные им. И до наших дней иудеи и мусульмане и подавляющее большинство христиан, да и люди иных верований и даже атеисты, придерживающиеся той или другой идеологии, составляют массы, которые идут за кем-то, верят кому-то или чему-то, что узнали извне, не из глубины своей души. Вся история состоит из верующих в правду, в Добро с пропиской, как говорил В.Гроссман. И правда идет на Правду, Добро на Добро. И злу и крови нет конца.

Люди, опирающиеся на авторитеты; люди, верящие кому угодно, но только не глубине своей души, — вот основная масса населения земного шара. Нет ничего труднее, чем поверить своей душе, отказаться от внешней опоры, от любых перил и костылей и идти по бездорожью. Это и значит найти свое самое истинное желание.

Но что же это за желание такое? А если у меня желание идти за кем-то другим? Если я хочу, чтобы меня вели, и ничего другого не хочу?

Все это так, пока не пробудилась вся твоя душа. Я хочу. Но кто этот «я»?

Алкоголик хочет выпить. Но что-то другое в нем знает, что он губит себя. Губит, теряет свою цельную душу, все больше и больше заглушает её. Она уже хрипит, а не говорит.

Что-то хочет, требует наш желудок, что-то гениталии, что-то честолюбие, тщеславие. Все это части нас, а не мы сами.

В своей лучшей работе «Смысл любви» В.Соловьев говорил, что такое грех в любви: это любовь к части, к частности в человеке, а не к целому человеку.

(Какой-то «изгибчик» любил Митя Карамазов, и страсть к «изгибчику» чуть не довела его до убийства. Но пришел миг, когда он полюбил всю душу Грушеньки. И тогда он был уже другим человеком, собиравшемся успокоить плачущее «дитё» и в подземелье гимн запеть...)

Так вот, желания наши грешны тогда, когда желает какая-то часть нашей души, а не *вся душа*.

Учитель Нового Завета хочет пробудить ВСЮ нашу душу. Он сказал, что Царствие Божие внутри нас. *Самое истинное наше желание — это желание всей пробудившейся души.* _

Главное происходит в душе. Поэтому наши желания (вожделения) существеннее поступков. Отец Сергей в рассказе Толстого отрубил себе палец, чтобы не поддаваться соблазну. Но душа его желала этой женщины и по сути ничуть не переменялась оттого, что он совершил подвиг. А вот князю Мышкину никакого подвига совершать не надо. Ему не нужна эта пышногрудая красавица. Она никогда не соблазнит его. Он её не желает. Он нашел свое самое истинное желание — Бога.

Цельному морю нужно все небо.
Цельному сердцу нужен весь Бог.

(М.Цветаева)

В Евангелии есть на первый взгляд странные слова: «Чего ни просите у Отца, все даст вам». Это невозможно понять, если не согласиться с тем, что мы не умеем просить, не умеем желать. Мы хотим чего-то от Бога, а не самого Бога.

Не просите у неба хлеба,
А просите у неба — неба.

А у Исака Сирина есть такие слова: «Просить у Бога земного — все равно, что просить у царя навоза».

Если мы захотим неба, захотим не каких-то благ *от* Бога, а самого Бога, Он войдет в нас и все остальное приложится.

И, может быть, книга Энде в чем-то основном похожа на великую мистерию Христа: Бог заполнил человека, воплотился в человека, чтобы привести нас к себе, к Божественной сути. Если мы делили Его муки,

причастились им, пережили со-распятие, мы вошли в Него и Он в нас. И тогда начинается вторая часть пути — мистерия: со-воскресение. Ап. Павел говорил: «если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Хочу прибавить: если Он не воскрес в нас, если не произошло совоскресение...

Но если Бог нужен нам более всего на свете, со-воскресение не может не произойти. Как бы ни было трудно, как бы ни сопротивлялись в нас какие-то части нашей души, ВСЯ ДУША знает, что только в Нем ее спасение. И только Он — её самое истинное желание. С великой силой об этом сказал Тагор:

Мне нужен Ты и только Ты! И не устанут
 Взывать к Тебе иссохшие уста.
 Мои желанья и мечты — обманы,
 Они пусты и страсть сама пуста.
 Как ночь таит в себе стремление к рассвету,
 Как брезжит свет в глубинах темноты,
 Вот так же в глубине сознания где-то
 Растет мой крик: мне нужен Ты И только,
 только Ты.
 Как буря жаждет перейти к покою,
 Но ветки гнет, срывая с них листья,
 Так в суете своей еще борюсь с Тобой И
 всё ж кричу: мне нужен Ты И только Ты.
 (Перевод мой)

Григорий Померанц

***Рой трШт.* Об истинном желании**

Почему в нашем мире, где царствуют счетные машины (и биологические машины), расцвела сказочная притча и сказочная эпопея? Почему даже эпопея? Классическая эпопея давно стала невозможной. Классическая эпопея расцвела в очень простом обществе, которое целиком влезало в «Илиаду», в «Одиссею», а позже — в обобщающие труды Аристотеля, Фомы Аквинского. Сегодня царство мысли разбежалось на десятки тысяч разделов. Картина мира, которую преподают школьникам и студентам, расплзлась на весь глобус и даже на звезды и туманности, уходящие невесть куда. Целостность мира сохранилась только в сказке, и вот вся современность вместились в судьбу Девочки-Королевы и двух мальчиков, спасающих ее от каких-то дыр, куда все проваливается.

Можно сказать, что простота сказки уравнивает сложность современной жизни, тесноту фактов, в которых запутывается разум и одно объяснение разрушает другое. И мир сказки, созданный Михаэлем Энде, восстанавливает то, что деловые люди теряют, захваченные своими делами. Но нельзя все свести к этой простоте.

Я ушел от трудностей иначе: отказался от фундаментальных, исчерпывающих трудов и стал писать короткие эссе. Потому что ежегодно

издаются десятки тысяч трудов только по одной специальности, просто невозможно все перечитать. И я пишу о том, что меня задело, что я не только могу описать в нескольких понятиях, но все время чувствую сердцем, и сердце мне подсказывает, где поставить точку и замолчать. Грандиозные системы, создававшиеся Кантом, Шеллингом, Гегелем, Фихте, рушились еще быстрее, чем создавались. А целостную картину мира — сказки, созданную как будто для детей, — взрослые читают до сих пор. Сказочный мир, прячущий свой символический смысл за фантастическими фигурами, не допускает взвешивания на весах критической мысли.

Целостный мир фантазии уходит и от тесноты фактов. Он интуитивно угадывает образы, в которых кризис глобальной человеческой жизни выступает как история нескольких фантастических существ, спасающих Девочку-Королеву от падения в бездну. Эта эпопея не держится в одном углу, она охватывает всю фантастическую вселенную, уменьшенную как раз впору для сил ее спасителей. И они спасают мир, спасают жизни от пятен пустоты, от пятен омертвелости, подходящих вплотную к башне из слоновой кости. Можно ли точно, однозначно сказать, что такое пустота, нарастающая вокруг? Это и духовная опустошенность, и омертвление, вызванное превращением человека в машину, и вялые отношения между людьми, в которых выветрилась любовь, и многое другое, чего еще нет сегодня, чего мы сегодня не знаем, только смутно угадываем в полутьме. Каждый из нас, зарабатывающий на хлеб, сталкивается с различными силами, препятствиями, которые сдавливают душу и превращают ее в механизм, который можно заменить устройством из пластмассы или других материалов. Рост черных дыр вокруг Старой Девочки говорит о нарастании духовной пустоты, в которую может целиком обрушиться наша цивилизация. Хотя колеса вертятся и банковые счета растут.

Но опасность есть и в победе. Свобода от злых сил, разбитых и загнанных в угол, развязывает прихоти, соблазны, закабаленность тонкими приманками. Теряется глубина желаний. Этот поворот можно заметить в истории многих государств, старых и новых. Где-то, вскоре после победы, есть порог, за которым начинается упадок. И сказка показывает нам слепых победителей, закабаленных своими победами. Только омывшись в слезах своего отца, ставших источником живой воды, герой освобождается от суеты измельчавшего «я», захваченного своим мнимым величием, потерявшим чувство Божьей воли, которая его направляла. Теряется единство личного со сверхличным. Теряется выход из царства фантазии в реальность, где сердце встречает сердце и любовь встречает любовь. Вот, по-моему, ядро книги, не имеющей конца.

Свобода внутренняя

Григорий Соломонович говорил о необходимости внутренней свободы. Вот об этом я и хочу немного сказать. Перестройка отменила цензуру. Какое-то время у нас была полная свобода слова. Нельзя сказать, что сейчас она полностью ликвидирована. Остались какие-то точки, где она есть. Но в советские времена нам казалось, что свобода слова будет нашей совершенной свободой. Оказалось, что все не так. Это была внешняя свобода, которая вовсе не дала того, чего от нее ждали.

Свобода слова не стала силой слова. Напротив, появилось равнодушие к слову, девальвация слова. Теперь можно говорить все, что угодно, — но слово, которое дало бы смысл жизни и помогло бы духовной ориентации в мире, оказалось в большом дефиците.

Свобода превратилась во вседозволенность и разнузданность. В книжных магазинах можно найти всё, что раньше запрещалось: и замечательную литературу, в том числе и религиозную, и откровенно фашистскую. Но больше всего — просто горы развлекательной беллетристики, причем настоящие тиражи только у этого легкого чтива. Тиражи черносотенной продукции тоже немалые, чего не скажешь о литературе подлинной. (Исключение составляет, может быть, только прекрасная книга Л. Улицкой «Переводчик Даниэль Штайн».)

Да, все разрешено, что запрещалось прежде, — восстановили церкви, стали возрождать религию, повернув назад в «светлое прошлое». Но что такое возрождение религии, в котором нет настоящего поворота в глубину? Что такое возврат к вере без благоговейного отношения к тишине, в которой только и может прозвучать Божье слово? Ибо только тишина приводит нас внутрь, в то самое царство, которое внутри нас.

Внутренняя свобода и есть свобода Того, Кто находится внутри нас, глубоко внутри, в самой последней глубине нашей. Это свобода Бога, запертого в нашем сердце и оглушенного шумом наших страстей, заключенного в клетку нашего «эго».

Внутренняя свобода — это простота и подлинность живого и вечного в нас. Отбросить все лишнее, все показное — и вдруг выйти на чистый воздух, где можно глубоко и полно дышать.

Мы получили огромное число откликов на наш неожиданный прорыв в телевизионный эфир. Мы не успевали отвечать на них. Ответили только немногим. Но нас глубоко взволновала эта тоска по слову без фальши и риторики, по неподдельной, не официальной вере.

Мы чувствовали и раньше огромную духовную жажду, работая на нашем семинаре, получая отклики на наши книги, которые доходили в дальние уголки только изредка — из-за малых тиражей и отсутствия системы распространения. Но когда нас выпустили на экран телевидения, число откликов более чем удесятилось. Мы почувствовали, как людям нужно то же, что нужно и нам. В одном из откликов есть такие слова: «Появилось ощущение — жизнь не напрасна. Если они (то есть мы) что-то такое про эту жизнь поняли, значит, и я, возможно, что-то пойму».

Видимо, мало внешней свободы слова. Без свободы внутренней, без наполнения слова глубинным смыслом, слово не питает душу. И свобода слова легко переходит в словоблудие.

Внутренняя свобода — это погружение в глубинные слои души. Единство, которого до сих пор не нашел мир, можно обнаружить только там. И это наша задача.

В послесловии к нашей общей книге «Великие религии мира» есть такие слова: «Глубинное ядро одной религии ближе к глубинному ядру другой, чем к своей собственной поверхности». Это относится не только к религии, но и ко всей культуре.

Искать единство на поверхности бесполезно, там все раздроблено, и единство может быть только единением одной группы против другой, единство превращается в штамповку, унификацию. Единство, находящееся в глубине, — это та тайна жизни, которая делает весь космос живым организмом.

Жить на поверхности легче. Опирайтесь на готовые идеи, изобретенные кем-то другим и не прошедшие через собственный внутренний опыт, — куда проще, чем быть самим собой, найти внутреннюю опору. Но истинно свободным может быть только тот, кто эту опору нашел.

«Плетью моей души не достать»

(Размышления, навеянные фильмом
Николая Достая «Раскол»)

Я очень люблю фильмы Достая. Две его работы «Штрафбат» и «Завещание Ленина» считаю великими фильмами, не пугаясь самых высочайших эпитетов. И вот новый фильм «Раскол» (2011 г.). Фильм необычайно важный и сильный, хотя и не такой цельный и бесспорный. Почему?

В очень понравившейся мне статье А. Муравьева, опубликованной на сайте Портал-Сгедо.ги, говорится, что «Н.Н. Досталь неоднократно продемонстрировал свое объективистское предпочтение и нежелание быть записанным в “идеологизаторы” или сторонники какой-нибудь из полярных позиций в отношении раскола». Но, говорится далее: «Художественная реальность встала в противоречие с идейными схемами, и режиссера стали обвинять в простарообрядческой позиции, в противлении “церковной линии” и т. п.».

Да, в фильме невозможно не сочувствовать старообрядцам, независимо от того, двумя или тремя перстами ты крестишься сегодня. И все-таки установка режиссера на объективность здесь является гораздо больше помехой, чем заслугой. Именно она мешает художественной цельности фильма.

Думаю, что художник не может быть объективным. Художественное произведение всегда возникает из горения сердца. Историческая правда, объективная информация — дело науки. Художественное произведение — всегда стремление дать образ правды, увиденной сердцем. Идеи реформаторов и консерваторов тут вообще ни при чем. Суть в людях, проводивших эти идеи, в том *как* они проводились.

Есть высказывание Г. Померанца: «Стиль полемики важнее предмета полемики». Ну, а если уже стиль пахнет жареным человеческим мясом, то о чем остается говорить?

Повторяю, дело не в идеях, а в людях, внедряющих эти идеи, наконец, в том, что такое истинная вера в отличие от идей и убеждений — от идеологии.

Вот на этом хочу остановиться. У меня есть сказка о царевиче Сутасоме. Сказка, написанная по мотивам буддийской джатаки, о том, как святой обратил людоеда. Преобразил. Пересоздал. Как? Чем? Разумеется, не словами. Никакими словами этого не добьешься.

Людоед увидел перед собой человека, который живет по другим законам — не звериным, а человеческим, скорее, Божеским. Увидел человека, который знал что-то более важное, чем жизнь и смерть; что-то, ради чего любые муки можно вынести, вернее — нельзя не вынести. И это невидимое и непредставимое «что-то» было тверже любой твердыни, крепче любой крепости.

Так вот, ощущение этой невидимой тверди «небесной тверди», ощущение внутреннего немеркнувшего света, который наполняет жизнь непреходящим смыслом, — такое ощущение и есть истинная вера.

Но это именно ощущение, живое чувство, а ни в коем случае не убеждение, не идея. Здесь все слова, все определения будут «не про то». «То» — внесловесно. Слово может только намекнуть на него.

Все идеологии умещаются в слова. Их можно точно сформулировать и словесными формулами загипнотизировать людей, превратить в фанатиков идеи, готовых за идею умереть.

В чем же разница между верой в идею и верой в Бога?

Оговорюсь сразу: Бога на протяжении веков превращают в идею и отождествляют с идеей. Но это не Бог, а идол. Идол (и идея) — то, что существует вне нас, приходит к нам из вне — от людей, из книг, из пропаганды. Это то, что входит в нашу пустоту и заполняет ее.

Бог никогда не приходит из вне. Истинный живой Бог находится внутри нас, на такой глубине души, до которой люди редко доходят. На этой глубине абсолютная полнота жизни. На поверхности полноты нет. Там пустота, которую мы ищем, чем бы заполнить. В идейные (как правило, утопические времена) идеями; во времена безыдейные (как правило, циничные) — алкоголем, наркотиками, бессердечным сексом.

Человек, дошедший до глубины, ни в чем внешнем для заполнения себя не нуждается. Он полон. Он живет душой.

Но даже и не дойдя до последней глубины души, человек, живущий душой, подчиняющийся только ей, черпает силу изнутри себя.

Он не может предать никого, потому что чувствует связь каждого со своей душой. Он не может совершить ничего, что предаст его собственную душу. Он чувствует, что жизнь, что источник ее — внутри него и ничто внешнее не заменит этот источник. И такой человек хранит великое человеческое достоинство. Он прекрасен. И он — опора для людей, независимо от того, как, какими словами называется то, во что он верит.

Атеист Твердохлебов из фильма Достая «Штрафбат» и православный священник Иван Неронов (Александр Коршунов) — люди одной веры. А вот патриарх Никон (Валерий Гришко), пожалуй, много ближе к «выдающемуся марксисту»³⁵ Иосифу Сталину, чем к христианину.

³⁵ Как его назвал Хрущев.

Фильм Достала это не рассказ о фанатиках типа суриковской боярыни Морозовой. Это другое. И боярыня Морозова в фильме совсем другая (прекрасно сыгранная Юлией Мельниковой). Фильм этот — рассказ о человеческом достоинстве, о великой красоте души и о великом страдании. Нам словно снова рассказывают о распятии, совершающемся в другой стране, в других исторических условиях, но... Христа снова распинают Его же именем.

И, повторяю, дело тут отнюдь не в двуперстии или троеперстии, не в тех или иных словах перевода с греческого, а в том, как это делается, какое значение придается всему внешнему, буквальному, в ущерб внутреннему, духовному.

Можно возразить: ну и уступи внешнему во внешнем, а все внутреннее оставь внутри. «Кесарю — кесарево, Богу — Божье». Но в том-то и главное, суть всего конфликта, что кесарю заставляют отдавать Божье. Внешняя сила вламывается во внутреннее пространство, определяет извне что хорошо, что плохо, судит невежественными своими глазами иконы, ругается над святынями. Внешняя сила эта так похожа на дьявольскую, что не сопротивляться ей — значит сдать ее, предать свою душу.

Никон в начале фильма очаровывает доброго царя и самого Аввакума тем, что выступает защитником обиженных. Он и церковь хочет оживить, приблизить к первоначальной чистоте.

Вот только небольшая странность: в самом начале фильма, спеша к царю, он загоняет насмерть лошадь. Мертвая лошадь и загнавший ее защитник обиженных и загнанных... Вот как вступает в фильм будущий патриарх.

А когда уж он становится властителем, то хорошо пополняет собой ряды тех самых, кто более чем кто-нибудь противостоит Христу; тех, кто сегодня снова и снова обрекает Его на распятие.

Нет, дело не в идее, не в том, как накладывать крестное знамение, а в том — прибавить ли к кресту Того, Кто вместил в Себя каждого из нас и пребывает в глубине каждой души. Выбор по существу между Божеским и дьявольским.

И в наше время необычайно важно обнажить такой выбор и показать людей, в душе которых живет мучающийся, истекающий на кресте кровью Богочеловек. Ничего нужнее этого я не знаю.

В наш век подмены, в век, забалтывающий все высокое, в век тотального неверия (несмотря на открытие храмов) показать истинную веру — это подвиг.

Именно это я чувствую необходимым. А вот объективная история, съезды ученых греков, их споры и сговоры мало что говорят душе. Все объективные показы исторических событий мне хотелось бы сильно сократить и подчинить единой линии — некоей стреле, пущенной из

сердца. Показать историческую действительность, вероятно, надо, но хотелось бы других пропорций, не нарушающих единого ритма, не дающих выпасть из единого настроения.

После 10-й серии нам показывают обсуждение фильма. Оно проходит спокойно, даже почти благостно. Не помню уже в этом или в финальном обсуждении фильма звучит мысль, что всех жалко — и Аввакума, и царя, и Никона.

Ну как же — Никон поссорился с царем, и вот он уже не патриарх, а рядовой монах. Он — никто, а дело его живет и набирает силу.

И тут у меня вырывается из глубины души: нет, мне не жалко Никона! Мне жалко Христа, которого во второй половине фильма предают все, почти все, даже великомученик Аввакум (Александр Коротков).

О, его, конечно, невозможно сравнить с Никоном и даже с мечущимся царем. Аввакум совершенно чист душой и никого не мучает. И однако этот неистовый консерватор перенимает методы борьбы своих врагов-реформаторов. И опять же «стиль полемики важнее предмета полемики». Стиль его становится вот каким: «кто хвалит чужую церковь, тот ругает “свою”». Истинный христианин Силуан говорил нечто прямо противоположное: «Кто не любит врагов, в том числе врагов церкви, тот не христианин». Аввакум неистов и безграмотен. Он переправляет дьякона Федора и говорит о троесущности Троицы, протестуя против термина «единосущность». Мало того, что переправляет, еще выманивает текст Федора и сжигает его.

Здесь он не очень отличается от Никона, который бросает в огонь иконы, разбираясь в них не больше, чем Хрущев в живописи...

Долгое время мое сочувствие Аввакуму было полным — и вдруг что-то оборвалось в сердце, и я увидела революционную душу этого страстного консерватора. Вот тут-то и кроется главное: не идеи важны, а то, что они становятся идолами, а живой Бог в угоду идолу отодвигается в сторону, а подчас и распинается.

Говорят, что здесь режиссер пошел против исторической достоверности. Аввакум не приказывал мазать дегтем гроб царя Алексея и вообще был вовсе не столь неистов, как в фильме (это мнение старообрядцев). Но я говорю о фильме.

Статья А. Муравьева, о которой я уже говорила, называется «Ловушка для власти». И говорится в ней о том, что власть, как бы она ни стремилась к добру, когда начинает строить свой рай адскими методами, попадает в дьявольскую ловушку и погибает.

«Цель оправдывает средства» — лозунг дьявольский. Если жестокие, кровавые методы достижения любой цели — ловушка для власти, то в еще большей степени это ловушка для души.

Душа — невидимая точка вечности в нашем видимом, невечном мире. Точка, в которой гнездится смысл нашей жизни. Жизнь имеет смысл, если

Душа присутствует в нас и главенствует. Жизнь теряет смысл, если душа уходит или находится в плену у тела или ума (если душе приказывают чрево, гениталии или рацио). Иными словами: жизнь имеет смысл, если все в нас подчинено душе. Жизнь теряет смысл, если душа подчинена всему остальному.

В душе находится наше умение любить и благодарить. И без этого умения мы мертвы, даже если обладаем совершенно здоровым телом и весьма логичным умом.

Один из достойнейших и обаятельных героев фильма священник Иван Неронов которому грозит истязание, говорит: «Плетью моей души не достать». Эти его слова я сделала названьем статьи.

До вечного смысла жизни никакой плетью, никакими пытками не доберешься. Фильм доносит эту мысль необычайно сильно и просто. И я чувствую это одной из главных заслуг фильма.

Все человеческое смертное может быть бесконечно измучено. Человек Иисус может кричать на кресте и плакать в Гефсимании. Но Бог в Нем жив. Его Душа не изменилась. Весь смысл остался в Нем. И с Нем. И в этом тайна воскресения.

Это великая тайна, которая обросла метафорами. Но тайна больше всех слов. Она в слова не уместается. Христос говорил о воскресении не как о будущем, а как о настоящем. «Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Евангелие от Иоанна). Буквально этих слов понять нельзя. Это тайна. Но речь идет о таинственном доверии самому глубокому в нас, тому самому царству, которое внутри.

Многие герои фильма неоднозначны. У царя Алексея Михайловича добрая душа. В юности он почти ангеличен. Он любит Христа и очень хочет быть настоящим христианином. Но доверять душе, не обладающей никакой внешней силой, очень трудно. Внешние рациональные убеждения перевешивают. Царь попадает в ту самую ловушку власти.

Другое дело женщины в фильме. Жизнь души для них важнее всего, и они ничем не дают заглушить душу. Это и царица Мария Ильинишна (Юлия Назаренко). И молодая жена царя Федора и, конечно, Анастасия Марковна, многострадальная жена Аввакума (Дарья Екамосова). И, может быть, главная героиня — боярыня Морозова, живущая в яме рядом со своей столь же многострадальной сестрой княгиней Урусовой (Мария Петренко).

Я уже говорила, что боярыня Морозова в фильме Достала совершенно не похожа на суриковскую фанатичку с горящими глазами, впалыми щеками и поднятым как знамя двуперстием.

В фильме это женщина великой духовной силы, которая не дает никому ворваться в свое внутреннее пространство и осквернить святыню.

Да, люди, заставляющие ее молиться и креститься не так, как она это

всегда делала, оскверняли ее святыню внутреннюю. Опять же, повторяю, — дело не в самом знаке, а в том, принят ли он душой или навязан из вне.

Приведу такой пример: у разных народов и разных верований разные похороны. Индийцы сжигают трупы на погребальных кострах и бросают пепел в Ганг (или развеивают по ветру). Представьте себе, что верующим христианам запретили административным порядком хоронить своих покойников, ставить кресты на могилах, а велели сжигать и разбрасывать прах. Это потом, уже в атеистическое время, появились крематории. Это уже о другом. Но и кремация дело добровольное, и урну ты можешь похоронить в могиле. А вот запрет похоронить!.. Тут можно вспомнить и историю Антигоны.

Во всяком случае, красота и сила души боярыни Морозовой никак не меньшая, чем у греческой героини. «Ну, баба!» — говорит потрясенный стражник. Перед ним что-то невиданное. И — никакого захлеба, никакого фанатизма. Только абсолютная верность своей душе, невозможность изменить ей.

Хочется поклониться и режиссеру и актрисе, сыгравшей эту роль. Создание таких образов прибавляет света и внутренней силы в этом темном мире, поклоняющемся силе внешней.

Истинный раскол идет не между реформаторами и консерваторами, а между людьми, живущими душой и людьми, насилующими души.

Сегодняшняя церковь имеет много своих внутренних проблем, но она существует рядом с церковью старообрядческой, никого не сжигая и не насилуя. И это результат долгого процесса борьбы. Слава Богу, мирный результат. Но ориентация на силу внешнюю или внутреннюю по-прежнему остается главной линией, раскалывающей мир.

2000 лет назад Тот, Кто сказал: «Царствие Божие внутри нас», был распят.

В России в XVII в. сжигали тех, кто защищал свои внутренние святыни.

В душах царей — и Алексея, и его сына Федора — все время весы колебались. И все время женщины старались спасти и защитить гонимых. Царевна София Алексеевна сказала отцу, что уйдет в монастырь, если он сожжет тетушку Феодосию Морозову (она была родной сестрой покойной матери Софии Алексеевны). Отец пожалел дочь и не сжег тетушку, но обрек ее на мученическую смерть.

Царь Федор приказал сжечь в срубе Аваакума с тремя другими священниками. Но опять вмешалась жена и уговорила его помиловать узников. Четыре всадника поскакали через всю страну с вестью о помиловании. Но прискакали к пепелищу. Опоздали.

Если бы мы сумели не опоздать и спасти наш мир и свои души. Не в этом ли то, что называют посланием фильма?

Самая трудная задача

Мне вспомнился один разговор Григория Соломоновича с нашим покойным другом, очень дорогим нам норвежцем Лайфом Ховельсоном. Лайф опрашивал многих людей — что они думают о грядущем XXI веке? Каков он будет? Веком чего его можно будет назвать? Самым неожиданным был ответ Григория Соломоновича, и ответ этот больше всего понравился Лайфу. «XXI век будет веком Святого Духа», — сказал Григорий Соломонович. Это не прекраснотушие. Григорий Соломонович — духовный реалист (позднее я поясню, что имею в виду под этими словами). И думал он о том единственном, что нужно человечеству в грядущем (теперь уже нынешнем) веке, о направлении исканий, повороте чаяний.

Мы пришли к третьему тысячелетию с чувством великой опустошенности, усталости и неверия ни в какие утопии, ни в какие возможности прекрасного мироустройства.

Но, может быть, это пустое пространство, не занятое никакой утешительной ложью, и ждет чего-то истинного, и только его?

Пришло время жажды истины, а жажда — великая сила. Пока люди жаждали Варавву, приходил очередной Варавва. Народный вождь, решающий все проблемы огнем и мечом. Что будет, если люди попросят в пастыри себе не Варавву, а Христа?

Нет, я не говорю, что это время наступило. До этого еще очень далеко. И все-таки вера в Варавву уже очень сильно дискредитировала себя. Не всюду и не во всех! Отнюдь! Но даже если верящих в него еще большинство, это не та вера, которая зажигает сердца и наполняет жизнь смыслом (пусть даже ложным). Чтобы вера была живой, должна быть готовность отдать за нее жизнь. Так было во времена всех великих революций и большевистской революции в частности. Но вера большевиков, когда-то живая, давно умерла. Что же касается ваххабитов-смертников, то это скорее изуверство, чем вера. И вряд ли это можно назвать чем-то воистину живым.

Настоящая вера во что-то большее, чем жизнь, приходит после исчерпывания всех иллюзий. Приходит тогда, когда душа остается наеди

не с самой собой и уже нельзя уклониться в сторону от действительности. Время предстояния перед действительностью, время очень трудное, но, может быть, единственно плодотворное — это время сотрудничества всего существа нашего с той последней глубиной, в которой находится Царство Божие, то есть сам Бог.

Человек остается обнаженным перед Богом. Во вне — пустота. Никаких спасительных идей, никаких, определенных направлений. Ничего оформленного, ясного для ума.

Тут мне хочется привести одну притчу Энтони де Мелло. Разговор Мастера с одним из учеников, который считал, что главное в нем то, что он иудаист.

«— Это не сущность твоя, — сказал Мастер.

— А что же моя сущность?

— Пустота.

— Ты хочешь сказать, что я вакуум — пустое место?

— Ты — то, на чем нельзя поставить ярлыка, — сказал Мастер».

А ведь мы больше всего привыкли к ярлыкам — к тому, что можно назвать, измерить, определить извне. А тут ничего. И однако в нем — всё. Как небо. Что такое небо?

Пустота. Но этой пустотой мы дышим.
А небо — знак отсутствия. Не стало Того,
что можно взвесить, смерить, счесть.
Здесь нет конца, не отыскать начала.
Сплошное НЕТ И в нем — сплошное ЕСТЬ.
Что есть? Исток всех наших дней иль устье?
То, что звучит в великой тишине,
Присутствие среди сплошных отсутствий,
Никак не различимое во вне.

Больше нет надежд на внешнее. И становится насущной необходимость обратиться внутрь к тому незримому, не определяемому ничем внешним, и все-таки существующем во всем живом, объединяющем все живое, — то, без чего нельзя дышать. — Дух. Святой Дух.

Есть богословие катафатическое и апофатическое. Можно назвать Бога по имени, но помнить при этом, что имя условно в какой-то мере, что главное не названо, что оно всегда больше названия, не вмещается ни в какое имя. Яхве означает Сущий, Суть мира. Кто заключит ее (Суть эту) в какие-то рамки? Можно ли найти Суть мира, минуя собственное сердце?

Апофатическое богословие отказывается дать этой Сути какое-либо определение. «Не это!» «Не это!» — говорит Катка Упанишада. Одна из древнейших священных книг Индии. Все, что бы вы ни назвали, будет не это. ЭТО не называемо, не определяемо, не имеет никаких рамок, границ. Оно воистину безгранично. И подходя к этому, мы должны почувствовать

бесконечность, пересекающую всё конечное, — сквозную бесконечность, проходящую через нас, объединяющую все и всех и не замыкающуюся ни на чем и ни на ком. Представить себе это труднее всего. Это *не представимо*.

А человеку труднее всего отказаться от своих представлений. Все споры, все кровавые религиозные войны шли вокруг наших представлений о Высшем. Мы представляем себе это так, а наши оппоненты иначе. Иудаисты, христиане, мусульмане — все по-разному. А внутри самого христианства? Чего стоит знаменитое филиокве, разделившее христиан на католиков и православных... Правда, впоследствии находились люди, вроде митрополита Платона киевского, говорившего: «Слава Богу, что наши перегородки не доходят до неба». Но говоривших так было немного.

Кто может представить себе, что такое Святой Дух? Кто может назвать Его по имени, противопоставить одно имя другому?

Какое счастье быть никем!
 О, знали б вы, какое чудо Всем
 сердцем быть везде и всюду И
 быть родной всему и всем!
 Какое счастье быть ничьей,
 Как это небо, сосны эти,
 И, молча, всей собой ответить
 Разногласице речей!
 Какая это благодать —
 Безмолвно выйти на дорогу И
 говорить лишь только с Богом,
 Которого нельзя назвать По
 имени... Что значит имя?
 Иметь, имение... Бог с ними...

Но потерять имя, определение, границы, значит потерять почву под ногами, значит научиться ходить по водам.

Неужели идти по водам
 Внутрь, в бездонность своей души?

Вот только об этом мы и пытались говорить на наших семинарах — о погружении внутрь, в то молчание, где можно сердцем потрогать то, о чем потом будешь пытаться говорить.

На целый ряд вопросов, которые задавали Будде, Он отвечал благородным молчанием. Один из этих вопросов: есть ли жизнь после смерти или ее нет? Думаю, что вопрос этот тоже из ряда наших представлений о непредставимом. Мы представляем себе бессмертие как некое количество времени. Неограниченное количество, но количество. Время, такое же, как оно было при жизни, но продолжающееся после ее окончания.

А может быть, бессмертие — понятие не количественное, а качественное? — Та безграничность бытия, которую мы можем почувствовать еще и при жизни, ощущая связь со всем живым и даже с тем, что кажется не живым — деревьями, горой, миром, звездой. Может быть, можно реально ощутить сердцем то, что важнее жизни и смерти?

Митрополит Антоний Сурожский рассказывал об одном эпизоде, о котором уже говорилось. Но сейчас мне надо об этом напомнить. Ему было лет 15, когда он сильно задержался где-то, чуть ли не всю ночь не был дома, и отец его сильно беспокоился.

«— Ты что, боялся, что со мной произошел несчастный случай? — спросил отца вернувшийся мальчик.

— Нет, ответил отец. — Даже если бы ты умер, это не было бы самым страшным. Я боялся, что ты потеряешь чистоту».

Вот как... Что-то есть важнее жизни и смерти. Что же это? Я не могу не вернуться здесь к рассказу Достоевского «Сон смешного человека», где герой задумывается: что если он совершит какой-нибудь подлый поступок здесь, на земле, а потом очутится на далекой-предалекой звезде, будет ли он испытывать там стыд, угрызения совести. Или нет? И когда в его провидческом сне он оказывается на этой бесконечно далекой звезде, он убеждается, что душа его всё чувствует так же, как чувствовала здесь. Расстояние ничего не меняет.

Есть что-то не зависящее от пространства и времени и даже от жизни и смерти. Что-то более важное. И это что-то существует внутри нас. В самой глубине существа нашего.

Так, может быть, бесконечность — это свойство нашей души, ее качество? И, может быть, тот, кто теряет чистоту, отрывает что-то от своей бесконечности, сужает, умаляет свою душу, лишая ее действительного, а не воображаемого бессмертия?

Когда мы углубляемся в какую-нибудь книгу и проживаем жизнь ее героев, нам больно, если с ними что-то случается, мы нередко плачем, если герой погибает.

Но если бы нам предстояло выбрать — что лучше для нашего героя, — чтобы он умер или изменил себе, совершил худой поступок, мы ведь выберем первое. Так же, как отец Антония (тогда мальчика Андрея). Почему-то лучше быть хорошим, даже если тебе плохо, чем плохим, даже если тебе хорошо.

Почему? Может быть, этот вопрос важнее и правильнее, чем те вопросы, на которые Будда отвечал благородным молчанием, и нам надо научиться правильно ставить вопросы? Научиться спрашивать свою душу, узнавать, что воистину нужно ей, а не любопытствующему уму?

Я уже говорила в одной из прошлых бесед, почему плод, сорванный с Древа познания, привел к первородному греху: люди решили умом познать непознаваемое — то, чему можно только причаститься, слившись

с ним сердцем.

Нельзя познать Бога — Суть мира, свою суть, отделившись от нее. Нельзя познать извне то, что пронизывает нас, находится внутри нас. Истинное познание, познание Сущего — Сути жизни может произойти только через преображение — изменение качества нашего ума и сердца.

Есть тишина, которая сама В нас
действует. И ничего не надо Нам,
кроме слуха чуткого и взгляда.
Лишь только умаление ума И
разрастание сердца. Мир впервые
Рождается и входит в грудь одну.
У ног Христа сидела так Мария,
Чтоб слушать не слова, а тишину.
Ах, Марфа, Марфа, подожди немного —
Накормит Бог, и ты накормишь Бога.

Слушать не слова, а тишину, рождающую их, наполняющую их и переполняющую. Слушать то, что больше слов, что в слова не уместается. Слушать через слова, сквозь них, или вовсе минуя их. Это и значит причащаться Святому Духу.

Есть замечательные слова св. Силуана! «То, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом».

Мы уже не раз говорили об этом. Но хочу повторить это сейчас: нам кажется, что мы умеем читать, читая буквы, но истинное чтение есть чтение сквозь букву; приближение к Источнику, рождающему букву и всегда намного превосходящему ее. Приближение к той тайне, которую нельзя познать умом, но с которой можно слиться сердцем. Тайна.

Мистик — это человек, который хорошо знает о границах своего ума и безграничности своей бессмертной души.

«Я знаю только то, что я ничего не знаю», — сказал Сократ. И это первый и необходимый шаг мистика почувствовать, что суть мира не познаваема из вне, что можно только подойти к берегу Тайны, как к побережью Океана, и замереть около. Дальше идти нельзя. Ум останавливается. Ты ощутил свою внешнюю границу и одновременно свою внутреннюю безграничность. Твоя душа может, как река, впасть в Океан. Ты можешь слиться с ним. Ты можешь обрести океаническое дыхание и призывать людей выйти из тесных стен и задышать полной грудью океаническим воздухом.

Настоящий мистик — это духовный реалист. Именно он чувствует ту реальность Вечности, которая нужнее всего душе человека и от которой он всеми способами на протяжении всей истории старается убежать, убегая тем самым от своей сущности, от самого себя. Человеку легче представить себе Бога где-то вовне. Дальше хочу привести цитату из

текста Романа Перельштейна.

«Внешний незнакомец, который не устает являть нам свое могущество и превосходство, все же нужен людям. Самое удивительное и досадное состоит в том, что такой Бог нужен людям. Он превращается в лазейку, через которую мы можем хлынуть всем человечеством и дружно всем человечеством спрятаться от самих себя». И далее: «Нас так страшит присутствие Бога в сердце, так невыносимо ощущать Его ежесекундно, что мы готовы любым способом превратить Бога в объект и запустить в космос, отослать в прекрасное далеко».

Ощущать Бога — своей сущностью, своим внутренним, единым со всем сущим великим «Я» — трудно. Хотя только это и есть подлинная жизнь — Вечная жизнь. Может быть, самое трудное ощутить, что моя сущность — не только моя. Она является единой сущностью всего и всех. В глубине глубины моей находится то, что единит вся и всех. Войти в эту глубину, значит почувствовать, что Бог — Один.

Бог не может быть моим или твоим. У нас один Бог, или Бога нет. Нашедшая Бога душа нашла единство со всем человечеством. Такая душа уже не может ненавидеть даже врагов своих. Она во враге видит только слепого, не ведающего, что творит, — слепую часть единого Целого, отторгнутую от самой себя.

Но ощущать *именно так* трудно, бесконечно трудно. И люди вечно ищут более легких путей — ту самую лазейку, в которую можно ускользнуть от самого себя. Всё легче, чем духовный труд воссоединения с самим собой.

Если есть мировое зло, то в нем виноват кто-то. Если всё — во мне, то и виноват во всем я. Ну, это уж совсем не вмещается в ум человеческий. Невероятная мысль.

Иван Карамазов хочет вернуть Творцу билет на обещанную в грядущем мировую гармонию, ибо не может принять мира с его неисчислимыми жестокостями. И ему вторит Марина Цветаева: «Пора, пора, пора Творцу вернуть билет».

Я уже не раз рассказывала, какой кризис пережила в юности, видя и беря в себя все страдания мира. Я, как и Иов, просила у Бога ответа. И вдруг...

Всю жизнь я рассказывала об этом «вдруг», хотя знаю, что рассказать невозможно. И всё же всю жизнь пытаюсь. И вдруг... явление потрясающего света пронзило мне сердце, и я поняла, *что, не любить этот свет я не могу.* Что бы со мной ни было, не любить я не могу. И вот тогда я *увидела_внутренними* глазами (во вне — ничего, кроме потрясающего сияния) образ величайшей духовной красоты и поняла, к какой высоте мы все призваны. Ибо это был образ, увиденный изнутри, образ моего и всех нас высшего «Я». Это «Я» вмещало в себя всё.

Это была «я» и не «я» в одно и то же время. Это было мое бессмертное

«Я», которому мое смертное ограниченное «я» могло говорить только «Ты». «Ты» — это более, чем я. Но «Ты» неразрывно связано со мной. Ты — это Я, которое было и будет всегда, когда меня не будет. Мне никто не рассказал об этом. Я этого нигде не прочитала (когда читала, не понимала). Я это *пережила*. Это был опыт сердца.

«Мы живем в этом мире, если любим его», — сказал Тагор.

Очень простые слова и — бездонные, бесконечные. Истинная жизнь есть любовь, есть причастие тому, что любишь. Если ты любишь мир Божий, ты вмещаешь его внутрь себя. Ничего нет на стороне. Всё — в тебе.

Ум твой может требовать ответа от какого-то непредставимого мифического «другого». Ум направляет вопрос во вне. А сердце никого другого не знает. Не видит. Нет его. Есть только оно само — это бесконечно любящее, бесконечно счастливое и одновременно бесконечно страдающее сердце, которое, как бы оно ни страдало, не может не любить. Не может — и всё. Всё — во мне. Нет двух. Есть одно.

Мне некому вернуть билет.
 Мне некого проклясть.
 И у души отдушин нет,
 Куда б излиться всласть.
 И никого на стороне.
 Никто не виноват.
 А я — во всем и всё — во мне,
 Весь рай и целый ад.
 И смерть не выход. Нет как нет
 Во мне небытия.
 Перед собой держать ответ
 Всю Вечность буду я.

Никто не виноват. А я — во всём. Так что же, правы друзья Иова, которые твердили ему, что он должен покаяться, что если Бог наказал, то вина его, он — Иов — грешен. Нет! Нет и нет! Никто другой, никто извне не может требовать от тебя покаяния и обвинять тебя, если у тебя внутри есть Высший Судия. Высший Судия, строжайший Судия открывается только тому, кто жаждет Его суда. Бог заговорил с Иовом, а не с его друзьями.

Явление Бога из бури произошло в сердце Иова. В сердцах его друзей не было встречи с Богом. Богоявление, прорвавшееся, как молния в небе, в сердце Иова, преобразило это сердце. Иов, увидевший Бога внутри, понял, почувствовал, что никогда ни в чем не может Его обвинить.

Да, никакого «Его», никакого «другого» нет и не было. Было всевмещающее сердце. И держать надо было ответ перед своим же сердцем, перед своим же «Я», которому все-таки говорю «Ты». Перед любовью, превосходящей всё смертное.

Что Ты даешь, о, что Ты мне даёшь?
Душа трепещет от переполнения.
Мерцающая световая дрожь —
Сквозь мир, сквозь грудь идущего течения.
Нет, этот мир — не просто вещество.
Великий ткач сокрыт за этой тканью.
Всё — только русло лишь для Твоего
Могучего, глубокого Дыханья.
И ткется, ткется трепетная нить.
О, только б тонкой пряжи не нарушить:
О чем, о чем, о чем Тебя просить,
Любовь, переполняющая душу?!

Когда любовь переполняет душу, вопросы исчезают. Переполненная душа — душа всецелая, всеобъемлющая. И большего сказать невозможно. Дальше — молчание. Замолкание ума.

Молчание разглаживает складки,
Стирает напряжение со лба.
И ты уже в ладу с миропорядком,
И душу больше не гнетет судьба.
Молчание. Молчание. Молчанья...
Густой покой. Затягиванье ран.
И ты уже не тонешь в океане,
А внутрь души вмещаешь океан.

Душа, вместившая в себя океан, это и есть свершившаяся душа. Нам остается только расти, идти к своему свершению в великом доверии к тому, что и кого мы любим. Может быть, в конце пути и разум наш получит ответы на свои вопросы. Ум наш, разум — тоже великий дар Божий. Только он должен знать свое второе место, всегда второе после Любви, после сердца. Пусть любовь переполнит душу, и тогда может начаться понимание.

Полнота жизни. Переполненность души. Причастность к Дыханию Океана — вот наша цель, а вернее — задумка Творца о нас — Его творениях, созданных по Его образу и подобию. Осуществление этого образа — вот что от нас требуется. А мы по слабости своей вечно просим чего-то другого:

Я попрошу помочь — Ты не сможешь.
Я воззову к Тебе — Ты не вонмешь.
Ты милосерд и добр? О, Боже, Боже,
Все это утешительная ложь.
И все-таки всю жизнь к Тебе взываю
Сквозь все напасти, веря и любя.
Ты дал мне эту красоту без края И
бездну в сердце, чтоб вместить Тебя.

Вспоминаю сейчас изречение одного святого: «Человеческое сердце — это бездна, заполнить которую может только Бог».

Вот наше высочайшее предназначение, достойными которого нам надо быть.

Трудная задача. Бесконечно трудная. Но это *наша* задача.

Нам предназначено восхождение на великую высоту, называемую Богом. Это наша высота, до которой пока дошли только величайшие первопроходцы. А все человечество еще далеко внизу ищет лазеек, ищет возможности избежать этого трудного подъема.

Однако лазеек остается все меньше и меньше.

Мы или будем собой, какими задуманы Богом, или не будем вообще. Может быть, много раз будем терпеть катастрофы, пока не осуществимся. Но если мы любим, мы, не оглядываясь, идем за Любимым. Мы наполняемся Дыханием Океана — Духом Святым.

И вера наша становится не обрядоверием, а великим духовным трудом — сотрудничеством с Творцом жизни — истинным Творчеством, всегда обращенным внутрь, к Источнику жизни.

Не прерывайте час молитвы,
 Не прерывайте час, когда Царит
 недвижная вода И правят медленные
 ритмы.
 Как будто мир смежает веки,
 Во внутрь глаза его глядят,
 И о всеильном человеке Безмолвно
 говорит закат.
 О том незримом, сокровенном,
 Живущем в самой глубине, —
 В центральной точке всей вселенной
 И очень глубоко во мне.
 И начинается великий,
 Непрерываемый рассказ О том, что в
 мире нет владыки, Кроме Того,
 который — в нас.
 В часы зари ширококрылой,
 Немой молитвенной зари,
 Собрались внутрь все наши силы И
 мощь восходит изнутри.

Вот к этому внутреннему источнику мы и старались все время повернуть тех, кто приходит сюда. И у нас нет большей радости, чем видеть людей, которые приходят к нему. Эта радость встречи — может быть, самая большая радость в жизни. Мы не раз испытывали огромную радость, приходя в этот зал. Здесь есть люди молчащие и слушающие. Есть люди пишущие. Главное — слышать. И в себе я считаю главным вовсе не то, что говорю (то, что говорю, всегда несовершенно), а то, что

слышу. Мы знаем, что среди вас есть люди, слышащие то же, что слышим мы с Григорием Соломоновичем. И есть люди, отразившие это в текстах своих. Я уже говорила об эссе и сказках Андрея Суздальцева, которые меня глубоко радуют, говорила о книге Любви Боровиковой. А последней радостью Григория Соломоновича, я бы сказала даже придавшей сил ему, был текст Романа Перельштейна, из которого я взяла цитату о лазейке, той самой лазейке, в которую на протяжении всей истории человечество пытается убежать от самого себя. Роман Перельштейн не убегает от самого себя. Потому я передаю слово ему одному из первых. Очень надеюсь, что за ним найдутся другие. Но сейчас хочу, чтобы он прочел свой текст о «Записках гадкого утенка» Григория Соломоновича, чтобы таким образом наша встреча не прошла бы без участия Померанца.

14 декабря 2012 г.

Очерк моей жизни

Я родилась 10 января 1926 г. в Москве у молодых революционно настроенных родителей. Отец — член партии большевиков с 1920 г. участник Бакинского подполья. Мать — комсомолка в красной косынке. В доме была атмосфера глубокой веры в идеалы революции, аскетизма, жертвы во имя своего идеала. Будучи заместителем директора Теплотехнического института, отец получал партмаксимум, т. е. вчетверо меньше, чем на его месте получал бы беспартийный. Я ребенком не слышала никакой дубовой партийной фразеологии, но партия, какой я ее чувствовала тогда, впрямь казалась мне честью и совестью своей эпохи. Так я и в школе чувствовала — может быть, под влиянием микроклимата семьи. И вдруг — тридцать седьмой год. Половина, если не три четверти родителей моих знакомых детей были арестованы. Мама просила меня звать домой тех, у кого арестовали родителей, быть к ним особенно внимательной. Во-первых, говорила она мне, — бывают ошибки, а во-вторых, представляешь, как это страшно — жить, зная, что твои родители враги. Я только много лет спустя оценила эти слова. Да еще узнала, что отец два месяца спал, не раздеваясь, и прощался с нами не только на ночь.

В 14 лет (40-й год) я задумалась о многих несоответствиях идеологии и жизни. Из кризиса меня вывела книга Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Она убедила меня в том, что сам по себе энтузиазм и вера в идеалы, формирующие новые отношения людей и новую атмосферу, и есть главное, и это важнее всех материальных результатов. Я поняла, что само горение души важнее всего того, что из этого горения получается. И я как бы присягнула внутренне на верность этому огню. Но через какое-то время я узнала, что Бруно Ясенский сам арестован и объявлен врагом народа...

Дальше — война. Она смыла все вопросы. Эвакуация в Новосибирск. Невероятная ностальгия по Москве в первый год. Невероятное напряжение всех подростковых сил (мне 15—16 лет). Но я до сих пор благодарна 50-й школе Новосибирска, в которой я проучилась в 9-м и 10-м классах. Это была хорошая школа с хорошими учителями. В Но

восибирске у меня были первые литературные успехи, пожалуй, более громкие, чем когда-либо потом. Я была редактором школьной стенгазеты и произвела некоторую революцию в этом деле. Выходила газета на семи листах ватмана, занимала весь коридор, и вся наша школа и множество ребят из других школ ломались, чтобы ее прочесть. Но жить было тяжело, мучительный быт. Грань голода. Летом изнурительные работы в совхозе (это называлось трудфронтом)...

В 43-м вернулась в Москву поступать в институт. Поступила на филфак МГУ. Долго сомневалась, имею ли я право заниматься литературой сейчас, когда страна в таком напряжении. Первый год университета дал отрицательный ответ на этот вопрос. То, чем там занимались, показалось мне пустым, суетой. И это тогда, когда гибли люди на фронте... И хотя любила я по-настоящему только литературу, была чистым гуманитарием, я сильно подумывала о том, чтобы сбежать в физику, в инженерию — быть полезной попросту, осязаемо. Только лекции Л.Е. Пинского примирили меня с филфаком. Я почувствовала, что мысль может быть не праздной, занятие литературой и историей мысли — отнюдь не суетой. И поняла я, что этот факультет меньше, чем какой-либо другой, уведет меня от души, от себя самой.

Студенческие годы были очень важным этапом моей жизни. Но, конечно, не университет как таковой, а то, что происходило с душой, когда я в нем училась. Душа созревала. Очень трудно. Очень болезненно. Меня обступили, кажется, все проклятые вопросы, которые мучили человечество до меня. Но я понятия не имела, что они мучили многих и многих на протяжении веков. Я была одна, наедине с неведомым, с мучительной тайной бытия. Книги, хлынувшие потоком, только подводили к этой тайне, но никаких ответов из них получить я не могла. Библия, с которой я познакомилась примерно в 18 лет, очень захватила, взволновала. Но — только Ветхий Завет. Я чувствовала идущую из него огромную космическую волну — другой масштаб, другую меру. Новый Завет был мне непонятен. Он ничего не говорил тогда душе. Я выросла в атеистической семье и была убежденной атеисткой. Но примерно к 18 годам начала чувствовать, что атеизмом не проживешь, что он мал, куц. И когда прочла у Достоевского (в романе «Идиот») фразу, что все атеисты *не про ТО* говорят, я поняла, что это так и есть, что эта фраза как бы и из моей души взята.

Огромное место в этот период жизни заняла музыка. Мы с подругой, с друзьями по университету бегали в консерваторию по нескольку раз в неделю, с билетами и без них. И там, на галерке, происходило с душой что-то великое, ни с чем не сравнимое. Сначала это был Чайковский. Особую роль в моей жизни сыграли 5-я и 6-я симфонии, затем Бетховен. А когда дошло до Баха, я уже была другим человеком. Началось это с одного органного концерта, открывшего такую внутреннюю бес-

конечность, о существовании которой я и подозревать не могла. Я написала тогда стихи, сами по себе очень слабые, но то, что заставило их появиться на свет, было огромно. В них была такая строфа:

Бог, человеческий голос органа!
И будь ты подателем силы для битвы,
Клянусь тем аккордом, бескрайностью пьяным,
Ты больше моей не услышишь молитвы!

На первый взгляд, совершенно атеистические стихи. На самом деле это было мое первое религиозное стихотворение. Бог из внешнего пространства одним рывком переместился внутрь, в мою собственную внутреннюю бездну. Из внешнего, чужого, другого существа он превратился в глубоко внутреннее, в мою собственную бездонность, в мое иное, великое «Я». Таким образом, еще не прочтя слов о том, что Царствие Божие внутри нас, я уже смутно ощутила это в своем собственном опыте. Не Бога вообще, а только *внешнего* бога, кумира, отвергала душа и отказывалась молиться ему без любви и благоговейного трепета. Напротив, душа впервые ощутила свое Божественное начало и великий трепет перед ним, благоговение, любовь.

Однако все это было еще очень смутно. Это приходило и уходило, и душа оставалась как бы в пустыне. И пустыня эта росла и росла. А «проклятые» вопросы подступали все ближе и ближе. Обступали, окружали стеной. Весь мир представлялся мне сплошной раной, сплошным страданием. Весь животный мир поедал друг друга. Да и человек ел животных, и все люди доставляли страдания друг другу. И я не могла не доставлять страданий, что меня совершенно ужасало. Ну вот хотя бы: не могла ответить на любовь и чувствовала, какое приношу страдание. От этого я сама страдала едва ли не больше, а может быть, и гораздо больше, чем тот, кого я не могла принять.

Все это было ненормально, болезненно. Я ни с кем не делилась своими переживаниями и даже свиду была одной из самых веселых девочек на курсе. Вот такой парадокс. Однако жить становилось все невыносимей. И поток самообвинений все рос и рос. Как-то так получалось, что я всегда, если можно было с кого-то спрашивать, то спрашивала с себя. Считала себя виноватой перед всеми с полной искренностью. Я была тогда очень далека от христианских книг, не знала никаких фраз вроде «я хуже всех», «я перед всеми виновата», но я именно так чувствовала. Плодотворным и важным мне казался только спрос с себя. Потом я поняла, что я как бы протираю душу, как бумагу ластиком, и дотерла до дырки. Душа стала сквозной, и в нее хлынуло то, что вечно рядом, но так редко проникает внутрь нас. Плотная стена нашего это обычно не пускает. В какой-то день эта стена вдруг рухнула. *Это был*

совершенно особый день. День кульминации боли. Казалось, еще немного и — сердце не выдержит. Это было на даче. Была гроза. А потом взошло солнце, и ель, которая стоит перед балконом, — вся в каплях, в тысячах крупных дождевых капель — вдруг вспыхнула тысячью солнц. Это было что-то непередаваемое. Потрясение. Душевный переворот. Когда несколько лет спустя я увидела икону Феофана Грека «Преображение», я почувствовала в опрокинутых, потерявших все прежние ориентиры апостолах — то самое, пережитое мной состояние. Свет, небывалый, сверхъестества — как будто проколол сердце насквозь и не убил, а пересоздал его. Прежде появилась *полная уверенность*, сверхразумная, вне всякой логики, что Творец этой красоты — совершенен. Это сердцу открылось. А затем произошло нечто, что не передашь прямым словом, потому что слова нашего языка однолинейны, а то, что я увидела, была многомерность. И хотя физические мои глаза не видели *НИЧЕГО*, кроме ослепительной красоты, внутренние мои глаза увидели Бога. И другим словом я этого не передам. Я увидела то, чего представить себе не могла, ибо этого не знала раньше душа. — Новый облик, новый взгляд, новый строй чувств. Я *почувствовала* взгляд на себе, в котором были бесконечная любовь и покой в одно и то же время. Именно это скрещение любви и покоя было потрясающим. Беспредельная любовь ко мне и совершенный покой за меня, как бы трудно мне ни было. Если бы одна любовь без покоя — это было бы бессильем. Если бы один покой без любви — равнодушием. А вот сочетание их было каким-то сверхмирным внутренним всемогуществом. И в этом взгляде, в этом новом внутреннем строе был ответ на все мои вопросы и на всю боль. Смысл мой не в том, чтобы удовлетворять мои желания, а в том, чтобы преображать их, — той самой высоте, которую может достичь моя душа и *всякая*, человеческая душа. На этой высоте рождается внутренний свет и все- обнимающая любовь. Сердце чувствует вечность так же ясно, как рука — твердые предметы. — Небесная твердь. И на тверди этой уже ничего не нужно извне. Душа питается из внутреннего источника и находит в нем все для утоления своей жажды и голода. Весь мир в ней, и она раскрывает его для всех.

Но сколько бы я ни говорила, все равно главное остается за словами. Меня точно подняли на великую гору и показали сразу всецелость. Мир был страшным и бессмысленным, когда виделся мелко, по частям. Ни в какой отдельной части нет смысла. Он — в тайне всецелости. Это было мое второе рождение. Мне было 19 лет.

Однако духовный опыт, который я приобрела, соседствовал с нулевым опытом жизненным, не говоря уж о житейском. Мне казалось поначалу, что никто до меня ничего подобного не испытывал, иначе все ответы на вопросы были бы найдены в один миг. И вот сейчас я отвечу всем на все вопросы... Я взяла Евангелие, и оно открылось мне мгновенно. Я *знала*

уже все, что говорилось там. Надо было пройти годам, чтобы я поняла: опыт, подобный моему, был не раз и не десять раз, что он повторялся в разных людях, но, изменяя всю душу, не мог ничего изменить в мире. Что у людей еще не подготовлены ни глаза, ни уши. «Имеющий уши, да слышит...» — не имели ушей...

И это было новым, невероятным ударом. Мне казалось, что сейчас, вот сейчас я дал людям то, что им нужнее всего. Но... людям это НЕ БЫЛО НУЖНО. Я стала тяжела для них. Они не могли и не хотели жить на той горе, которая мне открылась. Нет, не плохие и не злые, а хорошие люди, родные, любимые — явно шарахались. Им не выдержать было этого внутреннего напряжения. И я как бы стала запихивать под обычное платье развернувшиеся крылья. Это было непереносимо трудно. И физически я этого не выдержала. Примерно к пятому курсу университета я заболела. Может быть, сказало всё: напряжение военных лет, голод и, наконец, это внутреннее великое перенапряжение. Я слегла. Пять лет была прикована к постели. Я не могла ходить, не могла читать, я ничего не могла. И я испытывала невероятные муки. Если бы мне раньше сказали, что такое возможно, я попросила бы смерти как высшей милости. Я и просила. Но безрезультатно. Мечтала о смерти, но о самовольной смерти не могло быть и речи. Я чувствовала одновременно с мукой, что она — мука эта — мое задание, что душа должна СМОЧЬ ЭТО ВЫНЕСТИ. Крест бывает разный. Это — мой крест. И от того, как я его вынесу, зависит что-то бесконечно важное для всех.

Может, вся моя жизнь разделилась на две части — до и во время болезни. Вторая часть длится по сей день. Хотя я давно уже и хожу и работаю. Рассказывать о том, как я научилась заново жить, не буду. Это очень трудно. Скажу только, что, наверное, так, как учатся ходить по канату. Я научилась. Не слишком хорошо, но научилась. И людям не видно, что я хожу по канату. Им видно, что я хожу, как и все. А то, что у всех земля под ногами, а у меня канат, этого не видно. Держусь за воздух... А точнее — за ту самую небесную твердь. У меня появился термин — «поднырнуть под болезнь». Это процесс, в чем-то напоминающий подныривание под волны во время шторма. Я хорошо держусь в воде, пожалуй, гораздо увереннее, чем на земле. Не просто в воде, — в море, и поэтому это сравнение для меня естественно. Поднырнуть под болезнь, жить глубже болезни... Когда это удастся, я живу и работаю. Мое самолечение — глубокое созерцание, выход в те просторы Духа, которые в самом деле вечны и законам этого мира не подвластны. Мы плохо себе представляем, до чего точно и верно выражение Достоевского, ставшее ходячим: мир красота спасет.

Я стала снова писать. (7 лет не писала.) Писать училась заново, как и ходить. Стихи я писала с детства. В периоды «линьки» все рвала. Лет в 18 решила, что со стихами все кончено. И вдруг они начали приходить, как

гроза, как буря. Это было счастье и полнота. Но потом это так же оставляло меня, как приходило. Позже я поняла, что двигалась от одного вида творчества к другому. Определение первому дала Ахматова. Второму — Тагор. У Ахматовой есть строки о Музе: «Жестче, чем лихорадка, оттреплет, а потом целый год — ни гу-гу». А у Тагора: «Я погрузил сосуд моего сердца в молчание этого часа, и он наполнился песнями».

Теперь (и давно уже) у меня так и только так. И стихи — плод глубокого созерцания. И если душа входит в тишину, в ней все отмывается, сосуд становится чистым и в него натекает нечто из источника жизни. Стихи — следы этого нечто... И, может быть, каждый настоящий стих — прикосновение к источнику жизни.

То, что я стала писать после семилетнего перерыва, очень отличалось от того, что я писала раньше. Полнота жизни приходила не стихийно, в миг творчества, а иначе. Она собственно была постоянным внутренним состоянием, нарушаемым только чем-то внешним — болезнью. Когда удавалось локализовать болезнь, «поднырнуть под болезнь», душа становилась самой собой и была как бы постоянно подключена к источнику творчества, к источнику жизни (это одно). И се-таки стихи еще долго были беспомощными, много более беспомощными, чем до семилетнего перерыва. Училась писать заново. Мастерство — это постоянный труд...

О печатании стихов в начале 50-х годов не могло быть и речи. Но удалось достать работу — поэтические переводы. Я стала переводить советских поэтов разных республиках подстрочнику. Работа была изнурительной и часто унижительной, хотя стихов подлых я не брала никогда. Но были стихи просто плохие, не подлинные, и переводить их было мукой. Переводила я с 55-го года. Первые переводы — Сильвы Капутикян (плохие переводы, стыжусь их).

У меня были близкие друзья, которым стихи мои были очень нужны. Главная среди них подруга, оказавшая огромное влияние на все мое становление, — Лима Ефимова. Это была первая бескорыстная душа, которую я увидела, первый человек, как бы подключенный к постоянному источнику сил. И хотя она за всю жизнь не написала ни строчки, я чувствовала в ней истинное творчество духа. Эта дружба была бесконечно важна для меня. Она длится до сих пор.

В 60-м году произошло великое событие в моей жизни — знакомство с Григорием Померанцем. Его привезла летом к нам на дачу одна из моих подруг, решившая, что ему надо обязательно услышать мои стихи. Он собирал стихи для первого «Синтаксиса» Алика Гинзбурга — антологии непечатаемой поэзии. Это, кстати, был первый журнал, напечатанный (тиражом 30 экземпляров) Бродского, нескольких других поэтов, которых сейчас знают. В 4-м номере должны были быть мои стихи. Но 4-го номера

уже не было, — Алика арестовали...

«Синтаксис» познакомил нас с Гришей. Вошел молодой человек в белой рубашке с огромной шевелюрой (потом оказалось, что ему уже 42 года — на вид лет 28). Попросил меня почитать стихи. Я начала. И вдруг исчезло ощущение пространства и времени. Всё исчезло. Я почувствовала, что *так* меня еще никто не слушал. Глаза его потептели и углубились. Они смотрели куда-то вверх и внутрь, и стихи — я это видела — входили глубоко-глубоко в самую бесконечность души. Нечаянно собралось много народу. Он не давал мне отрываться, не давал маме накормить гостей. Просил читать и читать еще. Иногда просил повторить, записывал.

В феврале 61-го года мы поженились. К моменту нашей встречи духовно я была уже совсем сложившимся человеком. Сложилась уже в 19. Когда встретились — было 34. Но физически я вряд ли выжила бы, если бы не Гриша. Со мной с той поры постоянно рядом был человек, деливший мою душу со всей ее радостью и тяжестью. Человек, которому никогда не было меня слишком много. Я была всегда нужна, и не какой-то кусочек души, я — вся.

Дальше уже все было вместе. И это было бесконечно плодотворно для нас обоих. Как-то в начале 62-го года Гриша сказал мне: «Ты нашла себя в том, как ты пишешь, а я — нет. Я нашел себя в том, как я живу, как я люблю». Сказал он это спокойно, без тени грусти. Чувствовал, что он нашел главное. Меня бесконечно обрадовали эти слова. Была найдена правильная иерархия. Все, что от него зависит, он делает, остальное не от него. И точно какая-то фея его подслушала. С тех пор он начал писать эссе одно за другим, научился погружать сосуд своего сердца в молчание этого часа», и слова пошли сами собой.

А у меня текли реки, моря стихов, несколько поэм, потом и проза. Прежде всего сказки. А позже эссе о Достоевском «Истина и ее двойники», о Пушкине — «Гений и злодейство» о Рильке — «Невидимый собор» и книга о Цветаевой — «Огонь и пепел» и наконец роман «Озеро Сориклен». Это в какой-то мере автобиография души. Но отнюдь не только. (Может быть, это самая дорогая мне вещь из прозы.)

Переводами для заработка я перестала заниматься начисто с тех пор, как мы были вместе. Гриша это отрезал. Я переводила только то, что было мне самой необходимо. Прежде всего Рильке — самый близкий мне поэт из всех. И еще я переводила немного Тагора и арабских суфиев. Это очень важная работа. Она опубликована в БВЛ, в томе «Арабская поэзия средних веков», Ибн ал Фарид и Ибн Араби. Переводы Рильке напечатаны вместе с работой о Цветаевой в книге «Невидимый собор», но больше всего вышло стихов.

Наконец, вместе с Гришей была написана книга «Великие религии мира» и составлены две общие книги эссе «В тени Вавилонской башни»

(неоднократно переизданная) и «Невидимый противовес» — первая часть наших общих лекций, которые мы уже более десяти лет читаем на семинаре в Музее меценатов. У нас уже появилась как бы своя община — люди, очень нуждающиеся в том же самом, в чем нуждаемся мы. После наших лекций — долгие беседы, ответы на вопросы. Нам очень дорога атмосфера глубокой подлинности, которая чувствуется на этих встречах. Мне кажется, что здесь идет настоящая духовная работа, работа по прочтению Слова, обращенного к Душе.

Мы хотим, чтобы не только физические глаза, а Душа научилась бы читать. Потому что только она может прочесть Божье Слово. Бог не говорит ни на одном из наших языков. Он говорит светом, тишиной, высотой и глубиной, обнимающими нас.

Март 2008 г.

Памяти Г.С. Померанца

28 февраля — день нашей свадьбы. Григорий Соломонович не дожид двенадцать дней до нашего 52-летия. Я в этот день была одна. Была на могиле. Даниловское кладбище изменилось. Там похоронены мои родители, и очень долго кладбище это было тихим, с огромными старыми деревьями, хранившими эту тишину.

Сейчас внизу под уклоном кладбища проходит третье автомобильное кольцо. Деревья зимой голые. Машины видны и слышны. Покой мертвых нарушен. Я стояла у могилы, и мне очень не хватало этого Покоя. Я нашла его в кладбищенской церкви — Храме Святого Духа. К счастью там было пусто. Мерцали свечи, и стояла тишина. Нет, не стояла — двигалась. Сгущалась. Становилась присутствием самого нужного в жизни. — Присутствием Вечного. И вдруг пришло, нахлынуло понимание того, как трудно этому Вечному пробиться к нам. Как мы не видим, не слышим, не бережем Его, как Оно не защищено. И зачалось вот такое стихотворение:

В обставшей душу тишине
Великой, строгой,
Вдруг явственно открылось мне,
Что ранить Бога
Так просто! — Выплеском одним,
Рывком мгновенным.
Как малое дитя раним Творец
Вселенной.
Как тот, сосущий молоко,
Прозрачнокожий.
Ударить Бога так легко —
Слабейший сможет.
Но, Боже, как на свет из тьмы
Трудна дорога!
Ведь стали смертными все мы,
Ударив Бога.

В последней беседе, которая была 14 декабря 2012 г., я говорила о бессмертии как о понятии не количественном (не прекращающемся время жизни), а о качественном. Бессмертие есть качество нашей души. И вот это качество мы утрачиваем, ударяя Бога.

Между тем, физический мир живет по законам борьбы. Все и всё ударяют друг друга, бьют, меряются силой. Это закон. Всё другое представляется невозможным. Именно это привело в ужас двадцатилетнего Гришу, и он начал свою трехмесячную медитацию (хотя слова этого тогда не знал), о которой столько раз рассказывал и писал. «Если бесконечность (материальная, бездушная. — *З.М.*) есть, то меня нет. Если я есть, то (такой) бесконечности нет».

Это напряженное взглядывание в сущность мира кончилось проблеском внутреннего света, который и определял всю его жизнь. Да, все бьют друг друга. Да, материальная бесконечность с её законами борьбы и смерти представляется непобедимой. Но он наткнулся сердцем на нечто другое, что пересекло эту дурную бесконечность.

Что же это?

«Если (дурная) бесконечность есть, то меня нет», — вертелась в уме упрямая формула. Но — вспышка внутреннего света пересекла всё внешнее — *я есть!*

Значит, эта бесконечная власть материи — дурной сон, а явь, реальность — что-то иное.

Качнулся лист сырого клёна,
И тихо дождь зашелестел —
Душа живет иным законом,
Обратным всем законам тел.
В ней нет земного тяготенья
И страха перед вечной
тьмой.
Ей все потери —
возвращенья Издалека — к
себе самой.
О, эти тихие возвраты!
Листы летят, в глазах рябя,
И все потери, все утраты
Есть обретение себя...

Все потери, все утраты — это бесконечная жертва, которая однако является путем в истинную бесконечность — внутреннюю, не количественную, а качественную — вечно рождающую и поддерживающую жизнь. Так вот, можно пожертвовать всем внешним, чтобы открылся внутренний источник, перед которым нужно благоговейно застыть в святом страхе сделать хоть малейшее движение против него — ранить Бога.

Ранить Бога так просто потому, что Он абсолютно ничем не защищён, совершенно открыт. Он безграничен. Значит, никакой стены, никакой защиты у Него нет. Защищённый чем-то, закрытый от чего бы то ни было Бог, уже не Бог. Это кумир, идол, но не таинственная суть нашей жизни, причастию которой мы призваны.

В материальном мире Он не господин. Он не от мира сего.

Царство Его не от мира сего.
 Сила Его не от мира сего.
 Здесь Ему воздух скупно отпущен.
 Нет, не всеильный, не всемогущий.
 Здесь — задыханий едкая гарь.
 Здесь Он — не царь.
 Кто же Он? — Путь, уводящий отсюда,
 Не чудотворец — высшее чудо.
 Выход в мою и твою высоту.
 Насквозь пробитый — прибитый к кресту.
 Тот, Кто в молчании вынести смог
 Тяжесть земли, — наш неведомый Бог.
 Назван, описан и снова неведом.
 Только тому, кто пройдет Его следом,
 Снова предстанет среди пустоты.
 — Видишь? Вот Я.
 — Вижу. Вот Ты.

С Ним можно сделать все, что угодно, ранить, сжечь, распять. Но что будет с самим материальным миром, задавившим собственный источник?

Только душа, которая может пожертвовать всем материальным, чтобы только не ранить Бога, чувствует в себе Жизнь Вечную.

«Я есмь воскресение и жизнь вечная», — сказал Христос. Слова эти остались загадкой для огромного числа христиан и не только христиан. Наверное так же, как и слова: «Царствие Божие внутри нас».

Большинство над этой загадкой, может быть, и не задумывается, но какое-то упорное меньшинство двадцать веков разгадывает эту загадку.

Гриша любил словосочетание «творческое меньшинство». К этому меньшинству, конечно, принадлежал и сам. Но я имею в виду прежде всего не автора многочисленных книг (таких авторов и более плодovitых, чем он, много), а творческое восприятие жизни, в отличие от жизни потребительской, «блудной», как назвал ее Рильке. У Рильке в его «Записках Мальте-Лауридса Бригге» есть взволнованные размышления о том, как люди слушают музыку. Концертный зал для героя Рильке — место священнодействия, где великий музыкант оплодотворяет наши души звуками. От звуков этих, стремящихся проникнуть в самую глубину существа нашего, мы должны зачать новую жизнь. Но большинство слушающих никакой глубины в себе не открывают. Они лишь наслаждаются звуками, забавляются ими, и это Рильке чувствует как кошунство, блуд.

«Но, Господин мой, — говорит Мальте. — Там, где звуки твои достигают девственного слуха, возлежащего целомудренно, он умрет от блаженства или же познает бесконечное и его оплодотворенный мозг должен будет лопнуть от переизбытка творчества». Таким вот мозгом, готовым лопнуть от переизбытка творчества, и был мозг Григория

Соломоновича.

Тут мне хочется вспомнить один разговор, произошедший в 62-м году, примерно через год после нашего соединения. Еще в студенческие годы Григорий Соломонович писал работу о Достоевском, которая поразила любимейших преподавателей тогдашнего ИФЛИ — Пинского и Гриба. Известно, как Гриб, прочитавший эту работу в 5 часов утра, шел пешком через всю Москву к Пинскому просить Гришу Померанца себе в ученики. Это та самая работа, которая была признана потом антимарксистской, а диссертация, написанная на ее основе, была уничтожена при аресте как материал не относящийся к делу.

Много событий прошло с тех пор — фронт, лагерь, смерть бесконечно любимой первой жены. Писать приходилось мало, урывками. Но начались глубокие созерцания, и он стал писать без перерыва. Как это произошло, я об этом не раз говорила.

Гриша был бесконечно целомудренным человеком. Он не наслаждался красотой мира, красотой искусства, а зачинал от этой красоты. Не наслаждался многообразием форм, не застревал во множестве деталей, а видел Целое, составленное из этих деталей. И это чувство невидимого Целого, составленного из множества видимых частей, может быть, и было главным чувством его жизни. Это и есть истинно религиозное чувство. Мироздание — невидимый (не объятый глазом и умом) организм, где всё связано со всем. Я не осколок, не отдельный атом. Кроме этого малого, осязаемого пятью чувствами «я», есть еще великое «Я», осязаемое глубиной души.

Глубина его души ощущала невидимую связь с каждой былинкой и каждой звездой и уж, конечно, с каждой другой душой. Отсюда — невозможность обидеть, толкнуть, необычайная бережность ко всему окружающему — любовь к ближнему и к Богу как к ближнему. Да, любовь к Богу была не из книг, не от ума. Это было органичное чувство. Почти осязаемое прикосновение души. Та глубинная красота, от которой зачиналось его творчество, вынашивалась в нём и рождалась — как великая доброта и великая любовь.

Здесь мне хочется прерваться и сказать несколько слов как бы в ответ нашему другу Марку Харитонову, который написал очень хорошую статью о Григории Соломоновиче. Однако в конце этой статьи есть проблемы, о которых мне хотелось бы поговорить.

«Я прочел в одной из статей Померанца, — пишет Марк, — размышление о гедонизме Запада как об одной из причин его кризиса. Что-то для меня самого в этой теме оставалось неясно, захотелось позвонить Григорию Соломоновичу уточнить: как он определяет различие между гедонизмом и счастьем».

Позвонил. Трубку взяла я и сказала примерно следующее: счастье не может быть замкнуто на двоих. Счастье — это непременно открытость

миру, любовь к миру Божьему, которая переполняет тебя и переливается в другого. Когда другой может это принять, разделить с тобой, счастье переходит в любовь, которая, по словам Сент-Экзюпери, не взгляд друг на друга, а взгляды в одну сторону. Примерно о том же говорил Григорий Соломонович в «Гадком утенке»: «Счастьем хочется поделиться. Счастливый человек близок к сильно развитой личности Достоевского и готов отдать себя всего всем, чтобы и другие были бы такими же счастливыми людьми; я приводил в пример счастливых людей, готовых на жертву. Я сам был на нее готов. Эта готовность никак не мешает счастью, скорее завершает его. Без открытости бездне (смерти, несчастью, добровольной жертве) счастье — карточный домик, готовый рухнуть от одного страха беды. И где поселился страх, там нет счастья». Так вот, счастье не боится страдания, потому что в истинном счастье всегда задействовано всё существо, целостное существо. (Пробуждение чувства целого, может быть, и есть счастье.) Гедонизм ищет только наслаждения, избегая всего, что мешает наслаждаться. В наслаждении живет не все существо, а только часть, поверхность существа нашего. Вот почему гедонизм Запада одна из примет его кризиса. Это тот самый блуд, о котором говорил Рильке.

Мы оба не раз говорили о работе В. Соловьева «Смысл любви». Грехом в любви Соловьев считает любовь к какой-то части любимого, а не к целому, не ко всей душе. Пока Митя Карамазов любил только какой-то «изгибчик» Грушенькиной ножки, он был рабом страсти, рабом стихии, способным на преступление. Но вот настал момент, когда он полюбил всю душу Грушеньки, и тогда Митя преобразился, стал человеком, готовым взять на себя вину за слезы незнакомого ребенка. Где-то «дитё» плачет, и это заставляет Митю принять страдание. И в то же время преображённая душа его счастлива. Ибо счастье — это любовь, любовь, вбирающая в себя всё, отвечающее за всё, принимающая мир.

«Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Это изречение Силуана очень любил Гриша. Истинно любящая душа не избегает самого страшного, самого ада, а находит в своей глубине силу, превосходящую ад. Гриша нашел эту силу. Эту неисчерпаемость любви.

Самое главное в нем — это умение любить. А это главное умение в жизни. Ничего важнее не знаю. Только человек, умеющий любить, свободен. Все остальные — рабы стихии. Умеющий любить дорос до высоты, где правит Дух, стихиям не подвластный. Или вошел в ту Глубину, где находится царство, которое внутри нас.

Чтобы уточнить, что такое умение любить, еще раз процитирую Рильке: «Плохо живется тем, которых любят. Им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали Любящими! Любящий находится вне опасности».

На первый взгляд парадокс. Но ведь Отелло очень любил Дездемону, а Рогожин — Настасью Филипповну. Но умели ли они любить?

Уметь любить значит причащаться душе любимого, а не владеть им как своей собственностью. Чтобы причаститься, нужно только одно: чтобы любимый БЫЛ. Истинно любящему ничего не нужно для себя. Нужно только, чтобы любимый — был. Как есть небо, лес, река. Душа любимого переливается в любящего, становится его душой. «Ничего от тебя мне не надо, только будь». Так и любил Гриша.

В такой любви происходит исчезновение своего ограниченного «я» (эго) и приобретает настоящее «я», причастное бесконечности.

И тут я снова вернусь к статье Марка Харитонова. В конце этой статьи он говорит о некоторых различиях между собой и Гришей. «Я как-то пытался в споре объяснить, — пишет он, — чего мне не хватает в чисто духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой». Спор был о романе Харитонова «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича». Роман этот Грише, безусловно, нравился, и все-таки чего-то ему не хватало в этом романе. (Это тот самый роман, за который Марк получил первую в России премию Букера.) Грише хотелось бы, чтобы люди искали пути к тому, что он называл высокой жизнью. «Не приходится сомневаться, — пишет М. Харитонов, — что самому Померанцу этот путь был известен, что в состоянии, которого он достиг, не так уж важна литература — все еще так важная для меня. Не без смущения вынужден признать, — пишет он далее, — что если Шекспир или Фолкнер остались в мире своих блуждающих, мечущихся героев, их неразрешенных и неразрешимых проблем, я больше хотел бы приблизиться к ним, чем к миру высокого совершенства».

Оговорюсь сразу — чисто духовная словесность, в которой нет плоти, образа, не устраивает и нас с Гришей. Произведения искусства, будь то литература, живопись, скульптура или музыка, должны быть прежде всего воплощением Духа. В искусстве Дух должен обретать плоть, иначе это не искусство. Так что противопоставление чисто духовной словесности и литературы считаю неправильным. Можно сравнивать только литературу с литературой. И литература была для Гриши всю жизнь бесконечно важна. Вопрос может идти только о том, какая именно литература для него стала самой нужной. Гриша считал, что главная цель искусства — воплощение высшего начала.

Бах и Рублев не вне искусства. Это — высшее искусство. Рильке и Тагор не вне искусства. (Не исключение, как говорила Марина Цветаева о Рильке.) Это первопродомы искусства, того искусства, в котором человек воплощает свое высшее начало. Здесь человек уже не раб стихии. Он нашел внутренний стержень, о который стихия разобьется. Найти такой стержень — наша общая человеческая задача, от которой литература и искусство не только не освобождаются — они призваны возглавлять эту задачу. Это наше общее с Гришей сгедо.

Но, разумеется, всё должно быть органично естественно. К этой

высшей задаче ведет длинный и не прямой путь прохождения через все неразрешённые и неразрешимые проблемы. Григорий Соломонович понимал это очень хорошо. И очень не любил спрямленных путей.

В «Записках гадкого утенка» есть глава, которая так и называется «Неразрешимое». А первая его лекция из цикла «Работа любви» имеет название «Возможна ли чистая совесть?». Ответ на этот вопрос очень сложный, он проходит через все блуждания и метания души. Кстати, Гриша очень любил мечущихся и блуждающих героев великой литературы. С отрочества его любимым героем был Гамлет. На всю жизнь стали любимыми герои Достоевского.

И однако, самым драгоценным в Достоевском для него было неустанное кружение вокруг вопроса о Боге, о том самом высшем совершенстве, без любви к которому человечество не сможет вступить в истинную жизнь и попросту не выживет.

Достоевский создал, может быть, единственный во всей светской литературе образ святого — живого, ранимого, разъятого на части (можно сказать распятого) и все-таки в глубине своей оставшегося Светом, призывом к неугасимому Свету. Разговоры князя Мышкина о Боге были глубоко целомудренны. Никаких прямых слов, никаких наставлений, ни положительных, ни отрицательных. Это все — не про то. Это мышкинское «не про то» — бесконечно любимые Гришей слова. Его собственные разговоры о Боге были тоже глубоко целомудренны. Он говорил только о том, к чему притронулся сердцем, воплощал эти живые прикосновения. В Спасе Рублева, в музыке Баха он находил тот стержень, держась за который можно было бы выстоять в любых самых страшных обстоятельствах. И требования его к литературе и искусству были высоки. Поэтому я хочу закончить стихотворением, которое он любил:

Гения Создатель судит строго,
Снисхождение напрочь отрубя.
Гениальность — послушанье Богу
Вплоть до отвержения себя
Полного — и никакой досады,
Ни малейшей жалобы судьбе.
Мне себя уже совсем не надо, —
Богу я служу, а не себе.
Все таланты и ума палата —
Лишь дрова для Божьего огня.
Вот тогда-то, только лишь тогда-то
Будет Бог творить через меня.
И не будет никаких сомнений —
Несомненность полнобытия.
Гений я или совсем не гений —
Безразлично. Действую — не я.

11.03.2013 г.

Приложение

Возникновение и становление личности¹

Сейчас у каждого взрослого человека в нашей стране имеется удостоверение личности. Но очень редко, когда вы сидите в метро и оглядываете противоположный ряд сидящих, вам хочется остановиться взглядом на каком-то лице, мужском и женском, и чтобы вы подумали: «Вот это, пожалуй, личность». Личность не как условный административный термин, а как термин психологический и даже онтологический появляется очень медленно в ходе долгого исторического процесса и прежде всего в эпохи кризисов.

В обществе предписанных ролей личности в строгом смысле нет. Каждый подросток, мальчик или девочка, знают, что им придется сдать строгий экзамен, единый для всех; они подвергаются различным испытаниям; нужно показать, что у них есть выдержка, необходимые умения, и после этого старики еще расскажут им основные мифы племени, которые как бы связывают их с чувством вечности.

После кризиса, когда медленно нарастающие изменения заставляют что-то изменить, как правило, меняется только характер предписанных ролей. Они становятся сложнее, единое общество делится на сословия, например, индоевропейские народы, как правило, делились на четыре сословия, в Индии они сохранились до сих пор — *варны*, но там есть бесчисленная масса более дробных делений. И опять-таки в каждой новой касте снова возникает система жестких предписанных ролей, и нет места для возникновения совершенно самостоятельной личности. Разве только вне общества в мистическом углублении отшельника. Здесь Индия достигла многого.

Вызов, ведущий к индивиду, опирающемуся на самого себя, на собственную глубину, к личности, начинается тогда, когда кризис становится чем-то постоянным, когда изменения происходят непрерывно, когда каждый короткий промежуток времени возникает совершенно новая ситуация, когда родители сплошь и рядом оказыва-

ются банкротами, и мальчишки и девчонки считают необходимым переписать все заново. Тогда возникает вопрос, как это сделать.

Личность начинается тогда, когда народ превращается в толпу, в многоликое чудовище, лишенное прочной ориентации, предписанные роли заканчивались, индивидуальные роли люди найти еще не умели. И подросток, достигнув известного развития, иногда чувствует потребность вырваться из толпы. Это очень хорошо описано в романе нашего современника Александра Мелихова «Изгнание из Эдема». Эдемом было состояние волчонка в стае волчат, а в 16 лет он почувствовал, что ему опротивела эта волчья стая, и он хочет вырваться из нее. Подробно это описано в романе, я не собираюсь его пересказывать.

У меня соответствующий миг произошел интеллектуально. Я никогда не был волчонком в стае, я держался в стороне от стаяк, в которые собирались мои сверстники, и очень любил читать. И вот в 15 лет, читая том за томом Шекспира, которого я одалживал у соседей по коммунальной квартире, дореволюционного Шекспира с красивыми картинками, я натолкнулся на следующий эпизод. Сперва выступает Брут и очень убедительно, красиво доказывает, что надо было убить Цезаря, чтобы восстановить добрые нравы в Республике. Затем выступает Антоний. Сперва он присоединяется к Бруту, хвалит его, а потом поворачивает настроение так, что толпа, только что рукоплескавшая Бруту, уже ненавидит его, и Бруту приходится бежать.

Я с огорчением увидел, что так же сперва поддался на демагогию Брута, а потом на демагогию Антония, и это меня возмутило. И я решил, что в том, что я читал, надо поискать какие-то фразы, идеи, слова, которые я никому не отдам, которые я чувствую как глубинно мое. Может, я не так выразался, но я начал искать такие фразы, и прежде всего у Шекспира. Например, с тех пор у меня врезался в сознание ответ Гамлета Розенкранцу и Гильденстерну: «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Или его ответ Полонию, когда речь шла об актерам: «Примите их лучше, чем они заслуживают, ибо если каждого принимать по заслугам, никто не избежит плетей».

В 16 лет я открыл нового любимого автора, Стендаля, в романе, который тогда назывался «Красное и белое», а теперь печатается под названием «Люсьен Левен». Дело в том, что это незаконченный роман, и в черновиках были разные варианты заглавия. Увлечшись романом, я перечитал и предисловие, которое обычно читают последним, потому что интереснее роман, чем предисловие к роману. На этот раз оказалось интересным и предисловие. С тех пор, хотя я не перечитывал Стендаля, наверно, около 70 лет, я помню его изречения: «Позиция автора обладает только одним недостатком: каждая партия может считать его членом партии своих врагов». Или другое там же: «Политика в романе — как пистолетный выстрел во время

концерта».

Дело было в 1934 г., летом, т. е. уже состоялся XVII партийный съезд, на котором 292 человека вычеркнули фамилию Сталина в бюллетене тайного голосования. Потом, конечно, эти бюллетени были сожжены, но было принято решение покончить со скрытой крамолой. И вскоре состоялось убийство Кирова, с которого и началась борьба с крамолой. А я продолжал двигаться в своем направлении, не замечая, что страна идет в противоположном направлении.

Когда мне было 17, я заканчивал школу и должен был написать сочинение на тему «Кем быть?». Я с первого шага отбросил то, что мне следовало делать, т. е. выбрать свое место в сложившейся системе, что я буду врачом, инженером, учителем и т. д. Начиналось у меня, я помню, со слов: «В детстве я хотел быть извозчиком, а потом солдатом». А заканчивалось словами: «Я хочу быть самим собой». Естественно, учитель меня отчитал, но я остался при своем и для дальнейшей учебы выбрал Институт истории, философии и литературы. Не потому, что мне нравилась должность преподавателя, в лучшем случае в высшей школе, а потому что это была возможность приобрести более широкое поле культуры, в котором я буду искать и находить какие-то фигуры, характеры, высказывания, которые будут оставлять глубокие следы в моем сознании.

Следует учесть, что в это время было не принято обращаться к Священному Писанию. Не то чтобы я стыдился этого, а просто я усвоил, что это относится к миру фанатизма и можно его вообще не читать. И прошло много времени, пока я обратился и к таким книгам. Таким образом, я искал то, что мне нужно было найти, только в искусстве и прежде всего в литературе, которая была под руками. Но одной литературы мне не хватало, и также я стал обращаться к живописи.

В 1937 г. мне было 19 лет, я помню Музей нового западного искусства, где сейчас находится Академия художеств на Пречистенке (в то время она еще помнила, что она Пречистенка, но уже называлась Кропоткинской). Там было тихо, можно было стоять часами около какой-нибудь картины, вглядываясь в нее, и сперва я понимал только Ренуара. Потом, вглядевшись в игру цветов в картинах, изображавших ренуаровских красавиц, я почувствовал интерес и к Клоду Моне, вскоре он стал для меня главным в этом музее. Потом я переходил уже дальше и научился созерцать всех остальных импрессионистов и постимпрессионистов.

Кстати, мне это потом очень пригодилось — я научился, всматриваясь, находить сквозь своеобразный художественный язык то духовное содержание, которое художник пытался высказать. Я потом нашел путь и к искусствам, которые до этого были вне поля моего внимания. Так я мог подойти к дальневосточной живописи «Гор и вод», которые потом назвал

«иконами тумана». Так я подошел к иконе, которая тоже не похожа на ту живопись, к которой я привык. Так же я подошел и к абстрактной живописи.

Но прежде всего в 1937 г. Музей новой западной живописи был чем-то вроде храма, где я каждую неделю проводил часы, отмываясь от того потока грязи, который лился на меня на комсомольских собраниях, занятых исключительно одним вопросом — притупление и потеря политической бдительности. Причем, как в племенном обществе, тут было всего два варианта решения: или притупление, или потеря. Если вы имели наглость родиться в семье всего-навсего бухгалтера, которого арестовали, то тогда вы притупили политическую бдительность. А если вы родились в семье значительного лица, который полетел с самого верха в самый низ, тогда вы бдительность потеряли. Все это было довольно гнусно, и в Музее новой западной живописи, созерцая чаек в тумане или скалы на берегу моря, я возвращался к самому себе.

Проблема самостоятельного выбора пути в России стала массовой где-то в середине XIX в., и тогда Тургенев написал свою статью «Гамлеты и Дон Кихоты». Гамлеты и Дон Кихоты противопоставлялись друг другу, как два совершенно различных типа. Но дальше, вдумываясь в характеры, с которыми я встречался в очередном воплощении русского интеллигента, я пришел к выводу, что это скорее два полюса, к которым стремилось развитие человека, направленное не к прагматическому решению, навязанному временем, а к чему-то более глубокому. И тут в одном и том же искателе могли сталкиваться сомнения Гамлета и отчаянная решимость Дон Кихота.

Уже в 60-е годы, как-то возвращаясь после посещения П.Г. Григоренко, с которым я дружил, с его квартиры около Николы Хамовнического (там сейчас, кажется, Комсомольский проспект), я подумал, что Петр Григорьевич стремится понять, чтобы действовать, а я иногда действую, иду не некоторые рискованные эксперименты, например, печатаю какую-нибудь статью за рубежом и т. д., чтобы посмотреть, какой будет результат, чтобы понять, что происходит, как откликнется на это общество. И сейчас я рассматриваю Гамлета и Дон Кихота скорее как два полюса, которые борются в одной и той же душе интеллигента, вышедшего из толпы и пытающегося найти какие-то твердые основы своего индивидуального бытия. А прагматики идут другим путем. Они не вглядываются в душу, они действуют в меру возможного и колеблются между принципиальностью и беспринципностью.

Но так или иначе всякая личность начинается тогда, когда чувствуешь потребность выйти из толпы и ищешь какие-то твердые основания своего личного бытия, твердый стержень, твердую основу. И постепенно находишь пути, которые могут к этому привести. Сперва я пытался

расположить эти пути в хронологическом порядке, но увидел, что не получается. Потому что в те же 16 лет, когда я уже начинал искать твердых опор для жизни вне толпы, я был смущен, как это ни смешно, тангенсоидой.

Я должен был читать какой-то раздел в учебнике по тригонометрии, и вдруг я пережил, как сейчас говорят, экзистенциально, то, что тангенсоида ныряет в бесконечность и преспокойно из нее выныривает, так же, как пловец сиганул с вышки, погрузился в воду и потом выплыл, отфыркиваясь, на поверхность. Я вдруг самого себя почувствовал падающим в эту бесконечность и не уверенным, сумею ли выбраться из нее обратно. Тут же пришло соображение, связанное с математикой, что всякое конечное число, деленное на бесконечность, есть ноль. И так как вся история Земли, прожитая человеческим родом, в том числе последнее тысячелетие со всем блеском достижений в области культуры, — это какое-то конечное число, и пред лицом бесконечности пространства, времени и материи оно становится чем-то вроде нуля.

Ужас охватил меня так сильно, что я решил отодвинуть все это в сторону и заняться этим позже, когда мой ум окрепнет и будет готов для решения таких вопросов. Потом, разговаривая с людьми, были ли у них такие чувства в юности, то иногда они отвечали: «Да, в юности были, но потом это было отодвинуто в сторону». Т. е. подавляющее большинство людей не решилось дальше уходить в эти вопросы. Для них оказался закрытым этот путь к внутренней опоре. А я к нему вернулся в 20 лет. Но прежде я продолжал путь прекрасного, т. е. путь поиска образцов в художественной литературе, живописи, наконец, в музыке. Путь в музыке оказался для меня самым трудным, потому что в детстве мне его никто не показал, и первым моим музыкальным впечатлением, потрясшим меня, была игра на фортепьяно белогвардейского полковника в фильме «Чапаев». На волне эмоционального возбуждения, вызванного фильмом, я как-то сумел пять минут подряд слушать серьезную музыку, не отрываясь, и как-то всю почувствовать. После этого я несколько раз приступал к симфонической музыке и моментально терял нить. Пришлось пробираться поближе к великой музыке через оперы, выступления таких певцов, как Доливо, Пантофель-Нечецкая, до сих пор помню «Ирландскую застольную», которую Доливо пел: «Миледи Смерть, мы просим вас за дверью обождать. Сейчас нам будет Бетси петь и Дженни танцевать»...

И как это ни странно, но постижение музыки завершилось у меня в лагере. Там меня сперва потрясли белые ночи, и все лето я по вечерам, когда заканчивалась работа, был счастлив, бродя между бараками до 12, когда все ложились спать, хотя в 6 часов надо было вставать, а я не отрывался от северного неба с белыми ночами. Но кончилось лето, не было больше белых ночей, и большую часть суток накрыла тьма. И тут единственным просветом была музыка, которую тогда часто передавали

по радио. Тогда пропагандировали Чайковского, и довольно часто давали его симфонию. И при морозе 35°C по зоне, где все сидели в бараках и никто не высовывался после рабочего дня на улицу, два меломана (один из них я, фамилию другого не помню) бродили между бараками и так прослушивали целую симфонию с начала до конца.

Вот так произошел мой прорыв к серьезной музыке. И потом уже было легко двигаться дальше, от Чайковского переходить к Моцарту, к Баху. И сейчас в моей жизни, я бы сказал, музыка играет такую же роль, которую в мои 19 лет играл Музей новой западной живописи после проработочных собраний. От всего, что утомляет, что вызывает досаду и отвращение, можно было уйти, углубиться в хорошо темперированный клavier или фугу, или в моцартовские концерты.

Таким был в беглом перечне мой первый путь — путь углубления в красоту. А второй путь — путь погружения в ужасное, в проклятые вопросы (так их назвал Генрих Гейне). Вернули меня к проклятым вопросам русские писатели второй половины XIX в.: Тютчев, Толстой, Достоевский. Толстой, если вы внимательно читали «Анну Каренину» (это не только его герой Левин, это сам Толстой), прячет от себя веревку, чтобы не повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться, от сознания ничтожества человека перед материальным миром, в котором возникнет пузырек-организм, подержится и лопнет. А также у него есть рассказ «Записки сумасшедшего» (не путать с гоголевским!), где он передавал свое чувство страха смерти, пережитого в Арзамасе. В кругу его близких друзей этот эпизод назывался «Арзамасский страх».

У Достоевского бросаются в глаза вопросы Иова. Возражения друзей Иова сведены к нулю: почему страдают дети? Какие у них грехи? Но есть и ужас материальной бесконечности. Он передан в разговоре перед картиной Ганса Гольбейна «Снятие с креста», в романе «Идиот». Также у Достоевского он приобретает некий особый поворот через Руссо и Бальзака. Дело в том, что если вообще человеческий мир — песчинка в бесконечности, то и нравственные вопросы, имеющие значение для человека на земле, может быть, теряют для него всякий смысл, если взять и перенести его на какую-нибудь планету, которая вертится не вокруг Солнца, а вокруг Сириуса. Этот вопрос, поставленный сперва Руссо, затем повторенный в романе Бальзака «Отец Горио», был потом повторен в романе «Преступление и наказание». Сохранятся ли у человека муки совести от того, что он натворил на Земле, если вдруг он окажется отделенным от Земли бесконечным пространством? Этот круг вопросов начался с Паскаля и они могут быть названы па- скалевскими, а в России пошли от Тютчева. В прозе эти сцены легко терялись, и можно прочитать Толстого и даже не заметить этих мест. Ну, какое-то странное умонастроение в Левина было, проскочите место про его желание повеситься или застрелиться от материализма. А вот в стихах Тютчева все

это вылезает на первый план. Но Тютчев не мог взять эти проклятые вопросы штурмом, он все время колебался между сознанием ужаса и порывом выхода из этого ужаса. Например, стихотворение «По дороге во Вщиж»:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем Себя
самых — лишь грезой природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной
бездной.

Или в другом стихотворении, более коротком:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

И тут же у него можно найти противоположное стихотворение.

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

То и другое чередуется в стихотворении «Проблеск»:

Слышал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг..
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшийся, потух! <...>
О, как тогда с земного круга Душой к
бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!

Как бы эфирною струею По жилам
небо протекло!

Но, ах! не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли Дышать
божественным огнем. <...>

Эта усталость от взлета его настигает всегда, и в конце концов его влечет и одновременно отталкивает чувство провала в бесконечность.

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком Твердишь о
непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем Порой
неистовые звуки!..
О! страшных песен сих не пой.
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной Внимает
повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

На языке Майстера Экхарта, которого я впоследствии прочел, это может быть названо хирением души, которая не решается пойти на скоропостижную смерть своего эго, того, что на библейском языке может быть ветхим Адамом в противоположность новому. В проповеди Майстера Экхарта на тему «ибо сильна, как смерть, любовь» противостоят две возможности: или мистической смерти скоропостижной, после которой ты рождаешься в озарении от того, что ты постиг что-то, что сильнее смерти, или всю жизнь хиреть, не решаясь на штурм этой загадки.

И упиваясь этими стихами, я в конце концов решил пойти на штурм. Я не знал, что собираюсь заниматься медитацией, самого этого слова я не знал, и я не знал, что то, что я придумал как тему медитации, можно сравнить с дзэнскими коанами, т. е. загадками, не допускающими рациональной разгадки и толкающими человека на переход от «помраченного ума» к «уму просветленному» (так это называется на буддийском языке).

Я придумал следующую загадку. Если бесконечность есть, то меня нет, а если я есть, то бесконечности нет. Т. е. тот взгляд на бесконечность

пространства, времени и материи, который выработала наука, — это одна иллюзия. а на самом деле, можно прийти и к какому-нибудь другому взгляду, который даст опору для человеческого достоинства и смысл человеческой жизни.

Я три месяца непрерывно ворочал в своей голове эту, условно говоря, загадку. И, наконец, я пришел к тому, к чему стремился, хотя мне было не совсем ясно, к чему именно я стремлюсь. В каком-то проблеске внутреннего света, не слишком ярком. Впоследствии я с интересом читал о подобных вспышках у других. У Шмемана, между прочим, была подобная вспышка от солнечного зайчика от автомобильного стекла, вы можете найти это в его дневниках. И потом он всю жизнь вспоминал, что он тогда пережил. Такое озарение иногда действительно приходит по ассоциации с ослепительным физическим ощущением яркого света, у Шмемана было так. А может прийти и без этого. У меня внешнего толчка не было. Но в этом озарении я мгновенно увидел два возможных решения, поддерживающих смысл человеческих усилий. Не буду это пересказывать, потому что когда я рассказал их моей приятельнице Агнессе Кун, с которой я дружил, она сказала: «первое — это объективный идеализм, а второе — субъективный идеализм». Т. е. ничего нового я, конечно, не придумал. И вообще, когда я впоследствии познакомился с большой совокупностью текстов буддизма-дзэн, я понял, что придавать чрезмерное значение словам, которые приходят вам в момент озарения, не следует, потому что в словах тут ничего решить нельзя. На самом деле, то, что вы ищете, — это все более и более глубокие озарения — до того, пока вы не придете к такому взгляду, что одновременно видите и раздробленность мира и его единство и полностью выходите из этого проклятого вопроса страха бесконечности.

Борис Долгин: Ваша речь полна моментами, к которым хочется поставить какую-нибудь сноску. Например, Петр Григоренко — известный диссидент левых убеждений. Протоирей Александр Шмеман — известный богослов и т. д. Наверно, имеет смысл это как-то вводить.

Померанц: Протоирей Александр Шмеман — умерший, если не ошибаюсь, в 1968 г., автор ряда дневников, найденных после его смерти, которые не так давно были опубликованы. Сейчас вышло второе издание, вы можете с ними познакомиться. Чрезвычайно интересный текст и чрезвычайно свободно написанный. Будучи протоиереем и видным деятелем зарубежной церкви...

Долгин: И специалистом по литургическому богословию, если я правильно понимаю.

Померанц: Да. Эта фраза, которую он там бросает, с трудом укладывается в консервативное религиозное сознание, и наши консерваторы уже называли его Смердяковым от православия. На самом деле, его дневники — это блестящее создание человеческого ума, где вы живете в мире творческого переживания вопросов, оставшихся до сих пор не решенными в мировом религиозном сознании. В частности, он описывает вспышку

света. Я потом, если хотите, прочитаю, я выписал эти страницы. Но это чувство озарения может возникнуть и ночью, под влиянием любого другого случая. Этот путь — поиски озарения — в котором человек как бы выходит к некому внутреннему свету, озаряющему все его проблемы, в основном был испробован еще в I тысячелетии до н. э. в разных вариантах. Например, в Книге Иова это проклятый вопрос о том, что всякая тварь страдает, и избежать этого совершенно невозможно, и вся жизнь человека переполнена страданием. В варианте будущего Будды вводится еще вопрос о смертности, о том, что всякий человек обречен на смерть, он исчезнет, его больше не будет. И буддисты ищут выход из сансары, из «мира рождения и смерти». С древних пор неотступное погружение в этот вопрос вызывало вспышку некоего внутреннего света. В Книге Иова в соответствии с стилистикой древнееврейской веры, где всякой вопрос решался обращением к Богу, неотступный вопрос Иова вызывает ответ Бога, который не отвечает прямо, почему человек страдает, но Он просто подымает Иова на уровень своего Божественного взгляда, Он возносит самого человека над землей со всеми его вопросами и снимает бессмысленность отдельного человеческого страдания.

А в Индии в это же время это решалось в плане единства Атмана и Брахмана, единства человеческой души и мировой души. При этом слова «Бог» в этих поисках в древнейшее время не употреблялось, потому что брахманы, которые единственные занимались такими проблемами, не подпуская к ним простой народ, считали, что только они могут подняться выше того, что называлось на санскрите «дева» (бог). Там другая структура святынь, и высшая святыня в брахманском ощущении была по ту сторону вопроса о существовании Бога. Истина для них в тождестве Атмана и Брахмана. Мирового сознания и мирового бытия, достигнутого в глубоком сердце.

И в древнейших философско-религиозных трактатах, «Упанишадах», вопрос иногда решался тем, что на все попытки словесно определить точку, на которой человек становится выше всех этих проклятых вопросов, он получает просто отрицательный ответ, потому что словами здесь ничего сказать нельзя. Словами дается направление к решению, а затем отрицаются все возможности словесно выразить, и в конце концов вы переживаете что-то, что выразить невозможно, но вы это сердцем чувствуете. В Брихадарньяке-упанишаде Яджнявалкья на все попытки ответа говорит: «Не это, не это!». На санскрите: «Найти! Найти!». В другой упанишаде, Чхандогье, брахман Уда-лака Арунья поучает своего сына, и каждый раздел поучения кончается словами: «И То — это ты!». Т. е. ты найдешь ответ в своем собственном сердце. На языке христианства это довольно близко к выражению, что Царство Божие внутри нас. Но в брахманской традиции никакого Царства Божия не было, а был просто выход за рамки двойственности, приход к сознанию недвойственности Бога и человека, бытия и небытия и т. д.

Насколько я понял все эти исторические традиции, важным была не

столько форма проклятого вопроса о месте человека в бесконечности, о страдании или о смерти, а неотступность пребывания в поле этого проклятого вопроса, до тех пор, пока неотступность вопроса не вызовет в варианте Иова у Бога ответ, в варианте индийских Упанишад — ответ из глубины вашего сознания, связанный с чувством света и радости.

Однако некоторые люди рождались с сознанием, которое приходило к такому созерцанию недвойственности без внешних толчков, а они прямо с детства временами впадали в состояние экстаза, в котором они блаженно чувствовали единство и красоту всего бытия. Например, из живших сравнительно недавно людей — Джидду Кришнамурти, умерший в 1985 г., который, по-видимому, с детства обладал этой особенностью. Его разыскивали теософы, пытались его использовать как нового мессию. Но когда он из мальчика стал взрослым человеком, он отбросил всякую религиозную терминологию. И тем не менее, он был явным типом, скажем, древнего брахмана, достигшего недвойственности. Он пытался, однако, все это выразить простым английским языком, который он усвоил, когда его пригрели теософы. Пытался выразить без всякой специальной индийской терминологии, в своеобразном сплаве английского языка и индийского мышления.

Тоже очень интересный пример природной способности созерцать то, что дает человеку чувство внутреннего света и блаженства, была некая женщина по имени Раббия. Она жила в мусульманском мире, где женщин не слишком уважают. Была рабыней-танцовщицей, иногда по требованию хозяев была вынуждена разделить ложе с посетителями. Об этом свидетельствует двестише, которое сохранилось от нее: «Всем нужно мое тело, никому не нужна моя душа». Когда ее заметили и стали относиться как к учительнице, ее спрашивали: «Что ты думаешь о дьяволе?». Она отвечала: «Я не думаю о дьяволе, я думаю о Боге». Другой замечательный диалог, который тоже остался в памяти людей. «Что ты видела в раю?» Ведь когда она выходила из состояния экстаза, это было видно по лицу и по всему. Она отвечала: «Когда приходят в дом, смотрят на хозяина, а не на утварь». Эти замечательные фразы как-то остались в памяти суфиев. Она, несомненно, была одной из первых святых суфизма, которые вышли из ортодоксального ислама и тоже пытались достичь состояния недвойственности. Хотя это резко противоречило исламу и часто вызывало преследования и казни.

Третий путь, который, по-моему, гораздо доступнее для человека — это путь любви к человеку, который пережил озарение и несет в себе след этого озарения. В общем, по этому пути в конечном счете пошли все массовые религии. И в той же Индии большинство индийцев не читают упанишад, а верят в Кришну или в другое воплощение. И в этой вере они через человеческий образ Кришны получают отблеск того света, который дает масштаб для оценки всего, что человек может достичь, дает

масштаб для подхода к высшим духовным достижениям.

Я не присматриваюсь к официальным оценкам, они в разных традициях разные, кто именно этого достиг. Я на глазок просто угадывал, опираясь на свой скромный опыт, что прорыв сквозь проклятые вопросы был у Томаса Мертона, одного из самых замечательных мистиков в католическом мире XX в., в Антонии Сурожском, самом замечательном в православной церкви и т. д., и во многих людях совсем не замечательных. Просто на глазок при встрече с ними чувствуешь, что они пережили что-то, дающее какое-то высшее знание, становящееся опорой души в мире грязи, цинизма, в мире преступлений, и эти знания не дают человеку соблазниться дешевыми приманками.

Для меня такой встречей была встреча с З.А. Миркиной, которая впоследствии стала моей женой. Меня потрясло при первой же встрече с ней ее стихотворение:

Бог кричал. В воздухе плыли Звуки
страшней, чем в тяжелом сне.
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне.

Он выл с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Как нам услышать за нашим криком
Бога живого крик?

Нет. Он не миф и не житель эфира.
— Явный, как вал, как гром, —
Вечно стучащее сердце мира,
То, что живет — во всем.

Он всемогущ. Он болезнь оборет, —
Вызволит из огня
Душу мою, или, взыв от боли,
Он отсечет меня.

Пусть. Лишь бы Сам, лишь бы смысл Вселенной
Бредя, не сник в жару.
Нет! Никогда не умрет Нетленный.
Я за Него умру.

Вот это и подобные стихотворения сразу мне показали, что ее чувство озарения было глубже моего, и мне можно у нее учиться созерцанию. Я действительно у нее многому научился, одновременно помогая ей жить. Пока мы примерно год жили вместе, я присматривался, как она созерцает природу до того, что чувствует в ней какой-то, как она выразалась,

Божий след, и у меня начались порывы вдохновения, которые длятся до сих пор. Начался бесконечный ряд моих эссе. В 1962 г. в Рублевском лесу, при блестящем зимнем свете, озаряющем вершины сосен, морозный прекрасный зимний лес, у меня складывались какие-то куски моего первого эссе «Две модели познания». И дальше они начали приходить один за другим, и я по мере сил пытаюсь передать свои ощущения, показать возможность этого, доступную, по-моему, каждому человеку.

Таким образом я нечаянно ступил на третий из путей, т. е. следование человеку, который пережил более глубокое озарение, чем я, и становится символом глубокой истины. На этом, кстати, построены многие религии. Вот и все.

Обсуждение

Долгин: А если все же посмотреть на человека, живущего в более обычных обстоятельствах, рядом с которым нет таких людей, или который не нашел в литературе, в истории таких образцов, которые бы не просто воспринимались как нечто абстрактно хорошее, но которые бы действительно служили для него внутренним мерилom его собственных поступков. Где вы видите основы для утверждения личности такого современного человека нашего общества. Некоторые из таких людей уже, может быть, отчасти религиозны, но это очень редко кардинально влияет на их поведение.

Померанц: Я думаю, что в каждом культурном кругу имеется такой образ и даже несколько таких образов, которые зафиксированы в религиозной традиции. Я описывал свой путь, который я прошел в то время, когда к этим текстам не обращались. Сейчас уже принято к этим текстам обращаться, внимательно читать Евангелие. И для тех, кто вчитался в этот текст, вчитался в книги мистиков, которые переживали это, они есть в каждой традиции, он есть и в проповедях и беседах Антония Сурожского, которого я очень люблю читать. Хотя я по вероисповеданию ни к кому не отношусь, и мне безразлично, будет ли это православный Антоний или католик

Томас Мертон, но я у них нахожу массу такой глубинной мудрости, которая организует мое сознание. И вовсе не требуется, чтобы человек поднялся на уровень, допустим, даже не Христа, а блаженного, святого. Достаточно вчитываться в довольно доходчивые тексты, которые на эту тему писались последователями. Например, Антоний Сурожский очень доходчиво излагает то, что он понял как суть христианства.

Может быть, не все знают, сам он начал с момента преображения, который пережил мальчишкой в 15—16 лет. Он был тогда убежденным атеистом, жизнь в эмиграции была ужасной, очень тяжелой, его в школе били, унижали. И он готовился к тому, чтобы участвовать в вооруженной организации, которая когда-нибудь свергнет советскую власть. Жил он в Париже, где можно было свободно этим заниматься. И вот к ним пришел проповедник и начал что-то рассказывать, что ему страшно не понравилось, о смирении и т. д. И тогда он, придя домой, решил взять Евангелие и посмотреть, неужели там такая чепуха, какую говорит этот

человек. Между прочим, этим человеком был Сергей Булгаков. Чтобы не читать слишком долго, Андрей (он тогда был Андреем, это он потом стал Антонием), он взял Евангелие и посмотрел, которое короче. Самым коротким было Евангелие от Марка. Он решил, что хватит ему и одно прочитать. Начал читать и между первой и третьей главой он пережил присутствие Христа рядом с собой. Оглядывается — ничего нет. Впоследствии, не так давно, уже в последние годы его жизни, к нему привели одного мальчика, который сказал, что видел Христа. Он спросил: «Где ты Его видел, здесь, здесь или здесь?», показав вверх, вперед и на собственную грудь. Мальчик показал на сердце. «Ну, тогда правда ты Его видел».

Личный опыт помог Антонию в конце концов отойти от шаблона и найти чрезвычайно простой и доходчивый язык. Например, что такое грех? — Это потеря контакта с собственной глубиной. В нашей глубине, если всматриваться в нее, мы найдем источник света, хотя, может быть, не очень яркий, хотя бы как совесть. Достоевский, например, писал, что совесть — это действие Бога в человеческой душе. Если всматриваться в душу, вы найдете там совесть, а это уже действие внутреннего света. И следовать голосу своей совести — это уже значит вступить на путь к высшему познанию. Это доступно, по-моему, миллионам людей.

Кроме того, конечно, чувство глубины очень развивает в человеке религиозное искусство. Такая музыка, как музыка Баха, такая живопись, как византийские иконы, иконы Андрея Рублева. Если долго их созерцать, это вызывает в вас чувство присутствия у вас того умонастроения, которое было, например, у Андрея Рублева, когда он рисовал своего «Спаса». Когда я сижу 40 минут — час, сижу около одной иконы и всматриваюсь в нее, то я чувствую то, что Рублев хотел передать в «Спасе». Я чувствую в этой иконе нераздельность человека с неким высшим духовным началом. Так что через искусство очень легко это почувствовать. Если вы научитесь понимать это искусство. Это не в поспе, это в высоком искусстве прошлых эпох. И кое в чем нынешнем. Мы можем слушать прелюдии и фуги у Шостаковича, слушать Пярта, Шнитке, Губайдулину и других.

Долгин: То, что заглянуть в свою совесть могут миллионы, хорошо. Но где человеку в его обычной жизни, сталкиваясь с социальной средой, которая может диктовать определенные поступки, где человеку в этой обычной жизни найти основания для того, чтобы не «жить как все»?

Померанц: Видите ли, я не берусь сказать, что каждый человек это найдет. Есть люди, которые выросли, например, в детском доме, где с самого начала они не видели никакой любви, а видели довольно грубое обращение с собой всяких нянечек и прочих служителей. С этой точки зрения интересно почитать Рубена Гальего, который родился уродом с ДЦП и воспитывался в детском доме. И все же он нашел в себе силы выйти к творческой жизни, он издал две книги, нажимая на клавиши одним пальцем, потому что он не мог владеть рукой.

Но эту способность можно развивать, всматриваясь в большое религиозное искусство. Я повторяю, что в течение 15 лет пробивался к большой музыке. Я из литературы почувствовал, что это дает человеку чрезвычайно много, и я терпеливо ходил сперва на оперы и пр., в которых слово помогало что-то понять. И в конце концов, я почувствовал все это. И

сейчас для меня эта классическая музыка, которая в общем неотделима от религиозного чувства, присутствует в моей жизни. Причем мне для этого не нужно никакого вероисповедания, никаких обрядов. Но как пособие могут служить и обряды, я ничего против них не имею. Умонастроение, которое они создают, помогают человеку почувствовать у себя примерно в том месте, где индийцы находят чакру сердца, такую точку, которая сразу показывает — фальшь или правда.

Например, когда мне было 18 лет, у нас в стране объявили, что социализм уже построен. А до этого несколько лет говорили, что мы строим фундамент социализма. И вдруг язык пропаганды изменился, и стали говорить, что построен уже и социализм. И мама меня спросила: «Гришенька, неужели из-за этого, что сейчас всюду мы видим, люди шли на каторгу, на виселицу..» И я ей ответил, как меня учили на лекциях по политэкономии: «Социализм, конечно. У нас же общественная собственность на средства производства». И немедленно почувствовал — это фальшь, без всяких доказательств. Понятие социализма соотносилось у меня с известными абстрактными категориями. А когда мне задали вопрос, ради этого ли в нашей жизни люди шли на каторгу и на виселицу, то я сразу почувствовал, что сталинская пропаганда — вранье.

Надо присматриваться к этой точке, когда вы вдруг чувствуете, что человек лжет, что человек искренен. Можно, присматриваясь к себе, анализируя себя, постепенно научиться уходить от лжи и приходить к чувству правды. Постоянное обращение к этой точке делает ее все более чувствительной, в том числе — к глубине любви.

Долгин: О наших нынешних временах снова заговорили как о временах «подлых». Вчера на Ходорковских чтениях одна из секций была посвящена вопросу соотношения политики и морали, и действительно время отмечено необходимостью постоянного сложного выбора. Например, показывать в театре большие проблемы или подписать письмо, например, против Ходорковского. Такого рода вопросы снова возникают перед очень многими людьми. Может быть, не в таком масштабе, а в каком-то другом. Видите ли вы в том, о чем говорили, основания для того, чтобы люди определялись со своим выбором?

Померанц: Безусловно, да. Для меня нет никакого сомнения, что дело Ходорковского липовое. Хотя я не юрист, но это просто видно. И я с волнением ждал, чем закончится голодовка Ходорковского. Это просто видно, когда у человека развивается, если грубо говорить, совесть и понимание того, что люди делают по совести, а что люди делают против совести. Развилось это у меня в советское время, и не случайно я попал в лагерь, и там я додумывал то, что не успел додумать на воле.

Григорий Чудновский: Как я уловил, действительно прав Борис, у вас концепт психологичен и онтологичен. И я бы даже добавил, что сугубо субъективен, поскольку вы значительную часть своей жизни изложили прямо здесь в течение часа, реперные, поворотные точки. И разъяснили, по крайней мере, мне, но думаю, что и всем присутствующим, что двигало вами в разные моменты. И я уловил, что первичное, что было в вашей онтологии — это желание отделить себя от толпы. Может быть, потому что у вас не два метра роста, не очень большие бицепсы, и таким образом вы, естественно, попытались сделать границу между толпой с отсутствующей структурой и собой. И поскольку вы были природой

награждены талантом, вы двигались в этом направлении. И как я понял, вы изложили ту часть траектории в вашем жизненном опыте, которая формирует эту личность, внутреннюю, даже изолированную от толпы, но как мне показалось, не противопоставляющую себя толпе.

Померанц: Нет, противопоставления у меня нет, я просто иду своим собственным путем.

Чудновский: Да, я это и подчеркиваю, что вы выбрали такую стезю, где нет противопоставлений, но в жизни повезло, что вы и внутренним талантом, и обстоятельствами, несмотря на лагерь, сумели реализовать эту траекторию. Теперь я хочу подойти к вопросу. К развитию тезиса Бориса по Ходорковским чтениям, но у меня с еще другим уклоном, может быть, вы над этим размышляли. Что такое вообще проблема личности под названием «Иуда»? Это же тоже некоторая личность. Вроде бы, он шел с Христом (я говорю «вроде», потому что не до конца понимаю эти тонкости), а потом оказался Иудой. Не могли бы вы рассказать об умирании личности. О развитии вы мне разъяснили, как можно двигаться — через музыку, через прекрасную литературу, через погружение в ужасы, противоположные счастью, и там вы находили все инсайты и открытия.

А что такое Иуда как смерть личности? Это как в онтологии субъективной личности. А потом, что такое Иуда как публичная личность. Сегодня есть такое слово — прогибание, когда солидные люди, вроде бы уважаемые и вроде бы точно являющиеся личностями, начинают рисовать фильмы с двумя пятерками. Мне не очень понятен такой характер личности. Есть ли у вас какие-то суждения о такой частично публичной личности, не совсем углубленной в себя.

Померанц: Да, действительно. Я, например, пропустил такой эпизод моей жизни. Я комсомолец, очередное заседание о потере бдительности. В данном случае Агнесса Кун потеряла бдительность сразу в отношениях с отцом, матерью и мужем, которого она полюбила в 12 лет, вышла за него в 16. Когда он был оторван от нее арестом, ей было 22. Она училась на одном курсе со мной, и я к ней никогда не подходил, потому что я находил, что она очень гордо держится. В данном случае она была на лобном месте, и мне очень понравилось, как она держится. Так обычно люди не умели держаться. Обычно держались растерянно, а она очень уверенно, в рамках коммунистической морали. Ну, семья была сугубо коммунистическая, отец Кун — вождь венгерской революции, а потом палач Крыма (но она этого не знала). А муж — Антал Гидаш, венгерский писатель. И я был готов поддержать ее подруг, которые на бюро заняли неправильную, как нам объяснили, позицию, стали ее защищать и требовали ограничиться выговором. Другого варианта не было: или выговор, или исключение. Того, что человек совсем не виноват в том, что родился у «неподходящих» родителей, вообще не было. Благоприятным вариантом был выговор. Но они за ночь передумали и отказались от своей «неправильной» позиции. Я, уже готовый поднять руку, чтобы поддержать их, опустил. Я с ней ни о чем не разговаривал, совершенно не знал. Но когда мы уходили, я вслух сказал: «Я с большим удовольствием голосовал бы за избрание ее в члены Комитета комсомола», и один молодой человек, который меня слышал, посмотрел на меня (я знал его еще в школе) и сказал: «Смотри, за такие мнения можешь попасть». Я тогда сказал: «Лучше три года сидеть, чем всю жизнь дрожать». Помню этот эпизод

своей жизни.

Но встал я на дорогу к лагерю значительно позже, после того, как я на 4-м курсе написал курсовую работу «Величайший русский писатель» — о Достоевском, которого тогда было принято ругать. И так как профессор, который вел семинар, противопоставлял мне Горького, Ленина, то я написал, что ни Горький, ни Ленин Достоевского просто не понимали. Мне повезло, что это было не в 1938 году, пока я писал, уже наступил 1939 год. Был короткий период отдыха от террора, и компетентные органы ограничились тем, что за мной стали записывать мои высказывания. Но так и не посадили, посадили позже, и мне предъявляли их из папки с надписью «Хранить вечно». И в итоге я до сих пор даже не кандидат наук и так и умру, как Пу Сунлин, который до 80 с лишним лет сдавал экзамены, чтобы стать государственным чиновником, но так и не сдал их, потому что оценки рассчитывались по блату, но он остался в литературе.

Конечно, путь, по которому ты идешь, по пути совести, не обещает никаких жизненных благ, И я не знаю, что делать людям в театре, в публичном учреждении. Как правило, находились какие-то компромиссы, формулы, чтобы показать, грубо говоря, кукиш в кармане. Но при чувствительности публики к кукишу в кармане это было тем, в чем мы все-таки находили свое пропитание, когда ходили в театры в советское время. Я думаю, что и сейчас можно найти. И сейчас есть вещи, которые содержат, в основном, правду. Два фильма Достая, «Штафбат» и «Завещание Ленина», вызывают у меня восхищение. Я знаю фронт, и, конечно, в деталях «Штафбат» отстывает от правдоподобия. Но в результате факты так сгруппированы, что возникает правдивое впечатление об ужасах прошедшей войны, через которую я сам прошел и хорошо знаю. Мне этот фильм очень понравился. И Колыма, и путь Шаламова через легкую оппозиционность в институте, а потом через страшные испытания на Колыме тоже показаны с большой силой. Так что пока еще есть некоторая возможность идти по пути правды, по пути совести. Что будет дальше, не знаю. Может быть, потребуются и жертвы. Может быть, потребуется то, на что средний человек не решится, а кто-то, может быть, и решится.

Долгин: Если я правильно понял Григория Соломоновича, в том числе имелся в виду такой вопрос: вы описали процесс рождения, становления личности, а каков механизм умирания личности?

Померанц: Об этом можно лучше прочесть у Галича. Галич в своих песнях сплошь и рядом описывает омертвление личности. Я в этот процесс никогда не мог полностью углубиться. Мне трудно понять, как человек предпочитает какие-то побрякушки, грубо говоря, той радости, которую испытываешь, когда твоя душа свободна. Я большую часть своей жизни прожил в 7-метровой комнате, если не считать войны и лагеря, в щели между кухней и уборной в коммунальной квартире. И я нашел истинную любовь, и был совершенно счастлив. Я, хотя я получал зарплату 105 рублей, зарплата младшего научного сотрудника без степени, которую мне не дали защитить, да еще я посылал своему пасынку каждый месяц посылку на 10 рублей в воинскую часть, где он служил. Но я был счастлив, хотя очень бедно жил. Я помню, мы как-то на речном трамвае проезжали мимо той части набережной, где были видны особняки Хрущева и прочих членов тогдашней упряжки, и мне показывали и

говорили, что каждый дом стоил 60 млн. рублей. Я подумал, что в этом доме за 60 млн. Хрущев никогда не был так счастлив, как я был счастлив в любви³⁶.

Короткий (преподаватель): Спасибо за лекцию. Были интересные моменты, но мне хочется задать критический вопрос. Если вы говорите о пути становления, пути формирования личности, и на этом пути о слушании своей совести, своего сердца, своего чувства правды и о вере в свою внутреннюю правду, то мне странно смотреть на вас. Вы убежденный сединой человек, и не почувствовали на своем жизненном пути, что на каком-то моменте ты начинаешь ощущать религиозную ложь и религиозную фальшь. Я не отвергаю религию полностью, но к ней можно подойти своеобразно диалектически, в ней есть огромная доля лжи, дешевого утешения униженным и оскорбленным людям, обещание им: «Терпите, терпите, вас унижают, терпите, вы за это получите». Когда я был ребенком, в детстве и юности я писал такие же стихи, даже использовал точно такой же образный ряд, как и Миркина, которую вы процитировали. Но на своем жизненном пути, на каком-то этапе я почувствовал глубокую ложь, даже отвратительную ложь, гадливость, религиозную низость и гадость религии. И мне странно, что вы на вашем пути не почувствовали этого. И когда вы говорите о религиозных путях, что это высший путь развития личности, и именно путь. Можно сказать, что идя дальше, можно пройти религию в своей жизни и понять ее ложь. Мой вопрос, не почувствовали ли вы это?

Померанц: Можно задать вам встречный вопрос? Не читали ли вы дневников Шмемана?

Короткий: Я много слушал лекций Шмемана...

Померанц: Не лекций, я говорю о дневниках.

Короткий: И дневники слушал. Его дневники читали на религиозном радио «София».

Померанц: Дело в том, что фальшь религии протоиерей Шмеман об-

³⁶ Перечитывая текст, я вижу, что подменил вопрос, к которому не был готов, другим. Перебрав свою жизнь, я признаю, что был период, когда я «прогибался». Но не ради званий и наград, а чтобы выжить. Зимой 1942—43 гг. я сдуру вступил в партию, думая, что после войны страх фашизма исчезнет и будет некоторая степень свободы.

В 1946 г., добываясь демобилизации, я написал резкие по тем временам заявления, думая, что мне дадут выговор — и отпустят. Но я не понимал, что наступила другая эпоха, что моя храбрость на войне больше не стоит ни гроша, нужна не храбрость, а холуйство. В моих заявлениях прорвалась совершенная неспособность на холуйство. Меня вызвали — и отобрали партбилет «за антипартийные заявления». С этим волчьим билетом демобилизовали. И демобилизация стала адом. Я нигде не мог устроиться. Меня все убеждали, что я должен апеллировать, а я понял уже, что исключили правильно, неправильный поступок я совершил раньше, на фронте, вступив в эту партию, и теперь мне надо лгать, фальшивить, потому что все знакомые и родственники уверяли меня, что лагерь — это сплошной кошмар и надо пойти на все, чтобы не попасть в лагерь. И я лгал и фальшивил в своих заявлениях, я подчинился толпе, я впитывал в себя страх толпы и разрушал свою личность. Наконец, друг мне рассказал, что его спрашивали о моих антисоветских взглядах. Трудно поверить, но я воспрял духом. Я достал из угла старую шинель, пошел в мастерскую — пришить крепкие карманы, купил футляр для зубной щетки. Вместо ряда мелких унижений — большой риск. Как на войне. И стал готовиться, как на войну. Когда за мной пришли, я стал со вкусом есть яблоко.

личает почти на каждой странице своих дневников.

Короткий: Он не договаривает все до последнего.

Долгин: Я подозреваю, что могут быть разные взгляды по поводу религии и религий. Если я правильно понимаю, это был отчасти риторический вопрос, на который основной текст лекции, по-моему, ответил.

Померанц: Мне достаточно прочитав наизусть одну фразу из дневников Шмемана. «В Евангелии все ясно — Бог нужен святым и грешникам. Религиозным людям Бог не нужен, и если можно, они его распинают». Вот основной тон книги Шмемана, который вы, очевидно, недостаточно поняли.

Короткий: Извините, если он дошел до такой мысли, почему же он не стал попом-расстригой, не снял с себя сан? Непонятно, зачем он остался в рамках религиозной структуры, подавляющей и унижающей личность?

Померанц: По-моему, его дневники, если внимательно их прочитать, полностью на этот вопрос отвечают.

Если хотите, я могу прочитать кусочек о том озарении, которое у него было и которое определило весь его путь.

«Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить; могу восстановить последовательные периоды и т. д. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи (дни, минуты и т. д.) я не вспоминаю, а помню, как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не «замечательные события» и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего «я». Я убежден, что это, на глубине, те откровения («эпифании»), те прикосновения, явления иного, которые затем и определяют изнутри «мироощущение». Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость отпущения, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, «никто не отнимет от нас» (Ин. 16:22), потому что она стала самой глубиной души) потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т. д. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее — в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, — в сущности всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность — не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь — это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности».

Видите, вся его дальнейшая деятельность основана на одном озарении, которого, извиняюсь, у вас, у моего оппонента, не было. А если бы было, то вы бы понимали, что под коркой массы целых пластов фальши, в символе веры... Я недавно слушал Христова, хороший певец, и он полностью пропел «Символ веры». Какое нагромождение византийских изощрений ума там, где в Евангелии ничего подобного нет. То, что в каждой церкви, в каждом религиозном организме есть масса шлака и пр., — это не устраняет того, что в основе лежало глубокое жизненное потрясение в

начале этого движения, время от времени возникающее вновь у отдельных людей.

Александр Ионов: Григорий Соломонович, я понял, что вы вступали в комсомол. Это было добровольно, это была ваша вера или это так жизненно сложилось?

Померанц: Это было в школе, и я еще недостаточно разобрался во всем, что происходило.

Ионов: Т. е. вы еще не стали личностью.

Померанц: Единственное, что в это время было — это я понимал, что надо стать самим собой. Но это у меня как-то связывалось с тем, что нельзя оставаться коммунистом, не обогатив своего сознания и т. д.

Ионов: Но это эпоха действовала, это понятно, юношеское. Я удовлетворен, спасибо. Более широко вопрос стоит так. Ваша родственница сказала: «Мы не то хотели строить и не то построили». Скажите, пожалуйста, как мыслящий человек, как человек чести, сегодня вы можете сказать, что мы сейчас построили то, ради чего вы сидели вместе с другими диссидентами, я преклоняюсь перед ними.

Померанц: Нет, это совершенно не то. Из огня в полымя. От фанатизма в цинизм.

Ионов: Спасибо большое. Я восхищен вашим мужеством, несмотря на возраст, вашим равнодушием. Спасибо.

Борис Надеждин: Спасибо за выступление. У меня два вопроса, носящих прикладной характер. Первый вопрос. Любой Бото яруюш в принципе способен к такого типа озарениям, либо все-таки есть какие-то ограничения и предпосылки, религиозные, образовательные, культурные, языковые, национальные. Любой ли Бото яруюш в принципе способен к этому пути?

Померанц: Из всех религиозных формул мне ближе всего дзэнская, что для спасения нужна великая вера, великая ревность (в смысле рвение) и великое сомнение в словах Будд и патриархов. Т. е. нужно верить во что-то, что по ту сторону слов, и упорно стремиться разгадать то, что я называю проклятыми вопросами, и прийти к этому чувству. Но удастся ли это? Это так же, как большая любовь. Это должна быть не только способность к большой любви, которую я постепенно нажил за первые 35 лет своей жизни, более-менее отмеченных чертами эгоизма и т. д. Надо было совершенно освободиться от эгоизма, чтобы раскрылась способность к большой любви. Но и после этого большая любовь могла не состояться. Ну, не было необходимой встречи. Так же и на духовном пути какие-то обстоятельства помогут вам дойти до озарения, а другим нет. Но тогда остается верить тем людям, которые дошли, и следовать их примеру. Это лучший выход из положения.

Надеждин: Извиняюсь, я немного не об этом спрашивал. То, что вы сказали, понятно, но вопрос был другой. Существует 140 млн. жителей Российской Федерации. Они разные. Сейчас здесь кто-то сидит, слушает вас, а кто-то у стойки заказывает пива. Вопрос был — существует ли какой-то бэкграунд, какие-то предпосылки, образовательные, например?

Померанц: К сожалению, наше образование пока поставлено очень неудовлетворительно. В начале перестройки я опубликовал в каком-то еще полусамиздатном журнальчике статью, в которой пытался доказать, что школа для нас важнее экономики. На нее никто не обратил внимания.

Потом я повторил ту же мысль на совещании в мэрии во время каких-то перевыборов президентов. Я снова сказал, что, по-моему, школа для нас важнее экономики, потому что экономика становится неотложной только тогда, когда речь идет о голоде или о выживании, во всех остальных случаях не хлебом единым сыт человек, а великим Словом. Школа пока этого Слова не дает за исключением отдельных рыцарей духа, которые используют школу для того, чтобы говорить больше, чем положено.

Надеждин: Если можно, еще вопрос. Я зацепился за вашу фразу, что великий Хрущев, большая власть, 60 млн. стоил дом, и у него счастья не было, а тут счастье есть. Предположим, что у вас родился внук или правнук, т.е. не вы, но кто-то очень близкий, и вы можете каким-то образом повлиять на одну из двух траекторий его дальнейшей жизни. Траектория первая — откровения, личность. Траектория вторая — для простоты Хрущев. Что бы вы приняли в отношении этого существа, кто не вы сами, но в чем-то вы.

Померанц: У меня практически такой ситуации не было, потому что не было детей, а следовательно, и внуков.

Надеждин: Ну, любимый ученик.

Померанц: Я безусловно считаю, что шел по правильному пути. Я пережил и страшное горе, когда умерла моя первая жена, но потом, хотя я не ожидал, что это может быть второй раз с такой интенсивностью, у меня был и есть очень счастливый союз с Зинаидой Александровной. Я считаю, что я прожил счастливую жизнь, несмотря на то, что эта жизнь скромная, почти бедная. От трудов праведных не наживешь палат каменных — это старая поговорка.

Надеждин: Т.е. близкому вам существу, которое еще никуда не пошло, вы все-таки, исходя из вашей жизни, не советовали бы двигаться в сторону Хрущева и 60 млн.?

Померанц: Да.

Короткий: Вы мне задали вопрос про озарение, я бы хотел ответить. Все-таки озарение тоже бывает разное. Бывают религиозные озарения, а бывают, мне даже тяжело вам желать этого, великие озарения впереди, что вдруг вы понимаете всю эту ложь, всю эту фальшь, «я всю жизнь жил во лжи», «я всё не докопался»... Это была реплика. И мой вопрос. Я бы не хотел, чтобы моя дочь становилась религиозным человеком. Почему вы все-таки считаете, что человек должен избирать религиозный путь, а не другой путь в жизни, который избирают миллионы людей?

Долгин: А разве тут было сказано о долженствовании?

Короткий: Дидактика была в лекции.

Померанц: Простите, не приписывайте мне того, что я не говорил. Я к религии отношусь очень критически и никому не желаю идти по этому пути.

Короткий: В чем же тогда необходимость в этом духовном начале? Для чего тогда конкретному человеку, который стоит у стойки, всю жизнь искать духовное начало вместо того, чтобы творить просто хорошие дела, помогать людям. Меня очень зацепила ваша фраза про 60 млн. особняка Хрущева. На Рублевке сейчас особняки гораздо дороже. Сейчас несправедливости и гадости в обществе намного больше, чем было.

Померанц: Но я с этим не спорю.

Долгин: На самом деле, ответ на этот вопрос уже прозвучал, хотя немного в косвенной форме, поскольку в ответе на мой вопрос, как обеспечить

корректный выбор внутри человека, как раз и прозвучала мысль о духовном. Иными словами «почему бы не делать что-то хорошее вместо» нужно переформулировать в «для того, чтобы сделать что-то хорошее — с точки зрения Григория Соломоновича, — нужно это духовное начало».

Вопрос из зала: Верно ли я понимаю, точнее эмоциями, что смешение религий по мере формирования личности обогащает человека и что в одной религии иногда нельзя найти то, что можно найти в другой.

Долгин: Т. е. не смешение, а изучение нескольких?

Вопрос из зала: Не изучение, а именно восприятие разных религий внутри себя.

Померанц: Нет, никакой каши из нескольких религий я не предполагаю. Но я думаю, что нынешняя обстановка, когда одна цивилизация «наезжает» на другую и идут уже разговоры о войне цивилизаций, самыми необходимыми являются *диалог* религий и понимание их общего духовного корня при различии их внешних форм выражений, связанных с характером данной цивилизации. Христианский мир, мир ислама, индуистскобуддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока являются совершенно самостоятельными путями, допускающими самые высшие уровни духовного развития, и вовсе не требуется сделать из этого кашу. Но требуется (действительно, требуется) понять, что углубляясь в сущность каждого из этих путей, мы приходим к чему-то родственному. Как мы с Зинаидой Александровной написали в нашей книге «Великие религии мира», глубина каждой великой религии ближе к глубине любой другой великой религии, чем к собственной поверхности. На поверхности царствует пошлость, а в глубине царствует истина, и эта истина родственна в разных религиозных путях, если досмотреть их до глубины. Не будем смешивать родственности и тождественности. Все религии родственны в Святом Духе, но не тождественны, остаются самими собой, и эта автономность — одно из условий диалога.

Т. е. если рассматривать религию как организованную систему верований, догм, обрядов и т. д., в ней чрезвычайно много фальши. Настолько много, что мне никогда не хотелось вступить ни в одну из этих организаций, я предпочитал смотреть на них со стороны. Но с другой стороны, я мог дружески общаться с людьми, которые признавали, что для многих людей эта система обрядов, таинств и пр. дает какой-то упрощенный вариант подхода к собственной глубине, все-таки располагает их всмотреться в то, что, скажем, в христианстве называется Царством Божиим внутри нас. Это направление в Царство Божие внутри нас — это на языке религии высказанное правильное духовное направление. И религия является исторически необходимой формой, но нуждающейся в глубокой реформе. Религиозные догмы, как правило, возникли на другом уровне сознания и науки, и Антоний Сурожский уже искал новый язык. Когда он говорил: «Грех — это потеря контакта с собственной глубиной» — это язык, понятный каждому электротехнику. Так что глубинные истины могут быть высказаны современным простым языком без нагромождения фальши.

Долгин: И, соответственно, никакого религиозного «салата» вы не хотите нарезать.

Померанц: Нет, нет. Нужен диалог. Скажем, в Лондоне в 1994 г. Далай-лама XIV был приглашен комментировать Евангелие. Это очень интересный диалог. Интересно, что участники этого диалога считали, что больше всего у

них чувство единства возникало вначале. Каждый день начинался с того, что зажигались свечи, и полчаса все просто молчали и смотрели на эти свечи, зажженные от одной свечи. А уже потом начинались разговоры. Где начинаются слова, начинается различие слов, спор о словах и т. д.

Долгин: Но при этом у каждого сохраняется своя идентичность.

Померанц: Да.

Вадим Зайцев (студент): Вы рассуждаете о развитии личности, и у меня создалось такое впечатление, что вы противопоставляете развитие личности и простые ценности, те же материальные. Нельзя ли на практике по жизни пройти так, чтобы совместить их, найти золотую середину, чтобы и развивать свою личность, находить духовные аспекты и не забывать о материальном.

Померанц: А я и не призываю забывать. Но просто не ставить это на первое место.

Зайцев: Не ставить, но и личность не возвышать перед простыми материальными вещами.

Померанц: Я считаю, что теплота, целостность личности важнее, чем хорошая обстановка в квартире.

Зайцев: Но и об обстановке все-таки не забывать...

Померанц: Вы знаете, Зинаида Александровна очень любит, чтобы предметы в квартире стояли так, чтобы создавать гармоническое впечатление о нашем жилье. Но мы живем в очень скромной двухкомнатной квартире в хрущевке, и эту скромную квартиру по мере возможности она старается сделать уютной и удобной для жилья. Но на первом месте все-таки стоит духовное развитие личности.

Долгин: Судя по тому, насколько счастливыми себя ощущают люди в очень разных положениях в жизни с разным сознанием т. д., у этих людей заведомо разные иерархии ценностей. И попытаться свести их к одной бессмысленно. Иерархии всегда будут разными, это нормально.

Эдуард Якубов: Если не ошибаюсь, у Раймона Арона есть фраза, что жить по-человечески означает жить идеей личности. Ваш комментарий.

Померанц: Я думаю, что это правильно. В общем, люди, с которыми я общаюсь, все находится на большей или меньшей ступени личностного развития. Тут есть известная иерархия. Я, например, считаю, что в отношении духовного знания Зинаида Александровна прошла дальше, чем я. В отношении понимания истории я лучше разбираюсь. Я разграничиваю наши направления так, что я разговариваю с историей, оглядываясь с надеждой на Бога, а Зина разговаривает с Богом, поглядывая с ужасом на историю. Так что в каком-то варианте у нас есть и то, и другое; и в том кругу, где мы находимся, у большинства примерно сходные вкусы: Бах, Моцарт, Бетховен.

Андрей: Я бы хотел вначале поблагодарить Григория Соломоновича. В данном случае, мне кажется, помимо того, что человек говорит, сама личность свидетельствует если не о правдивости, то об искренности и реальности того опыта для вас, о котором вы говорите. Вопрос такой. Мы уже более часа говорим о личности. Что же такое личность? Вы не могли бы дать определение хотя бы через какие-нибудь признаки. И почему личность — это благо...

Долгин: Благо по сравнению с чем?

Андрей: По сравнению с безличностным началом. И почему те разные пути, о которых вы говорили, что они в своей глубине сходятся, все-таки по-разному трактовали, если можно так сказать, посмертную судьбу личности.

Если в тех же Упанишадах нет после смерти сознания, и оно растворяется в безличном, как соль растворяется в океане, то в том же христианстве мы имеем богообщение, когда личность человека общается с личностью Бога, не растворяясь в нем. Вы говорите, что в глубине все одно, но получается, что не очень. Может быть, мои примеры достаточно частные, можно другие привести.

Померанц: Что мне делать. Мне придется сознаться, что я не знаю, что будет после смерти. Я не знаю. Я думаю, что что-то там будет. Может быть, растворение — это вовсе не такой неприятный процесс. У меня был один сон, который я прекрасно помню. Я плыву в озере света, и я знаю, что до другого берега я не доплыву, но меня охватывает чувство блаженства. Так что можно представить себе и растворение, как высшую цель. А можно себе представить, как перевоплощение. Опыт индийской религии говорит о том, что вера в перевоплощение, вероятно, имеет какие-то основания. Я не знаю, я просто не могу ответить на ваш вопрос. Достаточно чувствовать то, что можно назвать Божьим следом в той жизни, которую мы воспринимаем. Допустим, Зинаида Александровна чувствует Божий след в природе, в некоторых видах искусства, в некоторых людях. А что за этим стоит.

Можно назвать это иначе, без слова Бог, отпечаток духовности и т. д. Это, бесспорно, я чувствую в людях. И я следую этому чувству в своих привязанностях и отторжениях.

Долгин: Если я правильно понимаю, вопрос был чуть-чуть о другом. Не «что же там на самом деле», а «как же так»? Вы говорите, что в глубине они все близки и при этом толкуют многие сюжеты, даже такие частные, принципиально разным образом.

Померанц: Видите ли, что считать важнейшим. Если считать важнейшим определением посмертие, то этот вопрос каждая большая религия решает по-своему. Мусульманский мир считает, что все верующие в Аллаха и Мохаммеда спасутся, что бы они ни натворили. Может, их там посекут, но потом они все-таки спасутся и попадут в рай. Христиане считают, что некоторые попадут в ад. Индийцы считают, что они перевоплотятся, хотя по дороге опять-таки их накажут за дурные поступки, и, может быть, они перевоплотятся в наказание в какую-нибудь противную гадину. Словом, как раз в этом все они расходятся. Но когда я читаю Упанишады, Евангелие, суфийские тексты, дальневосточные дзэнские тексты, я чувствую, что они все насыщены единым духом. Хотя когда пытаешься определить его, выразить в словах и образах, то приходят в голову другие слова и другие образы. Все представления о посмертии основаны на воображении; для меня достоверна только глубина моего сегодняшнего дня. Вечность не после жизни, а внутри жизни. Об этом говорил и Шмеман.

Долгин: Еще часть вопроса прозвучала как — что же такое личность, какие бы вы задали параметры, определение, не определение, может быть, а в семантических оппозициях. Как вам было бы удобно определить, что такое личность, о которой мы говорим.

Померанц: Видите ли, в каждой культуре даются несколько другие определения. В той культуре, к которой мы принадлежим, в личности надо почувствовать образ Божий. Это язык христианской традиции. А, допустим, в дальневосточной традиции будут другие приметы. Я не могу дать простого определения такому сложному понятию. Я вижу путь, который ведет к формированию личности. Я могу отличить, передо мной личность или

безличность, которую пропагандой можно повернуть в любую сторону. Во всяком случае, это человек, который находится в контакте с собственной глубиной.

Долгин: Это уже некоторый элемент определения, потому что речь шла не о том, что это означает в некоторой культуре, а о том, что это значило в рамках нашей лекции.

Наталья Самовер: Задавая свой вопрос, я подозреваю, что на него нет ответа. И тем не менее, когда вы говорите о своем опыте и когда мистики говорят о своем опыте, они всегда основываются на своих личных ощущениях как на критерий истинности своих переживаний, своего озарения. Но ведь известно, что возможно темное озарение, возможна ложная одержимость. Люди, пережившие это, чрезвычайно убедительны, они ведут за собой так же, как ведут за собой настоящие учителя. Возникает вопрос о верификации собственного ощущения. Почему то, что переживаю я, является светлым озарением? А... может быть, оно является темным? Как их отличить?

Померанц: По плодам узнают это.

Самовер: В тот момент уже поздно. В таком случае получается, что человек не волен над собой: нечто снизошло на меня, и дальше я падаю жертвой этой темноты, потому что я не могу опознать это как темноту, я считаю, что это свет.

Долгин: Иными словами, мы как будто имеем дело с большим по модулю воздействием, но не знаем знака этого воздействия.

Померанц: У Бердяева есть такой термин — «трансубъективное». Это выходящее за рамки субъекта, но проходящее через субъекты, окрашенное его субъективным опытом. Если у вас от Бога не дано (я употребляю традиционное выражение), может быть, от природы, чутье на людей, а есть неразборчивость к людям, неразборчивость к идеям... Например, Раскольников теоретическими рассуждениями пришел к выводу, что можно убить старушку, но это не озарение. Это как раз логика, принципы и наука его привели к тому, что старушек надо убивать. Логика, принципы и наука привели большевиков к идее, что ради великой цели построения коммунизма можно расстреливать миллионы людей и морить в лагерях десятки миллионов. Логика, принципы и своего рода наука — расовая привели гитлеровцев к убеждению, что надо уничтожить евреев и цыган. Не озарение. Я не думаю, чтобы у Ленина было озарение, не было никакого озарения. Было научное убеждение, он считал это наукой.

Долгин: Но вы же согласитесь, что озарения тоже порой приводили к уничтожению людей. Что, не было никаких озарений у тех, кто шел в крестовые походы и т. д.?

Померанц: Скорее это были *видения*. В Средние века люди очень легко видели ангелов, святых и т. п. Они вдохновляли — кого к кому. Жанну д'Арк — освободить Францию. Могли вдохновлять и освободить гроб Господень.

Долгин: Там вполне были мистические настроенные люди.

Померанц: Майстер Экхарт к крестовым походам не призывал. Можно ли застраховать человека от ошибок, от ложных озарений, не знаю. Думаю, что в этом смысле помогает доверие к людям, явно излучающим свет, со светлой аурой. Если вы сами такой аурой не обладаете, то лучше доверяться людям, которые такой аурой обладают, и не доверять людям с темной аурой.

Самовер: Другими словами, озарение или ощущение пережитого озарения, истинное или не истинное, не является единственным инструментом.

Для того, чтобы верифицировать свое ощущение, необходимы еще дополнительный душевный труд, дополнительная концентрация внимания и какие-то еще дополнительные усилия, и тогда, может быть, можно скорректировать свое ошибочное ощущение.

Померанц: Я ничего не могу вам ответить на это. Я называю озарением только светлое озарение. Я вообще не считаю озарением какой-то темный морок, темную страсть, которая принимает видимость истинной.

Долгин: Но и строгих критериев различения нет?

Померанц: Строгих критериев я не могу указать. У меня выработалась в ходе жизни вот такая точка вот здесь, примерно в месте чакры сердца, и я мгновенно чувствую фальшь. Я, по-моему, ни разу не делал здесь

больших ошибок. Но если у вас этого нет, мне остается пожалеть, ну, нет и нет³⁷.

Короткий: На самом деле, спасибо большое за вашу лекцию. Если возникает столько вопросов, значит, она тронула, и ее интересно слушать. Я вас лучше понял, именно когда вы начали отвечать на вопросы, гораздо лучше, чем из текста лекции. Поэтому еще раз спасибо за очень четкие ответы. Не часто здесь услышишь четкие ответы на вопросы. Без всякой комплиментарности я искренне говорю вам это.

Померанц: Спасибо. Я должен сказать, что меня всегда лекция интересует как заправка к разговору, и настоящий контакт возникает в личном общении.

Короткий: Мне очень понравился молодой человек, который задал вопрос про соотношение материального и духовного. Действительно, если человек приходит в какое-нибудь восточное общество, ему начинают талдычить о духовности. Но чем он не духовен? Допустим, это какая-нибудь работница, всю жизнь жила, работала, горбатилась, извините, на буржуев, на фабрикантов. Всю жизнь работала, работала, вырастила детей, стирала белье, пеленки. Чем она плохая, что ей еще надо? У нее времени вообще нет читать духовные жития, она и так святая, она праведница, если так прожила свою жизнь.

Померанц: Понимаете, духовность не обязательно связана с ученостью или со знанием каких-то привычных слов. Вот Толстой изображает во «Власти тьмы» Акима, который знает только «тае» или

³⁷ В конце дискуссии я несколько устал и не сразу заметил нечеткость в постановке г-жой Самовер вопроса: «возможно темное озарение, темная одержимость». Озарение, о котором я говорил, это не одержимость. Это просто ясное сознание ответа на проклятые вопросы, озаренное внутренним светом. На вопрос Иова, вопрос Буллы, вопрос Паскаля. Насколько мне известно, чувство ответа Бога в Книге Иова и просветление Будды и то чувство «огня», о котором писал Паскаль в конце жизни, никого к дурным поступкам не вели. Другое дело — *видения и одержимость*, вызванные видениями. Я знаю случаи, когда они переходили в шизофрению. Есть такой термин среди умалишенных — «голосовики». И есть правило в аскезе: «видения не принимать и не отвергать» (а наблюдать в уме, к чему они ведут). Это и будет «верификацией». То, что ведет к ненависти, — от лукавого. Об этом я писал еще в 70-е годы: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за добро, за истину, за справедливость, и так до геенны огненной и до Колымы. Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца».

«не тает». Но у Акима есть чутье, что «тает», а что «не тает». И Аким, конечно, существо духовное. Но другой человек, который тоже всю жизнь горбатился, а вот у него такого чувства нет. Это все-таки какое-то внутренне чувство, которое может быть и у бедного и у богатого. Хотя надо сказать, что большое богатство не располагает, слишком много в нем соблазнов.

Вопрос из зала: Спасибо большое за лекцию, действительно очень познавательно и интересно, очень много откликов, но я не об этом. Мой вопрос будет немного не по теме. В силу некоторых причин мне пришлось и самому пообщаться с ветеранами войн, посмотреть своими глазами на некоторые события, в основном последней Чеченской кампании. Вы прошли фронт. Как это отразилось на вашем мировосприятии?

Померанц: Довольно парадоксально. Когда я после ранения и контузии снова попал в место, где сильно бомбили, я сперва испытал животный страх, который длился в течение получаса. И я эти полчаса думал, как мне победить свой страх. И, наконец, я вспомнил, что я не испугался бездны пространства и времени, и эту фразу буквально: «Я не испугался пространства и времени, чего я буду бояться нескольких “хейнкелей” (бомбардировщик)», которые у меня на глазах бомбили совхоз Котлубань. И эта фраза зацепила у меня память о том чувстве, в котором родилось у меня соображение, что не страшна мне бездна пространства и времени. И это дало мне чувство, которого я не ожидал — я совершенно потерял страх риска, наоборот, риск меня увлекал. Поэтому война дала мне смешанное чувство. Я был в ужасе от массовых побоищ, от гибели массы людей. Я иногда проходил ночью по полосе, с которой началось наступление, и натыкался на недозахороненные руки и ноги, торчавшие из земли. И в то же время чувство опьянения, которое у меня вызывала опасность. Поэтому война вызвала у меня двойственное чувство. Лично я прошел ее душевно легко вместе с очень тяжелым чувством от того, чем была война в целом. И фильм «Штрафбат» на примере судьбы одного батальона дает чувство об этих массовых побоищах. Это было жуткое чувство преступного ведения войны и в то же время то, что Пушкин выразил в своих стихах: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» и т. д. Чувство риска очень поднимает человека. Это, кстати, окрасило и мою жизнь после войны. Я, с удовольствием выступая в Институте философии, осознавал, что я дразню начальство, и в то же время оставался в рамках, в которых большая часть присутствующих будет меня защищать. Вот такое у меня представление о войне. Война может и закалить человека и развратить, она очень многолика. У меня даже была статья в журнале «Знание — сила» — «Смена ликов войны». Очень разные лики у войны, одних она развратила, а других она, наоборот, закалила. Очень по-разному.

Я не считаю нужным давать какое-то резюме. Я считаю, что надо жить с открытыми вопросами, надо не бояться открытых вопросов, жить в мире открытых вопросов, не закрывать их ни от страха, ни от недооценки своих способностей, жить в этом мире открытых вопросов. В частности, это одна из характеристик развитой личности. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» нарисовал образ сильно развитой личности, к которой надо стремиться. Я процитирую наизусть. «Сильно

развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями». На этом я закончу.

Р.8. Пожалуй, хочется прибавить еще несколько слов. Обязательно ли идти, выйдя из толпы, через «проклятые вопросы», как их назвал Гейне? Через вопросы Иова, Будды и (после Коперника и Галилея, выдернувших почву из-под ног человечества) вопросы Паскаля? Нет, история создала возможности идти за образами действительно живших людей, сделавших это раньше нас или рядом с нами, или за образами, созданными гениальным воображением (Кришна в Бхагават-гите или Богородица, имеющая совсем мало общего со скромной Марией в Евангелии), но давшего толчок к созданию гениальных молитв и икон. Мне и З.А. очень много дает созерцание икон, собранных в Третьяковской галерее, и слушание религиозной музыки европейского барокко (Палестрина, Вивальди, Бах, Моцарт, Бетховен последних квартетов). Но очень нередко проклятые вопросы настигают — как З.А. вопросы Иова (о страдании) или меня вопрос Паскаля, припомнившийся Тютчеву: «...а человек, сей мыслящий тростник». Это из мыслей Паскаля: «Человек слаб, как тростник, порыв ветра может сломать его, но этот тростник мыслит, и даже если вся вселенная обрушится на него, она не отнимет у него этого преимущества». Вот исток, углубивший творчество Тютчева, Толстого и Достоевского и зацепивший меня. Я не вижу здесь никакой одержимости, только вызов искать свет, пробивающийся сквозь тьму отчаяния и страха.

Григорий Померанц

**Записные книжки 70-х годов с
комментариями XXI века**

5VIII.70. Нет неплодотворных времен, есть неплодотворные люди. Распад Римской империи был очень плодотворным для Августина. Возможность открытого политического действия во Франции дала философии гораздо меньше, чем спертый воздух Германии около 1800 г.

Если бы события повернулись в духе чешской весны, было бы очень трудно сохранить тот уровень глубины, который сегодня — единственный, но которым можно дышать.

14.IX.70. Из всех традиций самая важная традиция свободы. В том числе свободы от всех традиций. Без этого все остальные как без соли. И если не хватает своей, то можно признать чужую. [Невозможно представить себе «Философию свободного духа» Бердяева, растущую из чисто русских корней. Я не могу представить своего духовного развития без освобождающих традиций Востока (ранние упанишады, Кришнамурти, дзэн) и без созерцания кризиса свободы на Западе. Свобода, потерявшая связь с глубиной, вырвавшаяся на поверхность, становится разрушительной, люциферической силой. А на последней глубине нет отдельных святых, есть только единая любовь, в которой и свобода, и ответственность, и мудрость — сами себе полагающие границы. — 28.09.03]

15.IX.70. Стремление к иконности — это дыхание внутреннего человека. Но как редко он дышит! [С годами — все чаще. Иконностью я называю общее качество искусства Рублева, Эль Греко, Баха и Божьего искусства в холмах Коктебеля и в Сосновке над озером Рица и в человеческих глазах, загорающихся внутренним огнем. Это след вечно живого огня любви, ставшей формой, краской, звуком, это Божий след в поступках. — 28.09.03]

19.IX.70. Ипостасное (или иконологическое) мышление парит над всеми формами ума, логическими и ассоциативными. Его формы тяготеют или к открытому ряду «неслиянных и нераздельных» природ или к троице. Но и то и другое — не дух, а только след духа! По отношению к этому духу философия, действительно, только служанка. [Ипостасное мышление мыслит целое, а логика связывает или раз

личает осколки. Ассоциативное мышление художника приближается к порогу целого, но не переступает его, центр клубка ассоциаций — в том же мире осколков. — 28.09.03]

11.X.70. Традиция не построена по законам Лапласа. Она вероятна. В России более вероятен урядник, чем Сократ. Но если Сократ родится, никакая сила не сделает его урядником. Он или погибнет, или будет Сократом. Внутри необходимости всегда скрывается свобода, [возможности неожиданного внутреннего роста] и выбора противоположных путей, иногда одинаково вероятных, иногда менее вероятных, но всегда возможных, если по-настоящему захотеть. Среда заедает только тех, кто не заслуживает лучшего. На худой конец, можно, как это сделал Катон, выбрать смерть и своей смертью продлить традицию, от которой отвернулись боги. И бросить нить, через головы веков, в другое время, которое подхватит ее.

Это крайний случай. До него редко доходит дело. Но люди живут по-разному и продолжают разные традиции. [В одно и то же время диссиденты продолжали традицию свободы, обыватели — традицию рабства, жила традиция свободной мысли и топталась свободная мысль, писал свои картины Володя Казьмин³⁸ и т. д. — 28.09.03].

14.X.70. Наш общий с Зиной афоризм:

Дьявол хочет власти, и потому в царстве дьявола все властители и рабы (З.).

Бог хочет воплотиться, и потому в царстве Бога все Бог, и Сын единосущ Отцу и от века пребывает в недрах Отчих (Г.).

Бог есть любовь, а дьявол есть власть. И власть — это дьявол, и потому какое противоречие в словах «нести власти еще не от Бога» (З.).

Но ведь и в самом деле, дьявол сотворен, и власть сотворена, и всё от Бога, и всё должно быть понято в своей глубине... (Г.).

Власть должна быть просветлена любовью, и только тогда она справедлива, как Марфа, служащая любви, пока любовь еще не воцарилась всецело. Власть должна постоянно скидывать с себя царские одежды и отдавать их любви. Противопоставив себя любви, она вносит в мир дьявола и сама гибнет (З.).

Можно прибавить, что по большей части власть ближе к бесу, чем к благочестивой Марфе. Один раз в год византийский василевс умывал ноги нищим, а потом предавался суете и блуду.

8.XII.70. Если углубить любую великую доктрину, она где-то сойдется с другими. На последней глубине все веры, все нации, все личности сходятся, как ветки, сталкиваемые бурями, растут из одного ствола. Споры о символах и словах бесконечно далеки от Христа, от Будды, которых будто бы отстаивают.

³⁸ Наш друг, очень большой художник.

Джайнизм пробивает стену головой, буддизм проходит между атомами. Тихое размышление тем больше проникает вглубь бытия, чем больше оно освобождается от захваченности своим усилием, от своего рода корысти ума, оставаясь в то же время бодрым и полным сил.

Буддизм отрицает обыденное я, поверхностное я, и в форме не-я (анатта) пробивает путь к глубинно личному, глубинно свободному. Христианство исходит из уже рожденной личности. Отсюда различия языка при сходстве сути. По сути буддизм сходится и со своим непосредственным наследником, адвайта-ведантой. Атман — положительное название отрицательного (по отношению к сансаре, к суете) бытия, глубокого бытия — небытия. [Можно прибавить, что у Будды была своя формула личности, опирающейся на глубину: кто видит меня, видит дхарму; кто видит дхарму, видит меня. — 2.10.03]

13.XII.70. Буддизм — тихое размышление, уходящее вглубь бытия тем больше, чем меньше стремится к какой бы то ни было цели. Состояние внутренней полноты без всякой цели. В дзэн из этого растет готовое к прыжку действие.

Это состояние духа, совершенно совместимое с христианством. Мешает только слишком серьезное значение, которое придается словам и символам. [Велика ли сущностная разница между отрешенностью Экхарта и нирваной? Судзуки признавал Экхарта своим. — 28.09.03]

Мифопоэтическое мышление не умерло. Оно прошло несколько ступеней, создало несколько форм: идола, икону, сунский пейзаж — и может быть найдет новые формы. Но на каждой своей ступени мифы, открывающие глубину, противостоят подделкам, обманывающим массовое сознание.

Логико-постулативное мышление разворачивает клубы ассоциаций в атомарные факты и связывает их в системы [противостоящие другим системам. — 28.09.03]. Ипостасное мышление сворачивает мир вновь. Его грамматика: единственность, равночестность, неслиянность — нераздельность. Но логика не отменяется, у нее есть свое царство [и иногда она помогает сердцу отличать Молоха от Христа, пробиваясь сквозь путаницу символов. — 28.09.03].

Хамдани (1098—1131) считал, что «вечное знание не сознает частностей». [Это, может быть, слишком резко. Не лучше ли сказать: витает над частностями? Но иной раз, по своей непостижимой воле, спускается в частности — и самодержавно присоединяется к меньшинству против большинства, нарушает привычки материи. Как, почему — для нас непонятно. И непонятно, как Бог страдает вместе со всякой тварью и не прекращает этого страдания, повсеместного, всеобщего — хотя вдруг, иногда, может спасти. Я верю Зине, что сердце Бога — во всем, что без пылинки живого Бог не был бы всецелым. Почему же не вмешивается Божий разум в наши мерзости? Из уважения к нашей свободе воли?

Вопрос остается открытым. И кажется навечно открытым. — 28.09.03]

1.Ш.71. Мне приснился сон, что всякое частное знание неистинно. Запомнилась почему-то эстетика, но во сне прошли перед глазами и другие науки. Удивительна ясность видения. Я ощущал отвлеченную проблему так ясно, словно это был цветок.

Утром подумал: отдельные науки относятся к действительному знанию, как вспомогательные исторические дисциплины к истории. Но целостное знание истории остается чем-то вечно незавершенным...

18.Ш.71. Многие горячие сторонники внешних перемен кончают тем, что эмигрируют. Это как бы реализация метафоры, обнаружение внешнего пласта бытия, в котором они жили. [Жили во внешнем и внешне переместились. — 28.09.03] Гораздо глубже внутренняя свобода. [Достойнее побеждать условия места и времени, чем бежать от них, впрочем — пока хватает сил.

Другое дело — если не хватит сил. Может быть, и мне не хватит. Но будем честными: эмиграция — это признание своего поражения. Я все еще, на свой тихий лад, борюсь с судьбой. И я думаю, что при очень больших физических силах мог бы выдержать сто лет. Или, по крайней мере, 20 лет. Если бы мне сейчас было 34. — 28.09.03]

21.Ш.71. Национализм Палиевского напоминает лагерный «сеанс». Он ставит перед собой (мысленно) образ еврея и (опять-таки мысленно) пытается вызвать подобие страсти, с которой крымский татарин жаждет Крыма и ненавидит людей, не пускающих его в Крым.

23.Ш.71. Науки все время отказываются от тайны, не поддающейся анализу, во имя ясности и доказательности отказываются от Истины в евангельском смысле, от целостной истины сердца — во имя множества полезных и интересных истин. С такой же неудержимостью отрекается от науки стремление к незримому целому. Но жизнь все время соединяет логически несовместимое. И в паузах «правильного», логически организованного текста, [в его ритмическом подтексте. — 2003] слышится невысказанное, таинственное, [цельное и] простое.

29.Ш.71. У ребенка есть чувство кожи, которое связывает с матерью или с няней [или с любой женщиной, к которой «идут» дети, как к Ольге Шатуновской. — 2003]. У африканских негров чувство кожи со всем своим родом и иногда до старости. Это не половое чувство, а что-то гораздо более широкое. Женщины и негры здесь «правильнее», чем интеллектуалы, [для которых «Другой — недопустимый скандал». — 2003]. Нелепо считать скрытыми лесбиянками подруг, обнимающих друг друга, или нежность матери с взрослой дочерью [и в подобном же, но более редком отношении сына к матери находить эдипов комплекс, а в глубокой любви к собаке — неосознанное скотоложество. — 2003]. Рублев и Дионисий рисуют святых жен как лепестки одного цветка — два, три лепестка, срощенные вместе. [Меня натолкнул на это Грэм Грин,

заметивший, что молодые негры ходят, взяв друг друга за руки, но то, что у меня стало складываться, шире единичного наблюдения. — 2003]

Когда половое желание связывает мужчину с женщиной, с которой у него нет и не возникает чувства кожи, то из этой связи ничего хорошего не выйдет. Удаются только те браки, в которых внезапно (как у Ромео и Джульетты) или постепенно, годами восстанавливается, воскресает детское чувство кожи. На нем они и держатся. Потому что половой порыв в узком смысле слова длится несколько минут и воспоминание о нем или предвкушение его [без разлитости в чувстве кожи] никогда не достаточны, чтобы помешать ссорам и разрыву. [Только чувство: наша любовь больше, чем то, о чем мы спорим. — 2003]

Когда говорят, что мужчина и женщина спят вместе, это не эвфемизм. Это гораздо более точное описание, чем мнимо точная терминология половой связи. Они спят вместе. У них возникает общее чувство кожи. В конце концов — такое же, как у детей, у которых половое чувство еще не проснулось. И оно остается на старости лет, когда половые порывы засыпают, поэтому в конце концов все равно, отчего возникло это чувство кожи. Участвовали в этом необычайные взрывы блаженства на вершине страсти или взрывов не было, а было постепенное тяготение всего существа, до его тончайших духовных сфер. В конце концов, возникает чувство духовной и в то же время эротической связи, союз в духе и истине и в причастии «телу и крови» близости. И оставляет Адам отца и мать свою и прилепляется к жене своей, и становятся единой плотью. Не на ночь, не на месяц, а на всю жизнь. [И это святой долг не потому, что он связан обрядом, а потому что Богом задано людям создать святое семейство, чтобы в нем росли дети, сознающие в себе образ Божий. — 29.09.03]

[Дополнение 2003 г. Перечитывая записную книжку, которую чуть не выкинул, я подумал, что есть другое имя у «чувства кожи», более глубокое: чувство утробы-сердца. Еще в утробе младенец ощущает, как бьется сердце матери, и как за живой утробой, объемлющей его, объемлет его еще одна, бесконечная утроба космоса, и еще одна, выходящая за время и пространство, духовная утроба. Как об этом сказалось в «Даодецин», в прочтении какого-то китайского автора, имя которого я забыл: «Чрево (или утроба) таинственной кобылы — врата неба и земли». Младенец не обладает мудростью Лаоцзы, но он это чувствует.

И мать (или другая женщина, заменившая ребенку мать) — не просто женщина, а знак космической и святой защиты, и грудь, на которой затихают одинаково мальчик и девочка, и юбка, за которую они хватаются, встав на ноги, — аватара огромной, бесконечно мощной и благой силы. В какой-то сказке дети, узнав о светопреставлении, бегут к матери. Добежать до матери! а там уже мать как-нибудь разберется.

По-своему они правы. Так Богом задумано. Хотя не всегда их под-

хватывают Божьи руки. Бог положил себе правило: соблюдать созданные им привычки, иначе все созданное развалится. Только изредка Высшая воля находит щели в привычках материи и поддерживает невероятное. Но что бы ни выпало нам на долю, Бог вложил в каждое сердце волю создать святую пару, создать напряжение любви, в котором дети, вставая на свои ножки, находят перед глазами и в себе самих образ Божий. Как бы эти дети ни рождались, «животиком или сердцем», по выражению девочки, за развитием которой Зина следила.

Эта девочка уже в первые месяцы своей жизни, еще ничего не говоря, ликовала, как птица, отвечая солнцу, отвечая ласковому летнему ветру, приносившему запахи цветов. Ребенок, окруженный лаской природы, чувствует в ней (не сознавая словами) космическую утробу и скрытое за ней таинственное сердце. А через несколько лет может почувствовать и любовь, сотворившую мир. Как это передать в городе?

Примерно со школьного возраста мальчики начинают стыдиться телесных нежностей. Вместе с нежностями рушится много живых связей и с живой, и с незримой любовью. Представления о Боге, усвоенные на уровне слов, не могут этого заменить. Школу, сохраняющую в ребенке ребенка, помогая ему постепенно стать взрослым, можно только вообразить. Идеальную семью, с живым примером образа и подобию Божьего в родителях, — тоже трудно сыскать. Подростки дичают.

И вдруг возраст создает напряженное внимание к другому полу. Но оно совершенно разное у мальчиков и девочек. У девочек сохранилось чувство кожи, им хочется поцелуев и нежных ласк, а у мальчиков чувство кожи разрушено, возбуждаются только чресла, заставляют воображение рисовать сцены, которые к реальной девочке не прикладываются, стыдно приложить. И если сердце вдруг побеждает, приходит влюбленность, то «только утро любви хорошо, хороши только первые речи».

Надсону, написавшему эти строки, не приходило в голову, что он сам виноват в своих разочарованиях. Виновато и общество. Оно практически разрешало (и разрешает) грязным людям делиться своим грязным опытом, а чистый опыт считается тайной, ею как-то неудобно, неловко, не принято делиться. Героиня французского фильма «Дурная кровь» говорит мальчику, влюбленному в нее, что предпочитает пожилых мужчин. Остается в подтексте, почему: у них иногда возрождается опыт нежности, а у мальчиков никакого. И молодая женщина не может научить своего молодого мужа, она сама не знает, чему учить. Редко у кого сорвется талантливая фраза, которую мне недавно пересказали: «Я не сковородка! Нельзя меня ставить прямо на огонь!».

В среднестатистическом случае все острые углы стираются, сглаживаются — но вместе с ними исчезает напряженность любви. Влюбленность уступает место дружбе двух «товарищей по постели» (так выразился один мой друг). Но почему-то такие товарищества часто

кончатся разводом. Трудно человеку отказаться от надежды на счастье. И опять «только утро любви хорошо...». А потом «одну и ту же спичку дважды не зажигают» (И.М.¹).

Но вот случай, нарушающий среднестатистическое. В конце войны офицер получил отпуск. Что-то у него начиналось с девушкой еще до войны, они оба заждались, встретившись — сразу бросились друг другу в объятия. Не замечали, когда день сменялся ночью, не вылезали из постели, полуодетые, что-то глотали — и опять под одеяло. И вдруг он с ужасом почувствовал, что ничего не может. Девушка еще готова была продолжать, а он выдохся. Пришлось пойти к врачу. Врач, выслушав, велел до конца отпуска жить, как брат с сестрой, — иначе на всю жизнь можно стать импотентом. Перед отъездом не выдержали, но времени оставалось мало, до импотенции дело не дошло. А потом война отрезала продолжение. Офицер, с фронтовой лихостью, стоял возле танка, и немецкий бронебойный снаряд попал ему прямо в грудь.

В этой истории не было первых трудностей мальчиков и девочек, но сама удача оказалась трудным испытанием. Война, долгая разлука обострила напряжение, и острее выступило то, что бывает повседневно, в стертых, смазанных формах. У французов сложилась поговорка: «самое трудное препятствие любви, когда не остается никаких препятствий». Потому что тогда нужна сдержанность. Только сдержанная страсть из крика становится песней, музыкой осязания. А кому сдерживаться? Если женщине, то мужчине стыдно ее просить, он ведь сильный пол. Между тем, в отношениях со зрелой женщиной сила желаний на ее стороне. Древние римляне даже подсчитали численное соотношение (2:5). Если женщина не беременна, не кормит, не мать двадцати детей, то в книге Иисуса сына Сирахова это называется бесплодным чревом. Биологически активность такого чрева оправдана, естественна: бесплодное чрево стремится зачать, мать семейства не добродетельнее, она просто ото всего этого устала, и ей не стыдно попросить мужчину сдержаться, — сил нет, спать хочется. А мужчине стыдно сказать, что завтра будет голова трещать, он ведь скорее всего не читал «Опыты» Монтеня, где приводятся римские расчеты, он ду-

Ирина Муравьева.

мает, что это его личная слабость. Как признаться в этом любимой женщине, объятия которой — счастье? Мне, во всяком случае, очень трудно было признаться Ире. Хотя именно после моего признания нам стало по-настоящему хорошо. И вернулось чувство вечного смысла каждого прикосновения. Как в день, когда глаза впервые все сказали друг другу.

Святой Силуан писал: «Кушать надо столько, чтобы потом хотелось молиться». Это не только про еду, а про всё. Екатерина Колышкина и Эд

Дохерти после каждой брачной ночи ходили к причастию. И я думаю, сознание, что после ночи будет священное утро, придавало свою священную форму и ночи. Обряд любви, — если это действительно обряд, причастие любви, — так же не требует немедленного повторения, как церковный обряд. Он один надолго.

Так же долго впечатление от музыки осязания, откуда бы она ни взялась, как бы ни родилась. Сохранилось письмо Шопена Жорж Занд, посланное вместе с нотами ноктюрна. Ноктюрн передал звуками память только что проведенной ночи. И обе музыки были нагружены всем напряжением любви, как просфора — всей верой.

Напряжение любви, не ждущей и не жаждущей развязки, можно назвать любовным созерцанием, воскресающим подобием созерцания влюбленных.

По идее, чувственная развязка должна вырастать из созерцания и растворяться в нем. Тогда любящие созерцают друг в друге что-то большее, чем они сами.

Индийская традиция признает совершенную любовь мужчины и женщины одним из путей к Богу, путем к вселенской Любви через земное ее воплощение. Но это не единственный путь к счастью, как в современном безбожии, и не единственный путь к переживанию утробы сердца, охватывающей вселенную. Путей много, и ищущий святости должен найти свой. Для пути любви нужен дар нежности, для пути аскета — дар суровой воли. Незачем мучить себя по чужому подобию. Святая семья так же нужна в хозяйстве Бога, как святое одиночество старца, сохраняющее свой смысл и рядом с семьей, и после семьи, как это было в обычаях брахманов, — или в другом порядке, когда после юношеской аскезы человек созревает для отдачи себя в любви (таким мог быть путь Мерттона, если бы ему не помешали обеты). Я думаю, вместе с Рютер (корреспонденткой Мерттона), что «одиночество и отрешенность должны стать не пожизненной профессией, а частью общего большого ритма жизни». И не только думаю: я пережил лагерную отрешенность, прежде чем созрел для любви. — 2003].

20У.71. Дао — образ Бога в природе. Будда и Христос — образы людей, наполненных той же незримой силой. И сила эта, на человеческом языке, — Любовь [ред. 2003].

2УП.71. Дело не в нравственном мужестве, В.М. — человек отличного мужества (о М.З. и говорить нечего). Тут иное. Тут две разные ситуации, обе требующие мужества, но по-разному. В одном случае ясно, что делать. Может быть успех, может быть катастрофа, но довольно и того, что успех возможен и принципы ясны. Такая ситуация влечет к себе людей вроде В.М., прямолинейного, как стрела. А я что-то теряю.

В другом случае совершенно неясно, что делать. Тупик, бездна. И меня тянет к этому. Меня всю жизнь влекли к себе неразрешимые во-

просы, безнадежные ситуации. Не из чувства долга, а просто так. Может быть, потому что такие ситуации обнажают основное в бытии и помогают видеть в изломах будничного — вечное. И мне будет жаль, если события вытолкнут меня из омута. У меня есть жабры, я как-то дышу в омуте. Но события выталкивают и могут вытолкнуть. И потому от сумы (на этот раз дорожной) и от тюрьмы не зарекайся...

30. УШ. 71. Я показывал гостям, как красиво горит костер, и испытал чувство кощунства. Как если бы пригласил любоваться изяществом линий иконы. Костер для меня — икона. Образ внутреннего пламени. Так я, ты, он должны вспыхнуть. Образ внутреннего горения, безвозвратной жертвы. Где-то по соседству с костром — проповедь Экхарта («ибо сильна как смерть любовь»); пляска Шивы на развалинах вселенной; образ Иры в пламени, явившейся мне после похорон...

12. X. 71. Когда культура расшатывается, остаются крайности: Бог и йеху. Достаточно следа молитвенного усилия, чтобы не становиться на четвереньки. Но сейчас иногда кажется, что и след простыл.

17. X. 71. Жизнь человека — это прощанье с временем и нарастающее прикосновение к вечности. Как в прощании с мостами у Тикамацу и в письме Фумико у Кавабаты.

Обычный образ вечности — камень на могиле или вершины гор. Камень долговечнее человека, но он вовсе не вечен. Он весь во времени, очень долгом, но только времени. А жизнь может быть мимолетной, как вьюнок, как бабочка, но в ней всегда есть прикосновение к вечности, победа над вечной смертью скал. И человек способен осознать свою «природу Будды», созерцая, как ветер сдувает цветок сливы.

19. X. 71. На краю бездны человеческое приобретает новую ценность: отдыха на пути в Египет.

13. XI. 71. Вересаевское недоумение перед Пушкиным в двух планах может быть истолковано как чередование реакций внутреннего и внешнего человека, на глубинном и на поверхностном уровне. Первое движение сердца вовсе не всегда самое благородное. У Пушкина бурная реакция «внешнего» человека часто заслоняла внутреннего. И по горячим следам Пушкин писал эпиграммы (и вызовы на дуэль), а не лучшие свои стихи. А потом, в тишине, начинал звучать внутренний голос, и Пушкин писал «Я помню чудное мгновенье...».

Страсти бывают и поэтическими, и похабными. Никаких гарантий поэтичности первого отклика нет. Но и обратно: нет никаких гарантий, что страстное годится только в корзину. Лермонтов почти все писал страстно. И все же лучшее и у него — от тихих минут («Выхожу один я на дорогу...»). ...

В больших сочинениях, в целом глубоких, прорывается вдруг эпиграмма:

...и Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными
стихами Несчастье невыхских
берегов.

Здесь всё — с точностью до наоборот и подчеркивает, что некоторые частности в поэте нельзя принимать всерьез, что они — дань стилю («Покойный царь тогда Россией со славой правил.»). И вся эта двойная ирония в тексте, дух которого совершенно строго возвышенный. А в «Гаврилиаде» с пера гения нечаянно соскочило несколько прекрасных стихов.

Перерывы постепенности. Видимые неудачи: как дырки в пространствах иконы. Перерывы, в которых обнаруживается непрерывность Бога. Перерывы движения по поверхности, чтобы виден был центр колеса. И обратно к ободу — но уже зная центр.

Новое время устремилось к непрерывности внешнего и замыкает внешнее в огромные замкнутые системы. [А у Достоевского снова дырки и в них что-то выглядывает с того света. — *1.10.03*]. [Что эти дырки, разрушавшие реализм, реальны, показал XX век. — *1.10.03*]

18. XI. 2,5 тысячи лет мифы были коллективными и через них пробивалась индивидуальная философская мысль. Сейчас царят коллективные наукообразные стереотипы и через них пробивается индивидуальное мифотворчество. Достоевский только начал это.

Личностное мышление, как правило, выбирает форму, противоположную массовой, стереотипной. Но у гения эта противоположность не становится новым стереотипом.

5.XI.71. Крест — тоже коан. Тот самый единственный коан, в который надо вдумываться всю жизнь. Франциск, углубившийся в созерцание креста до стигматов, так же решал свой коан, как и Хакуин.

7.XI.71. Закончился ли процесс сапиентизации? Может быть, следующий шаг — обожение, просветление, преображение. И то, что донесли до нас христианская и буддийская традиции, — это первые крики Нового Адама.

7.XI.71. Мы как в вагоне, движущемся в пропасть. Надо вспомнить, где тормоз, но никто не в силах сосредоточиться.

10.XI.71. Если бы Иисус пришел не в Иудею, а Будда — не в Индию, если бы они явились скифам и сарматам — их бы не узнали, и никто бы их сейчас не помнил. Слову должно предшествовать томление. Хотя бы нескольких учеников.

Удивляются, что Иудея не приняла Христа, Индия отвергла Будду. Надо удивляться другому — что за ними пошли толпы учеников. Сейчас этих толп нет, толпятся — на стадионах.

12.XI.71. Ипостаси — образы духовной плоти. Переходя от одной к

другой, медитация будит отклик, как нежность будит женщину, пока не откликнется. И тогда во время входит вечность, и внутренний человек подает свой голос, и шевелится в чреве Новый Адам.

16. *XII.71.* Каждый коан — загадка, заданная внешнему человеку, и все они об одном, о тайне внутреннего. Как может Царствие Божие — и сам Бог — оказаться внутри нас? Как это Атман един с Брахманом? [И помраченное сознание — только оболочка этого ореха? — 2003]

16. *XII.71.* Иногда охватывает чувство покаяния перед внутренним человеком. Я так часто заставлял его задыхаться под своими тяжелыми мыслями, под пластами старой грязи, выросшей в душе.

Наверное, это покаяние — одна из первых заповедей [для тех, кто почувствовал в себе внутреннего человека. — 1.10.03].

17. *XII.71.* Глядеть в суть вещей и не пытаться удержать падающих листьев...

18. *XII.71.* Я преклоняюсь перед душевной энергией Солженицына. Но она часто устремляется на внешнее, а не к собственной глубине. В первых рассказах, в «Раковом корпусе» господствовало открытие глубины, того, что меня больше всего волнует: соединение силы с нежностью. Есть желание тишины и нежности, но слишком много вещей вызывает ярость, пену на губах — и от тишины и нежности ничего не остается.

18. *XII.71.* Бог не может не идти на распятие. То, что Иисуса распяли, сперва не казалось ученикам самым главным, и символом христиан была рыба. Но постепенно крест вышел на первое место. Дело очевидно не в факте (факт ученики знали с самого начала и чувствовали острее потомков). Распятие дало толчок подсознанию, и из него вырос миф. Целостность бытия влезает только в миф. Множественное рвет единое на части, как менады — Орфея, распинает его, как Христа. Бог отдает себя на растерзание, и на этом держится вся игра деталей, прелесть и блеск мира. Праджapati приносит себя в жертву самому себе, и возникает вселенная.

19. *XII.71.* Бороться со злом. Но не до того, чтобы разбить зеркало тишины: в него смотрится Бог. Без его отражения зло поселится в самом тебе.

Чтобы не повредить зеркала, приходится оставлять зло недобитым, недокорчеванным.

Может быть, поэтому и Бог оставляет зло в мире, не выдергивает всех корешков зла. Выкорчевать все без остатка — идея дьявола, идея «окончательного решения...». [Окончательное решение всех проблем жизни — смерть. — 1.10.03]

3.1.72. Ночью у меня было видение: множество, может быть, тысяча, рыжих тигриных морд, обступивших меня со всех сторон. И это был лик дьявола. Я тут очень ощутил силу дьявола. А Бог — это тишина. Дьявол одерживает победы. А Бог не побеждает, он терпит поражения, его распинают, но от поражений он становится (как Мышкин от пощечины

Гани) еще тише, еще вездесущее и еще мощнее.

3.1.72. Почему С.А. считает, что достойнее подходить к Богу по-христиански? Я способен здесь понять только одно: что-то таинственное, отразившееся в истории распятия, — самое главное в бытии. Мы постоянно распинаем в себе зародыш просветленного, внутреннейшего человека, агнца Божьего. Что-то об этом сказано во всех великих религиях. Но слова о распятии — самые сильные.

И тогда прояснится, что внешнее поражение может быть внутренней — а потом и внешней — победой.

18.1.72. Зинин афоризм: «Когда народ поверит в Бога, Бог дает ему землю обетованную; когда народ поверит в землю обетованную, она выскальзывает из-под ног».

Это относится не только к евреям. Землей обетованной может быть и церковь, и многое другое. Принять то, на что упал свет, за сам свет — начало идолопоклонства.

21.1.72. Есть много способов избежать трудностей любви, но в принципе все их можно свести к двум. Первый предложен исламом. Женщина закутывается в паранджу, все, способное вызвать чувственное раздражение, изгоняется из общественной жизни и заключается в гарем. А в гареме никаких препятствий для мужчины нет, и желание, легко удовлетворенное, не нарушает покоя. Что касается женщины, то ее здесь не спрашивают.

Мужчина кажется в полном выигрыше. На самом деле, ограниченность женщины, неразвитость души рабыни, оказывается проигрышем и для хозяина. Ему нечего любить [любить глубиной души], не в чем увидеть образ Божий, не во что выйти из самого себя [из своей мужественности]. Действительная любовь пробивается в этот мир украдкой, когда женщина, под образом внешнего рабства, оказывается внутренне свободной («Белянка» Низами и «Украшение дворца»). Но это такая же редкость, как найти на улице слиток золота.

Другой путь предложен современной модой. В парандже женщина упакована, как товар, который продан и ждет отправки хозяину. В современной раздежке он на витрине. Это гарем со днем открытых дверей и кинорекламой. В обоих случаях мужчина привлекается к заду и другим округлостям, распалюющим чувственность. Паранджа даже духовнее: она до поры до времени выставляет глаза. В обоих случаях внутренний человек (и в мужчине, и в женщине) распят и раздавлен.

В противоположность этому, Рильке говорит о грузе пола, который мужчины и женщины вместе должны научиться нести. Человек здесь интуитивно берется как внутренний, внутреннейший, духовный, на котором плоть — одежда, на одном отцовская, на другом материнская одежда, которая не проклинаяется, не иссушается, а просветляется любовью, так что она становится совершенно прозрачной:

О одеяние, скрытое под наготою!
 О нагота, постоянно одетая в свет!

21.1.72. В любви все на служении друг другу, и мужчина отдается женщине может быть больше, чем она — ему, именно потому, что он внешне активен [и значит меньше возможностей остается для созерцания любви. — 2003]. Но в каждую секунду близости он прислушивается к любимой и думает о том, что чувствует она, больше, чем о себе. Иначе плоть победила любовь, иначе выходит та потеря себя в полной близости, о которой писала Марина Цветаева.

Я это инстинктивно, каким-то поворотом генов чувствовал и не мог прикоснуться к женщине для собственного удовольствия; хотя много раз переживал это в воображении и эротические образы с 15 лет толпились у меня в голове. Мне было очень трудно. Меня мучило всё то, что обыкновенно мучает мальчиков лет с 15-ти. Но как только я оказывался в обществе девушки, которая могла бы удовлетворить мое желание и возможно даже хотела этого, — хотела игры в любовь, которая этим бы кончилась, — я решительно терял свою воображаемую агрессивность. И несколько раз в жизни я разыгрывал сцену Иосифа с женой Потифара. [Я не мог играть в любовь, которой не было, и не мог прикоснуться к женщине без любви. — 2003] Зато в браке по любви я был очень счастлив. До переживаний, которые даже в книжках редко описываются.

[Может быть, стыдно об этом говорить, но нужен, в конце концов, современный пример в духе старых книг, а то современная пошлость все поглотит. Я не переставал чувствовать сердца любимой, не переставал сердцем думать о ней как о духовном существе, «когда не думает никто» и обнажает перед женщиной «звериный оскал тигра» (Цветаева). И потому любовь моя не изнашивалась, не глохла вместе с кипением крови]. Глядя как разваливаются вокруг браки и как несчастны люди, жившие «как все», я думаю, что все они отклонились от нормы, а я просто-напросто нормален. Хотя прибился к своей норме годам к 35.

27.1.72. Китайская цивилизация — единственная, в которой вершина священного — туманное Дао и нельзя обращаться к ней как возлюбленному, чье место небесного жениха заняли водопад и кривая сосна в тумане. Рост вкуса к китайской [и японской] живописи говорит, может быть, о бессознательном разочаровании в десакрализованном сексе и заодно в эротических образах священного. Последнее уже лишне. Бог может присутствовать в объятиях мужчины и женщины не меньше, чем в церкви.

14.Ш. 72. В болезни я как-то взглянул на мир глазами Бога и почувствовал, что одни дети его радуют. Из взрослых — очень немногие. Если Бог не разрушает неудавшегося мира, то больше всего — из-за детей.

Сорадоваться Богу в Его творении — это долг, который дети бес-

сознательно выполняют. А мы, взрослые, за редкими исключениями, не выполняем и придумываем вместо этого путаные теории.

Христианство без «языческой» радости, без ликования ангелов моцартовской мессы — не та вера, которую исповедовал Христос. Религия слез — такая же односторонность, как религия без слез. О слезах и радости хорошо говорит Хромоножка в «Бесах»...

19. III.72. Все равно, с чего начинать — с гимна брату солнцу и потом к стигматам или от слез к радости. Детская душа начинает с радости, грешная — со слез. Но неизменно должны слиться радость и слезы — и тогда придет третья: содействие. Как Михаил и Павел содействуют Спасу в звенигородском чине.

Внутренний человек знает — смутно или ясно, но знает — светлую тайну священного, [тайну любви. — 2003]. Не знает путей ее, не исследует ее глубины, но знает: сорадоваться, сострадать, содействовать, [идти по Божьему следу. — 2003].

8.IV.72. Интересно, как герои Солженицына в «Августе» не замечают, что победа над Наполеоном принесла военные поселения, а поражение под Севастополем — отмену крепостного права. И почему сдача Севастополя больший позор, чем сохранение до 1861 г. крещенной собственности? И сдача Порт-Артура больший позор, чем столыпинский галстук или дело Бейлиса? И почему нельзя желать меньшего позора, военного, чтобы спастись от большего?

Добро бы один Воротынцев так думал (кадровый военный, кто о чем — он про свое), но ведь и Варсонофий премудрый его поддерживает и все положительные герои. Как будто война в самом деле шла за то, чтобы «сломить хребет России» — а не за то, чтобы все три столкнувшиеся империи погибли, потому что настал им срок, и настал срок европейскому преобладанию в мире, и европейцы обречены были в бессмысленной бойне сбить друг с друга спесь, накопленную в XIX веке, и проложить дорогу «цветным».

В «Августе» удивительно не чувствуется густой запах абсурда, нависший над полями битв. Почему? Потому что про абсурдность мировой войны говорил Ленин? И нельзя допустить, чтобы Ленин хоть в чем-то был прав? А как быть с Ремарком, Олдингтоном, Хемингуэем? Или они тоже большевики?

9. ^72. Если Солженицын любит генерала Самсонова и заставляет читателя любить его (главы о смерти Самсонова — лучшее, что есть в «Августе»), — то неудивительно, что народ любит генералиссимуса Сталина. Самсонов не сумел разбить немцев, а Сталин сумел, и Пруссию отрезал, и Берлин взял. Правда, Самсонов был безвреден для русской культуры, а канибалиссимус ее почти ликвидировал (и этим, между прочим, «пробил хребет» русской нации, а не сдачей нескольких территорий и взятием их обратно). Но народ часто видит славу своей

нации в громе военных побед...

9.^.72. Россия всегда не только Россия. Это империя, которой правят русские плюс еще кто-то. Плюс татары, плюс немцы, плюс евреи (1917—1927). А потом антинемецкие и антиеврейские чувства. Борьба с самим собой — имперским как с Другим. И признания Другого как матушки Екатерины и отца и учителя Сталина. Что здесь — порыв к самому себе, к собственной почве? И что — попытка уйти от самого себя, вселиться в семипудовую купчиху и поверить во все, что она верит?

16.1У.72. Чувство, заставившее Солженицына зарыться в рязанскую деревню, можно понять. Но мысль не обязательно должна следовать за чувством. Остатки русской деревни дали материал для нескольких хороших повестей, но сами эти повести говорят, что в деревне мало что осталось. Даже если встать на точку зрения этнографа, которому всякое лыко в строку, то гораздо меньше, чем в Африке. [Надо собрать то, что осталось, вдумываться в него, но основной корпус русской культуры XIX—XX вв. очень мало этнографичен. — 2003] Русская культура строится не так, как украинская, в ней основное место занимает взятое в Европе и приспособленное к себе европейское, [т. е. сплетенный из европейских нитей русско-европейский ковер. — 2003]. Россия — мировая нация, расположенная между Европой и Китаем, может стать полем битвы мировых сил или мостом между ними, но она не может выключиться из исторического водоворота и превратиться в подобие Испании (с катаньем на тройках вместо боя быков).

Без попытки решать по-своему всемирные вопросы Россия и в национальном смысле, с национальной точки зрения не состоится. Я говорю, конечно, не о вмешательстве в чужие дела, а о вселенской боли, вселенской заботе.

Возрождение русской культуры невозможно без «всемирной отзывчивости», открытости к тому, чем дышит весь мир. А национальное своеобразие само собой выйдет. [Я не стараюсь быть оригинальным, стараюсь просто сказать свою правду, всю правду, какая видна с моей точки зрения. И национальная культура так же. Свой угол зрения нам почти что задан, но интересен он другим только тогда, если вы со своей точки зрения увидели другого так, как он сам себя не увидел. — 2003]. Думайте о Боге, пишите по-русски, и без всяких лишних и ненужных завитушек получится продолжение традиций, о которых вы заботитесь. Живите глубже, свободнее — вот самая важная традиция. И ее надо искать в себе самом, где бы вы ни жили, в деревне или в городе.

24.1У.72. Деревья всегда были торжественны, как на похоронах. Они останутся, наверное, и тогда, если мы все исчезнем, [если, конечно, мы не сотворим «атомную ночь». — 2003].

24.1У.72. Отношение русской иконописи XV в. или русской литературы XIX в. к русской истории примерно такое же, как у Библии к

истории евреев. История не очень хорошая, гораздо поучительнее история греков и римлян, англичан и французов. Но неудавшаяся цивилизация, неуменье устроиться на земле дают иногда огромный духовный отклик. И этот отклик золотит прошлое, которое само по себе совсем не золотое.

1. У1.72. Инцидент в израильском аэропорту. Три японца (из крайне левых) открыли пальбу по пассажирам, перебили или перекалечили около ста человек (главным образом паломников), сами погибли. Еще одно доказательство, что нельзя решить еврейский вопрос отдельно от всех других вопросов. Пока мир безумен, не может быть покоя на Ближнем Востоке. И пока мир безумен, надо лечить мир в целом. Местные решения — паллиативы, временки. Я не говорю, что они не нужны. Симптомы болезни надо снимать. Но судьба евреев неотделима от судьбы [средиземноморской] цивилизации, всей цивилизации. А цивилизация вся больна.

Поэтому реконструкция Иерусалима, даже очень успешная, меня слабо утешает. Когда человек тяжело, может быть, смертельно болен, нелепо вкладывать все силы в лечение пальца и с блеском вылечить его — накануне инфаркта. Национальный очаг, построенный на краю порохового погреба, взлетит в воздух, если в погребе будут курить и жечь костры. И все равно, где жить: в Москве или в Тель-Авиве. Главная задача всюду одна, чтобы мир в целом перестал быть пороховым погребом...

Почвенничество об этом забывает. Всякое почвенничество — и русское, и еврейское. Оно предоставляет миру катиться по наклонной плоскости и занимается своими делами. На первый взгляд, очень просто, понятно, сближает интеллигенцию с массами и т. п. Массы дальнего собственного носа не видят и другого не поймут. А потом — 1e de1иŕe¹.

Те, кто хотят смерти, уже солидарны:

Пусть земле под ножами попомнится,
Кого хотела опошлить!..

А те, кто хотят жизни, восстанавливают каждый свое гнездо. Так может победить только смерть.

Судьба человечества на совести интеллигенции. Нельзя ничего спрашивать с Иванов Денисовичей. Они не ведают, что творят. Но интеллигенция должна сорвать покров святости со слов, которые оправдывают насилие. Раньше это было слово «вера», потом «класс», а сейчас все больше «нация»: национально-освободительный фронт, национально-освободительное движение и т. п. И раз национально-освободительное, то стреляют, куда попало. История все спишет и сделает тебя героем.

Может быть, когда-то все эти слова, окруженные нимбами, были нужны. Но сейчас они убийственны. Сейчас интеллигенция призвана внести в мир сознание того, что есть (в понимании Кришнамурти),

Сущего, помимо всех разъединяющих символов...

21.У1.72. Анализ ^ио включает в нашей стране чтение того, что интересно (была бы энергия доставать и читать; даже в Бузулуке читают Вл. Соловьева), обмен мыслями (были бы мысли), помощь товарищам (была бы охота). Это положение, вероятно, удастся сохранить (при каких-то усилиях и жертвах). Но нелепо бороться за свободу уличных шествий в столице страны, 50 % которой не принадлежит к господствующей нации. Подавляющее большинство русского народа не хочет большего самоопределения окраин и охотно мирится с ограничениями свободы, без которой нынешняя ситуация невыносима. И пока это так, остается жить при нынешнем уровне внешней свободы и в этих условиях делать то, что вообще нужно: искать внутреннюю свободу. Это во всяком случае пригодится. И если история будет иметь разумное продолжение, и если она прекратится или прыгнет совсем неожиданно в сторону.

Во внешнем — никаких перспектив. Только оборона, сохранение того, что стало привычкой, потребностью. Экспансия ближайших десятилетий возможна только в одном направлении: внутрь.

23.У1.72. Когда Петр Григорьевич Григоренко начал борьбу за права человека, его поддержали два народа: крымских татар и немцев Поволжья. Татарам хотелось в Крым, немцам — не знаю куда. Остальным ³⁹ никуда не хотелось. Единственная форма народного движения, которое сегодня то тлеет, то вспыхивает, это столкновения русских с нерусскими, армян с азербайджанцами, узбеков с таджиками и т.п. Вплоть до споров эрзя лесных с эрзя луговыми. Во всем этом я могу участвовать только как санитар в сумасшедшем доме.

16.КЛ.72. Хотя бы краешек внешней свободы и свет, свет радости или свет страдания, все равно. Свет жизни.

Оставаться больно и уезжать больно. Что бы ни делать — больно и будет еще больнее. От этого не уйдешь, как от возраста. И остается вспомнить Блайса¹: дзен не про то, как выигрывать, а что все равно, выигрывать или проигрывать.

22.УЛ.72. Куда можно уехать от светопредставления? И где от него отсидеться? ⁴⁰

³⁹ Потоп (*франц.*): аргёш пош 1е дё1ише (после нас хоть потоп).

⁴⁰ Блайс. Мумокан. 48 классических коанов дзен.

Библиография книг Г.С. Померанца

1. Неопубликованное. Мюнхен: Посев, 1972.
2. Сны Земли (статьи о России). Париж: Поиски, 1985; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2004 (серия «Российские Пропилеи»); 3-е изд. — М.; СПб., 2013 (серия «Российские Пропилеи»).
3. Открытость бездне. Этюды о Достоевском. Нью-Йорк: Либерти, 1989.
4. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: Советский писатель, 1990; 2-е, дополненное изд. — М.: РОССПЭН, 2003 (серия «Российские Пропилеи»). 3-е изд. — Центр гуманитарных инициатив, 2013 (серия «Российские Пропилеи»).
5. Собрание себя. М.: ДОК, 1993; 2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013 (серия «НиташГаз»).
6. «Русское богатство», № 2(6). Журнал одного автора. М., 1994.
7. Выход из трансa. М.: Юрист, 1995; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2010 (серия «Российские Пропилеи»).
8. Записки гадкого утенка. М.: Московский рабочий, 1995; 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2003 (серия «Зерно вечности»); 3-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012 (серия «НиташГаз»).
9. Великие религии мира (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: Рапол, 1995; 2-е изд. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001; 3-е изд. — М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006 (серия «НиташГаз»); 4-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012 (серия «НиташГаз»).
10. Страстная односторонность и бесстрашие духа. М.; СПб.: Университетская книга, 1998 (серия «Российские Пропилеи»); 2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2014 (серия «Российские Пропилеи»).
11. Тринитарное мышление и современность (*совместно с М. Курочкиной*). М.: Фантом пресс, 2000.
12. В тени Вавилонской башни (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: РОССПЭН, 2004 (серия «НиташГаз»); 2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012 (серия «НиташГаз»).

13. Следствие ведет каторжанка (расследование О.Г. Шатуновской убийства Кирова, преступлений Большого террора). М.: Независимое изд-во «Пик», 2004 («Антология выстаивания и преображения»); 2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2014 (серия «Письмена времени»).

14. Невидимый противовес. Лекции, прочитанные на рубеже веков (*совместно с З.А. Миркиной*). М.: Независимое изд-во «Пик», 2005 («Антология выстаивания и преображения»).

15. Дороги духа и зигзаги истории. М.: РОССПЭН, 2008 (серия «Российские Пропилеи»); 2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013 (серия «Российские Пропилеи»).

16. Работа любви. Лекции, прочитанные на рубеже веков (*совместно с З.А. Миркиной*). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013 (серия «Нитапказ»).

17. Спор цивилизаций и диалог культур. (Лекции и статьи нулевых годов) (*совместно с З.А. Миркиной*). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014 (серия «Нитапказ»).

Содержание

Предисловие. <i>Зинаида Миркина</i>	5
Григорий Померанц	
Современный спор цивилизаций	
<i>Григорий Померанц. Закаты и зори цивилизаций</i>	9
<i>Зинаида Миркина. Великий вызов</i>	13
Парадокс Бухмана и диалог культур	18
Вдохновение пророков и молчание мистиков	27
Черная харизма	31
Девиз рыцарей культуры	37
Несколько касательных к кругу правды	41
Новая жизнь старого жанра	49
Сквозь облако мифов	67
Бдительный страж Целого	71
С любовью и без любви	74
Послесловие к трагедии	76
Профессия неудачника: жизненная мозаика (Воспоминания о ФБОН)	81
Три дороги вглубь	90
О подлости, о доблести, о славе	94
Прошлое и будущее России	113
Творчество и нажива	116
Два этюда о Марии и Марфе	
1. Какая элита нужна России?	120
2. Школа в джунглях принципов	125
Вселенское дыхание	
<i>Григорий Померанц. «Я» без скорлупы</i>	130
<i>Зинаида Миркина. Ром зспрШт. «Без скорлупы»</i>	137
Благодатное присутствие и богооставленность	143
В поисках творческого меньшинства	153
«И стали они единой плотью»	161
Религия и культура в становлении личности и культурного круга	164
Тихое струение	173
В обществе икон	
<i>Григорий Померанц</i>	181
<i>Зинаида Миркина</i>	187
На возврате к традиции	194
Долгий путь к свободе	200
Поиски русской ментальности	206

Становление личности сквозь террор и войну	210
Запоздалая тень Победы	226
Поворот «всем вдруг»	238
Проблески	
Новый Левиафан?	241
Продолжение темы Левиафана	244
Чужое горе	
<i>Григорий Померанц</i>	248
<i>Зинаида Миркина</i>	255
Наши университеты	262
О духе цивилизации	266
Зинаида Миркина	
Струна Давидова	275
Да святится имя Твое	284
Трагический поэт и неутомимый мечтатель	
(Борис Чичибабин)	288
О вечности и о времени, или О чем говорит Моцарт	293
Встреча одиночеств	297
Пророки и переводчики	306
Смысл красоты	313
По Божьему следу	323
По образу и подобию	331
О благодатном присутствии и богооставленности	337
Мистицизм и религия	342
<i>Григорий Померанц</i> . Религии на Страшном суде	352
О вере, сомнениях и первородном грехе	359
Обнажившимся сердцем	366
<i>Григорий Померанц</i> . Огонь Паскаля	376
О смирении	382
«Завещание Ленина» и заповеди Христа	389
Самое истинное желание	398
<i>Григорий Померанц</i> . <i>РоМ эспрШт. Об истинном желании</i>	412
Свобода внутренняя	414
«Плетью моей души не достать» (Размышления о фильме	
Н. Достала «Раскол»)	416
Самая трудная задача	422
Очерк моей жизни	432
Памяти Г.С. Померанца	440
Приложение	
<i>Григорий Померанц</i> . Возникновение и становление личности ..	449
<i>Григорий Померанц</i> . Записные книжки 70-х годов	
с комментариями XXI века	478
Библиография книг Г.С. Померанца	496

Научное издание

Григорий Померанц

Зинаида Миркина

Спор цивилизаций и диалог культур

(Лекции и статьи нулевых годов)

Оформление Ю. В. Балабанов
Корректор Г.Э. Великовская
Компьютерная верстка В.Д. Лавреников

По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
е-тай: ишкшда@уапйех.ги, ит Ёоок@таЦ.ги.
Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в Санкт-Петербурге
ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (812)640-08-71, е-таП: икш\$a1@'й'e81са11.пе1
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495)915-32-84, е-тай: икш\$a-т@ЦЪИ.ги

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Книжный окоп»
В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84

Подписано в печать 12.03.2014
Формат 60x90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 31,5. Усл. печ. л. 32,2.
Тираж 1000 экз. (первый завод 500 экз.)
Заказ №

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: дадада.сърк.ги. Е-тай: тагкеИп\$@сърк.ги
факс 8(496) 726-54-10, тел. 8 (495)988-63-87

Книги, подготовленные Центром гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН РАН

Руководитель Центра Л.В. Скворцов
Главный редактор и автор проектов С.Я. Левит

Серия «Лики культуры»

Серия «Лики культуры» была основана Институтом научной информации по общественным наукам Российской академии наук в 1992 г. и с 1994 г. по 1998 г. в издательстве «Юристъ» вышло 15 томов произведений известных философов, социологов и культурологов, входящих в сокровищницу мировой философской и культурологической мысли. Переводы выдающихся исследователей служат восстановлению разорванных связей, построению целостной картины мира, возрождению духа российской культуры с ее всемирной отзывчивостью и открытостью. Издано 15 томов.

Буркхардт Я.

Культура Возрождения в Италии: Пер. с нем. - М.: Юристъ, 1996. - 591 с. - (Серия «Лики культуры»).

Вебер М.

Избранное. Образ общества : Пер. с нем. ; Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристъ, 1994. - 704 с. - («Серия «Лики культуры»).

Виндельбанд В.

Избранное: Дух и история : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристъ, 1995. - 687 с. - (Серия «Лики культуры»).

Зиммель Г.

Избранное / Сост. С.Я. Левит, Л.В. Скворцов. - М.: Юристъ, 1996. - 671 с. - Т. 1: Философия культуры. - (Серия «Лики культуры»)

Зиммель Г.

Избранное : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит, Л.В. Скворцов. - М.: Юристъ, 1996. - 607 с. - Т. 2: Созерцание жизни. - (Серия «Лики культуры»).

Кассирер Э.

Избранное. Опыт о человеке : Пер. с нем. ; Сост. С.Я. Левит. - М.: Гардарики, 1998. - 784 с. - (Серия «Лики культуры»).

Культурология. XX век: Антология / Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристъ, 1995. - 703 с. - (Серия «Лики культуры»).

Лики культуры: Альманах / Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристъ, 1995. - 527 с. - Т. 1. - (Серия «Лики культуры»).

Манхейм К.

Диагноз нашего времени : Пер. с нем. и англ.; Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристъ, 1994. - 700 с. - (Серия «Лики культуры»).

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы / Сост. И.А. Дворецкая, О.Ф. Кудрявцев, М.А. Тимофеев. - М.: Юристъ, 1996. - 575 с. - (Серия «Лики культуры»).

Померанц Г.

Выход из транс. - М.: Юрист, 1995. - 575 с. - (Серия «Лики культуры»).

Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма : Пер. с англ. ; Сост. А.М. Руткевич. - М.: Юрист, 1995. - 623 с. - (Серия «Лики культуры»).

Тиллих П.

Избранное: Теология культуры : Пер. с англ.; Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов. - М.: Юрист, 1995. - 479 с. - (Серия «Лики культуры»).

Трёлч Э.

Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории: Пер. с нем. - М.: Юрист, 1994. - 719 с. - (Серия «Лики культуры»).

Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура : Пер. с англ.; Сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит. - М.: Юрист, 1996. - 575 с. - (Серия «Лики культуры»).

Серия «Ситта сиИигоЮдие»

Серия «Ситта сиИигоЮдие» основана в 1999 г. В этой серии представлены словари и энциклопедии по культурологии, художественной и эстетической культуре, истории, истории культуры. Особое место в ней занимает: Культурология. Энциклопедия: В 2 т. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. Это издание награждено Дипломом лауреата конкурса 2008 г. в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание». В энциклопедии представлены все культурные эпохи и культурные миры - исторически возникшие типы культуры. Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение представляют сквозную тему энциклопедии. Культурология предстает не только как частная наука о культуре, но и как мировоззренческая междисциплинарная методология. Издано 12 томов.

Культурология. Энциклопедия: В 2 т. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 1 / Гл. ред. и автор проекта С.Я. Левит. - 1392 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Культурология. Энциклопедия: В 2 т. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 2 / Гл. ред. и автор проекта С.Я. Левит. - 1184 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В.В. Бычкова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 607 с. - (Иишша сиИигоЮдие).

Портреты историков: Время и судьбы: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, Л.Т. Мильская. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 1: Отечественная история. - 432 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Портреты историков: Время и судьба: В 2 т. / Сост. Г.Н. Севостьянов, Л.Т. Мильская. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 2: Всеобщая история. - 464 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Словарь персонажей русской литературы: Вторая половина ХУШ-ХГХ в. / Сост. Г.А. Гудимова. - М. ; СПб.: Университетская книга, 2000. - 362 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 632 с. - (Ситта сиИигоЮдие).

Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 624 с. - (8итта си 1 иго 1о§ше).

Культурология XX век: Словарь / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. - СПб.: Университетская книга, 1997. - 640 с.

Культурология. XX век: Энциклопедия. - СПб.: Университетская книга, 1998. - Т. 1. / Гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. - 447 с.

Культурология. XX век: Энциклопедия. - СПб.: Университетская книга, 1998. - Т. 2. / Гл. ред., сост. и автор проекта С.А. Левит. - 447 с.

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б.

Словарь по психоанализу : Пер. с фр. и науч. ред. Н.С. Автономовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. - 751 с.

Серия «Книга света»

Серия «Книга света» основана в 1997 г. Она служит продолжением серии «Лики культуры». В этой серии основной акцент сделан на культурфилософию, теологию культуры, философию истории, социологии культуры. Серия дает представление о мире человека в контексте его культурного существования. Она знакомит читателя с неизвестными «культурными пластами» западной гуманитарной науки, раскрывает тот опыт исследований культуры, который нарабатывался в течение долгого времени в западной науке. Над томами работали переводчики и исследователи самого высокого уровня. Издано 77 томов.

Адорно Т.

Избранное: Социология музыки : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. - М.; СПб.: Университетская книга, 1998. - 445 с. - (Серия «Книга света»).

Адорно Т.

Избранное. Социология музыки : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. - 2-е изд. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. - 448 с. - (Серия «Книга света»).

Арон Р.

Избранное: Введение в философию истории : Пер. с фр.; Сост. И.А. Гобозов. - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. - 543 с. - (Серия «Книга света»).

Арон Р.

Избранное. Измерения исторического сознания : Пер. с фр. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 528 с. - (Серия «Книга света»).

Ауэрбах Э.

Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе : Пер. с нем. - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. - 511 с. - (Серия «Книга света»).

Ауэрбах Э.

Данте - поэт земного мира : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 208 с. - (Серия «Книга света»).

Башляр Г.

Избранное. Научный рационализм : Пер. с фр. - СПб.; М.: Университетская книга, 2000. - 395 с. - (Серия «Книга света»).

Башляр Г.

Избранное. Поэтика пространства : Пер. с фр. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 376 с. - (Серия «Книга света»).

Башляр Г.

Избранное. Поэтика грёзы : Пер. с фр.; Сост. С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 440 с. - (Серия «Книга света»).

Бенедикт Р.

Хризантема и меч: Модели японской культуры : Пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 256 с. - (Серия «Книга света»).

Бенедикт Р.

Хризантема и меч: Модели японской культуры : Пер. с англ. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 256 с. - (Серия «Книга света»).

Бергсон А.

Избранное: Сознание и жизнь : Пер. с фр.; Сост. И.И. Блауберг. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 399 с. - (Серия «Книга света»).

Брендлер Г.

Мартин Лютер. Теология и революция. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 368 с. - (Серия «Книга света»).

Бульгман Р.

Избранное: Вера и понимание. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - Т. 1-2 : Пер. с нем., сост. С. Лезов. - 752 с. - (Серия «Книга света»).

Бурдах К.

Реформация. Ренессанс. Гуманизм : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 208 с. - (Серия «Книга света»).

Буркхардт Я.

Размышления о всемирной истории : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 560 с. - (Серия «Книга света»).

Буркхардт Я.

Размышления о всемирной истории : Пер. с нем. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 560 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер А.

Избранное. Кризис европейской культуры : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. - СПб.: Университетская книга, 1998. - 565 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер А.

Избранное. Кризис европейской культуры. - 2-е изд. : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 565 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер М.

Избранное. Образ общества. - 2-е изд. : Пер. с нем., доп., испр.; Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 767 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер М.

Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. - 3-е изд., доп. и испр. / Сост. Ю.Н. Давыдов. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 656 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер М.

Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. - 2-е изд., доп. и испр. /

Сост. Ю.Н. Давыдов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 656 с. - (Серия «Книга света»).

Вебер Марианна

Жизнь и творчество Макса Вебера : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 656 с. - (Серия «Книга света»).

Гегель Г.В.Ф.

Философия религии: В 2 т. - 2-е изд., испр. / Сост. А.В. Гулыга. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 1. - 415 с. - (Серия «Книга света»).

Гегель Г.В.Ф.

Философия религии: В 2 т. - 2-е изд., испр. / Сост. А.В. Гулыга. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 2. - 383 с. - (Серия «Книга света»).

Гердер И.Г.

Идеи к философии истории человечества. - 2-е изд., испр. / Сост. Гулыга. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 760 с. - (Серия «Книга света»).

Дильтей В.

Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. - М.; Иерусалим: Университетская книга; Севбапт, 2000. - 464 с. - (Серия «Книга света»).

Дильтей В.

Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 565 с. - (Серия «Книга света»).

Жильсон Э.

Избранное. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского : Пер. с фр. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 1. - 496 с. - (Серия «Книга света»).

Жильсон Э.

Избранное: Христианская философия : Пер. с фр. и англ.; Сост. Р.А. Гальцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 704 с. - (Серия «Книга света»).

Жильсон Э.

Живопись и реальность : Пер. с фр. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с. - (Серия «Книга света»).

Калер Э.

Избранное. Выход из лабиринта : Пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 336 с. - (Серия «Книга света»).

Кассирер Э.

Избранное: Индивид и космос : Пер. с нем., англ., лат.; Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 654 с. - (Серия «Книга света»).

Кассирер Э.

Индивид и космос : Пер. с нем., лат. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 400 с. - (Серия «Книга света»).

Кассирер Э.

Философия символических форм. - М.; СПб.: Университетская книга, 2002. - Т. 1: Язык : Пер. с нем. - 272 с. - (Серия «Книга света»).

Кассирер Э.

Философия символических форм. - М.; СПб.: Университетская книга, 2002. - Т. 2: Мифологическое мышление : Пер. с нем. - 280 с. - (Серия «Книга света»).

Кассирер Э.

Философия символических форм. - М.; СПб.: Университетская книга, 2002. -

- Т. 3: Феноменология познания : Пер. с нем. - 398 с. - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э.**
Философия Просвещения : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 400 с. - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э.**
Философия Просвещения : Пер. с нем. - 2-е изд. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 400 с. - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э.**
Жизнь и учение И. Канта : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. - СПб.; М.: Университетская книга, 1997. - 447 с. - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э.**
Жизнь и учение И. Канта : Пер. с нем.; Сост. С.Я. Левит. - 2-е изд. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 447 с. - (Серия «Книга света»).
- Кристева Ю.**
Избранные труды. Разрушение поэтики : Пер. с фр.; Сост. Г.К. Косиков. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 656 с. - (Серия «Книга света»).
- Лакруа Ж.**
Избранное: Персонализм : Пер. с фр.; Сост. И.С. Вдовина, С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 608 с. - (Серия «Книга света»).
- Левинас Э.**
Избранное. Тотальность и Бесконечное : Пер. с фр.; Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 416 с. - (Серия «Книга света»).
- Левинас Э.**
Избранное. Трудная свобода : Пер. с фр.; Сост. С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 752 с. - (Серия «Книга света»).
- Леви-Строс К.**
Мифологии: В 4 т. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 1: Сырое и приготовленное. - 406 с. - (Серия «Книга света»).
- Леви-Строс К.**
Мифологии: В 4 т. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - Т. 2: От мёда к пеплу. - 442 с. - (Серия «Книга света»).
- Леви-Строс К.**
Мифологии: В 4 т. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - Т. 3: Происхождение застольных обычаев. - 461 с. - (Серия «Книга света»).
- Леви-Строс К.**
Мифологии: В 4-х т. - М.: ИД «Флюид», 2007. - Т. 4: Человек голый.- 784 с. - (Серия «Книга света» - «ВМюШеса 1пйшшса»).
- Малиновский Б.**
Избранное. Динамика культуры : Пер. с англ.; Сост. Л.А. Мостова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 959 с. - (Серия «Книга света»).
- Малиновский Б.**
Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана : Пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 552 с. - (Серия «Книга света»).
- Манхейм К.**
Избранное: Диагноз нашего времени : Пер. с нем. и англ.; Сост. С.Я. Левит. - М.: ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. - 744 с. - (Серия «Книга света»).
- Манхейм К.**
Избранное: Социология культуры. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 501 с. - (Серия «Книга света»).

Маритен Ж.

Творческая интуиция в искусстве и поэзии : Пер. с фр. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 400 с., ил. - (Серия «Книга света»).

Маритен Ж.

Избранное: Величие и нищета метафизики : Пер. с фр.; Сост. Р.А. Гальцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 608 с. - (Серия «Книга света»).

Мейнеке Ф.

Возникновение историзма : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 480 с. - (Серия «Книга света»).

Мейнеке Ф.

Возникновение историзма : Пер. с нем. - 2-е изд. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 480 с. - (Серия «Книга света»).

Плеснер Х.

Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию : Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с. - (Серия «Книга света»).

Рикёр П.

Время и рассказ. - М.; СПб.: Университетская книга, 1998. - Т. 1: Интрига и исторический рассказ : Пер. с фр. - 313 с. - (Серия «Книга света»).

Рикёр П.

Время и рассказ. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - Т. 2: Конфигурации в вымышленном рассказе : Пер. с фр. - 224 с. - (Серия «Книга света»).

Рикёр П.

Путь признания. Три очерка : Пер. с фр. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 268 с. - (Серия «Книга света»).

Розеншток-Хюсси О.

Язык рода человеческого : Пер. с англ. и нем. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 698 с. - (Серия «Книга света»).

Салимбене де Адам.

Хроника : Пер. с лат. - М.: РОССПЭН, 2004. - 984 с. - (Серия «Книга света»).

Тиллих П.

Систематическая теология. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - Т. 1-2. - 463 с. - (Серия «Книга света»).

Тиллих П.

Систематическая теология. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - Т. 3. - 415 с. - (Серия «Книга света»).

Тишнер Ю.

Избранное - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. - Т. 1: Мышление в категориях ценности : Пер. с польского; Сост. Е.С. Твердислова. - 432 с. - (Серия «Книга света»).

Тишнер Ю.

Избранное - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - Т. 2: Философия драмы. Спор о существовании человека : Пер. с польского; Сост. Е.С. Твердислова. - 488 с. - (Серия «Книга света»).

Фуко М.

История безумия в классическую эпоху : Пер. с фр. - СПб.: Университетская книга, 1997. - 575 с. - (Серия «Книга света»).

Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 608 с. - (Серия «Книга света»).

Шастель А.

Искусство и гуманизм в Флоренции времен Лоренцо Великолепного : Пер. с фр. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 720 с. - (Серия «Книга света»).

Шелер М.

Проблемы социологии знания. - М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011. - 320 с. - (Серия «Книга света»).

Шюц А.

Избранное: Мир, светящийся смыслом : Пер. с нем. и англ.; Сост. Н.М. Смирнова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 1056 с. - (Серия «Книга света»).

Экхарт М.

Об отрешенности : Пер. с нем. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 432 с. - (Серия «Книга света»).

Элиас Н.

О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада : Пер. с нем. - 332 с. - (Серия «Книга света»).

Элиас Н.

О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - Т. 2: Изменения в обществе. Проект теории цивилизации : Пер. с нем. - 382 с. - (Серия «Книга света»).

Элиот Т.С.

Избранное. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - Т. 1-2: Религия, культура, литература : Пер. с англ.; Сост. Т.Н. Красавченко. - 752 с. - (Серия «Книга света»).

Яннарас Х.

Избранное. Личность и Эрос : Пер. с греч. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 480 с. - (Серия «Книга света»).

Серия «Российские Пропилеи»

Серия «Российские Пропилеи» основана в 1998 г. В этой серии представлены труды выдающихся мыслителей России и русского зарубежья, входящие в сокровищницу философской и культурологической мысли. В издаваемых работах освещается комплекс важнейших проблем: единство европейской культуры, феноменология русской культуры, история России в свете теории цивилизации, Россия на перекрестке культур, нераздельность национального и вселенского, традиции русской философии. Серия включает работы по философии, философии истории, теологии, культурологии, истории гуманитарной мысли в России. Издано 75 томов.

Автономова Н.С.

Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 503 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).

Автономова Н.С.

Философский язык Жака Деррида. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - 510 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).

- Буслаев Ф.И.**
Догадки и мечтания о первобытном человечестве / Сост. А.Л. Топорков. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 704 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеБса: В 2 т. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 1: Раннее христианство. Византия. - 575 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
2000 лет христианской культуры 8иЪ вреае аевШеБса: В 2 т. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 2: Славянский мир. Древняя Русь. Россия. - 527 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
2000 лет христианской культуры 8иЪ вреае аевШеБса: В 2 т. - М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. - Т. 1: Раннее христианство. Византия. - 575 с., ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеБса: В 2-х т. - М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. - Т. 2: Славянский мир. Древняя Русь. Россия. - 527 с., ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
Эстетика Блаженного Августина. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 368 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. - М.: ООО «Изд-во МБА», 2010. - 784 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В.**
Древнерусская эстетика. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 832 с., ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Великовский С.И.**
Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. - М.; СПб.: Университетская книга, 1998. - 711 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Великовский С.**
В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX-XX веков. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 415 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н.**
Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 688 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н.**
Избранное: На пути к исторической поэтике / Сост. И.О. Шайтанов. - М.: Автокнига, 2010. - 688 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н.**
Избранное: Традиционная духовная культура / Сост. Т.В. Говенько. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 624 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н.**
Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. - 2-е изд., испр. - СПб.: Университетская книга, 2011. - 687 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Габричевский А.Г.**
Биография и культура: Документы, письма, воспоминания: В 2 кн. / Сост. О.С. Северцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),

2011. - 775 с., ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Галинская И.Л.**
Потаенный мир писателя. - М.; СПб.: Летний сад, 2007. - 424 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гальцева Р.А.**
Знаки эпохи. Философская полемика. - М.: Летний сад, 2008. - 668 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гальцева Р.А., Роднянская И.Б.**
К портретам русских мыслителей. - М.: Петроглиф; Патриаршее подворье храма - домового мц. Татианы при МГУ, 2012. - 748 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гачев Г.**
60 дней в мышлении (Самозарождение жанра). - М.; СПб.: Летний сад, 2006. - 480 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М. О.**
Избранное. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит. - 592 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М. О.**
Избранное. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 2: Молодая Россия / Сост. С.Я. Левит. - 576 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М.О.**
Избранное. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 3: Образы прошлого / Сост. С.Я. Левит. - 704 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М.О.**
Избранное. - М.; Иерусалим: Университетская книга; СевЪапт, 2000. - Т. 4: Тройственный образ совершенства / Сост. С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. - 640 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М.О.**
Избранное. Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит. - М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. - 656 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А.Я.**
Избранные труды. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 1: Древние германцы. Викинги. - 360 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А. Я.**
Избранные труды. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - Т. 2: Средневековый мир. - 560 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А.Я.**
Индивид и социум на средневековом Западе. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 424 с., ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Густав Шпет:** Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред. и сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 720 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Густав Шпет и шекспировский круг:** Письма, документы, переводы / Отв. ред.- сост., предисловие, комментарий, археографическая работа Т.Г. Щедрина. - М.; СПб.: Петроглиф, 2013. - 760 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Другие Средние века:** К 75-летию А.Я. Гуревича / Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - 463 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Егоров Б.Ф.**

- Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. - М.: Летний сад, 2009. - 664 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Исунов К.Г.**
Русская философская культура. - СПб.: Университетская книга, 2010. - 592 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К.**
Русская классика, или Бытие России. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 768 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К.**
Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 542 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К.**
«Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: Очерки. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 422 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К.**
«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - 608 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кнабе Г.**
Избранные труды. Теория и история культуры. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); СПб.: Летний сад, 2006. - 1200 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Лёзов С.**
Попытка понимания: Избранные работы. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - 575 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Медушевская О.**
Теория исторического познания: Избранные произведения. - СПб.: Университетская книга, 2010. - 572 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Мильдон В.И.**
Санскрит во льдах, или возвращение из Офира: Очерк русской литературной утопии и утопического сознания. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 288 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Патрушев А.**
Германская история: Через тернии двух тысячелетий. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2007. - 704 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Пивоваров Ю.С.**
Полная гибель всерьез. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 319 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Страстная односторонность и бесстрастие духа. - СПб.: Университетская книга, 1998. - 617 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Открытость бездне: Встречи с Достоевским. - 2-е изд. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 352 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Открытость бездне: Встречи с Достоевским. - 3-е изд., доп. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 416 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**

- Сны земли. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 464 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Сны земли. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 416 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Дороги духа и зигзаги истории. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 384 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Дороги духа и зигзаги истории. - 2-е изд., доп. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 416 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С.**
Выход из трансa. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 583 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Пушкин в русской философской критике. Конец XIX - XX век. - М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - 591 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Сафонов В.И.**
Избранное. «Давайте переписываться с американскою быстротою...»: Переписка 1880- 1905 годов / Сост. Е.Д. Кривицкая, Л.Л. Тумаринсон. - СПб.: Петроглиф, 2011. - 760 с. - ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Стравинский И.Ф.**
Хроника. Поэтика / Сост. С.И. Савенко. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Стравинский И.Ф.**
Хроника. Поэтика. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 368 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Ткаченко Г.А.**
Избранные труды. Китайская космология и антропология. - М.: ООО «РАО Говорящая Книга», 2008. - 362+XXIX с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Трубникова Н. Н.**
Традиция «исконной просветленности» в японской философской мысли. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 414 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Цимбаев Н.И.**
Историсофия на развалинах империи. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2007. - 616 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шмит Ф.И.**
Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 912 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г.**
Мысль и слово. Избранные труды / Сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 688 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г.**
РШоворЪа №1a118: Избранные психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 624 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г.**
Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 712 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г.**
Очерк развития русской философии. I / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.:

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 592 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).

Шпет Г.Г.

Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т.Г. Щедриной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 848 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).